НАША ЖИ
ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕС
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА БЕЗЪ ПРЕДВ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ВТОРНИКЪ. 16-го (29-го) августа
вечернимъ выпускомъ 5 коп.

В. В. Водовозов

# Жажду бури... 1

Воспоминания, дневник

РОССИЯ В МЕМУАРАХ

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Воспоминания революционера и публициста Василия Васильевича Водовозова (1864–1933), охватывающие период с 1880-х и до конца 1917 года, публикуются впервые. Начиная с колоритных описаний тюремного и ссылочного быта, мемуарист повествует об истории своего участия в освободительном движении, сотрудничестве с газетами и журналами демократического направления, о деятельности в Трудовой фракции Государственной Думы, а также отношениях с политическими деятелями того времени. Среди знакомых В. В. Водовозова были Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Е. В. Тарле, священник Г. А. Гапон, А. В. Луначарский и А. Ф. Керенский. Особый интерес представляет критический портрет В. И. Ленина, с которым автор тесно общался в молодости. В качестве дополнения в книге представлен дневник 1919–1920 годов, описывающий драматический быт советского Петрограда: продовольственные карточки, дефицит дров, одежды и продуктов питания, обыски и репрессии. В послесловии прослеживается дальнейший жизненный путь Водовозова, закончившийся трагической смертью в эмиграции.


- В. В. Водовозов
  - «ГАЗЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК», ИЛИ ЖИЗНЬ «РЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕССИМИСТА»
  - ЧАСТЬ I. ВОСПОМИНАНИЯ О ВРЕМЕНИ КОНЦА 80-Х И НАЧАЛА 90-Х ГОДОВ
    - Глава I. Первый арест
    - Глава II. Тюрьма
    - Глава III. Ссылка. Материальные и духовные условия жизни в ссылке. – Полицейские условия
    - Глава IV. Ссылка (продолжение). Состав политической ссылки в Шенкурске. – Внутренняя жизнь ссыльной колонии. – Знакомства с горожанами
    - Глава V. Самара (сентябрь 1891 г. – октябрь 1892 г.). Голод. – Ленин
  - ЧАСТЬ II. ГОДЫ СТРАНСТВОВАНИЙ. 1893–1900
    - Глава I. Окончание ссылки. – Поездка в Германию. – Университетская годовщина 8 февраля 1894 г. и моя высылка из Петербурга
    - Глава II. Поездка в Болгарию в 1894 г. – Драгоманов. – Стамбулов и Каравелов. – Обыск

на русской границе
- Глава III. Смерть императора Александра III. – Жизнь в Крыму. – Знакомство с Бердяевым. – Мое поселение в Киеве. – Знакомства в русских и малорусских кружках. – Арест в Австрии в 1897 г. – История «Руси» Гайдебурова. – Арест в Киеве в 1898 г
- Глава IV. Поездка в Германию в 1898 г. – Возвращение в Киев. – Знакомство с Луначарским. – Чтение рефератов в Литературном обществе, в студенческих и рабочих кружках. – Приезд в Киев Булгакова. – Эволюция Бердяева и Булгакова. – Арест 1899 г. – Татаров. – Ибсеновское дело. – Знакомство с Урицким

○ ЧАСТЬ III. НОВЫЙ ВЕК. ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ЭПОХИ 1900–1905 ГГ
- Глава I. Поездка за границу, в Германию и Австрию (с чужим паспортом). – Знакомство с Масариком. – Встреча с Плехановым и Аксельродом. – Возвращение в Киев (1900–1901)
- Глава II. Диспут Тарле (осень 1901 г.)
- Глава III. Нарастание революционного настроения в годы 1900–1904. – Участие моей жены в делах Красного Креста и ее издательство. – Н. Е. Парамонов. – Балмашев и его кружок. – Брешковская. – Мое участие в составлении прокламаций. – Поздравление генералу Новицкому с юбилеем. – Побег из киевской тюрьмы в 1902 г. двенадцати социал-демократов
- Глава IV. Лекция С. Н. Булгакова о В. С. Соловьеве и прения после нее (1902888)
- Глава V. Поездка за границу летом 1903 г. – Съезд Союза освобождения на берегах Боденского озера. – Моя лекция о развитии германской социал-демократии
- Глава VI. «Киевские отклики»
- Глава VII. Союз освобождения и банкетная кампания в Киеве
- Глава VIII. Переезд в Петербург. – «Наша жизнь». – Союз освобождения в Петербурге. – Так называемый освобожденческий проект конституции

- КОММЕНТАРИИ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41

- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85

- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129

- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173

- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217

- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261

- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305

- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349

- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393

- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437

- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481

- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525

- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569

- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613

- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621
- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635
- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644
- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649
- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653
- ○ 654
- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657

- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662
- ○ 663
- ○ 664
- ○ 665
- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673
- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676
- ○ 677
- ○ 678
- ○ 679
- ○ 680
- ○ 681
- ○ 682
- ○ 683
- ○ 684
- ○ 685
- ○ 686
- ○ 687
- ○ 688
- ○ 689
- ○ 690
- ○ 691
- ○ 692
- ○ 693
- ○ 694
- ○ 695
- ○ 696
- ○ 697
- ○ 698
- ○ 699
- ○ 700
- ○ 701

- ○ 702
- ○ 703
- ○ 704
- ○ 705
- ○ 706
- ○ 707
- ○ 708
- ○ 709
- ○ 710
- ○ 711
- ○ 712
- ○ 713
- ○ 714
- ○ 715
- ○ 716
- ○ 717
- ○ 718
- ○ 719
- ○ 720
- ○ 721
- ○ 722
- ○ 723
- ○ 724
- ○ 725
- ○ 726
- ○ 727
- ○ 728
- ○ 729
- ○ 730
- ○ 731
- ○ 732
- ○ 733
- ○ 734
- ○ 735
- ○ 736
- ○ 737
- ○ 738
- ○ 739
- ○ 740
- ○ 741
- ○ 742
- ○ 743
- ○ 744
- ○ 745

- ○ 746
- ○ 747
- ○ 748
- ○ 749
- ○ 750
- ○ 751
- ○ 752
- ○ 753
- ○ 754
- ○ 755
- ○ 756
- ○ 757
- ○ 758
- ○ 759
- ○ 760
- ○ 761
- ○ 762
- ○ 763
- ○ 764
- ○ 765
- ○ 766
- ○ 767
- ○ 768
- ○ 769
- ○ 770
- ○ 771
- ○ 772
- ○ 773
- ○ 774
- ○ 775
- ○ 776
- ○ 777
- ○ 778
- ○ 779
- ○ 780
- ○ 781
- ○ 782
- ○ 783
- ○ 784
- ○ 785
- ○ 786
- ○ 787
- ○ 788
- ○ 789

- ○ 790
- ○ 791
- ○ 792
- ○ 793
- ○ 794
- ○ 795
- ○ 796
- ○ 797
- ○ 798
- ○ 799
- ○ 800
- ○ 801
- ○ 802
- ○ 803
- ○ 804
- ○ 805
- ○ 806
- ○ 807
- ○ 808
- ○ 809
- ○ 810
- ○ 811
- ○ 812
- ○ 813
- ○ 814
- ○ 815
- ○ 816
- ○ 817
- ○ 818
- ○ 819
- ○ 820
- ○ 821
- ○ 822
- ○ 823
- ○ 824
- ○ 825
- ○ 826
- ○ 827
- ○ 828
- ○ 829
- ○ 830
- ○ 831
- ○ 832
- ○ 833

- ○ 834
- ○ 835
- ○ 836
- ○ 837
- ○ 838
- ○ 839
- ○ 840
- ○ 841
- ○ 842
- ○ 843
- ○ 844
- ○ 845
- ○ 846
- ○ 847
- ○ 848
- ○ 849
- ○ 850
- ○ 851
- ○ 852
- ○ 853
- ○ 854
- ○ 855
- ○ 856
- ○ 857
- ○ 858
- ○ 859
- ○ 860
- ○ 861
- ○ 862
- ○ 863
- ○ 864
- ○ 865
- ○ 866
- ○ 867
- ○ 868
- ○ 869
- ○ 870
- ○ 871
- ○ 872
- ○ 873
- ○ 874
- ○ 875
- ○ 876
- ○ 877

- ○ 878
- ○ 879
- ○ 880
- ○ 881
- ○ 882
- ○ 883
- ○ 884
- ○ 885
- ○ 886
- ○ 887
- ○ 888
- ○ 889
- ○ 890
- ○ 891
- ○ 892
- ○ 893
- ○ 894
- ○ 895
- ○ 896
- ○ 897
- ○ 898
- ○ 899
- ○ 900
- ○ 901
- ○ 902
- ○ 903
- ○ 904
- ○ 905
- ○ 906
- ○ 907
- ○ 908
- ○ 909
- ○ 910
- ○ 911
- ○ 912
- ○ 913
- ○ 914
- ○ 915
- ○ 916
- ○ 917
- ○ 918
- ○ 919
- ○ 920
- ○ 921

- ○ 922
- ○ 923
- ○ 924
- ○ 925
- ○ 926
- ○ 927
- ○ 928
- ○ 929
- ○ 930
- ○ 931
- ○ 932
- ○ 933
- ○ 934
- ○ 935
- ○ 936
- ○ 937
- ○ 938
- ○ 939
- ○ 940
- ○ 941
- ○ 942
- ○ 943
- ○ 944
- ○ 945
- ○ 946
- ○ 947
- ○ 948
- ○ 949
- ○ 950
- ○ 951
- ○ 952
- ○ 953
- ○ 954
- ○ 955
- ○ 956
- ○ 957
- ○ 958
- ○ 959
- ○ 960
- ○ 961
- ○ 962
- ○ 963
- ○ 964
- ○ 965

- ○ 966
- ○ 967
- ○ 968
- ○ 969
- ○ 970
- ○ 971
- ○ 972
- ○ 973
- ○ 974
- ○ 975
- ○ 976
- ○ 977
- ○ 978
- ○ 979
- ○ 980
- ○ 981
- ○ 982
- ○ 983
- ○ 984
- ○ 985
- ○ 986
- ○ 987
- ○ 988
- ○ 989
- ○ 990
- ○ 991
- ○ 992
- ○ 993
- ○ 994
- ○ 995
- ○ 996
- ○ 997
- ○ 998
- ○ 999
- ○ 1000
- ○ 1001
- ○ 1002
- ○ 1003
- ○ 1004
- ○ 1005
- ○ 1006
- ○ 1007
- ○ 1008
- ○ 1009

- ○ 1010
- ○ 1011
- ○ 1012
- ○ 1013
- ○ 1014
- ○ 1015
- ○ 1016
- ○ 1017
- ○ 1018
- ○ 1019
- ○ 1020
- ○ 1021
- ○ 1022
- ○ 1023
- ○ 1024
- ○ 1025
- ○ 1026
- ○ 1027
- ○ 1028
- ○ 1029
- ○ 1030
- ○ 1031
- ○ 1032
- ○ 1033
- ○ 1034
- ○ 1035
- ○ 1036
- ○ 1037
- ○ 1038

# В. В. Водовозов
# «Жажду бури…». Воспоминания, дневник. Том I

# «ГАЗЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК», ИЛИ ЖИЗНЬ «РЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕССИМИСТА»

Сухая полицейская заметка сообщала, что 7 октября 1933 г. под Прагой, около Збраслава, бросился под поезд какой-то старик. На следующий день выяснилось, что самоубийца – русский эмигрант, 69-летний Василий Васильевич Водовозов, известный как ведущий сотрудник многих дореволюционных газет и журналов демократического направления, автор бесчисленного количества статей и десятков книг и брошюр, неутомимый лексикограф и признанный специалист по конституционному праву, досконально знавший теорию и практику избирательных законов многих стран мира. Вспоминая покойного, редактор берлинской газеты «Руль» И. В. Гессен писал, что всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право было «исповеданием веры» покойного, и ему посчастливилось дожить до осуществления своего идеала в 1917 г., когда, при деятельном его участии, разрабатывалось положение о выборах в Учредительное собрание. Но идейное торжество обошлось, увы, слишком дорого: «сладчайшая мечта» об Учредительном собрании реализовалась в виде разогнанной большевиками и презираемой самими ее избранниками «учредилки», а затем, в тяжелых условиях эмиграции, Водовозов с горечью наблюдал «закат парламентаризма» в Европе: пропорциональная система выборов «превратилась в прочный трамплин для диктатуры, исповедание веры было безжалостно разбито, и так же безжалостно он разбил свою жизнь…»[1].

Водовозов родился 22 декабря 1864 г. в Петербурге в «литературной семье»[2]. Его отец, Василий Иванович, сын разорившегося купца, окончил историко-филологический факультет Петербургского университета и преподавал русскую словесность сначала в Варшаве, с 1851 г. – в столичной 1-й гимназии и недолго, в 1860–1862 гг., в Смольном институте. Талантливый педагог, изучавший дело постановки школьного обучения за границей, поэт и переводчик произведений европейских писателей Нового времени (Д. Г. Байрона, П.-Ж. Беранже, Г. Гейне, И. В. Гете) и античных, греческих (Анакреона, Еврипида, Лукиана, Софокла) и римских (Горация, Катулла, Пиндара), классиков[3], В. И. Водовозов тем не менее порицал «классическую», перегруженную древними языками, систему образования, за что в 1866 г. лишился службы и, удаленный

новым министром народного просвещения графом Д. А. Толстым из казенных учебных заведений, посвятил себя исключительно литературной работе. Он был автором многих учебных пособий по истории России, древней и новой русской литературе[4], составителем «Книги для первоначального чтения в народных школах» (СПб., 1871), которая выдержала 20 переизданий, а его избранные педагогические сочинения трижды выходили уже в советское время[5].

Мать, Елизавета Николаевна, урожденная Цевловская, происходившая из мелкопоместной дворянской семьи, была воспитанницей Смольного института, когда инспектором классов там служил основоположник российской научной педагогики К. Д. Ушинский. Выйдя в 1862 г. замуж за своего преподавателя, который был старше почти на два десятка лет, она не только написала востребованную тогда книгу «Умственное развитие детей от первого появления сознания до восьмилетнего возраста» (СПб., 1871, 7 изданий), но и внесла заметный вклад в детскую литературу: ее трехтомник с иллюстрациями В. М. Васнецова «Жизнь европейских народов. Географические рассказы» (СПб., 1875–1883, 5 изданий), вышедший затем в 10 иллюстрированных выпусках, каждый из которых не раз переиздавался, под общим заголовком «Как люди на белом свете живут», и двухтомник «Из русской жизни и природы. Рассказы для детей» (СПб., 1871–1872, 8 изданий) были очень популярны, а ее мемуары не раз переиздавались[6].

Хотя Василий Иванович и Елизавета Николаевна, у которых было трое сыновей (в 1863 г. родился Михаил, за ним – Василий, в 1870 г. – Николай) жили весьма небогато, по вторникам в их квартире устраивались литературно-музыкальные вечера, в которых, помимо знакомых педагогов и учащейся молодежи, с удовольствием принимали участие П. А. Гайдебуров, В. С. и Н. С. Курочкины, В. И. и М. И. Семевские, В. А. Слепцов, П. И. Якушкин и другие представители творческой интеллигенции. Позже многолюдные «вторники» сменились более интимными «воскресеньями», на которые собирались главным образом сотрудники журнала «Русское богатство», включая его идеолога Н. К. Михайловского. Таким образом, указывал В. В. Водовозов, «как бы сама судьба с раннего детства предопределила мне литературную дорогу»[7], хотя в юности он мечтал вовсе не о журналистике, которой посвятил себя впоследствии, а о научной кафедре, что объяснял влиянием историка В. И. Семевского. Проживая с 1874 г. в соседней квартире, он, ученик В. И. Водовозова еще по гимназии, стал преданным другом и фактически членом его семьи, а когда в 1886 г. тот после тяжелой

болезни скончался, – первым биографом покойного[8] и вторым мужем столь рано овдовевшей Елизаветы Николаевны, заботливым отчимом двух ее сыновей – Василия и Николая (старший, 16-летний Михаил, умер от чахотки в 1879 г.). Семевский, писал Водовозов, «был первым моим учителем, и я остался связанным с ним узами теснейшей дружбы до самой его смерти в 1916 г.», а «его влияние заставило меня в ранней юности интересоваться всего более русской историей».

«Из общественных событий, под впечатлением которых я развивался, – сообщает Водовозов, – первым было восстание 1875 г. герцеговинцев и, потом, болгар против турок, оставившее на моей душе неизгладимый след и глубокий интерес к Балканскому полуострову. Мои симпатии были, конечно, на стороне славян, и я сделал бессмысленную попытку бежать из дому, чтобы стать в ряды инсургентов. Конечно, я был арестован уже на Варшавском вокзале и препровожден домой. Это был мой первый арест, произведенный полицией, когда мне было одиннадцать лет». В 1877 г. подросток был определен в гимназию при Императорском С.-Петербургском историко-филологическом институте, но в 1882 г. по желанию родителей переведен в 4-ю Ларинскую гимназию. Тогда же сильнейшее впечатление на него оказал роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», и именно его воздействие, пояснял Водовозов, «вместе с семейными влияниями, всего более определило мое юношеское политическое мировоззрение и сделало меня народником». С Чернышевским «несколько странным образом» сочеталось увлечение «Историей цивилизации в Англии» Г. Т. Бокля, внушившего гимназисту «величайшее уважение к естественно-историческому методу в исторических науках», а из мировых писателей наибольшее впечатление произвел Байрон с его «страстным протестом против политического гнета» и «титаническими героями», хотя впоследствии, признавался Водовозов, «в моих симпатиях его вытеснил Пушкин». Вторым сильнейшим впечатлением была Русско-турецкая война 1877–1878 гг., а следующим – покушение В. И. Засулич на столичного генерал-губернатора Ф. Ф. Трепова за его приказ высечь политического заключенного, не снявшего перед ним шапку. Дело Засулич, которую оправдал суд присяжных, отозвавшееся громким эхом во всей России, отвлекло внимание юноши от вопросов международной жизни, а террористическая борьба народовольцев с правительством заставила «горячо относиться к политической борьбе за свободу»[9].

По окончании в 1883 г. гимназии Водовозов, как описывал его сокурсник, «небольшой, чрезвычайно подвижный блондин с

резкими движениями и с резкими суждениями, очень начитанный и очень самоуверенный»[10], поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета и, едва начав занятия, 19 ноября был принят в студенческое Научно-литературное общество[11], по рекомендации, видимо, будущего историка-медиевиста И. М. Гревса, тоже выпускника Ларинской гимназии. Первую скрипку в обществе, созданном в январе 1882 г. под председательством профессора русской литературы О. Ф. Миллера, играли братья С. Ф. и Ф. Ф. Ольденбурги и князь Д. И. Шаховской, вокруг которых образовался кружок «горячих идеалистов», мечтавших о «просвещенном демократическом либерализме» и «свободе для всех». В обстановке гнетущей реакции, последовавшей за цареубийством 1 марта 1881 г., когда «скептицизм или равнодушие, апатия или придавленность захватывали широкие круги молодежи», члены кружка, считая, вслед за Л. Н. Толстым, что «так жить нельзя», желали «поступать нравственно», «трудиться не для себя, а для мира» и, посвятив себя служению народному просвещению, науке и общественному прогрессу, вести свою работу «не разрушительным натиском, а положительным строительством»[12].

Вспоминая через три с половиной десятилетия «маленькую, задорную, пылкую фигурку» Водовозова, который принес в университет свои «остро пробудившиеся умственные интересы и знания», Гревс замечал: «Он довольно быстро сблизился с нашим кружком и стал общим другом. С ним вместе много было пережито в юности и позже; потом открылись и разногласия, но мысль о нем и его образ вызывают нежное чувство и теперь, когда редко видимся и жизнь наложила на душу каждого тяжелые борозды». Но уже тогда Водовозов проявил себя «буйным идейным радикалом», ополчившись против сочувственного изложения одним из студентов изданной в 1884 г. книги Л. Гелленбаха «Индивидуализм в свете биологии и современной философии» с предисловием В. С. Соловьева. «Юный В. В. Водовозов, – свидетельствовал Гревс, – возмущенный “проповедью метафизики”, разразился хлесткой отповедью, которая, помню как сегодня, начиналась развязными словами: “В доброе старое время, когда еще верили в Бога…” Такой тон носила вся аргументация, не лишенная местами остроумия и едкости». Хотя собрание решительно осудило новичка за столь «легкомысленное» выступление, общественное неодобрение не вызвало в нем самолюбивой обиды: «…он сам понял нетактичность и несолидность своего поступка, признал себя совершившим ошибку и сумел отрешиться от поверхностного, бойкого фельетонного способа развития идеи». Другой раз

Водовозов выступил «не совсем кстати, будто бы во всеоружии самоуверенной учености, с целью сокрушить Д. С. Мережковского», который, принятый в Научно-литературное общество 18 октября, прочитал на одном из его собраний свое новое стихотворение «Сакья-Муни», а ершистый оппонент «отыскал в нем искажение буддизма и готовился обрушиться на поэта с беспощадной ученой критикой». Но Мережковский «обезоружил эрудита, сейчас же кротко признав, что он, быть может, действительно отвлекся фантазией от истины», и «приготовленный заряд пропал даром»: противники расстались друзьями. Но, как подчеркивал Гревс, «сблизившись с серьезным зерном общества, Водовозов сам погрузился в сосредоточенную научную работу, стал нам дорогим и ценным сочленом, о сотрудничестве которого душевно приятно вспоминать»[13].

В 1885 г. в связи с введением нового университетского устава, «совершенно исказившего характер историко-филологического факультета», так как он делал упор на освоение классических языков и греко-римской литературы в ущерб изучению отечественной и новейшей историй, Водовозов перешел на юридический факультет[14]. В это же время среди членов Научно-литературного общества образовался «Спенсеровский кружок» (главными его основателями были геолог К. К. Фохт и юрист М. И. Свешников) для изучения вопросов психологии и особенно социологии, превратившийся затем, как определял Гревс, «в маленькую политическую группу, которую по окраске можно было сблизить с типом радикалов-парламентаристов», но «отдавалась в нем известная дань и социализму; некоторые прямо разделяли его учение». В кружке участвовали и будущий академик В. И. Вернадский («больше всех нас тогда интересовавшийся политикой»), и знаменитый впоследствии адвокат А. С. Зарудный («очень ратовавший вообще за расширение элемента политической борьбы в нашей компании»), и рано умерший талантливый педагог Ф. Ф. Ольденбург, и, конечно, темпераментный Водовозов. На заседании Научно-литературного общества 19 февраля 1886 г., посвященном 25-летию отмены крепостного права, на котором профессор О. Ф. Миллер процитировал строки А. С. Пушкина «Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный и рабство, падшее по манию царя…», именно Водовозов сделал доклад, «сдержанный, содержательный», о ходе законодательных работ по освобождению крестьянства. Свою речь он закончил мыслью, что «в такой день должно не столько критиковать недоделанное, сколько оценивать значение осуществленного блага в прошлом, чтобы опираться на нем среди мрачного настоящего для подготовки лучшего будущего», и для

столь «пылкого радикала», замечал Гревс, в этом тезисе «открывалось много сознательного чувства меры»; в заключение докладчик зачитал манифест от 19 февраля 1861 г., выслушанный присутствующими стоя[15].

С осени 1886 г. Водовозов занимался нелегальным изданием в литографированном виде религиозно-философских трактатов Л. Н. Толстого и книг о социализме и истории революционного движения в России, а в феврале 1887 г. был арестован по доносу и после следствия в январе 1888 г. сослан в Архангельскую губернию, в Шенкурск, на 5 лет. В переписке О. Ф. Миллер, которого Водовозов называет своим «учителем, другом и товарищем», старался приободрить юношу: «работайте и не хандрите»[16], а мать с В. И. Семевским навестила сына в Шенкурске, куда к нему приезжал и С. Ф. Ольденбург. «В ссылке, – писал Водовозов, – впервые я изучил сочинения Карла Маркса, которые оставили глубочайший след на всем моем мировоззрении. Я не сделался ортодоксальным марксистом, но и перестал быть безусловным последователем Чернышевского, каким был раньше. Всего ближе, пожалуй, мне было учение русского истолкователя марксизма Николая —она [Н. Ф. Даниельсона], но и с ним я был не вполне согласен. Во всяком случае, в области теоретической я с тех пор считал себя критическим марксистом»[17].

Благодаря хлопотам матери, которая, обивая пороги высоких кабинетов, умела настоять на своем («особенно боялся ее натиска министр народного просвещения Делянов, да и Дурново в должности директора департамента полиции ей в конце концов уступал»[18]), Водовозов получил разрешение на временное пребывание в Петербурге с мая по сентябрь 1890 г., а затем срок продлили еще на два месяца, для сдачи экзаменов на степень кандидата прав. В столице Водовозов познакомился с Ольгой Ульяновой, которая писала о нем старшей сестре: «он – очень умный человек, любит говорить и говорит интересно»[19]. Еще до ареста Водовозов пару раз встречался и с Анной Ульяновой, вышедшей замуж за М. Т. Елизарова, вместе с которым Водовозов учился в университете, а через Ольгу познакомился и с ее старшим братом Владимиром, исключенным из Казанского университета и приехавшим в Петербург, чтобы выяснить порядок сдачи экстерном государственных экзаменов, – и даже провел его на один из них. В январе 1891 г. кандидат прав Водовозов вернулся в Шенкурск, где 15 февраля вступил в брак с освобожденной еще в июле из ссылки 25-летней Верой Петровной Шейдаковой. Дочь бросившего жену и детей саратовского купца 2-й гильдии, слушательница Высших женских курсов в Москве и

участница народнических кружков, она провела 14 месяцев в Саратовском тюремном замке и, сосланная в июле 1887 г. в Архангельскую губернию на 3 года, этапом была отправлена в Холмогоры, а оттуда, в марте 1888 г., – в Шенкурск; в июне стрелялась из-за несчастной любви, но через два с половиной года, сблизившись с товарищем по ссылке, вышла за него замуж.

В июле 1891 г. Водовозов получил разрешение отбыть оставшийся срок в Самаре, куда приехал с женой 26 августа, и первое время, до весны, часто посещал жившую в городе семью Ульяновых, хотя «приходил больше к старшей сестре – они читали вместе по-итальянски»[20]. Но в связи с постигшим Россию неурожаем Водовозов активно включился в деятельность самарских благотворительных организаций, которые привлекли местную интеллигенцию к размещению пришлых, бежавших из деревень в город в надежде найти пропитание крестьян, устройству для них столовых и чайных, организации общественных работ, формированию санитарных отрядов, – а В. И. Ульянов был категорически против какого-либо сотрудничества поднадзорных с властями, считая, что «с таким собранием губернаторских чиновников есть один способ разговора: рукой за горло и коленкой на грудь», и доказывал «ничтожность всей подобной помощи голодающим при существующем строе»[21]. Несмотря на разногласия, когда 29 сентября 1892 г. Водовозов с женой уезжал из Самары, простились тепло, а 24 ноября Ульянов обратился к нему с обширным посланием: речь снова шла о голодающих, которым земский участковый начальник С. А. Аксаков выдал хлеб «качества совершенно невозможного, гнилой, с червями», и, хотя «начато было следствие», говорят, что «дело это замяли». Намереваясь все «разузнать», Ульянов описывал, как в Самарском уезде, пригрозив «ослушникам» арестом, не допустили перевыборы местного крестьянина в земское собрание, и подытоживал: «Новое земство, по всей видимости, будет жалкой комедией с действительным хозяйничаньем земских начальников и с неуклюжей внешностью самоуправления». Ленинское письмо, которое Водовозов сохранил в своем архиве[22], впервые опубликовали только в 1966 г.[23], не включив в 55-томное «полное» собрание сочинений, в десяти томах которого приведено громадное эпистолярное наследие лидера большевизма начиная… с 1893 г.!

Тем не менее в своих мемуарах члены существовавшего тогда в Самаре «ленинского» кружка демонстративно уничижительно отзывались о «будущем белогвардейском эмигранте»[24], и, например, Д. И. Ульянов, тогда – гимназист, впоследствии

напишет: «Владимир Ильич недолюбливал его. У этого Водовозова была большая библиотека, так что вся его комната до отказа была заставлена книжными шкафами, все книги были чистенькие, в новых переплетах. Он очень дорожил своей библиотекой, и казалось, что книги любил больше, чем живых людей. По своей начитанности он, вероятно, был первым в городе, но эта начитанность, очевидно, так давила на его мозг, что сам он не представлял из себя ничего оригинального. Он не был ни марксистом, ни народником, а так, какой-то ходячей энциклопедией»[25].

С 1891 г. Водовозов сотрудничал в московском журнале «Юридический вестник» и посылал корреспонденции в столичный еженедельник «Неделя», в котором еще до ареста, с декабря 1886 г., вел рубрику «Политические известия». После возвращения в Петербург литературная работа, которой в ссылке удавалось заниматься только урывками, стала главным делом его жизни: он много печатался в журнале «Мир Божий», писал статьи для Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, в качестве корреспондента газеты «Русская жизнь» побывал в 1893 г. в Германии, а в 1894–1895 гг. – в Болгарии, дипломатические отношения которой с Россией были уже почти десять лет как разорваны. Именно благодаря очеркам «Стефан Стамбулов» в журнале «Русское богатство» (1895. № 4) и «По Болгарии. Из воспоминаний о поездке 1894 г.» в «Вестнике Европы» (1895. Т. 5. Кн. 9/10) Водовозов стал известен широкому кругу читателей. В декабре 1895 г. Водовозов с женой обосновался в Киеве, а в июне 1896 г. ему дозволили недельное пребывание в Петербурге в связи с кончиной младшего брата, умершего 25 мая, тоже от чахотки, в Вене. Автор биографического очерка о Мальтусе (СПб., 1895) и посмертно изданного сборника «Экономические этюды» (М., 1896), Н. В. Водовозов женился на дочери совладельца торгового дома и судоходного общества «Добровольный флот», основав с ней издательство, в котором в 1899 г. под псевдонимом В. Ильин вышли первые ленинские труды – «Экономические этюды и статьи», «Развитие капитализма в России».

В феврале 1897 г. Водовозов в качестве корреспондента газеты «Русь» отправился в Австрию, где проходили парламентские выборы, но, арестованный, был выслан из страны. В том же году он написал свою первую книгу – «Материалы для характеристики положения русской печати», которую без указания имени автора издал «Союз русских социал-демократов» в Женеве. В мае Водовозов опять уехал в Германию и провел там почти полгода, а вернувшись в Россию, вместе с Н. А. Бердяевым, С. Н. Булгаковым (женившимся на сестре издательницы М. И.

Водовозовой), А. В. Луначарским, М. Б. Ратнером и Е. В. Тарле принял участие в деятельности Киевского литературно-артистического общества, на собраниях которого выступал с рефератами или в качестве оппонента. Но, так как получить официальное разрешение для чтения публичной лекции было сложно, чаще приходилось выступать нелегально в частных квартирах, и 29 апреля 1900 г. Водовозов с женой был арестован на реферате Луначарского о Г. Ибсене. Предполагалось, что Водовозов и Тарле будут оппонировать докладчику, но вместо этого оба оказались в одной тюремной камере.

В ноябре 1900 г. Водовозов в очередной раз уезжает в длительную заграничную поездку по Европе, из которой возвращается только в мае 1901 г. «Живя в Киеве, – писал он, – я имел близкие отношения с обеими политическими партиями того времени, социал-демократической и социал-революционной, не вступая активно ни в ту, ни в другую. По общей программе мне были ближе социал-демократы, но их сектантский дух и кружковщина отталкивали меня от них, и я по большей части играл роль своего рода маклера между двумя партиями, стремясь к их сближению между собой и к общим действиям»[26]. В возможность близкой победы социализма Водовозов уже решительно не верил и, наблюдая «линяние» европейской социал-демократии, отход ее от марксистской революционной ортодоксии и стремление приспособиться к буржуазному миру, сгладить противоречия, взять курс на «бесконечное» движение в сторону постепенного реформирования общественного строя, предрекал неизбежность победы социал-ревизионизма. Он указывал, что исходной точкой его мировоззрения, сильно окрашенного в пессимистические цвета, было разочарование в социализме, убеждение, что это не научное учение, а, по сути, религиозное.

Лето и начало осени 1903 г. Водовозов снова провел в Германии: наблюдал очередные выборы в рейхстаг и прусский ландтаг, посещал заседания съезда немецких социал-демократов в Дрездене (в 1898 г. он уже присутствовал на их форуме в Штутгарте), а затем участвовал в совещании, на которое съехались русские «конституционалисты» – сторонники редактируемого П. Б. Струве журнала «Освобождение». Вернувшись в Киев, «революционный пессимист», как называл его Струве, организовал вместе с Булгаковым и Бердяевым местное отделение либерального Союза освобождения, который, как предполагалось, объединит все оппозиционные правительству элементы, мечтающие о введении конституции. С ноября Водовозов вел иностранный отдел в ежедневной газете «Киевские

отклики», а с марта 1904 г. вошел в ее редакционный комитет, но одновременно вел иностранную хронику в одесском еженедельнике «Южные записки» и по-прежнему много писал для Энциклопедического словаря, в котором ему принадлежит свыше тысячи статей. В ноябре он был приглашен заведовать иностранным отделом ежедневной петербургской газеты «Наша жизнь» и, являясь, как признавался, «по своему характеру всего более газетным человеком», с удовольствием принял это предложение, тем более что большинство членов редакции входило в Союз освобождения. Но уже 5 февраля 1905 г. «Нашу жизнь» запретили на три месяца, и свой вынужденный отпуск Водовозов использовал для написания брошюр по избирательному праву. Еще раньше вместе с другими юристами, членами Союза освобождения, он взялся за разработку проекта будущей российской конституции, для обсуждения которого не раз ездил в Москву, останавливаясь у своего университетского друга В. И. Вернадского.

В череде митингов и собраний, разрешенных после «высочайшего» манифеста 17 октября, Водовозов – постоянный оратор и лектор по вопросам текущей политики, государственного и прежде всего избирательного права. Но когда большая часть Союза освобождения перешла в Конституционно-демократическую партию, Водовозов отказался в нее вступить, что объяснял несогласием не столько с ее программой, сколько с тактикой, а к эсерам и эсдекам не присоединился как из-за неприятия террора первых и узкого догматизма вторых, так и в связи с проводимой ими кампанией бойкота выборов в Государственную думу. В новых условиях газета «Наша жизнь» фактически стала внепартийным органом тех элементов, которые, заняв позицию «левее кадетов», но правее эсдеков и эсеров, группировались в политическом еженедельнике «Без заглавия», который издавала Е. Д. Кускова, объединяя таких же, как Водовозов, «диких» социалистов или «критических» марксистов. Вместе с тем, как вспоминал С. С. Ольденбург, оказавшийся после большевистского переворота в эмиграции (в отличие от своего отца, непременного секретаря Академии наук СССР), но признававшийся, что «с ранних лет считал себя в известной мере учеником Василия Васильевича в деле изучения сложной ткани политической жизни современной Европы», Водовозов «обладал одним свойством, крайне редким в людях с живым политическим интересом: он умел видеть явления современной жизни вне зависимости от своих симпатий и антипатий». Водовозов «умел беспристрастно и добросовестно вглядываться в самые для него чуждые и идейно ему враждебные течения», мог «от себя»

охарактеризовать ту или иную партию, того или иного человека весьма нелестным выражением, но в то же время «с полной точностью излагал их взгляды, не приписывая им того, что им несвойственно», т. е. «при зачастую яром полемическом тоне в спорах Василий Васильевич отличался редким отсутствием злобности и предвзятости»[27].

Впрочем, филиппики, которые Водовозов со свойственной ему прямотой и горячностью обрушивал против кадетов, вызывали искреннее недоумение у еще вчера близких ему людей. Уважая большую часть выдающихся деятелей Конституционно-демократической партии, в рядах которой были многие его друзья (В. И. Вернадский, И. М. Гревс, А. А. Кауфман, С. Ф. Ольденбург, Д. И. Шаховской и др.), безусловно веря в их личную честность, Водовозов считал, что под знамена кадетов собрались «люди умеренные по темпераменту, умеренные по своим убеждениям», «не идущие впереди событий, а увлекаемые ими», и отрицание социализма и республики привлечет в их партию «элементы, являющиеся не только демократами и революционерами в весьма малой степени», но и откровенно «враждебные интересам трудящихся масс». Невинные слова предвыборного воззвания Василеостровского районного комитета партии: «То, чего добивались наши отцы и мы, о чем мечтали наши деды, стало, наконец, нашим правом: мы – граждане русской страны, призванные чрез своих представителей управлять нашей родиной» – Водовозов заклеймил «позорными», поясняя, что мечтали вовсе не об ущербной думе, «избираемой в отдельных стойлах четырехстепенным образом», а о «парламенте, основанном на всеобщем голосовании». Но, порицая кадетов, «тянущихся в хвосте общественного движения», Водовозов делал оговорку, что все же пока они играют «положительную роль, закрепляя завоевания революции», и вступать с ними в активную борьбу «значит тратить даром силы, которые нужно направлять против деспотизма»[28].

С. Ф. Ольденбург, которого статья Водовозова «глубоко огорчила», пенял ему 20 января: «У нас так принято с легкой совестью говорить оскорбительные вещи, что на них и внимания не обращают. Но ты не такой и тем не менее, не подумав и не взвесив хорошенько, нашел возможным кинуть слово “позорный” по отношению к документу, за которым не мог не видеть, среди других имен, имя человека, которого ты знаешь более 20 лет и о котором, думаю, ты ничего нечестного и позорного не знаешь». Упрекая автора в «непростительном легкомыслии», показывающем, что Водовозов остается «в значительной мере теоретиком и кабинетным человеком», Ольденбург признавал, что

между социалистами и кадетами – «конечно, пропасть», но первые ставят заведомо недостижимые цели, а вторые – «только то, что они берутся осуществить, не обманывая никого несбыточными обещаниями», поскольку «не на потоках крови, разоренных фабриках и сожженных усадьбах построится новая Россия, – это только тормозы, как и московское восстание». Ольденбург считал, что Водовозов «как честный журналист обязан взять слово “позорный” назад», но заканчивал свое письмо: «Искренно уважающий тебя и любящий»[29].

Столь же примирительно укорял «старого друга» и Кауфман: «Зачем и вы, и вам подобные тратите столько времени и места на полемику с конституционными демократами? И зачем я, и мне подобные будем тратить столько времени и сил на полемику с людьми вашего типа?.. Я понимаю, если с нами ведут ожесточенную войну с[оциал]-д[емократы] (русские с.-д.!) или крайние с[оциалисты]-р[еволюционеры]; я понимаю, что и нам, сторонникам конституционных способов борьбы и эволюционных путей экономического развития, приходится бороться с ними, потому что с ними наше разногласие – разногласие не в программе, не в конечном идеале, а в тактике – коренное и непримиримое: *они* считают вредной и гибельной нашу “игру в парламент” и наше, по их мнению, постепенчество; – *мы* считаем гибельными и вредными непрерывную революцию и проведение в жизнь “захватного права”. Но *нам с вами*, право, ни к чему съедать друг друга. <…> *Пока* мы боремся в политической области за то же, что и вы: за свободу личности и свободные политические формы; в экономической – почти за все, что стоит и в вашей практической программе. А если мы теперь определенно написали в своей программе конституционную монархию, если мы не требуем учредительного собрания, – так разве это так важно?!»[30]

Возражая против утверждения Водовозова, что в ходе избирательной кампании в Думу кадеты «тщательно остерегались марать себя союзами налево и в то же время охотно делали книксены направо»[31], эмоциональный Гревс обратился к нему 2 апреля с «открытым письмом», не попавшим, впрочем, в печать, под заголовком «Умейте быть справедливым!». С горечью упрекая Водовозова за его сомнения в чистоте демократических намерений прежних соратников, Гревс призывал Водовозова не сражаться с «ветряными мельницами» и «придуманными врагами», а, присоединившись к конституционным демократам, укрепить левый фланг их партии: «…Идите лучше к нам со своими большими знаниями, испытанной преданностью свободе и народному праву, со своею неукротимой энергией и

самоотверженным сердцем. Лучше поздно, чем никогда! Тогда Вы останетесь критиком, но приобретете беспристрастие»[32].

С другой стороны, Ульянов-Ленин, который на апрельском IV (Объединительном) съезде РСДРП снисходительно характеризовал Водовозова «добрым болтуном», желающим «стоять левее кадетов»[33], уже летом не без удовлетворения отмечал, что этот «полу-кадет, полу-меньшевик», ратовавший за поддержку на выборах конституционных демократов, ныне прозрел, заявляя, что весь характер их партии определяет «коренное противоречие между радикальной программой и совсем нерадикальной тактикой»[34].

Не без влияния народнических идей, воспринятых от родителей-шестидесятников и их ближайшего окружения, Водовозов начинает тесно сотрудничать с преимущественно крестьянской по составу Трудовой группой, насчитывавшей в первой Государственной думе более сотни депутатов, т. е. почти четверть ее состава. Трудовики нередко приглашали его для докладов по разным вопросам парламентской жизни, и понемногу он «втянулся в работу Трудовой группы и скоро стал активным ее членом»[35]. Не допущенный к выборам в депутаты и затем вовсе лишенный избирательных прав, Водовозов как член юридической комиссии Трудовой группы получил на ее заседаниях право решающего голоса, а в июле после роспуска Думы вместе с ее депутатами отправился в Выборг, где по поручению трудовиков составил проект революционного воззвания к народу, но большинство проголосовало за текст, предложенный кадетами. В октябре на 1-м съезде Трудовой группы Водовозов был избран членом ее центрального комитета и оставался в нем вплоть до лета 1917 г., когда произошло объединение трудовиков с народными социалистами.

С 12 января 1906 г. Водовозов – официальный редактор газеты «Народное хозяйство», выходившей вместо приостановленной «Нашей жизни», а после возобновления ее выпуска 22 января занимает в ней ту же должность, одновременно заведуя иностранным отделом и являясь обозревателем по вопросам избирательного права. «По каждому вопросу в его архиве было собрание газетных вырезок и других материалов, – вспоминал член редакции М. И. Ганфман, – и помощники Василия Васильевича нередко стонали от той требовательности, которую он предъявлял к ним, как к себе самому». Припоминая их столкновение по поводу одной из «опасных» статей, в которой Водовозов бесстрашно прокламировал введение республиканской формы правления, Ганфман отмечал, что тщетно члены редколлегии, которых

отнюдь нельзя было упрекнуть в монархизме, доказывали автору «неактуальность» столь рискованной темы: «В[асилий] В[асильевич] стоял на своем и заявил своим отчетливым чеканным тоном: “В этом случае я первый раз в своей практике ссылаюсь на мои права ответственного редактора. Я беру на себя не только политическую и моральную ответственность, но и уголовную”»[36].

Рассмотрев 17 августа 1906 г. «литературные преступления» Водовозова, Особое присутствие С.-Петербургской судебной палаты оправдало его по пяти из них, но за две газетные статьи приговорило соответственно к 6 и 3 месяцам тюремного заключения, а за очередной выпуск «Сборника программ политических партий в России», изданный под видом журнала «Вестник свободы», – к заключению в крепости сроком на один год с воспрещением «принимать на себя в течение пяти лет звание редактора или издателя какого бы то ни было повременного издания»[37]. Водовозов подал кассационную жалобу в Правительствующий сенат, но вслед за одними обвинениями следовали другие! «Едва приговор, – указывал Водовозов, – вступал в законную силу и я уже отбирал вещи для переселения в казенную квартиру, как ко мне являлся дворник с повесткой с вызовом к следователю для допроса по новому делу. Это не было новым, по времени совершения, преступлением, – в таком случае оно не послужило бы поводом для отсрочки наказания; напротив, все мои преступления были совершены в 1905–6 г., но разбирались они вплоть до 1912 г. В этом отношении мне повезло совершенно исключительным образом»[38].

В ходе избирательной кампании во 2-ю Государственную думу Водовозов призывал оппозицию, от кадетов до социал-демократов, к заключению предвыборного соглашения, считая, что задача трудовиков – «главным образом объединительная» и они добровольно взяли на себя роль «свата»[39]. Тем не менее на предвыборном собрании 22 января 1907 г. в Тенишевском училище Водовозов пенял кадетам, что они «ведут уже какие-то таинственные переговоры с правительством», а их лидер П. Н. Милюков был принят П. А. Столыпиным. «Я не порицаю самого факта хождения к Столыпину, – замечал Водовозов, – но плохо то, что кадеты все это делают в тиши, за спиной избирателей, и что г. Милюков хранит в глубокой тайне результаты своего визита». Говорят, заявил Водовозов, что между правительством и Милюковым уже имеется «какая-то сделка», после чего, как сообщала кадетская газета «Речь», в зале «поднимается неистовый шум и звучат крики: “Довольно!” Председатель просит публику успокоиться, и оратор продолжает: “Кадеты боятся народа, они

избегают поэтому всяких призывов к самодеятельности народной". Снова протесты и крики: "Довольно, долой!"»[40] Милюкову пришлось сознаться, что он действительно посетил Столыпина «по вопросу о легализации партии», хотя из разговора выяснилось, что условием для этого «ставятся некоторые шаги, не вытекающие из нормального порядка ведения дела о регистрации и для партии неприемлемые»[41]. Впрочем, признание Милюкова не удовлетворило Водовозова, который, ратуя за формирование «левого блока», в своих речах и статьях по-прежнему страстно «громил кадетов, кадетскую тактику, кадетскую программу»[42].

В Думе трудовики опять заняли второе, после кадетов, место по количеству депутатов, но деятельность ее продолжалась всего чуть более трех месяцев, с 20 февраля по 3 июня 1907 г. «Речь» пренебрежительно характеризовала Трудовую группу «фатальным пустым местом» и «вывеской при своей собственной парламентской фракции», «крепкой только задним умом», которая, занимаясь демагогией и рекламируя себя, кормит «неисполнимыми обещаниями» крестьян[43]. Водовозов, по мнению кадетов, являлся одним из лидеров Трудовой группы, которые, претендуя «руководить этим несчастным, бородатым, тяжелым на подъем крестьянским миром», сознательно, для «туманного будущего», жертвуют настоящим «огромного класса русского населения», рекомендуя «размахивать картонным мечом в надежде, что кто-нибудь примет его за настоящий»[44]. Водовозов не мог удержаться от ответа и, отвергая совет преобразовать Трудовую группу в крестьянскую партию, утверждал, что «исторический момент требует совместных действий крестьянства, рабочего класса, интеллигенции, городской ремесленной буржуазии, – объединения, а не разъединения». Если кадеты, запальчиво доказывал он, выступают за реформирование государства «путем сделок, соглашений, уступок и полу-уступок направо и налево (главным образом направо)» и считают, что нужно пользоваться правом голоса в Думе не для выставления своих требований, а с целью «охранять» его, совершенно похоронив себя как «партию оппозиции», то трудовики, напротив, убеждены, что «путешествия в министерские прихожие в прямом и переносном смысле являются приемами борьбы совершенно дискредитированными», а разрешение земельного и других наболевших вопросов, помимо думской работы, возможно только за счет поддержки и организации широких слоев народных масс. «Могу уверить "Речь", – подчеркивал Водовозов, – что я никогда не брал на себя задачи быть лидером или руководителем крестьянства или хотя бы крестьянских депутатов; я выступал в думской Трудовой

группе почти исключительно тогда, когда меня просили высказаться по какому-нибудь вопросу в пределах моих специальных знаний; меня скорее можно назвать юрисконсультом Трудовой группы, чем ее лидером»[45].

После запрещения «Нашей газеты» в августе 1906 г. Водовозов заведовал иностранным отделом и состоял членом редакций заменивших ее газет – «Товарищ» (август 1906 г. – декабрь 1907 г.), «Столичная почта» (октябрь 1906 г. – март 1908 г.), «Наш век» (январь 1908 г.), «Наша газета» (март 1908 г., январь – апрель 1909 г.), «Правда жизни» (декабрь 1908 г. – апрель 1909 г.), участвуя и в других периодических изданиях. Кускова, с которой Водовозов был связан многолетним товариществом – не только по работе в демократической прессе, но и политическими пристрастиями, считала, что настоящим его призванием являлись «познание и претворение точных научных данных в популярную газетную, журнальную статью или брошюру, доступную массовому читателю». Водовозов «был ценнейшим сотрудником всякого литературного предприятия именно потому, что его энциклопедизм всегда сочетался с добросовестностью, почти скрупулезным отношением к объективной постановке проблемы или фактов. Заскакивать вперед, оперировать “интуицией” вместо анализа или же кормить читателя отсебятиной вместо сообщения ему точных данных по данному предмету он не любил. В редакции мы шутя называли его “энциклопедическим словарем”, а в энциклопедических словарях он был незаменимым работником именно в силу этого пристрастия к точному и четкому знанию»[46]. Другой коллега, А. М. Хирьяков, отмечал, что, хотя Водовозов не посвятил себя преподавательской деятельности, наследственность сказывалась в его стремлении выражать свои мысли «в наиболее ясных, точных и удобовоспринимаемых формах», и даже самый склад речи был характерно педагогическим: «Он отчеканивал фразу за фразой, как бы стараясь вдолбить в головы слушателей с наибольшей прочностью те воззрения, которые считал правильными. Как сейчас вижу его с характерным потряхиванием головы и укоризненно повторяющим: “глаза, господа, даны человеку для того, чтобы видеть, а не для того, чтобы только моргать, а уши даны, чтобы слушать, а не хлопать ими”»[47].

В конце 1904 г. Водовозов стал одним из инициаторов проведения совещания представителей периодических изданий, на котором обсуждалась идея созыва I Всероссийского съезда русской печати. Состоялся он только в июне 1908 г. и, помимо решения профессиональных задач, обсудил, как отметить 80-летие Л. Н. Толстого. Водовозов, избранный одним из секретарей

«комитета съезда повременной печати», нес большую часть его практической работы: от составления и рассылки «циркуляров», приглашавших зарубежных деятелей присылать статьи для «толстовского» сборника, а редакции – их номера, посвященные юбилею, до чтения лекций[48]. «Первая революция, давшая на время русскому обществу некоторую свободу, – писал Водовозов, – дала возможность мне выступать в качестве публичного лектора по разным вопросам политики, государственного права и истории литературы, в частности я особенно охотно читал публичные лекции о Пушкине. В течение 1905–07 гг. я прочитал бесчисленное множество таких лекций в различных городах Российской империи. По большей части эти лекции оканчивались благополучно, но иногда прерывались полицией и вызывали составление протокола. С 1907 г. лекции почти систематически запрещались и только с 1911 г. вновь изредка разрешались»[49].

Во время избирательной кампании в 3-ю Государственную думу Водовозов намечался петербургским кандидатом Трудовой группы, но ввиду опасений, что он не будет допущен к выборам, совещание народных социалистов и трудовиков решило снять его кандидатуру[50]. В новую Думу, открывшуюся в ноябре 1907 г., вследствие ужесточения избирательного законодательства трудовики смогли провести лишь 14 депутатов: численность фракции сократилась более чем в шесть раз. «Начался для нас период бледный и вялый, – сетовал Водовозов. – Мы были слабы в Думе, у нас не было крупных талантов, и большого влияния на Государственную думу мы не могли иметь»[51]. В мае 1909 г. Водовозов сделал попытку уйти на педагогическую работу, подав прошение попечителю Кавказского учебного округа об утверждении «в звании преподавателя» с программой лекций по курсам «новой истории и русской истории до Петра Великого», которые он намеревался читать на Высших женских курсах в Тифлисе[52]. Получив, видимо, отказ из-за политической «неблагонадежности», Водовозов снова уехал за границу – в Константинополь, где в результате младотурецкой революции был низложен султан Абдул-Хамид II и введена конституция, о чем писал для газеты «Русское слово»[53], и его статьи в «Турецком сборнике»[54] оценивались как «наиболее содержательные»[55].

Вернувшись в Петербург, где в связи с довыборами в Государственную думу шли избирательные собрания, Водовозов по обыкновению резко нападал на кадетов, упрекая Милюкова, ездившего в составе парламентской делегации в Лондон, за его заявление, что в России есть «конституция и ограниченная монархия»[56]. Хотя в пылу агитационной полемики Водовозов

отзывался о лидере кадетов весьма нелицеприятно, он признавался, что если бы кто-нибудь взялся за «большую характеристику Милюкова как человека и общественного деятеля», наполнив ее одними насмешками над его лондонской речью и переговорами о министерском портфеле, то «решительно восстал бы против и сказал: “Здесь не весь Милюков”»[57].

Принятый в октябре 1907 г. в С.-Петербургское литературное общество, Водовозов вошел в состав оргкомитета по устройству 2-го Всероссийского съезда писателей[58], на котором 23 апреля 1910 г. представил проект устава писательской организации и сделал доклад об авторском праве, доказывая, что право на перевод должно быть «свободным»[59]. Одно из следующих заседаний съезда, 26 апреля, ознаменовалось скандалом: депутат 1-й Государственной думы, доктор агрономии Т. В. Локоть, издававший юдофобский еженедельник «Киев», выступил с докладом «О национализме и периодической печати», в котором, демонстрируя «таблицу, показывающую в процентном отношении, какая из национальностей занимается более выгодными профессиями», уверял, что «поляки и особенно евреи стремятся захватить мир». Водовозов и другие ораторы резко возражали, а когда докладчик вновь занял кафедру для заключительного слова, большая часть съезда покинула зал в знак протеста, вызвав реплику Локотя, что ушли, мол, как и следовало ожидать, евреи[60]. «Я не уходил, – обращался Водовозов в «открытом» письме к вчерашнему соратнику (Локоть вышел из Трудовой группы в апреле 1909 г.), – так как мне было интересно узнать, что вы можете возразить оппонентам и в том числе мне, но, возмущенный недопустимым, чисто нововременским приемом зачисления всех своих противников в ряды нелюбимой вами народности, я крикнул вам: “Вы лжете! Я – русский, и я ухожу!” За мной ушла почти вся аудитория…» Водовозов, избранный 28 апреля в президиум оргкомитета Всероссийского литературного общества, одним из его секретарей и членом «суда чести»[61], считая, что Локоть обязан «договорить до конца», предложил ему публичный диспут[62]. Вызов был принят, но во избежание «возбуждения национальной вражды» киевский губернатор запретил «словесную дуэль», и, хотя ее перенесли в столицу, назначив на октябрь, большинство С.-Петербургского литературного общества посчитало, что его трибуна не место для антисемитских речей[63]. Водовозов был раздосадован таким «актом нетерпимости»[64], тем более что являлся членом совета и, с 3 мая 1910 г., секретарем общества, оставаясь в этой должности до закрытия его 1 июля 1911 г. за «суждения, имевшие своим предметом критику распоряжений правительства»[65].

Помимо газетной работы, в 1908–1909 гг. Водовозов вел постоянную рубрику «Иностранная жизнь» в литературном, общественно-политическом и популярно-научном журнале «Бодрое слово», выходившем дважды в месяц. С осени 1909 г. столь же регулярно Водовозов помещал свои обзоры – «Русские журналы» и «Государственная дума» – в еженедельном издаваемом Р. М. Бланком вестнике культуры и политики «Запросы жизни», в котором весной 1912 г., во время предвыборной кампании в 4-ю Государственную думу, напечатал статью «Избирательная программа Трудовой группы». Водовозов доказывал, что «интересы крестьянства, рабочего класса и трудовой интеллигенции не только не противоречат друг другу, но и почти тождественны», вследствие чего одна партия вполне могла бы обслуживать интересы всех трех социальных групп, но в силу исторических условий «рабочий класс нашел свое представительство в лице партии социал-демократической, и потому Трудовая группа естественно должна была явиться по преимуществу политической представительницей крестьянства»[66]. Этот тезис вызвал резкую отповедь Ленина, который, рассматривая трудовиков как «народнических ликвидаторов», то есть ограничивающих политическую деятельность исключительно легальными формами[67], решительно не соглашался с их претензией на создание «надклассовой партии». Ленин писал, что Водовозов, говоря о «глубокой пропасти», лежащей между кадетами как «мирными эволюционистами» и трудовиками, полагающими, что «только коренной и глубокий переворот во всем государственном и социальном строе может вывести Россию на дорогу правильного и здорового развития», слишком неглубоко понимает грань между демократизмом и либерализмом, игнорирует различие классовых интересов. Обличая «недостаточную последовательность трудовиков как буржуазных демократов», Ленин язвил, что они хотят быть радикальнее кадетов, но отказываются от признания их «контрреволюционного либерализма»[68].

Посчитав марксизм Ленина «крайне упрощенным, вульгаризованным, открыто пренебрегающим историческими фактами», Водовозов ответил ему статьей «Трудовая группа и рабочая партия». Он указывал, что различие между классовыми интересами крестьянства, выражаемыми в радикальных взглядах трудовиков, и городского населения, обслуживаемого кадетами, которые требуют «хотя и очень существенных, но все-таки частных реформ», очень велико, что и обусловливает резкую противоположность взглядов тех и других на «коренной переворот», «мирную эволюцию» и вообще государственный строй

в России. Но при всем различии взглядов трудовики полагают «крайне нетактичным слишком много говорить о контрреволюционности кадетов и убеждены, что, во всяком случае, не борьба с ними составляет насущную задачу дня, как в этом же убеждены, к счастью, и очень многие, и притом весьма заслуженные, социал-демократы»[69]. На эту статью Ленин снова откликнулся, негодуя: «Вот тебе раз! При чем тут “тактичность”? при чем тут “слишком много”? Если правда, что кадеты – контрреволюционные либералы, то правду говорить обязательно». Он упрекал Водовозова в желании «уклониться от ответа по существу: контрреволюционны кадеты или нет», что расценивал как «зависимость части демократов и части бывших марксистов от либерализма»[70]. Но Водовозов относился к ленинским инвективам весьма скептически и 9 августа делился с Кусковой: «Бекам я никогда не сочувствовал, не сочувствую и теперь и надеюсь, от напасти сочувствия им меня Бог избавит и на будущее время. Но я думаю, что беки остались только в Петербурге и то – только настолько, чтобы спутать и испортить дело, но не настолько, чтобы сделать что-нибудь самостоятельное. В остальной России их, кажется, и в помине нет, так же, как и эсеров, да и вообще…»[71].

В 1911–1913 гг. Водовозов являлся членом редакции «внепартийного демократического» журнала «Современник», в котором вел общественно-политический отдел[72]. Параллельно с 27 августа по 26 ноября 1912 г. он издавал совместно с Н. И. Кулябко-Корецким и редактировал еженедельную политическую и литературную газету «Столичные отклики», задачей которой ставилось «объединение всей левой оппозиции» и проведение в 4-ю Государственную думу «лиц, близких по убеждению Трудовой группе». Но в Думе, открывшейся 15 ноября, трудовики получили лишь 10 депутатских мест, и, сообщая о закрытии «Столичных откликов», издатели поясняли: «Сначала дело шло сравнительно благополучно. За № 1 наш первый редактор [С. С. Иванов] отсидел в административном порядке два месяца, но номер конфискован не был. № 2 прошел вполне благополучно. № 3 конфискован с привлечением к суду редактора, но №№ 4 и 5 опять прошли благополучно. Однако, начиная с № 6, дело меняется. Из семи номеров (№№ 6–12) конфисковано шесть. Постановление о конфискации производилось иногда через несколько минут после представления соответственного номера в цензурный комитет, то есть в такой срок, в какой прочитать его, очевидно, невозможно; из этого ясно, что решение составлялось заранее, а под него подводился юридический, весьма слабой конструкции, фундамент позднее так, что порой комитету

приходилось даже брать его назад. Несколько раз инкриминировался простой пересказ статей, заимствованных из газет, которые за них никаким преследованиям не подвергались. Ясно, что нас преследовали не за содержание, а за то, что наша газета является органом нелегализованной группы. При таких условиях ее ведение оказывается невозможным, и мы прекращаем ее впредь до изменения обстоятельств»[73].

Кадетская деятельница А. В. Тыркова-Вильямс, редактировавшая петербургскую газету «Русская молва», вспоминала, что зимой 1912–1913 гг., когда на Балканах шла война, Водовозов, «как шекспировский прорицатель», уверял, что буржуазный мир идет к гибели, но «лихорадочные речи» этого «честного и доброго» чудака мало кто воспринимал всерьез: «Всем своим обликом он олицетворял образ русского интеллигента, пожалуй – даже нигилиста. Из карманов его помятого пиджака торчали газеты и книги на всех языках. Кое-как завязанный галстук сползал в сторону. Выкрикивая свои изречения, Водовозов встряхивал головой, и мелкие кудри извивались вокруг его головы, как темные змейки. Он был глухой и кричал, точно все кругом тоже были глухие. Нелепый был вид у этого начитанного, напитанного знаниями журналиста. Водовозов твердил, что вслед за Балканской войной придет другая или даже череда войн, ибо капиталистический мир будет драться за рынки, за гегемонию. На возражения, что цивилизованное общество не допустит кровопролития, Водовозов буквально взрывался: “Я вам говорю – мы входим в длительную эру военных конфликтов и революций”». Тыркова-Вильямс не поверила ему тогда: «Чего этот кабинетный начетчик нас стращает?», – но в последующие годы, когда «войны и бунты стали взметать народы и людей, как пыль», ей не раз вспоминался чудаковатый провидец Водовозов[74].

В июне – июле 1913 г., во время быстротечной Второй Балканской войны между вчерашними союзниками, Водовозов находился «в самом центре событий, в Софии и отчасти других местностях Болгарии, а также в Константинополе»[75]. В конце 1914 г. он снова отправился на Балканы и, принятый 16 декабря регентом-престолонаследником Сербии, будущим югославским королем Александром, писал, что везде его «встречали предупредительно губернаторы, исправники и другие власти», а в «опасных местах, например по границе Албании», предоставляли военный конвой из нескольких конных жандармов[76]. 15 марта 1915 г. в Обществе славянского научного единения Водовозов сделал доклад «О сербской Македонии и о сербско-болгарских отношениях» (весь сбор шел «в пользу сербского населения, пострадавшего от войны»[77]), который вызвал резкую полемику,

ибо докладчик, ратовавший за создание Балканской федерации, считал, что мир на полуострове «могла бы обеспечить только единая автономная Македония», а раздел ее согласно Бухарестскому миру 1913 г. был «тяжелым преступлением», хотя Сербия отчасти загладила свою вину большой культурной работой, и не следует совершать «новое преступление передачей Болгарии уже успевшей сербизироваться Македонии»[78]. Балканский вопрос был одним из тех, которыми Водовозов особенно интересовался, и вслед за очерком «По сербской Македонии. Путевые заметки», напечатанным в «Вестнике Европы», в 1917 г. в издательстве «Огни» вышла его книга «На Балканах. Статьи. Путевые очерки» (за 1913–1916 гг.), которую хвалили за «чрезвычайную объективность»[79], а бывший российский посланник в Черногории А. А. Гирс оценивал как труд «выдающийся и поучительный»[80].

С 1913 г. Водовозов состоял ведущим сотрудником ежедневной общеполитической газеты «День», но, помимо своей журналистской деятельности, участвовал едва ли не во всех российских энциклопедических изданиях, включая «Энциклопедический словарь» (1890–1907), «Малый энциклопедический словарь» (1899–1902, 1907–1909), «Еврейскую энциклопедию» (1908–1913) и «Новый энциклопедический словарь» Брокгауза – Ефрона (1911–1916), «Большую энциклопедию» С. Н. Южакова (1900–1909), «Политическую энциклопедию» Л. З. Слонимского (1906–1908), «Русский биографический словарь» А. А. Половцова (1896–1913), «Энциклопедический словарь» братьев А. и И. Гранат (1910–1915). Оценивая его работу, рецензент предпоследнего тома «Нового энциклопедического словаря», бессменный член ЦК кадетов А. С. Изгоев отмечал «богатую, прямо сказать редкую, эрудицию В. В. Водовозова, которому принадлежит множество статей и заметок, разнообразных по характеру и по размерам», признавая, что «там, где дело касается фактической стороны событий, точность, осведомленность и добросовестность В. В. Водовозова не подлежат спору»[81]. Но казавшийся «сухим строгим педантом, не выходившим из узкого круга своих специальных работ», Водовозов, как подчеркивал Хирьяков, «очень ценил поэзию», «ценил и понимал»[82]. Охотно выступая с лекциями о своем литературном кумире, он посвятил ему статью «Политические и общественные взгляды Пушкина в последний период его жизни»[83], включенную в завершающий том пушкинского Собрания сочинений, изданного в «Библиотеке великих писателей» под редакцией С. А. Венгерова. Поясняя, что счел нужным дать «обстоятельный, занимающий целых 40 страниц

петита, алфавитный указатель ко всем произведениям Пушкина (по заголовку и по первому стиху), в котором указаны также комментарии к ним, разбросанные по всему изданию», Венгеров подчеркивал, что «указатель этот с замечательною любовью и тщательностью составлен известным публицистом и политическим деятелем В. В. Водовозовым»[84].

Первый брак Водовозова распался фактически еще до мировой войны, формально – с кончиной Веры Петровны, последовавшей 28 ноября 1917 г., и новой спутницей его жизни стала Ольга Александровна Введенская, дочь профессора столичного университета и бессменного председателя С.-Петербургского философского общества. Разница в возрасте составляла восемнадцать лет, и 24 октября 1913 г. Ольга Александровна шутливо выговаривала Водовозову, уехавшему в Тифлис с лекциями, что огорчена тоном его письма, сетованиями на «жизненную осень», возражая: «Авось сумеем хорошо прожить и осенью. А в своих жалобах Вы не правы, потому что, несмотря на неблагоприятные условия, Вы вполне сохранили способности живо отзываться на все впечатления и достаточное количество душевной молодости также». Объясняя, почему Водовозов слегка разочарован кавказскими видами, она иронизировала: «…потому что Вы, вопреки Вашей революционно серьезной внешности и невзирая на все Ваши книгоедства, – существо легкомысленное, к суровым впечатлениям не склонное; у Вас вкусы-то все несерьезные: в литературе – Пушкин, в музыке – Глинка». И в заключение просила: «Милый мой, пишите Вы мне, ради Бога, почаще. Уж, кажется, я совсем не склонна попусту беспокоиться и создавать себе воображаемые тревоги, но ведь Вы – такое безрассудное существо, что, когда не получаешь от Вас известий, поневоле всякие предположения в голову лезут»[85].

Водовозов признавался, что мировая война опровергла все его прогнозы и застигла врасплох, ибо он был уверен, что немецкая социал-демократия не помешает развязать европейское побоище, но рассчитывал на чувство самосохранения правящих кругов Германии. Водовозов, по свидетельству трудовика В. Б. Станкевича, пророчил, что «в результате войны на улицах Петербурга и Берлина будут ходить медведи»[86], и еще накануне, как вспоминал С. С. Ольденбург, «высказывал довольно мрачные взгляды на современный европейский парламентаризм», говоря «о росте продажности политических деятелей, о падении чувства ответственности, об измельчении идей», а позднее «испытывал тягостное отвращение к тем потокам лжи и клеветы, которые друг на друга изливали воюющие стороны», ибо «это общее помутнение сознания было ему чуждо»[87]. Соавтор декларации

трудовиков, зачитанной в Думе 26 июля 1914 г., Водовозов категорически не сочувствовал ленинскому «пораженчеству» и стоял на позиции «революционного оборончества», доказывая, что борьбу надо вести «на два фронта: против своего правительства и против немцев». Война развязана благодаря империалистическим инстинктам великих держав, но если она началась, то надо защищаться, задаваясь не завоевательными, а исключительно оборонительными целями, в надежде, что это может привести к свержению деспотизма[88].

Арестованный в ночь на 29 декабря 1915 г., Водовозов был освобожден уже через два дня, но в марте 1916 г. министр внутренних дел и председатель Совета министров Б. В. Штюрмер распорядился об административной высылке его в Иркутскую губернию на три года. Хотя вследствие ходатайств членов Государственного совета Д. Д. Гримма и М. А. Стаховича, ряда депутатов, академиков и профессоров исполнение распоряжения отложили, Водовозов оставался под угрозой высылки. В обращении на имя Штюрмера «друзья и почитатели больного писателя» указывали, что он, «известный в широких кругах общества литератор», несмотря на глухоту и прогрессирующую слепоту, находясь в Петрограде, «имеет возможность продолжать свои работы для двух энциклопедических словарей и в некоторых органах повременной печати»: в частности, занят подготовкой срочно заказанных ему статей для «Нового энциклопедического словаря» и сборника очерков по Балканскому полуострову. «Все близко знающие В. В. Водовозова, – говорилось в петиции, – не могут мириться с мыслью, что присутствие такого человека, всецело ушедшего в литературную работу и научные занятия, проводящего целые дни в своей обширной домашней библиотеке и почти совершенно отказавшегося от каких бы то ни было знакомств, может быть вредно государственному порядку». Но 26 апреля в ответ на ходатайство историка Н. И. Кареева «об изменении меры административного взыскания» замминистра внутренних дел указал, что «лишен возможности что-либо предпринять, так как переписка о г. Водовозове и других передана на распоряжение начальника Петроградского военного округа»[89]. Только в июне Водовозов получил, наконец, разрешение остаться в столице до выздоровления, но с обязательством дважды в месяц подвергаться медицинскому освидетельствованию и с подпиской не заниматься публицистикой[90], вследствие чего до сентября его статьи в газете «День» выходили под псевдонимом А. Радин.

После Февральской революции 1917 г. Водовозов, являвшийся членом ЦК Трудовой группы, с июня – Трудовой

народно-социалистической партии (ТНСП), состоял членом Юридического совещания при Временном правительстве, Совета при министре и юрисконсультом Министерства юстиции, членом Особого совещания для изготовления проекта Положения о выборах в Учредительное собрание, успевая при этом писать брошюры (более полутора десятков!), сотрудничать в «Дне», выступать на митингах и собраниях, читать публичные лекции и совершать агитационные поездки в провинцию. Идеалист Водовозов остается последовательным защитником демократических свобод «для всех», из-за чего категорически возражает против лишения избирательных прав царской семьи или запрещения реакционных изданий, и безусловным сторонником продолжения войны до победы, но без аннексий и контрибуций, с правом народов на самоопределение, прекращением тайной дипломатии и опубликованием секретных политических договоров с союзниками. Именно в связи с преданием им огласке содержания «грубо хищнического» договора с Италией[91] Ленин упомянул в печати «буржуазного демократа г. Водовозова»[92] последний раз, а по поводу другой его статьи, выступая 14 мая, заметил: «Возьмите сегодняшнюю газету “День”. Там Водовозов, человек в большевизме никоим образом неповинный, но честный демократ, заявляет: я противник тайных договоров, позвольте сказать о договоре с Румынией»[93]. Но М. И. Терещенко, преемник П. Н. Милюкова на посту министра иностранных дел, посчитал, что опубликование договоров с союзниками «недопустимо и может лишь повредить» интересам России[94], из-за чего большевистская «Правда» иронизировала, что «газета г. Милюкова очень сердито обругала г. Водовозова»[95].

Еще во время революции 1905 г. Водовозов предсказывал, что не настанут ли дни, когда все скажут: «Нет, лучше какой угодно Плеве, чем *такая* революция», – и, увы, после большевистского переворота они наступили! Недолгое время Водовозов еще участвовал в общественной жизни: член почетного оргкомитета по празднованию 25-летия журнала «Русское богатство» наряду с С. А. Венгеровым, М. Горьким, В. И. Засулич, Г. А. Лопатиным, В. Н. Фигнер и другими известными деятелями, он произнес речь на торжественном заседании, устроенном 14 февраля 1918 г. Петроградским комитетом ТНСП в Тенишевском училище[96]. Три дня спустя Водовозов присутствует на общем собрании Союза русских писателей[97] и упомянут среди двух десятков ораторов из числа меньшевиков, эсеров и народных социалистов, намеревавшихся выступить 16 марта на публичном собрании, приуроченном к годовщине Февральской революции, в зале Калашниковской хлебной биржи[98]. В первой половине года

Водовозов еще бывал на митингах, устраиваемых ТНСП на заводах, и даже читал лекции о гражданских правах на образовательных курсах возглавляемого М. Горьким просветительного общества «Культура и свобода», а на организованном им митинге 31 мая произнес речь «Гибель книги – гибель культуры»[99]. Кроме того, он печатался в «научном» журнале «Международная политика и мировое хозяйство», выходившем при его «ближайшем участии», и «Былом», участвовал в сборнике о Брестском мире[100].

В июле Водовозов получил из Киева письмо от своего приятеля, члена редколлегии газеты «Киевская мысль», меньшевика К. П. Василенко, предлагавшего ему, «как убежденному и последовательному демократу и социалисту», сотрудничество в новом ежемесячном журнале «Родная земля». Предполагалось, что он будет внепартийным, направленным на «восстановление государственно-хозяйственного единства России», борьбу за республику, культуру и европейский социализм, «защиту интересов трудящихся классов». Водовозов с радостью принял это приглашение, ибо, как сетовал, «истомился по отсутствию хорошей литературной работы», собираясь, помимо статьи о пропорциональных выборах, дать изложение «современного российского (совдепского) государственного права» и оценку премьера Временного правительства в связи с его книгой «Дело Корнилова» (М., 1918), но предупреждал: «Я лично отношусь к Керенскому теперь отрицательно». Впрочем, его смущало, как переправлять рукописи в Киев, и, кроме того, Водовозов просил, если сотрудничество все-таки состоится, присылать ему гонорар хотя бы частично продуктами: сахаром, мукой, крупой, поясняя: «Всегда я был очень нетребователен в пище, а теперь со стыдом сознаюсь, что страдаю от их отсутствия сильнее, гораздо сильнее, чем мог бы ожидать раньше». К идее приехать в Киев для чтения лекций Водовозов тоже отнесся «с восторгом», но сокрушался: «Кажется, выезд из Совдепии в самостийную Украину запрещен»[101]. Водовозов писал Василенко не менее пяти раз по разным адресам, безуспешно хлопотал о разрешении на поездку в Киев, и, хотя 16 августа ответственный редактор «Родной земли» А. К. Елачич сообщил ему, что с нетерпением ждет обещанный материал[102], первый номер журнала оказался, увы, и последним.

К осени 1918 г. все оппозиционные партии были разгромлены, митинги (кроме большевистских) запрещены, редакции газет и журналов (кроме лояльных советской власти) закрыты, и Водовозов уже не мог заниматься ни политической, ни публицистической деятельностью. «Им, – вспоминала жена, –

овладела апатия, хандра; он по целым дням сидел дома, перелистывая любимых поэтов и не имея сил ни за что приняться»[103]. Ганфман, описывая их последнюю встречу в трамвае, отмечал, что Водовозов, знавший лично многих деятелей большевизма, буквально пылал негодованием, но «особенно возмущался тем, что эти люди, которые сами так много страдали от отсутствия гражданских свобод, теперь так беспощадно расправлялись с ними и так жестоко преследовали своих противников». Своим громким чеканным голосом, не стесняясь в оценках и словах, а в сентябре уже начинался «красный террор», Водовозов кричал: «Можно ли было ждать, что такой-то и такой-то (при этом он называл имена большевицких сановников) станут такими жандармами!» Ганфман тщетно пытался сменить тему разговора, но Водовозов, прикладывая руку к уху, чтобы лучше слышать его, продолжал свои обличительные речи, и собеседнику едва удалось добиться, чтобы на ближайшей остановке они вышли из трамвая[104].

Но остатки сбережений иссякли, деньги потеряли цену, идея саботажа чиновников выдохлась, а служба в советских учреждениях давала право на хлебную карточку и защищала квартиру от уплотнения. Поэтому осенью Водовозов принял предложение П. Е. Щеголева, заведовавшего отделом в Петроградском историко-революционном архиве (или Петроградском отделении VII, историко-революционной секции Государственного архивного фонда), поступить туда в качестве архивиста. Водовозов занимался подготовкой систематического каталога библиотеки русских нелегальных изданий, хранившейся в I отделении VII секции наравне с фондами Департамента полиции, столичного охранного отделения и ряда жандармских управлений. Но хотя с октября Водовозов являлся уже советским служащим, помимо шести обысков, которым подверглась его квартира в 1918–1920 гг., накануне первой годовщины Октябрьского переворота, во время массовых арестов, он просидел несколько дней на столь знакомой ему Шпалерной, где, как рассказывал, первую ночь провел без сна, а «на вторую один арестованный, помоложе, уступил ему половину железной кровати без матраца, и В[асилий] В[асильевич] спал, подстелив под себя шубу». Жена бросилась к Д. Б. Рязанову, возглавлявшему Главное управление архивным делом Наркомата просвещения, и тот позвонил в Петроградскую ЧК: «Это – человек старый, больной; я требую, чтобы вы немедленно отпустили его; для него и три дня могут быть роковыми»[105]. С января 1919 г. Водовозов заведовал отделом в архиве, но 15 мая вернулся на должность «научного сотрудника»[106].

В феврале того же года 54-летний Водовозов и 35-летняя Ольга Александровна решили, наконец, обвенчаться, о чем она напишет: «Свадьба наша, очень скромная, происходила в церкви архиерейского подворья на 8-й линии, но не в главной, а в маленькой церкви подвального этажа. Было похоже на тайное богослужение первых времен христианства: полумрак, едва освещенный венчальными свечами, ни цветов, ни подвенечного платья; было так холодно, что все стояли в шубах. После свадьбы мои родители угостили присутствующих чаем с домашними сладостями, мы выпили какое-то подобие наливки и пешком отправились к себе»[107]. Лишь 13 апреля 1920 г. они зарегистрировали брак в районном отделе записей актов гражданского состояния[108].

Параллельно со службой в архиве, с осени 1918 г. Водовозов состоял профессором юридического факультета 3-го Петроградского университета, в прошлом – Высших женских курсов, а после объединения в сентябре 1919 г. всех петроградских университетов в один – факультета общественных наук (юридический упразднили), и преподавал также в Политехническом институте. Но Водовозов по-прежнему мечтал о возвращении к публицистике и 9 апреля 1919 г. обратился к недавнему редактору «Ежемесячного журнала литературы, науки и общественной жизни» В. С. Миролюбову: «Я слышал от А. И. Введенского, что Ваш журнал, хотя и в измененном виде, существует (я, к сожалению, ни одного № не видал). А я на этих днях прочел лекцию в одном из новых учебных заведений на тему: “Свобода личная и политическая в ее историческом развитии”. Лекция эта вчерне записана (прилагаю ее программу), и вот я позволяю себе предложить Вам ее для Вашего журнала. <…> На днях я читаю в том же учебном заведении лекцию на тему: “Экономическая, культурная и политическая эволюция человечества”, в которой я популярно излагаю главные теории исторического развития человечества. Вслед за тем читаю две лекции на тему о том, что такое политическая партия и эволюция политических партий. Любую из этих лекций я был бы очень рад увидеть в Вашем журнале»[109].

Но все это были призрачные надежды, а о том, как жилось супругам в голодном и холодном Петрограде в эпоху военного коммунизма, красноречиво свидетельствует дневник, который Водовозов начал вести в октябре 1919 г. Ольга Александровна вспоминала, что зима была очень тяжелой: «Голод, доминирующая над всеми мысль, как бы наесться досыта, чувство безнадежности – все это невольно порождало мечту – хорошо бы уехать из России. Об этом мечтали решительно все, многие и

осуществляли. То и дело передавали: вот бежал в Финляндию Д. Д. Гримм, бежали Мережковские, семья Струве. Понемногу эта мечта начала овладевать и нами; мы начали наводить справки. Легче всего было бежать в Финляндию»[110]. Водовозов безуспешно просил о предоставлении ему «места в одной из финляндских санаторий», объясняя, что вследствие общих тяжелых условий жизни, давнего атеросклероза и нескольких перенесенных болезней, в том числе испанки, страдает «от сильного истощения и сердечной слабости», и состояние его здоровья все ухудшается, влияя на усиливающуюся глухоту и грозя полной потерей зрения[111]. Он также обратился к некоторым знакомым за границей, которых просил о содействии в получении въездных виз. Одно из его писем, отправленных нелегально, с оказией, получил заведующий русской университетской библиотекой в Гельсингфорсе А. В. Игельстром, который, несмотря на отсутствие подписи, понял, что автор послания – Водовозов, но ответить не пожелал, ибо как «старый революционер» не сочувствовал идее бегства от советской власти. Другое письмо, В. Б. Станкевичу в Берлин, затерялось, и лишь на третье, адресованное Т. Г. Масарику, успевшему стать президентом новообразованной Чехословацкой республики, пришел благоприятный ответ из его канцелярии. Устроив себе командировку для чтения лекций в Жлобине и Орше, Водовозов с женой готовился к нелегальному переходу границы с Польшей и, отправляясь в это рискованное путешествие, запасся двумя крупинками синильной кислоты на случай ареста чекистами, но в связи с начавшимися военными действиями пришлось возвратиться в Петроград[112].

В последующем Водовозов принимал некоторое участие в общественной и литературной жизни бывшей столицы: например 11 января 1920 г. присутствовал вместе с П. Е. Щеголевым на открытии Музея революции и на первом его заседании в Николаевском зале Дома искусств (бывшего Зимнего дворца), где после речи председателя Петроградского совета Г. Е. Зиновьева выступил с большим докладом, посвященным памяти декабристов[113]. Тогда же в сборнике к 50-летию со дня смерти А. И. Герцена Водовозов напечатал статью о первой бесцензурной газете «Колокол» и даже выпустил крохотную брошюру о писателе[114]; продолжалась и его лекторская деятельность, в том числе в провинции[115].

Летом 1921 г. Водовозов завершает работу над своей книгой «Западная Европа и Америка после войны. Факты и цифры», а 29 октября обращается к наркому просвещения А. В. Луначарскому: «Моя научная работа требует от меня поездки за границу. Читая лекции по разным вопросам, касающимся строя

западноевропейских держав, я постоянно мучительно страдаю от полной невозможности ознакомиться как с новейшим развитием форм государства, политических партий и т. д., так и с новейшей западноевропейской литературой по интересующему меня предмету. Беспрестанно мои слушатели задают мне вопросы, на которые я не умею ответить…». Водовозов указывал, что в его книге, «посвященной как государственному строю новейшей Европы, так и ее экономическому состоянию, масса пробелов», которые он болезненно чувствовал, когда три месяца тому назад сдавал работу в печать, но, рассчитывая на второе издание, считает нужным дополнить ее, глубже провести исследование затронутых вопросов, что немыслимо без самостоятельного изучения их за границей. Помимо этого, добавлял Водовозов, ему требуются лечение и отдых: «К общему расстройству обмена веществ присоединяется специальная и очень серьезная глазная болезнь – глаукома; на левый глаз я почти уже слеп, и глаукома грозит и другому глазу. Чтобы спасти свое зрение, мне необходимо посоветоваться с хорошими окулистами, может быть – подвергнуться операции, и, во всяком случае, вести систематическое лечение; между тем в России я не могу даже достать того лекарства (Eserini salicylici), которое одно поддерживает мне зрение. Я чувствую с каждым месяцем, как падает моя работоспособность, а между тем работать мне хочется, потребность работы живет во мне; в недалеком же будущем мне грозит глазная инвалидность». Водовозов просил о предоставлении ему полугодовой командировки в Германию и на Балканский полуостров, поясняя свой выбор намерением завершить давно уже начатые им работы, одна из которых посвящена немецкой социал-демократии, «социальным причинам развития берштейнианства», а другая – борьбе интересов держав и «внутренним течениям» на Балканах. «Так как, благодаря общему состоянию здоровья, глухоте и сильной слабости зрения, я чувствую себя в дороге совершенно беспомощным, – подчеркивал Водовозов, – я прошу вместе с тем дать командировку и моей жене – Ольге Александровне Введенской»[116].

С введением нэпа возобновилась переписка со Станкевичем, возглавлявшим в Берлине научное издательство «Знание», который 28 октября извещал Водовозова: «Здесь, в Германии, образовалось около 40 русских издательств. Некоторые, конечно, эфемерные. Но имеются и весьма солидные. Поэтому журналист и литератор всегда кое-что может заработать, хотя, конечно, ввиду дороговизны жизни вообще и тройной дороговизны для приезжих особенного благополучия среди русской пишущей братии здесь

не наблюдается»[117]. А вот как Водовозов описывал жизнь в Петрограде: «Вообще духовный голод есть самое тяжелое страдание, которое мы испытываем. С физическим голодом можно мириться, тем более что мы, петербуржцы, в сущности, от такого не страдаем: хлеба, крупы, селедок, картофеля нам дают теперь достаточно, и если мы чем-нибудь недовольны, то однообразием и качеством пищи, в частности недостатком сахара или сахаристых веществ (люди, очень привыкшие к мясу, жалуются на его отсутствие, но я к их числу не принадлежу), но не количеством. Хуже – холод; дров мало, и уже теперь приходится работать при 8 градусах, а в недалеком будущем холод грозит еще худший. Скверно отсутствие одежды и цельных сапог. Я теперь при помощи медицинского свидетельства хлопочу о том, чтобы мне выдали сапоги, но не надеюсь на успех». В другом варианте черновика того же послания Водовозов сетовал, что совершенно оторван от мира: «Никогда не был я так плохо осведомлен о том, что делается за рубежом, как теперь. Я почти ничего не знаю ни о политических событиях, ни об экономических и финансовых условиях, ни о бытовой стороне, ни о движении науки и общественной мысли. Поэтому за каждую книгу я был бы страшно благодарен». Водовозов мечтал ознакомиться с текстами послевоенных мирных договоров и конституций новообразованных государств (Австрии, Венгрии, Польши, Чехословакии и других), последними статистическими ежегодниками, справочниками по экономике и финансам, литературой по истории и государственному праву. «Вы бы меня прямо облагодетельствовали, если бы прислали хоть что-нибудь, что обошлось бы не слишком дорого, – просил он. – Об английских и французских книгах я и не мечтаю»[118].

3 января 1922 г. Станкевич уведомил Водовозова, что заказал несколько интересующих его изданий, о стоимости которых он может не беспокоиться: «…как раз теперь мне с Р[увимом] Марк[овичем] Бланком удалось получить для Вас 1000 германских марок от комитета литераторов и ученых, и за Вами дело – распорядиться этими деньгами». Хотя Станкевич предлагал всю или часть указанной суммы перевести в Россию, Водовозов предпочел, чтобы все деньги были потрачены на покупку книг. В июне Парижский комитет помощи литераторам выделил ему еще 200 франков (5400 германских марок), которые, как указывал Станкевич, «уже в немецкой валюте лежат на руках Марка Александровича Алданова», ожидающего директив[119]. На вопрос, заданный 22 июля, не от Станкевича ли приходят Водовозову продуктовые посылки, тот ответил: «Нет, не от меня. Получив первое письмо от Вас, я сообщил Ваш адрес, с просьбой

принять все меры, в разные стороны: в Париж Л. М. Брамсону, в Прагу (Е. А. Ляцкому, который говорил об этом с Масариком), Оберучеву в Америку (через Р. М. Бланка), в здешний Фонд [литераторов и ученых]. Машина и пришла в ход, и я рад, что это было не безрезультатно, что, как и следовало ожидать, со всех сторон получились должные отклики»[120].

В январе 1922 г. Водовозов был вызван секретариатом коллегии Наркомата по иностранным делам для заполнения анкет на оформление загранпаспортов. Но, указывая, что «старому, больному, страдающему глухотой Водовозову крайне неудобно и затруднительно, как по состоянию здоровья, так и по недостаточности материальных средств, ездить в Москву», а получение загранпаспортов им и женой, разрешение на выезд которых давно отправлено Наркоматом просвещения в Отдел виз, «значительно задержалось», Петроградское управление научных учреждений и высших учебных заведений просило выполнение требующихся формальностей поручить уполномоченному НКИД в Петрограде и «по возможности ускорить присылку паспортов»[121]. Тем не менее решение вопроса затянулось еще на полгода, хотя, похоже, Водовозов, увлеченный открывшимися возможностями, теперь уже и сам не очень торопился с отъездом. Ведь помимо участия в сборнике Главного управления архивным делом он сотрудничал в журналах «Анналы» и «Былое», а в Центральном кооперативном издательстве «Мысль» вышли две его брошюры – «Граф С. Ю. Витте и император Николай II», «Версальский мир и Лига Наций», в Государственном издательстве – справочник «Западная Европа и Америка после войны. Факты и цифры». Водовозов принял также участие в сборнике о В. Г. Короленко[122], а в издательстве «Задруга» под его редакцией и с его предисловием вышла первая часть труда В. И. Семевского «М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы».

«Как Ваши планы на поездку? – интересовался Станкевич 1 июня. – Из писем видно, что Вы колеблетесь. <…> Каковы Ваши отношения с Гржебиным? Он тут строит издательское дело на очень широких основаниях»[123]. Возможно, последний аргумент сыграл определенную роль, ибо 13 июня Водовозов подписал заявление в ГПУ с просьбой о выдаче ему удостоверения для выезжающих за границу. В опросном листе на вопросы, куда предполагается поездка, Водовозов ответил: «Германия, Скандинавские страны», цель – «научная командировка Наркомпроса», срок – «6 месяцев», время выезда – «тотчас по получении паспорта и виз морским путем». Ольга Александровна заполнила такой же опросный лист, сообщив, что она «переводчица с иностранных языков», до 1917 г. «преподавала в

гимназии б[ывшей] Е. Песковской, занималась переводами», а позднее «служила в Историко-революционном архиве (архивариус), в Северной научно-промысловой экспедиции (статистик), на Рабочем факультете [Петроградского университета] (преподаватель)», но в настоящее время нигде не служит и сопровождает мужа «в научной командировке в качестве его секретаря»[124].

Мандат на командировку был подписан замнаркома просвещения М. Н. Покровским 15 июля 1922 г.[125], а 30 августа Водовозов обращается к заведующему Петроградским управлением научных учреждений М. П. Кристи: «Многоуважаемый Михаил Петрович. Я получил заграничный паспорт, и моя жена – тоже. Получили его мы только сегодня (а узнали о его получении вчера), а срок ему – 14 сентября, но так как последний до этого числа известный пароход идет 7 сентября, а следующий – 17-го, то фактически мы должны уехать 7 сентября. Между тем командировочные, назначенные мне, потом были взяты назад; хлопоты же, начатые мною вновь в Главпрофобре[126], до сих пор не привели еще к определенному результату. Я решился ехать даже без них в расчете, что найду за границей какой-нибудь заработок. Но надежда эта крайне неверная, и весьма вероятно, что мне придется за границей в самом буквальном смысле голодать, а уж о лечении нельзя будет и думать. Поэтому позволяю обратиться к Вам с большой просьбой – посодействовать выдаче мне пособия на поездку»[127]. Неизвестно, помог ли ему Кристи, но в начале 20-х чисел сентября Водовозов с женой покинул Россию, предполагая вернуться на родину через год: «…о более долгом сроке мы не помышляли»[128]. Тем более что в Петрограде оставались его мать (она скончалась 23 марта 1923 г.) и отец Ольги Александровны, проживавший вместе с другой своей дочерью, Зинаидой, и ее мужем, переводчиком М. А. Лихаревым (профессор А. И. Введенский умер 7 марта 1925 г.). О том, как Водовозов жил на чужбине, откуда уже не вернулся на родину, и об обстоятельствах его гибели будет рассказано в послесловии…

*В. Л. Генис*

# ЧАСТЬ I. ВОСПОМИНАНИЯ О ВРЕМЕНИ КОНЦА 80-Х И НАЧАЛА 90-Х ГОДОВ

# Глава I. Первый арест

25 февраля 1887 г. около трех часов дня я, тогда студент юридического факультета Санкт-Петербургского университета, сидел дома. Ко мне зашел мой старший товарищ по университету и близкий приятель С. Ф. Ольденбург. Между прочим он сообщил:

– У книжного магазина Стасюлевича собралась компания: жандармский офицер, частный пристав и десяток полицейских. Что-то, по-видимому, готовится.

Я жил в своей семье на Васильевском острове по 2-й линии, а магазин Стасюлевича помещался тогда по той же 2-й линии за два или за три дома (только позднее Стасюлевич построил себе собственный дом в 5-й линии и перенес туда свой магазин).

Время тогда было тихое, и это сообщение звучало довольно странно. Пробыл у меня С. Ф. Ольденбург очень недолго и собрался уходить. В ту самую минуту, когда он подошел к входной двери, раздался очень сильный звонок и одновременно – такой же звонок на черной лестнице. Ольденбург отворил дверь и лицом к лицу столкнулся с жандармским офицером, за которым стояла кучка городовых.

– Ваша фамилия?

– Ольденбург.

– Вернитесь назад. Ваша фамилия?

– Водовозов.

– Где ваша комната?

Это был первый обыск, который я пережил. Основание для него было следующее.

Вскоре после поступления в университет я сблизился с кружком братьев Ф. Ф. (ум. в 1914 г.) и С. Ф. Ольденбургов, кн. Д. И. Шаховского, А. С. Зарудного, В. И. Вернадского, И. М. Гревса, С. Е. Крыжановского, А. А. Корнилова (ум. в 1923 г.[129]), хотя большинство из них было старше меня двумя или тремя курсами (а Зарудный учился даже не в университете, а в Училище правоведения) и несмотря на то, что тождества политических убеждений у нас не было[130]. Я считал себя социалистом и радикалом; все они держались убеждений более умеренных, и вместе с тем некоторые из них, всего более – Дм[итрий] Ив[анович] Шаховской, отчасти – Федор Ольденбург, не будучи вполне толстовцами, чувствовали значительную симпатию к толстовству или, по крайней мере, к некоторым сторонам его учения.

Дм. Ив. Шаховской даже издавал нелегальным образом новейшие сочинения Толстого, которые он получал

непосредственно от самого Толстого. Скоро Шаховской по каким-то причинам должен был отказаться от этого занятия[131] и предложил мне взять дело в свои руки. В противоположность Шаховскому я ни малейшей симпатии к учению Толстого не чувствовал; напротив, относился к нему резко отрицательно. Но у меня были свои основания согласиться на предложение моего товарища.

Выросший в литературной семье, я с детства чувствовал непримиримую ненависть к цензуре, и наиболее дорогим для меня был принцип свободы слова. Я мечтал написать историю свободы слова и с ранней юности собирал для нее материалы, думая охватить свой предмет во всей его широте, начиная с древности. Осуществить эту мечту мне, конечно, не удалось, но все же я написал очерки по истории цензуры в России в период Александра III и в первые годы Николая II; изданы они были в Женеве в 1898 г. без моего имени под заглавием «Материалы для характеристики положения печати в России»[132]; написал я также статьи о свободе слова и о цензуре в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона[133].

Еще сильнее привлекала меня мысль о более активной борьбе с цензурой; мне хотелось создать нелегальное издательство, которое, в противоположность издательствам, преследующим партийные и определенно пропагандистские цели, поставило бы себе задачей борьбу за свободу всякой запретной мысли. По возможности оно должно было издавать всякое произведение, которое подверглось цензурным гонениям, независимо от его политического credo[134]. Конечно, некоторые ограничения своей терпимости я все-таки ставил; так, я не мог бы издать сочинения порнографического. Другое ограничение, которое я считал совершенно необходимым, – сочинение должно возбуждать общественный интерес, но безразлично какой: политический, религиозный, литературный. Если бы можно было осуществить подобное издательство в широких размерах, если бы оно вырывало из пасти цензуры все ее жертвы, то цензура, думал я, потеряла бы свой raison d'être[135] и исчезла бы.

Эту мысль, в которой, конечно, была изрядная доля наивности, я постоянно развивал среди своих приятелей. Поэтому Шаховской имел все основания обратиться именно ко мне с предложением взять на себя продолжение его издательства, а я имел все основания принять его. Шаховской порекомендовал меня Гробовой, собственнице небольшой (легальной) литографии на Петербургской стороне[136], которая литографировала преимущественно профессорские лекции для студентов, но – за повышенную плату – охотно брала и нелегальную работу[137].

С 1885 г. я усердно занялся издательством Толстого. Получая от Шаховского и П. И. Бирюкова, впоследствии известного биографа Толстого, новые произведения, я издавал[138] и распространял их[139].

Я очень стремился к внешнему совершенству издания.

Издания Шаховского («Исповедь»[140] и некоторые другие) были переписаны часто недостаточно разборчиво, – я нашел переписчиков, обладавших действительно превосходным почерком (пишущих машин в России в то время еще не знали, – они появились только в начале следующего десятилетия). Шаховской пускал в обращение брошюры Толстого отдельными несброшюрованными листами, без обложки[141], – я отыскал переплетную мастерскую[142], содержимую тоже женщиной (Кармалиной), которая согласилась брошюровать и мои издания. Я отвозил на извозчике листы из литографии к ней; у нее они лежали до отпечатания последнего листа каждой отдельной книжки. Тогда они брошюровались и обращались в очень прилично изданные, а я переправлял их к себе домой и затем распродавал. Таким образом я издал целый ряд новых тогда произведений Льва Толстого: «В чем моя вера»[143], «Что же нам теперь делать»[144], «Церковь и государство», «О деньгах»[145], «Письмо к М. А. Энгельгардту»[146], а также две брошюры Вильяма Фрея[147] и, кроме того, брошюру Шэфле «Сущность социализма»[148].

Как раз около этого времени приехал в Россию В. Фрей. Под этим именем жил русский революционер 60-х годов, происходивший из аристократической среды. Настоящая его фамилия была другая, – кажется, Гейнцен[149]. Прикосновенный к делу Каракозова[150], он успел спастись за границу и натурализовался в Америке[151]. Там он организовывал сельскохозяйственные коммуны[152], а когда ни одна из них не удалась, разочаровался в социализме и пришел – еще до Толстого – к чему-то очень близкому к толстовству, которое и проповедовал на своей новой родине. В 1886 г. он приехал в Россию[153]. Говорят, что полиция знала его настоящее имя и прошлое, но, ввиду полной безобидности проповеди, не трогала его. Он посетил Л. Толстого в Ясной Поляне и написал два открытых письма к нему[154], которые я и издал.

В Москве и Петербурге друзья устроили для него ряд собраний в частных квартирах, на которых он вел свою проповедь. Я был на двух его собраниях в квартире присяжного поверенного Мазараки[155]. Говорил он о бесплодности попыток политических преобразований и о необходимости нравственного самоусовершенствования, которое само по себе, без всяких

потрясений, приведет к коренному общественному переустройству[156]. Говорил он тягуче, нудно, неубедительно. Однако в ту эпоху упадка общественного настроения, после разгрома «Народной воли»[157], он многим нравился, – во всяком случае, собирал публику и вызывал горячие споры. На одном из двух собраний, на которых я присутствовал, против него с блестящей, хотя, быть может, слишком резкой речью выступил проф. Н. М. Коркунов. Он указывал, что нельзя так обособлять этику и социальный строй, как это делает Фрей, и без всяких научных данных говорить о возможности изменений в общественном строе, который ведь развивается по известным законам, изучаемым наукой.

– Вы учитесь по книжкам, а я научился тому, что говорю, из личного опыта, из самой жизни, – возразил Фрей.

– Нет, извините, я тоже не молод (это, пожалуй, было не совсем верно, так как тогда Коркунову было лет 30–35. – *В. В.*), тоже имею свой жизненный опыт, который никогда не игнорировал, и он-то и научил меня тому, что без науки человечество обойтись не может.

И сам Фрей, и его письма мне очень не понравились, и я очень неохотно согласился на их издание, но издать их очень просил меня Ф. Ольденбург, быстро подружившийся с Фреем и на некоторое время ставший его горячим поклонником. В одном отношении Ольденбург оказался прав: письма Фрея разошлись почти так же быстро, как и сочинения самого Толстого. Я этого не ожидал.

Издания я выпускал в 400 экземплярах (печатать более не бралась литография); выглядели они прекрасно, – не только по сравнению с подобными же партийными изданиями того времени, выпущенными подпольно в России, но даже по сравнению с легальными студенческими изданиями лекций[158]; конечно, это не был позднейший печатный шрифт пишущих машин, но вполне четкий и очень изящный почерк (особенно в некоторых книжках). Книжки были очень чисто отпечатаны, очень аккуратно сброшюрованы и обрезаны[159].

Все шло прекрасно. Старушка Гробова брала со студентов за литографирование лекций, при большом числе экземпляров, 2–2½ копейки с листа, с меня – 6 копеек (с ее бумагой); расплачивался я всегда аккуратно, не задерживая платежа ни на один день, и она постоянно выражала мне полнейшее довольство мною.

– Уж так я вам благодарна, так благодарна. Благодаря вам я заказала новый литографский камень[160], из долгов вылезла. Только и боюсь я. Уж вы меня не подведите! Племянник у меня

живет, – очень боюсь, как бы не донес. И рабочих боюсь. Только двум я доверяю (у нее их было, помнится, пять или шесть. – *В. В.*), с ними я и работаю. Всегда по ночам; запираюсь, занавески спускаю и чтобы к утру все чисто было. А то далеко ли до греха: инспектор ходит, смотрит. Студенты ходят и всё любопытствуют, как их лекции на камне выходят. Нужно, чтобы камень к утру был чист. Не подведите вы меня, Василий Васильевич!

Кармалина была особой другого сорта. Это была старая дама, дальняя родственница, что-то вроде троюродной сестры, М. И. Семевского[161]. У М. И. Семевского были сильно развиты родственные чувства; всякие двоюродные и троюродные кузины всегда вертелись около него в качестве приживалок и получали от него всяческие услуги, нередко – и маленькие пенсии. М. И. Семевский приспособил Кармалину к брошюровочному делу, помог ей открыть мастерскую, сдавал ей в брошюровку свою «Русскую старину» и познакомил с другими издателями. Дело у нее шло недурно, – исполняла свою работу удовлетворительно, вечно просила авансов и притом старалась иметь вид, что она – особа интеллигентная, служащая делу просвещения ради идеи. Познакомился я с нею через М. И. Семевского и предложил ей работу, предупредив о ее нелегальном характере, о сопряженной с нею ответственности, о необходимости крайней осторожности и тайны, но за то пообещав двойное вознаграждение против обычного. Она охотно согласилась.

– Вы не беспокойтесь, Василий Васильевич, – говорила она, – если я попадусь, я ни за что вас не выдам, ни за что на свете; пусть делают со мной что хотят, хоть в тюрьме, хоть в Сибири сгноят. Мне что, я – старуха, все равно помирать надо, а вам еще жить да жить.

При всей моей молодости я этим обещаниям не верил и говорил ей:

– Простите, Клеопатра Федоровна, я не очень уверен в том, что вы сдержитесь; как посадят в тюрьму, так не выдержите долго. Но я прошу вас только об одном: если будете иметь какую-нибудь возможность предупредить меня об обыске у вас, то сделайте это. А главное, старайтесь не попасться. Держите листы так, чтобы никто из рабочих не мог их прочитать, а когда будете работать над ними, то работайте скорее и скорее сдавайте мне.

Если в отношениях с литографией и переплетной я вел себя еще сравнительно осторожно (скорее, впрочем, в своих обращаемых к ним советах и требованиях, чем в собственных поступках), то при распродаже я осторожности совсем не проявлял. Я приносил изданные мною книжки в университет целыми пачками и чуть не на глазах инспекции продавал их

знакомым и полузнакомым и даже вовсе не знакомым студентам, и я сам теперь не понимаю, как это сходило мне с рук целых два года. Мои товарищи – братья Ольденбурги, Шаховской и другие – брали у меня десятки экземпляров и так же их благополучно распродавали. Издание в 400 экземпляров обыкновенно расходилось в несколько недель без остатка. Назначая продажную цену книжек приблизительно по 12–14 копеек за лист в 16 страниц довольно большого формата, я вполне покрывал свои издержки и даже составил маленький капитал, который мечтал употребить на расширение своего издательства.

К более крупному изданию я и приступил во второй год моего издательства. Это был перевод книги проф. Туна «История революционных движений в России» (A. Thun. Geschichte der Revolutionären Bewegungen in Russland). Книга эта, принадлежавшая перу балтийского немца, ставшего профессором во Фрейбурге, вышла в Германии года за три перед этим[162]. В России она была запрещена, но в обществе и в особенности в радикальных кругах обратила на себя сразу большое внимание, несмотря на свои очень и очень крупные недостатки. Первые главы этой книги, в которых излагалась история декабристов и петрашевцев, совершенно компилятивны, поверхностны, даже бессодержательны. Главная часть книги, посвященная революционному движению 60-х и особенно 70-х и начала 80-х годов, тоже особенной глубиной и серьезностью не отличалась. Автор пользовался главным образом русской зарубежной литературой, порядочная коллекция которой была в его распоряжении. Пользовался он также осведомлением со стороны нескольких своих знакомых революционеров, всего более – Дейча, но недостаточно знал литературу, выходившую в самой России. А между тем в России подпольно выходили очень важные для истории революционного движения журналы: «Земля и воля»[163], «Народная воля»[164] и другие. Совершенно не пользовался даже русскими легальными газетами, в которых, помимо других фактических сведений, мог бы найти отчеты о политических процессах, до 1881 г. печатавшихся хотя и с существенными цензурными помарками, но все же довольно полно, а они представляли собою богатый материал для его темы. Частных промахов у Туна было очень много, и это я знал уже тогда. Но все-таки книга Туна была единственным систематическим изложением истории революционного движения за 25 лет; все же там, для большинства русского общества того времени – только там, можно было почерпнуть знакомство с программами и идеологией различных революционных кружков за последнюю (тогда) четверть века, с их разногласиями и спорами, с их

деятельностью и гонениями, которым они подвергались.

Период, когда я занимался своим издательством, был периодом правительственной и общественной реакции; революционные организации после 1 марта 1881 г.[165] и предательства Дегаева[166] были разгромлены, почти все сколько-нибудь деятельные революционеры казнены или арестованы, и в революционном движении было затишье. Но вряд ли многие думали, что оно совершенно убито. Напротив, и в радикальных, и в либеральных, и даже в консервативных кругах общества жило убеждение, что революционное движение в недалеком будущем возродится с новою силою, и интерес к его истории был очень велик.

С самим Альфонсом Туном я имел случай лично познакомиться во время моего первого самостоятельного путешествия за границу в 1884 г. Его книгу я тогда же купил и привез домой. При всех ее недостатках она несомненно удовлетворяла тем требованиям, которые я предъявлял к книгам, чтобы включить их в число издаваемых мною, и решился приступить к ее переводу и изданию. И действительно, интерес, возбуждаемый ею, был настолько велик, что и после меня различными группами молодежи в разных местах России было сделано несколько попыток издать ее нелегальным способом; сколько я знаю, ни одна из них не увенчалась успехом.

Почти через два десятилетия, в 1905 и 1906 гг., когда цензурные условия сильно изменились к лучшему, эта самая книга появилась, уже легально, в нескольких различных русских изданиях[167]; из них мне известны целых три издания: одно – социал-демократическое, с примечаниями и дополнениями Плеханова, Дейча и др.[168], другое – эсеровское, тоже с дополнениями и примечаниями[169], третье – без примечаний[170]. А между тем к этому времени была опубликована масса нового материала по истории революционных движений, книга Туна уже сильно устарела, и ее недостатки были еще заметнее, чем в мое время.

К решению издать эту книгу я пришел в начале 1886 г. Я сообщил о нем в нашем товарищеском кружке и встретил в большинстве его членов несочувствие. Шаховской не интересовался книгой Туна и не видел особенной общественной надобности в ее переводе. Другие признавали интерес книги, но указывали на ее значительный объем и связанный с объемом риск. Гревс острил, что мои силы пропадут втуне. Братья Ольденбурги и особенно Сергей решительно отговаривали меня. Но я настоял на своем, и тогда мои друзья все же согласились помогать мне и исполнили это с большой горячностью, особенно

С. Ф. Ольденбург и А. С. Зарудный, которые вместе со мною проредактировали часть перевода. Ольденбург так мотивировал при этом свое поведение, которое многим казалось непоследовательным: он считает издание книги Туна делом опасным и вместе с тем не настолько общественно важным, чтобы стоило его предпринимать; но раз ему, несмотря на все усилия, не удалось отговорить меня, то он считает нужным помочь мне, чтобы облегчить мой труд и, насколько возможно, ослабить его риск.

Само собою разумеется, что я никакой непоследовательности в этом не видел и от души был благодарен Сергею Ольденбургу. И в своем отношении к моему предприятию он был чрезвычайно выдержан и систематичен. Когда в ноябре 1886 г. г. Ульянов и его группа затеяли демонстративную панихиду по Добролюбову (по случаю 25-летия его смерти)[171] и в нашем дружеском кружке обсуждался вопрос об участии в ней, причем я заявлял о своем желании пойти на нее, то именно Ольденбург не то что убеждал меня, а прямо требовал не делать этого, так как иначе я рисковал погубить свое издание. И я подчинился.

Из других членов нашего кружка С. Е. Крыжановский указал мне на некоторые любопытные материалы для истории русского революционного движения, появившиеся в польском журнале «Przegląd Społeczny», и так как я совершенно не знал польского языка, то перевел их мне по-русски[172]. Я собирался поместить их в приложении к книге Туна.

Задача перевода на русский язык осложнялась и затруднялась тем, что книга была переполнена цитатами из русских источников, приведенными, конечно, по-немецки. Неудобно было обратно переводить их с немецкого; надо было цитировать их по подлиннику, но подлинник – русские заграничные журналы и подпольные листки – был запрещен, и доставать его было не легко. Поэтому все же чаще приходилось переводить, чем восстановлять по подлинному тексту. И помню, что часто, очень часто, стремясь по догадке восстановить русский текст, я оказывался бессилен сделать это. До сих пор у меня в памяти, как, найдя в цитате из одного русского нелегального журнала жалобу на то, что благодаря собственной неосторожности революционеры попадаются и оставляют corpus delicti[173], мы втроем с С. Ф. Ольденбургом и А. С. Зарудным ломали голову над переводом этого выражения и в конце концов оставили его в его латинской форме, хотя чувствовали в ней что-то неладное. А много лет спустя я имел случай прочитать подлинник и убедился, что здесь стояло «с поличным». Помню также случай, как, найдя в немецкой транскрипции фамилию революционера Hamkrelidse,

нам тогда незнакомую, мы усомнились, как нужно писать ее по-русски. Зарудный и я думали: Гамкрелидзе (мы были правы), а Ольденбург настаивал на том, что если бы он действительно был Гамкрелидзе, то Тун написал бы Gamkrelidse. Ольденбург был очень настойчив и, как ни дико звучала для нашего уха фамилия Хамкрелидзе, переспорил нас обоих.

Чуть не с первых страниц работы я заметил, что промахи Туна значительнее, чем мне казалось раньше, и что они объясняются не только недостатками его материала, но также или неполным знанием русского языка, или значительною небрежностью при пользовании его источниками, и что у него встречаются значительные недоразумения даже там, где он просто излагает или цитирует русский источник. Поэтому я решил снабжать книгу своими примечаниями, в которых я исправлял ошибки автора или пополнял его. Понемногу эти примечания стали разрастаться, и мне пришлось выделить их в «приложения», и не очень большая книга, листов в двадцать, все более пухла, грозя обратиться в нечто очень солидное. К участию в ней приходилось привлекать все новых лиц. Так я привлек к нему Лидию Карловну Давыдову (дочь композитора и виолончелиста К. Ю. Давыдова, впоследствии жену М. И. Туган-Барановского, умершую около 1900 г.), в то время молодую барышню, с которою, равно как и со всей семьей Давыдова, я был хорошо знаком. Она по моей просьбе перевела несколько глав из книги Туна. Часть книги перевела Наталья Егоровна Вернадская, жена В. И. Вернадского (впоследствии известного минеролога, академика).

Большой ошибкой моей было то, что я приступил к литографированию, когда перевод, редакция и приложения к книге были не только не закончены, но едва начаты. Мне не хотелось оставлять литографию Гробовой без моей работы, так как я боялся, что ее у меня перехватят, а вместе с тем надеялся, что при разделении труда по переводу буду поспевать за литографией, которая ведь не могла печатать более двух листов в неделю. Но в этом я ошибся, – тем более что сделал еще другую, роковую ошибку.

Осенью 1886 г. я неожиданно получил письмо от П. А. Гайдебурова, редактора «Недели», весьма популярного тогда в среде провинциальной интеллигенции и мелкой буржуазии еженедельного журнала. Он предложил мне участие в нем, притом сразу давал мне ведение иностранного отдела[174].

С Гайдебуровым до того знаком я не был (если не считать того, что он был довольно частым посетителем в семье моего отца в очень давние годы и знал меня, когда мне было лет 9–10).

Обратился же он ко мне потому, что ему рекомендовал меня его близкий сотрудник и мой хороший знакомый Я. В. Абрамов, известный в 80-х годах публицист ультранароднического направления, позднее, в 90-х годах, прославившийся проповедью «малых дел».

Соблазн для молодого человека, еще не выступавшего в печати, был очень велик, и я не мог от него удержаться. Поэтому с ноября 1886 г. я стал политическим хроникером «Недели». Перечитав много лет спустя свои обозрения[175], я убедился, что был очень плохо подготовлен к своему новому амплуа, и нашел в своих статьях массу грубых, непростительных ошибок, которых, однако, Гайдебуров не замечал.

Но, как бы то ни было, мои обозрения в «Неделе» требовали усиленного труда и времени; занятия в университете шли своим чередом, и на Туна оставалось все меньше и меньше времени. И если это не отражалось на качестве перевода, над которым я работал вовсю, то отражалось на том, что я затягивал работу и все меньше и меньше обращал внимания на обязанности конспирации.

И гроза разразилась.

Собственница брошюровочной мастерской Кармалина рассчитала одного из своих рабочих. Тот отомстил доносом в полицию, что она брошюрует нелегальные книги. В ночь на 25 февраля 1887 г. у нее был сделан обыск, и все напечатанные листы Туна – их в это время было уже около 20 – найдены в неприкосновенном виде[176].

По какой-то непонятной для меня причине Кармалина не была сразу арестована и утром 25 февраля пользовалась полной свободой (возможно, конечно, что за ней ходили сыщики), но не сделала ни малейшей попытки предупредить меня. Часов в 12 утра она была арестована и с первых же слов на допросе в охранном отделении назвала мою фамилию[177]. Дня через два она была выпущена, и даже мастерская ее не была закрыта. Но, возмущенный доносом на меня, М. И. Семевский взял у нее «Русскую старину» и отказал ей в пенсии; еще кто-то из издателей отказал ей в работе, и ей пришлось самой закрыть свою мастерскую. Она сильно бедствовала и года через три умерла. Я, со своей стороны, ничего другого от нее не ожидал, совершенно на нее не сердился и даже сожалел, что М. И. Семевский нанес ей из-за меня такой тяжелый удар. Предупредить его, однако, я не мог, так как в то время сидел в тюрьме.

Итак, гроза разразилась.

Как уже сказал, заваленный срочной работой, я последнее время совершенно пренебрегал требованиями конспирации и

застигнут был с поличным. Впрочем, конспирация вообще не в моем характере. У меня были найдены экземпляры всех моих изданий, в том числе неоконченного Туна, и рукописи переводов, между прочим – Давыдовой, Вернадской и Крыжановского; некоторые из них были уже переписаны для литографии и даже отпечатаны, так что хранить их не было никакой надобности, а я просто забывал их уничтожать. Найдены также различные нелегальные издания и – что всего хуже и непростительнее – куча различных писем и записок, хранить которые тоже не было никакой надобности. Обыск продолжался часов до семи, главным образом в моей комнате; во всех остальных он был произведен совершенно поверхностно, чуточку тщательнее – в комнате моего брата Николая, тогда – гимназиста VI класса.

В моей комнате обыск производил жандармский офицер; частный пристав обыскивал остальные комнаты[178] и только по окончании этой работы пришел на помощь жандарму. Начал обыск жандармский офицер с большим рвением, внимательно просматривая и даже прочитывая каждую бумажку. Но так как у меня были два стола, в каждом – по два ящика и в ящиках – масса бумаг и, увы, далеко не в идеальном порядке, то часа через два он устал и в дальнейшем просматривал бумаги все поверхностнее и поверхностнее, иногда отбрасывая или не замечая таких, какие, с его точки зрения, могли представлять значительную цену. Зато он отбирал целые кипы бумаг, с его точки зрения, совершенно не нужных. Но всего интереснее, что, осмотрев в общем внимательно четыре ящика столов, он забыл посмотреть на столах или, по крайней мере, на одном из них, а там лежала рукопись очередной главы Туна в большом конверте с именем и адресом моей переписчицы и даже с набросанным на конверте планом двора ее дома. Эту рукопись я только что перед тем дал Ольденбургу, который взялся занести ее переписчице и для которого был нарисован план ее двора, чтобы избавить его от необходимости расспрашивать дворника. Выходя от меня, Ольденбург держал конверт в руках и, вернувшись по требованию офицера в комнату, положил его на стол[179]. Жандарм, по счастью, не обратил на это внимания. Эта его оплошность, спасшая от привлечения к моему делу двух человек, была для меня великим счастьем. Вернувшийся с обыска в других комнатах пристав в то же время осмотрел мою библиотеку, для студента – весьма значительную, и извлек и показал жандарму какую-то немецкую книжонку Лассаля, от которой тот только досадливо отмахнулся рукою, и не заметил неподалеку стоящего Собрания сочинений Герцена в заграничном издании и ряд томов Чернышевского[180]. Затем они вместе пошарили на полках позади книг, но только на высоте

своего роста; нагнуться, чтобы осмотреть таким же образом нижние полки, или влезть на лестницу, чтобы осмотреть верхние, они поленились. А там как раз оставались запакованные пачки еще не распроданных экземпляров Шэфле.

На основании своих наблюдений над поведением жандармского офицера я создал свою теорию психологии обыска, и так как всю свою остальную жизнь я прожил в ожидании возможного обыска, то на ней до некоторой степени построил и свое поведение. Запретные книги, если они не имели очень бросающегося в глаза внешнего вида, я просто ставил в общий ряд с другими книгами, только – на самых верхних или нижних полках; нелегальные листки я вставлял между листами неразрезанных книг; иногда при этом забывал, каких именно, и не мог найти их, когда они были нужны, и находил совершенно случайно через многие годы. Некоторые вещи – револьвер, а в большевицкие времена – запасы сахара, чая, мыла, – позади книг на верхних или нижних полках. Но, главное, я не уничтожал ни одного черновика своей статьи, сданной в редакцию и даже напечатанной, вообще ни одной бумажки, если только был уверен в ее полной политической невинности. Благодаря этому у меня всегда бывали груды совершенно ненужного бумажного хлама. Все наиболее ценное, что я особенно не желал видеть в жандармских руках, я клал под груды старого ненужного бумажного хлама. Таким образом моя теория дала для меня самого оправдание той неряшливости по отношению к своим бумагам и столам, которая и раньше была чертой моего характера, и некоторый козырь в спорах с женою, которая постоянно попрекала меня ею. И моя теория многократно и при царе, и при большевиках подвергалась жизненной проверке и каждый раз выходила оправданной. При последующих обысках у меня ничего не находили, хотя почти всегда что-нибудь неудобное найти было можно.

На этот раз жандарм уехал с богатой добычей; он запаковал три или четыре больших пакета рукописей и книг[181].

По окончании обыска жандарм составил протокол. По какой-то неожиданной для меня снисходительности он, осведомившись у Ольденбурга о фамилии и звании и узнав, что тот оставлен при университете по кафедре санскритского языка, сказал:

– Я вас не стану заносить в протокол.

Это, конечно, и для меня, и для него было очень приятным сюрпризом.

Затем жандарм позволил мне пообедать и проститься наедине с матерью и семейными и увез меня на извозчике вместе с пакетами в охранное отделение на Гороховой, здание, в котором

впоследствии мне не раз приходилось бывать как в царские, так и в большевицкие времена. Несмотря на то что я попался на занятии историей революционного движения, что с тюрьмой, арестом и обыском я был в теории прекрасно знаком, несмотря на это, я был практически настолько неопытен, что не взял с собой ни подушки, ни чая, ни чего-нибудь съедобного; только смену белья дала мне мать.

В охранном отделении меня заставили прождать довольно долго. Было восемь или девять часов вечера. Я никогда в последнее время не ложился спать ранее двух часов ночи, но тут вследствие обилия впечатлений и переживаний почувствовал страшное утомление; сон клонил меня. Я не мог противиться этому позыву; за отсутствием в комнате дивана я сдвинул несколько стульев, положил вместо подушки шубу и крепко заснул.

Прошло с полчаса. Раздался звон шпор (а может быть, шпор и не было и я слышал их во сне), и я проснулся. Властным голосом меня потребовали в соседнюю комнату, и там кто-то в жандармском мундире подверг меня первому допросу.

Я признал, что все найденные у меня вещи найдены действительно у меня и принадлежат мне и что я действительно издавал литографским образом и Толстого, и Шэфле, и, главное, Туна.

– Где вы их литографировали?

– К сожалению, я не могу этого сказать.

– Где брошюровали?

– Тоже не могу сказать.

– Кто вам помогал в издании?

– Никто, я сам все делал.

– В таком случае я должен буду вас заключить в Дом предварительного заключения[182], где вы на досуге обдумаете, выгодно ли вам ваше укрывательство.

Затем меня отвели в прежнюю приемную и, как это ни странно, со мной, несмотря на глубокое, пережитое мною волнение, повторилась прежняя история: я лег на стулья и снова крепко уснул. Не хочу сказать, чтобы я был спокоен, не волновался, не мучился, не боялся. Напротив, все эти человеческие чувства мною владели в полной мере. Сердце мучительно сжималось и колотилось; голова была полна тягостных мыслей о своем будущем и о том, что я погубил или могу погубить кое-кого из друзей или посторонних[183], и, несмотря на все эти переживания, мне больше всего хотелось спать. И я крепко спал.

Около часа ночи меня разбудили и отвезли в Дом

предварительного заключения на Шпалерной. Массивная железная решетчатая дверь с лязгом открылась, чтобы принять меня, и захлопнулась за мною.

«Отсюда не убежишь!» – сразу мелькнула у меня мысль, хотя ни раньше, ни позже о побеге не думал.

Захлопнулась дверь, и я сразу почувствовал себя отрезанным от всего мира.

В канцелярии Дома меня подвергли новому личному, особенно оскорбительному, обыску с раздеванием, отобрали цепочку от часов (часы оставили), отобрали деньги, в которых дали расписку, и отвели в камеру в пятый этаж. Не осмотревшись даже в ней, наскоро раздевшись, я завалился на кровать и опять крепко заснул.

# Глава II. Тюрьма

Потекли скучные, однообразные тюремные дни. Первые дни, впрочем, были не столько скучны, сколько мучительны. Приходилось[184] переживать мучительную мысль о совершенных ошибках. Потерян университет, потеряна надежда на профессуру, к которой я стремился. Будущее рисовалось очень мрачно. Всего более, однако, мучила мысль о предстоящем допросе.

В 6 часов утра разбудили уголовные, которые вошли в камеру, чтобы очистить клозет. В 7 часов вторично разбудил надзиратель, принесший кипяток. Но чайника не было; на двух вделанных в стену железных полочках стояли только две почерневшие грязные оловянные тарелки, такие же ложка, миска и кружка. Пришлось вылить кипяток в эту последнюю, но воспользоваться им не удалось: не было ни чая, ни сахара. Я огляделся. Из окна, маленького, грязного, устроенного выше моего роста, с железной решеткой, тускло виднелся кусочек мрачного февральского неба. Обратил внимание на толщину стены.

«Прочная, – подумал я, – долго простоит; много понадобится усилий, чтобы ее разбить».

Я вспомнил один мой разговор, года за два перед тем. В мае 1885 г., по случаю окончания курса, большей частью моих университетских друзей в квартире нашего товарища М. И. Свешникова была устроена дружеская вечеринка.

Речь зашла о предстоящей революции. Я, один из всех, доказывал неизбежность и даже известную близость таковой.

– Лет через тридцать, не больше, должна вспыхнуть революция, – говорил я. – На больший срок не хватит самодержавного режима, слишком он всем ненавистен, слишком гнетет народ.

– Ты Россию знаешь только по книгам да революционным листкам, – возражал мне А. Н. Краснов (впоследствии профессор ботаники в Харькове, умерший около 1915 г.), – а я ее всю исколесил и ручаюсь тебе, что и двухсот лет мало, чтобы пробить толщу невежества и дикости, которою обросла русская деревня.

– Вы оба говорите вздор, – возразил нам обоим Федор Ольденбург. – Что будет через тридцать лет, никто не знает и знать не может. В наше время технического и экономического прогресса тридцать лет – слишком большой срок, чтобы можно было за него что-нибудь предсказывать. Такие перемены могут произойти, о которых теперь ровно ничего сказать нельзя. А уж через двести лет – и подавно.

Из нас трех прав, конечно, был Ольденбург. Но любопытно, что назначенный мною срок, для назначения которого у меня, конечно, не было решительно никаких оснований, исполнился почти точь-в-точь, хотя революция предстала совсем не в том виде, о котором я говорил. Тогда я верил в этот срок, но толстые стены тюрьмы заставили меня усомниться в нем. Увы! Это, конечно, не свидетельствовало о глубине моей веры. Замечу здесь, что тридцать лет – это была уже большая уступка. В 70-х годах для революции обыкновенно назначался срок гораздо более короткий, так – года в два, и этот срок я сам не раз слышал гимназистом, притом не от гимназистов, а от людей весьма немолодых, например Вл[адимира] Ром[ановича] Щиглева[185], небезызвестного революционного поэта и очень мирного обывателя, без единого ареста и даже обыска дожившего до 1900 г.[186] (о нем есть заметка в Энциклопедическом словаре Брокгауза – Ефрона[187], его стихи – в «Русской старине» и «Голосе минувшего»).

Я продолжал осматривать мое новое жилище. В нем было 6 шагов в длину, 3 шага в ширину; вместо потолка – низкие своды; ввинченная в стену койка с грязным матрацем, подушкой и одеялом; ввинченные в стену железные столик, стул и полочки для посуды; под окном – раковина и кран для воды, устроенный так, что вода шла, пока кран придерживаешь рукою, так что умываться можно было только одною рукою; над столом – газовый рожок; в углу – клозет; железная, крепко запертая и отпираемая с пронзительным лязгом ключей дверь, в двери – волчок, то есть форточка, извне отворяемая, через которую надзиратели наливали кипяток и передавали пищу и вещи; в волчке – маленькое застекленное отверстие – глазок, с наружной стороны закрываемое особенной задвижкой; через этот глазок надзиратели могли всегда наблюдать за арестантом. На стене – тюремные правила. И больше ничего.

Я ознакомился с правилами. Узнал свои скромные права и очень серьезные обязанности; узнал, что за всякую провинность мне грозит карцер, лишение свиданий, переписки, книг и прогулки.

Делать мне было решительно нечего, и я, умывшись без мыла, голодный, без чая, начал угрюмо, как зверь в клетке, шагать из угла в угол.

Часов в 10 явился ко мне пожилой начальник Дома и объяснил, что при тюрьме имеется лавочка, из которой я имею право выписывать на свои деньги предметы домашнего обихода, посуду, съестные припасы, письменные принадлежности, бумагу, почтовые марки и т. д., вообще все, что только не запрещено в

тюрьме; сообщил мне, что я буду получать казенный обед, но если хочу, то могу заказывать за 35 копеек «свой» из двух блюд, что заказы в лавочку я должен делать письменно накануне, но для вновь прибывших арестантов делается исключение, и поэтому чай, сахар, чайник, мыло и все другое я могу получить сегодня же; только обедом в первый день мне придется довольствоваться казенным, ибо «свой» готовится только по предварительным заказам.

И действительно, только первое утро я просидел голодный и без чая. После казенного обеда я в первый же день при втором разносе кипятка имел возможность напиться чая[188] и даже с булками. Очень неприятное чувство возбуждала необходимость обходиться без ножа и вилки, которые в тюрьме запрещены.

Тогда же я получил каталог тюремной библиотеки. Ознакомление с ним доставило мне большое удовольствие. Я в нем нашел подбор русских и иностранных классиков (в русских переводах) в лучших имевшихся тогда изданиях и большой ассортимент книг по истории, политической экономии, юриспруденции и естествознанию. Вообще, тюремная библиотека оказалась довольно значительной и хорошо подобранной. Но удовольствие я испытал не только от того, что предвидел возможность заполнить тяжелые тюремные досуги интересным чтением, но в особенности потому, что, просматривая каталог, я видел в нем отчасти дело моих рук.

Произошло это таким образом. Одним из моих товарищей по университету был известный богач, Иннокентий Михайлович Сибиряков, пайщик сибирских золотых приисков, один из известной семьи Сибиряковых. Его личное состояние определялось, как говорили, 7 миллионами рублей. Верна ли эта цифра, я не знаю, но что средства его были велики, это – бесспорно. Будучи человеком совершенно исключительной душевной доброты, вместе с тем живя очень скромно, не швыряя денег на кутежи, Сибиряков, как кажется, поставил себе целью истратить все свои средства на общественные дела и при этом старался тратить их по возможности разумно и целесообразно. Это ему не всегда удавалось. Как все богатые люди подобного склада характера, он был несчастною жертвою своего состояния и, по-видимому, глубоко страдал. Он постоянно был окружен толпой прихлебателей, рвавших его со всех сторон. Деньги у него выклянчивали, вымогали угрозами, за деньги ему платили постоянными оскорблениями. Помню один его довольно редкий рассказ (он вообще неохотно говорил об этом) об одном субъекте, ему незнакомом, который обратился к нему с письмом такого рода: «Говорят, для вас помочь – то же самое, что другому

плюнуть. Так не дадите ли вы мне 100 рублей, мне они до зарезу нужны». Сибиряков ответил, что он не охотник до плевков ни в прямом, ни в переносном смысле. Тем не менее Сибиряков жертвовал десятки тысяч рублей на научные экспедиции (например, Потанина), на библиотеки, издание разных малоходких книг, стипендии учащимся и т. д.

Чтобы дать понятие о том, как расходовал свои деньги Сибиряков, расскажу о следующем его пожертвовании. На одной из лекций в университете В. И. Семевского, читанной в 1884 или 1885 г., Сибирякова задело за живое указание лектора на полное отсутствие научных исследований по истории рабочего класса на сибирских золотых приисках и пожелание, чтобы кто-нибудь из молодых сибиряков, слушающих его лекции, пополнил этот пробел. Недели через две Сибиряков пришел к Семевскому и предложил ему самому заняться этой работой, причем предлагал, во-первых, возможность на его средства совершить поездку в Сибирь для собирания материалов по интересующему вопросу, во-вторых, средства на приобретение этих материалов или их переписку и, в-третьих, совершенно необычный гонорар – по 500 рублей за первые 30 печатных листов книги и по 300 рублей за следующие; наконец, в-четвертых, он брался издать эту работу.

Ничего подобного не ожидавший В. И. Семевский был очень поражен этим предложением. Сначала он отказался, указывая, что ближайшие годы его заняты другой работой – по истории крестьянского вопроса в России[189], – которая уже давно начата и которую не может бросить. Сибиряков ничего не имел против того, чтобы работу по истории Сибири Семевский отложил на несколько лет, и все-таки настаивал на том, чтобы она была сделана. На это Семевский заметил:

– Но вы должны иметь в виду, что, изучая положение рабочих в Сибири, я должен касаться и положения рабочих на принадлежащих вам в доле приисках. Весьма возможно, что я натолкнусь на факты неблагоприятные.

– Никаких цензорских или редакторских прав за собою я не оставляю, – ответил Сибиряков. – Вы вполне свободны в вашей работе, и книга будет напечатана в том самом виде, в каком вы сдадите ее мне.

В конце концов Семевский принял предложение Сибирякова, и оба исполнили свои обязательства. Семевский совершил в 1891 г. полугодичную поездку по Западной и Восточной Сибири (еще до проведения туда железной дороги[190]), в несколько следующих лет написал большую книгу под заглавием «Рабочие на сибирских промыслах»[191], и эта книга была в 1898 г. издана Сибиряковым[192].

В начале 90-х годов моральная религиозность Сибирякова в духе Льва Толстого перешла в церковную православную религиозность, и он постригся в монахи в Афонском монастыре. Перед этим он пожертвовал 420 000 рублей на образование капитала имени своего отца для выдачи пособий и пенсий приисковым рабочим[193], 40 000 рублей – на открытие в Петербурге анатомического института и сделал еще несколько крупных пожертвований. Все-таки истратить всех своих средств он не успел, и крупные остатки его богатства достались монастырю[194]. Через несколько лет после этого, в 1901 г., Сибиряков умер.

Ко мне он чувствовал значительную симпатию именно потому, что я не только не вымогал у него денег, но и несколько раз отказался от предлагавшейся им помощи на мои издания, о которых знал и которым сочувствовал, так как по своим убеждениям был очень близок к Льву Толстому. Однажды, приблизительно за полгода до моего ареста, Сибиряков сообщил мне, что намерен пожертвовать по библиотеке во все петербургские тюрьмы, и предложил составить список книг, по которому обещал их приобрести. С большим удовольствием исполнил я это, воспользовавшись для естествознания помощью Вл[адимира] Вернадского. Вручив Сибирякову список – нужно заметить, что в нем было книг тысяч на две, на три для каждой библиотеки, – я им больше не интересовался и даже не спросил Сибирякова, исполнил ли он свое намерение.

И вот, попав в тюрьму, я в первый же день получил на этот вопрос утвердительный ответ. Я сразу увидел, что каталог библиотеки по всем своим отделам состоит как бы из двух частей: из части старой, состоящей из разрозненных и совершенно случайных книг, и части новой, подобранной систематически – и именно подобранной мною. Впоследствии я увидел, что и самые книги резко отличались одни от других: книги прежние – истрепанные, изорванные, расползающиеся; напротив, книги, пожертвованные Сибиряковым, – все новенькие, в прочных переплетах, чистые[195].

Итак, начались долгие тюремные дни. Жизнь начиналась в 7 часов утра, когда приносили первый кипяток, продолжалась, первое время моей сидки, часов до трех, до половины четвертого, когда маленькое загрязненное тюремное окошко отказывалось пропускать свет, достаточный для чтения, и вновь начиналась в 6, когда пускали газ. В 9 часов газ тушили, после чего я часа два работал еще со свечою. Но первые дни работа, даже простое чтение романов, шла очень туго: слишком тяжело было настроение, слишком мучительны переживания; донимала

незнакомая мне раньше бессонница. Дневные часы я обыкновенно сумерничал и преимущественно эти часы тратил на перестукивание с соседями. С этим способом разговора я ознакомился уже в первый день тюремной жизни.

Едва ушел от меня помощник начальника Дома, как я услышал размеренные стуки в стену. Я знал, конечно, о существовании тюремной азбуки, но самой азбуки не знал и потому отвечал бессмысленным многократным стуком сгибом пальцев. Сосед несколько раз начинал свою размеренную речь, и каждый раз я прерывал его своим бессмысленным многократным стуком. Наконец он догадался, что я безграмотен, и простучал мне подряд русский алфавит. Тогда я понял, что русская азбука разделена на 6 рядов, в каждом ряду – по 5 букв и что каждая буква обозначается сначала несколькими ударами, указывающими ряд, в котором она стоит; затем, после короткого перерыва, – вновь несколькими ударами, обозначающими ее место в ряду; например, чтобы передать букву «в», занимающую 3-е место в 1-м ряду, надо ударить сперва 1, потом 3 раза; для буквы «о» – 3 и 4 раза, так как она занимает 4-е место в 3-м ряду; само собою разумеется, что буквы, впоследствии устраненные большевиками из обычной азбуки, – как і, Ѣ, ъ, – из азбуки тюремной были устранены задолго до них. Едва я это понял, как началось планомерное перестукивание; сперва оно шло медленно, с ошибками, потом все быстрее. При каждом звуке шагов по коридору разговор приходилось, конечно, прерывать.

– Кто вы? – разобрал я вопрос.

Я ответил.

– Давно арестованы?

– Вчера.

– По какому делу?

Вопрос поставил меня в тупик. Я не знал установившихся кратких ответов («по своему») и должен был в довольно длинной фразе изложить сущность моего дела.

О том, что подобное сообщение может быть опасно, я не думал: случаи подсаживания в соседство к арестантам шпионов, впоследствии ставшие обыденными, тогда еще были малоизвестны, и арестанты друг другу по общему правилу доверяли, – конечно, до известной степени. Бывали, разумеется, и более осторожные арестанты, но я к их числу не принадлежал. Впрочем, все-таки я не сказал ничего сверх того, что прокуратуре уже было известно.

– А вы кто? – в свою очередь спросил я.

– Френкель.

– По какому делу?

– По лопатинскому[196].

Это имя тогда мне ничего не говорило. Фамилию Германа Лопатина я несколько раз мимолетно слышал, но сколько-нибудь ясного представления о нем не имел. В книге Туна она, помнится, не встречалась или если встречалась, то не приковывала к себе моего внимания[197].

– Давно сидите?

Френкель ответил мне довольно длинной фразой, из которой я понял, что он сидит два месяца. Впоследствии я узнал, что, расшифровывая эту фразу, ошибся: он сидел в разных тюрьмах около трех лет[198], а два месяца – только в Доме предварительного заключения. Но уже два месяца повергли меня в ужас; по спине у меня пробежали мурашки. Два месяца! Неужели и я просижу столько же?

Любопытна человеческая психология. Не было надобности переводить Туна, чтобы знать, что даже за гораздо меньшие вины, чем моя, люди сидят в тюрьмах гораздо больше двух месяцев. Среди моих личных знакомых было немало таких, которые высидели по нескольку лет. Близким знакомым нашей семьи, которого я помнил со своего раннего детства, был доктор (впоследствии профессор) А. А. Кадьян (умер, помнится, в 1917 или 1918 г.), и я хорошо помнил тот день, когда он явился к нам, только что освобожденный из этого самого Дома предварительного заключения после трех лет сидки в нем и других тюрьмах[199]. Хорошо я знал также известного сибирского публициста Н. М. Ядринцева, отбывшего много лет тюремной повинности и потом ссылки в том самом Шенкурске Архангельской губернии[200], в который и мне суждено было попасть. Знал известного издателя Л. Ф. Пантелеева, приговоренного к каторжным работам и проведшего на поселении в Сибири лет 12 или 15[201]. Знал многих других. И вот, испытав на себе всего один тюремный день, я был приведен в ужас, когда пришлось конкретно представить себе два месяца в тюремной обстановке. Два месяца быть запертым, как зверь! Ужасно! Увы! Скоро два месяца прошли, а конца моему заключению еще не предвиделось.

Закончить разговор с Френкелем и выяснить недоразумение с двумя месяцами мне не удалось; нас накрыло начальство. Мне, как попавшемуся в первый раз, тот самый помощник начальника Дома, который только что говорил со мной в самом благодушном тоне, сделал строжайший выговор с угрозой репрессиями в случае повторения, а Френкель, как попавшийся, вероятно, не в первый раз, был в наказание переведен куда-то в другое место, и начавшееся наше с ним тюремное знакомство было прервано в

самом начале. Лет через двенадцать оно возобновилось уже на воле, – мы оба с ним жили в Киеве и там встретились.

Любопытно, что из полудюжины людей, с которыми я познакомился посредством перестукивания в тюрьме, с тремя я имел случай познакомиться позднее на воле. Кроме названного сейчас Френкеля, это были И. И. Гильгенберг и П. Ф. Якубович.

Гильгенберг был арестован 3 или 4 марта и попал в соседнюю со мною камеру, освободившуюся после увода из нее Френкеля. Он был студентом Технологического института; арестованный в отдаленной связи с делом 1 марта, он подробно рассказал мне, посредством перестукивания, о том, что произошло в этот день в Петербурге. Гильгенберг просидел в Доме предварительного заключения месяцев 15 или 16 и был отправлен в административном порядке в Шенкурск, куда я прибыл за месяц до него[202]. Там я имел случай свести с ним более близкое знакомство.

П. Ф. Якубович оказался моим соседом через месяц или полтора после моего ареста. Так как три или четыре человека, с которыми я до него беседовал, все сидели по лопатинскому делу, то я прямо спросил его:

– Вы – по лопатинскому делу?

– Нет, по своему, – ответил он.

Мне осталось не вполне понятным, почему он решительно выделяет свое дело от лопатинского, хотя дела их были объединены и судились они, как я узнал впоследствии, вместе. Затем, когда я поставил ему вопрос о времени сидки, то повторилось то самое, что в разговоре с Френкелем, только – при иных масштабах. Два месяца сидки[203] казались мне чем-то вполне естественным, но когда я узнал, что Якубович сидит с 1884 г., то мороз опять продрал меня по коже.

«Неужели и мне суждено пробыть здесь три года», – с тоской и ужасом думал я[204].

Кроме людей, с которыми я перестукивался сам, я слышал разговоры двух заключенных, сидевших над моей головой в верхней 6-й галерее. Они разговаривали не перестукиванием, а шагами: сделает один шаг, подождет немного, потом сделает 4–5 быстрых шагов, сильно топая ногами; опять более долгий перерыв, опять шага 2 или 3 быстрых и коротких, опять короткий перерыв и т. д., и таким образом – целыми часами. Мне, сидевшему под ними, их разговоры были хорошо слышны, особенно когда я, лежа на койке, приникал ухом к стене, продолжение которой в верхнем этаже разделяло собеседников. Иногда я начинал прислушиваться к ним, считать шаги и расшифровывать их. Но мне осталось совершенно непонятным,

каким образом слышали они друг друга: ведь шагов своих непосредственных соседей я никогда не слышал, как и они меня. Может быть, слушая, они ложились и приникали ухом к полу. Но подражать им в этом отношении[205] мне никогда не приходило в голову: срок моей сидки для этого был недостаточно долог. Через два года, возможно, и я бы дошел до этого. Тем менее достаточен он был для того, чтобы опускать голову в клозетную дыру и вести переговоры живым человеческим языком посредством трубы, соединяющей 6 клозетов в 6 этажах. А между тем мне известно, что такая система переговоров практиковалась.

Те двое, сидевшие надо мной, прибегали к такому не совсем удобному способу переговоров (не совсем удобному, если предположить, что им действительно приходилось для слушания ложиться на пол), вероятно, потому, что этот способ был безопаснее, чем перестукивание, которое легче могло обратить на себя внимание надзирателей и от которого труднее было отпереться. С неудобством же лежания на полу они мирились потому, что разговор был для них не праздной болтовней, заполняющей тюремный досуг, а серьезным делом: оба они были лопатинцы, сидевшие в то время на одной и той же скамье подсудимых и, очевидно, сильно нуждавшиеся в сообщении друг другу фактов и своих мыслей. Фамилий их я не узнал, но хорошо помню жуткие разговоры о вероятности или невероятности смертной казни. Как известно, большинство лопатинцев было приговорено к повешению, но в действительности никто из них казнен не был.

Прошли два первых, особенно мучительных дня моей сидки. На третий день, 28 февраля, которое приходилось в субботу, меня вызвали на первый допрос на Гороховую. Допрос вели товарищ прокурора окружного суда Янкулио и жандармский офицер Потулов под общим надзором товарища прокурора судебной палаты Котляревского. На столе была разложена груда отобранных у меня материалов. Я сам не знал с полной достоверностью, что у меня забрано и что уцелело, и потому с невольной тревогой старался проникнуть взором в эту груду, чтобы по возможности определить линию своего поведения. Системы полного отказа от каких бы то ни было показаний тогда еще не было, а если бы и была, то я вряд ли прибег бы к ней. Запираться в факте моего издательства не было ни малейшего смысла, но задача была не совершить невольного предательства и спасти кого можно. Всего больше я боялся за Кармалину[206] и Гробову: все остальные помогали мне более или менее сознательно и сознательно шли на известный риск. Кармалину же и Гробову я привлек к делу, соблазнив материальной выгодой, и

делать из них политических мучениц решительно не хотел. Еще во время обыска я просил С. Ф. Ольденбурга предупредить Гробову, а В. И. Семевского – Кармалину. Ольденбург действительно отправил к Гробовой своего брата, тот благополучно прошел к ней и просил ее уничтожить все следы отношений со мною. Кармалину же предупреждать не понадобилось. Но узнал обо всем этом я только две недели спустя, на первом свидании с матерью[207]. Боялся я и за Лидию Давыдову, за Крыжановского и Н. Е. Вернадскую[208].

Янкулио был высокий тонкий человек, чрезвычайно подвижный; голова, руки и ноги его были точно на шарнирах и ни одной минуты не оставались спокойными. Вел он себя в тоне чрезвычайной любезности, соединенной с крайней веселостью и смешливостью; каждую минуту он заливался тоненьким хихиканьем, – даже там, где я не видел решительно никакого повода для смеха. Вместе с тем он очень ловко вел допрос, приводя меня прямо в ужас, как бы невольно не навести его на нежелательные следы.

Сначала допрос вертелся в области очевидных фактов, и позиция моя была совершенно ясна, держаться на ней было не трудно.

– Вы ли издавали?

– Я.

– Где печатали, где брошюровали?

– Не могу сказать.

– Кто вам помогал в переводе и во всем остальном?

– Никто, я все сделал один.

– Хи, хи, хи, все – один. Г-н Водовозов, да ведь всего один человек сделать не может. Да и в университете вам учиться приходилось, когда же вы все успевали? Вам, очевидно, приходилось очень много работать.

– Приходилось.

– Что же, вам совершенно не удавалось ни в гостях побывать, ни у себя никого принимать?

Но сбить таким образом, очевидно, было нельзя. Хуже был вопрос: а откуда вы доставали рукописи новых сочинений Толстого и материалы для приложений к переводу Туна, с каких пор занимаетесь издательством, что успели издать и как распространяли свои издания. Но и на них можно было либо отвечать определенным фактическим сообщением (конечно, не всегда стесняясь строгой истиной и умалчивая о многом), либо заявлять вежливо, но решительно:

– Простите, на этот вопрос никак не могу ответить[209].

Но гораздо хуже пошло, когда приступили к отобранным

документам. Следователи, видимо, еще не успели ознакомиться с материалами обыска и потому просто брали документы по порядку.

– Вот, например, эта тетрадка, что это такое? Перевод главы Туна, очень хорошо. Но как будто он сделан не вашим почерком? А чьим же?

– Я, право, не помню.

К моему стыду, это был черняк[210] одной из первых, уже отлитографированных глав, ни к чему не нужный, который я, по непростительному легкомыслию, забыл уничтожить.

– Но тут есть поправки, сделанные другим почерком. Чей это почерк? Как будто похоже на ваш. Ведь это ваш почерк? Дайте взглянуть, как вы пишете? Ну, совершенно же ваш, точь-в-точь. Значит, переводили для вас другие лица, а вы редактировали?

Правда таким образом всплывала, и шаг за шагом мне приходилось признавать ее. А тут, словно нарочно, из груды бумаг высунулась записка Л. Давыдовой, приглашавшей меня на музыкальный вечер в их дом, и высунулась как раз своей подписью. Записка – невинная, но подпись и почерк выдавали принадлежность ей преступной рукописи[211].

У меня составился план действий. Я сделал попытку взять инициативу беседы в свои руки и начал сам извлекать из кучи бумаг некоторые, с чрезмерными подробностями объясняя, что в них нет ничего, что было бы нужно скрывать. И, продолжая заговаривать зубы моим следователям, я осторожно кончиками пальцев тянул к себе записку Давыдовой, чтобы потихоньку препроводить ее под стол и в карман. Но Потулов[212], все время державшийся совершенно пассивно[213], вдруг вскочил, злобно толкнул меня и наложил свою руку на бумаги.

– Здесь была сделана попытка изъять один документ, вот этот, – провозгласил он.

К счастью, ошибся и вместо письма Давыдовой вытащил совершенно другую записку[214]. Злобным тоном начал он допрос по ее поводу, но мне было нетрудно ответить на все его пункты, так как эта записка и своим содержанием, и своей подписью не представляла ничего компрометирующего[215].

Потулов успокоился и, по-видимому, сам усомнился в своей правоте, а Янкулио был явно на моей стороне. Допрос продолжался часа три, я исписал несколько листов своими показаниями. Наконец Янкулио поднялся и, вежливо протягивая мне руку, сказал:

– Теперь мы вас отпускаем, а послезавтра, в понедельник 2 марта, вновь вас вызовем, и я надеюсь, тогда дело пойдет быстрее.

Я осведомился, могу ли я просить о свидании с матерью и о присылке мне из дому некоторых необходимых вещей.

– О свидании в этой стадии процесса не может быть и речи. О свидании должна просить ваша мать, а не вы, и не теперь, а позднее, когда для нас выяснятся главные обстоятельства дела. Вы сами можете ускорить этот момент – большей откровенностью своих показаний. Этим же вы смягчите и свою участь, да и участь ваших друзей, в особенности друзей, которые литографировали ваши издания; ведь все равно мы их узнаем. А что касается вещей, то вот как раз пакет с ними для вас.

– Могу я его взять?

– Нет, он будет вам доставлен в Дом предварительного заключения.

Затем в той же извозчичьей карете, в которой меня привезли со Шпалерной на Гороховую, отвезли обратно в Дом предварительного заключения.

Вернулся в тюрьму я крайне удрученный. На столике я нашел обед, совершенно простывший, с плавающим поверх супа жиром; есть его было нельзя; кипяток тоже остыл. Я не жалел об обеде, ибо совершенно не чувствовал голода, но невозможность напиться чая еще более увеличила мое и без того удрученное состояние духа.

Я чувствовал, что пройдет несколько дней и будет произведен обыск у Давыдовой, а благодаря характеру ее матери и отца он должен будет принять прямо трагические формы[216]. Я еще не терял надежды отстоять Гробову и Кармалину, но умный, хитрый Янкулио приводил меня в ужас; он до всего доберется, думалось мне. Ведь если брошюровку еще можно производить в частной квартире и, следовательно, нет смысла производить повальный обыск во всех переплетных Петербурга, то не может быть сомнения, что литографировал я свои издания в легальной литографии, а литографий в Петербурге не так много и обыскать их все вполне возможно. Если Гробова почему-нибудь не предупреждена? В последний раз я сдал ей, вопреки обыкновению, сразу целых три листа, – они должны быть у нее готовы; успела ли она их уничтожить? А если даже и успела, то одно появление полиции в ее маленьком помещении приведет ее в такой ужас, что она может без нужды сознаться, или кто-нибудь из ее рабочих может дать неудобное показание.

Два дня я провел под гнетом этих мыслей. Я почти не спал, почти ничего не ел, пробавляясь только чаем с лимоном. В понедельник 2 марта я поднялся утром с постели, совершенно разбитый после бессонной ночи. Лишь только около моей двери раздавались шаги, сердце начинало усиленно стучать.

«Это за мною, сейчас на допрос».

Но шаги умолкали, за мною никто не приходил. Наконец шаги действительно остановились у моей двери, раздался громкий лязг тюремных ключей, и дверь отворилась. Но это был пакет с вещами, доставленный мне через тюремное начальство. В нем – несколько смен носильного и постельного белья, теплое одеяло, умывальные принадлежности и т. д., все – вещи самые обыкновенные; ни писем, ни книг не было. Была только одна надпись: «Василию Васильевичу Водовозову», сделанная рукою моей матери. Вещи, конечно, несколько скрашивали мою жизнь; было приятно грязное тюремное одеяло заменить домашним; пропитанное салом, дурно пахнущее тюремное полотенце заменить своим. Все же это для меня не представляло такой большой ценности, чтобы изменить мое настроение. Но тут была живая связь с другим миром – миром, ставшим для меня потусторонним, если не загробным, то затюремным. Ясное свидетельство, что кто-то вне тюрьмы думает обо мне. Это было чрезвычайно трогательно, и надпись: «Василию Васильевичу Водовозову» я перечитывал десятки раз. Несколько часов я был под впечатлением, я готов сказать – под обаянием, этой посылки, и эти часы дали мне передышку от щемившей меня тоски. У меня даже вновь появился аппетит, но как раз, в ожидании допроса, я не заказал своего обеда и должен был довольствоваться казенным.

К вечеру, однако, чувство тоски вернулось, и еще одну ночь я провел без сна. На следующий день допроса опять не было, в среду – тоже. В чем дело? Наконец, в четверг для меня стала ясной причина этого явления.

5 марта у меня оказался новый сосед, И. И. Гильгенберг, который и рассказал мне довольно подробно о событиях 1 марта. Не помню, назвал ли он фамилии главных деятелей этого события, Ульянова и Шевырева, но я догадался о них и без него. Я понял, что все жандармские и прокурорские силы отданы не моему, а другому, гораздо более важному делу и что мне придется теперь долго сидеть в ожидании допроса, а следовательно – и свидания.

Ульянов и Шевырев были моими товарищами по университету. Я был юристом, Ульянов и, кажется, Шевырев (наверное не помню) – естественниками. Тем не менее я с ними как-то познакомился. Знакомство наше было не очень близкое: в «гости» друг к другу мы не ходили, но оба они нередко захаживали ко мне, – по большей части чтобы попросить ту или иную книгу; нередко беседовали мы в университетском коридоре, нередко также вместе возвращались часть дороги из

университета[217].

Ульянов был одним из людей, за всю мою жизнь произведших на меня самое сильное впечатление. Замечательно одухотворенное бледное чистое лицо его, с высоким лбом, на редкость умные глаза останавливали на себе внимание всех, кто с ним встречался. Он был идеалистом в лучшем смысле этого слова. Весь он жил умственными и общественными интересами. В нем чувствовалось полное отсутствие обычных человеческих слабостей; тщеславие и самолюбие, как кажется, совсем отсутствовали у него, а если и нет – то были так глубоко спрятаны, что их и не заметишь. Когда я с ним познакомился, – кажется, это было в начале 1886 г.[218], он не принадлежал к числу особенно крайних радикалов и был скорее всего культурником; особенно интересовался студенческими землячествами, кассами взаимопомощи, так называемыми кружками саморазвития[219]. В ноябре 1886 г. он был одним из инициаторов панихиды по Добролюбову по случаю 25-летия его смерти. Невинная эта затея кончилась конфликтом с полицией, совершенно ничем не вызванным, и толкнула Ульянова на новую дорогу. Он решил, что для борьбы с деспотизмом, при котором не допускается даже невинная панихида по любимому писателю, необходим террор, и вместе с Шевыревым начал подготовлять покушение на жизнь Александра III.

Ульянова толкала на его дело отвлеченная идея. Он думал о человечестве, о России, о свободе, о социализме и в жертву им приносил свой труд, мысль и жизнь, – приносил вполне сознательно и в полном смысле слова беззаветно. Личной злобы и мести ни к царю, ни к режиму у него не было, потому что ни от царя, ни от режима он сам до тех пор не страдал, – нельзя же назвать страданием кратковременный арест из-за панихиды. Я готов сказать, что Ульянов был живым воплощением тех образов, которые рассеяны в романах и воспоминаниях Кравчинского[220], и единственным человеком, встреченным мною на моем жизненном пути, который до некоторой степени оправдывал идеализацию Кравчинского.

Шевырев был человеком совершенно другого типа. И в умственном, и в моральном отношении он стоял неизмеримо ниже своего товарища. Раздражительный и злобный, тщеславный и самолюбивый, он руководствовался по преимуществу именно этими чувствами. Впоследствии я слышал утверждение, будто бы участие в терроре было для него формой самоубийства, вызванного сифилисом; верно ли это, я не знаю.

Как бы то ни было, Ульянов и Шевырев с конца 1886 г. подготовляли покушение на цареубийство; Ульянов делал бомбы.

В разговорах со мной и он, и Шевырев несколько раз зондировали почву, можно ли привлечь меня к их делу, но я решительно не сочувствовал политическому террору, и, не доводя разговора до конца, оба они его прекращали[221]; но я совершенно ясно видел, что они носятся с мыслью о каком-то террористическом акте.

Однажды – вероятно, это было в январе 1887 г. – Ульянов попросил меня спрятать некоторое количество инфузорной земли (кизельгура[222]).

– А что такое инфузорная земля? – спросил я.

– Это вещество, которое употребляется в технике для самых различных целей, – хотя бы для чистки ножей, – и поэтому, найденное в невинном месте, оно само по себе ничего особенного не представляет. Но, конечно, оно употребляется и для других целей, и мне в настоящее время хранить его у себя опасно.

– А много его у вас?

– Нет, фунтов десять[223], вот – приблизительно такой ящик.

Относясь с полным доверием к этому объяснению, я все-таки решил, что мне брать на хранение эту вещь совершенно не следует; но, желая оказать услугу этому исключительно привлекательному человеку, я обратился с этою просьбою к Александру Аркадьевичу Кауфману, впоследствии известному статистику (умер в 1919 г.). Политические воззрения А. А. Кауфмана были окрашены, в особенности в то время, самым умеренным либерализмом; впоследствии он несколько подвинулся налево и стал активным членом кадетской партии. Мы с ним были старыми и близкими знакомыми, – он был гимназическим товарищем моего старшего, рано умершего брата Михаила, и я познакомился с ним еще до своего поступления в гимназию, а потом учился с ним в одной гимназии, хотя и в разных классах[224]. В то время, о котором идет речь, он уже окончил университет.

Я передал Кауфману просьбу Ульянова, не называя его фамилии, и на его вопрос об инфузорной земле повторил ему ульяновское объяснение. Кауфман согласился. Через несколько дней Ульянов привез ко мне инфузорную землю. Ее оказалось не 10 фунтов, а по крайней мере 30[225], и это был не маленький ящик указанных Ульяновым размеров, а большая, хорошо упакованная корзина. Я был несколько смущен этим, но, выразив слабое неудовольствие на несоответствие слов и действительности, тем не менее принял корзину и свез ее к Кауфману. Кауфман выразил гораздо более сильное неудовольствие, чем я, но также принял и поставил корзину на чердак.

Когда Кауфман узнал о моем аресте, а затем – о событиях 1 марта, то сильно встревожился, а узнав от В. И. Вернадского о

том, что инфузорная земля употребляется при выделке динамита, совсем перепугался и не знал, куда и как сплавить опасную вещь, пока наконец не надумал: как только прошел лед и на Неве показались ялики для катанья, он вместе с кем-то из приятелей брал ялик и частями отвозил инфузорную землю на взморье, где и высыпал ее в воду. Эту операцию ему пришлось повторить несколько раз[226]. Узнал я об этом много позднее, уже после освобождения из тюрьмы; узнал также, что Кауфман страшно сердился на меня, – конечно, совершенно справедливо. Я, в свою очередь, имел бы право сердиться на Ульянова, – но Ульянов был уже мертв.

Совершенно несомненно, что Ульянов обманул меня и воспользовался мною, как нередко пользовались революционеры либеральными, готовыми им помогать, но чуждыми революции обывателями. Смотреть на меня как на такого обывателя Ульянов, конечно, имел полное право, но самый факт такого пользования обывателями, как своего рода пушечным мясом революции, мне, разумеется, был очень не по душе. Но, вспоминая, что я и сам до некоторой степени так же поступил с Л. Давыдовой, втянув ее в чуждое ей дело и навлекши на нее серьезные неприятности, я простил Ульянову, и его образ не потускнел в моей памяти; быть может, даже этот нехороший[227] поступок сделал его в моих глазах более человечным.

В последний раз я виделся с Ульяновым дней за пять до моего ареста. Не помню, зачем он зашел ко мне, но, зайдя, он разговорился и просидел у меня часа два. Мы говорили о современном положении России, в частности о терроре как о средстве борьбы с деспотизмом. Я отрицал положительное значение террора, он защищал, стараясь не выходить из чисто теоретической постановки вопроса.

– Послушайте, Ульянов, – сказал я наконец, – ведь для меня совершенно ясно, что вы не только теоретический сторонник террора, а что-то готовите. Неужели это покушение на царя?

Вопрос был поставлен слишком прямо, и Ульянов, естественно, попытался уклониться от ответа; но сделал он это крайне неискусно, и я только укрепился в своем убеждении.

Я не первый раз в жизни встречался с живым террористом. Во время моей заграничной поездки за три года перед тем я имел случай познакомиться с Верой Засулич, но террористический акт в ее жизни был тогда в прошлом, и притом в далеком прошлом; здесь же я видел живого человека, подготовлявшего страшный акт, и человек этот вдобавок возбуждал к себе совершенно исключительную симпатию.

Как я уже сказал, террору я тогда не сочувствовал, но

террористы, обвеянные романтическою дымкой и знакомые главным образом по отчетам о политических процессах и по «Подпольной России» Кравчинского («Андрея Кожухова» тогда еще не было)[228], вызывали во мне к себе самое восторженное сочувствие, а личность Ульянова только укрепляла его. Я счел нужным передать ему выражение недовольства со стороны Кауфмана (не называя, конечно, его по имени), но тем не менее расстался с Ульяновым чрезвычайно дружески. Больше его я не видал[229].

Около 10 марта меня неожиданно вызвали на свидание. Меня провели длинными тюремными коридорами и лестницами в комнату для свиданий и посадили в небольшую клетку с проволочной решеткой величиной в обычную оконную раму сзади и с такой же решеткой спереди. На расстоянии аршина перед решеткой спереди была другая решетка, а за нею – помещение для родственника, приходящего к арестанту на свидание. Минут десять мне пришлось прождать в этой клетке, недоумевая, кого я сейчас увижу, после чего в помещение была введена моя мать. Ни обняться, ни пожать руку было невозможно; можно было только разговаривать, и то не свободно: как сзади меня, так и сзади моей матери ходили помощники начальника тюрьмы, очень активно вмешиваясь в наши разговоры. За десять минут ожидания я уже огляделся и успел взять себя в руки в ожидании того, что я сейчас увижу, но на мою мать, неожиданно увидевшую меня запертым в клетке, это зрелище произвело ошеломляющее впечатление; она разрыдалась, хотя вообще умела владеть собою[230]. Прошло довольно долго, прежде чем она успокоилась, и потому получасовое свидание в действительности оказалось для нас еще более коротким, – ни о чем толком мы не успели переговорить, тем более что начальство каждый раз нас обрывало, как только моя мать касалась наиболее интересных для нас вопросов. Она попробовала рассказать о событии 1 марта, которое я в общих чертах уже знал, но помощник начальника Дома злобно раскричался:

– Я сейчас прерву ваше свидание, я донесу, я говорить об этом не позволяю.

То же самое повторилось, когда она начала рассказывать о том, каких лиц посетила в хлопотах обо мне и что успела сделать. Мать попробовала перейти на французский язык в расчете на то, что надзирающее начальство его не понимает; расчет, вероятно, был правильным, потому что начальство сейчас же запретило вообще разговор на иностранном языке. Однако к концу свидания мы успели приноровиться говорить отдельные фразы, когда оба начальника оказывались не у наших, а у соседних клеток, где

были свидания других арестантов, и таким образом кое-что важное она все же успела шепнуть мне. Во всяком случае, я узнал, что благодаря Н. С. Таганцеву ей удалось добиться свидания со мной, и притом два раза в неделю, хотя прокуратура крайне не хотела его давать.

Внешняя обстановка свиданий для политических в Доме предварительного заключения совсем не та, что в обычных уголовных тюрьмах, описанная в «Воскресении» Толстого. Там большая комната во всю свою длину разделена двумя параллельными высокими решетками на три части; в одной части находятся арестанты, вызванные на свидание; в другой – их родственники, а посередине между ними – между решетками – ходят тюремные надзиратели. Арестанты – вместе в толпе, и родственники тоже – вместе в толпе. Приходится отыскивать своих через две решетки, отделенные друг от друга аршина[231] на два, и кричать среди гула общих разговоров. Князь Нехлюдов такого свидания с Катюшей не выдержал. Здесь, в Доме предварительного заключения, напротив, свидания были индивидуальны, кричать не было никакой надобности, и надзирающее начальство не мелькало между арестантом и родственником, а ходило позади того и другого. Конечно, сидеть в звериной клетке очень неприятно и столь же неприятно приходящему с воли родственнику видеть близкого человека в такой клетке. Но все-таки это в конце концов выносимо, к этому не трудно приноровиться.

После первого наши свидания пошли регулярно, дважды в неделю, а приблизительно через месяц мать добилась и третьего свидания, притом так называемого личного. Оно давалось в тюремной камере – не моей, а свободной от постояльца; там можно было и обняться, и сидеть рядом, и пожать руку, и даже секретно передать небольшую записку – конечно, с большим риском. Но в этом последнем обыкновенно не было и надобности, так как вместо помощника начальника Дома при свидании присутствовал простой надзиратель, малоинтеллигентный, не понимавший, о чем идет речь, и обыкновенно совершенно не вмешивавшийся в разговор, так что можно было сказать решительно все, особенно если вести его с осторожностью и все особо важное излагать языком, понятным только для своих, – эзоповым или даже французским.

На следующий же день после первого свидания я получил сразу с полдюжины писем моей матери, которая аккуратно писала их мне с первого дня ареста. Мои письма, тоже аккуратно писавшиеся, она получила только через несколько дней после свидания.

Первое свидание было переломным днем в моем настроении. Хотя сознание того, что я многих погубил, по-прежнему щемило мне грудь, но все-таки я успокоился и ждал следующего допроса гораздо хладнокровнее. Я начал усиленно читать в области классической литературы и истории и работать по юриспруденции, готовясь к экзаменам, ко времени которых, как я надеялся, меня выпустят[232]. Отчасти под влиянием тюрьмы и допросов я начал более серьезным образом, чем раньше, знакомиться с уголовным правом и процессом, а под влиянием предстоявших экзаменов – вообще с юриспруденцией, тогда как раньше мои интересы лежали почти исключительно в области модной тогда науки – политической экономии.

Прошло еще недели две, когда меня в конце марта вызвали наконец на допрос. К моему удовольствию, я увидел, что Янкулио из числа лиц, ведших мое следствие, исчез; он, как я сразу догадался, как более тонкий и ловкий следователь понадобился для более важного и крупного дела первомартовцев, а для меня был назначен простоватый и малосообразительный товарищ прокурора Кемпе, с которым мне было гораздо удобнее вести дело. Несмотря на эту свою простоватость, он впоследствии дослужился до товарища обер-прокурора Сената. Жандарм Потулов, которого я нисколько не боялся, несмотря на его по временам страшные рыкания, остался при моем деле.

На этот раз, однако, на допрос я был вызван не по своему делу, а как раз по делу первомартовцев: из просмотра моих бумаг, в частности моей записной книжки, куда я заносил выдачи из моей библиотеки, следователи убедились в моем знакомстве с Ульяновым и Шевыревым, и им хотелось узнать, нельзя ли и меня привлечь к этому делу, а если нет, то нельзя ли от меня что-нибудь выведать по этому делу. И в том и в другом им пришлось разочароваться. Мое знакомство с двумя первомартовцами я объяснил в полном согласии с действительностью и вместе с тем совершенно невинно; инцидент с инфузорной землей остался совершенно незатронутым, а рассказывать о моих разговорах с Ульяновым у меня, конечно, не было никаких оснований. Показания Ульянова и Шевырева ни в чем не разошлись с моими, и опасность быть привлеченным к этому делу для меня миновала[233]. Однако судя по многим данным, в том приговоре, который мне был назначен, некоторую долю нужно отнести на самый факт знакомства с этими страшными лицами. По крайней мере, на одном из последних допросов в ответ на мой вопрос, в чем я обвиняюсь, Кемпе мне заявил:

– Прежде всего вы обвиняетесь в издании книг Туна, Шэфле и Толстого, а затем в принадлежности к партии «Черного

передела»[234]. К партии «Народной воли» вы, по-видимому, не принадлежите.

Я совсем остолбенел. К партии «Черного передела» я никогда не принадлежал, да в это время ее уже не существовало; решительно никаких данных для подозрения в моей принадлежности к ней не было, и даже самое имя «Черного передела» на допросах не упоминалось ни разу. Чернопередельческой литературы при обыске у меня найдено не было; найденная у меня новейшая запретная литература имела по преимуществу характер народовольческий.

– Помилуйте, при чем тут «Черный передел»? Где же хотя бы тень доказательства?

– Да как же: нелегальная работа, революционные знакомства, а между тем действительно нет оснований подозревать вас в террористических покушениях.

Такова была логика прокуратуры: я знаком с революционерами-народовольцами, но в их деле не участвовал; ergo[235] – я виновен в чем-то менее серьезном; партий известно следователям две: народовольцы и чернопередельцы (социал-демократы, уже появившиеся тогда за границей в лице Плеханова, Аксельрода и других, в России еще почти не имели своих сторонников, хотя группа Благоева в Одессе[236] была в это время уже раскрыта и ликвидирована[237]); я, следовательно, должен принадлежать к чернопередельцам.

За вторым допросом через неделю или полторы последовал третий, за ним – четвертый и т. д., всего десять или двенадцать. Эти уже были посвящены непосредственно моему делу. Очень скоро нашлась та записка Лидии Давыдовой, о которой я уже говорил и по которой установили принадлежность ей одной относящейся к переводу Туна рукописи. У нее был сделан обыск, – к счастью, ничего не нашли. Ее свезли в градоначальство, но в тот же день освободили.

Нашли у меня одну записку приблизительно такого содержания: «Знаешь ли ты о брошюре Шэфле “Der Krieg in Zahlen”[238]? По-видимому, очень ценная. Желательно достать, перевести, издать и распространить»[239]. В подписи ясно было «Сер…», конец неразборчив. Записка эта принадлежала Сергею Ольденбургу и имела совершенно невинный характер. Будучи в то время крайним пацифистом и воображая, что изображением ужасов войны можно ее предотвратить, Ольденбург решил, что эта книжка могла бы быть желательной на русском книжном рынке. Но в данном случае он нисколько не сомневался, что цензура не сделала бы никакого препятствия переводу и изданию этой книжки, и потому в данном случае имел в виду

исключительно легальное издание. Само собою разумеется, что, живя за десять минут ходьбы от меня и беспрестанно видясь со мной, он не стал бы сноситься по нелегальному делу при помощи почты. Но само собою разумеется также, что следователи не были расположены верить этому, тем более что другая брошюра Шэфле («Сущность социализма») была в числе изданных мною нелегальных книг.

Предъявляя мне это письмо, Кемпе спросил, кому оно принадлежит. Я отказался отвечать на этот вопрос, хотя, может быть, этот отказ в данном случае и был ошибкой, ибо авторство Ольденбурга не могло остаться тайной, а откровенный ответ, может быть, рассеял бы подозрительность.

– Речь в этом письме идет, очевидно, о таком же издании, как все остальные ваши издания.

– Нет, не очевидно, а даже совсем напротив. Автор письма узнал о книге Шэфле из заметки о ней в «Новостях»[240], помещенной там около того числа, которым датировано письмо; вам, следовательно, не трудно ее найти и убедиться в этом. Уже из этой заметки вы можете увидеть, что книга эта – статистическая и экономическая, ничего нецензурного в себе не заключающая. Затем эту книгу вы можете найти в любом большом книжном магазине Петербурга и можете узнать, что она продается совершенно свободно. Она у меня есть, я ее читал и тем более убежден в этом. Издавать ее нелегально нет смысла.

– Зачем же тут сказано «и распространить» и зачем автор этого письма обращается именно к вам, занимающемуся нелегальным издательством?

Ответы на оба вопроса были легки и трудны; легки они были бы в беседе со знакомым; трудны на допросе, производимом прокурором и жандармом, заранее решившими не верить ничему, что говорит сидящий перед ними арестант.

– Зачем же вы скрываете имя автора письма, если в нем нет ничего преступного?

На это ответить еще легче: ведь я же вижу, что вы мне не верите и что за моим ответом немедленно последует предписание об обыске[241].

На следующем допросе мне была предъявлена другая записка Ольденбурга[242], с полной его подписью. Сходство почерков было несомненно[243], и в ту же ночь у Ольденбурга был сделан обыск. У него забрали довольно много бумаг, между прочим написанных по-санскритски и на других восточных языках, которые производивший обыск жандармский офицер, по-видимому, принял за какой-то шифр. На первом же допросе недоразумение разъяснилось, и рукописи были благополучно возвращены. Но, на

беду, у него было забрано также одно письмо С. Е. Крыжановского, само по себе тоже невинное[244], но при сопоставлении с найденной у меня рукописью, относившейся к Туну, оно обнаруживало ее автора[245].

Из других же лиц по моей неосторожности пострадал еще мой университетский товарищ Б. Б. Глинский (впоследствии редактор «Северного вестника», а затем – «Исторического вестника»). К моему делу он не имел никакого отношения, но у меня было найдено его письмо, обнаружившее его связь с Шевыревым и участие в студенческих землячествах[246].

Через четыре месяца, во второй половине июня, я был выпущен под залог в две тысячи рублей и остался в Петербурге ожидать приговора[247]. Из университета я был, разумеется, исключен, не сдав переходных экзаменов; литературная работа моя не возобновилась, нелегальное издательство – тем более, и я жил несколько месяцев без определенного дела[248].

Из моих близких друзей я не застал Сергея Ольденбурга, уехавшего за границу в научную командировку, и Федора Ольденбурга, уехавшего в Тверь, где он сделался преподавателем в известной учительской семинарии имени Максимовича и приобрел большое значение как общественный деятель[249]; застал Вернадского, Гревса и по-прежнему поддерживал с ними близкое дружеское знакомство.

Сблизился в эту зиму я с семьей известного таврического земского деятеля, впоследствии члена Государственной думы В. К. Винберга, бывшей центром очень обширного и радикального кружка. В нем, между прочим, я познакомился (позднее, в 1890 г.) с молоденькой, только что прибывшей в Петербург курсисткой Ольгой Ильиничной Ульяновой, сестрой уже казненного в это время Александра Ульянова и В. И. Ленина; позднее я скажу о ней больше в связи с семьей Ульяновых.

В феврале 1888 г. кончилось мое дело, и мне и моим товарищам по нему был вынесен приговор, – разумеется, не в судебном, а в административном порядке, приговор «по высочайшему повелению»; я был отправлен на пять лет административной ссылки в Архангельскую губернию в распоряжение архангельского губернатора; Крыжановскому назначено 14 дней тюремного заключения, Глинскому – 10 дней, Лидии Давыдовой – высочайший выговор; Кармалину считать освобожденной от дела[250].

Особенно курьезным наказанием был высочайший выговор Лидии Давыдовой, сообщенный ей через околоточного. Для нее он был действительным наказанием, потому что ее отец серьезно считал себя опозоренным всею этой историей, а мать, Александра

Аркадьевна Давыдова, была страшно перепугана и за дочь, и за себя, и дочери пришлось пережить очень тяжелые минуты. Лидия Карловна посетила меня, но дала понять, что мне в их доме бывать в течение некоторого времени не следует.

Глинский, большой специалист по делу устроения общественных обедов и выпивок, был арестован на следующий день после устроенного им студенческого обеда в университетскую годовщину 8 февраля (на котором я тоже присутствовал) и был выпущен ровно через десять дней, так что успел попасть на общественный обед по случаю годовщины освобождения крестьян.

Крыжановский благодаря своим связям в высоких чиновничьих сферах успел отбояриться от наказания, и эта история не помешала ему сделать хорошую карьеру. Поступив на службу, он быстро и решительно повернул направо, довольно круто разорвал с друзьями молодости, был впоследствии товарищем министра финансов при Витте[251], а затем – внутренних дел при Столыпине и одним из творцов закона 3 июня 1907 г.[252]

Кармалина, как я уже говорил, несмотря на оправдательный приговор, пострадала тяжелее других.

Гробова на этот раз вышла совсем сухой из воды. Литография ее по-прежнему процветала на Большом проспекте Петербургской стороны, и нередко, проезжая мимо нее на империале тогдашней конки[253], я читал ее вывеску и думал: не зайти ли к ней, не поговорить ли с ней, но ни разу не решился этого сделать. Скоро мне стало известно, что к ней нашли дорогу студенты, занимавшиеся тем же, чем и я, и что, побуждаемая нуждой или жадностью, она вновь занялась тем же самым делом, на этот раз – с более печальным результатом. Когда через два года я был в Петербурге и вновь проезжал на той же конке, я уже не увидел ее вывески: новое нелегальное издательство, литографировавшее у нее свои издания, было раскрыто, мастерская ее закрыта, она арестована и выслана из Петербурга[254]. Но моей вины в этом совершенно не было. Не знаю, допрашивали ли ее тогда и о моих изданиях, но, во всяком случае, меня в связи с ее делом не трогали.

Ал[ександр] И[льич] Ульянов и Шевырев были повешены вместе с тремя другими участниками их дела (Андреюшкиным[255], Генераловым и Осипановым)[256]. Во время процесса в Петербург приехала мать Ульянова, Мария Александровна[257], и хлопотала, а для этого обивала все пороги. Хлопоты о смягчении участи были, конечно, совершенно бесполезны, но она страстно добивалась хотя бы свидания с сыном перед казнью, чтобы проститься с ним.

Очень горячее участие принял в ней известный криминалист, в то время сенатор[258], Н. С. Таганцев, и с большим трудом, нажавши все пружины, добился исполнения ее просьбы: свидание ей было дано. М. А. Ульянова была глубоко благодарна Таганцеву и написала ему письмо, в котором, благодаря его, высказала между прочим следующее: «Мне, конечно, никогда не удастся отблагодарить Вас за Вашу сердечность, но я молю Бога, чтобы кто-нибудь из моих детей когда-нибудь смог отблагодарить Вас за меня».

Через 33 года после этого второй ее сын, Владимир Ильич Ленин, был властелином России, а сын Таганцева, профессор Вл[адимир] Ник[олаевич] Таганцев, сидел в тюрьме и был приговорен к расстрелу за участие в каком-то едва ли не фантастическом или, во всяком случае, доподлинно неизвестном заговоре против власти[259]. Ник[олай] Ст[епанович] Таганцев написал Ленину письмо с просьбой о помиловании сына и в этом письме напомнил письмо матери Ленина[260]. Ответом был немедленный расстрел Владимира Николаевича Таганцева[261].

# Глава III. Ссылка. Материальные и духовные условия жизни в ссылке. – Полицейские условия

Как раз в годовщину моего ареста, 25 февраля 1888 г., я отправился в ссылку. Мне было разрешено ехать на свой счет и даже без провожатого с так называемым «проходным свидетельством» вместо паспорта, то есть бумагой, объяснявшей мое полуправное положение. Железной дороги из Петербурга на Вологду, а тем более из Вологды в Архангельск, точно так же, как линии между Рыбинском и Ярославлем, тогда еще не было, и я проехал на Москву и Ярославль. Так как я, не надеясь на доступ в Петербург, рассчитывал держать экзамен при Ярославском лицее[262], то я остановился в Ярославле и обошел профессоров лицея, чтобы позондировать почву и узнать их экзаменационные требования.

Затем, переехав через Волгу по крепкому еще льду (моста тогда еще не было), я сел в скверный вагон тряской узкоколейки, везшей тогда на Вологду, и после медлительного пути прибыл в Вологду. Там я купил кибитку и в ней (чтобы не перекладывать вещей на каждой почтовой станции) направился в Архангельск, около 800 верст и что-то около 40 почтовых станций. Ехал я день и ночь, 5 суток по хорошему санному пути, перепрягая лошадей на каждой почтовой станции, любуясь прекрасным сосновым лесом, тянущимся почти всю дорогу. При свете восходящего и заходящего солнца кора его деревьев отливала красным цветом и представляла контраст с девственным белым снегом. Останавливался я только для чаепития и обеда. Только в Шенкурске и Холмогорах я остановился на несколько часов, чтобы познакомиться с местными ссыльными колониями. Все это можно было проделать совершенно свободно, не встречая никаких препятствий со стороны местной администрации.

Наконец я прибыл в Архангельск. Здесь я должен был явиться к местному губернатору (кн. Голицыну), от которого зависело назначить мне место жительства. Мне предшествовало письмо М. И. Семевского, который просил оставить меня в самом Архангельске. В этом Голицын отказал и назначил мне Шенкурск как самый южный и лучший город Архангельской губернии, причем, однако, сам предложил мне переждать в Архангельске до открытия навигации. Я не понял тогда, что это было замаскированное согласие на ходатайство: можно было остаться до открытия навигации, потом просить об отсрочке на два месяца,

потом заболеть, потом просить об оставлении до санного пути и затем – до новой навигации, – и много шансов, что мне это удалось бы; прецеденты, как оказалось, бывали. Но я этого не знал, и меня не прельщала мысль распаковывать свои чемоданы с большим запасом книг, устраиваться на короткое время, чтобы через два месяца срываться с места и вновь ехать куда-то вдаль для нового устройства на новом месте.

В общем, я, вероятно, не сделал ошибки, так как условия жизни и работы в Архангельске вряд ли были лучше, чем в Шенкурске. От железной дороги Архангельск был дальше, почта от Петербурга и Москвы доходила до него позднее даже в нормальное время, а тем более во время весеннего и осеннего бездорожья, климат был значительно хуже, жизнь дороже, окрестная природа хуже, а общество, доступное мне, вероятно, не лучше. Поэтому я остался в Архангельске всего несколько дней, чтобы отдохнуть от поездки, посмотреть город и познакомиться кое с кем из местных обывателей.

Политических ссыльных в то время в Архангельске не было, а из местных людей, с которыми я познакомился, интересным собеседником оказался только один статистик Минейко, хороший знаток края. Затем в той же своей кибитке, приобретя несколько статистических изданий Архангельского комитета[263], я отправился обратно в Шенкурск. Весна в этом году была ранняя и особенно быстрая, и сильный мороз, сопровождавший мою поездку от Вологды до Архангельска, неожиданно быстро сменился оттепелью. Я вновь проехал Холмогоры, переночевал там по усиленному приглашению у одного из местных ссыльных и тронулся далее на Шенкурск.

Тронулся я не один. Незадолго перед тем в Холмогорах произошел такой инцидент. Через город по этапу проходила к Архангельску новая партия политических. Местные холмогорские «политики» вышли ее встречать, но сопровождавший ее конвой не допустил их до разговоров с партией и даже поколотил прикладами. В наказание избитые холмогорские «политики» были раскассированы по разным городам Архангельской губернии. Большая часть была отправлена в более гиблые места, как Онега, Пинега и Мезень, а одной, Шейдаковой, как испытавшей побои в меньшей, чем другие, степени, было предписано отправляться в Шенкурск. Ее перевод туда совпал с моей поездкой, и я поехал вместе с нею; впоследствии она стала моей женой. Дорога стала хуже, ехать без ночевок было невозможно, и триста с небольшим верст потребовали от нас на этот раз целых три дня. В середине марта я был в Шенкурске[264].

По своему географическому положению Шенкурск не похож

на другие северные города России. Он лежит на довольно высоком правом берегу довольно широкой (сажен[265] сто) реки Ваги, притока Оби[266]. Берег песчаный и, следовательно, сухой; на север и на юг тянется прекрасный сосновый лес. Болота имеются только к востоку, а также к западу, на противоположном берегу Ваги. Зимы длинные, холодные и очень многоснежные; лето короткое, иногда довольно жаркое и вообще сухое; весна и осень, особенно последняя, короткие, тянущиеся недели по три, по четыре. В общем, климат можно признать здоровым.

Городишко Шенкурск – маленький, весь деревянный, довольно чистый. По полицейским данным, в нем числилось тогда 1293 жителя. Коренное население – чисто русское и исключительно православное; оно занималось мелкой торговлей, сдачей квартир в наймы чиновникам и ссыльным, отчасти ремеслами (встречая в этом отношении некоторую конкуренцию со стороны ссыльных). Видную часть населения составляло чиновничество, а также ссыльные, политические и уголовные.

Город являлся административным центром громадного территориально уезда. На севере граница ближайшего Холмогорского уезда отстояла верст на 150–200, на юге граница Вологодской губернии – верст 80. И к Холмогорам (и далее к Архангельску), и к ближайшему уездному городу Вологодской губернии – Вельску (а от него к Вологде), по крайней мере, был хороший почтовый тракт; на восток и на запад летом проезда почти не было. Населения во всем уезде было что-то около 80 000; это были крестьяне, находившие подсобный заработок в кустарных и в отхожих промыслах. Из кустарных промыслов я особенно заинтересовался вытачиванием разных безделушек (брошек, разрезальных ножей и т. п.) из изредка находимой в этих местах мамонтовой кости; работа поражала художественностью отделки. Я купил несколько таких вещиц по изумительно дешевым ценам и послал их в Петербург в подарок близким людям. Среди крестьян имелось небольшое число старообрядцев.

При некотором знакомстве с крестьянами я обратил внимание на два явления. Во-первых, их более независимый, прямой, менее заискивающий, чем в остальной России, характер, – вероятно, последствие того, что здесь никогда не было крепостного права. А во-вторых, местный язык, довольно сильно отличающийся от ранее знакомых мне говоров русского языка. Я заметил любопытный пережиток dativus absolutus[267] или dativus temporis[268] (например: «сего годному году» – в нынешнем году); обратил внимание на винительный падеж существительных женского рода, сходный с именительным («носить вода», «закрыть

труба»), некоторые слова в особенном смысле («пахать пол» в смысле мести) и т. д. Я записал довольно много таких особенностей, а также несколько песен, которые я слышал, но никакого употребления из этих записей, к сожалению, не сделал.

Цены в городе была изумительно низкие. Я, например, платил 6 рублей за квартиру в три больших комнаты с кухней; квартира была меблированная, – конечно, очень просто, но для неприхотливого человека вполне достаточно. И это была одна из самых дорогих и лучших квартир в городе. Самую лучшую и самую дорогую во всем Шенкурске квартиру занимал жандармский офицер, платя за нее 15 рублей в месяц. Другие ссыльные платили за квартиры 4, 3 и даже 2 рубля, и это были квартиры обыкновенно в две комнаты с кухней. Конечно, все это было примитивно и лишено довольно элементарных удобств. Дрова были изумительно дешевы, так что экономить на них никому не приходило в голову. Мясо стоило 2–3 копейки фунт; десяток яиц весною – столько же, зато зимою их просто нельзя было найти. Несколько дороже, чем в остальной России, был хлеб, так как местного хлеба для потребностей уезда и города (а тем более губернии) не хватало; сравнительно дороги были товары привозные: сахар, чай, табак, но все-таки дешевле, чем можно было бы ожидать. Ведь за доставку гужом товаров от Вологды (400 верст!) местные купцы платили летом 40–50 копеек за пуд, а зимой – 25–30 копеек. Вследствие таких цен я, получавший из дому 40 рублей в месяц, мог считаться богачом, да и другие ссыльные, доходы которых определялись, как я скажу дальше, рублей в 14–15 на человека, следовательно – в 28–30 на супружескую пару, могли жить, не нуждаясь.

Еще по дороге в Шенкурск я обдумал линию своего поведения в ссылке. Что буду я делать там? Прежде всего, конечно, – учиться. Авось мне разрешат по окончании ссылки сдать университетские экзамены, – необходимо быть готовым к ним; для этой цели я взял с собой два больших чемодана, набитых книгами, и рассчитывал на дальнейшую их присылку из дому – частью из моей личной библиотеки, оставшейся в Петербурге, частью новых.

Но, далее, учиться нужно не только из книг. Нужно присмотреться к местной жизни. До тех пор провинции я почти не видал и ее жизнь знал разве по Гоголю и новейшей литературе. Хорошо, если я сумею войти в жизнь местного общества и таким образом познакомлюсь с провинциальным обществом. Будет ли это допущено жандармерией? Увидим. Как на это посмотрят товарищи по ссылке? Тоже увидим. С товарищами по ссылке, надеюсь, сойдусь. Я много слышал о постоянной грызне в

ссыльных колониях, но у меня характер, кажется, не сварливый, а те представители ссылки, с которыми я познакомился проездом в Холмогорах и самом Шенкурске, мне понравились. Авось будем жить дружно, а главное, буду усиленно работать.

По приезде в Шенкурск я переночевал первую ночь у одного из товарищей по ссылке (ни гостиницы, ни даже постоялого двора в городе не было; ночевать проезжие, не находившие приюта у знакомых, могли только на почтовой станции), а затем легко, с его же помощью, нашел себе помещение и устроился в городе. Столоваться у себя предложила одна из ссыльных дам, у которой столовалось еще несколько ссыльных и которая делала это совершенно бескорыстно, по «себестоимости», – обед обходился у нее рублей 5–6 в месяц. В первый же день я познакомился со всеми товарищами по ссылке (или возобновил знакомство, так как оно было заведено еще в первый проезд через Шенкурск неделею раньше) и сразу застал две враждебные друг другу партии, а меньше чем через два месяца имел несчастье попасть в суперарбитры в третейском суде между ними.

Правовое положение ссыльных регулировалось «Положением о полицейском надзоре» 1881 года, помещенным в приложении к «Уставу предупреждения и пресечения преступлений»[269] (т. XIV Свода законов). При этом закон вовсе не знал административной ссылки; он знал только полицейский надзор; административная же ссылка явилась внезаконным придатком к надзору, созданным жизненной практикой. Под полицейский надзор (по словам закона) отдавались «лица, вредные для общественного спокойствия»[270], и надзор являлся мерой предупреждения могущих быть совершенными преступлений, никоим образом не карой за таковые.

В действительности дело обстояло как раз обратно: под надзор в ссылку отправляли всегда или почти всегда за какое-либо конкретное деяние, признаваемое преступным, как это было со мной. Но если я, по крайней мере, действительно совершил то деяние, в котором обвинялся, то в других случаях нередко было достаточно простого подозрения в совершении такого деяния без всяких доказательств. Факт совершения этого деяния и его преступный характер устанавливались не судом, требующим точных и убедительных доказательств, а «в административном порядке», и кара назначалась обыкновенно по высочайшему повелению на основании доклада, представляемого министром внутренних дел, в свою очередь целиком зависевшего от доклада директора Департамента полиции (в то время директором был знаменитый впоследствии П. Н. Дурново[271]). Были и другие способы назначения административной ссылки.

В ссылке человек попадал в полное распоряжение местной администрации и был совершенно бесправным. По «Положению о надзоре» ему были воспрещены: «1. Всякая педагогическая деятельность. 2. Принятие к себе учеников для обучения их искусствам и ремеслам. 3. Чтение публичных лекций. 4. Участие в публичных заседаниях ученых обществ. 5. Участие в публичных сценических представлениях. 6. Вообще всякого рода публичная деятельность. 7. Содержание типографий, литографий, фотографий, библиотек для чтения и служба при них[272]. 8. Торговля книгами[273]. 9. Содержание трактирных и питейных заведений[274]».

Далее в «Положении о надзоре» говорилось:

Статья 26. «Лица поднадзорные могут ходатайствовать по судебным делам, относящимся только до них самих, их родителей и детей».

Статья 27. «Врачебная, акушерская, фармацевтическая практика дозволяется поднадзорным не иначе как с разрешения министра внутренних дел».

И, наконец, увенчивала все эти запретительные статьи статья 28, которая гласила:

«Все остальные занятия, дозволенные законом, разрешаются поднадзорным, но с тем, что от местного губернатора зависит воспретить поднадзорному избранное им занятие[275]».

Эти постановления лишали ссыльного возможности заниматься каким бы то ни было интеллигентским трудом и отдавали его связанным по ногам и рукам в руки местной администрации; особенно хороша была в этом отношении последняя статья. А если прибавить к ней некоторые другие, например о праве министра внутренних дел предписать администрации контролировать его переписку[276] и тому подобное, то станет совершенно понятно, какие тяжелые воспоминания связаны у русской интеллигенции с административной ссылкой.

Стесненный запретительными постановлениями закона и часто еще более диким произволом трусливой, злобной и невежественной администрации, оторванный от привычных занятий, административный ссыльный обыкновенно не мог найти никакого заработка. Правда, он получал денежное пособие, но оно в большинстве случаев было совершенно ничтожно: в иных городах – 6 рублей в месяц, в иных – 3 рубля 60 копеек и даже меньше, – жить на него было совершенно невозможно. За самое пустое нарушение правил, – а правила таковы, что не нарушать их почти невозможно, – а то и без нарушения виновный по усмотрению местной администрации подвергался аресту и

высылке в другое место той же губернии, иногда – в тундры, в болота или в совершенно глухой улус[277], населенный исключительно полудикими якутами или тунгусами.

Всякий, кто читал «Записки моего современника»[278] Короленко, помнит, конечно, что представляла из себя такая ссылка. А в качестве яркого примера бессмысленности и закона о полицейском надзоре, и в особенности его применения можно вспомнить хорошо в свое время (в конце 70-х или начале 80-х годов) известный случай, когда в одном из сибирских городов против ссыльного врача Долгополова было возбуждено «дело о противозаконном вынутии пули из тела» какой-то местной обывательницы. Эта обывательница – притом из общественных верхов города, чуть ли не жена городского головы. В городе не было другого врача, и муж обывательницы слезно умолял ссыльного врача спасти его жену, что тот и исполнил благополучно после некоторых колебаний. Но исправник – вследствие ли враждебных отношений с головой или неприязни к Долгополову, или из опасения, что незаконное врачевание может потрясти основы государственного порядка и приблизить революцию, – поспешил только возбудить «дело» против Долгополова; было произведено следствие в административном порядке, составлено толстое «дело» за определенным номером со значительным числом подшитых к нему листов, и в результате законность была восстановлена, а врач, проявивший своим врачеванием «вредность для общественного спокойствия», после нескольких месяцев тюрьмы был переведен в какое-то совсем скверное место, где, конечно, тоже не было другого врача, но где он лечить уже не решался[279].

Таковы были условия ссыльной жизни «вообще», преимущественно – в Сибири. Но в частности, в зависимости от случайного личного состава местной администрации, в особенности губернатора, а также многих других условий жизнь складывалась и иным образом, и иногда – весьма сносно. И, на мое счастье, в Архангельской губернии и в особенности в Шенкурске она в мое время сложилась именно так. Отчасти это объяснялось личными свойствами двух губернаторов, известного Н. М. Баранова, управлявшего Архангельской губернией в течение нескольких первых лет царствования Александра III, и его заместителя, князя Голицына, управлявшего ею при мне.

Баранов, моряк, командир «Весты» во время турецкой войны 1877–1878 гг., прославился каким-то весьма сомнительным подвигом[280], за который он должен был оставить флот; в 1881 г. был петербургским градоначальником и здесь прославился созданием курьезного представительного собрания, известного

под именем «бараньего парламента»[281]; в наказание за это был отправлен в ссылку архангельским губернатором. Через два года его прежние вины были прощены, и он был переведен в Нижний Новгород, где вновь прославился своим самодурством. Самодуром он был, конечно, и в Архангельске, но самодурство его было очень непоследовательное и не злобное; напротив, под некоторыми влияниями он иногда мог совершать очень хорошие поступки. И вот в хорошую минуту, действуя под влиянием одного чиновника своей канцелярии, бывшего политического ссыльного (помнится, его фамилия Лудмер; он был сотрудником «Юридического вестника» и «Русских ведомостей»), Баранов обратился в Петербург к высшему начальству с указанием на бедственное положение административных ссыльных и необходимость увеличить им казенное пособие.

Обращение его имело успех, и казенное пособие было поднято от какой-то очень низкой нормы до 12 рублей в месяц для привилегированных и 6 рублей в месяц для непривилегированных; сверх того раз в год выдавались «одежные» в количестве 22 рублей для привилегированных и не помню скольких для непривилегированных. На добровольно следующих за ссыльными жен тоже полагалось пособие, хотя в несколько меньшем размере. При этом привилегированность признавалась очень широко: не только по происхождению, но и по образованию, причем для нее считалось достаточным окончить 6 классов гимназии, как для льготы по воинской повинности[282]. Так как в мое время массовой ссылки рабочих еще не было, то привилегированными оказывались почти все: за мое время из трех десятков прошедших через Шенкурск политических ссыльных к непривилегированным принадлежали только трое или четверо.

В нашей ссыльной среде добровольно производилась уравнительная дележка казенного пособия, а затем все имевшие либо заработок, либо получку из дому должны были отдавать 15% в общую кассу; из этих получек за вычетом некоторых очень незначительных расходов на общественные потребности выдавалась известная сумма не имеющим заработка или дохода с воли. Такова была наша внутренняя конституция, выработанная на общих собраниях и действовавшая некоторое время; позднее она распалась вследствие внутренних раздоров. До этого распада низший доход ссыльного не спускался, сколько я помню, ниже 14 рублей на человека и, следовательно, 28 [рублей] на мужа и жену. При тех удивительных ценах, которые тогда господствовали в Шенкурске, этого было вполне достаточно, – конечно, для скромного существования.

Сносны были и духовные условия. Правда, ни одной общественной библиотеки в Шенкурске не было, но я привез в ссылку два чемодана книг и многократно выписывал из Петербурга новые их партии; была библиотечка у Никонова; были в небольшом количестве книги у многих из нас (у местных жителей их почти не было). Подбор имевшихся книг был довольно односторонен, по большей части – по юриспруденции и отчасти – по экономии. Кто стремился к систематическому чтению по собственной программе, тот не мог не чувствовать духовного голода (особенно если он был естественником). Но жаловаться на полное отсутствие книг все же не приходилось и заполнить время невольного безделья в ссылке разумным чтением было, во всяком случае, возможно. Главное, у нас были, и притом бесплатно вследствие любезности редакций, все лучшие журналы того времени и газета «Русские ведомости». Комплект этих журналов, с 1885 г., вместе с несколькими случайными книгами представлял нашу общественную библиотечку. Для получения этих журналов мы в конце каждого года обращались в редакции с коллективными просьбами о бесплатной их высылке нам и всегда получали благоприятный ответ.

Инициатором этих обращений был, впрочем, не политик, а один уголовный ссыльный по фамилии Виноградский, сосланный по судебному приговору на житье с ограничением в правах состояния за присвоение себе не принадлежащего ему графского титула, принятие другой фамилии («граф Марков») и ношение не принадлежащего ему ордена. Этот Виноградский был человеком с очень жульническими наклонностями, но вполне интеллигентный, очень неглупый и интересный собеседник. Читать он любил и читал много. Прибыв в Шенкурск, когда там не было ни одного политика, он обратился в главные редакции Петербурга и Москвы с просьбою высылать ему их издания как одинокому политическому ссыльному, живущему в некультурных условиях и не имеющему средств для выписки журналов. Таким образом, тюрьма и ссылка не излечили его от склонности к самозванству. Вначале оно увенчалось полным успехом, но точно так же, как и первое его самозванство, скоро было разоблачено. Когда в Шенкурск прибыли первые действительно политические ссыльные, то они, ничего не зная о выходке Виноградского, обратились в редакции с теми же просьбами, на этот раз – коллективными, и получили удивленные ответы: неужели на несколько ссыльных маленького городишки не хватает одного экземпляра их издания? Пришлось разъяснить редакциям недоразумение, Виноградский был ими лишен их изданий, и они отныне приходили на один из наших адресов.

Когда я прибыл в Шенкурск и узнал все это, то я высказал мысль, что хотя мы, обращаясь в редакции с просьбой о даровой высылке изданий, и не самозванствуем, как Виноградский, но все же злоупотребляем нашим званием политических ссыльных, так как мы не настолько бедны, как ссыльные Сибири или хотя бы соседней с нами Вологодской губернии, чтобы нуждаться в благотворительном получении журналов. Но со мной не согласились, и практика даровой подписки продолжалась.

Для культурного существования у нас случайно, особенно в первое время моего там пребывания, было чрезвычайно благоприятное обстоятельство: довольно высокая музыкальность. Один из нас, именно А. А. Никонов (впоследствии довольно известный адвокат, деятельный член кадетской партии), обладал превосходным баритоном, громадной музыкальной памятью и совершенно исключительной вокальной неутомимостью; он, несомненно, мог, если бы захотел, выделиться на музыкальном поприще и, может быть, напрасно пожертвовал им для юриспруденции. Когда мы собирались вместе, то он целыми часами пел нам романсы – особенно хорошо знал Чайковского – и арии из опер. И мы часто видели, как летом мимо открытых наших окон при пении Никонова начинали прогуливаться горожане и горожанки, причем в числе этих неприглашенных слушателей имелась вся местная аристократия: жандармский офицер, исправник, судья, с женами и домочадцами, и другие. Еще один наш товарищ, Бродский, обнаруживал хотя и не такой выдающийся, как у Никонова, но все же порядочный, достаточно приятный в небольшой компании голос, на этот раз тенор. Было и несколько недурных женских голосов, и, наконец, одна из дам недурно играла на гитаре, которую привезла с собою в ссылку.

Кроме местной аристократии, у наших музыкантов или по крайней мере у этой дамы была и еще одна категория неприглашенных слушателей. Когда она играла, то из щелей в большом числе вылезали мыши и садились неподалеку от нее; если она сидела посередине комнаты, то мыши рассаживались вокруг нее кружком, устремив на нее внимательные мордочки и радиусами вытянув свои хвосты. В это время их хоть руками бери, – но ни у кого из нас не хватало душевной сухости, чтобы пользоваться эстетическим чувством для охоты над нашими врагами, с которыми мы боролись иными, более общеупотребительными способами. Я не знаю, отмечена ли в научной литературе эта любовь мышей к музыке, не знаю также, направлена ли она только на гитару; насколько я мог заметить впоследствии, рояль мышей к себе не привлекает. Но знаю, что в драме Ибсена «Маленький Эйольф»[283] для удаления мышей из

дома пользуются музыкой, – но не гитарой, а дудкой.

Весьма сносны были, особенно вначале, и полицейские условия жизни, и это – при мне – объяснялось, для всей Архангельской губернии, личными свойствами князя Голицына, который не желал делать карьеру на притеснении ссыльных, а специально для Шенкурска в первое время – также личными свойствами жандармского офицера Шафаловича и исправника Глебовского. Со сменою первого в начале 1889 г. и смертью второго в конце того же года дело несколько изменилось к худшему.

Шафалович был страшно ленив: работать он не любил, целыми ночами играл в карты, а половину дня спал и своим делом совершенно не интересовался. Со служебной точки зрения он должен был быть на самом дурном счету, но мы, судя его со своей точки зрения, были им чрезвычайно довольны. Он сам мне говорил:

– Вы ведь знаете, что я за человек. Выслеживать, подсматривать, копаться в грязи я не люблю. Живи и жить давай другим – вот мое правило. Ну, пальца в рот мне не клади. И если вы мне в бороду наплюете, – не прогневайтесь: не прощу.

И это была совершенная правда. Как бы он вел себя, если бы кто-нибудь действительно наплевал ему в бороду, не знаю; судя по физиономии, он действительно должен быть очень злым и мстительным, но, к счастью, никому из нас (и наших предшественников также) ни разу не случилось сделать этого, и потому, действительно, ничего дурного мы от него не видали. Наклонности создавать дела из пустяков у него не было. А повод к этому один раз был.

В одну летнюю ночь 1888 г. дом, в котором занимал квартиру Шафалович, сгорел; говорят, виновницей пожара была его жена, будто бы забывшая свечу в платяном шкафу; сам Шафалович и его жена выскочили в одном ночном белье; сгорело все дотла, и в течение нескольких недель Шафалович щеголял в мундире нижнего жандармского чина, снабдившего его им, к тому же совсем не подходившем его росту и фигуре. Через несколько дней из Архангельска был прислан другой жандармский офицер, Сомов (позднее заменивший у нас Шафаловича), с задачею выяснить, не политические ли подожгли Шафаловича. Но Шафалович, едва ему Сомов сказал это, с негодованием отверг его подозрение, действительно ни на чем не основанное. Конечно, об этом подозрении я знаю только от самого Шафоловича; возможно, что всю линию Сомова он просто выдумал, но, как бы то ни было, глупого дела против нас не возбудил. Не много, конечно, но бывало и хуже.

От исправника Глебовского придирок мы тоже не видели.

Однажды я явился к нему с просьбою отпустить почти всю нашу колонию на прогулку за город с ночевкой в близлежащей деревне. Вообще в обычных прогулках за город нас не стесняли, но тут шло дело о прогулке с ночевкой в деревне, и притом почти в полном составе. На этот раз Глебовский категорически отказал.

– Нет, этого разрешить никак не могу, – говорил он.

А потом, наклонившись к самому моему уху, прибавил шепотом:

– Вы поезжайте, но… только я не разрешал.

И мы поехали, и ничего из этого не воспоследовало.

Нас не обязывали являться в определенные сроки в полицию для регистрации, как это делалось во многих других ссыльных местах, всегда вызывая очень болезненные конфликты. Никто не мешал нам селиться там, где мы хотели (конечно, в пределах города), и притом отдельно или целыми группами; все зависело от наличности свободных квартир в городе. Никто не мешал столоваться самостоятельно или сообща с другими.

Переписка наша не была под официальным контролем и не подвергалась даже тайному вскрытию: мы часто прибегали на почту тотчас после прихода почты (она приходила два раза в неделю с юга, причем с юга шла московская и петербургская, и два раза в неделю с севера, то есть из Архангельска) и получали письма немедленно по ее распаковке; у властей не было физической возможности вскрытия наших писем так, чтобы мы этого не знали. Если письма к нам и от нас вскрывались, то разве только в месте отправления первых и в месте назначения последних; но никаких признаков такого вскрытия никто из нас никогда не заметил. И совершенно естественно, что мы не стесняли себя в нашей переписке и никогда не видели дурных последствий от этого.

Мы могли сколько угодно посещать друг друга и горожан, и у нас нередко происходили довольно многолюдные собрания (своих товарищей, но с прибавлением нескольких горожан), и на этих собраниях шла совершенно свободная беседа, пели и играли на гитаре (к сожалению, также – и очень усиленно – в карты), иногда читались рефераты. Конечно, это не были «публичные лекции» или «публичные сценические представления» в смысле закона, ибо доступ на них был только по особому приглашению и о входной плате не было и речи, но при неограниченной власти администрации раздуть их в таковые было бы вполне возможно. А однажды мы (говорю «мы», хотя лично я как раз в этом не принял участия, но только вследствие признания своей неспособности и отсутствия охоты) устроили даже домашний спектакль. Кто-то из

горожан, местный сравнительно богатый лавочник, дал свою квартиру, ссыльные выбрали пьесу, распределили роли, устроили занавес и разыграли ее, – конечно, без декораций.

Пьеса была «Бабье дело», не помню, чья она[284] и откуда мы ее выкопали. Содержание таково: муж, занятый на службе, все время говорит о своих трудах, а когда жена, занятая хозяйством, позволяет себе устать, то презрительно фыркает: устала? от чего устала? какое твое дело? бабье дело! Жена настаивает на том, что ее бабье дело нисколько не легче мужского. Муж соглашается на опытную проверку их спора. Жена находит себе службу и прекрасно с ней справляется, а муж берет «Подарок молодым хозяйкам»[285] и начинает по нему хозяйничать; разумеется, он на каждом шагу попадает впросак, и жена в конце концов торжествует.

На спектакль был приглашен весь город; не было только жандармского офицера, который находился в отпуску и в Шенкурск не вернулся, и не было исправника, несмотря на приглашение. Но другие чиновники присутствовали с женами; присутствовало также купечество. Духовенство было приглашено, но, конечно, не явилось. Пьеса была разыграна для любителей весьма недурно: особенно хорош был Гильгенберг в роли попадающего впросак мужа. Пьеса – вполне по уровню понимания местного общества, и публика весело смеялась, а дамы были прямо в восторге. Мужчины были несколько недовольны, что мы подуськиваем их жен к домашнему бунту. Полиция никакой придирки не сделала. На беду, через месяц или полтора в Шенкурск явился новоназначенный жандарм, который, конечно, услышал о спектакле и сейчас же сделал донос в Архангельск; оттуда прислали запрос исправнику. Не заинтересованный в раздувании дела, исправник представил его так, как оно и было, то есть что спектакль не был публичным, что публика присутствовала только особо приглашенная, – и дело кончилось ничем.

Бывали и еще более яркие случаи попустительства. Педагогическая деятельность ссыльным прямо запрещена, безразлично, платная ли она или бесплатная, и вообще очень строго преследуется. И вот однажды, в темный осенний вечер, ко мне пришел местный дьякон и сообщил, что у него сын, мальчик лет 13, ученик местного духовного училища, по всем предметам идет ничего себе, но вот по арифметике постоянно получает единицы; из-за арифметики сидит второй год в одном классе и очень боится, что его выключат. Так не позанимаюсь ли я с ним?

Дьякон, конечно, знал о моем положении и недаром выбирал темный вечер. И даже счел нужным прибавить просьбу:

– Только вы, пожалуйста, никому не говорите об этом, а то дойдет до училища, будут неприятности.

Конечно, и для меня могли быть неприятности, – об этом он, разумеется, не думал. Я охотно согласился, и никаких неприятностей ни для мальчика, ни для меня не вышло; правда, занятия продолжались недолго, всего с месяц (хотя каждый день)[286] [287], и мальчик всегда приходил вечером. По-видимому, факт этих уроков остался властям неизвестным, но только благодаря отсутствию строгого надзора, – при таком надзоре это было бы невозможно.

Но вот случай, который вряд ли мог остаться неизвестным властям.

Однажды один мальчик, знавший, что у меня имеется небольшая библиотечка, обратился ко мне с просьбой: а нет ли у вас занятной книжки почитать? Таковая нашлась, и я ему дал. Через несколько дней он вернул ее и просил дать другую, а сверх того привел приятеля, просившего о том же. Подходящих книг в достаточном количестве у меня, конечно, не было, но я выписал их себе из Петербурга и обзавелся таким образом специально подобранной для такого рода читателей библиотечкой, в которую входили народные рассказы Толстого[288], сказки Пушкина, некоторые произведения Гоголя, «Конек-Горбунок» Ершова, популярные книжки по истории и естествознанию и другие, причем подбор был произведен известной деятельницей по народному просвещению А. М. Калмыковой (умерла около 1925 г.[289]) и, следовательно, не без некоторой тенденции.

Круг моих читателей тотчас же расширился и достиг полутора или двух десятков; по большей части это были ученики городской школы и местного четырехклассного духовного училища; девочек не было ни одной. Этот круг расширился бы, вероятно, еще значительнее, если бы я менял книги без всяких разговоров; но я всегда спрашивал, понравилась ли книжка и, не довольствуясь простым утвердительным ответом, обыкновенно производил легкий экзамен. Я не отказывал в новой книжке даже и в тех случаях, когда мой читатель на таком экзамене не мог связать осмысленно двух фраз[290]. Тем не менее этот экзамен многим не нравился и заставлял их прекратить хождение ко мне. Как бы то ни было, у меня постоянно бывали мальчишки из нижнего слоя местного населения, и я с ними вел беседы о Царе Салтане, Мертвой Царевне, об Аленьком Цветке, о том, как Бог правду видит, да не скоро скажет[291], о Петре Великом или о затмениях и землетрясениях. Беседы были самые невинные; незаконного я ничего не делал, ибо моя библиотечка не могла назваться публичной или общественной и запретных книг в ней

не было, но тем не менее самый факт таких бесед несомненно противоречил если не букве, то духу, которым проникнуто положение о полицейском надзоре. И тем не менее эти беседы благополучно продолжались до моего отъезда из Шенкурска, даже после смены у нас начальства.

Любопытнее всего, что инициатором обращений ко мне за книгами был сын одного из жандармских нижних чинов, очень смышленый и живой мальчик. У этого жандарма был собственный двухэтажный дом; в нижнем жил он сам, а верхний[292] сдавал мне. Несомненно, этот жандарм по обязанностям службы должен был наблюдать за мною, и он не мог не знать о совершающихся ко мне хождениях, инициатива которых к тому же принадлежала его сыну. Доходило ли это до более высокого начальства? Наверное не знаю. Во всяком случае, я не получил за это никакой неприятности, и, насколько мне известно, никто из моих читателей тоже.

Иногда ко мне приходили местные шенкурские обыватели или крестьяне из недальних деревень за юридическими советами, и я давал их и писал им прошения. Это бывало не часто, но бывало. И тоже ни разу не вызвало неприятности. Крестьяне за эти прошения всегда предлагали какую-нибудь вещную мзду, – я, конечно, всегда отказывался. Чаще, чем крестьяне и местные обыватели, за такого рода советами и прошениями обращались местные уголовные ссыльные. Это все были люди совершенно не интеллигентные или полуинтеллигентные; единственное исключение составлял Виноградский, о котором я уже упоминал. Уголовные ссыльные беспрестанно совершали всякие дебоши и вообще были элементом крайне вредным. Но при этом это были люди чрезвычайно щепетильные в том, что касается их чести. Покажет один из них своему товарищу кукиш с соответственным словесным прибавлением, обругает его «подлецом» или «мерзавцем» или даст пощечину, – и сейчас готова жалоба в суд за оскорбление действием, словом или символом. Такими делами был завален местный суд, особенно с 1889 г., когда на Архангельскую губернию было распространено действие судебных уставов с некоторыми особенностями (без присяжных и др.), и в Шенкурске взамен прежнего дореформенного уездного суда, вершившего дела на основании письменных материалов и непублично, появились мировой судья и устное и публичное разбирательство дела. И эти уголовные ссыльные нередко обращались ко мне за юридическими советами. Не очень редки были случаи, что только я отпущу обиженного, как ко мне заявляется обидчик, или наоборот.

И эта моя деятельность не встречала никаких препятствий со

стороны начальства.

Как я уже сказал, наша идиллия объяснялась, по крайней мере отчасти, личными свойствами жандарма Шафаловича и исправника Глебовского. В начале 1889 г. Шафалович был заменен Сомовым, который все время выискивал, как бы нагадить ссыльным, и, в противоположность очень вежливому Шафаловичу, отличался большой грубостью обращения. У нас было с ним несколько второстепенных по значению конфликтов, но, к счастью, из Архангельска он не получал поощрения; в конце концов он обломался, и трагического ничего не произошло.

Неприятен был такой эпизод. На одной свадьбе, произошедшей в нашей среде, шафером был молодой студент-медик, не ссыльный, но местный уроженец, сын лавочницы, на каникулах гостивший у матери. И вот по требованию Сомова его призвал к себе местный воинский начальник и в качестве его начальства (наш медик, студент Военно-медицинской академии, был ему подчинен) сделал строжайший разнос с угрозой всякими карами за близость с нами. Студент не сумел отстоять себя, испугался и отошел от нас.

Глебовский умер поздней осенью 1889 г. Месяца через два, около Нового года, на его место явился новый исправник – Соломко. Он вызвал нас всех в полицейское управление и обратился к нам с грозной речью:

– Здесь до меня была распущенность! Вы ходили по городу, вы шлялись за город. Я этого не позволяю! Вы – под надзором в городе, и за город – ни ногой! Чтобы не сметь!

Прокричав это, не слушая того, что мы начали ему возражать, он, как бомба, выскочил в другую комнату.

– Ну, господа, сейчас все за город! – прокричал один из нас так, что это слышали все полицейские, находившиеся в комнате, а вероятно, слышал в другой комнате и Соломко. Во всяком случае, он это узнал.

И мы двинулись толпой. Партий, вражды между нами больше не было, двинулись все. Однако протест удался не вполне. Была страшная вьюга, мороз – градусов в 20, и я первый заявил, что готов протестовать против исправника, но не против вьюги; меня начали стыдить, взывая к моим цивическим[293] чувствам, но ко мне сразу присоединилась женская половина колонии (хотя вообще к протестам она была склонна более мужской), и минут через двадцать прогулки мы повернули назад. Все-таки мы были за городской чертой и ждали последствий. Но их не было.

В следующие месяцы мы вели себя по-прежнему. Продолжались хождения ко мне мальчиков за книгами, мы продолжали прогуливаться за городом. Последствий не было.

Прошло два месяца.

На Масленицу большая часть ссыльной колонии наняла две тройки и поехала кататься за город; не приняли участие те, кто был в ссоре с основным зерном колонии; не принял участие и я, потому что получил уже разрешение выехать через месяц в Петербург для сдачи экзаменов и усиленно занимался. Жена моя поехала[294]. Зато присоединился к колонии ссыльный духобор[295], известный Веригин, который вообще не считал себя политическим и держался довольно далеко от нас.

Так как за два месяца мы никаких особенных мероприятий со стороны исправника не видели, то уже не думали о его угрозе и не смотрели на поездку как на демонстрацию. Это была прогулка, и только. Проездивши часов 5 или 6, покатавшись на салазках с горы, наши, разрумяненные, спокойные и очень довольные, вернулись по домам.

Недели через две всем отлучавшимся – повестка с вызовом к следователю. Там допрос – зачем ездили, куда ездили и прочее. Но все это следователь прекрасно знал и без допроса. Через несколько месяцев – разбирательство у мирового судьи за «самовольное оставление места, назначенного для жительства по распоряжению власти»[296]. Таких дел в практике мировых судов различных городов со ссыльными бывало много, но, насколько я знаю, только в случае отлучки с ночевкой; ввиду несомненности формальной вины мировые судьи обыкновенно признавали факт правонарушения и приговаривали, по 63-й статье Мирового устава[297], к 1 рублю или к 3 рублям штрафа. Но в Архангельской губернии только что (в 1889 г.) введенные мировые судьи были особенные: по назначению, без права несменяемости, без мировых съездов, с апелляцией в Архангельскую палату уголовного и гражданского суда и без права кассации.

При разбирательстве наши подсудимые защищались и произносили более или менее пылкие речи. Хотя меня и не было в это время в Шенкурске, но проект некоторых речей был написан мною, и защита в общем держалась в выработанных мною рамках. То есть подсудимые доказывали, что 6-часовая прогулка не может быть квалифицирована как «самовольное оставление места жительства», для которого необходимо нарушение паспортного устава (самая статья 63 находится в главе о нарушении паспортного устава). Само собою разумеется, что эта аргументация не произвела впечатления на судью (несмотря на точные ссылки на кассационные решения Сената), и подсудимые были признаны виновными; зная судью, этого мы и ожидали, но приговора к трем неделям ареста не ожидал решительно никто.

Дело большинством подсудимых было перенесено в

архангельскую палату, но некоторые, считая апелляцию практически бесполезной, а вместе с тем опасаясь, что они окажутся в состоянии подсудности по окончании срока ссылки на воле, этого не сделали. В апелляционной жалобе, написанной мною, мы стояли исключительно на принципиальной почве, настаивая на своем различении прогулки и отлучки, и не прибавили второй части, в которой следовало сказать, что если даже признать инкриминируемое деяние за противозаконную отлучку, то все-таки трехнедельный арест является карой, совершенно не соответствующей обстоятельствам дела. Я указывал на желательность такой прибавки, но ни один из подсудимых со мной не согласился. Палата воспользовалась этим и, отвергнув наши соображения в принципе, прибавила: ввиду отсутствия в апелляционном отзыве указания на меру наказания, палата оставила его без рассмотрения. Приговор, таким образом, был утвержден[298]. К сожалению, в палате наших интересов не представлял никто, и она решила дело исключительно на основании письменного отзыва.

Приговор, явно несправедливый, вступил в силу. Сенат его, наверное, отменил бы как явно несправедливый и даже не соответствующий установившейся практике, но, как я уже сказал, на архангельский суд кассация не допускалась. Быстротой наша архангельская юстиция не блистала, и если лица, не подававшие апелляции, отбывали наказание еще в Шенкурске через несколько месяцев после преступления, то лица, ее подававшие, отсидели свои три недели более чем через два года. Моя жена сидела, уже будучи на свободе, в Петербурге, в январе 1893 г., а преступление совершено было в феврале 1890 г.! Об этом деле я в свое время напечатал небольшую статью в «Юридическом вестнике» (за 1892 г.)[299], выходившем тогда под редакцией С. А. Муромцева, а за ней там же – большую статью о дореформенной юстиции[300] вообще[301].

Одним из наиболее тяжелых условий шенкурской жизни было положение медицинской помощи. В этом отношении Шенкурск был очень обездолен. В соседнем Вельском уезде Вологодской (земской[302]) губернии было целых три врача: земский, военный и судебный, и первый из них, Леонтьевский, был исключительно талантливым врачом и очень хорошим человеком; он знал и зубоврачебное дело и недурно рвал и даже пломбировал зубы. В Шенкурском уезде на гораздо более значительную территорию и на население в 80 000 человек приходился всего один казенный врач, который соединял в своем лице и городского, и уездного, и судебно-полицейского врача. Хотя во время набора из Архангельска присылался другой врач, но наш шенкурский

должен был вместе с ним свидетельствовать рекрутов и в эти дни не мог ходить к больным. Когда где-нибудь в другом конце уезда обнаруживалось мертвое тело, он должен был мчаться туда за 100, 140 верст, иногда по непроходимым дорогам, на вскрытие, оставляя больных без помощи. Больница была, но очень жалкая; при ней – один вечно пьяный фельдшер. К тому же порядочные врачи шли в Шенкурск крайне неохотно. Когда я прибыл в Шенкурск, врачом там был старик лет за семьдесят, про которого говорили, и, кажется, с полным основанием, что по окончании медицинского курса лет пятьдесят тому назад он не прочел ни одной медицинской книги, ни одного медицинского журнала, а с другими врачами видался только во время военного набора и потом, в те же дни, вечером за карточным столом. Во всяком случае, о его медицинских познаниях рассказывали страшные вещи. К счастью, он месяца через два вышел в отставку.

К счастью, говорю я; однако после него месяца три-четыре, если не больше, Шенкурск оставался вовсе без врача. Потом прибыл некто Бурцев, врач недурной, но месяцев через девять он перевелся куда-то в другое место. Опять месяца два Шенкурск оставался без врача (кстати: что делали в такие междуцарствия мертвые тела, нуждавшиеся во вскрытии? – не знаю). В конце 1889 г. к нам прибыл молодой, только что окончивший курс врач Кашкадамов и засел у нас прочно, на многие годы. Он сразу окунулся в тину провинциальной жизни. Вечера и ночи проводил за карточным столом, преимущественно у жандарма и исправника, ездил на вскрытия, куда его тащила полиция, ходил к больным более состоятельным, где рассчитывал получить гонорар, и вовсе не ходил или ходил крайне неохотно туда, где на гонорар рассчитывать было нельзя, хотя в качестве казенного врача обязан был всех лечить бесплатно. От лечения зубов категорически отказывался и даже рвал их очень неохотно; обязанность зубного врача исполняла в Шенкурске одна женщина, уголовная ссыльная, у которой были щипцы и которая уверяла, что кончила где-то курс зубоврачебного искусства; рвала зубы она сносно, – я это испытал на себе, хотя усиленно говорили, что иногда рвала по ошибке здоровые зубы вместо больных, – но лечить их не могла.

Как врач Кашкадамов был лучше первого врача хотя бы в том отношении, что выписывал газету «Врач» (лучшую в то время медицинскую газету, выходившую в Петербурге еженедельно под редакцией известного проф. Манассеина), имел несколько медицинских книг и, по-видимому, в них иногда заглядывал. Но медицинских знаний у него все же было мало, и он делал грубейшие ошибки. Все общество, ссыльное и не ссыльное, кроме

исправника и жандарма, его постоянных партнеров за картами и его больших друзей (это были уже новые исправник и жандарм, Соломко и Сомов), относились к нему очень отрицательно[303]. В 1891 г., в последний период моего шенкурского пребывания, я начал собирать о нем материалы и собрал довольно большое количество фактов, которые и изложил в длинной и обстоятельной корреспонденции. Направил я ее в газету «Врач» и просил напечатать с моей подписью. Корреспонденция заинтересовала Манассеина, но вместе с тем и немного пугала. Он, как я потом узнал, наводил в Петербурге справки о моей личности, желая выяснить, заслуживаю ли я доверия, и, получив благоприятные обо мне сведения и довольно значительно сократив и смягчив корреспонденцию[304], напечатал ее, снабдив примечанием, что все сообщенные в корреспонденции сведения оставляет на моей ответственности. Несмотря на смягчения, корреспонденция все же вышла очень сердитой. К сожалению, она появилась в свет уже после того, как я окончательно уехал из Шенкурска[305].

Я просил Манассеина напечатать мне 100 оттисков моей корреспонденции, и Манассеин это исполнил; напечатаны они были в форме листка небольшого формата в 4 страницы[306]. Оттиски я разослал в открытых бандеролях в Шенкурск на имя ссыльных, чиновников, купцов и других лиц и получил несколько писем в ответ. Из них я узнал, что Кашкадамов, получив номер «Врача», никому его не показал и о появлении моей корреспонденции никто до получения оттисков ничего не знал. Оттиски были получены в день, когда большая часть местного чиновничества собралась на загородный пикник. На прогулке был и Кашкадамов, – и был своего рода героем торжества; главной темой всех разговоров была корреспонденция. Кашкадамов страшно злился и говорил, что он уже написал возражение мне, и возражение такое, что мне не поздоровится.

Его возражение действительно появилось во «Враче». Начиналось оно удивлением. Он, Кашкадамов, удивлялся, как могла редакция серьезного медицинского журнала поместить статью политического ссыльного, тогда как она должна бы знать, что политические ссыльные – это люди, готовые на все, чтобы только очернить администрацию. К этим словам, не к ответу в целом, а именно к этим словам, редакция сделала примечание в таком роде: помещаем ответ г. Кашкадамова, следуя принципу audiatur et altera pars[307], хотя думаем, что для чести автора лучше было бы некоторых мест его ответа не помещать; к тому же мы думаем, что врач должен уметь возбуждать к себе не злобу, а любовь.

Это примечание давало мне редкое торжество, да, впрочем, и весь ответ Кашкадамова тоже. Хотя у меня нет под руками ни моей корреспонденции, ни ответа Кашкадамова и достать их в Праге, где я пишу свои воспоминания, мне негде, но я безусловно ручаюсь за совершенную точность передачи текста этого примечания, – слишком оно мне понравилось, да и впоследствии мне не раз случалось перечитывать его[308].

На указание, что он ходит только к богатым больным, Кашкадамов возражал, что богатых людей в Шенкурске нет; есть только чиновники, получающие жалованье, и мелочные лавочники, которые богатыми считаться не могут. На сообщение, что однажды одного заболевшего сифилисом он выписал из больницы через две недели как «радикально излеченного», он, признавая факт, возражал, что в литературе есть указания на такое быстрое излечение сифилиса (врачи, с которыми мне приходилось говорить об этом, смеялись над этим как над непроходимой глупостью), и т. д. Вообще, когда я показывал его ответ знакомым врачам, то они в один голос говорили, что лучшего подтверждения корреспонденции нельзя было бы и пожелать.

И, однако, через много лет после этого Кашкадамов оказался в Петербурге, в печати появлялись кое-какие его работы, между прочим – о чуме[309], которую он где-то наблюдал, и в печати же я встречал его имя как врача не без заслуг. Люди, очевидно, меняются. Тем не менее я своей тогдашней корреспонденции ошибкой признать не могу.

# Глава IV. Ссылка (продолжение). Состав политической ссылки в Шенкурске. – Внутренняя жизнь ссыльной колонии. – Знакомства с горожанами

Когда я прибыл в Шенкурск, я застал там одну ссыльную женщину, бывшую замужем тоже за шенкурским ссыльным, и семь ссыльных мужчин, из которых четверо были с добровольно последовавшими за ними в ссылку женами, а один (Никонов) – на придачу еще с грудным ребенком. Все они, за исключением Никонова, приходили в ссылку, изведав ужасы этапного пути, – ужас гораздо худший, чем сама ссылка. Никонов, а затем я были в Шенкурске первыми, которым было разрешено ехать в ссылку на собственный счет, а за нами этапные чередовались с едущими на собственный счет. С Шейдаковой и мной число ссыльных возросло до 10, а всех взрослых в колонии— до 14. Некоторые прибыли в ссылку месяца за 3–4 до меня, самые давние старожилы насчитывали 2½–3 года, и они были пионерами, некоторое время остававшимися в Шенкурске в одиночестве.

Напротив, раньше, в 70-е годы, Шенкурск был переполнен политическими, – одно время их насчитывалось чуть ли не до полусотни, если не больше. Из лиц, более или менее известных в литературе, в том числе были Н. М. Ядринцев, Шашков, П. Ефименко и другие. Постепенно, с конца 70-х годов, ссыльные вследствие окончания срока или амнистии начали разъезжаться, а новых не присылали, – не потому, конечно, чтобы в России были прекращены политические гонения, а потому, что ссыльных начали направлять в другие места, в том числе и в другие города Архангельской губернии. В течение 3–4 лет Шенкурск как ссыльный центр пустовал. Затем, начиная с 1885 г., он вновь наполняется и число ссыльных начинает быстро расти.

За мной, всего недели через 3–4, прибыл по этапу Гильгенберг (о котором я уже упоминал как о своем соседе по тюремной камере), за ним другие. Однако рядом с приливом новых был и отлив старых. Еще до моего прибытия в Шенкурск из него уехал Панкратов, один из старожилов нашей ссылки (с 1885 г.), подав на высочайшее имя прошение о помиловании. Через несколько месяцев после моего прибытия Никонов по хлопотам родных (его отец – адмирал или вице-адмирал[310]) был переведен куда-то на юг; за ним другие кончали срок ссылки, умирали или переводились в другие места. Сперва прилив превышал отлив, и в

1890 г. общая численность нашей колонии, считая с «добровольными» женами, достигала 20 или 21, но с 1890 г. баланс прилива и отлива стал отрицательным, и к середине 90-х годов (уже после моего отъезда) Шенкурск вновь освободился от ссыльных, чтоб вновь наполниться ими в конце 90-х годов.

В этом чередовании была известная система: Департамент полиции, от которого de facto зависело направление ссыльного потока, не хотел, чтоб «политики» создавали колонии с преемственной прочной организацией и с прочными традициями. Мы знали, например, что у прежней ссылки, нашей предшественницы, была недурная общая библиотечка, но она исчезла безвозвратно (ее частью раздарили местным обывателям, а частью взяли с собой последние уезжавшие); нам пришлось создавать таковую заново, и при нашем разъезде ее постигла та же участь: ссылка XX века ее от нас не унаследовала. Не менее, если не более важно, что у каждой группы ссыльных завязываются более или менее прочные связи с местными жителями; образуется свой modus vivendi[311] с администрацией; группа отвоевывает некоторые вольности, – и каждый новоприбывающий встречает уже готовую ссыльную колонию и как бы даром получает готовую систему обычного ссыльного права. Я на себе испытал, насколько готовая ссыльная колония облегчает жизнь каждого новоприбывшего. И вот, с разъездом колонии, все это рушится.

По своему социальному составу все ссыльные колонии того времени были по преимуществу интеллигентскими, хотя уровень интеллигентства был не высок. Массовой рабочей ссылки в то время еще не было Подавляющее большинство были студенты и студентки, и только изредка, по исключению, попадал какой-нибудь рабочий, мещанин, мастеровой, мелкий служащий. За все время моего пребывания в Шенкурске на три десятка прошедших через него ссыльных были только четыре человека (два из них с женами), не принадлежавших к интеллигенции.

По партийно-политическому характеру состав ссыльных колоний в Холмогорах и Шенкурске довольно значительно отличался друг от друга. В Холмогорах была публика определенно партийная, группировавшаяся по двум партиям: народовольцев и народников. Социал-демократов, как сколько-нибудь организованной силы, тогда еще почти не было[312]. Лично я, познакомившийся во время заграничного путешествия в 1884 г. с Плехановым, Верой Засулич и несколькими другими социал-демократами, в России такового увидел в первый раз только в 1889 г.

Когда я проезжал через Холмогоры, мне был чуть не с первого слова поставлен в укор вопрос: «Како веруеши?»[313], и притом в

форме вполне определенной дилеммы: народник я или народоволец (любопытно, что для прокуратуры я был чернопередельцем, а здесь о таковых уже и не вспоминали). Но я не был ни тем, ни другим. Я считал себя радикалом и социалистом, но ни к какой организованной партии не принадлежал, и даже мои убеждения, несмотря на мои занятия историей революционных партий, не выкристаллизовались в той степени, чтобы я чувствовал полную солидарность с какою-нибудь из существовавших партий. В разные моменты моей жизни мое отношение к политическому террору как средству политической борьбы колебалось, но в ссылку я ехал его противником, и это решительно разводило меня с народовольцами.

Зато я издавна очень интересовался политическими вопросами и политическими формами общественной жизни, горячо сочувствовал принципам парламентаризма, очень интересовался вопросами избирательного права, тогда не интересовавшими почти никого, кроме ученых-государствоведов.

В нашей как легальной, так и нелегальной литературе слова «всеобщее избирательное право» если иногда и употреблялись, то не как ходячий общеупотребительный термин, а как редкое, специально свойственное данному автору выражение наряду с более обычным французским наименованием «suffrage universel»[314] и иногда с разными терминами собственного изобретения (например, проф. Трачевский, ведший в начале 90-х годов иностранный отдел в газете «Русская жизнь», пытался ввести в обиход выражение «всеобщая голосовка»). Я сам в своем иностранном обозрении, которое вел до своего ареста в «Неделе», обычно употреблял французский термин.

Отрицательное отношение к «политике» у народников решительно отделяло меня от них. В то время я уже прочел оба вышедших тогда тома «Капитала» Маркса[315], обе книжки Плеханова[316] и знал о марксизме больше, чем большинство моих товарищей по ссылке в Холмогорах и Шенкурске; в марксизме меня привлекало к себе соединение политической программы с социализмом (то, что особенно полно развито в первой брошюре Плеханова), но философия истории марксизма была не по мне, и народническая закваска, вынесенная мною из дому (полученная главным образом от В. И. Семевского), была слишком сильна, чтобы я мог признать себя марксистом. В ответ на поставленный мне вопрос: «Како веруеши?» я это высказал и своим ответом дал повод к длинному, горячему и обычно бестолковому спору.

В Шенкурске, напротив, в момент моего приезда туда почти все были в том же положении, что и я; настроение было гораздо

менее радикальным, и вопроса о символе веры с первого абцуга[317] не ставили; убеждения друг друга узнавались постепенно, из бесед, хотя и довольно быстро. Многие из ссыльных, которых я застал, были сосланы по прикосновенности к лопатинскому делу. Так, один из нас, senior[318] нашей колонии (ему было уже за 40 лет, тогда как почти все остальные находились в возрасте между 20 и 25 годами), Франц Бонковский[319], поляк, человек без формального образования, по профессии – железнодорожный кондуктор, перевез для лопатинской организации груз с нелегальными книгами и на этом попался. Сделал он это не за плату, а, во-первых, по общему сочувствию к делу революции, а, во-вторых, из личной услужливости к хорошему человеку: Бонковский был человеком в высшей степени общительным, легко заключающим дружеские связи, очень охотно оказывающим, так же и принимающим, услуги от знакомых, полузнакомых и даже незнакомых. Сочувствие его делу революции было очень общее, не вылившееся ни в какие определенно партийные рамки. Ни к какой партии или организации он не принадлежал, и политические убеждения его представляли большую мешанину, в которую входили и социализм, и политический радикализм; польский национализм можно было прощупать у него только с большим трудом, несколько больше – у его жены, хотя ни ей, ни ему он нисколько не мешал сближаться и завязывать самые дружеские связи с русскими.

Напротив, его большой приятель, Гриневицкий, тоже поляк, но уже совершенно лишенный польского национального чувства, бывший студент, являлся единственным (в момент моего приезда) членом шенкурской колонии, имевшим вполне определившиеся убеждения: он был народовольцем. Таким же определенным и решительным народовольцем был его друг Панкратов[320], которого я в Шенкурске уже не застал[321]. Но я еще застал не вполне утихшие споры о нем. Будучи, как я сказал, народовольцем, по всем вопросам занимая в шенкурской колонии, вместе с Гриневицким, место на крайнем левом фланге, Панкратов внезапно подал на высочайшее имя прошение о помиловании и получил таковое. Большинство товарищей по ссылке возмутилось этим, но Гриневицкий взял его под свою защиту: он, дескать, хотел продолжать активную революционную борьбу; что же ему стесняться обмануть царя, которого, может быть, он убьет?

Когда я вошел в состав шенкурской колонии, то я решительно занял место в рядах противников Панкратова, настаивая на том, что если Панкратов действительно убьет царя или даже просто

вновь провалится на революционной деятельности, то какой богатый материал он даст «Московским ведомостям» и вообще всем реакционерам для обвинений революционеров в нравственной низости! А если даже не попадется, то самая возможность подобных споров в нашей среде о праве делать низости с хорошей целью, конечно, не возвышает уважения к нам в обществе. К тому же за одним человеком, который подаст прошение о помиловании с целью возобновления революционной деятельности, последуют другие, которые уже исключительно по эгоистическим соображениям будут подавать прошения, оправдывая себя примером серьезного революционера Панкратова. А это само по себе будет понижать нравственный уровень людей, принадлежащих к радикальным кругам.

Лет 10–12 спустя этот эпизод получил свой яркий эпилог. Петербургский адвокат Вржосек публично назвал Панкратова шпионом; тот притянул его к мировому суду за клевету, но Вржосек представил какие-то доказательства, и мировой судья оправдал его. После этого Панкратов уже открыто служил в охранке, занимал какую-то очень невысокую должность[322], ни в каком смысле не соответствовавшую гордым мечтам о цареубийстве.

После моего приезда в Шенкурск прибыло много новичков, и некоторые из них внесли большое разнообразие в партийно-политический характер колонии. В их числе был один польский националист, Овсинский. Землевладелец по социальному положению, агроном по образованию, он был чужд каких бы то ни было социалистических стремлений, весь напитан идеологией польского восстания 1863 г. Ненависти к нам, русским, как таковым он, кажется, не питал или, по крайней мере, умел ее скрывать. Напротив, он жил общею нашею жизнью, охотно бывал в нашей среде, а когда среди нас появилась одна хорошенькая барышня из уральских казачек, курсистка Чеботарева, он начал усиленно ухаживать за нею и был, видимо, не прочь жениться на ней, – она, однако, предпочла ему Гриневицкого и вышла за него. Но свои политические убеждения он выдвигал очень определенно, очень решительно: единственная политическая задача, ради которой стоит жить и над которой стоит работать, – это восстановление независимости Польши; все остальное – вздор. И он сплачивал против себя и русских, и наших поляков – Гриневицкого, даже Бонковского, не говоря уже о социал-демократе Варпеховском.

В числе новичков, прибывших через год после меня (в 1889 г.), были и два социал-демократа: упомянутый сейчас поляк Варпеховский и Машицкий. Это были первые социал-демократы,

которых я встретил на русской почве. Из них Машицкий, сын полицейского исправника одного из южных городов, был человек малоинтеллигентный (хотя и интеллигент по формальным признакам: он был студентом, кажется, Харьковского университета)[323], напоминавший скорее всего какого-то сектанта; в марксизм он верил как в Священное Писание, доказывать его истины не умел, тем более что ни в области политической экономии, ни в области истории сколько-нибудь серьезных знаний у него не было, а язык у него был суконный. Варпеховский, напротив, недавно нелегально прибывший из-за границы, где он, по его словам, был хорошо знаком с Плехановым, Аксельродом и другими видными русскими, а также швейцарскими и немецкими социал-демократами, был очень не глуп, обладал некоторыми знаниями, умел аргументировать и спорить. Мне знакомство с ним дало очень много. Он читал у нас рефераты по разным вопросам, систематически проводя свою точку зрения, и хотя его рефераты не оставались без возражений, но след в душе слушателей оставляли.

Остановлюсь еще на одной ссыльной, А. М. Пумпянской, единственной из моих товарищей по ссылке, с которой мне приходилось постоянно встречаться и после ссылки в течение более 30 лет, до самого конца моего пребывания в России (до 1922 г.). Как-то так случалось, что, когда я был в Самаре, и она оказывалась там; когда я попал в Киев, и она нашла там на некоторое время работу, а когда в 1904 г. я окончательно водворился в Петербурге, то вскоре (после амнистии 1905 г.) и она поселилась там. Это была сравнительно пожилая особа, – ей было тогда (в 1889 г.) лет 36 или более[324]. Прибыла она по этапу вместе с восьмилетним сыном. Еврейка (крещеная) по национальности, антисемитка по чувству, однако настолько честная, что никогда не скрывала своего еврейского происхождения, акушерка-фельдшерица по образованию и профессии, особа на редкость некрасивая, она была человеком очень мало интеллигентным, но глубоко чтущим интеллигентность и страдающим от сознания отсутствия ее у себя, человеком очень честным и трудолюбивым и очень сварливым и в общежитии тяжелым, особенно в шенкурских условиях. По своему миросозерцанию она была решительной революционеркой и несколько напоминала Машурину из тургеневской «Нови»[325], хотя с сильными отклонениями в сторону.

Я сказал, что по миросозерцанию она была революционеркой. Может быть, правильнее сказать – по чувству, так как миросозерцания у нее, в сущности, не было. Она была вся

напитана ненавистью к царю, к правительству, к полиции; называла себя социалисткой, но привести свою ненависть и свой социализм в систему не умела и по отсутствию образования, и по неумению систематически мыслить. Ни к какой партии она никогда не принадлежала, но готова была оказывать услуги всем, кто боролся с правительством. Когда она прибыла в 1889 г. в Шенкурск, за ней был уже более чем пятнадцатилетний политический стаж, и когда она в Шенкурске отбывала арест по делу о прогулке, то оказалось, что сидела ровно в 25-й тюрьме. В начале своей политической карьеры она была арестована по делу 193-х[326] и провела 3½ или 4 года в предварительном заключении, хотя какого-нибудь конкретного содержания в обвинении против нее не было: принадлежность к партии, к которой она в действительности не принадлежала и которая доказывалась фактом ее знакомства с несколькими подсудимыми, присутствие на вечеринке, где пели революционные песни, и недонесение о них, – вот и все содержание обвинения. Во время суда она принадлежала к решительным сторонникам протеста и вместе с Мышкиным, Коваликом, Войнаральским и другими демонстративно отказалась от защиты на этом позорном суде, которого не могла признать, и вместе с другими была несколько раз удалена из зала. Но когда прокурор подошел к ее обвинению, то он не нашел решительно никакого материала – и отказался от обвинения по отсутствию состава преступления. Вышло нечто курьезное: подсудимая отказывается в виде протеста от защиты, а обвинитель – от обвинения. Она, конечно, была оправдана – и, как все почти оправданные по этому делу, выслана в административном порядке из Петербурга.

А четыре года тюрьмы за то, в чем сам свирепейший Желеховской не нашел материала для обвинения, были пережиты и свое дело сделали. Революционер был готов. Но революционер, революционность которого выражалась не в каких-либо действиях, а в резких, оскорбительных фразах по отношению ко всякому исправнику или тем более жандарму, с которым ей приходилось встречаться, в радикальных знакомствах, иногда – в чтении той или другой нелегальной брошюрки. Средств у нее, разумеется, не было, и она постоянно нуждалась в работе; кроме того, она, как я имел случай многократно убеждаться, действительно любила работу, и несколько раз ей удавалось пристроиться при разных учреждениях по своей специальности: акушеркой-фельдшерицей, а иногда – при какой-нибудь студенческой или другой столовой: хозяйкой. Всегда и везде она оказывалась превосходной работницей, и ею были всегда очень довольны[327], до поры до времени. Но нигде она не засиживалась

долго. Или она подвергалась новому аресту по новому, как всегда, в высшей степени пустяковому делу, или же на службе у нее начинались нелады. Нелады же у нее начинались не из-за дурной работы, – этого не могло быть, а из-за того, что она вдруг находила, что доктор или кто-нибудь другой из начальства проводит различие между пациентами из высших классов и простонародья в ущерб последним или что кто-нибудь из начальства высокомерно обращается с прислугой, – и переставала с ним кланяться, не отказываясь вместе с ним работать. При этом обвинения, возбуждаемые ею, по основательности часто не превышали тех, жертвою которых она была сама в процессе 193-х. Выходили неприятности, и в конце концов ей приходилось оставлять службу.

Все это выходило в высшей степени принципиально, но вместе с тем в высшей степени глупо. Обыкновенно ее ссоры были лишены эгоистического элемента: она заступалась, как Дон Кихот, за других, притом даже за людей, не просящих ее заступничества. Так было по большей части, но не всегда. У нас в Шенкурске она возненавидела Чеботареву, хорошенькую и веселую барышню, любившую кружить головы мужчинам и пользовавшуюся совершенно обычными в таких случаях жизненными преимуществами. Этого Пумпянская вынести не могла как проявление человеческой несправедливости; в этом случае ей приходилось негодовать прежде всего за себя, хотя она делала вид, что заступается за права и интересы Ермиловой – другой ссыльной барышни, как и она, весьма некрасивой.

Я сказал уже, что у Пумпянской был сын, мальчик лет восьми. Отцом его был Поливанов, известный в начале 80-х годов народоволец, в это время сидевший не то в Петропавловской, не то в Шлиссельбургской крепости за устроенное им (кажется) в Саратове вооруженное покушение на освобождение в дороге одного политического арестанта, не увенчавшееся успехом[328]. Где-то Пумпянская сошлась с ним[329], и плодом был мальчик.

У мальчика этого были грубые черты лица, мясистые чувственные губы, низкий лоб и всегда злобное выражение глаз. Он производил впечатление дегенерата и был тяжелым крестом своей матери. Когда ему что-нибудь было не по вкусу, он обнаруживал решительную неспособность сдерживаться и бросался на всякого с кулаками, впивался зубами и ногтями, и делал это по отношению к людям взрослым, здоровым и сильным, – и, конечно, получал совершенно естественный отпор. Не плакал никогда. Несмотря на наличность в Шенкурске достаточного числа людей, готовых его учить, учился он неохотно, почти из-под палки и довольно плохо, хотя способности

у него были средние, и иногда довольно легко схватывал объяснения. Он сошелся с уличными мальчишками и в качестве их предводителя участвовал иногда в довольно скверных похождениях; мать свою, ничего не имевшую, обворовывал, утаскивая запасы сахара, а иногда и деньги, которые тотчас же тратил на сласти. Мать, со своим раздражительным характером, страшно злилась, кричала на него, но он ее в грош не ставил, и она не могла с ним ничего поделать. Позднее, по освобождении ее из ссылки, она несколько раз отдавала его в учебные заведения, но его отовсюду исключали. Отдавала его и в приют для испорченных детей доктора Маляревского (под Петербургом), своего рода частную колонию для малолетних преступников, куда я же его и пристраивал[330], но и там с ним ничего не сумели сделать, и оттуда тогда пришлось его взять. Лет с 13–14 он начал обнаруживать рано проявившиеся, но сильно повышенные половые инстинкты, и мать страшно боялась, чтобы в этой области он не наделал какой-нибудь беды. Однако лет в 15 он несколько переменился; научился сдерживаться, начал учиться, поступил в какое-то учебное заведение (кажется, в реальное училище) и даже кончил его; очень рано женился, и нашлась молоденькая и миловидная девушка, которая за него вышла, – скоро он бросил ее. Тем не менее, когда я встречался с ним в этот период жизни, я выносил убеждение, что перемена в нем внешняя, поверхностная и что в конце концов ему не миновать каторги, но не за деяния политического характера. Уж очень злобным огоньком зажигались его глаза при всяком возражении ему, и очень страшные нервные судороги пробегали по лицу и телу, и очень отталкивательное было выражение его лица. Кажется, мать его держалась того же мнения.

Однако факты не подтверждали моего убеждения. С грехом пополам он находил какую-то работу и мог – с помощью матери – существовать. В то же время он сошелся с левым крылом социалистов-революционеров (максималистов)[331] и принял участие в их работе. В 1907 г. в Фонарном переулке (в Петербурге) было совершено ограбление казенного экипажа, перевозившего деньги, – и главную или одну из главных ролей в этом деле сыграл молодой Пумпянский[332]. Ограбление не удалось[333], организаторы его были арестованы и поплатились каторгой в Сибири. Таким образом моя уверенность в его будущей судьбе оправдалась лишь наполовину или вовсе не оправдалась: Пумпянский попал на каторгу, но как раз за преступление, которое было, по своим заданиям и по официальной квалификации, политическим. Мать его, которую я в это время видал довольно часто, просто сияла от счастья: сын

попался не по уголовному делу. Она ходила к Зарудному с просьбой взять на себя защиту ее сына, но Зарудный, которому все это дело глубоко претило, отказался. Она очень упрашивала меня убедить Зарудного, и я, которому это дело тоже претило, скрепя сердце, очень неохотно, но делал это, – однако без успеха.

Мать, неожиданно составившая себе очень высокое мнение о своем сыне, была в страшном негодовании на Зарудного и шипела на него еще долго спустя: отказался от защиты ее сына, очевидно, потому, что ей нечем ему заплатить; ведь взялся же он (через несколько времени после дела ее сына) за защиту каких-то лоботрясов, убивших даму с целью грабежа бриллиантов.

– А вы читали, как он их защищал, и согласились бы, чтобы он таким же образом защищал вашего сына? – спрашивал я ее.

– А как?

– Да ведь он все построил, во-первых, на том, что деяние этих господ неправильно подведено обвинительным актом под разбой, когда тут налицо только грабеж, а во-вторых, на том, что они были смолоду развращены условиями жизни.

Кажется, некоторое впечатление на Пумпянскую это произвело, но все-таки, несмотря на все мои ссылки на факты, доказывавшие бескорыстие Зарудного, она осталась при своем убеждении.

Несмотря на то что Пумпянский попал в «политические», я оставался при своем убеждении, что по существу, в глубине души, он все-таки уголовный тип и если попал в политические, то как раз по такому делу, в котором не сразу скажешь, где кончается уголовщина и начинается политика.

Мне было суждено еще несколько раз встречаться с молодым Пумпянским. В 1917 г. я был в Таврическом дворце на торжестве в честь прибывшей в Петербург Брешковской[334]. В честь нее говорились речи; Керенский вместе с несколькими другими несли ее на кресле. В числе этих других я заметил уже не молодого человека, лицо которого мне показалось знакомым и заинтересовало меня, но которого я никак не мог вспомнить.

Через полчаса он подошел ко мне.

– Не узнаете? Пумпянский.

Через несколько дней он посетил меня. Я его действительно не узнавал. Он говорил по вопросам, в то время волновавшим всех, говорил горячо, искренно и – очень не глупо, возбуждая интерес к себе и к своим мнениям.

– Я эсер, – сказал он в разговоре, – и притом правоверный.

Освобожденный с каторги, он быстро вошел в Сибири в партийную среду и энергично работал в ней. Приехал в Петербург на короткое время и скоро собирался уезжать (и действительно

уехал) в Сибирь, откуда вернулся в конце 1917 г. членом Учредительного собрания[335]. Тут я его не видал. После разгона Учредительного собрания он опять уехал в Сибирь и пропал для меня без вести; в наступившие годы разрухи даже его мать не получала от него никаких вестей. Но она страшно гордилась тем, что ее сын – член Учредительного собрания.

Когда я вспоминаю о нем, я решительно не могу соединить в одно мои впечатления от прежнего Пумпянского, дегенерата и уголовного преступника in potentia[336], и Пумпянского 1917 г., неглупо говорящего об общественных вопросах, интересующегося, можно сказать, даже живущего ими и в то же время вполне владеющего собой, умеющего выслушивать собеседника и дельно возражать ему. Правда, я мало его в это время видел и мало знал о нем. Что с ним случилось позднее, не знаю. Может быть, он перешел к большевикам[337] и его уголовные инстинкты нашли новое применение в политической по внешности деятельности, а может быть, остался верен своему эсерству и погиб в борьбе с большевиками. Все возможно…

Что касается его матери, то она, в последние годы сильно поломанная и даже обломанная жизнью, где-то служила подряд целые годы, не подвергаясь более ни политическим преследованиям, ни удалению со службы, и часто посещала меня. В одно из посещений она сообщила, что у нее есть возможность получить революционный паек, но она колеблется: уж очень ненавидит большевиков. Видимо, ей, переживавшей голод и нужду, была нужна нравственная санкция для революционного пайка. Я дал ей свою санкцию, и она, видимо, очень обрадовалась этому. В последний раз я ее видел, кажется в 1920 или в 1921 г. О сыне она ничего не знала, а относительно себя сказала:

– Я теперь черносотенкой стала.

– То есть?

– Милюков был прав, когда хотел сохранить монархию.

В это время она, старуха около 70 лет, производила впечатление еще бодрой и очень работоспособной женщины, по-прежнему всем интересующейся, по-прежнему стремящейся к знанию, которого она не в силах постигнуть, и лучше научившейся себя сдерживать, чем в шенкурские годы. Несмотря на свое новоприобретенное черносотенство, она осталась по существу прежней Пумпянской, какой я ее знал 30–35 лет перед тем.

В Шенкурске в мое время был еще Веригин, духобор, впоследствии приобретший большую известность как инициатор известного переселения духоборов в Канаду[338]. Говорить о нем мне очень трудно, и вот почему.

Я знаю, что Веригин впоследствии сыграл очень крупную роль и показал себя несомненно крупным человеком. Между тем, зная его, я никак не могу себе его представить в роли вождя, серьезного деятеля. Напротив, он все время производил впечатление человека очень маленького, одинаково по умственным и по нравственным силам. Где причина этого несоответствия моего впечатления с действительной ролью человека? В нем или во мне? В том ли, что я не способен постигнуть действительно крупного человека, или в том, что в те годы этот человек действительно не был еще крупным? Не знаю.

Веригин прибыл в Шенкурск по этапу приблизительно через год после меня и не пожелал познакомиться с политическими ссыльными. Напротив, он познакомился и сошелся с чиновничеством и даже вполне вошел в его жизнь, то есть проводил вечера то у исправника, то у судьи, то у жандарма, то у кого-нибудь другого из чиновников, играя в карты. Он был богатым человеком, у него была своя верховая лошадь, на которой он с большим шиком ездил; проигрывать в карты он мог сравнительно большие суммы (на шенкурский масштаб), и местное городское общество очень дорожило им. К нему несколько раз приезжали с Кавказа родственники или единоверцы, – они-то и привезли ему лошадь.

Но вовсе не познакомиться, живя одновременно в таком городишке, как Шенкурск, да еще в одинаковом социальном положении, нельзя, и уже через полгода Веригин стал бывать у нас, а мы – у него. Однако в общую жизнь нашей колонии он все-таки не вошел; в нашей кассе участия не принял, членом нашей библиотечки не стал и книг у нас не брал. Раз только принял участие в той прогулке, о которой я говорил в предыдущей главе, и поплатился за нее трехнедельным арестом[339]. Бывал он у нас как знакомый городской обыватель, и охотнее – у тех из наших товарищей, у которых играли в карты. Однако бывал (под конец моего пребывания в Шенкурске) и у меня, где карточной игры не было. Но посетителем был очень малоинтересным. Я всегда интересовался религиозными верованиями сектантов и расспрашивал его, в чем их вера, но получал в ответ такую жвачку, изложенную притом мертвым языком, что она не давала никакого представления о ней. Расспрашивали мы и о том деле, которое привело к его аресту и ссылке, и тоже получали в ответ что-то неудобовразумительное. Ясно было только, что он вел себя во время ареста и под арестом далеко не героически, хотя и никого не предавал. Но он – и это рассказывал он сам – просил у властей прощения (возможно, конечно, что в этом сказывалось действие его религии), спрашивал слезливым голосом: «Что же вы

со мной сделаете?» и тому подобное. Все это производило довольно жалкое впечатление.

И вдруг – вождь, глава секты. Да и тогда, видимо, он имел немалое значение в кругу своих единоверцев: значили же что-нибудь эти частые приезды к нему. Очень может быть, что мы и, в частности, я не умели подойти к нему. Позднее, когда я был уже на свободе, а он попал в новую ссылку (помнится, в Колу или куда-то в другой пункт на самом Крайнем Севере), моя жена обменялась с ним несколькими письмами. В его письмах звучали трогательные нотки обычной тоски ссыльного положения и дружеских воспоминаний совместной жизни, но тоже ничего не было, что давало бы основание подозревать в авторе что-либо возвышающее его над средним уровнем. А между тем что-то такое несомненно было: ведь за что-нибудь да попал он во вторую, горшую ссылку, только что отбыв первую.

От местного общества мы не были отделены стеною. Я уже говорил, что по дороге в Шенкурск решил завязать знакомства с местным обществом и войти в него и интересовался тем, как к этому отнесутся товарищи по ссылке. Но когда я прибыл в Шенкурск, то узнал, что связи уже есть, главным образом у Бонковского как человека очень общительного, а к моему намерению все, даже Гриневицкий, отнеслись совершенно спокойно. Бонковский был в приятельских отношениях с местными торговцами. Из них один, Пластинин, совершенно глухой старик, был в дружеских отношениях еще со ссыльными 70-х годов: Ядринцевым и другими. Знакомство с ним было затруднительно, так как разговаривать невозможно, а надо ему все писать. Тем не менее его тянуло к нам, и он просиживал у Бонковского, потом у меня, целые вечера, как бы требуя, чтобы его занимали. Читать он не любил, за исключением одного Некрасова и о Некрасове.

Другой лавочник, Александр Исупов, по происхождению крестьянин Шенкурского уезда, был совершенно интеллигентный человек. Он много читал и книги брал у нас, а изредка даже и покупал, и выписывал еженедельную газету «Неделя». Политическое мировоззрение его выработалось отчасти под влиянием «Недели», отчасти под нашим (хотя, как я уже говорил, у нас ни как у группы, ни как у отдельных лиц, разве за исключением Гриневицкого, определенного выработанного мировоззрения не было) и было политически либеральным или радикальным с сильным уклоном в сторону революционного народничества. Он был гласным Шенкурской городской думы и притом единственным, который обнаруживал интерес и понимание общественных дел. Я несколько раз бывал на ее

заседаниях и имел случай в этом убедиться. Но по его же просьбе, и притом от имени всей думы, мне пришлось прекратить эти посещения: думе известно, что ее заседания по закону публичны, но, на памяти нынешних гласных, я был первым и единственным посторонним ее посетителем, и гласные, и он в том числе, конфузятся в моем присутствии.

Впоследствии Исупов был выбран по крестьянской курии Архангельской губернии в первую Государственную думу[340] и несколько неожиданно для меня примкнул к кадетской партии; я ожидал увидеть его в рядах трудовиков[341]. Он был у меня и на мои вопросы отвечал, что действительно по земельному вопросу чувствует себя ближе к трудовикам, но слишком радикальная их тактика ему не по душе, и политическая программа кадетов ему ближе. Человек, по шенкурскому масштабу, вполне интеллигентный, он, конечно, терялся в рядах кадетской партии рядом с такими светилами, как Родичев, Набоков, Кокошкин и другими; на пленарном заседании он решился выступить всего один раз (по земельному вопросу); но говорить публично не умел и к тому не обладал даже внешними данными для публичной речи: голос его был слишком слаб, ему кричали с мест: «Громче, громче»; один раз он огрызнулся: «Я не могу громче», но скоро, скомкав речь, должен был сойти с трибуны[342]. Выборгское воззвание он подписал и вместе со всеми был приговорен к трем месяцам тюрьмы, причем для отбытия наказания приезжал в Петербург. Последние сведения я имел о нем в 1917 г.; он был жив и по-прежнему торговал в своей мелочной лавочке в Шенкурске; дочь его была где-то народной учительницей. Что с ним сталось в большевичье время – не знаю[343].

На беду, у обоих, Пластинина и Исупова, особенно у первого, женами были простые полуграмотные бабы, очень враждебно относившиеся к нам и к факту дружбы их мужей с нами. Однажды, когда Пластинин нам оказал действительно большую услугу (о которой расскажу в своем месте), то его жена вышла из себя и кричала на меня, пытаясь испортить все дело. Мне пришлось объясняться с Пластининым, но он заявил мне просто:

– Вам, может быть, невдомек, а я давно догадался, что она дура. Не обращайте на нее внимания.

На этом дело было покончено. Пластинин ошибся только в том отношении, что и я об этом давно догадался.

Не довольствуясь знакомством с этими лицами, я сделал попытку познакомиться с верхами шенкурского общества, его аристократией. Настоящей аристократии там, конечно, не было; за нее отвечали чиновники: исправник, жандармский офицер, воинский начальник, протоиерей, уездный судья, прокурор,

доктор и другие. Всем им, не исключая и исправника и жандармского [офицера], я сделал визиты и от большинства получил ответные; не ответили на визиты воинский начальник и духовенство. Потом время от времени, преимущественно в Новый год и Пасху, я обменивался таковыми, но настоящего знакомства не состоялось – и не состоялось по моей вине: уж больно я не подходил к этому обществу. Я не играл в карты и не пил; следовательно, для местного чиновничества не представлял решительно никакого интереса и даже тяготил его своими расспросами: судью – о характере дел, которые он разбирает и которые ему надоели, и т. д. Формально, однако, я со всем городом был в добрых отношениях.

На беду, в Шенкурске в силу какой-то случайности в то время совершенно не было молодежи: ни у чиновников, ни у купцов не было детей в студенческом возрасте, с которыми нам, и мне в частности, легче было сойтись; если дети были, то малолетние. Единственное исключение составлял тот студент-медик, сын лавочницы, о котором я упоминал и с которым у всей нашей колонии были очень дружеские отношения, пока им не положил конец уже рассказанный мною инцидент.

Позднее в Шенкурск приехала Чеботарева, о которой я упоминал. Она, подобно мне, сделала визиты местным дамам и, тоже не играя в карты, сумела завязать с ними дружеские отношения, чего я решительно не смог.

Во время моего первого двухлетнего пребывания в шенкурской ссылке у меня было два посещения. Весной 1889-го ко мне приехали моя мать с В. И. Семевским, за которого она недавно перед тем вышла замуж вторым браком, а месяца через два после них – С. Ф. Ольденбург. Мать с Семевским пробыли у меня две недели, Ольденбург – неделю.

Как я уже говорил, с Ольденбургом я не видался со дня моего ареста; во время моего тюремного заключения он уехал в заграничную двухлетнюю командировку, а теперь, по ее окончании, пожелал повидаться со мной. Такая поездка к ссыльному другу, в особенности для человека, добивающегося профессуры, была без сомнения актом большого нравственного мужества. В те времена бывало, что профессора – за свидание с Лавровым или другим эмигрантом – лишали кафедры (это случилось, например, с профессором истории в Одесском университете Г. Е. Афанасьевым, которого не спасла от потери кафедры даже заведомая очень большая умеренность его политических убеждений). Тут же налицо было не более или менее случайное свидание со знакомым, с которым человек во время заграничной поездки оказался в одном городе (притом

таком, как Париж), а намеренная поездка к нему в город, отстоящий за 400 верст от ближайшей железнодорожной станции, – поездка, которую решительно нельзя объяснить никакой выдуманной целью. И его приезд заставил зашевелиться и полицию, и жандармерию; у дверей моей квартиры появились постоянно дежурящие городовые и жандармы, они ходили по нашим пятам и, как Ольденбург узнал потом, о нем был немедленно сделан запрос в Петербург. Он был вызван на допрос к жандармскому офицеру Сомову. Во время этого допроса выяснилось, что Сомов состоит в каком-то очень дальнем, может быть фантастическом, родстве или свойстве с отцом Ольденбурга (давно умершим)[344], и допрос обратился в родственный визит, после которого Сомов счел нужным отдать этот визит Ольденбургу. Во время этого визита я не выходил из своей комнаты и Сомова у себя не видел.

Само собою разумеется, что и В. И. Семевский с моею матерью, и Ольденбург перезнакомились со всеми политическими ссыльными города, и их приезды были праздником не только для меня, но и для всей колонии, на которую таким образом два раза пахнуло свежим петербургским воздухом.

Из всего предыдущего можно было бы заключить: в сущности, ссылка была для нас не жизнью, а масленицей. Но этот вывод был бы не верен. Жилось тяжело[345].

В чем лежит причина? Трудно на это ответить. Вероятно, сама по себе ненормальность общего положения, зависящая от самого факта ссылки. Жил человек, был ли он студентом или кондуктором железной дороги, но он состоял при каком-то деле, над чем-то работал, был связан этой работой с общественной жизнью, – и вдруг налетел шквал, закрутил человека, вырвал его из привычных условий жизни и выбросил на другой, неведомый ему берег, без привычной и часто без какой бы то ни было работы, без связи с общей жизнью, на положении какого-то не то пенсионера, это – в 20–25 лет, не то какого-то героя-преступника.

Я сказал – без работы, и большинство было действительно без нее. Если в других ссыльных местах, как я уже сказал, отсутствие работы объяснялось прямым действием закона, то у нас оно объяснялось другими причинами. Среди нас не было ни одного врача или даже студента-медика, и, следовательно, запрещение медицинской практики на нас не падало. Учить могли бы многие, но учить было некого, – об отдельном случае моей педагогической практики я уже рассказал и сообщил, что она прошла совершенно безнаказанно (к сожалению, также и совершенно бесполезно для ученика). Вообще ни одно установленное в законе ограничение в праве выбора занятия

конкретно не касалось нас, так как ни одно из них не могло иметь в Шенкурске никакого применения.

Напротив, физическим трудом заниматься было возможно, и некоторые из нас сделали из него свою профессию. Один из нас начал переплетать книги; делал он это плохо, но все-таки находил заказчиков не только среди нас, но и среди горожан, и даже полицейское управление давало ему переплетать бумаги и «Собрания узаконений». Один шил сапоги – и тоже находил заказчиков. Бонковский с Гриневицким летом сетями ловили рыбу – и весьма удачно – в реке Ваге и за лето продавали ее рублей на 30–40; цифра (на двоих), конечно, не высокая, но она объясняется, во-первых, исключительной дешевизной продуктов в Шенкурске, а во-вторых, тем, что главной их покупательницей была жена Бонковского, которая столовала часть ссыльной колонии, предлагая ей хороший стол[346], и, отстаивая наши интересы, усиленно торговалась с мужем и Гриневицким (последний был, конечно, тоже ее нахлебником). Жить таким трудом, конечно, было нельзя, но прирабатывать кое-что к казенному пайку можно. Духовно жить этим трудом было тоже нельзя, морального удовлетворения он бывшим студентам не давал[347].

Являлась потребность чем-нибудь заполнить досуг, дать исход явной энергии. Потребность удовлетворялась картами, выпивкой, сплетничеством и ссорами, и, к сожалению, даже такие вполне способные к интеллектуальному труду люди, как Гриневицкий, были очень и очень не чужды такого обычного провинциального времяпрепровождения.

Я уже сказал, что сразу при приезде в Шенкурск застал две группы ссыльных, бывших на ножах друг с другом. К одной принадлежали Бонковские, Гриневицкий и еще одна пара – Батмановы; к другой – Корецкие и Гальперин. Жулковские и особенно Никоновы умели сохранять нейтралитет, хотя все же были ближе к группе Бонковских. Вслед за мной прибыли еще Гильгенберг и Бродский. Воспользовавшись таким приливом новых, а следовательно, нейтральных людей, Корецкие потребовали третейского суда между ними [и Бонковскими], и суд состоялся в составе Никонова, Жулковского, Гильгенберга, Бродского и меня в качестве председателя.

Бонковские предъявляли против Корецких целый ряд обвинений, которые напоминали ссору Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Дело осложнялось неясными слухами о предательстве Корецкого, хотя сам Бонковский не поддерживал этого обвинения. Обвинение сводилось к ряду ничтожных мелочей, которые действительно могут при совместной жизни, а

тем более в тюрьме и на этапе (а это как раз перенесли с Корецкими Бонковские), [сделать] человека совершенно невыносимым, но в которых решительно нет материала для судебного разбирательства, хотя бы и третейским судом.

Положение судей было не из приятных. Мы обратились с письменными запросами к товарищам Бонковского и Корецкого по их указаниям и получили ряд удивительно согласных друг с другом ответов, безразлично, от свидетелей которой стороны они исходили. Эти ответы сводились к следующему: слухи о предательстве ходили, но определенных данных нет; Корецкие – люди дрянные, а главное, оба очень не умные, чем и объясняется многое в их поведении.

На одном из заседаний суда Корецкие стали усиленно добиваться, чтобы свидетельские письма были им показаны. Тогда мы не хотели предавать их гласности. Сперва мы отказали. Тогда Корецкая выпалила:

– Я вижу, что правды мы не добьемся. Бонковская вас всех закупила своими обедами.

В качестве председателя, очень неопытного, я совершенно растерялся: публичное обвинение в принятии судом взятки! Что должен делать суд в таком случае? Ни из литературы, ни из практики мне такой случай известен не был. Мы удалились на совещание и вынесли решение: дать письма Корецким, не давая их Бонковским. Решение с юридической точки зрения весьма сомнительное, но Бонковские, видимо, поняли его смысл и не протестовали. На Корецких чтение писем произвело ошеломляющее впечатление.

В конце концов суд вынес решение, длинное и путаное, состоявшее из многих пунктов, по большей части признававших недоказанность обвинения, и раздражившее обе стороны. Через несколько дней Корецкая явилась к Гриневицкому и ударила его по лицу зонтиком, заявив, что она считает его лучшим во всей колонии и в его лице наносит оскорбление всей колонии. Тут возмутились все, и с Корецкими у всех были прерваны всякие отношения; им не кланялись. Однако через год после этого в том протесте против дикого распоряжения исправника, о котором я уже говорил, объединились все, и Корецкие были в числе протестантов.

По окончании ссылки Корецкий сдал экзамены при каком-то университете и затем был помощником присяжного поверенного в Екатеринославе. Каков он был в этой роли – не знаю. Но однажды, кажется в 1912 г., я встретил его на одном митинге в Петербурге, на котором он говорил как эсер – и говорил весьма недурно, не без остроумия, и вызвал одобрительный смех и

аплодисменты.

Конечно, дрязг и ссор и помимо Корецких у нас было более чем достаточно; Пумпянская давала для них богатый материал, да, к сожалению, и не она одна.

Теперь расскажу о двух трагических событиях в нашей жизни – о двух самоубийствах. Первым покончил с собой Гальперин. Это был еврей, окончивший курс низшего технического училища, попавшийся на изготовлении фальшивых паспортов для какой-то революционной организации. Человек он был полуинтеллигентный, очень тяжелый в общежитии, нелюдимый – и помешанный или полупомешанный. С низким покатым лбом, прыщеватым лицом, очень нечистоплотный, он производил отталкивающее впечатление. С первого разговора у собеседника складывалось убеждение, что перед ним человек, которому настоящее место в психиатрической больнице, и что нахождение его в тюрьме или ссылке по политическому делу есть какое-то несчастное недоразумение и большая явная несправедливость. Прежде всего, у него была агорафобия; он боялся больших комнат; даже комнаты, например, в моей квартире тяготили его, и он чувствовал себя в них не по себе. Затем у него была мания величия не в обычной, часто встречающейся, а в несомненно болезненной степени; он говорил с диким вдохновением и резкими выкриками о том, что Шекспир и Ньютон в сравнении с ним – ничтожные мальчишки и что когда-нибудь в этом убедится весь мир. Я несколько раз говорил о нем Шафаловичу (жандарму) в этом духе. Шафалович со мной соглашался и говорил, будто об этом «писал», и думает, что его освободят. Вероятно, он врал.

Погиб Гальперин жертвою своей третьей мании. Он влюбился в Никонову. Это само по себе, конечно, не говорит о сумасшествии, тем более что Никонова была молодая, хорошенькая и очень симпатичная женщина. Но он вообразил, что и Никонова в него влюблена, хотя для этого решительно никаких оснований не было. И это еще мало говорит о сумасшествии, но вот что, по-моему, говорит о нем. Появился в «Русских ведомостях» беллетристический фельетон за подписью Е. Ардов. Гальперин вдруг вообразил, что Е. Ардов есть псевдоним Е. Никоновой и что этот фельетон есть с ее стороны изъяснение в любви с вызовом ему взять ее. По прочтении фельетона он побежал к ней немедленно исполнять ее желание, без каких бы то ни было подготовительных переговоров и действий. У Никоновых он застал несколько товарищей и, в присутствии их и мужа, стал убеждать ее идти с ним. Его с трудом вывели; Никоновы просили меня и Бродского сходить к нему – поговорить. Я теперь совершенно не помню содержания повести Ардова, но хорошо

помню, что в содержании ее никоим образом здравомыслящий человек не мог бы увидеть тех намеков, которые совершенно явственны были для болезненно настроенного ума Гальперина. К тому же уже тогда было известно – и я это знал, – что Е. Ардов есть псевдоним г-жи Бларамберг. Я сказал это Гальперину, но он ответил:

– Я не знаю никакой Бларамберг. Я знаю Елену Константиновну Никонову, это – орлиноподобное голубиное существо, и это она – Ардов, и она горячо любит меня, как и я ее, и вы все это скоро увидите.

Гальперин написал какой-то ответ Ардову-«Никоновой» и послал его в «Русские ведомости» страховым письмом, застраховав в 100 рублей. Что это за ответ, был ли он беллетристическим или каким другим, – никто этого не узнал. Разумеется, «Русские ведомости» его не напечатали.

На свое счастье, эта история совпала по времени с получением Никоновым разрешения на отъезд из Шенкурска; в момент инцидента они это уже знали и через несколько дней уехали, так и не увидев развязки этой истории. Но мы ее увидели.

Когда Гальперин убедился, что статья его напечатана не будет, он достал где-то большую (200-граммовую) бутылку морфия. Незадолго до самоубийства ее у него видели: она была почти полна; он выпил ее почти всю. Около 18 часов продолжалась агония. Говорят, что морфий имеет такое странное свойство: небольшая доза убивает быстро, большая вызывает продолжительные мучения. На беду, в то время местный врач вышел в отставку, новый еще не был назначен или еще не прибыл, и в Шенкурске врача не было вовсе; ближайший врач был в Вельске Вологодской губернии, за 140 верст. Был только вечно пьяный фельдшер. Впрочем, бесспорно, что спасти Гальперина не было никакой возможности. Может быть, облегчить страдания. Это случилось в конце 1888 г.

Другое самоубийство произошло через полтора года и было гораздо более сложным и не вполне понятным, – таким оно остается для меня и доныне. Это самоубийство Варпеховского.

Варпеховский, первый социал-демократ, с которым я встретился в России, прибыл в конце 1888 г. из-за границы в Россию, на границе был арестован и в середине 1889 г. очутился в Шенкурске с приговором на 3 года, то есть сравнительно легким. Осенью 1889 г. в Цюрихе произошел взрыв бомб, выделывавшихся русскими и польскими эмигрантами, среди которых были Дембский и Дембо (кажется, так)[348]. Об этом появились заметки в газетах, очень взволновавшие Варпеховского: оба, Дембо и Дембский, были, по его словам, близкими друзьями. Месяца через

два после этого Варпеховский был арестован и посажен в местную тюрьму: случай небывалый не только на нашей памяти, но и на памяти местных старожилов, в частности Пластинина, который это знал бы. Мы бросились к жандарму Сомову с просьбой об освобождении под залог. Сомов очень грубо нас встретил и не пожелал с нами разговаривать. Однако через несколько дней он на допросе сказал Варпеховскому, что может освободить его под залог в 500 рублей. Варпеховский дал нам знать об этом, и мы начали искать деньги, но в Шенкурске нашли только 200 рублей какой-то процентной бумагой, которую дал Пластинин; я уже говорил о том, как жена его попыталась отнять у нас эту бумагу, но не смогла добиться своего. Пришлось написать в Петербург, и недели через две я получил недостающую сумму. Я пошел к Сомову, но он – вопреки закону и здравому смыслу – денег от меня как ссыльного не принял. Тогда пошел Пластинин и добился освобождения Варпеховского.

Просидев всего что-то около месяца, Варпеховский вышел из тюрьмы какой-то особенно бодрый, веселый, общительный, разговорчивый. Но по временам это настроение сменялось тяжелой подавленностью, угрюмостью, нелюдимостью, что продолжалось недолго и опять уступало место нервной бодрости и веселости. В эти последние, более длительные моменты он охотно рассказывал, готовый повторять свои рассказы сколько угодно раз, как он ставил Сомова в тупик, в каком Сомов оказывался глупом положении, какие он, Варпеховский, смелые (и ненужные) вещи говорил Сомову. Его допрашивали о Дембском и Дембо, о других эмигрантах и заодно – о всех нас. Для нас было очевидно, что раз его так скоро и так дешево выпустили, то ясно, что ничего серьезного против него нет и что арестован он был скорее как свидетель (в политических делах это было вполне возможно и часто делалось), чем как обвиняемый. А между тем из рассказов Варпеховского следовало, что обнаружена очень серьезная его связь с очень серьезными эмигрантскими организациями, народовольческими и социал-демократическими, и что ему грозит, вероятно, значительное ухудшение участи. В этом чувствовалось какое-то противоречие и звучала какая-то неправдивость. Вместе с тем все его рассказы звучали с некоторой неприятной хвастливостью – чертой, имевшейся в нем в слабой степени и раньше, но теперь ярче проявившейся[349]. Никто из нас не понимал его настроения.

Это – один факт, связанный с его самоубийством.

Другой факт, как и у Гальперина, романического характера. Он так же, как и Гриневицкий, и Овсинский, оказался в числе страстных поклонников Чеботаревой. Она предпочла

Гриневицкого и осенью 1889 г. вышла за него замуж, но продолжала кокетничать с Варпеховским и держала его около себя на корде[350]. Это все видели, все знали и посмеивались. После его смерти мы забрали его бумаги и прочли: там оказался ряд его стихотворений – стихотворений очень слабых, чтобы не сказать сильнее, но говоривших о действительно глубоком чувстве к Чеботаревой, хотя и неуклюже выраженном. Свои политические стихотворения, тоже неуклюжие, он читал нам сам, но этих не показывал никому.

Через две недели после освобождения из тюрьмы он вдруг заболел. Мы позвали доктора, – это был Кашкадамов. Доктор был, сказал, что болезнь какая-то странная, что он ее не понимает, но что Варпеховский поправится. И действительно, Варпеховский начал оправляться, так что мы, несшие около него дежурство, уступили его настояниям и оставили на ночь одного. На следующее утро мы застали его в ужасающем положении: он стонал, метался на постели, не мог говорить. Пришел доктор и сразу сказал: отравление фосфорными спичками. И действительно, мы нашли за печкой кучу спичек с обструганными головками, а на столе стакан с остатками подозрительной жидкости. Дня два или три он мучился и умер.

В чем причина его смерти? Какой из двух рассказанных мною фактов находится в действительной связи с ним? Или, может быть, оба?

У меня и некоторых других товарищей по ссылке шевелилось одно очень тяжелое подозрение. Нам казалось, что рассказ его о допросах не совсем соответствовал действительности и что о чем-то важном и, может быть, нехорошем он умалчивал. Доказательств этого подозрения ни у кого не было, и высказывалось оно с тяжелым чувством, с глазу на глаз, со всевозможными оговорками, тем более что почти все мы любили Варпеховского.

Через несколько месяцев на имя кого-то из нас пришло письмо из-за границы с просьбой сообщить подробности о его смерти. Письмо оказалось от его жены, о самом существовании каковой мы не знали. Письмо было получено после моего отъезда из Шенкурска, и в составлении ответа на него я участия не принимал, но знаю, что ей подробно и объективно были сообщены подробности об аресте (без подозрений) и посланы все его бумаги, в том числе и любовные стихотворения.

Прошло ровно десять лет. Я встретился с Сомовым, встретился на новой почве и при новых условиях. Дело было в Киеве. Я был арестован, сидел в Лукьяновской тюрьме и был вызван на допрос в Старокиевский участок. Когда меня ввели в

комнату допроса, навстречу мне поднялся жандармский офицер и, радостно протягивая обе руки, как старому другу, спросил:

– Не узнаете?

– Нет, не узнаю, – отвечал я, пожимая руку. Я никогда не считал своею обязанностью быть грубым или невежливым с жандармами или ведшими мое дело прокурорами и от рукопожатия никогда не отказывался.

– Неужели не узнаете? Неужели забыли Шенкурск?

– Господин Сомов?

– Я.

И раньше, чем приступить к допросу по настоящему делу, Сомов пустился в воспоминания о Шенкурске и сообщил кстати, что и Шафалович служит в Киевском жандармском управлении и я его тоже увижу. Я воспользовался этим характером беседы и спросил между прочим, не может ли Сомов объяснить самоубийство Варпеховского. На это я получил такой ответ:

– Варпеховский – полячок, трусоватый и дрянненький; он сильно связан был с заграничными и некоторыми находящимися в России революционерами, и ему грозило ухудшение участи, но он струсил, кое-что разболтал; его за это скоро отпустили, а потом ему, верно, стыдно стало.

Таким образом, худшие наши подозрения получали подтверждение. Конечно, подтверждение из очень-очень мутного источника, и мне стало противно, что я справлялся в нем. Если бы такого подозрения не было у меня и раньше, то я решительно не поверил бы Сомову, но оно было, и совсем не верить я не мог. Очень хотелось бы мне, чтобы дело Варпеховского было найдено в архиве и выяснено до конца.

Варпеховский умер в конце февраля 1890 г. По странному совпадению за несколько дней до его заболевания слегла и возможная виновница его смерти, Чеботарева-Гриневицкая. Слегла она вследствие очень редкой болезни: внематочной беременности, пролежала около 6 недель и в конце марта умерла.

Гриневицкий, срок ссылки которого окончился уже раньше, тотчас уехал из Шенкурска и потом был сотрудником и редактором различных провинциальных газет. В 1906–1907 гг. он был в Петербурге близким сотрудником «Нашей жизни», в редакции которой состоял и я. В это время он был социал-демократом – меньшевиком. С редакцией «Нашей жизни» он не вполне сошелся, оставил ее до гибели этой газеты и уехал куда-то в Западный край, где вновь работал в провинциальной печати. Дальнейшей судьбы его я не знаю.

Из упомянутых мною лиц Никонов был впоследствии известным адвокатом в Саратове и деятельным членом кадетской

партии; умер в 1924 или 1925 г.[351]

Бонковский был управляющим домом какого-то богатого домовладельца в Минске. В этом городе мне случалось бывать довольно часто, и я всегда останавливался у него. Он и его жена до конца оставались прежними – живыми, общительными людьми, охотно оказывающими всем дружеские услуги, с общим сочувствием к освободительному движению и без определенных симпатий к какой-либо партии. В последний раз я видел его в 1912 г., когда ему было сильно за 60 лет, и дальнейшей судьбы не знаю.

Машицкий остался упорным и твердым социал-демократом, при распадении партии оказался в рядах меньшевиков; во время войны был в рядах интернационалистов. Он сильно бедствовал, пробовал всякие профессии, перебивался с хлеба на квас, бывал не раз в тюрьмах. В 1900 г. я сидел вместе с ним (по разным делам) в Лукьяновской тюрьме (в Киеве) и там видался с ним. Во время войны он был в эмиграции, в Швейцарии. В 1917 г. вернулся и был у меня в Петербурге, но тотчас же уехал куда-то на юг. Дальнейшей судьбы его я не знаю.

Шейдакова, моя жена, умерла в 1917 г., после торжества большевиков[352].

Других я потерял из виду раньше.

В марте 1890 г. по хлопотам моей матери мне разрешили держать экзамены в государственной комиссии при Петербургском университете, для чего разрешили отпуск в Петербург на необходимый срок[353]. Так как экзамены начинались в первых числах апреля, то уехать из Шенкурска мне было позволено 20 марта 1890 г. В назначенный день я и уехал, ровно в 12 часов ночи. Этим закончилась моя первая ссылка или, лучше сказать, первая часть моей ссылки, ибо из Петербурга я вернулся в тот же Шенкурск для отбытия наказания по прежнему приговору.

Выгадывал каждый час для отъезда я потому, что весна уже явственно наступала. Весной в тех местах нередко случалось, что едва едущий переберется через какую-нибудь речонку на пароме, как застанет ледоход на следующей реке; едва переждешь ледоход на ней и подъедешь к третьей, как с нею повторится та же история. Это не редко случалось в те времена с людьми, едущими с юга на север (или осенью в обратном направлении), но я ехал на юг, и, следовательно, эта опасность мне не грозила, но опасность застрять где-нибудь в одном месте, на Волге у Ярославля или, может быть, на Сухоне у Вологды, была налицо. Поэтому надо было очень торопиться. Поезд из Вологды отходил один раз в день, в 8 часов утра; надо было торопиться к нему.

До Вологды было, кажется, 407 верст, и обычно в зимнее время можно было доехать в 48 часов, а если щедро давать на чай, то и скорее. Но дороги были уже сильно испорчены, и нужно было иметь в запасе хотя бы часов 12. Я эти мотивы изложил исправнику и просил его отпустить меня за 6 часов до срока, указывая ему, что по закону в пределах уезда отлучки разрешает он, а до полуночи я никоим образом за пределы уезда не попаду. Аргументы произвели на него впечатление, тем более что самое разрешение ссыльному сдавать экзамены в государственный срок[354] и ехать на неопределенный срок в Петербург (Петербург!) производило на него впечатление, как доказательство того, что у меня где-то есть сильная рука. И он разрешил.

Но в 5 часов вечера ко мне явился полицейский и сообщил, что исправник переменил свое решение и запрещает выезжать раньше полуночи. Неприятно, но что уж делать; нельзя же, едучи на экзамены, рисковать быть арестованным на дороге по обвинению, кто знает, может быть, в побеге. Пришлось подчиниться, о чем заявляю полицейскому. Полицейский рассаживается и не обнаруживает намерения уходить.

– Что же вы?

– Мне предписано наблюдать, чтобы вы не уехали раньше.

Пришлось послать на почтовую станцию заказ на лошадей к 12 часам и терпеть присутствие полицейского при проводах и прощании с товарищами, даже поить его чаем.

Ровно в 12 часов я уехал и благополучно поспел в Вологду к самому отходу поезда, хотя Сухона имела очень грозный вид, у самых берегов имела большие полыньи, и ямщики везли очень неохотно.

На левый берег Волги против Ярославля поезд приходил часов в 9 вечера, уже в темноте. Все почти пассажиры нашего поезда все время обсуждали вопрос, удастся ли сегодня же перебраться через Волгу или нет. Оказалось, на Волге уже ледоход. Большинство пассажиров осталось переночевать в виду Ярославля, но человек 7 или 8, и я в том числе, нашли лодку и лодочников, которые за несколько рублей согласились нас переправить. Переправа произошла благополучно, но – бесплодно: к вечернему поезду мы опоздали и пришлось ночевать в Ярославле. Из Ярославля был и утренний поезд, и с ним мы уехали, встретившись в нем с нашими вчерашними спутниками.

Радостно встреченный в Петербурге в семье и старыми друзьями, я приступил к экзаменам. Экзаменовалось более 400 человек, по 40 в день; каждый экзамен требовал дней десять, и председатель комиссии (Капустин) работал непрерывно, но для экзаменующихся перерывы между экзаменами по разным

предметам были очень велики. В апреле и мае сданы было 5 или 6 предметов; потом комиссия сделала летний перерыв[355], и остальные экзамены, штук 12, были назначены на осень, когда они пошли несколько быстрее и все же закончились только 20 ноября, после чего мне было разрешено остаться в Петербурге до Нового года.

Я приехал в Петербург вскоре после того, как в журнале «Северный вестник» произошел кризис: собственница журнала А. М. Евреинова решительно разошлась с фактическим редактором Н. К. Михайловским и журнал передала в руки Б. Б. Глинского, А. Л. Волынского (Флексера), М. А. Лозинского и Любови Як[овлевны] Гуревич. Первые двое были моими товарищами по университету, а первый даже косвенно прикосновенен к моему делу и по моей оплошности отсидел в связи с ним 10 дней тюрьмы; третий был товарищ Зарудного по Училищу правоведения и тоже мой близкий знакомый; четвертую я встречал в кружке Давыдовых, с которыми, кстати, в этот мой приезд у меня произошло полное примирение.

Михайловский был близким знакомым нашей семьи, и я его, как постоянного нашего посетителя, помню с раннего моего детства. Всегда я глубоко уважал его как крупного писателя и хотя тогда не считал себя сторонником того народничества, главным представителем которого в литературе был именно он, но я понимал, что с его уходом и отсутствием в то время журнала, в котором он мог бы обосноваться, целое широкое общественное течение теряло свой орган и оказывалось не представленным в литературе и что это – большое общественное несчастье. Что же касается новой редакции, то хотя у Волынского и было что-то свое и новое, но никакого общественного течения редакция не представляла и даже не была чем-то цельным, единым, определенным: Волынский и вместе с ним Любовь Гуревич являлись носителями философского идеализма, соединенного с очень умеренным политическим либерализмом; Лозинский был позитивист и (тогда) радикал; Глинский – просто путаная голова.

В первые же дни я посетил Глинского и высказал ему это, причем он довольно раздраженно и обидчиво возражал мне. Но в нашем товарищеском кружке смотрели на это дело несколько иначе и симпатизировали предприятию Глинского. Под влиянием этого кружка я не только не отказался – как, собственно говоря, следовало – от всякого участия в этом предприятии, но и, когда летом у меня между экзаменами оказался длительный перерыв, написал для него несколько рецензий и большую работу о 4-м международном пенитенциарном конгрессе, который как раз в

это лето заседал в Петербурге и который я усиленно посещал[356]. Это была моя первая большая печатная работа (несколько мелких статей для «Недели» и «Русской старины» я написал из Шенкурска, а ранее, до ареста, вел в «Неделе» иностранное обозрение).

1 января 1891 г. я должен был выехать из Петербурга опять в Шенкурск. По дороге в Москве я посетил С. А. Муромцева, с которым познакомился в истекшую зиму (он, бывая в Петербурге, посещал В. И. Семевского); получил от него предложение сотрудничать в «Юридическом вестнике», причем он дал даже мне книгу Ренненкампфа о политических воззрениях Бисмарка, которую предложил прорецензировать[357].

В Шенкурске я застал нашу колонию сильно поредевшей[358]. Не было Чеботаревой, вносившей в нее неистощимый запас веселья, не было умного и интересного Варпеховского, не было тоже умного, хотя и скучноватого Гриневицкого, не было многих других; к счастью, не было также Корецких. В общем, состав колонии был более тусклый, более серый; разложение сделало большие шаги вперед; если не было таких острых ссор, как при Корецких, то все же Пумпянская и еще две-три дамы создавали постоянные трения и вызывали недоразумения. Я лично и моя жена поддерживали формально хорошие отношения со всеми, но сколько-нибудь близких отношений не было ни с кем.

Я в это время начал систематическую литературную работу; написал несколько рецензий и мелких заметок для «Юридического вестника», «Северного вестника», несколько заметок для «Недели» и начал большую статью для «Юридического вестника» о «дореформенной юстиции». Окончить ее в Шенкурске было невозможно, так как там нельзя было достать Полного собрания законов[359]. Сделал это я уже в Самаре.

Перевод в Самару для окончания моей ссылки выхлопотала моя мать[360], и ранней осенью 1891 г. я туда уехал; жена моя окончила срок ссылки несколькими месяцами раньше, раньше меня уехала на родину, в Саратов, и встретила меня уже в Самаре. Всего моя настоящая ссылка продолжалась: первый ее период – два года с несколькими днями, второй – 8 месяцев. Петербургский девятимесячный период был «отпуском», и потому в срок ссылки он тоже засчитывался.

# Глава V. Самара (сентябрь 1891 г. – октябрь 1892 г.). Голод. – Ленин

В Самаре до моего приезда туда у меня были знакомые – семья Ульяновых и известный земский статистик Ив[ан] Марк[ович] Красноперов. Обе семьи встретили меня очень дружески и помогали устроиться. Первые дни, пока не устроились, мы с женой провели в семье Красноперовых, потом нашли веселую квартирку в три небольших комнатки с кухней в небольшом деревянном доме на окраине города за 8 рублей в месяц (без мебели). Цены в Самаре были, конечно, не такие, как в Шенкурске, но все же невысокие; часть мебели нам дали Ульяновы, часть мы прикупили и зажили своим домом.

Формально я отбывал в Самаре конец моей ссылки и жил под гласным надзором полиции. Но если в Шенкурске надзор был не надоедлив и не тягостен, то здесь, в большом городе, его в то время просто не было; в позднейшие периоды моей жизни, в Киеве, Петербурге и в других местах, когда срок моего надзора формально давно окончился, я гораздо явственнее чувствовал за собой хотя и негласный, но неприятный надзор. Прибыв сюда без паспорта, с проходным листом[361], то есть своего рода волчьим паспортом, я должен был снести его в полицию, где у меня его отобрали, не дав взамен вовсе никакого документа; так без всякого документа я и жил.

При выезде на лето за город на дачу и потом при обратном возвращении в город я должен был являться в полицию и просить на этот переезд разрешение, которое и получал без всякого труда; должен был при получении денежных повесток ходить в полицию для засвидетельствования личности, но в то время это должны были делать все (выдача денег на почте просто при предъявлении паспорта была введена значительно позднее), – и больше ни по каким поводам с полицией я дела не имел.

У меня бывало много народа, преимущественно из молодежи, и притом почти сплошь неблагонадежного; иногда по нескольку дней, а то и месяцев гостили разные лица[362]. Среди них была моя мать, приезжавшая ко мне на неделю; был В. И. Семевский, возвращавшийся из своей сибирской поездки для работы над книгой, заказанной ему Сибиряковым, и остановившийся в Самаре на три дня; был Н. К. Михайловский, летом 1892 г. ездивший по Волге и проведший у меня на даче дня два или три[363]; был А. Г. Мягков, племянник Михайловского, ехавший в Самарскую губернию, чтобы открыть там столовую для

голодающих крестьян; была сестра моей жены, Любовь Шейдакова, сама перед тем отбывшая долгую тюремную повинность и теперь прогостившая у нас несколько месяцев; гостила Пумпянская. Так как в Самаре вообще не была введена прописка паспортов, то я не считал нужным предъявлять их документы в полицию, и, несмотря на мою поднадзорность, никаких неприятностей ни им, ни мне за это не было. Сам я раза три уезжал из Самары на несколько дней, не заявляя об этом полиции, и она, вероятно, об этом просто не знала; один раз я ездил в Саратов, чтобы переговорить там с Марком Натансоном и другими о предполагавшемся издании нелегального журнала «Народное право»[364]; один раз в компании нескольких знакомых ездил на парусной лодке по Волге и Самарке. Мы провели в лодке три дня, ночуя в ней же в затопленных разливом лесах, привязывая ее к дереву; в лодке же ставили взятый с собой самовар, – и эта поездка осталась в моей памяти как одно из самых приятных воспоминаний.

Только один раз я почувствовал бесправность моего положения. Меня звали куда-то в деревню помогать в ведении столовой для голодающих. Без разрешения этого сделать было нельзя; я пошел за ним к губернатору и получил категорический, выраженный довольно грубо и не мотивированный отказ.

Я попал в Самару, когда там вполне определился сильнейший неурожай и предвиделся страшный голод. Об этом все знали, все говорили, но официально голод замалчивался или даже отрицался. Однако уже на осеннем губернском земском собрании был поставлен вопрос об ассигновании необходимых средств на обсеменение полей в будущем году и на прокормление населения до нового урожая, и в нем велась ожесточенная борьба между правительственной партией, отрицавшей голод, и земской, на нем настаивавшей. Я, как и многие другие, собирал материалы, писал и посылал статьи и корреспонденции[365], большая часть которых или не появлялась вовсе, или появлялась в изуродованном по цензурным соображениям виде.

С ноября или декабря на улицах Самары начали появляться целые толпы мужиков, оборванных и изможденных, просивших работы и хлеба. В конце 1891 г. разговоры о борьбе с голодом привели к созданию в Самаре особого комитета для помощи голодающим. Это было полулегальное учреждение, то есть не было формально разрешено властями, но власти о нем знали, так как оно действовало совершенно открыто, и не только не чинили ему препятствий, но и вступали с ним в сношения. В комитет входила самая разнообразная публика, от чиновников, занимавших более или менее высокое положение на службе, до

лиц явно неблагонадежных и даже поднадзорных; таким был, впрочем, кажется, я один. Из представителей мира официального я помню протоиерея Лаврского – очень колоритную фигуру, человека широко образованного, терпимого, родственными отношениями связанного с миром литературным и радикальным (его сестра была замужем за известным этнографом и политическим деятелем Потаниным) и поддерживавшего с ним связи; он бывал и у меня, и встречался у меня с Ульяновым. Помню там П. П. Крылова, тогда земского или городского врача, впоследствии бывшего кадетским членом I или II [Государственной] думы[366]. Из мира более или менее неблагонадежного в него входили доктор В. О. Португалов, некто Осипов (когда-то судившийся по процессу 193-х и отбывший какую-то кару[367]) и многие другие[368].

В начале 1892 г. губернская власть устроила в Самаре общественные работы для голодающих беженцев (это последнее слово образовалось только во время Мировой войны, но соответствующее ему явление было), – не то рыли какой-то канал, не то осушали болото. Заведовал им какой-то Перцев. Работы шли плохо; денег они съели много, а ничего из них не вышло; в публике над ними смеялись, и о Перцеве ходила песенка:

Перцев, Перцев, где ты был?
На Самарке ямки рыл.
Вырыл ямку, вырыл две,
Закружилось в голове.

Но заработок они все же дали многим сотням, если не тысячам голодных крестьян, бежавших в Самару из своих деревень. Я собрал тогда материал об этих работах, послал корреспонденцию в «Юридический вестник». С. А. Муромцев эту корреспонденцию сильно пощипал, но в общипанном виде все же поместил в одной из книжек за 1892 г.[369]

В связи с этими работами наш комитет устроил общественную столовую для голодающих, работавших у Перцева. В ней отпускалась за 2 копейки миска щей, за столько же – фунт хлеба, и за столько же давали мы порцию чая: пол чайной ложечки чая, два куска сахара и неограниченное количество кипятка. Работали в этой столовой члены комитета и кое-кто из молодежи[370]; некоторые (немногие из них) пытались использовать свою работу для революционной пропаганды, хотя комитет этому и не сочувствовал и старался пресекать; впрочем, из нее ничего не выходило.

Через Самару в то время проезжали очень многие, ехавшие с

какими-нибудь общественными деньгами открывать столовые в деревнях. Среди них были: Д. Д. Протопопов, тогда деятельный член Комитета грамотности[371], по тогдашнему настроению склонявшийся к социал-демократии, впоследствии член I Думы, кадет; его брат Всеволод Протопопов; А. Г. Мягков, о котором я сказал (ныне в эмиграции, в Праге); мелкий газетный работник Степан Миклашевский, принявший очень деятельное участие в нашем комитете (ничего общего не имеет с Миклашевским-Неведомским), и многие другие[372]. Многие из них бывали у меня. Из разговоров с ними, да и из всего вообще, что происходило, чувствовалось, что в столицах, откуда по большей части ехали эти люди, голод всколыхнул общественную совесть, что полоса безвременья, апатии, общественной мертвенности, столь характерная для 80-х годов, проходит или прошла, что не только в молодежи, но и во всем обществе зреет новое оппозиционное или даже революционное настроение и что именно это настроение толкает людей на работу в голодающие деревни.

Ехали ли люди с целью кормления голодающих или же с целью революционной пропаганды?

По моим наблюдениям, подавляющее большинство ехало с целью прежде всего кормления голодающих. Для них это было потребностью совести или обычного человеческого чувства сострадания, наконец – просто общественного чувства. О революционной пропаганде большинство из них не думало уже потому, что лишь у немногих была более или менее ясная революционная программа, народническая или социал-демократическая; про остальных можно было сказать то, что я сейчас сказал о Протопопове: склонялись к социал-демократизму или к народничеству. Конечно, никто почти не отказывался при случае в разговоре с мужиком сказать ему отдельную фразу о том, что правительство ничего не делает для помощи народу; что виновато малоземелье, а царь не хочет дать народу землю, потому что он сам помещик и стоит за помещиков; что тяжелы подати, а тяжелы они потому, что царю надо много денег, и тому подобное. Такие фразы говорились, но не они были целью и намерением едущих на голод.

Были, конечно, исключения – люди, которые видели в устройстве столовой легкий способ вступить в близкие отношения к крестьянству, чтобы вести среди него пропаганду, как это делали за двадцать лет перед тем люди, «ходившие в народ». Такие были и около нашего комитета, но это были исключения, и не частые. И я сам, когда просился в деревню для работы в столовой, преследовал исключительно задачу кормления, хотя, весьма вероятно, при случае мог бы в разговоре

с мужиком высказать ему ту или иную радикальную мысль, сообщить ему тот или иной невыгодный правительству факт. Но не это было целью.

Но любопытно, что ехали толпами на дело кормления голодающих молодые люди обоего пола из радикальных кругов. Круги консервативные или очень умеренные просто как-то не чувствовали ни своего долга по отношению к гибнущему крестьянству, ни простого сострадания к нему. И если в составе нашего комитета имелись некоторые весьма благонамеренные лица, то не они обнаруживали горячность и энергию.

Многих мне приходилось видеть и по возвращении их из деревни, и я ясно видел, какой след в душах их оставляли месяцы работы в голодающей деревне. Выработанное на книжках и брошюрках отрицательное отношение к правительству обращалось в живое чувство ненависти к нему, словесная революционность, сказывающаяся в пении революционной «Дубинушки» или «Утеса Стеньки Разина»[373], заменялась вполне созревшим активным революционным настроением, за которым должна была последовать активная революционная работа.

Вместе с тем из двух политических умонастроений – народнического и социал-демократического, разделявших тогда радикальные круги, голод сильно ослабил первое и усилил второе. Люди, ехавшие на голод с некоторым сочувствием к социал-демократизму, возвращались решительными социал-демократами (это относится и к обоим братьям Протопоповым); люди, ехавшие с народническими симпатиями, теряли их. Деревня разлагается, никакой власти у земли, о которой говорил Глеб Успенский[374], больше не осталось; крестьянство пролетаризируется, и для его спасения необходимо развитие промышленности; оно же необходимо, чтобы воспитать в нем живое политическое сознание, которое недоступно крестьянину, сидящему на земле.

Однако решительно ни от кого из ездивших на голод, даже из лиц, ставших социал-демократами, я не слышал мнения, что кормить голодающих не нужно. Такое убеждение, однако, существовало, существовало у социал-демократов, но лишь у немногих из них и притом у тех, кто на голоде сам не был, голода не видал. Такое мнение, и очень горячо, настойчиво, страстно, высказывал и пропагандировал Вл[адимир] Ил[ьич] Ульянов, впоследствии знаменитый Ленин.

В первой главе моих воспоминаний я подробно рассказал о моем знакомстве с Александром Ил[ьичом] Ульяновым. Тогда же, в Петербурге в 1886–1887 гг., я несколько раз встречался с его сестрой, курсисткой Анной Ильиничной Ульяновой, впоследствии

по мужу Елизаровой. Марк Тим[офеевич] Елизаров был моим товарищем по университету, и я его хорошо знал.

С другой сестрой, Ольгой, которая появилась в Петербурге и поступила на Бестужевские курсы[375] после моего ареста, должно быть, осенью 1889 г. (или, может быть, в 1888 г.)[376], я познакомился во время моего петербургского отпуска весной 1890 г. в доме Винбергов[377]. Осенью она привела ко мне своего брата Владимира, положение которого в одном отношении было сходно с моим: в 1887 г., после истории с его братом, он был исключен из Казанского университета[378] и желал добиться разрешения и сдать экзамены в государственной комиссии экстерном. Он приехал в Петербург, чтобы навести справки о возможности этого, и за такими справками пришел ко мне. Все, что знал, я ему, конечно, сообщил и даже провел с собою на экзамен по гражданскому праву. В большой толпе экзаменующихся он затерялся и просидел несколько часов, прислушиваясь и присматриваясь. Весною следующего (1891) года, подобно мне, он получил разрешение на сдачу экзаменов при Петербургском университете и благополучно их сдал.

Все они, кроме Ольги, которая умерла, кажется, от тифа в начале 1891 г., жили теперь, осенью 1891 г., в Самаре. Таким образом, я знал значительную часть семьи Ульяновых еще до моего прибытия в Самару, но семья была многочисленнее. Самым старшим ее членом были мать, Марья Александровна[379], затем следовали Елизаров и Анна Ильинична Елизарова, затем – Владимир и младшее поколение – гимназист, кажется, 5-го класса Дмитрий и гимназистка Мария, лет 14. Все они жили вместе, неподалеку от меня, и представляли из себя на редкость хорошую, дружную семью, несмотря на бросавшееся в глаза резкое различие и физического, и морального облика отдельных ее членов. По внешнему облику она, вместе с ее умершими членами, распадалась на два ярко выраженных типа.

К первому принадлежали покойные Александр и Ольга, и из живых – младшее поколение – Дмитрий и Мария. У них были овальные, бледные, чистые лица с очень широкими и высокими лбами, с глубоко сидящими вдумчивыми проницательными глазами. Они поражали своей юношеской свежестью и одухотворенностью.

Ко второму типу принадлежали Анна и Владимир. У них были лица пергаментно-желтые, у Анны – притом прыщеватое; глаза у Владимира светились несомненным умом, но все лицо поражало смешением ума и грубости, я готов сказать – животности. Лоб – умный, хотя и покатый, дополнявшийся громадной лысиной: в 21 год Владимир Ульянов был почти

совершенно лыс. Мясистый нос. Что-то упорное, жесткое в этих чертах сочеталось с несомненным умом. Это же впечатление оставалось и от лица Анны Ильиничны: и ум, и животность; то и другое – в ослабленной степени[380].

Елизаров, по происхождению крестьянин Самарской губернии, и отличался теми чертами, которые по большей части свойственны крестьянам, [пришедшим] собственными усилиями к образованию: черты лица его были грубые, полуинтеллигентные; он отличался средними способностями, большим трудолюбием и упорством и большой обидчивостью и самолюбием, а вместе – большой привязчивостью к людям, которые ему нравятся; для него такими была семья Ульяновых (и особенно Владимир), перед которой он благоговел.

Брат Елизарова оставался крестьянином и в качестве такового был гласным уездного Самарского земства, где выдавался своей борьбой за школы, за медицину, за мероприятия для борьбы с голодом. Я сам раз присутствовал на земском собрании, на котором предводитель дворянства, граф Толстой, старался урезать ассигновку на медицину, приводя невероятный аргумент, что доктора напрасно пичкают больных крестьян дорогими лекарствами по последнему слову науки; крестьяне – народ простой, и лечить их следует простыми лекарствами.

– Мне кажется, что мы здесь не компетентны указывать докторам, какие лекарства они должны употреблять, – очень веско сказал Елизаров-брат, подчеркивая слово «не компетентны» и произнося его не без труда, как, по-видимому, недавно и не вполне усвоенное, и вместе с некоторой гордостью, что ему такие слова знакомы.

Кем была мать Ульяновых до замужества, я не знаю, но она напоминала классную даму[381]. Все время заботилась она о внешнем приличии, о хороших манерах. Но чего другого, а хороших манер у Владимира и Анны не было. Грубые выходки и жесты Владимира, грубые словечки – их у него было много – шокировали и коробили ее.

– Ах, Володя, Володя, – беспрестанно срывалось у нее, – разве так можно!

Совершенно напротив, тихие, конфузливые, сдержанные Дмитрий и Мария вполне соответствовали ее идеалам бонтонности[382]. Но, несмотря на это, она, пережившая так недавно страшную трагедию смерти на виселице ее старшего сына и так недавно другую, преждевременную смерть дочери Ольги, всю силу своей любви перенесла на Владимира.

Вообще Владимир был центральной фигурой в семье; вся семья считала его гением и благоговела перед ним. Благоговение

выражалось между прочим в том, что его семейные, братья и сестры, охотно болтавшие о всякой житейской всячине, по вопросам научным или политическим в его присутствии высказывать своих мыслей не смели; для этого он слишком подавлял их своим авторитетом. Напротив, в его отсутствие они говорили, всегда повторяя его мнения, – кроме матери, которая вообще была крайне молчалива и которую вызвать на разговор о чем бы то ни было было почти невозможно.

Так относилась к нему не только семья. Вокруг него группировался небольшой кружок молодежи, в котором он был непререкаемым авторитетом. «Владимир Ильич сказал», – против этого нельзя спорить; то, что сказал Владимир Ильич, было «неоспоримой истиной». А между тем ему всего 21 год, тогда как в кружке были люди лет на 5–6 старше. Из членов этого кружка я помню Аполлона Шухта; впоследствии он был в эмиграции и, возвращаясь из нее в 1917 г., посетил меня; оказалось, что он остался верным оруженосцем Ленина. Помню очень милую барышню Марью Петровну Ясеневу, впоследствии вышедшую за Вас[илия] Сем[еновича] Голубева. Голубев этот был социал-демократом, перенес тюрьму, в которой был однажды избит, и ссылку в Сибирь, затем служил в Саратовском земстве и редактировал «Саратовскую земскую неделю». Потом, в 1905–1907 гг. он был моим товарищем по редакции «Нашей жизни», причем в нашей редакции занимал место на крайнем правом фланге, приближаясь к партии кадетов или даже правее его. Но его жена оставалась правоверной социал-демократкой – большевичкой и фанатической поклонницей Ленина; кажется, на почве политических разногласий у них в семье был ад, из которого Голубева освободила смерть в 1907 или 1908 г.[383] Вообще, насколько я знаю, Ленин умел привязывать к себе людей навсегда, и кто был его поклонником в молодости, тот оставался им до конца. Я говорю, конечно, о времени его молодости, а не о тех, кто примазался к нему после его торжества в 1917 г.

Во всяком случае, у Вл[адимира] Ульянова уже тогда, когда он только что сдал кандидатский экзамен, были данные, чтобы царить в небольшом кружке верных. Образование его было не разносторонне: литературу знал посредственно, философией и естествознанием совершенно не интересовался, хотя в этих областях все для него было ясно и разрешено; юриспруденцию тоже знал посредственно (для хорошей сдачи экзаменов, не более), но политическую экономию и экономическую историю он действительно знал глубоко и серьезно. Его знания прямо поражали того, кто помнил, что ему едва 21 год. И каждый факт, который знал, он знал точно, ясно и отчетливо. Цитировать мог

на память обширную экономическую литературу, буржуазную и социалистическую, и цитаты его обыкновенно бывали очень точны, кроме тех случаев, когда он для торжества в споре сознательно их искажал, что с ним случалось, хотя не часто. Он уже тогда заявлял себя решительным марксистом, признавая и его историко-философскую систему (экономический материализм), и его социалистические выводы за окончательную, установленную, незыблемую истину. Его марксизм был в полном смысле религией, – всякое сомнение в нем, всякое возражение заранее осуждено, как плод явной или скрытой буржуазности. И вера в пролетариат, в то, что только пролетариат может быть истинным носителем прогресса, была непоколебима.

Я помню такой разговор. Появилась статья Янжула об английском экономисте и политическом деятеле Тойнби[384]. Мне эта статья понравилась.

– Да ведь этого Тойнби освистали рабочие, как это видно из той же статьи Янжула[385]! – возразил мне Ульянов.

– Неужели же рабочие непогрешимы? – спросил я.

Ульянов только плечами пожал.

Кроме знаний, у Ульянова были и другие данные, чтобы властвовать. Я бы не сказал, что он был красноречив. В его речи совсем не было того пафоса, который увлекает слушателя в речах лучших ораторов, которых я слышал: Бебеля, Стамбулова и других. Физических данных для красивой речи у него не было; голос, хотя и достаточно громкий для самой большой залы, был несколько хриплый (если правда, будто у него был сифилис, чего я не знаю и во время нашего знакомства не подозревал, то, может быть, эта хриплость, так же как и лысина, объяснялись именно им) и монотонный; длинная его речь могла утомить слушателей. Но она всегда была насыщена фактами, всегда была чрезвычайно ясна и удобопонятна для наименее подготовленного слушателя, всегда чрезвычайно логично построена и убедительна. Он умел упростить самый сложный и запутанный вопрос.

Это умение отчасти, может быть, объяснялось большим примитивизмом его мысли; простой философский материализм, классовая борьба, прибавочная стоимость, экспроприирование экспроприаторов (в более позднее время эта формула была переведена в «грабь награбленное»), все эти формулы – очень ясные, и в них прекрасно укладывалось все мировоззрение Ленина со всем богатством фактических знаний. Ясностью и удобопонятностью речи он умел увлекать рабочих и малообразованных слушателей из молодежи. А вместе с тем он умел приказывать, требовать, и люди, вокруг него стоявшие, находили удовольствие в том, чтобы исполнять его приказания и

требования. Семейные это делали для доставления ему жизненных удобств и предоставления ему всех условий для спокойных занятий. Своим поклонникам он приказывал читать те или другие книги, – и те эти приказания свято исполняли. Позже, когда Ленин принялся за активную революционную работу, он точно так же распоряжался своими поклонниками.

Пользуясь неограниченной властью в своем кружке, он прибегал к тем приемам, которые отличают вообще всякую неограниченную власть. Я сказал, что был встречен всей семьей Ульяновых чрезвычайно тепло и первое время поддерживал с ней очень тесные дружеские отношения, но постепенно они начали охлаждаться вследствие наших с Владимиром Ульяновым разногласий по очень многим вопросам. Однажды я сказал одному из его поклонников, что Ульянов в споре прибегает к аргументам, не всегда считаясь с их истинностью, – лишь бы они вели к его торжеству, хотя бы временному, к успеху среди плохо разбирающихся слушателей. Сейчас же этот отзыв был передан Ульянову. Я сам не придавал значения этому разговору, даже забыл о нем и был очень поражен, что, когда после этого пришел к Ульяновым, Вл[адимир] Ульянов встретил меня очень сухо и как-то скривился, подавая мне руку. Но через несколько минут дело объяснилось. Он вызвал меня в другую комнату и потребовал объяснений по поводу моей фразы. Я эти объяснения дал, – не помню хорошенько, какие они были; вероятно, я старался смягчить свои выражения. Разговор привел к формальному примирению, но по существу наши отношения с тех пор были довольно натянутые, хотя с семьей его оставались более дружескими. По-видимому, этого разговора членам семьи он не передал. Для нашего охлаждения, кроме этого частного инцидента, были и другие основания, а именно – слишком глубокое разногласие по жгучему вопросу о голоде.

Ульянов резко и определенно выступил против кормления голодающих. Его позиция сводилась к следующему. Голод есть прямой результат определенного социального строя; пока этот строй существует, голодовки неизбежны; уничтожить их можно, лишь уничтожив этот строй. Будучи в этом смысле неизбежным, голод в настоящее время играет роль и прогрессивного фактора. Разрушая крестьянское хозяйство, выбрасывая мужика из деревни в город, голод создает пролетариат и содействует индустриализации страны; это – явления прогрессивного порядка. Но голод может и должен явиться прогрессивным фактором не только в области экономической. Он заставит мужика задуматься над основами капиталистического строя, разобьет веру в царя и царизм и, следовательно, в свое время облегчит победу

революции.

Стремление так называемого общества прийти на помощь голодающим, облегчить их страдания совершенно понятно. Ведь это «общество» есть плоть от плоти, кость от кости буржуазного строя; в какие бы оно ни рядилось социалистические мантии, в какие бы цвета ни окрашивалось, оно не в силах отвлечься от интересов буржуазии. Голод грозит потрясениями, быть может – гибелью современному строю. Поэтому поддержка голодающих в своей основе есть стремление спасти основы буржуазного строя, а следовательно, и самих себя. Психологически же все разговоры о кормлении голодающих есть выражение обычного слащавого сантиментализма, свойственного нашей интеллигенции[386].

Эту свою позицию Ульянов развивал у меня, у себя, везде, где только собиралась революционно и оппозиционно настроенная публика и где он имел возможность выступать. Вся семья Ульяновых вторила ему, и крестьянин Елизаров в том числе, этот – даже особенно резко, отмежевываясь от деятельности своего брата в земстве. Если в устах Вл[адимира] Ил[ьича] такого рода рассуждения хотя и возмущали, но не особенно резали ухо, – более того, они, казалось, вполне гармонировали с общим обликом оратора, глубокая вера которого в свою правоту сквозила из каждого его слова, то в устах Дмитрия и Маши Ульяновых прямо коробили слушателя, – так не вязались они с их общим мягким, нежным, гуманным обликом. Часто, слушая их и Владимира И[льича], я спрашивал себя, какую позицию занял бы по этому вопросу покойный Александр Ильич. Конкретного материала для ответа на вопрос у меня, конечно, нет, но общий характер духовной личности его заставляет меня думать: нет, он был бы не с Владимиром.

В наш комитет Ульянова никто, конечно, и не думал звать. Он вел против него усиленную пропаганду. На многих собраниях он встречал возражения, и между прочим с моей стороны, – и эти возражения охлаждали наши отношения. Большинство молодежи было, без сомнения, против Ульянова, но его тесно сплоченный кружок стоял горой за него. Был случай, когда одна из его поклонниц, М. П. Ясенева, поколебалась и согласилась было работать в столовой, но через несколько времени вернулась к позиции Ульянова и разорвала с нашим комитетом.

Как я уже сказал, взгляд Ульянова не мог считаться типичным или даже господствующим в социал-демократии того времени. Плеханов печатно выражал другой взгляд[387]; Булгаков, тогда социал-демократ, напечатал (значительно позднее, кажется, в «Новом слове») статью против такого взгляда[388]. И когда я в 1900 г. излагал Плеханову взгляд Ульянова, то Плеханов очень

удивился; он знал, что такие мнения в социал-демократической среде существовали, но не знал, что их держался когда-нибудь Ленин. Между тем я даже не мог бы себе представить, чтобы аморалист Ленин мог держаться другого мнения в этом вопросе. Тогда еще не было большевиков и меньшевиков, но мне кажется, что будущее различие между этими двумя фракциями очень отчетливо выразилось в этом разногласии между Ульяновым и хотя бы Д. Протопоповым.

Я часто вспоминал эти разговоры в 1921 г. Царил Ленин. В стране был голод, —более сильный, чем за 30 лет перед тем. Большевицкое правительство неумело старалось смягчить последствия голода. Общество, не большевицкое, тоже старалось сделать что-либо и наталкивалось на препятствия со стороны правительства, – несравненно более сильные, чем те, которые в аналогичном случае ставило правительство царское. А «Петербургская правда»[389] (вероятно, то же делала и московская, но я ее не читал) утверждала, будто эмиграция и вообще буржуи злорадствуют по поводу голода и не желают пальцем о палец ударить, чтобы его смягчить; за это она их называла подлецами. Mutatis mutandis[390] повторилось то, что я видел в 1891 г. С тем только отличием, что я не уверен, что такие эмигранты и буржуи, о которых говорила «П[етроградская] правда», существовали в действительности; по крайней мере, я их не видал и мнений такого рода не читал иначе как в суммарной, без точных цитат, передаче «Правды».

К весне 1892 г. в моих отношениях с Ульяновыми наступило такое охлаждение, что мы почти не видались.

Осенью 1892 г. мне разрешили выехать в отпуск на два месяца в Петербург[391]. Я уезжал в надежде, почти уверенности, что отпуск будет продлен до конца срока моей ссылки (то есть до 30 января 1893 г.) и что я в Самару не вернусь (это ожидание оправдалось)[392]. Поэтому я увозил все свои книги, возвращал взятые мною вещи их владельцам, раздаривал свои и прощался. Был я и у Ульяновых и простился очень дружески, тепло. Владимир и Митя даже пришли меня провожать на пароход (я уезжал на Нижний Новгород).

В 1895 г., приехав на короткий срок в Петербург, я зашел к Вл[адимиру] Ульянову, находившемуся там. Он принял меня неожиданно очень сухо, хотя лично я его за эти три года не мог ничем обидеть. Очевидно, сухость была результатом расхождения наших общественных позиций.

В 1906 г. мы встретились на митинге в Тенишевском училище[393] (описанном в мемуарах Войтинского), где выступал оратором я, а после меня – Ленин[394]. Он демонстративно меня не

захотел узнать. Больше я с ним не встречался.

Оценивать в истории России роль Ленина можно по-разному, но никто не станет отрицать, что эта роль была крупная. Конечно, тогда, во время нашего знакомства, я не предвидел характера этой роли; не предвидел того, что эта роль, с моей точки зрения, будет до такой степени отрицательной и губительной. Но что эта роль будет крупная, даже очень крупная, в этом я никогда ни одной минуты не сомневался. Не сомневался и в том, что она будет отрицательная, и как-то даже в одном разговоре о нем назвал его будущим «русским Маратом». И этого мало. Я могу сказать, что ни один факт из жизни Ленина, ни одно его действие, ни одно его мнение меня не удивили. При чтении каждой его статьи или речи, при каждом его действии я говорил себе: это должен был сказать именно Вл[адимир] Ульянов, именно так должен был он поступить. Под каким бы псевдонимом он ни скрывался, а он переменил их несколько – Тулин, Ильин, Карпов, Ленин, – я всегда угадывал его раньше, чем об этом доносился до меня слух.

# ЧАСТЬ II. ГОДЫ СТРАНСТВОВАНИЙ. 1893–1900

# Глава I. Окончание ссылки. – Поездка в Германию. – Университетская годовщина 8 февраля 1894 г. и моя высылка из Петербурга

30 января 1893 г. истек пятилетний срок моей ссылки. В этот момент, однако, я находился в Петербурге, в отпуску из ссылки; там меня вызвали в полицию и дали подписать бумагу, что мне на два года запрещен въезд в столицы и столичные губернии, а также во все университетские города. Таким образом, окончание срока ссылки было для меня началом новой если не ссылки, то высылки; я получил право выбрать себе место жительства, но из выбора были исключены как раз те места, которые представляли мне известные удобства для моих занятий. Зато я мог утешаться тем, что даже столицы запрещены мне всего на два года, тогда как обыкновенно после ссылки они оказываются запретными навсегда, впредь до особого разрешения. Через два года я имел возможность убедиться, что в этой льготе для меня лежит какое-то странное недоразумение, но об этом я расскажу в своем месте.

Эта высылка была для меня довольно неожиданной; я даже не имел возможности посоветоваться насчет выбора места со своей женой, так как она как раз в это время отбывала трехнедельный арест по делу об отлучке из Шенкурска, о котором я говорил в своем месте, а моего отъезда настоятельно требовали в трехдневный срок. Я выбрал для начала Выборг и уехал туда; после освобождения присоединилась ко мне и жена. Знакомых у меня там не было ни души, дела на месте тоже не было; выбрал же я его вследствие близости к Петербургу и сравнительной легкости ездить туда, как легально (по отпуску), так и нелегально, с ночевкой у кого-нибудь из знакомых и с условием не появляться на Васильевском острове, где меня знали в лицо все городовые; я несколько раз действительно пользовался тем и другим.

В это время я усиленно сотрудничал в незадолго перед тем возникшем журнале «Мир Божий» (впоследствии вынужденном переменить название на «Современный мир»), основанном Александрой Аркадьевной Давыдовой; начал систематическую работу в словаре Брокгауза и Ефрона, где писал большую часть статей по новейшей истории Западной Европы[395] и Америки и много статей по государственному праву[396], в «Юридическом вестнике» и некоторых других журналах. Порядочной

библиотеки, подходящей для моих потребностей, в Выборге не было, и книги я должен был привозить или выписывать из Петербурга.

Через три месяца я сколотил достаточную для скромной заграничной поездки сумму – рублей 250, запасся корреспондентской карточкой от маленькой газетки, издававшейся тогда в Петербурге, «Русская жизнь» (Пороховщикова[397]; действительный редактор – Песис, сотрудники – Хирьяков, Трозинер и др.), – и уехал в Германию[398]. Туда меня влекли производившиеся там летом 1893 г. выборы в рейхстаг.

Мои интересы к этому времени установились на вопросах текущей политики вообще, в частности на том, что немцы называют Parteiwesen[399]. Вопрос о значении политической партии как органа государственной власти, об образовании партий и их характере в разных странах в то время был в научной литературе почти не разработан; лишь значительно позднее профессора государственного права стали включать в свои общие курсы особые отделы о политических партиях как органе государственного управления и появились специальные исследования о них (М. Острогорского по-французски, Lowell по-английски, Michels по-немецки[400] и др.). У меня сложился план написать именно такую работу, и я решил начать специальное ознакомление с моей темой в Германии в момент выборов, когда политические партии живут особенно интенсивной жизнью.

Много лет я занимался этой работой; написал длинный ряд частных работ по своему предмету[401]; все статьи и о «политических партиях» вообще, и об отдельных партиях Европы и Америки (а позднее – и России), о либерализме, консерватизме, социализме, клерикализме и т. д. в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона написаны мною[402]; мною же написано бесчисленное множество таких статей в различных периодических изданиях[403]; даже теперь, в эмиграции, я пишу статьи на эти темы для издающегося теперь (с 1929 г.) в Праге чешского «Slovník národohospodářský, sociální a politický»[404], читал на этот счет множество публичных лекций, но, увы, большой, цельной работы за недосугом и вследствие чрезмерной обширности задуманного плана не написал.

В Германии, главным образом в Берлине, но также в Лейпциге, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте и некоторых других местах, я провел около двух месяцев. Запасшись некоторыми рекомендательными письмами, я сразу сделал хорошие знакомства, преимущественно в социал-демократической среде[405]; познакомился с Бебелем, Либкнехтом

(отцом), Зингером, Фольмаром, Каутским и др. Удалось мне приобрести некоторые знакомства и в других лагерях: свободомыслящем[406], даже клерикальном[407], консервативном[408] и антисемитическом[409].

Но сразу же я заметил, что в лагере социал-демократическом знакомства завязываются гораздо легче. Всякий другой политический деятель принимал меня – приходил ли я к нему с рекомендательным письмом или только со своей визитной карточкой корреспондента неизвестной ему маленькой русской газеты – всегда очень вежливо, всегда очень любезно отвечал на все поставленные ему вопросы, но сам ни о чем не спрашивал, ни о чем не заговаривал и дальнейшее знакомство делал невозможным. Были, конечно, исключения, но их было немного. Напротив, социал-демократы охотно пускались в разговоры, отвечая на вопросы; сами в свою очередь ставили таковые и в заключение приглашали заходить к себе, а некоторые знакомили со своими семьями. Знакомства с социал-демократами завязывались и другим, еще более простым способом. Стоило на социал-демократическом митинге заговорить со своим соседом, и он всегда очень охотно вступал в горячую беседу, стараясь распропагандировать меня; стоило с одним и тем же человеком встретиться таким образом два-три раза, и завязывалось знакомство, иногда оказывавшееся очень прочным. На митингах других партий это было гораздо труднее. У социал-демократов поражала жажда пропаганды, и этим они сильно отличались от сторонников других партий. Помню такой характерный эпизод.

Стою я у уличного столба для наклейки объявлений и читаю афиши о предстоящих митингах. Выбираю себе антисемитический и обращаюсь к соседу, какому-то рабочему, тоже читающему афиши, с просьбой указать мне дорогу. Рабочий добросовестно объясняет, но затем горячо обращается ко мне:

– А только зачем вам идти туда? Вот куда идите, – следует указание на митинг социал-демократов, – там вы услышите дело, а не вздор. Неужели вы антисемит?

– А почему бы мне не быть антисемитом?

– Да ведь антисемитизм – это же гадость и глупость; недаром Зингер сказал, что антисемитизм – это социализм глупцов (der dummen Kerle)[410]. Идите и познакомьтесь с настоящим социализмом.

– Успокойтесь, я не антисемит и не социал-демократ, да к тому же я не немец, а русский и хожу на все собрания как посторонний человек.

– Ах, вы русский? Ведь у вас тоже есть социал-демократия? Я читал некоторые статьи вашего Плеханова в «Neue Zeit»[411], это

очень умная голова. Но все-таки зачем вам идти на антисемитический митинг? Ведь это самая глупая партия, – продолжал с большой горячностью мой собеседник.

Мы долго шли с ним вместе, разговаривая таким образом, и, наконец, дружески расстались.

Но я ходил, конечно, и на социал-демократические митинги – и даже чаще, чем на другие, так как их было гораздо больше, да и интересовался я ими сильнее. Выборы 1893 г. были первые (после 12-летнего периода), происходившие после отмены закона против социалистов[412], и потому первые в Германии действительно свободные. Тут я имел возможность в первый раз в жизни узнать, что такое свободное собрание, свободная агитация, свободное публичное слово. И на них я мог убедиться в справедливости слов, сказанных мне одним национал-либералом[413]:

– Вы ходите на социал-демократические митинги? Ходите; для вас, как для русского, это особенно полезно. Вы узнаете, что можно громко произносить самые революционные фразы, можно говорить о разрушении всего старого мира и создании нового, – и стены от этого не разрушатся, все остается на своем месте.

На социал-демократических, антисемитических и обыкновенно свободомыслящих митингах в Пруссии и Саксонии всегда присутствовал полицейский. На митинги консервативные, национал-либеральные и клерикальные полиция не видела надобности присылать своего представителя. В Вюртемберге полиция была либеральнее, и все митинги обходились без нее.

Немецкие митинги имеют особый характер. Они происходят всегда в ресторационных помещениях; публика сидит за кружками пива и слушает ораторов, сидящих на эстраде и тоже потягивающих пиво. Поэтому митинги обходятся устроителям недорого: за залу обыкновенно не платят – ее вполне оплачивают потребители пива, и рестораторы охотно сдают ее устроителям; оплачивать приходится только печатание афиши и тому подобные расходы.

Полиция вела себя совершенно не так, как впоследствии (после 1905 г.) в России, и свободу слова сколько-нибудь серьезно не ограничивала. Она должна была закрывать собрание за оскорбление величества, за государственную измену и за прямой призыв к революции, но ораторы хорошо знали это и не давали поводов для вмешательства; по крайней мере, я ни разу не присутствовал при закрытии собрания по такому поводу. Но полиция должна была закрывать собрание также за беспорядок. При мне, в эту мою поездку по Германии, были закрыты два или три собрания (впоследствии, в последующие мои поездки, это случалось чаще), и я должен сказать, что полиция не

злоупотребила своею властью. Простой шум, хотя бы и сильный, шиканье и свистки, мешающие оратору говорить, не вели за собой закрытия собрания; оно закрывалось только тогда, когда страсти были раскалены и налицо была опасность драки.

И это едва ли не чаще случалось на митингах свободомыслящих, причем, однако, виновниками были всегда социал-демократы. Они в довольно большом числе нередко приходили к свободомыслящим, чтобы возражать им – и срывать. Привычка к этому образовалась в период действия антисоциалистического закона. Тогда социал-демократы не могли созывать собственных собраний и ходили на собрания враждебных партий. Делали тогда это и наиболее видные их представители. Они выступали со своими возражениями, если им давали слово; протестовали, если им его не давали. Вследствие гораздо большего интереса к митингам у рабочих, чем у более состоятельной публики, их сторонники всегда оказывались в достаточном числе; они поддерживали аплодисментами и криками своих, заглушали противников, иногда обращали собрания, созванные противниками, в свои, а когда это не удавалось, срывали их. Тогда это признавалось вполне законным с моральной точки зрения способом борьбы, и вожди поощряли его. Теперь «Vorwärts» систематически порицал за это своих сторонников во имя свободы собраний, и вообще верхи партии этого не одобряли. Но действие, вошедшее в привычку, как акт естественной политической самообороны против бесправия, укрепилось и оставалось в широком ходу, находя поддержку одновременно и в развитом политическом чувстве, и в хулиганском инстинкте. Противники утверждали, что «Vorwärts» лицемерит, что такая тактика масс была втайне поощряема лидерами, но вряд ли это верно, хотя – кто знает? Во всяком случае, тут я узнал, что мало провести свободу слова и собраний в законодательном порядке, надо еще воспитать народ в уважении к ней, а это дело долгое и трудное.

Рейхстаг в 1893 г. был распущен из-за того, что он отверг военный законопроект[414], внесенный тогдашним канцлером графом Каприви. Проект этот значительно увеличивал численность армии и военный бюджет. Отвергнут он был голосами прежде всего, конечно, социал-демократов, которые были единодушны в его осуждении, затем – католического центра и левого фланга свободомыслящих, которые из-за него распались на две отдельные враждовавшие друг с другом партии[415]. Совершенно естественно военный законопроект явился главным содержанием предвыборной борьбы. Правые партии доказывали его необходимость ввиду все растущих вооружений всей Европы,

и в особенности Франции и России, между которыми как раз в это время произошло сближение. Напротив, социал-демократы доказывали, что русская армия сильна лишь на бумаге, что всеобщая ненависть к правительству, господствующая в России, социальная и национальная борьба в ней делают ее армию небоеспособной, а ее финансы и господствовавшая тогда бумажная валюта не выдержат военного напряжения.

– Серебряные рубли там носят как брелоки, на часовых цепочках, а о золоте как монете там забыли, – говорил на одном митинге Бебель. – Что же касается сближения между Францией и Россией, то оно не усиливает, а ослабляет первую. Ведь борьба с Россией будет борьбой с тиранией и варварством, которая объединит нас и заставит поддерживать наше правительство, тогда как война с одной Францией будет войной против цивилизации, которой поддерживать мы не можем.

Это была господствующая мысль у социал-демократов. Впоследствии, во время мировой войны, она оправдывала поведение социал-демократии, изменившей всем своим заветам[416]. Но, во всяком случае, это была идея, не выдуманная ad hoc[417] в 1914 г., а развивавшаяся еще за 20 лет перед тем, и я слышал ее в 1893 г. многократно и от Бебеля, и от других. Клерикалы и свободомыслящие так далеко не шли, но все базировались на весьма малой вероятности войны и доказывали, что усиление армии может только ее увеличить. Напротив, правые доказывали, что усиление армии при нынешних условиях абсолютно необходимо для безопасности Германии.

Русская армия стоит не на бумаге, она стоит в лагерях, вполне готовая к бою. С тех пор как Россия действительно позорно провела турецкую кампанию[418], она много работала над своей армией, и в настоящее время по своей боевой подготовке та вполне может соперничать с нашей. И не верно, что финансы России были так плохи: ее золотой запас растет, и недалек тот день, когда она введет золотую валюту.

Так говорил известный экономист Адольф Вагнер, выступавший (без успеха) кандидатом в рейхстаг от консервативной партии. Денежную реформу в России[419] систематически подготовляли Вышнеградский, а потом – Витте, но о ней не говорили, и публике тогда еще ничего достоверно о ней не было известно. Впервые я услышал нечто определенное от Вагнера в Германии. Говорил Вагнер в присутствии громадной толпы, почти сплошь состоявшей из социалистов, которые на каждом шагу прерывали оратора свистом и шумом. Фигура Вагнера при этом ярко стоит в моей памяти. Он совершенно спокойно стоял на эстраде, опираясь на дождевой зонтик и прямо

смотря в глаза беснующейся толпе. Он умолкал, когда шум делался особенно невыносимым, и вновь начинал речь, стараясь перекричать толпу, как только это делалось возможным.

– Вы не заставите меня замолчать; я скажу все, что считаю нужным, – говорил он и действительно довел свою речь до конца.

Через два месяца деньги, взятые с собою, были издержаны. Выборы и перебаллотировки были окончены[420], краткая недельная или двухнедельная сессия рейхстага, которую я всю высидел на трибуне для публики, была закончена, военный законопроект принят ничтожным большинством голосов (помнится, 10 или 11)[421], и я поехал в Петербург.

Приехал я в Петербург[422] нелегально, с намерением вечером же выехать к моей матери, которая проводила лето не то на Преображенской[423], не то подле Луги, но нужно было обделать кое-какие делишки, между прочим получить заработанный мною более чем скромный гонорар (что-то около 70 рублей) в «Русской жизни»[424]. Последнее оказалось не так легко: в конторе не было денег. Я был поставлен в крайнее затруднение: у меня в кармане было совершенно пусто, не на что пообедать и доехать до Луги. С большим трудом выдали мне в конторе 5 рублей, обещая остальное выслать на днях (и действительно выслали).

Конец лета я провел в имении знакомой семьи Бонч-Осмоловских[425] в Минской губернии, где уже находилась моя жена, а осенью удалось получить разрешение приехать в Петербург. Приехали мы вместе с многочисленной семьей Бонч-Осмоловских, в которой мы с женой сделались преподавателями[426]. В то же время я получил в свое ведение в «Русской жизни» отдел иностранной жизни[427], одновременно писал статьи для «Мира Божьего», для Энциклопедического словаря, иногда и для других журналов. Работы было много, вел я себя очень осторожно, и положение мое в Петербурге казалось очень прочным: меня пустили на два месяца, потом дали отсрочку еще на два месяца, там – еще, и я надеялся дожить таким образом до января 1895 г., когда всякий карантин должен был прекратиться[428].

Но человек предполагает, а Департамент полиции располагает.

8 февраля 1894 г. студенты, празднуя университетскую годовщину[429], прислали мне – не знаю почему – почетный билет, которого я, конечно, не заслужил, на «чаепитие». Я понимал, что это чаепитие может оказаться почвой скользкой; тем не менее я решил пойти, но держаться осторожно. Быть высланным и, следовательно, прекратить хорошо шедшую работу мне не улыбалось.

Я в настоящее время плохо помню этот вечер. Помню, что было много народа, много различных ораторов, но не помню даже, кто именно. Кажется, были Кареев, Коркунов, Мякотин, но не уверен. Некоторые студенты стали выкликать мою фамилию, причем, несомненно, имели в виду действительно меня, а не моего брата, тоже бывшего там. Мне говорить не хотелось, но я все-таки встал и произнес очень краткую речь по поводу празднества. Содержание ее совершенно не сохранилось в памяти, но хорошо помню свое настроение, вызванное им, сухость и бесцветность этой речи и некоторое недовольство ею публики. После меня говорил мой брат, незадолго перед тем кончивший курс университета[430]. Его речь была очень радикальна, очень ярка и произвела сильное впечатление.

Через несколько дней я получил предписание в какой-то очень краткий срок убраться из Петербурга. Это для меня было совершенно неожиданно: я был уверен, что мое выступление 8 февраля не могло дать к этому повода[431].

Я пошел в Департамент полиции. Меня принял Зволянский, бывший тогда вице-директором. На мой вопрос о причинах высылки он ответил:

– Ваша речь 8 февраля.

– Но что же в ней было такого, что заслуживало высылки? Ведь я сказал всего несколько слов, не имеющих политического значения.

– Вы вот что сказали.

И он прочел мне подробное и весьма точное изложение речи, но не моей, а моего брата.

– Я этого не говорил. Вот что я говорил, – и я пересказал свою речь.

– А кто же говорил то, что я вам сейчас прочел?

– Не знаю.

– Но была сказана такая речь?

– Я не могу отвечать на подобные вопросы.

– Однако такая речь была сказана. Вы утверждаете, что вам ее приписывают ложно. Не думаю. Отчет составлен очень тщательно и точно. Во всяком случае, могу сказать одно. Если бы вы уже не состояли под надзором, то одной подобной речи было бы недостаточно, чтобы выслать человека из Петербурга, а потому указанием оратора вы не подвергаете его ни малейшей опасности, если он и сам не находится в том же положении, что и вы. Вы ведь не имеете права въезда в Петербург, пущены сюда по особому снисхождению, которым вы злоупотребили, а потому мы вас высылаем.

Я попытался доказывать, что вовсе ничем не злоупотребил,

так как приписываемой мне речи не произносил, но Зволянский не уступал. У меня осталось впечатление, что он и сам допускает возможность ошибки в сообщении осведомителя, но, держась принципа: «Всякое сомнение толкуется против настоящего и бывшего поднадзорного», твердо стоял на своем. Я упомянул, что не имею права въезда в столицы только до 30 января 1895 г. Зволянский поправил:

– Нет, на двухлетний срок вам запрещены университетские города, а столицы – навсегда.

– Как так? Я подписал бумагу, в которой было сказано иное.

– Нет, как раз это.

– Нет, иное. Прошу вас справиться.

– Не может быть. Принесите дело Водовозова.

Дело было принесено. Зволянский начал его перелистывать, приговаривая:

– Вот сейчас. Ну вот, смотрите: «…запретить ему въезд в столицы, столичные губернии и университетские города… на 2 года…» Да, странно…

Зволянский очень сконфузился.

– Странно, это какое-то недоразумение.

Он перевернул несколько страниц назад.

– Да, вот видите: здесь доклад о вашем деле министру и в нем проект постановления: «столицы навсегда, университетские города на два года». Да это же ясно: столицы навсегда. Так всегда делается: столицы навсегда.

– Так ведь то проект постановления, а само постановление гласит иное.

– Это канцелярская ошибка, ошибка переписчика. После ссылки столицы всегда запрещаются навсегда, иначе не бывает; я не могу позволить вам прятаться за канцелярскую ошибку.

Сконфуженный было Зволянский опять нашел свой тон. Единственным выгодным для меня результатом этой канцелярской ошибки было то, что срок отъезда был мне отсрочен на несколько недель.

Боясь, как бы мой брат, бывший невольной причиной моей высылки, не поспешил восстановить истину, я утаил от него мой разговор со Зволянским; тем более я должен был это сделать, что он еще раньше тоже был приговорен к высылке из Петербурга, но не полицией, а врачами: у него шел туберкулезный процесс в легких, от которого через два года он умер[432].

# Глава II. Поездка в Болгарию в 1894 г. – Драгоманов. – Стамбулов и Каравелов. – Обыск на русской границе

Итак, я должен был уезжать из Петербурга. Начатую работу в газете, которой я занимался с интересом и увлечением и, как кажется, с некоторым успехом – по крайней мере, я с разных сторон слышал похвалы ей, – я должен был бросить. Куда же ехать?

Я решил месяца 3–4 посвятить поездке в Болгарию; на более длительную поездку у меня не хватило бы средств[433]. Эта страна сильно заинтересовала меня еще в 1886 г., когда я начал свою работу политического обозревателя в «Неделе», то есть как раз в момент обострения русско-болгарского конфликта[434] и когда я почувствовал в этом конфликте нечто исключительное по важности для судеб всей Европы.

Во время последнего моего пребывания в Петербурге в зиму 1893/94 г. я познакомился с жившими там тогда болгарскими эмигрантами – Драганом Цанковым, его зятем Людскановым и особенно близко с Ризовым.

Цанкову было в это время 65 лет, но по своему облику он был глубоким стариком. Вечно полулежал в длинном кресле, вытянув ноги и кутая их в теплый плед, хотя в комнате было всегда жарко натоплено; видимо, ему было трудно двинуться с места. Он производил впечатление человека конченного, мирно доживающего свой век, однако впоследствии это впечатление оказалось ошибочным. Лишь только перемена политики князя Фердинанда[435] и амнистия дали ему возможность вернуться на родину, он поспешил сделать это и обнаружил свойственную ему в былые годы энергию и способность к интриге[436].

По-русски Цанков говорил очень посредственно, с сильным акцентом и грубыми грамматическими ошибками, с трудом подыскивая забытые русские выражения. Но говорить он, видимо, любил, охотно приглашал меня к себе, и я каждый раз засиживался у него часа на два-три. Серьезного образования у Цанкова не было. Меня поражало в его беседе также полнейшее неумение возвыситься до понимания более глубоких причин политических событий. На вопросы об экономической жизни Болгарии он отвечал крайне поверхностно и неудовлетворительно. Знал только интригу отдельных личностей. Фердинанд был для него «проходимцем» и только проходимцем, с которым он ни в каком случае не может примириться (что не

помешало ему впоследствии вполне с ним примириться и заискивать у него, добиваясь министерского портфеля если не для себя, то для своей партии). В зиму моего знакомства с Цанковым Фердинанд носился с разными матримониальными планами, и Цанков меня уверял, что никакие порядочные родители не отдадут свою дочь за подобного проходимца[437]. Стамбулов был для Цанкова низким злодеем, ненавидящим Россию и его, Цанкова, как русофила, и так далее. Но зато людей Болгарии он знал превосходно и рассказывал о них много интересного, хотя исключительно дурного. И этот человек мог управлять страною и стать одним из известнейших в то время государственных людей Европы!

Позднее, когда я познакомился с Петко Каравеловым – человеком совершенно другого калибра – и рассказывал ему о своих беседах с Цанковым, он, вполне соглашаясь с моей оценкой личности Цанкова, полушутя говорил мне:

– Вот и учитесь, как мало нужно, чтобы управлять страной.

Тогда мне было это непонятно, но впоследствии, во время русской революции, я часто вспоминал эти слова.

Умнее и серьезнее был Ризов. Это был человек образованный, следивший за русской и европейской литературой, понимавший связь между политикой и экономикой. Он тоже с ненавистью относился к тогдашнему диктатору Болгарии Стамбулову, но ненависть его не имела такого личного характера, как у Цанкова, и выражать ее он умел сдержаннее, а потому убедительнее. Впоследствии в Болгарии мне о Ризове рассказывали много нелестного. Между прочим, как он организовал перевозку из Бухареста в Болгарию тела Раковского, известного болгарского революционера и ученого, и в гробу перевез деньги, украденные незадолго перед тем из бухарестского банка. Достоверна эта история или нет – я не знаю[438]. Перед войной и во время войны Ризов был болгарским посланником в Берлине, вел крайне германофильскую политику и может считаться одним из виновников вступления Болгарии в войну на стороне Германии[439]. Умер Ризов в 1917 г.[440]

Болгарские эмигранты жили на пенсию от русского правительства. В то время самый факт назначения подобных пенсий иностранцам я оценивал крайне отрицательно и ставил на счет правительству как один из его грехов. И не то что я ставил в вину выдачу пенсий именно болгарским эмигрантам, большинство из которых участвовало в «преврате»[441], к которому я склонен был относиться отрицательно, но, по моему тогдашнему убеждению, обязанности правительства вообще ограничиваются своей страной и поддерживать политическую

эмиграцию другой страны за счет своих плательщиков податей оно не должно. Впоследствии от этого взгляда мне пришлось отказаться, увы! – может быть, в силу чисто эгоистических побуждений.

В то время в русской печати отношение к Болгарии резко делилось по нашим партиям. Для консервативного и славянофильского лагеря, для «Московских ведомостей» и «Нового времени» Фердинанд и Стамбулов были изменниками, предавшими освободительницу Болгарии – Россию, а так как болгарский народ весь на стороне России, то Стамбулов должен был связать ее своим деспотизмом и суровым полицейским режимом. Короче, Стамбулов – низкий изменник и жестокий деспот. Напротив, либеральная печать, имевшая о внутреннем положении Болгарии еще меньше сведений, чем печать консервативная, в противоположность этой последней защищала Стамбулова, видя в нем защитника свободы Болгарии от захватнических поползновений России; в таком духе особенно усердно писал обозреватель иностранной жизни в «Вестнике Европы» Л. З. Слонимский[442].

Уже в 1886 г., когда я, как уже говорил в первой части своих воспоминаний, начал свою литературную работу политического обозревателя «Недели», я оценил борьбу Болгарии за свою национальную независимость и мог бы, пожалуй, в оценке роли Стамбулова присоединиться к точке зрения Слонимского. Но в рассказах Цанкова и особенно Ризова о внутренних порядках Болгарии, несмотря на их очевидную пристрастность, я чувствовал много правды и не решался огулом отвергать их. Ведя иностранный отдел в газете «Русская жизнь», я читал немецкие и английские газеты, и за их тогдашними симпатиями к болгарскому правительству как правительству русофобскому я все же видел много фактов, свидетельствовавших о тяжелой политической придавленности Болгарии, об отсутствии свободы слова, о полицейском произволе. В таком духе вел я свой иностранный отдел, и благодаря этому «Русская жизнь» по своей оценке болгарской внутренней жизни резко отличалась от тогдашней передовой русской печати.

И вот я решился ехать в Болгарию корреспондентом от «Русской жизни»[443]. Корреспондирование кормить меня не могло; «Русская жизнь» обещала мне всего по 5 копеек за строку, возлагая на меня и все путевые расходы; было ясно, что ехать нужно было на свои сбережения, тем более что я уже по опыту знал, что и эти 5 копеек не всегда можно было получить вовремя. Я выбрал дорогу через Константинополь, путь не совсем обычный: известно, что дорога на восток (кстати, чрезвычайно странно для

петербуржца говорить о Болгарии как о «востоке», когда она западнее Петербурга) ведет если не через Бранденбургские ворота, то через Вену. Я предпочел, однако, дорогу «с заднего крыльца», как говорил Л. З. Слонимский, убеждавший меня выбрать обычную дорогу. Турецкая таможня, болгарский карантин и паспортные строгости скоро заставили меня пожалеть об этом решении: удобнее было бы заехать в Константинополь на обратном пути.

В одно пасмурное утро в конце марта 1894 г., отдав легкую дань морской болезни, я подъезжал к Константинополю на русском пароходе. Еще вечером накануне мы увидели маяк, освещавший вход в Босфор, но так как въезжать в столицу турецкого царства дозволено только при солнечном свете, то нам пришлось бросить якорь и простоять всю ночь за два часа пути от Константинополя. Жалеть об этом, однако, было нечего. Рассвело, и несмотря на пасмурное утро, нашим глазам представилась такая картина, которую нельзя забыть всю жизнь.

Через два часа езды мы проплыли Босфор, свернули в Золотой Рог[444] и, не доезжая константинопольского Старого моста (впоследствии сгоревшего), остановились на якоре среди моря: русские пароходы не считали нужным приобретать право на остановку у гранитного берега. Сию же минуту нас окружило множество яликов, и их гребцы полезли на борт нашего парохода, как на абордаж, с криками на всех ломаных языках, в том числе и на русском: «Hôtel “Byzance”![445] Gasthof “Pera”![446] Гостиница “Лондон”!» Суетливые армяне, евреи и всего более греки старались затащить на свой ялик, но я не поддался их увещеваниям. Наш пароход был полон богомольцами, ехавшими к Пасхе в Иерусалим, и вместе с ними я решился остановиться на одном из подворий Афонского монастыря[447]. Монахи этих подворий отличаются гостеприимством, и у них, среди разноплеменной толпы космополитического города, русский путешественник мог чувствовать себя точно в оторванном уголке своей родины; к тому же – и это было для меня самое важное – это было гораздо удобнее для моего тощего кошелька, для которого бешеные цены константинопольских гостиниц были бы невыносимы.

Вместе со мной решил остановиться мой пароходный спутник – молодой врач Грабоис, которому не повезло в России и который ехал в Болгарию искать работы и счастья. Меня это немного смущало, так как Грабоис был евреем. Еще накануне у нас был такой разговор:

– Вы где думаете остановиться в Константинополе? – спросил он.

– В Пантелеймонском подворье Афонского монастыря. А вы?

– Ну и я с вами.

– Мне кажется, это будет не совсем удобно; ведь вы, если не ошибаюсь, еврей?

– Ну так что же? Вы, вероятно, атеист, и останавливаетесь же в монастыре.

Хотя Грабоис, с которым я познакомился за несколько часов до того на пароходе и с которым по философским вопросам не сказал ни слова, и не мог знать моих религиозных убеждений, но это соображение показалось мне убедительным, и я не возражал. Мы без труда отыскали монаха, посланного монастырем навстречу богомольцам, и с десятком богомольцев и доктором Грабоисом спустились на его лодку. Только мы с доктором двое имели багаж; остальные пассажиры нашей лодки ехали в Иерусалим, оставались в Константинополе лишь на время стоянки парохода и вещи оставляли на нем. При виде багажа монах поморщился; действительно, он послужил источником неприятностей. Подворье стояло очень близко от места остановки парохода; таможня же находилась гораздо дальше, на берегу Золотого Рога.

– Чтобы проехать мимо таможни, – объяснил мне монах, – нужно дать маленький бакшиш[448] береговой страже.

Я вынул два турецких черека[449] (черек равен 5 пиастрам[450], немного более золотого франка) и отдал их монаху.

– Довольно?

– Вполне. Хватит и черека.

Не тут-то было. Не успели мы подплыть к берегу, как за нами оказалась погоня. В большом ялике без скамьи, сидя на корточках, катил типичнейший турок. Его голову украшала белоснежная чалма, одет он был в пестрый турецкий кафтан, в левой руке держал громадную трубку, а правой, облокотившись на борт, подпирал свою голову. Поза и лицо выражали величие и леность. Лишь по временам, не желая утруждать своего языка, он трубкой указывал гребцу направление, куда следовало ехать. Без труда нагнал он нашу нагруженную лодку и властным жестом приказал нам ехать в таможню. Наш монах немедля протянул ему две монеты, но турок с презрением отверг их и пробормотал несколько слов на непонятном языке.

– Ишь, собака, – перевел монах, – говорит, давай хоть меджидие[451] (4 черека) – не возьму. Ишь какой бессребреник выискался! Я их всех знаю, все берут. Вот тот, – он указал на стражников, стоявших на берегу, – всегда за черек пропускал, а этот меджидие не берет.

Я понял это так, что чиновник-бессребреник пропустит нас за

2 меджидие. За избавление от обязанности тащиться от таможни до монастыря с багажом по грязным улицам Галаты (квартал Константинополя) дань не была чрезмерной, и я предложил ее монаху.

– Нет, теперь он не возьмет: он зол, что мы попробовали уйти от него, и ни за что не простит нам этого.

Мы плыли к таможне рядом с нашим строгим стражем. Вдруг жестом приказал он нам раскрыть наши чемоданы. Пришлось повиноваться. Турок, почти не переменяя позы, еле-еле шевелясь, запустил в наши чемоданы руку, извлек оттуда платье, белье, книги, какой-то хирургический инструмент, осмотрел все это, возвратил нам и величественным жестом разрешил закрыть чемоданы, содержание которых благодаря бесцеремонному обыску пришло в хаотическое состояние. Затем он запустил руку по очереди в карманы некоторых пассажиров, но не нашел в них ничего предосудительного. Казалось, досмотр был кончен; однако он заставил нас ехать в таможню.

Тут мы увидели с десяток жандармов и чиновников, но уже иного типа. Жандармы были в мундирах, а чиновники – в безукоризненных европейских пиджаках с золотыми цепочками на жилетах и в ослепительно-белых крахмальных сорочках. Внешность их говорила, что они уже успели европеизироваться, и только красная феска на голове указывала на принадлежность к правоверным. Феска вообще оказалась в Турции наиболее консервативной частью костюма, хотя она и не является действительно исконно турецкой: это головной убор средневековых средиземноморских пиратов, от них перешедший к грекам, албанцам и не ранее XVIII века к туркам, как в этом можно убедиться в константинопольском историческом музее, где имеются образцы турецких костюмов за несколько столетий. К тому же делались фески не в Турции, а во Франции и составляли в конце XIX века не незначительную статью французского импорта в Турцию. Совершено неожиданно эти цивилизованные чиновники подвергли нас новому, весьма мелочному, очень утомительному досмотру на глазах у патриархального турка. На наше заявление на французском и турецком (через монаха) языках, что нас уже досматривали, никто не обратил ни малейшего внимания.

– Ведь вот, – волновался монах, – в одиночку каждый из них за черек сделает все что угодно, а тут, на глазах у всех, никто не возьмет и меджидие.

Мы с доктором подчинились своей участи, но из пассажиров одна дряхлая старушка-богомолка ужасно волновалась.

– Что, на них управы, что ли, нет? Там в море чуть не

перекувырнуло нас, здесь в карман лезут. Что это за басурмане такие! Да когда же они наши паспорта отдадут? Не потеряют ли они их? То-то не христианская страна!

Таможенники, не понимая русского языка, не обращали внимания на ее мятежнические речи и делали свое дело. Добравшись до книг – у меня было несколько статистических и исторических книг, а у Грабоиса – несколько медицинских, – они заявили, что здесь они пропустить их не могут и отошлют в цензуру. Тут уже пришла наша очередь волноваться. Монах обещал нам, что он выцарапает книги из цензуры. Потом мы с ним ходили по разным учреждениям и часть книг, переплатив несколько черепов, действительно выцарапали. Но одна книга, недавно купленная мною и взятая в дорогу, – трехтомная история Европы в XIX веке Файфа[452] – оказалась запрещенной. Мне ее обещали доставить на вокзал к моменту моего выезда из Константинополя. Сверх всякого ожидания, обещание было исполнено, но на вокзале их захватила местная таможня. Без сомнения, начальник желал получить с меня бакшиш, но я не успел улучить минуту, чтобы поговорить наедине, и должен был удовлетвориться обещанием, что книги будут мне возвращены в Софии через турецкого консула. В Софии я ходил к консулу, но ничего не добился, кроме сообщения, что на днях в Константинополе сожжена большая кипа книг, отобранных от проезжающих.

Таможня на вокзале подвергла нас новому, столь же тщательному обыску, после которого чиновник совершенно открыто протянул руку и потребовал:

– Бакшиш.

Я дал ему черек. Кстати, слово «бакшиш» неверно переводят у нас [как] «взятка»; смысл его более мягкий, и оно ближе подходит к нашему «на чай»; для взятки в уголовном смысле есть слово «рушвет»[453].

Я провел к Константинополе пять дней, живя все время в монастыре. Со мною был и Грабоис. Я был удивлен и обрадован той полной терпимостью, которую монахи обнаруживали к нему, несмотря на его еврейство, да, пожалуй, и ко мне: никаких требований посещать богослужения не предъявлялось, и мы были совершенно свободны; необходимо было только в 8 часов вечера возвращаться домой, так как в этот час запирались ворота. Узнав, что Грабоис – доктор, монахи толпами ходили к нему лечиться от действительных и воображаемых болезней; Грабоис осматривал их и прописывал им лекарства. По вечерам, когда мы возвращались с наших прогулок по городу, к нам набирались монахи и вели долгие беседы, расспрашивая нас о России и

рассказывая нам о Турции, Афоне, Иерусалиме. Из их рассказов мне особенно запомнился один.

В Иерусалиме на самом месте казни Иисуса Христа имеется храм, общий для всех христианских исповеданий[454]. Служба в нем происходит по очереди на основе соглашения. В обычные воскресенья и праздники соглашение достигается легко. Но в Пасху, в те не очень частые годы, когда Пасха русская совпадает с Пасхой католической, достигнуть соглашения оказывается невозможным: каждая церковь стремится захватить храм для себя, и стремится с тем большим рвением, что в тот самый момент, когда по ходу богослужения в первый раз произносятся слова: «Христос воскресе из мертвых», – свечи всегда зажигаются сами собой, без человеческой помощи. Естественно, всем хочется захватить этот момент чуда для себя. Для соглашения нет места, и потому естественно, что верующие прибегают к силе и, увы, даже к ножам, и кровь обагряет вход храма, в котором торжествует то чудо, которое «смертию смерть поправ»[455]. Так было и в нынешнем (или, может быть, прошлом или запрошлом – не помню) году. Католиков было больше, и они победили, но Бог-то не по-ихнему устроил, а по-нашему; свечи зажглись у нас, а не у них, хотя мы служили после них. Им был большой конфуз. А то католикам турецкие заптии[456] (жандармы) помогают. Им что, только бы был бакшиш. Ну, католики богаче, их бакшиши больше; им и мирволят турки.

Этот рассказ мне многое пояснил. Турцию всю можно было бы дружелюбно поделить между державами; нельзя этого сделать только с двумя пунктами: во-первых, с Константинополем и проливами, во-вторых, с Иерусалимом и Палестиной. Последние, пожалуй, даже больше, чем первые. Очевидно, что в Иерусалиме было трудно установить какую-нибудь христианскую власть; всякая будет мирволить одному вероисповеданию, и только турецкие заптии отличались по отношению к ним полным беспристрастием: кто даст больше бакшиш, тот и прав. В этой неделимости двух пунктов был источник или, по крайней мере, один из источников длящейся прочности Турецкой империи. Понадобилась великая война, чтобы лишить Турцию Палестины и суверенных прав над проливами[457].

Я провел в Константинополе пять дней и в эти пять дней делал то, что обыкновенно делают туристы: ходил по городу, посещал музеи и мечети, восхищался Айя-Софией[458], видел селамлик[459] – обычный пятничный парад, побывал в знаменитых турецких банях и т. д. Но у меня было и дело или даже два дела: одно – с хлопотами в цензуре из-за книг, о чем я уже говорил, а другое – с визой для въезда в Болгарию.

Это было время, когда дипломатических отношений между Россией и Болгарией не было: они были прерваны еще за восемь лет перед этим, после болгарского «превратa», низвергшего князя Александра Баттенберга, когда временное болгарское правительство не пожелало подчиниться всем антиконституционным требованиям России (1886 г.)[460]. Именно тогда были посеяны первые семена той вражды, которая принесла столь печальные для нас плоды во время великой войны. Официальная Россия смотрела с крайним раздражением на Болгарию, решительно не желала, чтобы русские ездили туда, и ставила им для въезда всевозможные препятствия. Вследствие этого в течение семи лет, с 1887 г., кроме нескольких политических эмигрантов (Драгоманова и т. д.) посетили Болгарию всего несколько человек русских (между ними, года за два до меня, сотрудник катковского «Русского вестника» и «Нового времени» Татищев), и я вместе с моим спутником Грабоисом были почти пионерами.

В Константинополе мы узнали, что без болгарской визы нас в Болгарию не пустят. А между тем болгарский консул[461] отказывался дать таковую, если у нас не будет специального разрешения на въезд в Болгарию от русского консульства.

– У нас слишком натянутые отношения с Россией. Россия делает нам постоянные неприятности за то, что мы дали у себя приют ее эмигрантам, и мы решили не пускать больше никого без согласия России, – говорил мне болгарский консул.

– Да ведь у меня есть заграничный паспорт, – отвечал я, – он годен для всех стран и является свидетельством, что русское правительство ничего не имеет против моей поездки в Болгарию.

– Драгоманов к нам явился тоже с русским паспортом, а за него нам была послана неприятная нота.

– Драгоманов был уже эмигрантом, и паспорт у него, вероятно, был просроченный, а у меня – только что выдан.

– Мы в это входить не можем. Да что вам стоит получить визу от русского консула, если русское правительство действительно согласно на вашу поездку?

Я пошел к русскому генеральному консулу. К нему у меня было даже рекомендательное письмо от моего гимназического товарища А. М. Ону, сына русского посла в Афинах[462]. Но письмо не помогло. Генеральный консул, фамилию которого я забыл[463], принял меня по-генеральски, высокомерно и грубо.

– Мы не можем взять на себя ответственность за вашу поездку, – почти кричал он на меня. – Болгария – некультурная страна, там господствуют палочники[464]; там за вами, как за русским, будут ходить толпы шпионов. Знаете ли вы, что такое

шпионы?

– Очень хорошо знаю, ваше превосходительство.

– Ну вот, вам подсунут в карман какой-нибудь запрещенный там листок, арестуют, да еще изобьют. К кому вы обратитесь за защитой? Наших представителей там нет.

– Я не прошу у вас защиты, я беру на себя всю ответственность и не возлагаю ее на правительство. Если бы я ехал в Центральную Африку к людоедам, риск был бы больше; неужели ничего, кроме затруднений, я не получил бы от русского правительства?

– Не знаю, но не могу ничем вам помочь и решительно отказываюсь дать вам визу.

Что было делать? Грустно обсуждали мы этот вопрос с Грабоисом. Впоследствии мы узнали, что виза нужна только на турецкой границе, а из Сербии пускают без нее (так что Слонимский оказался прав, рекомендуя мне дорогу через Вену и Белград), но тогда мы этого не знали, да и пускаться в такой объездной путь было и долго, и дорого. Вдруг нас осенила мысль. Мы отправились не к консулу, а в канцелярию консула и попросили визу в Сербию, via Sophia[465]. Без малейших затруднений в канцелярии нам написали: «Bon pour Belgrade, via Sophia»[466], снесли подписать консулу (не генеральному), и с этим мы отправились к болгарскому консулу. Он удовлетворился вполне и охотно поставил свой штемпель.

С болгарским консулом я вел долгую беседу о политическом положении Болгарии. Как и надлежит чиновнику, он был горячим поклонником Стамбулова, облагодетельствовавшего, по его словам, страну.

– А что касается до деспотизма управления, то это вздор. Вот, не угодно ли взглянуть наши оппозиционные газеты, – посмотрите, каким тоном говорят они о правительстве.

И он показал мне несколько номеров, в которых по адресу правительства допускались такие неприличные ругательства, которые не прошли бы безнаказанно ни в Англии, ни во Франции; казалось, что усомниться в наличности свободы слова не было ни малейших оснований.

Опять-таки вместе с Грабоисом мы отправились по железной дороге в Софию. Сутки на границе Болгарии мы должны были провести в карантине: в Константинополе тогда была слабая эпидемия холеры, и Болгария сочла нужным отделиться карантином. Затем попали мы в Софию.

В вагоне, в карантине, везде, где только можно, я старался заговаривать об условиях болгарской жизни, а так как я еще в Петербурге немного подучился болгарскому языку, то разговоры

завязывались и велись довольно легко. Везде я встречал только горячих поклонников Стамбулова. Он поднял экономическое благосостояние страны, он упрочил ее политическую свободу, он твердою рукой ведет управление. Свобода слова и личности? Нарушение конституции? Все это страшно преувеличено. Бывали кое-какие случаи, большого значения не имеющие. Но кто же из наших правителей ее не нарушал? Да и как соблюдать нашу конституцию, списанную с бельгийского образца, идущую своим признанием всеобщего голосования гораздо дальше ее, в стране, не изжившей еще привычки вчерашнего рабства?

Содержание отзывов у всех моих собеседников, интеллигентных и неинтеллигентных, было совершенно одинаково; различны были тон и манера выражаться и некоторые частности. Такое полное единодушие, опровергавшее мои заранее составленные взгляды, меня удивляло и несколько колебало.

Мой ближайший спутник, доктор Грабоис, поддерживал моих вагонных собеседников. Он сам до тех пор в Болгарии не бывал, но близкой приятельницей его семьи и его самого была одна болгарка по фамилии Койчу, учившаяся и жившая в Кишиневе (оттуда был и Грабоис), горячая болгарская патриотка. Она была восторженной поклонницей Стамбулова и много рассказывала Грабоису о своей родине. Года за три до нас она уехала на родину.

Наконец под вечер мы приехали в Софию и остановились с Грабоисом опять-таки в одной гостинице и даже в одной комнате.

Вечером я пошел к Драгоманову, а Грабоис – к своей знакомой Койчу.

Драгоманов тогда состоял профессором истории в Софийском университете и жил в одном доме со своим зятем[467], тоже профессором, Шишмановым. Но Шишманов в это время был в заграничной командировке, помнится, в Брюсселе, и я познакомился с ним только после его возвращения, перед моим отъездом из Болгарии. Драгоманов принял меня очень дружески, но разговориться с ним на темы, которые меня в ту минуту особенно интересовали, мне тогда удалось плохо. Драгоманов все мне говорил:

– Да что я стану вас натаскивать; приехали изучать Болгарию, изучайте сами, а не по моим указкам.

В действительности мотив его сдержанности был другой, но, конечно, также и не боязнь высказаться перед человеком, которого он видел в первый раз; трусом Драгоманов не был, а ко мне отнесся с полным доверием. Но он видел во мне свежего человека, прямо из России; таких в последние годы он видал редко, к тому же у нас было много общих знакомых, и ему

хотелось не говорить, а расспрашивать и слушать. Однако я легко выяснил, что его отношение к стамбуловскому режиму совершенно отрицательное и ни политический разрыв с Россией, ни, в частности, приглашение на кафедру в Софию его не подкупают. С чувством некоторой неловкости я его спросил:

– Шишманов, ведь он, кажется, стамбулист?

– Шишманов – болгарин и чиновник; поэтому он сейчас – стамбулист. А если Стамбулов свалится, то он будет кричать: «Долу Стамбулов!»[468]

Жене Драгоманова[469], присутствовавшей при разговоре, этот отзыв, видимо, был крайне неприятен, и она постаралась смягчить слова мужа.

– Шишманов, большой болгарский патриот, – говорила она, – очень любит Болгарию и дорожит тем, что Стамбулов сумел защитить ее политическую самостоятельность от посягательств России, но вместе с тем он европеец, и ему, конечно, тяжела внутренняя деспотическая политика Стамбулова.

Через два месяца Шишманов вполне оправдал пророчество Драгоманова: узнав еще в Брюсселе о падении Стамбулова, он поспешил прислать новому правительству поздравления с вступлением во власть.

Вместе с тем у Драгоманова – человека, в то время уже страдавшего болезнью, сведшей его в могилу, и знавшего свою обреченность[470], поэтому болезненно раздражительного, – накипело довольно много раздражения против своих товарищей по университету, против общей малокультурности окружающей жизни, вообще против болгарского народа.

Это особенно сказывалось в одном его желчном замечании в ответ на мой рассказ о той чрезвычайной тщательности, с которой производилась дезинфекция в болгарском карантине, и, в противоположность ей, о той некультурности обстановки, в которой нас заставили в том же карантине провести день и ночь.

Если вообще признавать за карантинами пользу, то, что касается карантина в точном смысле этого слова, сказал я, этот устроен безукоризненно.

– Болгары всегда устраивают безукоризненно все, чем они могут доставить кому-нибудь хоть маленькую неприятность, – возразил Драгоманов.

Перед ночью мы сошлись с Грабоисом и поделились впечатлениями. Он вернулся от своей знакомой, выбитый из колеи.

– Странно, очень странно, – рассказывал он мне. – Ничего не понимаю. Койчу говорит, что Стамбулов – тиран, что он губит Болгарию, что правительство расхищает финансы, что всюду

господствует взяточничество.

Чем же объяснялось полное единодушие всех, кого мы встречали по дороге? Дня через два это мне объяснилось. Я встретил в ресторане одного из наших дорожных знакомых. Он был в живой беседе с двумя неизвестными мне лицами.

Я подошел к нему и поздоровался. Он очень сухо встретил меня и, видимо, не желал со мной разговаривать. Я отошел в сторону, в одиночестве съел свой ужин и ушел. Через несколько шагов мой знакомец нагнал меня.

– Вас удивило и оскорбило мое поведение?

– Конечно, удивило.

– А вы знаете, кто были те двое, с которыми я сидел?

– Нет, не знаю.

– Один из них – довольно известный стамбуловский шпион.

– И вы с ним в таких дружеских отношениях?

– Что же мне прикажете делать? Я человек семейный, не терять же мне даром службу. Можете себе представить, вчера меня спрашивали в градоначальстве – я там был по делу, – где я с вами познакомился. Я сказал, что в России. Пожалуйста, поддержите это, если вас случайно кто-нибудь спросит. Я ведь учился в Одессе.

– Хорошо, но что же во мне страшного, что о знакомстве со мной надо выдумывать сказки?

– Вы русский; всякого, кто водится с вами, можно обвинить в русофильстве, следовательно – во враждебном отношении к правительству.

Для меня это звучало дико. Только что освобожденный из ссылки, не имеющий права въезда в столицы и университетские города, только хитростью получивший разрешение на поездку в Болгарию, я здесь оказывался человеком, знакомство с которым компрометировало не друзей, а врагов русского правительства.

– Но чего же вам лично бояться? Ваша политическая благонамеренность гарантирует вас от всяких политических неприятностей из-за знакомства с таким представителем русской политики, как я.

– Вы это заключаете из моих слов в вагоне? А что же мне прикажете говорить в вагоне при людях, которых я не знаю, а некоторых даже знаю с самой дурной стороны?

– Но почему же вы говорите так свободно со мной? Ведь и меня вы не знаете.

– Это совсем другое дело. Я учился в России, я знаю, что значит донос по русским понятиям. На болгарина же я никогда не положусь. По политическим или прямо по корыстным соображениям болгарин может на отца родного донос сделать.

Мы проходили мимо моей гостиницы. Я пригласил моего спутника зайти ко мне напиться чаю (я всегда ездил со спиртовой лампочкой[471] и с собственным чаем) и указал ему, что уже темно, никто его не увидит. Мой спутник расхрабрился, махнул рукой – будь, дескать, что будет, – и просидел у меня с Грабоисом часа два.

Теперь уже оказалось, что в Болгарии господствует полицейский деспотизм и полицейский произвол; что народ de facto[472] лишен избирательных прав, так как грубейшее полицейское давление на выборах обращают выборы в комедию; что свобода слова существует только на бумаге, что в высших сферах господствуют разврат и жажда наживы, в чиновничестве – взяточничество, казнокрадство и мелкое честолюбие, которому в жертву приносятся честь, дружба, любовь к родине; народ же угнетен и безмолвствует. Ложь, предательство, хитрость, трусость, неспособность бороться за свои убеждения – таковы основные, можно сказать, природные черты болгарина, воспитанные 500-летним турецким рабством[473]. Так было с самого освобождения; поэтому при всех мерзостях, которыми отличается режим Стамбулова, при всей низости характера, свойственной лично ему, на него одного валить всю ответственность нельзя: все болгарские государственные деятели в сущности таковы же, – и это объясняется народным характером и условиями жизни Болгарии. Единственное исключение составляет Драган Цанков – человек безусловно честный, отличающийся уважением к конституции и законности.

Итак, вчерашний стамбулист оказался цанковистом, вчерашний русофоб (в политике) – русофилом.

Своими последними словами мой собеседник доказал, что он глубже многих других, с кем мне приходилось беседовать на ту же тему, понимал причину царившей в Болгарии неурядицы. Другие все валили на одного Стамбулова. «Стамбулов захватил власть, Стамбулов ею злоупотребляет, он развратил народ, он создал наушничество, шпионство, доносы, продажность, предательство», – и эти люди, сами не способные на самый слабый проблеск искры политического мужества, эти люди отказывались принять на себя хоть часть вины. Поэтому после падения Стамбулова – оно произошло через несколько недель после этих разговоров, 18 мая того же 1894 г., когда я был в Болгарии, – они не только громко ликовали – это было вполне естественно и законно, но решительно отказывались верить в возможность возвращения прежнего деспотизма. «Теперь настал золотой век для Болгарии» – таков был смысл, если не самые слова, всех речей, которые я слышал (и читал в болгарских

газетах) после падения Стамбулова. Прошло несколько месяцев… «У нас опять стамбуловщиной пахнет», – писал мне один из болгарских приятелей, горячее других говоривший о «золотом веке».

Крайне пессимистический взгляд на болгарский национальный характер не составлял исключительного достояния моего железнодорожного знакомца, и даже противоположение русского благородства болгарскому коварству, в котором, конечно, была изрядная доза грубой лести мне, довольно сильно распространено в болгарском обществе. К болгарскому обществу в гораздо большей мере, чем к русскому, применимы известные стихи Добролюбова:

Слава нам! В поганой луже
Мы давно стоим,
И чем далее, тем хуже
Все себя грязним.
Друг на друге растираем
Мы вонючий ил[474],
И друг друга мы ругаем,
Сколько хватит сил.

– У нас в Болгарии невозможно говорить откровенно с ближайшими друзьями. Однажды три человека, считавшие себя приятелями, вместе совершили прогулку на вершину горы Витоша[475]. Никто их не мог слышать. И что же вы думаете? На следующий день их разговор стал известен властям.

Это рассказывали мне в одном обществе. Но если мой железнодорожный знакомый собственной особой служил блестящей иллюстрацией к своей характеристике болгарского чиновничества, то в настоящем случае дело обстояло иначе. В обществе было человек десять, по большей части служащих по судебному ведомству (в том числе и знаменитый впоследствии Малинов), и целый вечер шла живая беседа о политическом положении Болгарии, причем никто не стеснялся высказывать свои мнения, весьма и весьма антиправительственные. Я указал на это противоречие.

– Да, теперь стало несколько лучше, – был ответ. – А вы бы приехали года 2–3 назад. Тогда, после убийства Белчева (один из стамбуловских министров, убитый на улице Софии), живой речи вы бы нигде не услышали, разве где-нибудь в укромном уголку, с глазу на глаз. Теперь и печать говорит свободно, и Стамбулов потрухивает[476].

Несомненно, доля, и очень значительная, правды в этих

самообличениях была. Вот еще характерная железнодорожная оценка, служащая ярким подтверждением их справедливости.

9 мая того же года в Сербии отставной король Милан, действуя из-за границы, отменил сербскую конституцию[477]. Можно было ожидать там каких-нибудь крупных событий. В Болгарии же ничто не предвещало катастрофы, и даже П. Каравелов, которого я только что посетил в тюрьме, признавал болгарский режим прочным.

И я поехал в Белград.

В вагоне было почти пусто; кроме меня в отделении вагона сидел только один молодой человек, сам вступивший со мной в беседу, да еще подсевший к нам после проверки билетов кондуктор. Молодой человек, оказавшийся народным учителем, узнав во мне русского, начал расспрашивать меня о России. Отсюда разговор, естественно, перешел на Болгарию. Не вызванный мною, учитель сам начал фразами школьных учебников «гражданского учения»[478] (это своего рода болгарская «политграмота») восхвалять конституционные порядки своей страны.

– У нас не самодержавие, как у вас. У нас конституция[479]. Мы правительство, а правительство – только наши уполномоченные. Мы их избираем и смещаем.

Я попробовал возражать:

– А не случается, что избирательные урны до начала выборов окажутся полными бюллетенями?

– Не может этого быть! Каждый из нас, я первый, поднимет скандал, если заметит что-нибудь подобное.

– А его не прогонят с места?

– Никогда. За что? Это конституционное право и даже обязанность.

– Гм… А не случается, чтобы за подачу оппозиционного бюллетеня храброго избирателя избили переодетые полицейские? Не случается, что они же иногда бьют окна или разносят оппозиционную редакцию?

– Вздор! Все это лживые выдумки оппозиционеров. Ничего подобного нет, не было и не будет.

Я замолчал. Раздался свисток, и поезд подошел к станции. Кондуктор выскочил, мы остались вдвоем, и мой спутник, забирая вещи, шепнул мне:

– Ничему не верьте, что я говорил; все правда, что вы говорили.

– Зачем же вы лгали?

– А что же мне прикажете делать? У меня семья, а тут этот кондуктор, черт его знает, что он такое, – и с этими словами мой

спутник выскочил.

Эта сценка имела для меня свое продолжение, сделавшее ее еще более яркой.

Через несколько станций была сербская граница. Здесь пришлось переменить поезд. Я попал в вагон, полный разнообразной публикой.

– Куда путуете[480], господин? – обратился ко мне сосед с обычным железнодорожным вопросом.

– В Белград. А вы?

– В Пирот. Вы ведь не болгарин и не серб?

– Нет, я русский.

– По торговым делам?

– Нет, я турист; был в Болгарии, еду в Сербию, чтобы посмотреть, что у вас делается.

– Ага, вы не потому ли едете, что у нас Милан отменил конституцию. Вы корреспондент?

– Да, пишу.

– Хотите узнать, как народ относится к Милану и этому перевороту?

– Именно.

– Ну так я вам скажу. У нас все его ненавидят, и эта мерзость ему даром не пройдет.

Это было сказано громко, а вагон был полон. Не привыкший к такому языку, я толкнул моего собеседника в бок.

– Да вы потише, вас ведь слышат.

– А чего мне бояться? Я не один, так все думают. Вон там в углу сидит пиротский[481] либерал; он, может быть, думает иначе, но народ не с либералами, а с радикалами[482]. Не долго еще Милану тешиться над нами.

– То есть вы ожидаете революции?

– Может быть.

Собеседник мой был простой сапожник. Сербская граница показалась мне в ту минуту не искусственной границей, которую произвол европейской политики провел между двумя родственными племенами, а пропастью, разъединяющей две расы, две культуры, две политические системы. А между тем та местность, по которой мы ехали, была и политически, и этнографически спорной: Сан-Стефанский мир[483] отдавал ее Болгарии, Берлинский[484] – отрезал Сербии; племя, ее населяющее, называемое шопы, говорит на смешанном болгаро-сербском языке[485], и обе стороны считают его своим[486]. Политически само себя оно в большинстве признавало сербским и на вопрос о национальности отвечало обыкновенно: «Аз съм сърбин»[487], – болгары именно в этом ответе почерпали

доказательство принадлежности к болгарской народности (так как «аз» и «съм» – формы болгарские; по-сербски следует сказать: «Ја сам србин»), насильственными мерами сербированной. Как бы то ни было, разница между народной психикой по сю и по ту сторону границы оказывалась громадной.

И, однако, через неделю после этого разговора болгары низвергли своего Стамбулова, а сербы терпели Милана до его смерти и короля Александра еще 9 лет[488].

Лет 27–28 спустя, во время господства у нас большевиков, я как-то рассказал об этих моих болгаро-сербских впечатлениях одной знакомой даме. Через несколько месяцев ей пришлось съездить в Москву, а по возвращении она мне говорила:

– Знаете, только что я села в вагон, как вспомнила ваш рассказ. Особенно на возвратном пути из Москвы. Весь вагон гудел ненавистью и злобой к большевикам. Одна сплошная ругань по их адресу. И ничего не боятся. И все-таки, пожалуй, большевики просидят еще долго, как в Сербии Милан с Александром.

Я провел в Болгарии два месяца до падения Стамбулова и потом еще столько после него. Мое положение для изучения действительного положения страны в первый из этих периодов было сильно облегчено тем, что у меня было хорошее рекомендательное письмо к самому Стамбулову – от его друга и горячего поклонника его политики, англичанина Beaman (выпустившего о Стамбулове восторженную и очень легкомысленную книгу[489] в серии «The statesmen of the day»[490]), с которым я был знаком в Петербурге, где он был корреспондентом консервативного «Standard». Письмо это гарантировало мне очень хороший прием у министра и в правительстве. И действительно, у Стамбулова я был несколько раз, он принимал меня очень любезно, вел долгие беседы и в первый же раз выдал мне «открытый лист» для путешествия по Болгарии, в котором властям предписывалось оказывать мне всяческое содействие. Этим листом я пользовался широко в Софии и провинции, ходил в суды, в тюрьмы, в учебные заведения, к представителям власти.

В лице Стамбулова я нашел человека хотя научно совершенно невежественного (он учился, но не кончил курса в Одесской духовной семинарии[491]), но очень умного, прекрасного знатока Болгарии и прекрасного оратора (я слышал несколько его публичных речей). Он вполне хорошо говорил также по-русски. В 1886 г. несколько офицеров, считавших себя русофилами, но действуя без прямого соглашения с официальной Россией, произвели гибельный для Болгарии переворот. Группа заговорщиков ночью захватила князя Александра Баттенберга в

его дворце и выслала его по Дунаю на русскую границу в Рени[492], где выдала его местному жандармскому офицеру. Последний, не предупрежденный об этом, был поставлен в крайнее затруднение: он не знал, как обращаться с князем – как с почетным гостем или как с арестантом, – и, вероятно, пережил несколько очень мучительных часов, пока не пришел из Петербурга по телеграфу приказ отпустить Александра на все четыре стороны. Александр вернулся в Болгарию, где его сторонники организовались, встретили его как князя и вновь водворили в его дворце. Но телеграмма Александра III Александру Баттенбергу («не могу одобрить вашего возвращения» и т. д.[493]) заставила его немедленно отречься от короны.

Стамбулов тогда стал во главе противников переворота и сторонников Александра. После его окончательного падения, очутившись во главе регентства, он явился, во имя конституции, противником России, предъявлявшей самые антиконституционные требования. Это была правильная в то время позиция с точки зрения интересов политической независимости Болгарии, и занятие ее было несомненной заслугой Стамбулова, принесшей и ему лично неисчислимые выгоды. Заслуга была тем больше, что самый крупный политический деятель Болгарии, Каравелов, не сумел выбрать одной линии поведения, колебался из стороны в сторону. Новый избранный князь, Фердинанд Кобургский[494], совершенно естественно поставил Стамбулова во главе министерства, и Стамбулов, сильный своей заслугой перед Болгарией, а также лично перед Фердинандом, стал на 7 лет настоящим диктатором. Министры занимали свои посты и падали, Стамбулов был несменяем. Сам Фердинанд, несмотря на самостоятельность и самовластность своего характера, был пешкой в руках Стамбулова.

Во время этой диктатуры Стамбулов проявил себя во весь свой рост – честолюбца, интригана и корыстолюбца. Конституция, во имя которой он действовал в 1886 г., нарушалась им откровенно и нагло. В парламенте он сам как-то сказал фразу: «Когда мое внутреннее убеждение говорит, что соблюдение конституции вредно для Болгарии, то я жертвую конституцией ради Болгарии»[495]. Его «вътрешно убеждение»[496] как бы прилипло к нему. Его режим страдал от грубейшей коррупции и крайнего деспотизма. Выборы в палату обратились в комедию: в избирательные урны заблаговременно насыпались бюллетени с именами правительственных кандидатов, и их избрание было обеспечено, вследствие чего палата долгое время состояла из одних сторонников правительства без единого представителя

оппозиции (только на последних выборах перед падением Стамбулова было пропущено несколько оппозиционеров). Прибегали и к другому способу: избиению избирателей, которые подозревались в намерении подать оппозиционный бюллетень и отказывались показать его по требованию «патриотов»[497].

Митинги допускались только правительственные. Их созывали градоначальники, и выносили они – по телеграфному предписанию Стамбулова – заранее составленные резолюции; совершенно в том роде, как это делается теперь в России. Свободы печати, гарантированной конституцией, не было и в помине. По временам постановлением совета министров вводилась вопреки конституции предварительная цензура, потом она отменялась, но заменялась двумя различными приемами: во-первых, судебной репрессией, применявшейся так, что печать не могла и пикнуть, а во-вторых, деятельностью «народа» или «сопаджие» (палочников). Это производилось очень просто. Собирался митинг для протеста против оппозиционной газеты, на митинге выносилась резолюция – выразить порицание редакции, затем участники митинга шли к редакции, били окна, врывались в ее помещения и типографию и производили полнейший разгром. Полиция блистала своим отсутствием и являлась, когда все было кончено. Таким же способом нередко расправлялись и с отдельными политическими деятелями.

Тем не менее под самый конец правления Стамбулова появилась оппозиционная газета «Свободно слово», во главе которой стояли Стоилов и Радославов.

Стоилов и Радославов были люди богатые и судебных репрессий не боялись: когда я приехал в Софию, они содержали в тюрьме уже трех или четырех ответственных редакторов своей газеты, приговоренных судом (чего не вынесла бы никакая газета), и газета Стоилова продолжала свой поход против Стамбулова. Она обливала Стамбулова грязью, печатала о нем сообщения, не считая нужным стесняться истиной, употребляла самые ругательные выражения: «мерзавец», «подлец» и, особенно охотно, «блудник» и т. п., вообще вела себя так, что никогда ни английское, и французское правительство не допустило бы у себя ничего подобного. Между прочим, газета пустила в ход сведения, будто Стамбулов соблазнил и частью даже изнасиловал 83 невинные болгарские девушки, и этот факт с такой статистической цифрой потом постоянно фигурировал в речах противника Стамбулова.

Этот тон газеты ввел меня в заблуждение, когда в Константинополе болгарский консул показал мне ее. Но это был оптический обман: Стамбулов просто еще не собрался прибегнуть

к обычному способу устранения неудобных людей и газет: к помощи «негодующего народа». Но продержись он еще у власти месяца два, и этот способ, без сомнения, был бы пущен в ход.

Мне не нужно было особенной проницательности, чтобы сразу оценить эту сторону стамбуловского режима: она кидалась в глаза, и только при намеренном закрывании глаз можно было ее не заметить.

Но другую сторону выяснить было труднее, и теперь я не повторил бы всего, что писал и говорил в свое время. Эта сторона – экономическая.

Для нее у меня было очень мало материала, хотя я его тщательно искал. Сколько-нибудь серьезной экономической литературы в Болгарии в то время не было; статистика была в зачаточном виде, если не принимать за «статистику» сведений о соблазненных Стамбуловым девушках. Я был у министра земледелия[498], добивался у него сведений о формах и размерах землевладения, о величине запашек и урожаев и т. п. и узнал только то, что по всем этим вопросам министр земледелия имеет сведений немного больше меня. То же самое и с промышленностью.

В общей прессе, в «Свободном слове» и позднее появившихся изданиях много говорилось об экономическом упадке Болгарии за время стамбуловского режима. Приводили сведения об упадке земледелия и урожаев, о растущих недоимках, об увеличивающемся числе продаж мужицкого инвентаря за недоимку и т. п. Я принял на веру все эти сообщения и сделал вывод, что то движение, которое низвергло Стамбулова и которое в Болгарии называется громким именем «революция 18 мая» (1894 г.), произошло на почве обнищания страны.

Теперь в Болгарии имеются весьма хорошая статистика и довольно значительная экономическая литература. И теперь я должен признать, что в течение всего периода с освобождения от турецкого ига до начала войны в 1912 г.[499] Болгария экономически крепла и развивалась; конечно, этот процесс не был совершенно прямым, конечно, были в нем зигзаги, но семилетие стамбуловской диктатуры, при всем ее деспотизме и ошибках, в целом таким зигзагом не было. И гораздо правильнее будет признать, что переворот 18 мая произошел не на почве экономического упадка, а как раз наоборот, на почве экономического развития и роста политического сознания, пришедшего в коллизию с политическим деспотизмом.

Для характеристики политического положения Болгарии при Стамбулове я приведу здесь еще одно очень яркое воспоминание.

В то время знаменитый болгарский политический деятель

Петко Каравелов сидел в тюрьме (так называемой Черна Джамия – черная мечеть; в тюрьму была обращена старая мечеть). Сидел он по совершенно фантастическому обвинению в убийстве Белчева, одного из стамбуловских министров. Белчев вечером возвращался пешком домой из заседания министерского совета; возвращался вместе со Стамбуловым. В расстоянии нескольких шагов сзади шел вооруженный телохранитель Стамбулова, когда-то разбойник, приговоренный к смертной казни, но помилованный Стамбуловым и ставший его верным слугой, человек громадного роста и, как говорят, редкой физической силы. Из городского сада, мимо которого они проходили, вышел человек с намерением, без сомнения, убить Стамбулова, подошел сзади по ошибке к Белчеву (они одинакового роста и были в одинаковых пальто) и выстрелом из револьвера уложил его на месте. Телохранитель бросился за ним, стреляя вдогонку, но этот человек скрылся в темноте неизвестно куда. Телохранитель утверждал, что он скрылся в дом Каравелова, невдалеке от которого было совершено убийство[500]. Но дом был немедленно обыскан и никакого признака убийцы найдено не было. Никаких других доказательств виновности Каравелова не было. Тем не менее он был приговорен к 5 годам тюрьмы.

Вот с ним-то мне и хотелось познакомиться. Следовало с тем открытым листом, который я имел от Стамбулова, обратиться к начальнику тюрьмы и во время ее осмотра, к которому я, вероятно, был бы допущен, познакомиться с Каравеловым. Но чтобы обеспечить себе более продолжительное свидание, я, рассчитывая на любезность Стамбулова, обратился к нему с просьбой об этом. Сверх всякого ожидания я получил очень вежливый, но тем не менее твердый и решительный отказ[501].

Очень огорченный, я ушел от Стамбулова. В тот же день я встретил в ресторане, где обыкновенно обедал, племянника Каравелова, Рашко Маджарова, с которым я был знаком. Маджаров, в то время молодой человек, учитель (ныне он министр путей сообщения в преобразованном кабинете Ляпчева[502]), бывал в тюрьме у своего дяди. С большим огорчением я рассказал ему о своей неудаче.

– А вам очень хочется повидаться с дядей?

– Очень.

– Лева (франка)[503] отдать не жалко?

– Хоть десять.

– Нет, одного хватит. Так дайте мне лев и приходите ко мне в четыре часа.

Я так и сделал. В 4 часа мы вместе пошли в тюрьму. На звонок нам открыли ворота. Маджаров, которого там знали и

который уже не предъявлял разрешения, сунул франк в руки привратника, и мы свободно и спокойно прошли, как будто в хорошо знакомый дом. Пришли мы в камеру Каравелова. Впрочем, это была не камера в нашем смысле слова. Это была большая ниша в стене, что-то вроде большого алькова, дверей не было; вход со двора был завешен ковром. Таким образом Каравелов имел и некоторое подобие отдельной комнаты, и вместе с тем был не в одиночном заключении. Он мог свободно входить и выходить во двор и там общаться с другими арестантами.

Провел я у него на этот раз часа два или три. В нем я нашел человека очень хорошо образованного (он кончил Московский университет[504] и всю жизнь много читал и работал), очень умного, с умом настоящего государственного человека, и очень интересного собеседника. Знал Болгарию он не хуже Стамбулова. Но в противоположность этому последнему, умевшему свою злость прикрывать напускной объективностью (в частности, о Каравелове Стамбулов говорил мне с большим напускным уважением, как о человеке во всех отношениях достойном, политически заблуждающемся), Каравелов был прямо страшен, когда говорил о своих врагах, как Стамбулов. Много лет спустя в одном из некрологов Каравелова[505] я прочел, между прочим, похвалу его «доброте, снисходительности к людям и способности прощать обиды». Этот отзыв меня очень удивил. Я высоко ценю Каравелова, но этих черт я в нем не находил. Если бы Стамбулов – и даже не Стамбулов-диктатор, а Стамбулов падший – очутился рядом с ним, то, я думаю, Каравелов был бы способен руками задушить его. Но в то же время он согласился на следующую мою просьбу.

– Господин Каравелов, – сказал я, – весьма возможно, что в будущем году вы будете стоять во главе министерского совета, а Стамбулов будет находиться на вашем нынешнем месте. Может быть, мне удастся тогда вновь приехать в Болгарию, и я обращусь к вам с просьбой о разрешении мне свидания со Стамбуловым. Тогда вы, конечно, будете склонны ответить мне так же, как сегодня ответил мне Стамбулов, и мне придется искать какого-нибудь стамбуловского племянника. Так дайте мне теперь же слово, что вы это свидание мне разрешите.

Каравелов засмеялся и слово дал. Сдержать его ему не пришлось, потому что я вторично приехал в Болгарию тогда, когда Стамбулов был уже убит[506], а Каравелов хотя и был на свободе, но министром еще не был (он стал им много позднее[507]).

Ненавидя Стамбулова, Каравелов в то же время близкого его падения не ждал.

– А вот ваш племянник обещает мне революцию никак не больше, чем через два месяца.

– Мой племянник – мальчишка. В этом возрасте революция всегда – мероприятие через два месяца. Когда я был в Москве, я был знаком со многими вашими «нигилистами», и мы все время ждали революцию через два месяца. И так много лет. Стамбулов крепок – князем, поддержкой Австрии и глупой политикой России, которая, с одной стороны, подуськивает на глупые пронунциаменто[508], вроде ареста Александра Баттенберга, а с другой – не умеет и не хочет воспользоваться благоприятным для нее положением вещей. А без благоприятного толчка извне революция произойти не может.

Этот разговор, впрочем, происходил в одно из следующих моих свиданий с Каравеловым, недели за полторы или две до падения Стамбулова.

Знал ли Стамбулов о моем свидании с Каравеловым вопреки его запрещению? Несомненно, да: во-первых, я сам (с разрешения Каравелова и Маджарова) не скрывал его и многим о нем рассказывал, а во-вторых, располагая многочисленной армией шпионов, он не мог не быть осведомленным о таком важном факте. И даже при следующем свидании он явственно намекнул мне на это.

Почему же не принял никаких мер ни для наказания виновного тюремного начальства, ни для предупреждения подобных беспорядков на будущее время?

Вероятно, потому, что в это время он уже шатался. Конечно, не за один франк я прошел в тюрьму; франк был действительно простым «на чай». Прошел в тюрьму я потому, что все тюремное начальство не то что знало, а всем своим нутром чувствовало: сейчас в тюрьме – Каравелов, а Стамбулов – в министерском совете, а завтра, может быть, будет наоборот, и ссориться с Каравеловым невыгодно.

Шатался же Стамбулов главным образом потому, что дело свое он уже сделал: международное положение Болгарии закрепил и в настоящее время пользовался уже единодушной ненавистью как всего населения, за исключением не очень многочисленной группы людей, пользовавшихся общественным пирогом, так и даже ненавистью князя, который, отличаясь большой самостоятельностью характера и жаждой власти, при Стамбулове был только декоративной фигурой. К этому присоединилась глупая романическая история: Стамбулов начал ухаживать за женой своего единомышленника и товарища по кабинету, военного министра полковника[509] (впоследствии генерала, а во время войны одно время главнокомандующего[510])

Савова; этот последний вызвал Стамбулова на дуэль, вышел в отставку и был замещен полковником Петровым. Стамбулов от дуэли уклонился и имел бестактность сам передать в печать для опубликования всю переписку по этому поводу, хотя его поведение по этой переписке обрисовывалось в весьма некрасивом свете; но бестактнее всего было то, что вместе с другими документами он опубликовал и неосторожно показанное князем письмо к нему Савова. Князь выразил ему свое возмущение, и Стамбулов подал в отставку

Подавал в отставку он не в первый раз, но князь не решался ее принимать. На этот раз он ее принял[511].

Пока не было составлено новое министерство и Стамбулов держал еще власть в своих руках, он сделал распоряжение: созывать митинги «патриотов» для протеста против отставки Стамбулова, вести их ко дворцу, вызывать князя и требовать от него, чтобы он вернул Стамбулова к власти.

Митинги были созваны в разных частях города и направлены ко дворцу. Но самочинным образом, тоже в разных частях города, образовались другие, гораздо более многолюдные митинги, которые вынесли резолюцию: «Благодарим князя за принятие отставки Стамбулова» – и с криками: «Долу Стамбулов! Долу блудник! Долу тиран!»[512] – направились к дворцу. Перед дворцом столкнулись две толпы, произошла свалка, численный перевес одержал победу и «патриоты» бросились врассыпную. Стамбулов по телефону предписал градоначальнику[513] направить на площадь полицию и водворить порядок, но получил ответ: полиции нет, вся она, переодетая в штатское платье, фигурирует в числе «патриотов». Стамбулов – к Петрову: пустить в ход регулярную вооруженную силу. Петров, став лично во главе небольшого отряда, отправился на площадь, но оценив, куда дует ветер, направил его против «патриотов»-стамбулистов, и солдаты, пустив в ход оружейные приклады, помогли преследовать бегущую толпу «патриотов».

В этом состояла вся «революция 18 мая», более походившая на водевиль с переодеванием, чем на революцию. Политический смысл событий состоял в том, что интересы широких народных масс совпали с интересами главы государства против правительства, и победа оказалась исключительно легкой и совершенно бескровной: были только избитые, потерявшие по несколько зубов и т. п. Несколько отдельных убийств произошло позднее.

В течение некоторого времени после этого князь пользовался в Болгарии исключительной народной любовью. К сожалению, он не сумел сохранить ее более двух-трех лет, а политика его в эпоху

войн оказалась гибельной и для Болгарии, и для него лично[514].

К моему величайшему горю, первого дня революции я собственными глазами не видел. Этой революции я не предвидел; не предвидел ее, как я уже сказал, и такой тонкий знаток Болгарии, как Каравелов. Думаю, что предвидеть ее было невозможно: вся она явилась результатом такого сплетения случайностей, которое никакому человеческому предвидению недоступно.

Я был в Белграде. Но когда часа в 3-4 дня туда пришло известие о происходящем в Болгарии, о чем я узнал в редакции одной из газет, тотчас же сорвался со своего места и через несколько часов сидел в поезде, а рано утром на другой день был в Софии.

Расходившееся народное море еще волновалось. В народе, до тех пор умевшем только красноречиво молчать, обнаружилось бесчисленное множество – по большей части косноязычных и бездарных – ораторов, и на улицах беспрестанно собирались летучие митинги. В числе ораторов я видел много лиц, мне хорошо знакомых. Особенно речеобилен был один молодой адвокат по фамилии Македонский, которого недели за три перед этим я слышал тоже в качестве оратора на митинге перед домом Стамбулова, произносившим «от имени десятитысячной толпы» (в ней не было, наверное, и двух тысяч) благодарственную речь Стамбулову за его македонскую политику[515]. Теперь он говорил о попранной Стамбуловым свободе и уснащал свою речь возгласами: «Долу блудник», «Долу тиран».

Я увидел несколько раз омерзительные сцены, как группы антистамбулистов ловили где-нибудь на улице стамбуловского шпиона, вели его, издеваясь, в городской сад, там ставили к дереву и оплевывали его. Дня три новое министерство – Стоилова и Радославова[516] – позволяло эти легкие эксцессы, но затем оно показало власть, полиции был дан приказ действовать, и к концу первой же недели расходившееся море вошло в свои берега. Жизнь потекла нормально.

Сцену убийства, однако, я лично видел недели через три после этого.

Были назначены выборы в городской совет (городскую думу). Выборы происходили на веранде здания городского совета; толпа, ожидавшая своей очереди опустить бюллетени, толпилась на дворе. У ворот красовалась надпись: «Вход с оружием запрещается под страхом наказания по такой-то статье», и у меня отобрали как оружие мою палку, с которой я обыкновенно хожу.

«Мера, пожалуй, благоразумная», – подумал я и охотно ее отдал (потом так и не получил обратно).

Через несколько времени я услышал крики:

– Бей его! Стамбуловский шпион!

При этом какой-то субъект с искаженным от бешенства лицом держал в высоко поднятой руке револьвер, будто бы вытащенный из кармана одного из присутствующих на митинге. Остервенелая толпа колотила кулаками по голове, груди и спине несчастного. Полиция, по старому обычаю стамбуловских времен, блистала своим отсутствием. Наконец, несчастного выволокли за ворота и там передали полиции. Он был в ужасающем виде – представлял из себя один окровавленный кусок. Как было сообщено в газетах, через несколько часов он умер. Следствия произведено не было, и виновные наказания не понесли. Я видел всю эту гнусную сцену почти от самого начала до самого конца, и сейчас она стоит перед моими глазами во всех своих подробностях. Потом я читал о ней в газетах и расспрашивал представителей власти.

Убитый оказался каким-то мелким торговцем. И тем не менее я не могу сказать с уверенностью, был ли он действительно стамбуловским шпионом и даже действительно ли пришел на выборы с револьвером в кармане или все это была мерзкая провокация со стороны субъекта, будто бы вытащившего у него револьвер. Смутное чувство говорило мне, что последнее предположение ближе к истине и что здесь мы имеем дело с актом либо какой-то личной мести, либо, скорее, какой-то политической мести. Недаром правительство поспешило на все это дело опустить завесу, а правительственная [газета] «Свободно слово» в своем изложении представила его в каком-то изумительно-идиллическом освещении: у человека был обнаружен револьвер, свидетельствовавший о его намерении сорвать свободные выборы, и толпа вывела его и передала полиции, дав ему несколько шлепков, а в участке он по какой-то причине умер.

Это было первым событием, свидетелем которого я был и которое ясно говорило мне, что хотя Стамбулов и свалился, но стамбуловщина еще жива.

Что так будет, я в этом, впрочем, не сомневался и раньше. И еще до моей поездки в Сербию я уверенно говорил Рашко Маджарову, предсказывавшему мне падение Стамбулова в двухмесячный срок, что стамбуловщину они не выведут и в 20 лет: слишком глубоко вкоренилась она в душу народа и в кровь.

В первый же день по моем возвращении в Софию из Белграда я встретил его на площади. Он весь сиял счастьем, и счастье его было одновременно торжеством политической победы и торжеством пророка, пророчество которого оправдалось, – что, как известно, бывало редко даже с библейскими пророками.

Направляясь ко мне, он еще издали кричал:

– Что, двайдесять години[517]! Двайдесять години!

– А ваш дядя на свободе? – срезал я его вопросом.

– Будет на свободе! Будет на свободе!

Увы, новое правительство и не подумало его освободить, хотя Радославов (новый министр юстиции) и другие новые министры до революции говорили мне совершенно уверенно, что Каравелов не виноват в том преступлении, за которое он сидит.

Через несколько дней после революции я был у Радославова. В свое время я сам ему рассказал, как был у Каравелова вопреки запрещению Стамбулова, и он очень сочувственно хихикал по этому поводу. Теперь я просил у него официального разрешения на пропуск к Каравелову и не сомневался, что его получу. Причем я ему сказал:

– Надеюсь, что вы не станете препятствовать мне ходить к Каравелову, как это делал Стамбулов.

Как мне потом передавали, эта фраза (с заключавшимся в ней намеком, что в случае нужды я могу обойтись и без его разрешения) очень не понравилась Радославову, и он грубо ответил:

– Я не могу позволить корреспондентам каждый день шляться к арестантам.

Я оторопел.

– Позвольте, что вы говорите? Да теперь я могу сказать, что иду к Каравелову не как корреспондент, а как его хороший знакомый, и иду не к арестанту, а к заслуженному политическому деятелю, о невинности которого вы сами мне говорили всего три недели тому назад.

Радославов слово в слово повторил свою прежнюю фразу.

Я встал и, не кланяясь, вышел.

В тот же день я был у Каравелова. На этот раз я застал у него целую толпу крестьян из провинции. Они приехали в качестве делегации от своей деревни благодарить князя за отставку Стамбулова и высказать несколько пожеланий, но прежде сочли нужным явиться к Каравелову за дополнительными инструкциями.

Когда они ушли и я остался с Каравеловым и Маджаровым, началась наша беседа. Каравелов не походил на самого себя. Обозленный тем, что его не выпускают из тюрьмы, он, нарочно повышая голос, ругательски ругал новое правительство и самого князя, не выбирая выражений. Его озлобление было настолько несдержанно, что он больше не был даже интересным собеседником, каким я его знал в прежние свидания. Потом я бывал у него еще несколько раз, и только через месяц Каравелов

пришел в себя и начал уже не ругать правительство, а подвергать его действия критике – не всегда основательной, но всегда интересной.

О нем мне пришлось говорить с Тончевым, министром торговли в кабинете Стоилова.

– Почему новое правительство не освобождает Каравелова? – спрашивал я. – Ведь вы же знаете, что в том преступлении, в котором он обвиняется, он совершенно не повинен. Вы сами мне это говорили, и Радославов – тоже.

– Хм… А скажите, пожалуйста, вы бываете у Каравелова?

– Бываю.

– А не случалось ли вам с ним говорить о князе?

– Случалось.

– Ну скажите, пожалуйста, что он вам говорил о князе? В каком тоне были его отзывы?

– Простите, пожалуйста, но что вы сами подумаете обо мне, если я вам буду отвечать на подобные вопросы? Ведь вы министр, а Каравелов – арестант.

– Да вам и нет нужды отвечать на мой вопрос. Хотя я министр торговли, но и я довольно хорошо знаю о ваших разговорах с Каравеловым, а если вы пойдете к министру юстиции [Радославову], то он вам их передаст чуть ли не со стенографической точностью. А вы вот на что мне ответьте: как мы, министры его величества, можем представить его величеству, прекрасно осведомленному об этих разговорах, постановление о помиловании человека, который, правда, не виновен в убийстве Белчева, но десятки раз виновен в оскорблении величества?

– Я все-таки не понимаю, как можно держать в тюрьме человека по заведомо ложному обвинению. Если он действительно виновен в оскорблении величества, судите его за то, в чем он виновен, но не карайте за то, в чем он не виновен.

– Освободить и тотчас же устроить крайне неудобный процесс? И опять посадить? Ну, знаете, об этом может говорить литератор, но не государственный человек.

И все-таки месяцев через восемь Каравелова освободили[518]. На следующий год, в свою вторую поездку в Болгарию, я видел его уже свободным.

Когда я приехал в Болгарию, я произносил слова: четник, гайдук, хорамия[519], комитаджий[520] – с глубоким уважением, как названия героев борьбы. У меня в памяти оставалась болгарская народная [песня], из статьи в «Отечественных записках», о гайдуке Панайоте Хитове[521]:

Изо ми е мило и драго?

Млад хорамия да буде,
Черна кошуля да носим,
Чифт пиштоля за пояс,
И тонка пушка на рамот[522] [523].

И я был очень поражен, когда услышал слова «гайдук» и особенно «хорамия» для обозначения простого разбойника без всякого романтического ореола.

Сравнивая болгарских комитаджиев с русскими революционерами, я допускал, конечно, что первые отличаются меньшей культурностью, что характер их деятельности в силу обстоятельств ближе подходит к деятельности разбойников (при этом вспоминались «Разбойники» Шиллера[524]), но что те и другие одинаково революционеры, одинаково мужественные и самоотверженные борцы за свободу своего народа.

Но очень скоро романтический ореол под влиянием [как] разговоров и живых впечатлений, так и изучения мемуарной литературы [рассеялся]. Слушая болгарские самообличения их народного характера, я спрашивал обличителей: «А где же ваши героические комитаджии, все эти Панайоты Хитовы, Левские[525] и другие, о которых я так много читал у Любена Каравелова[526], Вазова[527], даже у немцев, как Розена[528]?» И слышал в ответ:

– Большинство погибло, а тех, которые остались в живых, поищите в министерских прихожих: там они выклянчивают себе пенсии.

Я имел случай познакомиться с одной из этих героических фигур, именно со знаменитым в истории борьбы с турками Панайотом Хитовым, автором (вероятно, сильно подправленных, если не прямо сфальсифицированных Любеном Каравеловым) мемуаров, доживавшим свой век в Рущуке. Может быть, он действительно когда-то был героем, но я видел его дряхлым стариком[529], льстивым, унижавшимся перед каждым министром, от которого могло зависеть, продлить его пенсию или отказать в ней. Но вот я (во вторую поездку в 1895 г.) познакомился с тогда еще молодым, впоследствии приобретшим большую известность, Сарафовым, македонским комитаджием[530]. Тогда Македония была еще почти совершенно спокойна, однако время от времени и в ней появлялись комитаджии, и Сарафов был одним из первых[531]. Это был человек с отталкивающей внешностью, невежественный, грубый, жестокий, злобный, мстительный, – конечно, храбрый той первобытной храбростью, которая восхищала нас в детстве в героях Купера, но которая в зрелом возрасте увлекать нас не может.

Я понемногу уяснил себе, что герои борьбы с турками были героями весьма своеобразными. Они действительно во главе небольших чет или комит вторгались в турецкую Болгарию из Сербии или Румынии (как потом в турецкую Македонию из Болгарии и Сербии), нападали с большим мужеством на турецкие войска или заптиев (жандармов), часто гибли, иногда торжествовали победу. В последнем случае они резали взятым в плен туркам носы, выкалывали глаза, насиловали женщин, жгли деревни, грабили – и награбленное далеко не всегда тратили на поднятие революционного фонда, а часто прокучивали в оргиях. В литературе я читал, что болгарские деревни смотрели на этих комитаджиев как на своих защитников и потому снабжали их провиантом и укрывали. Это бывало, но нередко дань, вносимая деревнями, была далеко не добровольной, и случаи, когда комитаджии не отличали добра болгарского от добра турецкого, были далеко не исключением, и любовь к ним народа была далеко и не единодушной, и не беспримесной[532].

Делая более общее сравнение Болгарии с Россией, я составил себе такое представление. Каприз истории и влияние международных отношений наделили Болгарию (как и Грецию, и Сербию) весьма либеральной и демократической конституцией в тот период ее истории, когда внутреннее развитие без посторонних влияний могло бы привести или к патриархально-демократическому складу, или к самодержавию. Народ оставался на крайне невысоком культурном уровне. Поэтому конституция оказалась на бумаге и в жизнь не вошла, и деспотизм Стамбулова с его палочниками, комедией выборов и т. д. явился естественным последствием комбинации политической незрелости и свободной конституции. Уровень культурного развития народа определил характер революционного движения против турок и характер революционеров, он же был причиной легкого подчинения народа стамбуловскому деспотизму, и он же объясняет возможность убийства Стамбулова каким-то мстителем, которому было мало, что Стамбулов уже наказан, потеряет власть, что к власти он никогда не вернется, что палата уже избрала комиссию для расследования преступлений Стамбулова и на очереди стоит вопрос о предании его суду по целому ряду тяжелых политических (нарушение конституции) и даже уголовных преступлений (хищения, убийства). Всего этого было мало, нужна была кровь. Убийство было совершено с хладнокровной жестокостью: убийца вскочил на подножку коляски, в которой ехал Стамбулов со своей женой, и несколькими ударами кинжала отрезал ему кисть руки, нанес еще несколько ран, соскочил с подножки и бросился бежать[533].

На такое убийство более культурные русские революционеры, как я тогда думал, не были бы способны, и в этом громадная разница между теми и другими.

Но вместе с тем даже бумажная конституция оказывает свое воспитательное действие на народ. Тот факт, что оппозиция борется с правительством с конституцией в руках, что всякое новое министерство начинает с обещания свято исполнять конституцию, не может не иметь своего воспитательного значения. Пусть оно не велико и медлительно – его не следует преувеличивать, – но совершенно отрицать его было бы ошибкой. Во всяком случае, бороться за конституцию, уже существующую хотя бы в виде клочка бумаги, легче, чем бороться за введение конституции, еще вовсе не существующей.

Таково было понимание общего склада жизни Болгарии, к которому я пришел в результате своей поездки и которое я проводил в своих печатных работах.

Многое из этого теперь я признаю ошибочным.

С тем явлением, палочников и негодующего народа, которое я считал специфически свойственным балканским проявлениям деспотизма и совершенно не свойственным формам русским, – с ним мы позднее очень близко познакомились в России, когда правительство сочло нужным создать Союз русского народа[534]; особенно близко – в собраниях Думбадзе и Толмачева[535]. Там Союз русского народа ничем по существу не отличался от стамбуловских палочников. Безнаказанность убийств Герценштейна, Иоллоса и Караваева[536] и несомненное прямое или косвенное участие в них правительства – явления вполне того же типа, что аналогичные убийства в Болгарии. Большевизм, приниженность народа, задавленного большевиками, – все эти явления, вовсе не возвышающие культурность русского народа над болгарским. Характер русских революционеров после их торжества проявился тоже в весьма отталкивающих чертах. Мстительность, жестокость проявились не меньше, чем у болгар. Таким образом, очень многое в моем тогдашнем понимании Болгарии подлежит исправлению. Не настолько уж ниже культура Болгарии, чем наша, как я думал.

Но за последнюю идею – значение писанной конституции, идею, резко противоположную принятой у нас идеи Лассаля[537], я стою и ныне. И недавняя (1925 г.) моя поездка в Болгарию меня только укрепила в ней. Хотя конституция в Болгарии и теперь еще часто и грубо нарушается, но все-таки она теперь уже не пустой звук. И выборы хотя и теперь проходят не без нарушения их свободы и фальсификаций, но все-таки они не могут быть названы пустой комедией, и в палате всегда имеется голос

оппозиции.

Чтобы покончить с болгарской поездкой, я скажу несколько слов о Драгоманове. С ним я познакомился и сблизился. Он был тяжело болен, можно сказать – медленно умирал (и действительно, умер в следующем, 1895 г.). Часто я его заставал в постели. Он был профессором истории в университете (тогда называвшемся Высшей школой), но едва ли не половину своих лекций пропускал по болезни. Я был на нескольких его лекциях и нахожу его одним из лучших профессоров, которых мне приходилось когда-либо слышать. При мне он читал конституционную историю Англии, предмет хорошо разработанный и, в частности, мне довольно хорошо известный, и все-таки я слушал его с большим интересом и всегда находил у него много для себя нового, очень интересные сближения и параллели с другими странами. Как собеседник, когда только не был совершенно болен, он был тоже чрезвычайно интересен.

Драгоманов, как известно, считался отцом или одним из отцов украинофильства. Но совершенно несомненно, что к нынешнему украинофильству он отнесся бы без всякой симпатии. Его украинофильство состояло в том, что он любил и ценил малороссийский язык (кстати, вовсе не чурался слова «малороссийский» и выпустил даже «Сборник песен малороссийского народа»[538]), малороссийскую музыку, вообще малороссийскую культуру и дорожил их сохранением и развитием. Он вообще считал, что родной язык тесно связан со всей человеческой психикой и что в нем особенно ярко проявляется индивидуальная особенность национальности. Уничтожение национальных особенностей и в первую голову забвение родного языка было для него обеднением человеческого духа. Позднее я те же идеи читал в посмертной статье Потебни, напечатанной в «Вестнике Европы», помнится, в 1896 г.[539], и слышал от австрийского социал-демократа Пернерсторфера (близкого друга Масарика). Его речи звучали для меня прямым повторением слов Драгоманова, в особенности его речи и о Verarmung des menschlichen Geistes[540] вследствие исчезновения национальностей.

Но при этом Драгоманов очень высоко ценил русскую культуру, русскую литературу и превосходно понимал, что они гораздо выше украинских. Ни в каком случае он не делал отрыва от них языка, литературы и культуры малороссийских. Его украинофильство было демократическим; он был убежден, что, отстаивая права малороссийской культуры, действует в интересах малороссийского крестьянства. Ему не могло бы прийти в голову искать опоры в Польше, потому что в Польше он видел начало

аристократическое. Он горячо упрекал Герцена за поддержку польского восстания[541] как движения антидемократического[542]. Федерация ему представлялась идеальным политическим разрешением украинского вопроса; о малороссийском сепаратизме он говорил с насмешкой. Может быть, потому, что тогда иное разрешение казалось совершенно утопическим? Тогда ведь и поляки в большинстве не шли дальше автономии Польши в рамках русского государства. Не думаю: поляки никогда не дорожили связью с русской культурой, а Драгоманов как раз ею и дорожил, и потому я думаю, что в сепаратистских стремлениях современных украинцев он увидел бы прямо реакцию. По своим социальным стремлениям он называл себя и социалистом, и анархистом-прудонистом[543], но социальные его воззрения были не всегда ясно продуманы. Он весь был в национальном вопросе, который знал превосходно, и в вопросе политическом.

Через четыре месяца пребывания в Болгарии я уехал домой через Белград, Будапешт и Львов, где задержался по несколько дней.

В Волочиске (или, может быть, в Радзивилове, не помню точно), на границе России, я был задержан[544]. Когда таможенный чиновник осматривал обычным образом мои чемоданы, из соседней комнаты, где производилась проверка и запись паспортов, вышел жандармский офицер.

– Где здесь Водовозов?

– Здесь.

– Это ваш багаж?

– Да.

Таможенному было приказано отложить его в сторону, а мне заявлено, что до отхода поезда досмотреть мой багаж не успеют и потому мне придется переночевать. Арестован я не был; мне было предоставлено уйти в гостиницу с тем, чтобы на другой день в определенный час явиться на вокзал для осмотра багажа и допроса. Вечером и утром я свободно гулял по местечку и окрестностям и слежки за собой не заметил, что, конечно, не доказывает, что ее не было.

В назначенный час я явился, и с меня был снят самый тщательный допрос: зачем поехал в Болгарию, где именно был, причем я должен был чуть не по дням сообщить мой маршрут, с кем видался. Скрывать мне было нечего, кроме факта моего близкого знакомства с Драгомановым, но специальный вопрос о нем поставлен мне не был, а сам я, конечно, не имел основания называть его имя. Вещи были досмотрены самым тщательным образом. Несколько болгарских брошюр и коллекция вырезок из болгарских газет остановили внимание жандарма.

– Это я должен отправить в цензуру.

Между тем я ехал не в Петербург или в какой-нибудь большой город, куда я мог бы направить эти произведения; к тому же я знал, что цензура крайне не любит просматривать коллекции старых газет и обыкновенно огулом признает их запрещенными. Здесь это было тем вероятнее, что в подобранных мною газетных вырезках были статьи ярко русофобские, притом обыкновенно написанные в грубом, даже неприличном тоне, вообще принятом в болгарской газетной печати. Поэтому отправка собранного мною материала в цензуру в лучшем случае грозила бы мне не менее неприятными хлопотами для выцарапывания их оттуда, как такие же хлопоты в Константинополе, а в худшем – их потерей.

И я начал убеждать жандарма отдать их мне, так как для него должно быть ясно, что они мне нужны не для преступной пропаганды, а для научной работы: какая же пропаганда возможна в России посредством старых газетных вырезок, да еще и на болгарском языке.

– Не могу; я не знаю болгарского языка. А вместе с тем знаю, что там нас ненавидят, и очень возможно, что тут немало гадостей против нас.

– Совершенно верно, – возразил я. – Но тут немало гадостей и против меня лично. Как вы думаете, возьмет ли кто-нибудь с собой для пропаганды печатные произведения, где его обливают грязью?

– Как так?

– А вот посмотрите. Я вам буду переводить, а вы следите по подлиннику: болгарский язык настолько близок к русскому, что вы сразу поймаете меня на искажении.

Дело в том, что недели за две до моего отъезда в болгарской печати появились цитаты из моих первых корреспонденций в «Русской жизни», не оставлявшие сомнения в моем отношении к болгарским порядкам. Цитаты появлялись в официозном «Свободном слове» (органе нового правительства Стоилова и Радославова), и «Свободное слово» пользовалось ими для своих целей в политике против свергнутого режима. А «Свобода» Стамбулова отвечала целым походом против меня, сопровождая его ругательствами.

Я выбрал одну статью, в которой в комическом виде была изображена моя наружность и заодно я именовался корреспондентом-ремесленником, состоящим на службе у русского правительства, ведущего гробокопательную для Болгарии политику и желающего обратить ее в Задунайскую губернию. Несмотря на не лишенное остроумия описание моей

внешности (в частности, из факта ношения очков и моей сутулости был сделан вывод, что я ничего под ногами не вижу и спотыкаюсь на каждом шагу), статья была больше глупая, чем злобная, потому что для искренней злобы у автора статьи (которого я знал и которого несколько раз весьма дружески угощал в кафе) не было оснований. Я совершенно добросовестно перевел статью жандарму со всеми ругательными по моему адресу и по адресу русского правительства эпитетами. Описание моей наружности ему, видимо, понравилось, – он ухмылялся, стараясь это скрыть.

– Ну, как вы думаете, повезу я такую статью для пропаганды против русского правительства? А эта вот брошюра – смотрите: «Живот на турски народ»[545] Елизаветы Водовозовой, «превел от руски»[546] такой-то[547]. Вы, может быть, знаете книгу моей матери, Елизаветы Николаевны Водовозовой, – это перевод одной ее части. Я везу в подарок моей матери, которая о факте этого перевода ничего не знает. А это вот «Жизнь Данте» Марии Ватсон[548], «превел от руски», – я тоже везу в подарок автору. Ну а это «Хамлет, драма на Вильям Шекспир, превел от руски»[549], – в подарок автору я ее не везу, но купил как курьез: произведение Шекспира, переведенное с русского.

Аргументация подействовала, жандарм пропустил всю кипу, и мы расстались с ним дружелюбно.

Из-за чего был произведен этот допрос и досмотр, я не знаю. Шло ли это из Константинополя от генерального консула или из Болгарии или прямо из Департамента полиции, так как я в разговоре со Зволянским сказал ему, что поеду в Болгарию? В Болгарии мне указывали несколько лиц, которых подозревали в том, что они состоят русскими шпионами, но характера достоверности эти указания не имели.

Из Волочиска я проехал в деревню Полтавской губернии, верст за двадцать от Ромен, где проводили лето в имении знакомых моя мать и В. И. Семевский, и провел у них два дня. Первое поразившее меня тут впечатление было то, что извозчик, который вез меня из Ромен в деревню, говорил со мной по-русски и притом довольно чисто. И потом в деревне многие мужики, с которыми я разговаривал, оказывались тоже владеющими русским языком; по-украински говорили главным образом бабы. Это находилось в резком противоречии с тем консерватизмом украинского языка, на котором так настаивал Драгоманов. В 1902 г. мне пришлось прожить целый месяц в другой деревне той же Полтавской губернии, в Лохвицком уезде[550], и я вновь имел возможность убедиться, что русский язык сделал громадные завоевания и, хотя не является разговорным языком для

населения в своей среде, во всяком случае, вполне понятен всем, а мужская половина (побывавшая в солдатах) может и говорить на нем.

# Глава III. Смерть императора Александра III. – Жизнь в Крыму. – Знакомство с Бердяевым. – Мое поселение в Киеве. – Знакомства в русских и малорусских кружках. – Арест в Австрии в 1897 г. – История «Руси» Гайдебурова. – Арест в Киеве в 1898 г

Следующий год я провел в качестве домашнего учителя в семье Бонч-Осмоловских в Минской губернии[551], но осенью 1894 г. побывал – конечно, с особого разрешения Департамента полиции – в Петербурге.

Как известно, летом 1894 г. император Александр III заболел нефритом и много месяцев боролся со смертью. По каким-то непонятным соображениям факт его болезни скрывался в России. В то время, когда иностранные газеты следили с величайшим интересом за ходом болезни, русские газеты поражали своим вынужденным равнодушием; происходило совершенно то самое, что повторилось через 30 лет, когда умирал Ленин. Но слухи о болезни расходились, и о ней знали все, даже в той глуши, где я жил. Когда в сентябре я приехал в Петербург[552], то, можно сказать, там только об этом и говорили.

Меня поразило, что в тех литературных кругах, в которых я вращался, ожидание близкой смерти Александра наполняло почти всех какой-то непонятной мне радостью. И я не любил Александра III, но я ровно ничего не ожидал от его смерти: наследник был совершенно неизвестен, и не было никаких оснований думать, что при нем произойдут какие-нибудь перемены к лучшему. Особенно радостно ожидали смерти в кружке проф. Н. И. Кареева, а в нем едва ли не всех более радовался проф. И. В. Лучицкий (киевский), в это время находившийся в Петербурге и, кажется, живший у Кареева (или, по крайней мере, постоянно у него бывавший).

– На что вы рассчитываете? – допрашивал я, но сколько-нибудь вразумительного ответа ни от кого не получал.

– Перемена. Обновление. Хоть гірше, та іньше[553], – и тому подобные фразы ничего мне не объясняли.

Очень незадолго до смерти было официально сообщено о тяжелой болезни, и только с этого времени факт перестал быть бессмысленным секретом Полишинеля[554].

Вечером 20 октября пришла телеграмма о смерти и была расклеена по улицам[555]. Весь вечер я бродил по городу, интересуясь тем, какое впечатление произведет известие о смерти на толпу. И видел одно: полнейшее равнодушие. Подойдет человек к телеграмме, прочтет ее и совершенно спокойно продолжает свой путь. Никакого горя на лице не заметно. Подойдут два человека, прочтут, произнесут какую-нибудь ничего не значащую фразу вроде: «Вот как!», «Этого следовало ожидать», и продолжают прерванную беседу. О горе населения не могло быть и речи[556].

В мае 1895 г. мы с женой уехали в Крым и поселились на даче подле Ялты. Вскоре после нас на той же даче в соседних комнатах поселился С. А. Бердяев с семьей, приехавший из Киева. Семья состояла из С. А. Бердяева, его жены Елены Григорьевны и двух мальчиков лет 10 и 8. С ними был и младший брат Сергея Александровича, тогда студент Киевского университета, ныне известный философ, спиритуалист и церковник, Н. А. Бердяев. С ними у меня завязалось тесное знакомство.

Семья была интересная. Старший брат был поэт или, лучше сказать, считал себя таковым, ибо стихи его были из рук вон плохи, так что, читая их в печати, я часто спрашивал себя: да как же их печатают? Лучше, и то не намного, были его революционные стихи, которых печатать было нельзя, но которые он охотно читал знакомым. Это был человек неглупый, довольно много читавший, имевший обширные и очень разнообразные знакомства, довольно интересный собеседник, но человек психически не совсем нормальный[557], причем ненормальность была наследственной: отец его[558] тоже страдал некоторыми проявлениями психоза. Отец был владельцем крупного майората в Западном крае[559], человеком довольно богатым. Сергей Александрович жил на средства отца, от которого он регулярно получал довольно крупные деньги, но вследствие редкой безалаберности, как своей, так и своей жены, постоянно нуждался в деньгах и постоянно просил у всех взаймы. В то время, когда я с ним познакомился, он, однако, еще сохранял привычку отдавать долги; через несколько лет он от нее эмансипировался. Всегда он был крайне неряшливо одет, с протертыми и даже не заштопанными локтями и коленями; руки часто были запачканы чернилами[560].

Ненормальность его сказывалась, во-первых, в крайней раздражительности; противоречить ему было иногда довольно опасно, если не желаешь нарваться на грубый скандал; во-вторых, в болезненной, совершенно бессмысленной лживости. Он любил рассказывать о себе всякие небылицы, как он тонул, как он горел,

и все это сопровождалось совершенно невозможными подробностями. Это не была хлестаковская хвастливость; себя он своими рассказами не возвеличивал, иногда даже напротив. Впоследствии мне передавали, будто однажды он вообразил, что забеременел, и всем говорил:

– Представьте, единственный случай, неизвестный в медицине; я, мужчина, и вот хожу беременный и скоро должен родить.

Сам я от него этого не слышал; не поручусь, что тут на него наклепали, но по характеру его вранья невозможного в этом не вижу. Вранье его было совершенно безвредным и только забавным; никого им он не подводил, ни на кого не клеветал.

Несмотря на эти слабости, он горячо привязывался к людям, с которыми был знаком, и умел привязывать их к себе. Наиболее прочные и горячие дружбы у него завязывались на почве выпивки, – к ней он был очень склонен, но обязательным условием дружеской связи с ним она не была. Я был в хороших отношениях с ним все 9 лет моей жизни в Киеве, он у меня бывал постоянно, хотя я никогда сам не пил и гостей своих не поил.

Политически он был крайним радикалом, с сильным сочувствием к политическому террору. И радикальные стихи его, переполненные кайданами, катами[561] (он любил вставлять в них малороссийские словечки, хотя писал по-русски), кровавой местью и так далее, были очень кровожадны. Последовательностью он, однако, не отличался.

Когда я с ним познакомился, имя его мне ничего не говорило. Но понемногу в душе моей стало всплывать какое-то смутное воспоминание, и, наконец, я его спросил:

– Лет восемь назад в «Наблюдателе» была напечатана поэма «Надсониада»[562] с грубыми нападками чисто личного характера на Надсона. Это не ваша поэма?

Он несколько минут промолчал, глубоко вздохнул и сказал:

– Infandúm, regina, jubés renováre dolórem![563] Увы, это мой тяжкий грех, о котором мне хотелось бы забыть. У меня тогда вышла ссора с Надсоном, некоторые злые друзья воспользовались и натравили меня на него. И результат – подлое стихотворение[564], которое подлец Пятковский[565] поспешил напечатать. Я был бы счастлив, если бы он вернул его мне или, лучше сказать, тем лицам, которые его ему послали. Через два месяца я просил у Надсона прощения. Вскоре после этого я сделал еще одну подлость. Поссорившись с порядочными людьми, я случайно познакомился в Москве с Катковым; он принял меня очень дружески, очень тонко сыграл на моем самолюбии, и я несколько месяцев сотрудничал у него и писал

очень мерзкие вещи.

Все это самооплевание делалось с большою горечью и производило впечатление полной искренности. Конечно, искренности момента, – и я не поручусь, что при известных обстоятельствах он на следующий же день после покаяния не повторил бы того же.

Младший брат, Н. А. Бердяев, был человеком другого типа. Он был красивый молодой человек, с умным лицом, резкий брюнет, несколько франтоватый и, может быть, даже фатоватый. Он был юноша, серьезно занимавшийся философией и политической экономией, со сложившимися убеждениями. В философии он был позитивистом, в экономии – марксистом; его взгляды, хотя и очень тогда распространенные, были серьезно и самостоятельно продуманы, основаны на серьезном изучении и казались очень твердыми (через много лет они радикально поменялись). Хотя Н. Бердяев считал себя позитивистом, но по складу своего ума он был более склонен к отвлеченным умозрениям и предпочитал обосновывать свои взгляды дедуктивным путем, пользуясь историческими фактами только как иллюстрациями для своих готовых положений. Не потому, однако, чтобы он их не знал. Нет, как я уже сказал, он вообще читал много, читал и по истории, а память у него была молодая и свежая. Вести серьезную беседу с ним всегда было очень интересно и полезно, и сближение с ним у меня произошло быстро. Свои мнения он высказывал всегда в очень определенных, ясных, отточенных формулах.

Читая теперь его произведения, в которых он себя заявляет «верным сыном православной церкви», я постоянно вспоминаю один наш разговор, произошедший года через три-четыре после нашего знакомства. Он заявил, что верить в личного бога может только человек или невежественный, или очень ограниченный. Я возмутился этим утверждением и попробовал сослаться на несколько мировых имен, к которым ни тот, ни другой эпитет не применимы.

– Да, это эмпирика. Частными примерами все можно доказать, но они ничего не доказывают. Несомненно, что личный бог противоречит логике[566].

Тяжелая психическая наследственность сказывалась и на Ник[олае] Бердяеве. Сказывалась она в особенных непроизвольных жестах его правой руки, которою он словно ловил невидимых чертей; эти жесты он постоянно производил во время разговора, и сопровождались они нервными подергиваниями и гримасами, сильно портившими его красивое и умное лицо. При этом он часто вынимал из жилетного кармана

маленькое зеркало и наблюдал в него свои гримасы. Нередко бывало и обратно: сперва он начинал любоваться на себя в зеркало, а потом появлялись подергивания и гримасы. Н. А. Бердяев был единственный мне знакомый мужчина, который никогда не разлучался с карманным зеркальцем и постоянно время от времени любовался собою[567].

Жена Сергея Бердяева, конечно, не могла страдать от той же наследственности, но, по-видимому, сожительство с больным мужем, свекром и beau-frère[568] (в Киеве они в первое время жили все вместе) привело к тому, что и она производила впечатление немножко рехнувшейся. Но у нее это сказывалось лишь в крайней нервности, взбалмошности и тому подобных довольно распространенных чертах. Она была очень дружна с Ник[олаем] Бердяевым; впоследствии эта дружба обратилась в связь, и следующий ее ребенок, Тюня, родившийся в 1897 или 1898 г.[569], которого я помню в 1903 или 1904 г. чрезвычайно хорошеньким мальчиком, не проявлявшим никаких черт психического вырождения, был уже от Ник[олая] Бердяева. Связи этой они не скрывали, и о ней знал и с нею примирился и Сергей Бердяев, а она говорила по этому поводу, что она только теперь вполне узнала, какой благородный человек ее муж[570].

Близость с Николаем Бердяевым началась на почве ее интереса к философии. Впрочем, не знаю, философия ли привела к любви или любовь – к увлечению философией, но только Н. Бердяев постоянно говорил с нею о Канте, Гегеле, Спенсере, и она все это терпеливо слушала, читала по его указаниям, сама любила говорить о Гегеле и считала себя знатоком философии. Потом, около 1900 г., когда Бердяев ей изменил и увлекся одной красивой киевской дамой[571], он поступил с Еленой довольно коварно, сказав ей:

– А ведь ты, Елена, в философии понимаешь столько же, сколько свинья в апельсинах.

Эти слова поразили ее в самое сердце гораздо больше, чем факт его измены, и она сама передавала их мне и другим знакомым с глубоким возмущением, взывая к нашему суду. Не знаю, как другие, но я уклонился от произнесения приговора, сославшись на мою полную некомпетентность в философии.

Вырождение семьи Бердяевых странным образом проявилось на старшем сыне Сергея Бердяева, которого звали, помнится, Гришей (а может быть, Сашей; Гришей в таком случае был младший[572]). Он от рождения был совершенно лыс; даже обычной у лысых коронки волос или хотя бы трех бисмарковских волосков[573] на его черепе не было. В 10-летнем мальчике это производило крайне неприятное, отталкивающее впечатление.

Между тем у отца и брата, а особенно у дяди – Ник[олая] Ал[ександровича] Бердяева – шевелюра на голове была пышная. Оба мальчика были болезненно нервными, любившими довольно грубые шалости, склонными к драчливости и малоспособными; учились они до моего отъезда из Киева (в 1904 г.) плохо и вообще были неудачниками. Последующей их судьбы я не знаю.

Бердяевы прожили подле нас в Крыму месяца два и уехали к себе в Киев, где наше знакомство возобновилось после моего переселения туда.

Гуляя по берегу моря, я постоянно думал: вот там, на юге – Константинополь, а там, на западе – Болгария. Совсем близехонько. Хорошо бы съездить!

Летом пришло известие об убийстве Стамбулова. Мне очень захотелось посмотреть, как к этому зверскому и бессмысленному убийству человека уже падшего отнесутся мои болгарские знакомые, и я подал прошение о выдаче мне заграничного паспорта[574].

Местный исправник должен был выдать обычное полицейское удостоверение о неимении препятствий. Но исправник был в отпуску, и помощник заявил, что он в отсутствие исправника удостоверение не выдаст; нужно подождать две недели. Я никогда раньше не слыхал о возможности таких нелепых препятствий, как отпуск исправника, и думал, что по такой причине государственное учреждение не может прекращать своего функционирования, но пришлось убедиться в противном. Через две недели исправник продлил свой отпуск; не зная, когда этому будет конец, я уехал в Севастополь (составлявший особое градоначальство[575]) и там при помощи найденной протекции в несколько дней выхлопотал паспорт.

Эта моя поездка продолжалась всего 3 недели[576], и говорить о ней я не стану; ничего существенно нового после первой она мне не дала.

В декабре месяце я оставался еще в Крыму и не знал, что мне делать. Неожиданно получил письмо от Ник[олая] Бердяева. Он сообщил мне, что газета «Киевское слово», принадлежавшая Афиногену Антоновичу (тогда товарищу министра финансов Витте), взята в аренду киевским типографом и издателем Кульженко[577]; он, Бердяев, говорил с Кульженко обо мне как о специалисте по вопросам иностранной политики, и Кульженко через него предлагает мне заведование иностранным отделом на жалованье 160 рублей в месяц. Я принял предложение и 30 декабря [1895 г.] был уже в Киеве, чтобы с нового года начать работу.

Таким образом, для меня начался новый период жизни,

киевский, затянувшийся на целых 9 лет. Работа в «Киевском слове» оказалась очень неудачной: я попал в самую гущу редакционных раздоров[578]; наладить редакцию не удалось, и обескураженный Кульженко ровно через месяц, пользуясь соответственным пунктом договора с Антоновичем, отказался от газеты. Она вернулась в распоряжение Антоновича, и ее редактором[579] сделался Гаккебуш (впоследствии редактор «Биржевых ведомостей»), который из газеты сделал один сплошной и крайне пошлый фельетон[580]. Мне Кульженко уплатил жалованье за три месяца, на что я не рассчитывал, так как какой бы то ни было неустойки у нас договорено не было.

Вскоре после этого по ходатайству Литературного фонда[581] я был подведен под коронационную амнистию[582] и таким образом с лета 1896 г. имел право въезда в столицы[583]. На жену мою амнистия распространена не была, и мы решили остаться в Киеве на неопределенный срок.

С уходом из «Киевского слова» я остался на мели, с одною постоянной работой для Энциклопедического словаря и случайной для петербургских журналов; вести эту работу в Киеве было, конечно, удобнее, чем в деревне Минской губернии или в Крыму. Вместе с тем в Киеве у меня завязались большие знакомства в разнообразных кружках интеллигенции, студенчества, а позднее (после 1898 г.) и рабочих. Знакомства и связи мои были главным образом в среде русской, но благодаря моей близости с Драгомановым – отчасти и в украинской.

В русской среде у меня завязались связи с кружком И. В. Лучицкого[584] (умер в 1918 г.), в который входили Н. П. Василенко, Л. С. Личков, Науменко (расстрелян большевиками в 1918 г.[585]), Е. В. Тарле. С этим кружком, впрочем, первоначально я столкнулся враждебно, так как он как раз перед моим приездом в Киев разошелся с Кульженко и был очень недоволен моим вступлением в газету. Но потом раздражение улеглось, и у меня с ними, особенно с Василенко и Тарле, образовались отношения очень дружеские. В 1903 г. я вместе почти со всеми ними оказался в рядах Союза освобождения[586], а в 1904 г. вместе с ними входил в редакцию газеты «Киевские отклики».

В 1896 или 1897 г. я познакомился и скоро подружился с даровитым М. Б. Ратнером, тогда еще студентом, скоро (еще на студенческой скамье) ставшим постоянным сотрудником «Русского богатства» по экономическим вопросам (умер в эмиграции в Бухаресте в 1915 или 1916 г.)[587].

Несмотря на уход из «Киевского слова», у меня остались самые теплые отношения с его издателем, точнее с сыном издателя, фактически заведовавшим газетой, В. С. Кульженко.

В малороссийской среде я в Киеве возобновил знакомство с Ларисой Косач, известной в украинской литературе под псевдонимом Леси Украинки, а через нее – с ее матерью, Ольгой Косач, писавшей под псевдонимом Олёны Пчилки, с украинским писателем и актером Старицким и бесчисленным количеством его дочек, из которых значительная часть тоже выступала в литературе.

Лариса Косач была племянницей Драгоманова, и во время моего пребывания в Болгарии она гостила у своего дяди. Это была очень болезненная, с пергаментно-желтым лицом, слегка хромая (ходила с костылем или палкой), совсем некрасивая, очень неглупая и симпатичная девушка лет 22–23[588]. Уже в это время она пользовалась некоторой известностью как талантливая украинская поэтесса и переводчица на украинский язык Гейне и русских поэтов, но ни она сама, ни ее дядя мне об этом ничего не сказали, и я сам, до тех пор за малороссийской литературой не следивший, узнал об этом только в Киеве.

В конце 90-х или начале 900-х годов Лариса Косач пережила тяжелую драму. На киевском горизонте появился один молодой человек, фамилию которого я забыл. Только что кончивший университет, социал-демократ по убеждениям, молодой, краснощекий, редкий красавец, очень симпатичный, кумир барышень, он приехал в Киев на время, познакомился с Ларисой Косач, и через поразительно короткий промежуток времени стало известно, что они жених и невеста. Он уехал женихом. Прошло месяца два, и вдруг пришло известие, что он заболел скоротечной чахоткой, а еще месяца через два его не стало[589]. Ларису Косач это страшно поразило и придавило. Но жила она еще долго и умерла, кажется, только во время войны[590].

В лице двух Косач я познакомился с двумя резко противоположными направлениями украинской политической мысли.

Дочь, Лариса, была последовательницей своего дяди. Хотя в своем псевдониме она как бы подчеркнула свой национализм, но в действительности украинской националисткой в тесном и узком смысле слова она не была. Напротив, она, как и ее дядя, горячо любила русскую литературу, переводила русских поэтов, с русскими говорила по-русски и связывала украинское национальное движение с освободительным движением в России.

Для ее матери, сестры Драгоманова, напротив, вся суть была в украинском языке независимо от того, что на нем говорится. Она притворялась, что не знает русского языка, и говорила со всеми не иначе как по-украински. Гоголь и Короленко, писавшие по-русски, были в ее глазах изменниками своему народу, русская

литература – вообще нечто чуждое и малоинтересное. Иметь возможность прочитать публично какое-нибудь невинное стихотворение на украинском языке для нее было победой, торжеством, и на всякое соглашение с властью ради этой цели она шла. Ради этого стоило пожертвовать содержанием того же стихотворения и выкинуть из него строфу, в которой можно заподозрить протест. В Киеве существовало Киевское литературно-артистическое общество[591]. Группа его членов, и я в том числе, стремилась использовать сравнительно свободные собрания этого общества для докладов с политическим содержанием – и в значительной степени успевала в этом (об этом я буду говорить ниже). В лице О. Косач мы встречали наиболее решительных врагов, упорно стоявших на страже политической благонамеренности общества. Она всегда ратовала за избрание сменявшихся генерал-губернаторов почетными членами общества, за поднесение им угодливых адресов. Под каким-то заявлением, имевшим неприемлемое для меня содержание (не помню, что это было за заявление), она однажды подписала, не спросясь, имя дочери, а дочь вызвала некоторый скандал, вычеркнув его.

Я говорю о Косач не потому, чтобы она была лидером этого течения; нет, она играла в нем второстепенную роль; значительнее была роль Старицкого, но я больше сталкивался с нею и лучше ее знаю.

Под конец моего пребывания в Киеве туда приехала также вдова Драгоманова[592], но я с нею встречался очень редко и только случайно.

Условия литературной работы в Киеве были, конечно, хуже, чем могли бы быть в Петербурге: и библиотеки не так богаты, и сношения с редакциями изданий, в которых я работал, затруднительны. Но в одном отношении работа в Киеве была мне более облегчена, чем это могло бы быть даже в Петербурге, и это происходило благодаря одному курьезному обстоятельству.

Как я уже сказал, С. А. Бердяев умел сблизиться на почве выпивки. Одним из его ближайших друзей на этой почве был киевский цензор Мардарьев, и этот Мардарьев охотно пропускал для Бердяева запретные иностранные и даже русские книги. Бердяев, вообще любивший читать и, в частности, с интересом следивший за социалистической литературой, не имел, однако, денег, чтобы выписывать ее. Но у меня (хотя и гораздо менее состоятельного, чем Бердяев) деньги на выписку книг, интересовавших меня, всегда бывали, и я все время, пока Мардарьев оставался в Киеве, помнится, до 1903 г.[593], систематически получал через него выписываемые мною «Neue

Zeit», «Sozialistische Monatshefte», «Mouvement Socialiste» (выходившее с 1899 г. под редакцией моего хорошего знакомого H. Lagardelle); приобрел собрание сочинений Герцена[594] и некоторые другие русские книги, хотя их Мардарьев передавал менее охотно. Впоследствии Мардарьев поместил в «Голосе минувшего» воспоминания о своей цензорской деятельности. В них он с возмущением сообщает, что был уволен, помнится, со службы уже в Одессе по ложному обвинению в распространении запретной литературы[595]. Увы! Я могу засвидетельствовать, что по крайней мере в Киеве такое обвинение не было бы ложным. К счастью, я могу не считать себя ответственным за потерю им места.

Никакой деятельности, которую хотя бы с натяжкой можно назвать политической, у меня в первые два года киевской жизни не было. Я занимался литературным трудом, главным образом в петербургских изданиях. Впрочем, по предложению будущего кружка освобожденцев (Дм[итрия] Ив[ановича] Шаховского, Петрункевичей[596] и др.), в 1897 г. я написал книжку по истории русской цензуры при Александре III и в первые годы Николая II. Написал я ее в Петербурге в один из моих приездов туда. Она была выпущена в свет (конечно, анонимно) в Женеве в 1898 г. под названием «Материалы для характеристики положения печати в России»[597]. Революционной эта книжка не была, но – только запрещенной (и экземпляр ее я выписал тоже через Бердяева и Мардарьева), и написание ее ни с точки зрения закона, ни даже с точки зрения установившейся полицейской практики вряд ли могло считаться преступным.

Отсутствие какой бы то ни было нелегальной деятельности не помешало мне подвергнуться в 1898 г. совсем непредвиденному аресту.

Но еще более непредвиденному аресту за год перед тем я подвергся в Австрии.

Весной 1897 г. в Австрии происходили выборы в рейхсрат, в первый раз на основе нового закона, создавшего в дополнение к прежним четырем привилегированным избирательным куриям пятую, курию всеобщего голосования[598]. Для начала я решил остановиться в Галиции, интерес к которой у меня пробудился под влиянием Драгоманова и украинских знакомств. Я получил не только простые рекомендательные письма к наиболее видным политическим деятелям Галиции, но [и] деловые поручения и деньги, которые я должен был передать им. Таким образом, я мог рассчитывать быть принятым как свой человек. Огорчало меня только то, что все это были люди одного политического направления, именно – украинско-радикального, а я во время

своих заграничных поездок всегда стремился возможно близко знакомиться с людьми всех направлений. Запасся я и корреспондентской карточкой от газеты «Русь».

К сожалению, вследствие различных обстоятельств я сильно оттянул свою поездку[599] и попал во Львов только за неделю до дня выборов по пятой курии (по другим куриям выборы должны были происходить позднее). По приезде во Львов я побывал у Ив[ана] Франко (очень талантливого украинского писателя, вождя галицийской радикальной партии[600], выступавшего на выборах кандидатом по пятой курии). Застал я его больным, в постели. Побывал у других деятелей, походил на митинги.

В день выборов жена Франко[601] отправилась в объезд по избирательному округу, в котором выступал ее муж; я отправился с нею.

Мы останавливались – от поезда до поезда – в нескольких городах (Самбор и др.) и деревнях восточной Галиции и к вечеру прибыли в Перемышль; госпожа Франко с ночным поездом уехала домой, во Львов, а я остался на ночь в Перемышле с тем, чтобы утром повидаться кое с кем из местных жителей.

В местах наших остановок, и в Перемышле в том числе, я успел видеть достаточно, чтобы оценить австрийские (или, точнее, галицийские, ибо в остальной Австрии дело обстояло иначе) выборные порядки.

Избирательное помещение. У входа – жандарм с обнаженной шашкой[602]. Подходит избиратель.

– Легитимация! (То есть удостоверение в праве участия в выборах.)

– Вот она.

– Карта! (То есть избирательный бюллетень.)

– Я ее опущу в урну.

– Карта!

– Я ее опущу в урну.

Жандарм хватает избирателя, дает ему здоровый тумак, и избиратель кубарем катится с лестницы.

Я собственными глазами видел такую сцену, и даже несколько раз. В других случаях избиратель покорно протягивал жандарму избирательный бюллетень, тот его разворачивал, читал и только тогда пропускал избирателя. Между тем выборы по закону были тайными. Я делал попытки пройти в самое избирательное помещение (что в Германии допускалось свободно), для этого посылал свою корреспондентскую карточку председателю бюро, но через жандарма получал ответ:

– Не велено войти!

Одним словом, порядки, стоившие болгарских в

стамбуловскую эпоху. Естественно, что Франко оказался забаллотированным[603].

По приезде в Перемышль и окончании избирательной процедуры я имел поразительную, меня самого потом изумившую наивность послать в «Русь» телеграмму о том, что я видел, причем составил телеграмму довольно полно и определенно. Это было тем наивнее, что Перемышль – военная крепость. Во Львове такая телеграмма, может быть, прошла бы безнаказанно. Результат не заставил себя ждать.

На следующее утро в гостинице мне заявили, что за паспортом я должен сам сходить в полицию. Я сразу почувствовал нечто неладное, но пошел. В полиции меня заставили раздеться догола, подвергли самому детальному, в высшей степени оскорбительному обыску, нашли дыру в подкладке пальто и спрашивали, что там было спрятано; затем учинили допрос, причем я видел, что за мной следили с самого выезда из Львова, если не раньше; после допроса посадили в «separatka»[604] № такой-то при полиции. Это была довольно большая, но крайне грязная комната, с отвратительно грязной кроватью, на которую лечь было противно, и столом; стула и другой мебели не было; самое скверное было, однако, то, что окно было разбито, а на дворе было самое начало марта, и погода стояла очень холодная. Затопили печку, но из трубы пошел такой страшный дым, что я просил не топить и предпочел выносить холод. В этой сепаратке я провел два дня и две ночи. Обед мне носили из гостиницы (за деньги, конечно), приносили его простывшим. Вообще условия заключения были очень неприятными, более неприятными, чем знакомые мне по опыту, тогдашнему или позднейшему, в царской России. Этим я не хочу сказать, что в провинциальной России, а особенно в Сибири, не бывало худших; я говорю только то, что лично я подобных условий в России до революции 1917 г. не переносил.

Через два дня мне объявили постановление: высылка навсегда из Австрийской империи под угрозой полугодичной тюрьмы за приезд в нее, и с жандармом проводили на русскую границу. Мне хотелось продолжать свою заграничную поездку, и потому я просил, чтобы меня отправили на какую-нибудь другую границу: германскую, сербскую или румынскую, но мне было в этом отказано на том основании, что высылка всегда проводится на ближайшую границу[605]. Таким образом, вся моя заграничная поездка продолжалась 10 дней и оказалась довольно бесплодной.

Я, однако, успел во время пребывания во Львове написать две корреспонденции в «Русь» и потом по возвращении в Киев[606] третью, в которой я описал свое приключение в Перемышле.

Телеграмма, к моему удивлению, тоже была послана и напечатана полностью. Но тут явился некоторый эпилог.

«Русь», в которой я писал, была не та «Русь», которую в начале 900-х годов издавал А. А. Суворин. Это была газета, основанная в 1897 г. В. П. Гайдебуровым, сыном незадолго перед тем умершего редактора «Недели»[607]. Этот молодой человек, совершенно неопытный в газетном деле (при жизни отца он в «Неделе» никакого участия не принимал), но очень самоуверенный, унаследовав от отца «Неделю» и довольно крупные деньги, решил их истратить на газетное предприятие, уверенный, что судьба ему уготовила успех и славу. Он приобрел уже существовавшую, издававшуюся присяжным поверенным Кремлевым, небольшую газету «Русь» и подал прошение об утверждении нового редактора.

Момент был исключительно неблагоприятный. Положение печати, всегда в России скверное, было еще более тяжелым, чем шестью месяцами раньше или несколькими годами позже; объяснялось это не каким-нибудь общим ухудшением политического положения, а, может быть, обстоятельством личным, более или менее случайным: незадолго перед тем, летом 1896 г., главноуправляющим по делам печати вместо ушедшего Феоктистова был назначен М. П. (в инициалах не уверен) Соловьев, человек совершенно дикий. Ему приписывали фразу, что он будет не главноуправляющим по делам печати, а главноуправляющим печатью. Была ли сказана эта фраза или нет, я не знаю, – весьма вероятно, что нет, слишком она хороша, – но вел он себя так, что вполне ее оправдывал. Он действительно поставил себе ту цель, которую ставил цензуре один из старинных цензурных уставов (не то 1826-го, не то 1828 г.), а именно: не только устранять из оборота произведения вредные, но [и] доставлять произведения полезные (с правительственной точки зрения)[608]. Потому он ввел систему навязывания газетам и журналам, под страхом запрещения или других репрессий, своих редакторов.

Он навязал Гайдебурову в качестве редактора некоего Драгомирецкого. Гайдебуров совершенно не знал Драгомирецкого. При таких условиях на подобное требование ни в каком случае соглашаться не следовало и лучше было вовсе отказаться от газеты. Но Гайдебурову очень хотелось иметь свою газету, и, поговорив с Драгомирецким, он столковался с ним на таких условиях: Драгомирецкий за довольно хорошее жалованье будет редактором ответственным; ему предоставляется право veto[609] на статьи, по его мнению, опасные в цензурном отношении, но вмешиваться в редакцию он не будет, и

действительным редактором будет Гайдебуров.

Драгомирецкий был галичанин, в Галиции принадлежавший к партии крайних реакционных русофилов[610] (Наумовича, Маркова). В России он служил по Министерству внутренних дел и, говорят, был близок к Департаменту полиции. Во всяком случае, он был человеком Соловьева и выражал его взгляды.

Удовлетвориться фиктивной ролью в редакции он не мог. С первого же дня или, лучше сказать, ночи он начал появляться в типографии, вычеркивая и, что еще хуже, вставляя в газету свое. При всей неясности политического миросозерцания Гайдебурова он был либерал и прогрессист; Драгомирецкий – консерватор или даже реакционер, но главным образом крайний националист, полонофоб и антисемит. Совершенно естественно, что с самого начала между ними выходили острые конфликты. Первое время дело кончалось компромиссами, и я, следивший за газетой, живя в Киеве, и не знавший всей закулисной стороны дела, хотя далеко не вполне был доволен газетой, но счел себя вправе ехать с корреспондентской карточкой, полученной от нее.

Но когда я ознакомился со своими корреспонденциями в том виде, как они были напечатаны, я был возмущен. Особенно возмутительна была последняя корреспонденция о моем аресте. Не только некоторые места из них были выкинуты, но [и], что гораздо хуже, в них были вставлены целые абзацы, придававшие им не тот смысл, какой они имели в рукописи. Они были усеяны выходками против поляков в самом скверном националистическом тоне, который мне был всегда чужд. Я потребовал, чтобы «Русь» напечатала мое письмо с протестом против искажения моих статей, и, несмотря на нежелание Драгомирецкого, Гайдебуров настоял на его напечатании. Кроме того, я напечатал историю своего ареста в первоначальном виде в журнале «Новое слово» (Струве)[611]. От какого бы то ни было сотрудничества в «Руси» я отказался. Но и «Русь» недолго просуществовала: просадив на нее свой капитал, не имея возможности согласиться с Драгомирецким, Гайдебуров сам прекратил свою газету, не имевшую ни малейшего успеха[612] [613].

Из Галиции я вернулся в Киев и следующий год прожил там, только раз или два съездив на короткое время в Петербург.

В 1898 г. летом предстояли выборы в германский рейхстаг, а затем – в прусский ландтаг[614], и я собирался туда ехать заблаговременно. Отъезд был назначен на конец марта. Но опять-таки предположениям моим не суждено было осуществиться.

В ночь на 12 марта нас разбудил резкий звонок. Я вскочил.

– Кто там?

– Телеграмма.

Я открыл дверь. Вошли жандармы, несколько полицейских.

Обыск тянулся часа два и, следовательно, был довольно поверхностным. Ничего серьезного не нашли[615], забрали только мою пишущую машинку. Забрано было и довольно много рукописей, которые потом были мне возвращены (месяца через три). Мне и моей жене было заявлено, что мы арестованы.

– А теперь мы пойдем к вашему жильцу.

(В это время из трех комнат нашей квартиры одну мы сдавали студенту Вержбицкому[616].)

На двух извозчиках, отдельно друг от друга, в сопровождении городовых мы были увезены. Привезли нас в тюрьму, находившуюся на окраине города в Лукьяновской части.

Было часов 6 утра, светало, и, подъезжая к ней, мы могли увидеть, что наш арест не индивидуальный: навстречу нам возвращались из тюрьмы порожняком извозчик за извозчиком, несколько пустых извозчиков стояло у ворот тюрьмы; в тюремной конторе мы увидели несколько человек, очевидно тоже только что арестованных. После обычного опроса в тюремной конторе нас развели в разные стороны, жену – в женское, меня – в мужское отделение.

На этот раз мы оба попали не в одиночное заключение, хорошо нам знакомое, а в общее, до тех пор мне не известное. В течение дня меня несколько раз переводили из камеры в камеру, я встречался в них все с новыми и новыми людьми и, наконец, часам к 6 вечера очутился в большой камере, где было человек 40 арестантов. Среди них я нашел Николая Бердяева, нашего жильца Вержбицкого, моего соседа Эвенсона, некоторых других знакомых и еще больше незнакомых, с которыми, конечно, тут же познакомился.

Главные причины моего личного ареста сразу объяснились, а другие обстоятельства выяснились потом.

Это были массовые аресты в одну ночь. Такие аресты довольно часто производились в 70-е годы, но в это время они вышли из обыкновения. Их идею воскресил киевский жандармский генерал, знаменитый в то время Василий Дементьевич Новицкий. Идея довольно простая: захватить сразу всех людей, сколько-нибудь подозрительных, пощупать их, – наверное, что-нибудь выловится. А там большую часть можно будет выпустить; что за беда, что некоторые посидят недельку совершенно невинно? Если для них, даже в силу каких бы то ни было привходящих обстоятельств, этот арест окажется тяжелой драмой, то чем не пожертвуешь для пользы государства! Тем более что для Новицкого эти аресты драмой ни в каком случае не будут[617].

В частности, для меня этот арест при всей его кратковременности и с полицейской точки зрения безрезультативности если и не был настоящей драмой, то все же повлек за собой серьезные неприятности.

Я только что взялся вести иностранное обозрение в «Журнале для всех» Миролюбова и почти закончил для него свою первую статью, которая так и не попала в печать, причем Миролюбов, не получая от меня известий и ответа на свои телеграммы, поручил ведение отдела другому лицу; у меня было написано довольно много статей для Энциклопедического словаря, которые я кончил, чтобы отправить сразу. Когда они были мне возвращены, было уже поздно, и непредставление мною заказанных статей вызвало совершенно законное недовольство в Словаре. По моему расчету, я на непредставленных мною законченных или почти законченных статьях потерял свыше 200 рублей гонорара, помимо того, что совершенно потерял работу в «Журнале для всех». А сверх того должен был отложить поездку за границу и ради нее, как сейчас расскажу, совершить в то время ненужную мне поездку в Петербург.

Идея таких массовых арестов теперь была применена в первый раз. Арестовано было свыше 120 человек[618], а кроме того, обыскано (без ареста) еще несколько десятков.

Одним из поводов к арестам, может быть – главным поводом, был состоявшийся незадолго перед тем в Минске первый социал-демократический съезд, на котором была основана социал-демократическая партия[619]. На съезде был шпион, все или почти все участники его были выяснены и прослежены[620]. Киевлян на съезде было несколько человек (Теслер, Тучапский, Эйдельман и другие)[621]; они, конечно, попали в число захваченных. Но сеть Новицкого была раскинута гораздо шире, и в числе захваченных оказалось множество лиц, совершенно к съезду и даже к социал-демократической партии не причастных. Между прочим, со мной в камере сидел один малоразвитой рабочий, совершенно еще не тронутый никакой пропагандой, сохранивший в полной чистоте девственную веру в царя.

– Скажите, пожалуйста, как царь терпит все это? Неужели никак нельзя довести до его сведения обо всем этом? – с горечью спрашивал он меня.

Конечно, тюрьма оказалась для него не бесполезной школой, хотя дней через десять он был уже выпущен.

Лично мы с женой попали в сеть Новицкого по следующей причине.

Месяца за два до этой роковой ночи в Киеве появился из-за границы социал-демократ Теслер. Приехал он с задачей

организовать социал-демократическую партию. Он был на Минском съезде, – чуть ли даже не по его инициативе этот съезд был созван; в Киеве вел энергичную партийную работу[622].

В числе лиц, вовлеченных им в партию, был и наш жилец, студент Вержбицкий[623].

Я жил тогда в небольшом двухэтажном деревянном домике, стоявшем в глубине громадного, более чем в десятину[624], совершенно пустого сада[625]; в то время такие сады были не очень большой редкостью и даже не удорожали квартир (я за свою квартиру в три комнаты с верандой платил всего 27 рублей в месяц). Квартиру в нижнем этаже занимали мы, а одну комнату у нас снимал Вержбицкий. У нас была прислуга, но она жила в кухне, в отдельном флигеле. Верхний этаж занимала еврейская семья Эвенсон.

Эвенсон был типичный интеллигентный (или даже полуинтеллигентный) киевский еврей. Интеллигентности его хватало на то, чтобы плохо переводить с немецкого то повести, то статьи для издателей дешевых книжонок, плативших за работу гроши; сверх того он занимался самыми разнообразными делами[626]. Жена его тоже сменяла разные профессии; в это время, кажется, служила корректоршей в типографии. У них было множество детей, числа которых я определить не могу, от года до лет 12–13. Прислуги они не держали. Политике оба были чужды, хотя госпожа Эвенсон приходилась не то сестрой, не то кузиной известному революционеру Минору.

И вот в нашей избушке на курьих ножках появился Теслер. Он бывал у Вержбицкого – и только у него. Ни мы с женой, ни тем более Эвенсон не имели о нем никакого представления и не знали его ни по фамилии, ни в лицо. Теслер впоследствии рассказывал, что в нашем саду он несколько раз встречал шпиона и одного будто бы даже поколотил, потому что у него при виде шпиона, по его словам, всегда чесались руки. Я склонен думать, что этот рассказ – простая выдумка, потому что Теслер не был лишен некоторых черт Хлестакова. Привел ли шпиона в наш сад он или у нас был свой собственный, я не знаю; думаю, что первое предположение ближе к истине. Как бы то ни было, Теслера выследили, но наш или его шпион был, очевидно, не на высоте своей задачи и не сумел выяснить даже того, к кому именно в нашем небольшом домике ходит Теслер.

Нетрудно понять, как решил эту задачу Новицкий. С полной логичностью он постановил: арестовать все взрослое население дома. Кухарку Водовозовых не трогать, ибо она живет в отдельном флигеле.

Я уже рассказал, какую цену заплатил за это решение задачи.

Эвенсонам далось оно тоже не даром. К ним полиция пришла уже под утро и после ареста забрала обоих.

– А как же дети?

– А нам что за дело?

И вот мать должна была оставить эту свору рыдающих детей на произвол судьбы. На беду, у них в этот день, как, впрочем, почти всегда, не было ни копейки денег, которые они могли бы оставить детям. Дав какие возможно инструкции детям, направив их к каким-то родственникам, они уложили, что было нужно для тюрьмы, и уехали или, точнее, были увезены, как и мы, на двух извозчиках отдельно друг от друга.

Когда Эвенсона вели в ту же камеру, где был и я, я был поражен его видом. Он был бледен как мертвец и совершенно пришиблен; почти не мог говорить и ничего не понимал. Его жена очутилась вместе с моей женой и была немного в лучшем состоянии. Ее, впрочем, освободили в тот же день. Эвенсона освободили вместе со мной через 10 дней[627].

В числе арестованных, кроме сидевших в моей камере, были первые деятели социал-демократической партии в России Теслер[628], Тучапский, Эйдельман, Константин Прокофьевич Василенко[629] (брат[630] Николая Василенко) и другие, но в тюрьме их я не встречал, так как они сидели в одиночных камерах.

Виновником нашего и эвенсоновского ареста, как я уже сказал, был Теслер. Но вина его состояла здесь только в неосторожности и ни для кого не повлекла за собой особенно тяжких последствий. Других он погубил тоже по неосторожности. А в одном случае он принес большой вред человеку, причем вину его нужно квалифицировать словом гораздо более сильным. Это произошло следующим образом.

По приезде в Киев Теслер остановился у Всеволода Лопатина, с дочерью которого Ниной был дружески знаком в Швейцарии. Всеволод Лопатин – брат известного шлиссельбуржца Германа Лопатина, инженер, служивший на Юго-Западной железной дороге[631]. Сам он активно в революционном движении не участвовал, но всегда был готов оказать услугу революционерам и потому охотно предложил Теслеру свое гостеприимство. Вскоре после приезда Теслера в Киев Лопатин вместе с дочерью уехал на время в Петербург, а перед отъездом поставил Теслеру одно условие: никакой нелегальщины не держать в других комнатах, кроме своей. Теслер же, оставшись в квартире один, снес прежде всего всю свою нелегальщину в кабинет Лопатина. Там она и была найдена. В результате Лопатин был обыскан в Петербурге, а в Киеве уволен со службы[632]. Правда, как очень талантливый инженер, он скоро нашел себе другую службу, в Вильне.

Лопатин говорил, что если бы он не имел самых хороших отзывов о Теслере от заслуживающих доверия людей, то счел бы его за провокатора. И действительно, несмотря на этот поступок Теслера, никто в провокаторстве его не заподозривал и даже какому-нибудь моральному осуждению со стороны партии он не подвергся. Отчасти это объясняется тем, что он мужественно вел себя на допросах, брал все что можно на себя и в конце концов был сослан в Восточную Сибирь. Дальнейшей его судьбы я не знаю.

Для меня началась тюремная жизнь, к счастью продолжавшаяся недолго. Первый день остался особенно в памяти не только в силу естественного обилия новых впечатлений, но и вследствие сильного голода, который я чувствовал. Увезли нас из дому, почему-то не позволив нам напиться чаю, и весь первый день переводили из камеры в камеру, не давая ни обеда, ни чая. Только под самый вечер, устроив нас окончательно в определенной камере, нам принесли громадный, давно не луженный котел с трубой для угольев, долженствовавший служить нам самоваром, и мы могли напиться чаю с хлебом, а с едой мы устроились только на следующий день. То же самое было и на женской половине.

Как я уже сказал, в нашей камере я встретил хорошего знакомого – Н. А. Бердяева[633]. Первые его слова ко мне были:

– Представьте, со мной какое несчастье: я не захватил своего зеркальца. Совсем не знаю, как мне быть.

Дружный веселый хохот был ответом на это трагическое сообщение, в камере зеркальце у кого-то нашлось, и оно было подарено Бердяеву, за что Бердяев был очень благодарен.

В литературе считается более или менее общепринятым, что одиночное заключение тяжелее общего[634]. И не только в литературе; таким его считает и законодательство. Но это мнение совершенно неправильно, или, по крайней мере, к нему нужно внести известные поправки.

В первые дни заключения, особенно когда не знаешь, чем объясняется арест, одиночество действительно очень тягостно. Напротив, в общем заключении обыкновенно очень быстро получаешь информацию, которая уясняет и причины ареста, и степень его серьезности, и угрожающие последствия. Но если даже информироваться не удается или если результаты информации неутешительны, то все же общение с товарищами по несчастью поддерживает бодрость духа, дает возможность пользоваться их советами и опытностью, сообща вырабатывать приемы самозащиты и борьбы с тюремным начальством за скромные права и льготы заключенного.

В первое же утро, когда из тюремной конторы меня вели в тюремную камеру, со мной вели еще какого-то очень юного студентика. Мое настроение было тяжелое, но студентик был совершенно пришиблен. И я, постаравшись взять себя в руки, сказал ему:

– Молодой человек, что это вы нос повесили? Как вам не стыдно! С кем этого не случалось, – тюремную повинность надо же отбыть.

И молодой человек быстро выпрямился.

– Нет, я что же, я ничего.

И явно приободрился. Но и на меня самого мои собственные слова подействовали ободряющим образом. Так действует общение с товарищами в тюрьме в первые дни. Но очень скоро начинаешь чувствовать ужас положения: вечно на людях, ни одной минуты не остаешься один, вне контроля других людей. Вечный шум, не дающий возможности углубиться в чтение. А если при этом хоть кого-нибудь подозреваешь в шпионстве или хотя бы в недостатке мужества и способности по слабости разболтать на допросе, то общее заключение делается ужасным и об одиночном начинаешь мечтать чуть не как о высшем счастье. Довольный в первые дни общением с товарищами, я уже с пятого или шестого дня стал томиться им и подумывал проситься в одиночку.

Много времени спустя, в темную декабрьскую ночь 1915 г., я был арестован в Петербурге[635]. В конторе Дома предварительного заключения я встретился с В. А. Мякотиным, Л. М. Брамсоном и другими, арестованными в ту же ночь. Мест в одиночных камерах не хватало, и нас рассаживали попарно. Я помню то негодование и почти ужас, с каким Мякотин тут же сказал: «Нас, кажется, будут сажать не по одиночке!» В ту минуту я этого ужаса и негодования еще не испытывал.

Как я уже сказал, нас было человек 40. Камера, хотя и большая, для такой оравы была тесна; на нарах места хватило только половине, а другая половина должна была спать на полу, на соломенных мешках; я с Бердяевым, приведенные в камеру позже других, принадлежали к этой второй половине. Но на следующий же день два рабочих любезно предложили нам свои места на нарах. Кормили нас плохо, но можно было приобрести продукты на свой счет. Выпускали на прогулку в тюремном дворе тоже сообща. Было несколько книг, взятых разными лицами с собой и пропущенных в камеру, но читать было трудно вследствие шума. Иногда, впрочем, устраивались чтения вслух.

На 8-й или 9-й день к нам заявился тогдашний киевский генерал-губернатор Драгомиров в сопровождении Новицкого.

Тюремное начальство разделило нас на интеллигентов и рабочих и расставило двумя отрядами. Драгомиров подходил по очереди к каждому, сперва – к интеллигентам, потом – к рабочим, и задавал формальные вопросы: фамилия, занятие, происхождение; у евреев спрашивал:

– Еврей?

К интеллигентам обращался на «вы», к рабочим – на «ты». И рабочие это вынесли без протеста, который, конечно, был бы поддержан нами.

Иногда Новицкий делал свои дополнения в таком роде: «уже много раз попадался» и тому подобные. Мне Новицкий сказал:

– Нам с вами, господин Водовозов, надо выйти из дела.

Хотя фраза и не совсем ясная, но и я, и мои товарищи истолковали ее (и, как оказалось, правильно) в смысле скорого освобождения.

Действительно, через день или два, в общем – на десятый день заключения, явился в камеру кто-то из начальства и заявил:

– Водовозов, Эвенсон, такие-то и такие-то, – всего человек 6 или 7, – собирайте вещи. На свободу.

То же самое было и в женской камере. Моя жена тоже попала в число освобожденных, и мы встретились в тюремной конторе. Ни она, ни я ни разу не были допрошены. Освобождение наше и Эвенсона без допроса объяснялось тем, что Теслер по соглашению с Вержбицким (которое было заключено по внутренней тюремной почте) на первом же допросе заявил, что ходил к Вержбицкому, а других жильцов дома не знал, что было совершенной правдой. Мы были освобождены без всяких последствий, как это называется на полицейском языке[636]. Такие последствия, как потеря работы, в счет не идут. Не идет в счет и то, что у меня была забрана пишущая машинка и возвращена моей жене, несмотря на мою просьбу, обращенную к Новицкому, и потом жалобу к Драгомирову[637], только через 6–7 месяцев, когда меня уже не было в Киеве.

Другие заключенные сидели дольше: кто два-три месяца, как Бердяев[638], кто месяцев шесть, как Вержбицкий[639], а некоторые и гораздо больше. Некоторые, несмотря на продолжительность заключения, были выпущены тоже без последствий, другие были приговорены к высылке из Киева или к ссылке в разные места, причем некоторые из них более или менее долгий промежуток между освобождением и ссылкой могли провести на свободе в Киеве. Некоторые, как Теслер, Эйдельман и другие, прямо из тюрьмы были отправлены в Восточную Сибирь[640].

Тотчас после освобождения я счел нужным обойти родственников тех из моих товарищей по заключению, с

которыми я был ближе знаком или которые об этом просили.

Пошел я к отцу Бердяева. Нужно заметить, что Н. Бердяев бывал у меня очень часто, но я у него никогда не бывал и родителей его совершенно не знал.

Я позвонил и спросил у горничной, дома ли Александр Михайлович Бердяев.

Отец был почти совершенно глух. Ему сказали в ухо, что кто-то хочет его видеть. Он вскочил с кресла, вбежал в прихожую и, смотря по сторонам невидящими глазами, в каком-то ужасе спрашивал:

– Кому я нужен, что такое, в чем дело?

За ним выбежала его жена и находившийся у них их родственник, и мы все вместе не без труда его успокоили. В семье Н. Бердяева на него и отец, и мать чуть не молились, считали его гением, и арест его произвел ошеломляющее впечатление. Все 10 дней бедняга отец не мог успокоиться и прийти в себя. Мое посещение принесло ему некоторую пользу. Он узнал, что живет его сын не очень уж дурно, что нас не подвергают пытке, что на допросе он пока еще не был и что можно надеяться на более или менее скорое освобождение.

В семье другого моего товарища по заключению, Ал[ександра] Биска[641], встреча была в другом роде, но не лучше. Отец, довольно богатый, но малокультурный еврей, домовладелец, был не столько удручен, сколько озлоблен на своего сына. Он уже побывал у всякого начальства, там ему насказали, будто сын замешан в страшном сообществе и ему грозит каторга и будто он ведет себя на допросах очень дерзко. Отец всему верил, а когда я говорил, что это все ложь и что сын его не мог вести себя на допросах дерзко, потому что он ни разу еще на допросе не был, то отец явно не верил мне. Кое-что я опровергал, ссылаясь на слова его сына, сказанные мне. Свое озлобление на сына и недоверие ко мне Биск-отец выразил так грубо, что мне стало противно. Я сказал:

– Вы, очевидно, всякому жандарму верите больше, чем вашему сыну; что же – это ваше право. – И ушел.

Но тут была жена Александра Биска; на следующий же день она прибежала ко мне и, извиняясь за свекра, просила рассказать все, что я знал. Затем она бывала у меня часто.

Нужно заметить, что ни Бердяев, ни Биск не просили меня о посещении их родных, может быть, предвидя подобную встречу, и я его предпринял по собственной инициативе. Напротив, от К. Василенко, сидевшего в одиночной камере[642], но узнавшего о словах Новицкого, я по внутренней почте получил поручение к его брату, от соседа по камере Вержбицкого – к его матери, от

многих других – к родным, и нигде больше ничего подобного только что описанным эпизодам не встречал.

Приведя в порядок по возможности свои дела, приведенные в расстройство неожиданным арестом, я подал прошение о заграничном паспорте. Обыкновенно такие прошения удовлетворяются в один день, на этот раз я ходил в полицию недели три и все время получал в ответ:

– Не готов.

– Да в чем же дело?

– Из того учреждения, куда мы обратились с запросом, можно ли выдать свидетельство о неимении препятствий к выезду, нам не дают ответа.

– Когда же он будет?

– Не знаем.

Таинственного учреждения мне не называли, но догадаться о нем было нетрудно[643]. Что было делать? Я уехал в Петербург, прожил там у матери 4 или 5 дней и подал прошение. Немедленно же получил свидетельство и вслед за ним паспорт. Была середина мая старого стиля[644], а выборы предстояли в середине июня по новому стилю. Опять у меня было мало времени.

# Глава IV. Поездка в Германию в 1898 г. – Возвращение в Киев. – Знакомство с Луначарским. – Чтение рефератов в Литературном обществе, в студенческих и рабочих кружках. – Приезд в Киев Булгакова. – Эволюция Бердяева и Булгакова. – Арест 1899 г. – Татаров. – Ибсеновское дело. – Знакомство с Урицким

На этот раз я провел в Германии почти полгода. Я присутствовал на выборах в рейхстаг и в прусский ландтаг, а также на целом ряде партийных съездов разных партий.

Большую часть остававшегося у меня времени до выборов в рейхстаг я провел в Кельне и других местах католической Германии. Главную роль там играла партия центра (клерикальная), и избирательную борьбу она окрашивала в церковный цвет. Как известно, в 60-х годах Лассаль вел свою агитацию в католическом Рейнланде[645] с большим успехом, но после образования Германской империи социал-демократия пользовалась там успехом весьма малым, несмотря на его индустриальный характер и наличность значительного рабочего движения, которое там, однако, выливалось в форму особого католического движения. Союзы рабочих, не менее энергично отстаивавшие там профессиональные нужды рабочего класса, к своему названию всегда пристегивали эпитет «католический» и на политических выборах голосовали за партию центра. Это сбивало социал-демократов с толку, – они с трудом могли подвести эту прочность религиозного чувства под марксистское объяснение истории.

– Мы перед каждыми выборами предсказываем разгром партии центра и наше торжество в Рейнланде и каждый раз ошибаемся, – говорил мне после этих выборов один социал-демократ (доктор Цадек).

Я сказал, что партия центра окрашивала борьбу в церковный цвет. Действительно, все речи клерикалов, о каком бы политическом вопросе они ни трактовали, заканчивались воззванием к религиозно-церковному чувству.

Против них выступали социал-демократы. В ответ им ставился вопрос:

– А вы католик?

– Что вам за дело? Мы обсуждаем политические вопросы, а мои личные религиозные убеждения никакого отношения к ним не имеют.

– А вы все-таки скажите, католик ли вы?

После пререканий прижатый к стенке социал-демократ заявлял: «Да, я католик». Но его не отпускали.

– А в церковь вы ходите?

Снова начиналось повторение того же самого, пока, наконец, социал-демократ не отказывался категорически от ответа.

– Видите, он не хочет сказать. Почему? Да просто потому, что, католик по рождению, он ни в бога, ни в церковь не верует. Согласны ли вы, граждане, иметь своим представителем такого человека?

Или, если он сам не выступает кандидатом:

– Можете ли вы ему верить, будете ли следовать его советам?

Через 7 лет после этого, на крестьянском митинге в России в Новгородской губернии, я слышал священника, который убеждал крестьян, что хотя вера еврейская и поганая, но что вопрос о вере следует предоставить Господу Богу, а так как теперь речь идет об избрании представителя не на церковный собор, а в Государственную думу, то выбирать нужно человека не за его религиозные убеждения, а за понимание того, как нужно сделать, чтобы народу жилось лучше; еврей же это, может, понимает нисколько не хуже, чем православный. Об этом я расскажу подробнее в свое время. Конечно, это был исключительный случай в исключительный момент, но все-таки в данном случае русский священник оказался гораздо терпимее, культурнее, политически развитее, чем светское лицо, принадлежащее к клерикальной партии в Германии.

Выборы в прусский ландтаг производились тогда по трехклассной системе[646] и были открытыми, вследствие чего уже по внешней форме резко отличались от выборов в рейхстаг. А кроме того, социал-демократия, считая их для себя безнадежными, тогда их бойкотировала. Бойкот был пассивным, то есть социал-демократы не вели никакой агитации, но, не выставляя своих кандидатов, попыток срывать выборы не делали. Изредка какой-нибудь второстепенный социал-демократический оратор забредет на либеральный или консервативный митинг и без всякого увлечения произнесет речь в защиту общих принципов социализма, но так как он не имеет возможности предложить своего кандидата, вообще ничего положительного, то его речь шла как-то впустую, в ней не было пафоса борьбы и ничьего энтузиазма она не зажигала, – да и в ораторе его не было. Благодаря отсутствию социал-демократов избирательная борьба

шла крайне вяло и тускло.

Самая процедура выборов представляла множество курьезов. Благодаря раздроблению округа на избирательные участки, а в избирательных участках – разделению избирателей на классы число избирателей первого класса в участке оказывалось равным двум-трем, а иногда даже только одному, и не очень редки случаи, что этот один не являлся на выборы и выборы не могли состояться. Еще чаще бывало, что на выборы данного класса являлся всего один избиратель. Я помню такую сцену.

Выборы по первому классу в каком-то из участков в окрестностях Франкфурта-на-Майне. За столом бюро из четырех или пяти членов. В зале один избиратель и человек двенадцать публики (в том числе и один совершенно посторонний, именно – я). Председатель бюро читает:

– Первый класс, один избиратель, господин портной Нейман.

– Здесь.

– Следует избрать одного уполномоченного. За кого подаете вы свой голос?

– За портного Неймана.

(Подача голоса за себя допускалась и законом, и нравами.)

– Избирателей один. Подан один голос. Абсолютное большинство – 1. Единогласно избран портной Нейман. Господин Нейман, принимаете ли вы избрание?

– Нет.

В зале смех. Представитель, стараясь сохранить серьезность, заявляет:

– Избранный единогласно уполномоченным господин Нейман отказался от избрания. Я должен приступить ко второму голосованию. Один избиратель, господин Нейман.

– Здесь.

И затем повторяется та же комедия с тем же финалом. Председатель приступает к третьей, последней баллотировке, после которой он должен провозгласить выборы несостоявшимися. Повторяется та же сказка про белого бычка, но с иным финалом, так как Нейман заявляет:

– После того как мои сограждане трижды почтили меня единогласным избранием, мне не остается ничего иного, как принять избрание.

Дело объясняется тем, что Нейман – свободомыслящий, следовательно – сторонник всеобщего избирательного права, и в качестве такового он не отказался от искушения произвести маленькую комическую демонстрацию против трехклассной избирательной системы.

Из партейтагов[647], которые я посетил, наиболее интересным,

как и всегда, был социал-демократический. Он собрался в Штутгарте, продолжался 7 дней[648], каждый день с 9 до 1 часа и с 3 до 7 часов, причем в промежутки успевали заседать комиссии. Председательствовал Зингер, председатель действительно образцовый.

Незадолго до партейтага появилась в свет знаменитая книга Бернштейна «Die Voraussetzungen des Socialismus»[649], подвергавшая сердитой критике все основы социал-демократического учения и на место господствовавшей до тех пор теории катаклизма выдвигавшая идею медленного и постепенного переноса буржуазного общества в социалистическое[650]. Вожди социал-демократии – Бебель, Либкнехт, Зингер, Каутский – увидели в ней опасное отступничество и потому вооружились против нее, хотя, опасаясь раскола партии, старались (особенно первый) не очень заострять свои нападки. Напротив, Фольмар и Ауэр стали с некоторыми существенными оговорками на сторону Бернштейна. Сам Бернштейн в это время был еще эмигрантом в Лондоне, над ним тяготело обвинение[651], и приехать в Штутгарт он не мог. Вся борьба велась без него.

Как крайний левый фланг против Бернштейна выступали Frau[652] Цеткин, Fräulein Doktor Rosa Luxemburg[653], Genosse Parvus[654] – все три лица, имевшие отношение к России: г-жа Цеткин была замужем за выходцем из России Цеткиным (в это время уже умершим), Parvus (его настоящая фамилия Гельфанд) – еврей из России, остававшийся русским подданным, а Роза Люксембург – еврейка из русской Польши, принявшая прусское гражданство посредством фиктивного брака, за которым сейчас же (по предварительному соглашению) последовал развод[655]. Из России же, именно от Плеханова, исходило предложение формально исключить из партии Бернштейна как отрекшегося от социал-демократического учения, но предложение Плеханова, сделанное им в печати[656], было принято всеми как бестактность и на партейтаге никем внесено не было, так что даже и не обсуждалось.

Прения были очень горячи[657] и очень содержательны, хотя ни та, ни другая сторона, кроме трех представителей крайнего левого фланга, до конца своих взглядов не высказывала. Из этих трех представителей наиболее талантливой, наиболее умной, наиболее содержательной была Роза Люксембург, что не мешало ей быть до некоторой степени комической фигурой. Очень маленькая, она почти не была видна из-за ораторской трибуны и, чувствуя неловкость своего положения на ней, все время стояла на ступеньках к ней. Живая, очень подвижная, быстрая в

движениях, она беспрестанно перебегала то слева направо, то обратно, смотря по тому, к кому преимущественно в толпе слушателей в ту минуту обращалась, кому наносила удары.

– Бебель сказал, что я еще слишком молода, чтобы учить такту ветеранов партии, – говорила она. – Да, я еще сравнительно недавно вступила в партию, но я надеюсь заслужить свои шпоры на левом ее фланге, где с врагом сражаются, а не на правом, где с ним заключаются компромиссы.

Чрезвычайно смешны были эти воинственные термины в устах этой маленькой, не лишенной женского изящества, слабенькой фигурки. «Frankfurter Zeitung» в своих полных яда статьях о партейтаге, сопоставляя ее с Genosse Parvus, называла ее Genossin Parva[658], и это меткое прозвище пошло в ход даже среди социал-демократов, участников партейтага; несколько раз ее речи вызывали жидкие аплодисменты немногочисленных сторонников и более шумные иронические аплодисменты противников: «Bravo, Genossin Parva»[659].

В противоположность речам Розы Люксембург, содержательным и умным, речи г-жи Цеткин отличались большой плоскостью и шаблонностью, а содержание заменялось у нее резкостью и грубостью личных выпадов, которые производили особенно отталкивающее впечатление благодаря ее неприятному визгливому голосу. В особенности нападала она на Ауэра, которого, видимо, не любила и которого вопреки обычаю называть всех социал-демократов словом «Genosse»[660] систематически именовала Herr Reichstagsabgeordneter[661]. Ауэр в ответ ей сказал:

– Я не знаю, что хочет сказать Genosse Zetkin[662], с такою язвительностью тона систематически именуя меня «господином депутатом рейхстага». Да, сознаюсь в этом, уже более 20 лет я состою депутатом. Занятие тяжелое и надоедающее, но, право же, особенного позора я в нем не вижу и сознаюсь в нем без всякого стыда.

Позднее, на дрезденском партейтаге 1903 г.[663], Зингер, председательствовавший на обоих партейтагах, запретил одному оратору называть своего противника Herr Doktor[664], сказав, что «все члены партейтага – товарищи». Не знаю, было ли здесь пристрастие, – ибо во втором случае к такому титулованию прибегал один из правых участников партейтага против Меринга, левого и близкого Зингеру человека, – или перемена взгляда на обязательный на партейтаге тон.

Результатом партейтага было осуждение бернштейнианской ереси. Но у меня именно на нем сложилось твердое убеждение, что восторжествовала только старая революционная фразеология,

а что в действительности ревизионизм (бернштейнианство), то есть приспособление социализма к текущей жизни, отказ от революции и обращение социал-демократической партии в партию радикальной, но мирной реформы, есть уже совершившийся факт. И у меня навернулась историческая параллель.

Когда-то христианство упорно повторяло свою первоначальную фразеологию, признававшую равенство и братство всех людей, радикально отрицавшую старый языческий мир с его иерархией, рабством, богатством; а в то же время оно вполне примирилось со всеми этими явлениями и даже ввело их в свою церковную организацию. Началось это с признания апостолом Павлом универсализма и принципа «несть бо власть, аще не от бога»[665], а окончилось с принятием христианства языческими императорами и с канонизацией христианами этих императоров, по всему складу жизни, привычкам, стремлениям оставшихся язычниками. Мир стал христианским, но только тогда, когда христианство стало языческим, как сказал еще Герцен[666].

Точно так же мир становится социалистическим, но самый социализм делается буржуазным. Объяснение этому явлению я искал в общих свойствах человеческой природы, в неизбежной вульгаризации всякого идеального учения, когда оно переходит в массы, и в сложности международных отношений. Пока униженные классы боролись за улучшение своей участи у себя дома с классами правящими, пока они чувствовали себя порабощенными и, по выражению Маркса, могли потерять в будущей революции *только* свои цепи[667], до тех пор они склонны были принимать социалистическое учение в его первоначальной чистоте и революционности, как учение всеобщего равенства и братства. Но когда происходило столкновение между интересами своих рабочих и рабочих пришлых: во Франции – итальянцев, в Америке и Австралии – китайцев, то социализм должен был неизбежно уступать место национализму.

Когда Англия стала господствовать на мировом рынке, и весь английский народ в целом начал получать крупные доходы от эксплуатации Индии, Китая, всего мира, и английский рабочий начал получать долю этого дохода в виде повышенной заработной платы, то учение чартизма[668] должно было уступить место более практическому, более приспособленному к условиям буржуазной жизни учению рабочей партии[669]. Когда Германия явилась серьезной конкуренткой Англии на мировом рынке и германский рабочий, эксплуатируемый своей буржуазией, начал чувствовать тесную связь своих интересов с интересами своей родины в целом

и выгодность для себя ее господствующего положения в международных отношениях, то должно было начаться примирение с колониальной политикой, с милитаризмом, с агрессивной иностранной политикой и т. д., другими словами – должно было явиться бернштейнианство. Оно и явилось в практической политике партии задолго до появления книги Бернштейна, а Бернштейн только ясно и обнаженно, может быть – чересчур обнаженно, оформил это в определенном учении. Партия не могла не осудить этого учения, но не могла его не принять. И Ауэр особенно ясно выразил это в своей знаменитой фразе, будто бы написанной им в письме к Бернштейну по прочтении его книги, но повторенной им самим как раз на штутгартском партейтаге:

– Милый Эдуард, ты осел: подобные вещи делают, но о них не говорят[670].

К этим взглядам я пришел как раз во время штутгартского партейтага, и они с тех пор лежали в основе моего понимания хода развития социалистического движения на Западе. Все события последующего времени, как мне кажется до сих пор, подтверждали это понимание, и в особенности начало мировой войны, когда социализм повсеместно (кроме стран отсталых, вроде Сербии, в меньшей степени – России[671]) и в особенности в Германии, вопреки всем своим угрозам и обещаниям (в том числе особенно грозно повторенным на международном социалистическом конгрессе за год до войны[672]), оказался националистическим и принял деятельное участие в войне на стороне своих правительств.

С этим новым тогда пониманием хода событий я вернулся в Россию. Но раньше чем говорить о моем возвращении, я скажу еще несколько слов о моих личных знакомствах в Германии. Как уже говорил, еще в 1893 г. я познакомился с Бебелем и бывал у него. Здесь, в Штутгарте, я возобновил свое знакомство с ним и очень часто видался; нередко мы обедали или ужинали сообща в одном ресторане. Лично этот человек оставлял обаятельное впечатление. Сильный оратор на трибуне, безжалостно наносящий противникам очень тяжелые удары, он в личном обращении был на редкость мягок и привлекателен и особенно трогал своей редкой скромностью: казалось, он даже не догадывался о своей мировой славе, о том громадном значении, какое имел.

Я познакомился здесь с г-жой Цеткин и, оставшись на некоторое время после партейтага в Штутгарте, бывал у нее (она жила в этом городе). Дома она производила другое впечатление, чем на трибуне. Она жила с двумя сыновьями, гимназистами лет

15–16, и оставляла впечатление хорошей семьянинки, – пожалуй, впечатление того, что немцы называют Hausfrau[673] [674]. Она была по-русски гостеприимна, угостительна, интересовалась своим собеседником и обнаруживала гораздо большую терпимость и уважение к его взглядам, чем это можно было ожидать, слушая ее общественные выступления. Самый голос ее, визгливый на трибуне, в обстановке небольшой комнаты неприятного впечатления не производил. Таковы были впечатления от личного знакомства. Но уже тогда я слышал, что в деловых отношениях она отличается злобностью, мстительностью и склонностью к интригам. С этой именно стороны она изображена в известных «Мемуарах социалистки» Лили Браун[675] (которую я тоже знал лично), и думаю, что очень отрицательная характеристика госпожи Цеткин у Браун вполне соответствует действительности.

Иной была Роза Люксембург, с которой я однажды встретился у Цеткин. Она вся была в своей общественной жизни; жизни личной у нее не было вовсе. Говорить она могла только по общественным вопросам – и говорила всегда с большим авторитетом, не допуская сомнения в истине всего ею сказанного и заранее видя признак глупости во всяком ей возражении.

В эту германскую поездку и, в частности, во время штутгартского партейтага я дружески познакомился с французским социалистом Hubert Lagardelle. Это был молодой человек лет 25, приехавший в Германию одновременно со мной с целью изучения немецкого языка (которого он до того не знал вовсе) и немецкого социалистического движения. Очень умный и образованный человек, без той узости и догматичности, которая отличает обыкновенно марксистов, хотя он и считал себя таковым. Мы с ним постоянно встречались в одних и тех же кружках, на одних и тех же собраниях и очень сошлись. Одновременно с нами в Германии жила одна киевская барышня, Зинаида Гогунцова, дочь киевского полковника и петербургская курсистка, которую я хорошо знал в Киеве. Очень хорошенькая, кокетливая, имевшая везде большой успех, не особенно умная, но благодаря своему успеху считавшая себя таковой, она весьма наивно высказывала решительные мнения по всем вопросам, в которых, конечно, повторяла мнения своих авторитетов данного момента, искажая их. В Петербурге она вращалась в литературных кружках, в частности у Н. К. Михайловского; в Германии легко вошла в социалистические кружки – Адольфа Брауна, К. Каутского и других – и очень нравилась. Скоро она познакомилась с Лягарделлем, и через несколько времени они стали неразлучны.

А в следующем году Лягарделль приехал в Киев, и там они

повенчались. Браком этим была до крайности огорчена семья Гогунцовой, особенно ее отец, но ничего поделать не могла; однако своего огорчения не скрывала. Особенно шокировало Гогунцовых нарушение Лягарделлем многих русских обычаев, в их глазах обязательных для жениха, и в особенности то, что Лягарделль по приезде в Киев поселился и жил у них до свадьбы месяца два. Хотя они сами, конечно, пригласили его, но, по мнению полковника Гогунцова, приличие не дозволяло принятие такого приглашения.

– Что вы горюете? – спрашивал я Гогунцова в самый день свадьбы. – Посмотрите: молод, умен, талантлив, к тому еще хорош собой, с хорошими средствами, с хорошей карьерой. Социалист? Но ведь теперь социалист во Франции может и министром сделаться.

(Это было скоро после образования кабинета Вальдека-Руссо, в который вступил социалист Мильеран[676].)

– Ах, что мне до того! Пусть моя дочь хоть президентшей Французской республики сделается, – это меня нисколько не утешит. Француженка и… социалистка!

Он был трогателен в этом своем огорчении.

На основании личного знакомства с Лягарделлем я ожидал, что в недалеком будущем этот человек займет в жизни место, по значению приближающееся к месту Жореса во Франции или Бебеля в Германии. Хотя некоторое время он играл заметную роль во французском социалистическом движении, но мои ожидания от него оказались, во всяком случае, обманутыми. Его место в социалистическом движении было местом вождя особого, не очень сильного течения во французском социализме, известного под именем синдикализм[677]. Он примирял Маркса с Прудоном. Этот уход от чистого марксизма я заметил у него в его приезд в Россию в 1899 г. Немецкие друзья были этим очень огорчены, хотя и сотрудничали в его журнале «Mouvement socialiste», который он издавал с 1899 или 1900 г.[678]

Madame Lagardelle после бракосочетания уехала в Париж[679], и в первый раз после этого я увидел ее в 1909 или 1910 г., когда она приезжала в Россию, в частности в Петербург, и бывала у меня. Приезжала она не с мужем, а с французским адвокатом и депутатом Lafond[680], однако представляла его только как своего знакомого. Вновь она была в России уже в год революции, в 1917, на этот раз тоже с Lafond, но уже как с мужем. С Лягарделлем она разошлась и говорила, что он, унаследовав от отца хорошее поместье на юге Франции, с виноградниками, в настоящее время является крупным виноделом, отказался от политической жизни, отряс социалистический прах со своих ног и является

националистом и антисемитом. Сама m-me Lagardelle, повторяя взгляды своего второго мужа, явилась проповедницей войны до победного конца, считала необходимым возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии, тогда как раньше, еще в 1909 г., она вслед за Лягарделлем говорила, что Эльзас – Лотарингия давно германизированы и требовать их возврата бессмысленно. Она говорила теперь о неразрывности уз, связующих Францию с Россией, и даже в прошлом оправдывала всю франко-русскую политику, которую прежде вместе с немецкими друзьями и своим первым мужем строго осуждала. Все это – и оправдание франко-русской войны, и войны до победного конца – было во имя социализма.

После этого я ее не видал, но в 1920 г. читал в советских газетах, что она вместе с Lafond поехала в Россию, но на границе была задержана и не впущена. При этом советская пресса усиленно рекомендовала французской социалистической партии очистить себя от такой дряни, как товарищ Лафон. В чем он погрешил против советской власти, выяснено не было[681], но отзывы о нем были самые отрицательные. Я подумал, что он сделал выводы из своего воинственного настроения 1917 г. и является врагом большевизма, в свое время толкнувшего Россию на измену. И был очень удивлен, когда узнал, что ошибся. В следующие годы доходили сведения, что он вместе с Кашеном (тоже сторонником войны в 1917 г.) является одним из крайних во Франции защитников и поклонников советской власти. Поведение его по отношению к ней было настолько сервильным, что, будучи в Париже в 1926 г., я не счел даже возможным сходить к ним, несмотря на старое близкое знакомство с г-жой Лафон. Может быть, с моей стороны это была ошибка. Во всяком случае, для меня осталось невыясненным, чем объяснялся его переход в другой лагерь и даже был ли этот переход, или недопущение его в Россию в 1920 г. было основано на недоразумении.

В декабре 1898 г. мне нужно было возвращаться в Киев. Но я хотел заехать в Петербург и выбрал путь через Стокгольм: лишних расходов этот путь требовал немного, времени – всего одни сутки, зато я рассчитывал без лишних неприятностей провезти через финляндскую границу небольшой пакет недозволенных русских и немецких книг, а сверх того, хотя и мельком, взглянуть на незнакомый мне город и проехаться морем. Я рассчитывал приехать утром, часов в 8, в Стокгольм, а вечером, в 6 часов, уже уехать из него. С вокзала железной дороги в Стокгольме я отправился в пароходную контору и с ужасом узнал, что введен в заблуждение немецким Kursbuch'ом[682]:

пароход в этот день не уходил, и я должен был остаться в Стокгольме на две ночи и три дня. Это поставило меня в крайне скверное положение: в кармане у меня было отложено на Стокгольм всего 5 шведских крон. Что было делать?

Я пошел бродить по городу в поисках дешевой комнаты и долго не мог найти ничего подходящего. Билетиков[683] было много, но одни хозяйки решительно не хотели разговаривать со мной ни по-немецки, ни по-французски, ни по-английски, – а шведского языка я не знал, и они грубо захлопывали у меня под носом дверь; другие, с которыми я мог договориться, запрашивали слишком дорого или требовали, чтобы я остался по крайней мере на неделю. Наконец, где-то на окраине города я нашел довольно скверную конуру за одну крону в день и снял ее. К счастью, со мной была спиртовая лампочка и остатки чая и сахара. Я купил большой хлеб и три дня жил одним чаем с хлебом. Не лучше было и то, что я не запасся ни одним рекомендательным письмом, не имел (и не мог купить) ни плана города, ни путеводителя и решительно ничего делать не мог. Не мог даже сходить в музеи, потому что вход в них оказался платный. А может быть, и были бесплатные, но вход в них для меня был закрыт моею неосведомленностью и незнанием шведского языка. Днем я еще мог читать, сидя у себя в комнате, но в долгие зимние вечера должен был под мелким моросящим дождиком (был декабрь) бессмысленно бродить по улицам и наблюдать витрины магазинов и снующую толпу, так как лампа в моей комнате была тусклая, воняла и коптила. Это были три очень неприятных дня, и я был рад, когда мог усесться на пароход, отходивший в Або. Оттуда по железной дороге я добрался в Петербург[684], благополучно провезя свой небольшой груз.

Характер моей жизни по возвращении в Киев значительно изменился сравнительно с первыми двумя годами. Благодаря кратковременному аресту в 1898 г. у меня образовались дружеские связи в революционных кружках и среди рабочих[685]. А это было время, когда начинался подъем общественного движения, приведший к революции 1905 г. Университеты бурлили, образовывались партии – социал-демократическая и социал-революционная, возникали рабочие кружки.

Я уже упоминал о существовавшем в Киеве Литературно-артистическом обществе. В него я вступил членом в самом начале своей киевской жизни, но сперва общество интересовало меня мало. Там больше играли в карты и не более раза в неделю устраивали литературные и музыкальные вечера, в общем довольно бледные. По уставу общество имело право устраивать

публичные лекции или вечера, но они требовали каждый раз особого разрешения, добиться которого было очень трудно. Но оно также имело право без специального разрешения устраивать небольшие вечера, на которые имели доступ члены общества и гости по рекомендациям членов. Конечно, темы читаемых на них докладов должны были быть литературными.

И вот я прочитал доклад на тему «Шпильгаген. Общественная жизнь в Германии в действительности и по ее изображению в романе “Один в поле не воин”[686]». Изложив вкратце роман и проведя параллель между его героем Лео и Лассалем[687], я затем подробно изложил историю социалистического движения в Германии и закончил моим объяснением бернштейнианства. Конечно, заглавие темы кое к чему обязывало, но я не особенно стеснялся им. Я избегал слов «социализм», «социал-демократия» и взамен говорил об «общественном движении, изображенном в романе Шпильгагена», но имен Бернштейн, Каутский и других спрятать в карман не мог. Я сам нафабриковал рекомендательных контрамарок, то же сделали некоторые другие члены общества; эти контрамарки были переданы студентам, которые даже не раздавали, а продавали их в пользу Красного Креста по 30 копеек, и зала, очень вместительная, вмещавшая до 500 человек, была набита битком. Кое-кто из социал-демократов выступал с возражениями. Лекция имела большой успех, и вечер прошел безнаказанно[688].

Затем я читал ряд других подобных же лекций на разные общественные темы, всегда придавая им литературное заглавие и форму, а первую свою лекцию повторил в таком же литературном обществе в Одессе. После меня в том же Литературном обществе выступали и другие лекторы, а именно: Н. А. Бердяев[689], М. Б. Ратнер, С. Н. Булгаков (поселившийся в Киеве в качестве профессора Политехнического института в 1899 г.), и мы все, а кроме названных лиц еще Тарле и Луначарский, выступали оппонентами друг другу. Эти лекции читались не часто, в полтора года, 1899 г. и начало 1900 г., их было прочитано, вероятно, штук 6 или 7, и это сходило с рук.

За эти полтора года устраивалось довольно большое число чтений, для которых рамки Литературного общества оказывались все же слишком тесными; они устраивались в частных квартирах. На них собиралось человек 30–40. Кроме того, я вел занятия в одном рабочем кружке. Несмотря на наличность в Киеве Новицкого, этот город был в те два года едва ли не наиболее свободным в России; вряд ли где бы то ни было были возможны подобные собрания в таком числе.

С Луначарским я познакомился летом 1897 г.; его отец

занимал в Киеве какой-то видный пост по судебному ведомству[690]. Он учился за границей[691] и только летом наезжал в Киев.

Познакомился я с ним на лодке. Я был большой любитель лодочных катаний: для меня это был единственный спорт, единственная гимнастика и единственный гигиенический отдых, дававший мне хороший сон. Ездил я обыкновенно в компании. Таким же любителем и постоянным моим товарищем был профессор философии Челпанов; охотно ездил также Бердяев; иногда собиралась компания молодежи, и вот в 1897 г. к нам присоединился А. В. Луначарский.

Первое мое впечатление от него было неблагоприятное. Он очень любил говорить, особенно при барышнях; настоящим оратором я бы его не назвал, но у него был хорошо привешенный язык, и говорил он недурно о том, что знал, и, пожалуй, еще лучше и, во всяком случае, смелее о том, чего не знал. Иногда попадался и был уличаем, но всегда очень искусно вывертывался. Он страстно жаждал успеха у женщин – и не имел его. Речь его всегда отзывалась некоторой хлестаковщиной, причем предметом хвастливости тогда была его роль в социал-демократическом движении. Он рассказывал, как то-то сказал Плеханову, то-то – Аксельроду, то-то – Бебелю, как его слова были приняты во внимание и отразились в литературной деятельности первых и парламентской последнего. Он был марксист и притом, как с гордостью говорил, ортодокс. Вместе с тем он был горячий поклонник и знаток французской и русской декадентской поэзии и живописи и умел это свое поклонение связывать со своим марксизмом, подыскивая ему экономически материалистическое объяснение. Объяснение явно хромало в одном отношении. Декадентство для него было течением буржуазно-пессимистическим, то есть выражало настроение буржуазии, приближающейся к своему близкому концу и ищущей утешения в вычурных литературных формах. Из этого для социал-демократа вытекало бы, как казалось мне, презрение к этому явлению и в лучшем случае интерес, как к известному симптому болезни – у врача, но ни в каком случае не сочувствие. А Луначарский питал к нему интерес, несомненно, весьма сочувственный.

В то же время недавние социал-демократы Бердяев и только что появившийся на киевском горизонте Булгаков начали колебаться и линять. У них обоих процесс отказа от марксизма шел через философию. Сделавшись неокантианцами, они не могли мириться ни с марксовским гегельянством в области экономики, ни тем более с грубым марксовским материализмом в области философской. Они, и особенно Бердяев, в 1899 и 1900 гг.

все еще называли себя социал-демократами, но считали нужным вносить в марксизм кантианские поправки. Они встретили появившееся в Европе бернштейнианство с глубокой симпатией. Позднее, около 1901–1902 гг., они окончательно отказались от марксизма. Прежде всего это сделал Булгаков, который уже в 1902 г. назвал себя последователем Вл. Соловьева и верующим христианином. Бердяев менялся медленнее и к христианству пришел гораздо позже: точно не знаю когда[692]; во всяком случае, после моего отъезда из Киева в 1904 г., когда я с ним перестал встречаться. Ту же эволюцию проделывал в это же время Струве, но Струве жил в Петербурге, и прямого личного влияния они друг на друга не оказывали.

В Киеве Бердяев и Булгаков, особенно первый, на разных собраниях постоянно сталкивались с Луначарским и в процессе спора помогали друг другу закрепляться на их противоположных позициях. При этом Бердяев и Луначарский чувствовали друг к другу симпатию, и Бердяев доказывал мне, что я не прав в своем отрицательном отношении к нему; напротив, Булгаков и Луначарский с первой же встречи почувствовали друг к другу острую антипатию, которую Луначарский выражал в первых своих литературных выступлениях (несколько позднее, должно быть, в 1901 или 1902 г.) в крайне непримиримых формах, допуская сравнения Булгакова с каракатицей, испускающей для самозащиты вонючую жидкость[693].

В марте 1899 г. Новицкий повторил свой прошлогодний обыск, арестовав в одну ночь опять-таки свыше 100 человек и сверх того подвергнув обыску несколько десятков других. В эту ночь я довольно поздно возвращался домой[694]. В саду я заметил какую-то подозрительную фигуру. Бросился за ней вдогонку, но она скрылась. Жена была уже в постели, но я ей сказал об этом приключении. Мы пораскинули мозгами, я привел свои книги и бумаги в возможно более удобный для обыска порядок[695] и лег спать. Я еще не успел заснуть, как раздался резкий звонок.

– Кто там?

– Телеграмма.

Я, конечно, не сомневался в характере телеграммы, но делать было нечего. Вошли околоточный и несколько городовых; ни жандарма, ни даже пристава не было. «Эге, как презрительно на этот раз относится ко мне генерал Новицкий», – подумал я и сразу успокоился, что ничего серьезного на этот раз не предстоит. Обыскивал околоточный; городовые стояли как истуканы, очевидно, на случай вооруженного сопротивления. Обыск был тщательный, но нелепый, – я скажу, пожалуй: безграмотный. На книги околоточный смотрел явно невидящими глазами, но

вынимал их с полок, клал на пол и смотрел за ними. Произведя такую операцию с 5 или 6 полками приблизительно на высоте своего роста, он устал и затем уже только запускал руку за книги, а потом и это перестал делать. Осмотрел стол. При виде какой-то иностранной книги он с грустью сказал:

– Я ведь не умею отличить французского от немецкого. Может, это запрещенная книга, а я почем знаю?

– А русскую запрещенную книгу вы всегда сумеете отличить?

– Ну еще бы!

– Ну вот, смотрите: вы эту книгу пропустили без внимания, а она запрещенная.

Я ему показал том Пушкина, потом «Войну и мир», прибавив:

– Видите, это Толстой. Знаете же, что он все запрещенные книги пишет.

Околоток, конечно, понял, что над ним смеются. У меня мелькала мысль вслед за тем показать Герцена, но храбрости не хватило; все-таки Женева, да и имя, может быть, ему знакомо.

Забрал он несколько невинных бумажонок для приличия, составил протокол и ушел. Было часов 6 утра, рассвело. Мы с женой пошли к Старокиевскому участку и увидели, как туда подвозили одного за другим арестованных. Стало ясно, что произошло повторение прошлогоднего опыта, но на этот раз чаша сия, слава богу, миновала нас. И даже каких-нибудь неприятных последствий, вроде потери нужных книг или рукописей, не было. Через день после этих арестов имел место неожиданный эпилог.

Я еще не успел привести в порядок свои книги после произведенного разгрома и занимался этим делом, как вдруг ко мне заявляется незнакомый мне человек – довольно неопределенной, серенькой наружности, еврей, сильно заикающийся.

– Господин Водовозов?

– Да.

– А мой псевдоним, под которым теперь живу, такой-то (я его забыл. – *В. В.*). Пришел к вам по очень щекотливому делу, требующему доверия, и потому должен постараться получить его. В прошлом году вы были за границей и там, между прочим, виделись с такими-то лицами. Эти лица рассказывали мне о разговорах и спорах с вами.

И начинает вспоминать разные мелочи, которые могли бы быть ему известны только от этих лиц.

– Вы видите, что с этими лицами я не просто знаком, а знаком дружески. Я сегодня утром привез в Киев груз социал-демократической литературы. У меня были три явки. Я пошел по ним и узнал, что все три лица арестованы. Благодаря этому я

попал в ужасное положение. Мой груз хоть бросай, а сам убирайся подобру-поздорову, пока цел. Кроме названных лиц я знаю в Киеве по имени только вас и Бердяева и больше никого. Если вы мне не доверяете, я пойду к Бердяеву.

– Бердяева сейчас нет в Киеве.

– Ну вот, тем для меня хуже; значит, кроме вас, мне не на кого рассчитывать.

– Послушайте, если вы знаете обо мне от таких-то, то вы должны знать, что к социал-демократической партии я не принадлежу.

– Знаю и знаю даже, что вы с ней во многом расходитесь. Но, как всякий прогрессивный писатель, вы, конечно, имеете знакомства и в социал-демократических рядах и, может быть, не откажетесь свести меня с кем-нибудь из уцелевших от разгрома.

Что мне было делать? Человек, как я сказал, производил впечатление серое и, конечно, мог быть шпионом. Но мог и не быть им. Оказывая ему содействие, я подвергал себя и другое лицо большому риску, а отказывая ему в доверии, брал на себя тяжелую ответственность. Я сказал ему, что не даю сейчас ответа, но назначаю ему свидание в общественном саду в таком-то часу. Если я сочту возможным, то принесу ему туда ответ, а если не явлюсь, то, значит, или я отказываюсь, или по каким-нибудь причинам не мог исполнить его желания.

Чтобы смягчить мой полуотказ, я предложил ему чаю, но он отказался и ушел.

«Что испытывает сейчас этот человек? – думал я. – Ведь если он не шпион, то трудно себе даже представить, какое мучительное чувство переживает, видя, что единственный в целом городе известный ему человек подозревает его в шпионстве, и как много душевного героизма нужно иметь, чтобы пережить такое состояние».

Я переговорил с женой, и после долгих сомнений мы решили довериться. На беду, мы знали только одного человека, уцелевшего от разгрома прошлой ночи, заведомо для нас бывшего активным членом социал-демократической партии, – Константина Василенко. После продолжительного заключения в прошлом году он на этот раз не подвергся даже обыску. Решили, что мы с женой выйдем из дому вместе, но пойдем отдельно, будем бродить по городу, ездить на трамвае, зайдем к нескольким знакомым, а потом она пойдет к Василенко и все ему расскажет. Так и было сделано. Василенко отнесся к этому человеку сразу с полным доверием и пошел в указанное ему место разыскивать меня. Мы вместе пошли на свидание с моим посетителем, там я познакомил их между собой, и дело было

закончено вполне благополучно. Мой посетитель оказался тем, за что он выдавал себя[696].

В том же или следующем году у меня был случай, внешним образом довольно сходный с описанным сейчас, но с иным содержанием. Ко мне заявился человек.

– Я к вам от Сидора Порфирьевича. Моя фамилия Татаров.

– Я никакого Сидора Порфирьевича не знаю.

Татаров совершенно опешил.

– Как не знаете? Почему вы не хотите отнестись ко мне с доверием?

– Да кто вы такой? И кто такой Сидор Порфирьевич?

Разговор продолжался довольно долго, Татаров утверждал, что я должен знать Сидора Порфирьевича и потому должен его принять и т. д. Субъект мне сразу крайне не понравился, и я отказался что-нибудь сделать для него. Он ушел.

В объяснение этого я должен сказать следующее. За несколько лет перед тем моя петербургская знакомая Мария Вильямовна Беренштам сказала мне, что если кто-нибудь придет ко мне от Сидора Порфирьевича, то это будет от нее и я должен буду свести его с теми лицами, каких он назовет. Я всегда был чужд какой бы то ни было конспиративной работы; даже тогда, когда в молодости издавал запрещенные книги, никогда не давал своего адреса для явки, и просьба Беренштам была мне неприятна. Но я от нее не отказался. Прошло несколько лет; никто ко мне от Беренштам не являлся, и я совершенно забыл о нашем разговоре. Но вот является человек. Я сразу вспомнил наше соглашение, но вместе с тем увидел, что пароль перевран и, следовательно[697], дело неладно.

На следующий день ко мне зашел Тарле и рассказал:

– Вчера рано утром с поезда приехал ко мне некто Татаров. Когда-то я с ним был дружен, но в настоящее время я ему не доверяю. Особенных оснований для недоверия у меня нет, но не доверяю. И могу сказать еще, что этому Татарову многие доверяют и очень симпатизируют, между прочим и В. Г. Крыжановская (очень уважаемая в Киеве социал-демократка[698]. – *В. В.*). Но я не доверяю. Татаров у меня очень добивался вашего адреса, но я отговорился незнанием. Советую вам не принимать его.

– Да он уже был у меня.

– Был? Когда?

Мы выяснили время, и оказалось, что он был у меня часа через 2–3 после того, как ушел от Тарле. Мне показалось несколько странным, что Тарле не счел нужным зайти ко мне еще вчера, но я ничего не сказал ему.

На этот раз я спасся от большой опасности. Татаров, когда-то видный революционер, побывавший чуть ли не на каторге, в это время был деятельным шпионом[699]. Через несколько лет он был убит революционерами[700].

Как я уже сказал, 1899 г. да и первые месяцы 1900 г. я усиленно занимался чтением лекций и докладов как в Литературно-артистическом обществе, так и в разных кружках. И не я один; такие чтения были сильно распространены в Киеве.

В конце апреля, 27 или 28 числа, в 1900 г. было назначено чтение Луначарского об Ибсене[701]. Оно происходило в большой квартире студенческого общежития. Присутствовало около 60 человек, студентов, барышень, вообще всякого, но преимущественно молодого народа. Присутствовали Е. В. Тарле и я в качестве предполагаемых оппонентов. Были приглашены Бердяев, Булгаков и Ратнер, но они по случайным причинам не явились. Присутствовала и моя жена.

Лекция, уснащенная радикальными словечками, была из тех, которые нравятся очень зеленой молодежи, но своею фразистостью, произвольностью и бессодержательностью производят неблагоприятное впечатление на людей взрослых. И у Тарле, и у меня складывались очень сердитые возражения. Но произнести нам их не удалось.

Часов в 11, когда поздно начатый и длинный реферат только еще приближался к концу, раздался звонок. Вошел сам собственной особой генерал В. Д. Новицкий в сопровождении большого числа жандармов и полицейских.

– Что здесь происходит?

– Чтение реферата об Ибсене.

– Кто референт?

Выступил Луначарский. Затем Новицкий сам заметил меня и некоторые другие знакомые лица. Молодежь начала выбрасывать из карманов разные бумажонки и рвать их, но так неосторожно, что Новицкий тотчас это заметил.

Был произведен обыск, прежде всего по карманам у присутствующих. По крайней мере у половины в карманах были обнаружены прокламации или какие-нибудь другие неудобные бумажки[702].

На беду, как раз в это время в Киеве тянулась тяжелая стачка булочников, очень взволновавшая общество и особенно социал-демократов, которые поддерживали эту стачку и по поводу нее выпустили прокламацию. А через 3 или 4 дня предстояло 1 мая, к празднованию которого усиленно готовилась социал-демократическая партия Киева.

Слушатели Луначарского, отправляясь на подобную лекцию,

не позаботились почиститься и предстали пред очи Новицкого с corpus delicti[703] в кармане[704]. Затем начался допрос. Когда допросили мужчин, – это было часам к 4 утра, то вызвали взвод казаков и отправили нас под их конвоем в Лукьяновскую тюрьму. Часа через три окончили допрос женщин и сделали с ними то же самое. Они шли уже утром, и их необычное шествие вызвало большое удивление встречных прохожих.

Затем был сделан обыск в квартирах всех арестованных[705] – сделан в отсутствие хозяев, что являлось совершенно незаконным. Как рассказывала наша кухарка, пришли с целой связкой ключей; так как ключ от квартиры был у меня в кармане, то они подобрали ключ и вошли. В качестве понятого был призван хозяин дома; когда он пришел, то пристав уже рылся у меня в столе. «Вот, сосчитайте деньги», – сказал пристав и вынул деньги *из своего кармана*. Хозяин пересчитал: «108 рублей». Так и было записано в протокол. Между тем у меня было больше. Около 50 рублей украдены приставом.

Для меня с женой вновь началась тюремная жизнь. Сперва нас перемещали из камеры в камеру, все время не давая ни есть, ни пить, но к вечеру разместили по камерам (на этот раз по одиночным, по два человека в камере) в двух корпусах, мужском и женском, и напоили чаем.

Я очутился в камере с одним студентом.

Мы, ибсенисты, были не единственными обитателями тюрьмы и даже не единственными политическими (уголовные сидели в совсем отдельном корпусе, и я их ни разу не видал). В двух наших корпусах в одиночных камерах, кроме нас, сидело человек 20 ранее арестованных лиц (между ними я встретил моего старого шенкурского знакомого Машицкого и познакомился со знаменитым впоследствии Урицким), а в общих камерах, где я сидел за два года перед тем, сидело человек 100, тоже не принадлежащих к числу ибсенистов.

Одиночным это наше заключение, однако, назвать нельзя. Камеры отпирались по требованию для пропуска в известные учреждения, а затем днем просто перестали запираться, и мы могли выходить в коридор, даже ходить друг к другу в гости в пределах одного коридора почти совершенно свободно. Только хождение из одного коридора (этажа) в другой было сопряжено с известным риском, хотя все же было возможно. На прогулку нас выпускали на общий двор по коридорам, то есть человек по 20, и мы могли и болтать, и читать друг другу лекции, и играть в чехарду и т. п.[706] Так было в мужском корпусе, и так же было в женском. Между собой эти два корпуса не сообщались, и жены своей я ни разу (кроме свиданий, о которых расскажу[707]) за все

время заключения не видел, но внутренняя почта существовала и действовала исправно. Существовала она потому, что тюремное начальство признавало нас артелью, то есть своего рода юридическим лицом, и у нас был свой признанный и даже избранный староста.

Мы застали старостой Урицкого[708]; утомленный этой должностью, он попробовал было выйти в отставку, но встретил такой отпор, что взял отставку назад. Староста получал казенные деньги на наше содержание, прибавлял присылаемые нам с воли, вступал в сношения с поставщиками товаров, ходил на кухню, где за плату от нас стряпали уголовные, и вообще заведовал внешним, довольно большим хозяйством; ведь нас было в это время почти 200 человек, и общий наш бюджет превышал 1500 рублей в месяц. Для ведения переговоров староста имел право ходить (в сопровождении надзирателя) по камерам и вести с заключенными переговоры через волчок, то есть форточку в двери; фактически он входил в камеры; мог ходить и на женский корпус.

Таковы были условия сидки, исключительно свободные. Отчасти (но только отчасти) эти условия объяснялись тем, что начальник тюрьмы имел свою корову и поставлял в тюрьму молоко. Оно было такого качества, что Урицкий выливал его в помойку, но аккуратно платил за него как за настоящее. Начальник тюрьмы был этим доволен. Но, впрочем, он был добрый человек и зла нам не делал. Когда мы гуляли сообща на дворе и в тюрьму приезжало настоящее начальство, на двор выбегал какой-нибудь надзиратель и кричал: «Новицкий!» – или: «Такой-то!» Мы бросались по камерам, и все оказывалось в порядке. Уже после нас из тюрьмы был совершен смелый побег 11 человек[709], после чего начальник тюрьмы был уволен и вольности отменены.

В мужской половине ибсенистов самое удручающее впечатление арест произвел на Тарле. Он бился головой о стену, плакал, жаловался на судьбу каждому надзирателю, просил его похлопотать о своем освобождении, вообще вел себя крайне неприлично.

В женских камерах так же вела себя Наталья Н. Кульженко[710], молодая жена моего приятеля – типографа и издателя В. С. Кульженко. Ее дня через два выпустили.

Скоро после нашего ареста нас посетил прокурор судебной палаты Арсеньев и по обыкновению спрашивал о претензиях. Признавая арест в русских условиях совершенно нормальным, мы претензий на него не заявляли. Только Тарле начал хныкать и жаловаться на арест и на то, что он сидит с совершенно

незнакомым ему человеком.

– А с кем же вы бы хотели сидеть?

– Ну, например, с Водовозовым.

– Это я могу вам устроить.

И мы с Тарле были посажены в одну камеру. Для меня это было несчастьем, товарища хуже нельзя было выдумать. Он все время бегал по камере, бросался на кровать, плакал, скулил.

– Никто, никто столько не потерял, сколько я. У меня была командировка за границу, через месяц я должен был ехать. И со службы меня прогонят (он состоял учителем в гимназии. – *В. В.*). Черт меня дернул слушать этого дурака Луначарского.

Я ему указывал, что прогонят ли его со службы, это неизвестно, но что студенты потеряли, наверное, гораздо больше: он уже на дороге, через два-три года напишет диссертацию и будет профессором. А студенты будут исключены из университета, вся их карьера разбита, а в лучшем случае они потеряют стипендии, потеря которых на них отразится тяжелее, чем потеря командировки на нем.

– Что вы говорите о какой-то студенческой стипендии! Командировку я потерял, за границу не поеду! И какой ужас сидеть взаперти! Этот арест – самое большое несчастье, которое я когда-либо испытал в жизни! И, наверное, не испытаю никогда больше!

– Стыдитесь, Евгений Викторович, в прошлом году у вас умер ребенок[711]. Неужели несерьезный арест – несчастье более тяжелое?

Он сконфузился. Он действительно горячо любил своего ребенка и в свое время очень убивался.

– Да, это было страшное несчастье. Но арест – тоже.

Книги у нас были, но читать он не мог и мне мешал. Мы сделали из хлеба шахматы и пробовали играть. Он хороший игрок, во много раз лучший, чем я, но тут систематически проигрывал, да и не заинтересовывался игрой. Я пытался заставить его делать гимнастику, но он так вяло повторял за мной гимнастические движения и такая тоска отпечатывалась на его физиономии, что я бросил. Аппетита у него совершенно не было. Я делал все что мог, чтобы поддерживать в нем бодрость духа, но ничего не выходило.

Однажды он мне сказал:

– Ах, Василий Васильевич, как я благодарен вам: что было бы со мной без вас, совершенно не представляю себе. А на вас я, вероятно, действую очень удручающим образом? Вам очень тяжело со мной?

– Нет, – ответил я, – вы действуете на меня, как в Спарте

пьяные илоты на спартиатов[712].

Это было зло и нехорошо с моей стороны.

Однажды утром я проснулся и вижу: Тарле бегает из угла в угол. Увидев, что я гляжу на него, он схватил два полотенца, связал их и начал прилаживать к раме окна.

– Евгений Викторович, – сказал я ему, – если вы хотите повеситься, то сделайте это, когда я уйду из камеры.

Он сейчас же бросил полотенца, сел на стул, охватил руками колена и голосом удавленника сказал:

– Василий Васильевич, скажите начальству, что я хотел повеситься.

В эту минуту он был мне гадок.

– Хорошо, – ответил я.

Я потребовал вызова в контору и там заявил начальству о намерении Тарле, —заявил не вполне согласно с исторической истиной, несколько сгустив краски и утаив некоторые обстоятельства. К моему удивлению, начальство вполне поверило, испугалось и обещало немедленно сообщить Новицкому.

Через два дня Тарле был вызван на допрос и освобожден[713]. Еще через три дня были вызваны мы с женой и тоже освобождены, а затем каждый день вызывали по 2–3 ибсениста и освобождали тех, против кого не было других обвинений (например, у кого не нашли в карманах прокламаций). Очевидно, я ускорил освобождение Тарле не более чем на эти три дня. Сам же я просидел ровно 6 недель.

Тарле действительно лишился службы и командировки, но через год смог написать и защитить магистерскую диссертацию и скоро затем – приват-доцентуру, даже в Петербурге[714]. Таким образом, на карьере его арест отразился не особенно сильно, хотя вред ему принес большой (об этом я расскажу, когда буду говорить о защите им диссертации).

Замечательно сложна и противоречива человеческая психика. Этот самый Тарле, который так трусливо вел себя в заключении в молодости, впоследствии, при большевиках в 1918–1922 гг., обнаружил большое мужество, читая публичные лекции, на которых довольно решительно критиковал советскую политику.

Арестовав нас, Новицкий решительно не верил, что мы собрались для такой невинной цели, как чтение реферата об Ибсене. И не верил совершенно искренно. Нужно признать, что обстоятельства сложились так неблагоприятно для нас, что истина в самом деле была невероятной. Шла забастовка булочников. Предстояло 1 мая. В карманах у половины присутствующих найдены прокламации. Часть присутствующих

подозревается в принадлежности к социал-демократической партии. И вот люди сходятся в числе 60 человек, чтобы слушать реферат об Ибсене! Неудивительно, что Новицкий решил: была сходка для обсуждения вопроса о праздновании 1 мая. А Ибсен выдуман для отвода глаз[715].

Когда я на допросе говорил о характере собрания, допрашивавший меня жандарм с явным недоверием сказал:

– И вы, пожилой человек[716], пошли слушать какого-то недоучившегося мальчишку!

То же самое было сказано и Тарле.

Любопытно, что не верили в Ибсена не только жандармы. Среди ибсенистов была арестована временно находившаяся в Киеве жена земского статистика Громана (теперь я часто встречаю в газетах имя большевицкого статистика Громана: то же ли это лицо или другое – не знаю[717]). Громан, узнав об аресте жены, приехал и добился свидания.

– В чем дело?

Та рассказала.

– Да ты мне рассказывай не эту версию для жандармов, а как было в действительности.

И он не верил. Конечно, у него было еще одно основание не верить: до него уже дошла жандармская версия, известная в городе, и произвела свое впечатление.

И вот, чтобы утвердить истину, мы прибегли ко лжи.

Узнав в Петербурге о нашем аресте, моя мать и В. И. Семевский немедленно прибыли в Киев. В Петербурге был военный генерал Новицкий, брат киевского жандарма. Генерал Новицкий сохранял братские отношения с братом, но по личным убеждениям тяготел к более прогрессивным течениям в обществе и был близок (кажется, с раннего детства по Костроме) с Н. К. Михайловским[718]. Моя мать через Михайловского получила от него рекомендательное письмо к киевскому Новицкому[719]. Это письмо открыло двери любвеобильного жандармского сердца, и нам были разрешены каждодневные свидания в течение недели, какую пробыли в Киеве моя мать и В. И. Семевский. Свидания происходили в Старокиевском участке в очень хороших условиях: мы сидели вчетвером без всякого постороннего наблюдателя и имели возможность говорить совершенно свободно, для пущей безопасности иногда прибегая к французскому языку. От них мы узнали во всех подробностях жандармскую версию, им сообщили действительные факты.

А затем, передавая в тюрьме содержание нашего свидания товарищам и, в частности, Луначарскому, мы надумали следующее.

Луначарский написал мне письмо в таком роде: «Многоуважаемый Василий Васильевич, сегодня я читаю там-то реферат об Ибсене, провожу мои известные Вам взгляды, с которыми Вы, насколько я знаю, не согласны; очень хотел бы выслушать Ваши возражения; поэтому очень прошу Вас быть с Верой Петровной». Это письмо я на свидании передал Василию Ивановичу Семевскому, а он, несколько смяв его и порвав, бросил в корзину для грязной бумаги в моей комнате (они остановились в моей квартире).

Когда меня вызвали на допрос, мне предъявили протокол обыска в моей квартире. Я прежде всего указал, что обыск произведен в мое отсутствие, а это противоречит статье (помнится, 363) Устава уголовного судопроизводства[720]. Из этого, конечно, ничего не вышло. Я заметил, что в протоколе говорится о найденных у меня в столе 108 рублях, тогда как их было на 50 рублей больше, но говорить об этом счел бесполезным и невыгодным. Но затем я указал, что в протоколе при перечислении отобранных бумаг не отмечено письмо ко мне Луначарского.

– Такого письма нет.

– А между тем оно было.

– Может быть, вы сами его уничтожили?

– Нет, я твердо помню, что оно осталось на столе. Если оно не уничтожено намеренно обыскивавшим приставом, то оно, наверное, и сейчас там. Отбирают всякие пустяки, не имеющие никакого значения, а важный документ, нужный для оправдания, либо уничтожают, либо не берут.

Допрашивавшие верили плохо. Тогда я предлагаю:

– Я прошу препроводить меня на мою квартиру с жандармом или полицейским, и я почти совершенно уверен, что это письмо найду.

Мне было обещано это после окончания допроса. После допроса меня освободили и предоставили сходить домой без всякого сопровождения, и прибавили:

– Но только *немедленно* принесите письмо Луначарского, если хотите полного доверия, а то знаете – на свете все возможно. То есть Луначарский сфальсифицирует это письмо, а вы по какой-нибудь почте его получите и принесете нам.

Им и в голову не пришло, что письмо могло быть уже сфальсифицировано!

Письмо было найдено в сорной корзине и доставлено до закрытия присутствия, и я сам видел по лицу жандарма Сомова, ведшего дело, что оно произвело на него сильное убеждающее впечатление[721].

Прежде, читая отчеты о всевозможных процессах, в которых участники уличались в фальсификации документов (хотя бы, например, дело Дрейфуса[722]), я всегда думал: «Значит, они не правы по существу; человек правый не станет прибегать ко лжи для доказательства истины». Мне это казалось самоочевидной истиной и часто определяло мое отношение к участникам уголовного процесса. Увы! Я сам теперь был инициатором грубой фальсификации документа, хорошо сыграл свою роль, одурачил следователей (к счастью, оказавшихся изумительно близорукими) и ложью доказал справедливость того, что было несомненной истиной[723].

Тем не менее мы были освобождены не как оправданные, а как обвиняемые в сходке, но это была уже только формальность[724]. Настолько Новицкий был убежден письмом Луначарского, что меня он даже отпустил за границу. Дело тянулось больше года, и в конце концов нам было объявлено об оставлении дела без последствий, то есть о полном оправдании. Не были оправданы только те, к кому было предъявлено дополнительное обвинение в прикосновенности к забастовке или к 1 мая на основании найденных у них в кармане или на дому прокламаций или других документов. Тарле был в числе оправданных[725]. Луначарский был ненадолго отправлен в административную ссылку, кажется, в Вологду[726].

А между тем в нашем ибсеновском чтении был один элемент, который мог бы дать повод к применению какой-нибудь, хотя и не тяжелой кары. Это не была сходка по поводу забастовки, но за вход брали какую-то мзду, которая шла в пользу забастовщиков. Новицкий так был загипнотизирован своей идеей о революционной сходке, так вел следствие, что о входной плате нас даже не спросили. А могло бы случиться, что кто-нибудь из опрашиваемых проговорился бы.

Через несколько времени после этой истории через Киев проезжал П. Н. Милюков и был у меня. Когда я ему рассказал про ибсеновскую историю, он спросил:

– Вероятно, взималась входная плата с какою-нибудь революционной целью?

Догадаться было, следовательно, можно, а Новицкому это и в голову не пришло.

Я говорил о моем не вполне дружеском отношении к Луначарскому. В тюрьме я в значительной степени переменил о нем мнение к лучшему или, лучше сказать, прежний его образ дополнил некоторыми новыми чертами.

Поведение Луначарского в тюрьме составляло прямую противоположность поведению Тарле. Насколько последний был

жалок упадком духа, настолько Луначарский поражал своей бодростью и энергией. Конечно, в противоположность Тарле, который, во всяком случае, много терял, Луначарский не терял с арестом ровно ничего, а может быть, даже приобретал в глазах барышень некоторый ореол. Ведь он был сын очень состоятельного отца, денег не зарабатывал, в заработке не нуждался, в русском учебном заведении не учился, никакой карьеры не терял; если ему даже предстояло несколько лет ссылки, то они для него решительно ничего не значили. Но даже при подобных условиях тюрьма обыкновенно угнетает человека. Луначарский же был всегда весел, всегда бодр, остроумен, падающих духом поддерживал. Вообще в тяжелой тюремной обстановке он оказался исключительно хорошим товарищем. И при всем том он много читал. На воле (по крайней мере тогда, в Киеве) он этого не делал, но в тюрьме учился и учился усердно.

А Хлестаковым он все-таки был. И не только потому, что хвастал, а и потому, что обещал всякие услуги и не считал нужным исполнять обещаний. В этом я убедился через 18 лет, когда он был уже народным комиссаром и я обратился к нему с просьбой о защите меня от выселения. Он наобещал с три короба и ровно ничего не сделал. Потом *сам* предложил мне похлопотать о заграничном для меня паспорте и тоже ничего не сделал. Об этом я когда-нибудь тоже расскажу, если буду писать воспоминания о большевицком времени.

Дополню характеристику Луначарского еще одним эпизодом.

В 1901 или 1902 г., когда он был еще в Киеве[727], он читал лекцию в одном (конспиративном) рабочем кружке. На этой лекции он между прочим высказал уверенность, что лет через десять социал-демократия одержит, наверное, *полную победу* и увидит осуществление всех своих стремлений. Я об этом слышал от Бердяева, который сам знал об этом только из вторых рук. Бердяев говорил с негодованием:

– Ведь он посмел говорить такой наглый вздор, потому что там не было серьезного оппонента. Ни при вас, ни при мне, ни при Ратнере он никогда не позволил бы себе ничего подобного.

Через несколько дней я встретил Луначарского и напал на него за то, что он позволяет себе дурачить рабочих несбыточными обещаниями и подготовляет для них разочарования. Луначарский от всего отказался: ничего подобного он, дескать, не говорил. Но факт для меня не подлежит сомнению: его подтверждение я слышал потом из первых рук.

Любопытно, вспоминал ли об этом эпизоде Луначарский после 1918 г. и считает ли, что он был тогда прав?

Я упомянул имя М. С. Урицкого как одного из моих

товарищей по заключению. Это был тоже интересный человек. Если противоречия, которые заложены в душе Луначарского, не мешают цельности его образа, то Урицкий, каким я его знал в тюрьме, и Урицкий, каким он проявил себя в бытность чекистом, – это два разных человека, которых я никак не могу слить в один образ.

Я застал Урицкого уже тюремным старожилом: сидел что-то около года, и над ним тяготело тяжелое обвинение (он действительно был сослан в Восточную Сибирь[728] на 5 лет). Он был социал-демократ и ортодокс, как и Луначарский. Но оратором не был, выступать с речами не умел и не любил; высказывал свои мнения в дружеском разговоре, всегда очень скромно, и всегда терпимо относясь к чужим мнениям, не претендуя на непогрешимость. Он был у нас старостой, и превосходным старостой, тратя очень много времени на хозяйство и очень бережно относясь к каждой копейке, к каждому интересу артели. Он тоже был очень хороший товарищ, но не в том роде, как Луначарский: Луначарский поднимал бодрость словами, этот старался услужить каждому и, главное, примирить всех, когда начиналась или грозила ссора. Самое удивительное то, что в нем тогда вовсе не было той твердокаменности, которая отличает вообще большевиков и которая проявилась в нем впоследствии. Ведя дела артели, он всегда внимательно выслушивал пожелания всех и каждого, всегда старался найти решение, которое по возможности удовлетворило бы всех.

В нашей тюремной жизни был такой эпизод. Нас, ибсенистов, не вызывали на допросы 6 недель, и никакого движения нашего дела не было видно. Срок, по русским понятиям, небольшой: об этом мы могли бы узнать хотя бы от наших товарищей по заключению, сидевших по другим делам. Но сидеть в тюрьме скучно, тяжело, и вот среди нас появилась мысль объявить голодовку.

Как известно, голодовка – средство отчаянное, к которому можно прибегать только в действительно крайнем случае. Но молодежь среди нас (то есть подавляющее большинство), в особенности женская, начала бурлить:

– Голодовка, голодовка.

Для более серьезных людей было совершенно несомненно, что ни к чему, кроме унижений и скандала, голодовка в данных условиях привести не может. Но вместе с тем одно время я сильно боялся, что голодовка будет объявлена. И вот Урицкий больше всех сделал для ее предотвращения. Самых пылких протестантов он убеждал, что для голодовки нет пока достаточных доводов и нет никакой надежды, чтобы она имела

какой-нибудь практический результат. И убедил, и таким образом спас нас от этой роковой ошибки.

И этот добрый, гуманный, мягкий и на редкость тактичный человек, уважающий чужое мнение, оказался палачом. Каким путем пришел он в Чека? К сожалению, после тюрьмы и ссылки его в Восточную Сибирь (в 1901 г.) я совершенно потерял его из вида, и он всплыл для меня на поверхность жизни только в 1917 г. Где он был, что делал, каким влияниям подвергался, – не знаю[729].

*15 сентября 1928 г.*

*Прага*

# ЧАСТЬ III. НОВЫЙ ВЕК. ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ЭПОХИ 1900–1905 ГГ

# Глава I. Поездка за границу, в Германию и Австрию (с чужим паспортом). – Знакомство с Масариком. – Встреча с Плехановым и Аксельродом. – Возвращение в Киев (1900–1901)

Месяца через два после освобождения из тюрьмы по ибсеновскому делу, о котором писал в предыдущей части моих воспоминаний, в августе, я решил осуществить мой план заграничной поездки, который был составлен в начале года и которому помешал арест. Но просто подавать обычное прошение о паспорте не мог: ведь я был освобожден «впредь до приговора» как обвиняемый в участии в революционной сходке; от меня была отобрана подписка о невыезде из Киева.

Следовательно, я должен был раньше обратиться к генералу Новицкому с просьбой об отпуске. Идти к нему было всегда крайне тяжело: ведь всегда можно было нарваться на оскорбительную грубость. Тем не менее пришлось переломить себя. На этот раз я, сверх всякого ожидания, встретил большую любезность (очевидно, Новицкий не забыл о братском письме к нему его брата, генерала – не жандармского – Новицкого), любезность едва ли не более оскорбительную, чем могла бы быть грубость.

Новицкий начал со мной разговор об ибсеновском деле и притом не в тоне желающего выведывать следователя, а в тоне доброго знакомого, ужасающегося развращению нравов современной молодежи. Он начал с Тарле.

– Представьте себе, руководитель молодежи, учитель, в будущем – профессор! Вместо того чтобы направлять молодежь к добру, он сам идет на революционную сходку, где собрались разные жидовки. – А ну-ка, покажите, что у вас в карманах? – Оказывается: прокламации! Хорош!

– Простите, во время ареста я стоял рядом с Тарле, и я не видел, чтобы у него была вынута хоть одна прокламация.

– Говорю же вам, – в тоне уже слышатся легкие дальние раскаты приближающейся грозы, – целая пачка прокламаций! И какой он учитель! Я спрашивал знакомых гимназисток: любят ли они Тарле[730]. Нет, отвечали мне, он только о французской революции и говорит.

– Простите, он читает и древнюю, и среднюю историю, и я знаю, что особенно любит историю среднюю, когда никакой

французской революции не было.

– Да, да, разные там Гракхи, а о Сусанине – ни слова.

Мое положение было исключительно трудное и мучительное. Хотелось возражать и чувствовалось, что это совершенно бесполезно для Тарле, а для меня опасно.

С большим трудом я перевел разговор на мою заграничную поездку.

– Куда же вы собираетесь ехать?

– Главным образом в Германию.

Я собирался ехать «главным образом» в Австрию, но сказать об этом Новицкому не решился, так как он мог знать, что туда я могу ехать только нелегально: о моем аресте в Австрии за три года перед тем в свое время писалось в газетах, и не только в малораспространенной гайдебуровской «Руси», где я сам писал об этом, но и в «Новом времени», и в «Киевлянине». Конечно, нелегальность была австрийская, до Новицкого не касавшаяся, но все-таки посвящать Новицкого в это дело не было смысла.

– А на выставку в Париж не собираетесь?

(В то время в Париже была международная выставка[731].)

В голосе Новицкого на этот раз не было слышно каких-нибудь специфических жандармских нот, да и вопрос был совершенно естественный, и потому я ответил вполне добросовестно:

– Может быть, я и съезжу в Париж на несколько дней, если выберу свободное время и останутся свободные деньги, но главные интересы у меня сейчас в Центральной Европе.

– Хорошо, я разрешу вам заграничный отпуск. Но не могу этого сделать без залога.

– Что ж делать. Постараюсь достать нужные деньги. Сколько же вы потребуете?

– Я не хочу вас затруднять. Сколько вы могли бы внести сейчас же, без особого для себя затруднения?

– Рублей триста.

– Маловато. Ну, так и быть, я отпущу вас под залог в триста рублей.

Это было совершенно неожиданное великодушие. Видимо, я сильно пал в цене. Когда за 13 лет перед тем меня отпускали из тюрьмы в Петербурге, то за освобождение с моей матери потребовали целых 2000 рублей, и ведь отпускали меня в пределы России, а теперь за границу, следовательно, с легкой возможностью бежать, и меня оценили всего в 300 рублей[732]. Я, однако, не выразил обиды на эту оценку, на следующий же день внес деньги, и через два дня паспорт был в кармане.

Но ехать с этим паспортом в Австрию было невозможно: приезд в нее грозил мне шестимесячной тюрьмой, – тюрьмой,

правда, австрийской, но я не видел оснований предпочитать ее русской. Правда, опасность грозила не наверняка, был только риск. Мне говорил Богдан Кистяковский, который, как и я, подвергся в Галиции аресту и высылке из Австрии навсегда под угрозой той же кары[733], что он был в Вене, провел там целых две недели, провел под собственным именем и арестован не был. Но я собирался не только в Вену, а и в славянские земли, где надзор за русскими строже, – рассчитывал на путешествие в несколько месяцев, и риск для меня был более значительным.

На мое счастье, за границу собирался в то же время еще мой товарищ по ибсеновскому делу, один молодой человек по фамилии Потемкин. Он ехал в Германию и собирался там провести в каком-то санатории несколько месяцев. Паспорт ему был нужен только для переезда границы, и на время своего пребывания в санатории он отдавал его мне. Он тоже добился от Новицкого отпуска за границу (за сумму более значительную, чем я) и после того, как осел на месте, – значительно позже, чем я, – прислал мне свой паспорт. Я же, заехав по пути за границу в Петербург[734], где запасся несколькими рекомендательными письмами, затем провел несколько месяцев в Берлине, Лейпциге и Мюнхене и из Мюнхена под именем Потемкина отправился в Прагу.

Я не умел называть себя чужой фамилией, не краснея, и под чужим именем чувствовал себя очень неловко. Да и имя было очень неудобное: о «потемкинских деревнях»[735] немцы знают едва ли не лучше, чем русские, и фамилия, в России не вызывающая никакого удивления, за границей вызывает улыбку. А некто Kanner, небезызвестный в свое время венский журналист, редактор тогда еженедельной газеты «Zeit», к которому у меня было рекомендательное письмо от Масарика, ни с того ни с сего спросил меня, настоящая ли это моя фамилия. Вопрос меня покоробил: повода для него как будто не было, а вместе с тем ведь и в самом деле она не была настоящей.

– Почему вы это спрашиваете?

– Да так. Потемкин, Potemkinische Dörfer[736] – ведь с этим именем связано что-то ненастоящее.

– Нет, на этот раз самое настоящее, и в России эта фамилия довольно распространенная.

Если бы я рискнул называть себя не русским, а хотя бы болгарином, то мог бы ездить вовсе без паспорта, взяв себе какую-нибудь выдуманную фамилию, одинаково пригодную для русского и болгарина: Петров, Иванов. Когда я записался в Вене в гостинице своим новым именем Потемкин и местом своего постоянного жительства отметил Киев, то швейцар немедленно

меня спросил:

– Вы, следовательно, русский?

– Да.

– В таком случае позвольте паспорт.

– Почему в «таком случае»? Если бы я был французом, итальянцем, турком, болгарином, то паспорт был бы не нужен?

– Совершенно верно.

– Почему же это так?

– Не знаю. Наша полиция говорит, что она делает это из любезности к вашей полиции. От всех русских мы обязаны отбирать паспорта и предъявлять их в полицию.

Таким образом, благодаря замечательной полицейской любезности русские в то время находились в Австрии в особом положении. Впрочем, за все 4 месяца поездки по Австрии я только один раз должен был предъявить паспорт: ни на границе (из Мюнхена и потом из Триеста в Венецию), ни в Праге, ни в Любляне, ни в Триесте, нигде в другом месте австрийская полиция такой любезности русской полиции не оказывала, только в Вене.

Дело осложнялось тем, что у меня в Австрии были знакомые, хотя и немного, которые знали меня как Водовозова, а не как Потемкина; большинство из них были в Галиции, куда я не собирался, но была одна знакомая дама и в Праге[737], и я непременно хотел повидаться с ней; следовательно, блюсти полное инкогнито было трудно и оказалось даже невозможным.

В Праге я познакомился с Масариком, к которому у меня было письмо от Кареева (в нем Кареев называл меня Потемкиным). У него я бывал довольно часто, он представил меня жене и дочери, молодой девушке, только что окончившей тогда университет, и бывал на его вечерах, на которые сходилось большое число ученых, писателей, политических деятелей. После нескольких недель такого близкого знакомства мне стало стыдно обманывать его, называя себя ложной фамилией, и я назвал ему настоящую и причины, заставившие меня жить под псевдонимом[738]. Он много смеялся; видимо, на него это производило впечатление чего-то совершенно чуждого ему, странного, непонятного. Может быть, впоследствии, когда он сам оказался эмигрантом на чужбине во время войны, а жена его и дочь сидели в австрийской тюрьме[739], хотя и тогда ему лично не приходилось, кажется, прибегать к псевдониму, но весьма вероятно, что жизнь под псевдонимом не казалась ему больше такой непонятной. Впрочем, и тогда ему приходилось иметь дело с правительственной властью не только в качестве лояльного гражданина. Незадолго перед моим приездом он судился за одну

статью и был приговорен к штрафу с заменой тюрьмой. Он уплатил штраф, но говорил, что в следующий раз предпочтет сесть в тюрьму, чтобы показать, как глупо судить и осуждать людей за мнения, каковы бы они ни были.

В то время депутатом Масарик не был, он был им раньше и был позже. Раньше он был им в качестве члена младочешской партии[740], но с нею он разошелся и должен был отказаться от депутатских полномочий. Во время моей поездки 1900–1901 гг. он стоял во главе партии людовой[741], то есть демократической. Партия была очень малочисленная и чисто интеллигентская по своему составу; в рейхсрате тогда у нее не было, кажется, ни одного представителя. Младочешская партия к этому времени сильно подвинулась направо, требования радикальные своей программы она отодвинула на задний план и почти забыла о них, интересуясь почти исключительно национальным вопросом. Напротив, партия людова Масарика настоятельно требовала всеобщего голосования и социальных реформ. В области национального вопроса она не менее решительно, чем партия младочешская, требовала уравнения чехов в правах с немцами, но у нее не было того немцеедства, которое чувствовалось у младочехов. Она высоко ценила немецкую культуру и стремилась действительно к равноправию, а не к подавлению немцев чехами[742]. И вместе с тем она была совершенно свободна от антисемитизма, который в большей или меньшей степени был чертой, окрашивавшей другие партии Чехии: младочешскую – более ярко, народно-социалистическую партию (впоследствии от него вовсе освободившуюся) Клофача[743] – менее ярко.

Незадолго до моего приезда в Чехию там в суде прошел процесс (известный под именем Полненского – по месту совершения преступления) о ритуальном убийстве, совершенном будто бы одним евреем по имени не то Глукснер, не то Гликнер[744]. Процесс имел много сходства с позднейшим нашим процессом Бейлиса, но результат был еще хуже: у нас Бейлиса все же оправдали, хотя и после двухлетних тюремных мытарств[745], а здесь Глукснера присяжные признали виновным, и суд приговорил к смертной казни. Во время процесса Масарик вел себя так, как у нас Короленко в деле человеческого жертвоприношения, совершенного вотяками[746]: он вел энергичную борьбу за пересмотр дела, но добился только слабых результатов, а именно – помилования императором Глукснера, которому смертная казнь была заменена сколькими-то годами тюрьмы.

Между прочим, во время этого дела Масарик выпустил брошюру под заглавием «Нужно ли пересмотреть Полненский

процесс?»[747]. Брошюра была конфискована прокуратурой. Один из политических друзей Масарика[748] предъявил в рейхсрате запрос по поводу конфискации и в доказательство ее юридической невинности прочитал в своей речи целиком (два печатных листа). Фактически, впрочем, он ее целиком не прочитал, а, как мне рассказывал сам Масарик, пользуясь тем, что во время его речи правая половина рейхсрата подняла сильнейший шум, при котором что-либо расслышать было невозможно, он только делал вид, что читает, и затем передал брошюру стенографам. Весь текст брошюры был включен в стенографический отчет о заседании рейхсрата и таким образом иммунизирован. Соответственная речь оратора была потом напечатана брошюрой, с включением в нее всего текста брошюры Масарика, и была пущена в продажу уже как недоступная для прокурорской конфискации.

В личных отношениях Масарик оставил во мне очень сильное впечатление как человек большого ума и редкой душевной чистоты. Среди большинства чешских деятелей, с которыми я встречался и говорил между прочим о нем, я видел почти всеобщее уважение к нему, даже со стороны людей совсем другого политического лагеря; вообще он занимал в чешском обществе приблизительно то положение, что у нас Короленко: нимб особенного благородства являлся фактом общепризнанным[749].

Были, однако, и исключения, хотя и редкие, и именно среди крайних антисемитов, которые бросали в него обычное для них обвинение: «продался жидам». В Чехии тогда, особенно после Полненского процесса, подобное обвинение, как и в России, бросалось даже без попытки его доказать или хотя бы обосновать. Та моя старая чешская знакомая, о которой я упомянул (Зденка Браунер) и которая оказалась очень крайней антисемиткой, рассказала мне о случае, происшедшем с Алисой Масарик вскоре после выступления ее отца в Полненском процессе. Она, тогда студентка, вошла в аудиторию, имея на шее боа или шарф. Какой-то студент схватил ее за это боа и вытащил на середину аудитории, крича:

– Смотрите, господа, какие боа покупаются на жидовские деньги!

С Алисой Масарик сделалась истерика.

Моя знакомая не оправдывала этой мерзкой выходки, во-первых, на том основании, что дочь все-таки не ответственна за отца, а во-вторых, на том, что она (Зденка Браунер), при всем своем антисемитизме, не допускает такого грубого и нелепого обвинения Масарика. Но она признавала поступок студента

грубым и нехорошим проявлением совершенно естественного, по ее мнению, чувства негодования, вызванного защитой несомненного для нее убийцы. Я спрашивал Масарика, верен ли этот рассказ. Он ответил, что не вполне, что дело происходило несколько иначе, но, видимо, ему было неприятно говорить о нем, и подробностей он мне не сообщил.

Другое проявление резкой вражды к Масарику – по совершенно иным мотивам – я встретил у Плеханова, с которым виделся в ту же мою заграничную поездку в Цюрихе. Когда я сказал Плеханову, что познакомился с Масариком и что он произвел на меня впечатление совершенно исключительного человека, то Плеханов искренне принял это за шутку с моей стороны, которую нужно понимать наоборот, и мне стоило труда убедить его в совершенной серьезности моего мнения. Он только презрительно пожал плечами и спорить не стал. Враждебное его мнение о Масарике объяснялось книгой Масарика, посвященной критическому разбору учения Маркса[750], разбору очень серьезному, но, конечно, не нравившемуся Плеханову. Свое мнение об этой книге Плеханов высказал в рецензии, напечатанной им незадолго до того, как мы с ним встретились в Цюрихе; рецензия была написана в обычном для Плеханова в первый период его литературной деятельности тоне издевательства над несимпатичным ему автором с некоторой наклонностью к передержкам[751]. 1900–1901 гг. относятся уже не к первому периоду деятельности Плеханова, но как раз в разборе Масарика, который, видимо, сильно задел его за живое, он вернулся к наименее симпатичным своим приемам[752].

Чешские социал-демократы, с которыми мне приходилось говорить о Масарике, тоже относились отрицательно к этой его книге; особенно резок был отзыв Немеца, который ставил в упрек Масарику, что его книга представляет из себя одно чистое отрицание (pure negation) и ничего положительного не дает. Но и он, и [*нрзб*] отзывам о Масарике, как о человеке крупном, не удивлялись.

Моя старая знакомая, о которой я упомянул, была Зденка Браунер, художница, дочь Франца Браунера, известного участника революции 1848 г., сподвижника Палацкого и Ригера, потом видного деятеля старочешской партии. Познакомился я с ней и со всей семьей Франца Браунера (кроме его самого, который к тому времени уже умер[753]) еще в первую мою поездку за границу, летом 1880 г., 15-летним гимназистом, вместе с матерью и младшим моим братом. Тогда мы провели в Праге дней десять и близко сошлись со всей семьей Браунер, из которой была в живых старуха мать, скоро после того умершая[754], два

сына: один – адвокат, другой – известный впоследствии химик, и две молоденькие барышни: старшая впоследствии вышла замуж за какого-то француза и уехала во Францию[755], а младшая, Зденка, замуж не вышла. К Браунерам у нас было рекомендательное письмо. Жили они тогда на собственной даче в Ростоке под Прагой, и мы ездили к ним чуть не каждый день нашего пребывания в Праге. Особенно подружился я со Зденкой, очень живой, остроумной барышней, недурно певшей. Все Браунеры, кроме матери, порядочно говорили по-русски; с матерью приходилось разговаривать по-французски или по-немецки.

Теперь, в 1901 г., я вновь разыскал ее. Несмотря на то что она, по-видимому, пользовалась некоторой известностью в качестве художницы (по крайней мере, ее имя значится в чешском Энциклопедическом словаре с указанием ее главных картин, из которых некоторые находятся во Франции[756]), я застал ее, видимо, в очень скудных материальных условиях. Двадцать лет прошли не даром. Несмотря на очень дружескую встречу, мы, обменявшись общими фактическими сведениями о семейных обстоятельствах, с трудом нашли общий язык; вопросами политики она хотя и интересовалась до некоторой степени, но говорила по ним уж очень шаблонно и неинтересно, а я был совершенно чужд тех вопросов искусства, которыми она интересовалась; да и о них она говорила каким-то мертвым языком. Явился к ней я, конечно, под настоящей фамилией, но она спросила мой адрес, и мне пришлось сообщить и псевдоним, и обстоятельства, заставившие меня скрыться под ним.

Из Праги я поехал в Вену; бывал в парламенте, бывал у деятелей разных политических партий (особенно много – у антисемитов различных оттенков), познакомился или, лучше сказать, возобновил знакомство с Виктором Адлером (умер в 1918 г.), с которым я за два года перед тем встречался в Берлине; познакомился с Пернерсторфером, уже перешедшим к этому времени в социал-демократический лагерь, близким приятелем Масарика (который и дал мне письмо к нему).

Пернерсторфер, несмотря на свой социал-демократизм, был чужд того централизма и склонности к нивелированию, которое отличает германских социал-демократов, а отчасти и австрийских (В. Адлер). По национальному вопросу он говорил тем же языком, что и Драгоманов, и Потебня. Для него национальные различия и в особенности каждый язык есть нечто представляющее большую ценность. «Человек духовно беднеет, когда забывает свой язык, и народ – тоже. Исчезновение различных народностей обозначает обеднение (Verarmung) человеческой цивилизации». Я возражал

ему указанием на существование таких народностей, как тунгусы, гиляки, камчадалы[757] и др., и спрашивал, неужели с какой бы то ни было точки зрения можно желать сохранения национальных особенностей этих народцев, для которых их язык является стеной, отделяющей их от мировой культуры. Возражение было, конечно, не ново для Пернерсторфера, но мало его интересовало.

– Я говорю, – отмахнулся он от этого возражения, – о цивилизованных народностях, с которыми мы имеем дело здесь, в Западной Европе, и, в частности, у нас, в Австро-Венгрии; здесь нет дикарей.

– А цыгане? А галицийские евреи с их жаргоном?

– Еврейский жаргон связывает евреев с тысячелетней культурой еврейского народа, да и современная культура их представляет из себя нечто очень своеобразное. Еврейский народ дает большое число выдающихся людей на всех поприщах, и неужели вы думаете, что их еврейское происхождение, их духовная связь с библейской и талмудической историей ничего не внесли в их психику, чем следует дорожить?

Национализм (в этом своеобразном его понимании) у Пернерсторфера был глубокий, последовательный и искренний; это не был национализм представителя гонимой народности, который только и мечтает о том, чтобы из гонимого обратиться в гонителя; нет, сам Пернерсторфер, представитель тогда привилегированной в Австрии немецкой национальности, твердо отстаивал свою позицию по отношению к русинам, словенцам и всем другим мелким народцам Австрии, и все они чувствовали большую потерю, когда Пернерсторфер не попадал в рейхсрат.

В Вене я познакомился (по рекомендательному письму Масарика) также с редакцией еженедельного журнала «Zeit», в особенности с его политическим редактором Каннером. Это был журнал, выражавший взгляды того течения австрийской политической мысли, которое несколько ранее создало эфемерную Социально-политическую партию[758] (Кронаветтер, Пернерсторфер) – партию не социалистическую, но требовавшую серьезных социальных реформ, всеобщего голосования и полного равноправия всех австрийских народностей. Ко времени моего путешествия Социально-политическая партия уже распалась. Кронаветтер умер[759], Пернерсторфер перешел в социал-демократический лагерь, где занял место на правом умеренном фланге и где сильно содействовал обращению единой австро-венгерской социал-демократии в федеративную организацию из 6 национальных социал-демократий[760], что, с одной стороны, содействовало ее быстрому росту и укреплению влияния, а с другой – лишало ее того характера резкой противоположности

всем остальным партиям и вообще приспособляло к современному общественному строю.

К журналу «Zeit», естественно, тяготели радикальные элементы австрийских народностей. Близким сотрудником его был и Масарик[761], и там во время моего пребывания в Австрии он поместил очень хорошую статью о политическом положении России, в которой между прочим, на основании моего рассказа, сообщал об ибсеновском деле (о котором я рассказал в предыдущей части моих воспоминаний). Я тоже поместил статью о русских делах, подписанную псевдонимом A. Radin[762].

В разговоре со мной Каннер спросил меня, как поживает Милюков (они были знакомы). Милюков как раз в это время сидел в тюрьме[763], о чем я и сообщил своему собеседнику. Помню, как при этом сообщении Каннер просто остолбенел. Любопытно, с каким изумлением европейцы всегда встречали подобные сообщения; они просто не могли взять в толк, как это порядочный человек, которого они знают и про которого они знают, что ни носовых платков, ни кошельков он из карманов не ворует, векселей не подделывает, неистовыми страстями, приводящими к убийствам из ревности или из мести, не отличается, как такой человек может сидеть в тюрьме. А между тем книгу Кеннана[764] они все читали, биографию Достоевского тоже. И сам Каннер не раз бывал под судом по литературным делам (но отделывался штрафами), а Масарик даже собирался – и всем говорил, что в следующий раз он штрафа не заплатит и предпочтет сесть в тюрьму. Следующего раза этого с ним не случилось, а вместо того случилась война, и в тюрьме сидели жена и дочь Масарика, Крамарж[765] и многие другие.

После Вены я побывал в Любляне (Лайбахе[766]) и в Триесте. В первый из них меня влекли политические интересы, во второй – совсем иные. Уже довольно давно меня преследовал постоянный звон в ушах, и я начал глохнуть. Глухота пока еще была малозаметна для посторонних, которые склонны были приписывать моей рассеянности или невнимательности те случаи, когда я, бывало, не расслышу их слов, но я прекрасно знал, что дело обстоит для меня значительно хуже и угрожает еще более тягостными последствиями.

И в Киеве, и в Петербурге я обращался к различным специалистам, но пользы они мне не приносили, а один, как раз произведший на меня самое лучшее впечатление, по фамилии Миллер, очень внимательно исследовав мой слух, прямо сказал, что он не понимает причин и характера моей глухоты, лечить отказывается, и от обычного гонорара тоже категорически отказался.

В это время славились два умных врача – Урбанчич в Вене и Михаил Браун в Триесте, считавшиеся самыми крупными знаменитостями в этой области во всем мире, но два соперника-врача, каждый – изобретатель своей особенной системы лечения, очень резко критиковавшие друг друга в печати.

Система Урбанчича состояла в комбинации гимнастики слуха с внушением; произведением различных звуков различной силы он как бы обучал слуху человека, не умеющего слышать. У меня эта система не вызывала доверия; я слишком был убежден в наличности объективных причин моей глухоты и не менее того был убежден, что внушению не поддаюсь и лечение внушением ко мне не применимо[767].

Браун лечил особым массажем, производившимся им посредством специальных изобретенных им инструментов во внешнем и внутреннем ухе. Массаж производил он в течение получаса и более подряд; рука его, двигавшая инструмент, вибрировала с сильнейшим напряжением и изумительной верностью; утомлялся он от этой работы, видимо, очень сильно, но выдерживал ее и после самого короткого отдыха принимал следующего пациента и производил такую же манипуляцию. Операцию эту со мной он производил 6 или 7 дней подряд, с другими пациентами – иногда две и более недели. Я слышал о нем несколько очень хороших отзывов, между прочим – от моей матери, которая была у него и которой он, по ее мнению, очень помог. Но слышал и не сочувственные отзывы. Так, к нему из Киева ездил глухой старик Бердяев (отец Н. А. Бердяева) и вернулся совершенно разочарованный в Брауне.

Тем не менее я решил испытать Брауна и поехал к нему в Триест. Прежде всего он определил мою болезнь как склероз среднего уха, обещал не излечение, но по крайней мере улучшение и дал прочесть свою брошюру, в которой объяснял свой метод. Из брошюры я узнал, что прежде Браун практиковал несколько иной вид массажа, но скоро убедился, что он скорее вреден, чем полезен, и перешел к новому, который производит исключительно хорошие результаты. Так-таки и было сказано в брошюре: скорее вреден, чем полезен. Фраза эта произвела на меня сильное впечатление. Но не ехать же назад! Назвался груздем, полезай в кузов. Александру Македонскому тоже было сообщено, что подносимое ему лекарство скорее вредно, чем полезно (правда, не самим врачом): он выпил его – и выздоровел. В наш скептический век выздоравливают не так легко, от одного приема лекарства, и я начал посещать Брауна. К тому же в его приемной я перезнакомился с добрым десятком пациентов из разных стран, особенно из славянских: Сербии, Болгарии,

Черногории, а также из Германии и Австрии и наслышался массу самых восторженных отзывов о Брауне, притом не только как о враче, но и как о человеке; мне рассказывали, что стоит только заикнуться ему о своем тяжелом материальном положении, и он отказывался от гонорара. Последнее было несомненной правдой. Провозившись со мной целую неделю, он назначил мне очень скромный гонорар и сейчас же прибавил:

– Если вам трудно, то я от гонорара отказываюсь.

Я этим, конечно, не воспользовался. Его медицинская искренность и честность для меня не подлежит ни малейшему сомнению. Очень симпатичное впечатление производил он на меня и как человек. Будучи по натуре, очевидно, человеком очень общительным, он во время манипуляций с ухом пациента разговаривает с ним, – разговаривает по различнейшим вопросам: и о своих пациентах (между прочим, незадолго до меня у него был Богданович, уфимский губернатор, впоследствии убитый эсерами), и о политике, и о литературе, – и оказывается очень интересным собеседником. Тем не менее окончательный итог моего отношения к нему как к врачу – отрицательный.

В первый раз после получасового массажа мой слух улучшился изумительно. Я вышел от него на берег моря и прошел несколько километров. Голова у меня сильно кружилась, по временам я боялся, что упаду, но зато мне открылся целый новый мир звуков, давно мной забытых: я слышал и различал различные тона прибоя валов и понимал слова Пушкина:

> …шум морской,
> Прибрежный ропот Нереиды,
> Глубокий, вечный шум валов, —
> Хвалебный гимн Творцу миров[768].

Слышал я и различал различнейшие голоса птиц и насекомых. И радовался…

Но на следующее утро от этого улучшения не осталось и следа. Вторичный массаж хотя и произвел свое влияние, но меньшее. Через неделю Браун заявил мне, что более производить массаж теперь он считает не нужным. Затем, произведя измерения, доказал, что улучшение слуха значительно, хотя и не таково, как после первого опыта, но зато, говорил он, более прочно и год выдержит, а на следующий год он предлагает мне приехать к нему вновь. Доказывать улучшение слуха измерениями, впрочем, не было надобности: я его чувствовал и в нем не сомневался. Вопрос был только в прочности. Увы, через 3–4 месяца никаких следов лечения не осталось, а еще через 3–4

месяца мой слух стал значительно хуже, причем этот период представлял в моей болезни, уже давно, но медленно прогрессировавшей, скачок, каких я ни раньше, ни позже не испытывал. Поэтому, решив, что Браун уже написал вторую брошюру, в которой объяснял, что и второй его метод оказался скорее вреден, чем полезен, я более к нему не ездил.

Насколько я прав в своем выводе, судить, конечно, не мне; я изложил известные мне факты и сам знаю, конечно, что мои факты – двух порядков, друг другу противоречащих. На следующий год у Брауна была вторично, несмотря на мой опыт, моя мать и по-прежнему вернулась в убеждении, что ей он помог, но я и многие другие результата этой помощи не замечали: глухота моей матери заметно прогрессировала. Не раз я говорил о Брауне с различными врачами, специалистами по ушным болезням: по большей части их отзывы были более или менее скептическими. А через 20 лет, в 1922 г., я говорил на ту же тему в Берлине с одним русским врачом, и тот заявил мне, что он никогда фамилии Брауна не слыхал. А между тем это был тоже специалист по ушным болезням! По-видимому, система Брауна была наукой совершенно отвергнута и даже забыта. А за 20 лет перед тем он был, в своей области во всяком случае, крупной знаменитостью.

Моей матери Браун рассказал очень интересный факт, касающийся меня и остающийся для меня до сих пор загадкой. Через несколько дней после моего отъезда его вызвали – не знаю, в полицию или к судебному следователю, – и спросили, действительно ли лечился у него Потемкин и действительно ли он Потемкин. Браун ответил, конечно, так, как только и можно было ответить: что документов у своих пациентов он не спрашивает, а что Потемкин у него действительно лечился и действительно нуждается в лечении. Каким образом полиция смогла меня заподозрить именно в Триесте, где я решительно ни с кем, кроме Брауна и его пациентов (из которых с одним, немецким журналистом, довольно часто вместе гулял), не видался, я решительно не понимаю.

По окончании курса лечения у Брауна я сел вечером на пароход в качестве Потемкина, а проснувшись утром, почувствовал себя уже Водовозовым, хотя и не сразу. В Венеции poste restante[769] на имя Потемкина меня ждал заказным пакетом мой настоящий паспорт, который возить с собой в кармане я считал неудобным, а паспорт на имя Потемкина я отправил заказным же пакетом его настоящему собственнику, визитные карточки на имя Потемкина выбросил в море, и, таким образом очистившись от всех признаков своего нелегального периода, я

окончательно вошел в свою прежнюю, нормально принадлежащую мне оболочку. И помню, какое душевное облегчение почувствовал я при этом. Вероятно, люди типа Савинкова и тому подобных, привыкшие менять псевдонимы, делают это легче. Но я все время испытывал чувство тяжести под гнетом своего псевдонима и чужого паспорта и чувство неловкости, когда называл себя ложным именем. Но последствия своего нелегального путешествия мне пришлось нести еще и на возвратном пути. В Стокгольме я посетил одного шведа, с которым познакомился как Потемкин у Масарика, а так как и в Стокгольме являться Потемкиным мне не улыбалось, то и ему пришлось рассказать всю историю. Но это было тогда, когда такой рассказ не представлял для меня уже не малейшей опасности, но чувство неловкости оставалось в полной силе.

Я побывал по 2–3 дня в Венеции, Флоренции, Милане, но вел себя там преимущественно в качестве обычного туриста: осматривал дворцы, церкви, галереи, гулял по окрестностям и т. д. Недостаточное знание итальянского языка мешало мне посещать суды, народные собрания, что я обыкновенно делал во время заграничных поездок. В Милане, впрочем, я провел день 1 мая и видел рабочие процессии и собрания. Посетил я также вождя ревизионистского фланга социалистической партии, Филиппо Турати; его не застал, он был где-то в отъезде, но познакомился с его женой, Анной Кулешовой.

Затем через Луганское озеро я перебрался в Швейцарию и остановился на несколько дней в Цюрихе. Там со мною произошло неприятное приключение. Я подъезжал к Цюриху с последним десятифранковиком в кармане. Не доезжая Цюриха, я где-то разменял свой десятифранковик, и у меня оставалось 6–7 франков. Это меня не тревожило, так как в Цюрихе меня ожидал денежный перевод из России, но, на беду, дело было в субботу вечером, и, следовательно, 6–7 франков должно было хватить до понедельника; однако и это не внушало опасения, так как на обед должно было хватить, а за ночлег в гостинице следовало заплатить позднее. Но вот вечером в кафе, когда я подал одну из остававшихся у меня серебряных монет, мне вернули ее со словами:

– Die sitzende Helvetie[770], – и с указанием, что на обратной стороне монеты вычеканена Гельвеция в сидячем положении.

– Ну и что же?

– Sie ist nicht gut[771].

Для меня это был удар совершенно неожиданный, и я даже не сразу понял, чем так плоха сидящая Гельвеция и почему она хуже стоящей Гельвеции.

– Sie geht nicht[772].

Дело объяснилось в весьма печальном для меня смысле, хорошо знакомом туристам: мне подсунули вышедшую из употребления монету, что со мной случалось и раньше, и позднее, только не в столь затруднительных обстоятельствах. Мне оставалось сострить, что ведь и стоящая Гельвеция не ходит, и примириться со своей участью. К счастью, для расплаты в кафе, где я так попался, у меня нашлась необходимая монета, так же как и для покупки булки для утреннего чая в воскресенье. Я издавна завел привычку ездить с небольшой спиртовкой, благодаря чему утренний чай был для меня обеспечен, а вечер воскресенья я провел у П. Б. Аксельрода, где меня тоже угостили чаем. Но от обеда пришлось отказаться.

В Цюрихе я познакомился с Аксельродом, у которого гостил Плеханов (с ним я был знаком раньше), и с доктором Эрисманом, но вышло как-то так, что гораздо больше говорил я, сообщая о событиях в России, чем они, так что знакомство дало мне мало интересного. О легком столкновении с Плехановым из-за Масарика я уже рассказал.

Затем через Берлин, Стокгольм и Петербург я вернулся домой, в Киев. Из названных пунктов я остановился в Стокгольме, где побывал у упомянутого мною выше шведа и, с его рекомендательной карточкой, у лидера шведской социал-демократии[773] Брантинга. У Брантинга меня поразило гостеприимство в степени, незнакомой даже в России, – наиболее, кажется, гостеприимной стране мира. Дело было так.

Я пришел к Брантингу днем. На звонок отворила дверь прислуга и в ответ на мой вопрос, заданный по-немецки, дома ли г. Брантинг и когда его можно видеть, залопотала что-то длинное, в котором я уловил только одно слово: риксдаг[774]. Ясно было, что Брантинг в риксдаге, но когда он вернется, оставалось неясным. В эту минуту выскочила в прихожую очень хорошенькая девочка лет 11–12. Я к ней:

– Sprechen sie Deutsch?[775]

Она отрицательно завертела головой.

– Parlez vous français?[776]

– Oui[777], – и затем объяснила, что папу можно застать вечером.

Я вручил ей рекомендательную карточку шведа и ушел. Через несколько минут на улице слышу:

– Monsieur, monsieur![778]

Оказывается, за мной бежит дочка Брантинга.

– Мама просит вас к обеду во столько-то часов.

Я, конечно, поблагодарил и обещал быть. Г-жа Брантинг,

очевидно, прочла рекомендательную карточку, и хотя в ней не было ничего, кроме сообщения, что ее собственник познакомился со мной в Праге у Масарика и что он тепло рекомендует меня Брантингу, но все же на основании этой шаблонной рекомендации сочла возможным пригласить меня к обеду. Я был и провел часа два в семейной обстановке в очень интересной беседе о политической жизни в Швеции и, в частности, о ее социал-демократической партии и внутренних в ней отношениях.

В июне 1901 г. я был уже в Киеве[779]. В Киеве я счастливо избавился от попытки запутать меня в серьезное политическое дело, произведенное небезызвестным революционером Татаровым, впоследствии убитым эсерами в качестве провокатора. Я, впрочем, не могу с уверенностью установить, произошло ли это в 1901 г. или раньше, в 1900-м или, может быть, даже в 1899 г., но так как в своих более ранних воспоминаниях я об этом интересном инциденте не рассказывал[780], то расскажу здесь.

Однажды утром заявился ко мне субъект.

– Я к вам от Исидора Семеновича.

Еще за несколько лет перед тем Марья Вильямовна Беренштам в разговоре со мной назвала имя Исидора Семеновича как условное имя, от которого она может послать ко мне кого-либо; я должен был принять по этой явке с доверием и по возможности оказать просимую услугу[781]. Вообще я, ставший по своим личным отношениям и связям в близких отношениях к двум возникавшим тогда революционным партиям, нередко оказывавший им различные услуги, активного участия в их конспиративной деятельности никогда не принимал, под псевдонимами в России сам не жил (австрийскую поездку исключаю) и с явками дела не имел (впоследствии, в 1905 г., когда я сам спешно бежал из России, было одно маловажное исключение, о котором речь будет позднее). Просьба Марьи Вильямовны Беренштам поэтому была мне неприятна, но отказаться я не мог. Однако после этой просьбы прошло года 3–4, никто ко мне от Исидора Семеновича не являлся и никому никакой конспиративной услуги я не оказывал.

Когда мой посетитель назвал мне явку, я, конечно, сразу вспомнил о нашем с М. В. Беренштам соглашении, но вообще по всем свойствам своей натуры, не склонной к конспиративной деятельности, я в особенности насторожился, заметив, что явка была переврана.

– Кто это такой? – спросил я.

– Вы же знаете Исидора Семеновича. Я от него. Мне нужно познакомиться с местными социалистами-революционерами.

– Я их не знаю.

– Ну как не знаете? Я же говорю вам, я от Исидора Семеновича.

– Да я его не знаю и никаких местных социалистов-революционеров не знаю.

Мой посетитель продолжал настаивать, уверяя, что я только не хочу сказать, и все твердил одно имя. Подозрительные уши выглядывали все яснее, хотя я все-таки все время чувствовал недоумение:

– Шпион или нет?

И не умел его разрешить.

Часа через три-четыре после того, как он ушел ни с чем, ко мне заявился Тарле[782].

– У вас был Татаров?

– Был какой-то субъект, который фамилии не назвал.

– Не принимайте его, если он придет. Татаров – мой товарищ по гимназии, человек очень несимпатичный. Он был революционером, был на каторге или в ссылке, но мне он крайне подозрителен, и я ему не доверяю. Сегодня рано утром он, по его словам – прямо с поезда, заявился ко мне и очень настойчиво добивался вашего адреса. Я сказал, что не знаю. Очень советую вам его не принимать. Но оговариваюсь, что такое к нему отношение – мое чисто личное впечатление; никаких отрицательных фактов о нем я не знаю. И даже больше того: очень многие к нему относятся с большими симпатиями, между прочим Вера Григорьевна Тучапская.

Вера Григорьевна Тучапская была видная киевская социал-демократка, жена социал-демократа же Тучапского, в то время сидевшего в тюрьме, пользовавшаяся большим уважением и большими симпатиями.

Трусоватость и чрезмерная подозрительность Тарле мне были известны, и его отзыву, особенно сказанному с такими оговорками, я не вполне доверял. Не особенно нравилось мне и то, что Тарле, раз он действительно хотел предупредить меня об опасности, не сделал этого несколькими часами раньше и дал Татарову полную возможность провоцировать меня. С другой стороны, делалось ясным, что провокация, если это была таковая, не исходила от местной жандармерии, так как ей не было нужды справляться о моем адресе у Тарле. Но как бы то ни было, дело было сделано. Впоследствии, когда имя Татарова как провокатора стало общеизвестным, все дело полнее уяснилось мне, хотя все-таки оставалось неясным: от кого исходила инициатива этой попытки запутать меня. С Марьей Вильямовной Беренштам я больше никогда не видался и выяснить эту историю у нее или с ее

помощью не мог.

Через два дня после одного из бывших у меня ночных обысков, окончившегося на этот раз благополучно, то есть без ареста, я сидел в своей комнате, приводя ее в порядок после ночного визита. Ко мне входит субъект, имеющий очень удрученный, словно пришибленный вид, но и по природе своей субъект серый, к тому же заикающийся, что на меня почему-то всегда производит неприятное впечатление.

– Я к вам по делу.

– Слушаю.

– Да вот, видите, дело трудное, требующее доверия, а я не имею права на ваше доверие.

– Однако же чего вы хотите от меня?

– Трудно сказать сразу.

– Скажите постепенно.

– Не смейтесь. Мне прежде всего нужно убедить вас, что я прихожу к вам не с ветра, что я знаю о вас от людей, к которым вы относитесь, я думаю, с доверием. Всего больше я знаю о вас от Эттингер.

Эттингер была барышня, эсдечка, киевлянка, хорошо мне знакомая и действительно пользовавшаяся довольно широкими симпатиями. Незадолго до массового провала эсдеков в Киеве весной 1898 г. она уехала за границу и тем избегла общей с ее друзьями участи. В свою поездку за границу в 1898 г. я многократно виделся с ней в Штутгарте, где она, как и я, посещала немецкий социал-демократический партейтаг.

И вот мой посетитель начинает мне рассказывать о наших разговорах с Эттингер, передает мне наши с ней впечатления от партейтага и его участников, передает высказанные мною мои мнения. Я вижу ясно, что узнать все это он мог только из одного источника и что он связан с Эттингер близким, дружеским знакомством. И заканчивает:

– Я приехал в Киев сегодня с грузом социал-демократической литературы. Его оставил я на вокзале на хранение. Мне даны были три адреса, – и он называет три знакомые мне фамилии. – У всех у них я был, и все они, по-видимому, арестованы (это так и было. – *В. В.*). Кроме них я знаю только две фамилии в Киеве: вашу и Бердяева, и я обращаюсь к вам с просьбой помочь мне. Если вы не поможете, я пойду к Бердяеву.

– Бердяева нет сейчас в Киеве, он в отъезде.

– Вот как. Я этого не знал. Тем хуже для меня и для дела, и тем убедительнее прошу я вас помочь мне.

– То есть что я должен сделать?

– Связать меня с каким-нибудь уцелевшим социал-

демократом, который взял бы у меня груз.

– Но я же не социал-демократ и никакого активного участия в делах партии не принимаю.

– Я хорошо знаю это, знаю, что у вас есть очень серьезные разногласия с социал-демократами, но знаю также, что вы порядочный человек, который не побежит сейчас к Новицкому сообщать о нашем разговоре, который сам подвергается нередким арестам и который не может желать, чтобы какой бы то ни было груз нелегальной литературы попал в жандармские руки.

– Всего этого мало.

– Да, мало. Нужно, чтобы вы, во-первых, отнеслись ко мне с доверием, я и пытался приобрести его своим рассказом, а во-вторых, чтобы у вас были знакомые среди социал-демократов. А я знаю, что они у вас есть. Вы были хорошо знакомы с Эттингер, а она активный член партии; вы знакомы с Бердяевым, он хотя и не участвует активно в партийных делах, но по убеждению социал-демократ; вы, вероятно, знакомы с названными сейчас мною лицами и, во всяком случае, имеете знакомства с партийными людьми.

Все это была совершенная правда. И все-таки… Кто был передо мной? Революционер или шпион? Я этого не знал, очень мучился этим вопросом и чувствовал, как должен был мучиться мой собеседник, чувствуя себя жертвою подозрения. И, наконец, решился. Решился довериться ему.

– Хорошо, – сказал я. – Действительно, я знаю одного человека, который, кажется, принадлежит к социал-демократической партии. Я схожу к нему и сообщу о вас, и если он решится довериться вам, то прекрасно; в таком случае мы придем вместе с ним в таком-то часу в Царский сад; вы ждите нас на скамейке у обрыва над Днепром. Если я его не застану дома, то повторю свое посещение, и ждите нас там же завтра в 11 часов утра. Если оба раза мы не придем, то, значит, или я, или он отказываемся помочь вам.

В это время в соседней комнате подали чай. Я пригласил моего собеседника, но он отказался и ушел. Я хорошо понимал его; как мог он принять приглашение человека, не чуждого такого тяжелого подозрения по отношению к нему? И мне было мучительно больно за человека, который с самоотвержением делает дело, которое он считал своим, получая в награду, помимо риска ареста, подозрение в шпионстве. Все это при предположении, что он не шпион. И он должен был уйти бродить по улицам Киева, не зная в нем ни одной души.

В свою очередь и мое положение было не из приятных. Если это шпион, то вряд ли мне удастся избежать ареста и высылки из

Киева. А кроме того, ведь если это шпион, то за мной теперь гонятся сыщики и я приведу их в квартиру того лица, к которому шел.

Я шел к Константину Прокофьевичу Василенко, тогда молодому человеку, одному из основателей социал-демократии в Киеве, благополучно уцелевшему от ее вторичного разгрома в 1899 г., – в предыдущем году он сидел довольно долго, но был выпущен; потом сидел еще несколько раз. Впоследствии он был довольно видным киевским журналистом и общественным деятелем, играл заметную роль в революции 1917 г., а при большевиках вместе со своим старшим братом Николаем Прокофьевичем Василенко, занимавшим министерский пост при Скоропадском, был приговорен к смертной казни, но помилован и, кажется, до сих пор (1930 г.) сидит в тюрьме.

Я шел к Василенко, который был одним из очень немногих активных социал-демократов, уцелевших в этот (1899 г.) разгром, и единственным известным мне в качестве такового.

Шел я, разумеется, прибегая к обычным приемам людей, желающих замести свои следы, то есть то ехал на извозчике, то садился в трамвай, то шел пешком, проходя по пустынным улицам. Но делать этого я никогда не умел и в своем неумении был совершенно убежден. Однако делал. Казалось мне, что сыщиков за мной нет. И действительно, последствия доказали, что их не было.

Я рассказал Василенко всю историю. Он отнесся с самым полным доверием к моему посетителю, так как груз, как оказалось, ждали, и мы вместе с ним отправились поздно вечером в Царский сад, где в грустном одиночестве в назначенный час нашли моего посетителя. Он очень обрадовался. Я тотчас же удалился, оставив их вдвоем. Дело кончилось благополучно, и появившийся в обращении новый запас нелегальных брошюр мог доказать Новицкому, что его сети и в этом году были недостаточно хорошо закинуты.

# Глава II. Диспут Тарле (осень 1901 г.)

По дороге из-за границы в Киев я получил в Петербурге в презент от издательницы Ал[ександры] Ар[кадьевны] Давыдовой книгу Тарле о Томасе Море[783]. Это была его магистерская диссертация.

Перед арестом Тарле задумывал диссертацию на какую-то другую тему. Для нее у него уже были собраны некоторые материалы, сделаны некоторые подготовительные работы, но для нее была нужна еще одна заграничная поездка. Потеряв командировку вследствие ареста, он взялся за другую, более легкую тему и с поразительной быстротой, месяцев за восемь, написал на нее целую, хотя и не объемистую книгу.

Хотя я знал об этой невероятной быстроте работы, но, очень высоко ценя и знания, и работоспособность Тарле, я à priori[784], еще не прочитав ее, был уверен в ее крупных достоинствах.

– Ох, – говорил мне Челпанов (киевский профессор философии), – не верю я в эти хваленые способности Тарле. Сомневаюсь я и в его знании латинского языка. Сравните внимательно с подлинником его перевод «Утопии» (к диссертации Тарле был приложен перевод с подлинника «Утопии» Мора. – *В. В.*); уверен я, что найдете крупные ошибки. Вероятно, и в самой диссертации немало вздора. Нельзя диссертацию написать в 8 месяцев.

– Конечно, Тарле знает латинский язык лучше меня, и не мне ловить его на ошибках перевода. С университетских годов, когда читал Corpus juris civilis[785], я не открывал латинской книги, а он в качестве медиевиста постоянно пользовался ими. Но, конечно, я прочту и перевод «Утопии», и текст книги Тарле, так как и то и другое меня интересует, но не с целью выискивать ошибки.

Разговор этот происходил в июне или июле 1901 г., вскоре после моего возвращения в Киев; происходил на лодке. Мы с Челпановым оба, проводя лето обыкновенно в городе, для отдыха от городской духоты катались по Днепру на лодке, по очереди сменяя друг друга на веслах и у руля. Иногда с нами подбиралась какая-нибудь компания – братья Кистяковские (Игорь и Александр) и другие. На этой зыбкой почве мы познакомились с Челпановым в первый год моего поселения в Киеве и оставались добрыми приятелями до моего отъезда оттуда. А в 1901 г. наши совместные прогулки сделались особенно частыми, и вышло так, что диссертация Тарле была очень частым предметом наших разговоров.

Я взялся за книгу Тарле и начал чтение с конца, то есть с

приложения. Перед тем «Утопии» Мора ни в подлиннике, ни в каком-либо переводе я никогда не читал. Но я читал, хотя довольно давно, книгу Карла Каутского о Т. Море[786], и она имелась в моей библиотеке. Из нее у меня твердо остались в памяти указания на удивительную безграмотность немецкого перевода «Утопии» Мора, изданного в известной рекламовой[787] Universal Bibliothek[788]. Несколько примеров этой безграмотности были приведены Каутским. Так, немецкий переводчик выражение «in Castello», то есть в замке, в крепости, введенный в заблуждение прописной буквой, часто без нужды употреблявшейся в средневековой и близкой к ней литературе, перевел «в Кастилии», да еще прибавив от себя – «в Новой Кастилии».

Читая перевод Тарле, я на первых же страницах наткнулся на «Новую Кастилию». Тогда я возобновил в своей памяти указания Каутского и убедился, что не эта одна, а все без исключения указанные Каутским ошибки немецкого перевода красуются у Тарле.

Я поделился своим наблюдением с Челпановым.

– Вот видите, что я вам говорил! Нельзя в 8 месяцев написать серьезную диссертацию, хоть будь семи пядей во лбу. А талантливость и ученость Тарле сильно преувеличены. Но на диспуте он проскочит, так как Лучицкий – его друг и покровитель, а других серьезных оппонентов у него не будет.

Вовсе не думая еще выступать на диспуте, но просто заинтересовавшись делом, я приобрел латинский подлинник и два немецких перевода «Утопии» – старый, оцененный Каутским, и новейший[789], взял еще несколько книг, в том числе новейшее английское издание «Утопии» в подлиннике, с английским переводом и с ценными комментариями[790], и внимательно прочитал книгу Тарле, сличая ее с «Утопией», проверяя его ссылки на источники. Результат работы был удручающий. Перевод Тарле был несомненно сделан со старого немецкого.

Было крайне удивительно, что, пользуясь работой Каутского, Тарле не заметил у него оценки старого немецкого перевода «Утопии», которая была вместе с тем оценкой и его перевода. Это было бы совершенно непостижимо, если бы я не знал манеры Тарле читать книги. Он читает их поразительно быстро, очень много усваивает из них, но, в сущности, никогда не читает их подряд, а только проглядывает и иногда упускает из внимания важные для него факты. У Каутского же его отзыв о немецком переводе был сделан в подстрочном примечании, мелким шрифтом, – и Тарле его просто не заметил[791].

Но была еще одна странность. Цитируя в тексте книги

«Утопию», Тарле не пользовался своим собственным переводом, но переводил заново, с подлинника, и значительно лучше[792]. Возникло подозрение, что приложенный к книге перевод был сделан по его заказу другим лицом. Один из его молодых друзей (Вл[адимир] Вакар), защищая Тарле в этой истории и оправдывая его спешность, не мог не признать полной негодности перевода и высказал мнение, что он сделан женой Тарле[793]. Но, во всяком случае, Тарле должен был бы сличить перевод с подлинником и исправить его, а между тем он, по-видимому, не удосужился даже прочитать его, хотя бы в корректуре.

Наспех было сделано не только приложение, но [и] весь текст книги. Тарле не знал ни лучших новейших изданий изучаемого им писателя (между прочим, упомянутого мною сейчас издания Lupton), ни новейших лучших переводов на немецком языке (перевода Wessely), ни очень многих других работ. А в то же время, придавая себе вид исследователя, впервые открывающего неизвестные факты, он беспрестанно говорит: эта сторона «Утопии» не затронута ни одним исследователем, на это не обратил еще внимания никто, – и обнаруживает при этом поразительное для ученого незнакомство с литературой предмета. У меня уцелело в памяти указание Тарле, что криминалисты и, в частности, историки смертной казни совсем не знают того факта, что первым борцом против нее был Т. Мор. Между тем об этом знают не только все историки смертной казни, но об этом подробно говорится в общеизвестном (особенно в Киеве) учебнике уголовного права киевского профессора (в то время уже покойного) Кистяковского[794], причем в нем же выяснено, что Мор далеко не был первым противником смертной казни, что борьба против этого института началась еще за несколько столетий до Мора[795]. Подобными ошибками и недоразумениями книга Тарле была, можно сказать, переполнена. Вся она была написана главным образом по книге Каутского и очень немногим другим пособиям, причем, однако, Тарле уснастил ее очень резкой, придирчивой и несправедливой полемикой с Каутским.

Между тем в печати книга Тарле была встречена очень сочувственно. В «Русских ведомостях» Дживелегов напечатал короткую, но очень решительную рецензию, в которой говорилось, что книга Тарле – ценный вклад в науку, а данный им перевод может считаться образцовым[796]. В таком же духе были рецензии и в других журналах и газетах. Явление это было для меня совершенно непонятно и возмутительно.

Стало известно, что Тарле представил свою книгу на степень магистра в Киевский университет и что Лучицкий дал о ней в

высшей степени сочувственный отзыв[797], а Дашкевич поддержал его.

Первое было не удивительно, всем были хорошо известны дружеские отношения между Лучицким и Тарле, и не менее известно, что Лучицкий, сам несомненно очень крупный ученый, крайне пристрастен в своих отзывах и отношениях. Второе было удивительнее: Дашкевич – тоже крупный ученый и той слабостью, в которой укоряли Лучицкого, не отличался; к тому же и каких-либо особенно дружеских отношений с Тарле у него не было. Позднее, перед самым диспутом Челпанов передавал мне слова Дашкевича:

– Я попал в очень неприятное положение: дал в факультете отзыв о книге Тарле, не успев хорошенько ознакомиться с ней и положившись на отзыв Лучицкого; теперь же, внимательно прочитав книгу, вижу, что она крайне слаба, и не знаю, как мне быть.

Впоследствии я слышал, будто Киевский университет был не первым, куда Тарле подавал свою диссертацию; что, не желая подвергаться подозрению в том, что он рассчитывает на протекцию, он подал ее первоначально Петрушевскому[798] (помнится, тогда профессору Варшавского университета), но что тот решительно отверг диссертацию как неудовлетворительную, и только тогда Тарле обратился в Киев. Верен ли этот слух, я не знаю[799]. Как бы то ни было, защищать диссертацию Тарле должен был в Киеве осенью 1901 г.

Как уже сказал, вначале я не думал о выступлении на диспуте. Ведь не мог же я считать себя специалистом по XVI веку, которым никогда не занимался, не мог выступать против Тарле, в серьезной учености которого я был глубоко убежден, не мог выступать против таких специалистов, как Лучицкий; да и просто, стоя вне университета, я как-то о таком выступлении не думал. Но встреча книги Тарле в литературе, ожидаемый блестящий ее успех в университете, при ее совершенной неудовлетворительности, заставили меня задуматься. При этом книга нисколько не колебала моего очень высокого мнения и об учености, и о талантливости Тарле; неудовлетворительность книги я объяснял не отсутствием таковых у автора, а спешностью и при этом хорошо знал, что некоторое оправдание для этой спешности имеется в неблагоприятно сложившихся для Тарле обстоятельствах. Но как бы то ни было, книга плоха. Можно ли допускать без протеста, без попытки противодействия создание дутой, явно несправедливой репутации и для книги, и для ее автора?

Дело сильно осложнялось политикой. Тарле пользовался

репутацией радикала и возбуждал большие симпатии в радикальных кругах. Его участие в ибсеновской истории и арест только увеличили его популярность. И, следовательно, его успех был успехом дела радикализма. Новицкий, разумеется, мог бы только порадоваться его неудаче. Я тоже принадлежал к радикальному течению. Было ли желательно, чтобы радикалы на радость жандармам и мракобесам лишний раз ополчались друг на друга, что и без того случается слишком часто?

Я такой постановки вопроса никогда не допускал. В сфере политической борьбы я всегда стоял за возможно более широкий фронт борьбы, был противником раздробления рядов борцов на мелкие фракции, сторонником объединения разных партий на общих задачах и потому никогда не сочувствовал ни слишком острой полемике между направлениями, имеющими общие задачи, ни даже выдвиганию на первый план пунктов политических разногласий, когда имеются пункты, на которых возможны соглашения. На этом моем убеждении была построена вся моя жизнь и, в частности, мое поведение в Киеве по отношению к двум резко враждовавшим политическим партиям: эсерам и эсдекам, которым я одинаково охотно оказывал различные услуги.

Но совсем иное дело, когда вопрос шел об оценке теоретического мнения, о выяснении исторического факта, об оценке писателя или книги. Если бы Тарле защитил свою диссертацию с блеском, то это дало бы право реакционерам впоследствии говорить: смотрите, вот пример радикального кумовства – невежественная, полная ошибок диссертация, автор вознесен хвалою журналистов, комплиментами оппонентов, аплодисментами молодежи, – и все потому, что он шесть недель посидел в тюрьме. А будь на его месте человек противного лагеря, какой вой поднялся бы против него! И хотя кое-что серьезное можно было бы возразить против подобного утверждения (например: а где же были вы, когда Тарле защищал свою диссертацию, – почему вы молчали?), но все-таки оно было бы очень неудобно для «нас». И, конечно, стоит рискнуть доставлением минутного удовольствия Новицкому, чтобы избавить «себя» (я здесь говорю о целом общественном направлении, притом беря его очень широко, охватывая все левые течения общественной мысли) от подобного упрека.

Эти мысли кажутся очень элементарными, чуть ли не прописными. И, однако, когда дело дошло до их практического применения, я почувствовал себя очень одиноким; вокруг себя почувствовал атмосферу недовольства, а позднее, когда дело уже совершилось, то есть когда я выступил на диспуте, – нечто еще

более тяжелое: сочувствие в том лагере, в котором встречать таковое еще неприятнее, чем осуждение в своем.

Мысль выступить на диспуте выработалась у меня постепенно. Сначала я хотел удовольствоваться написанием рецензии. Но где было ее поместить? Она сильно рисковала остаться без помещения: один за другим органы печати, доступные для меня, помещали рецензии, очень благоприятные для Тарле, чуть не восторженные. В наиболее близком мне по духу журнале, «Русское богатство», рецензия на книгу Тарле не появлялась, но я имел некоторое основание думать, что и моей рецензии не поместят (что и оправдалось впоследствии), тем более что я не мог удовлетвориться рамками обычной журнальной рецензии, а претендовал на добрый печатный лист, то есть на целую особую статью: нельзя же против согласного хора выступить с тощей рецензией, без полновесных доказательств. И у меня начало складываться намерение выступить с возражениями на диспуте. Горячо поддерживал меня в этом намерении Челпанов. Он сам прочел книгу Тарле и нашел ее совершенно ошибочной в том, что касалось оценки философских взглядов Т. Мора, в частности позиции, занятой Мором в вековечной борьбе, особенно ожесточенной на рубеже средних веков и нового времени, между последователями Платона и Аристотеля. И он собирался тоже выступить на диспуте со своими возражениями против одной части книги Тарле.

– Но, – говорил он, – мне бы очень не хотелось выступать без вас. Тарле очень популярен в молодежи, и мое выступление будет оценено неправильно; в нем увидят акт политической борьбы против человека определенного направления. Нужно, чтобы выступил также кто-нибудь, к которому подобное обвинение, очевидно, неприменимо. К тому же мои возражения направлены против одной частности в книге Тарле, а ваши имеют более общий характер и захватывают ее почти во всем объеме.

Политическая физиономия Челпанова была несколько двусмысленной. В очень интимных разговорах с людьми, которым вполне доверял, он высказывался в духе антиправительственном. Не будучи социалистом, всего ближе чувствуя себя к «Русским ведомостям», он, однако, в каждом своем шаге, каждом слове, которое могло стать достоянием гласности, очень ревниво отстаивал свою аполитичность и громко провозглашал принцип: профессура и политическая деятельность несовместимы. Поэтому он решительно отказывался (позднее, в 1904 г.) от участия в каких бы то ни было политических банкетах; не согласился пойти на вечер, устроенный (в 1899 г.) в честь приехавшего в Киев Кареева, уволенного из университета[800], хотя очень значительное

число киевских профессоров, далеко не левых, пошли на этот вечер, и хотя этот вечер имел значение не демонстрации в честь левого, а демонстрации за свободу науки, сторонником которой выставлял себя Челпанов. Поэтому к нему ни в каком случае нельзя было обратиться с просьбой о рубле в пользу заключенных.

Не помню, когда это было, кажется в 1903 г., Н. А. Бердяев встретился где-то за границей на каком-то ученом съезде с Челпановым. На том же съезде был Плеханов[801].

– И, – рассказывал Бердяев, – я видел, что Челпанов панически боится, чтобы я не вздумал познакомить его с Плехановым, а в то же время не мог отказать мне в поклоне, когда встречал меня вместе с Плехановым, и который я при этих встречах отвешивал ему особенно низко.

Сам Бердяев в это время уже отошел от марксизма, но с Плехановым сохранил еще более или менее приятельские отношения.

Между тем Челпанов дорожил популярностью среди молодежи. Он ее и заслуживал: был очень хороший профессор. Но заслужить ее ему было нелегко, и не только вследствие не возбуждавшей симпатии политической трусоватости и двусмысленности своей политической физиономии, но и потому, что в философии он держался малопопулярных воззрений: идеалист и решительный противник материализма, хотя и работавший в области экспериментальной психологии, он, надо ему отдать справедливость, в научной области своих воззрений не скрывал и не прилаживал ни к требованиям власти, ни к симпатиям молодежи. Любопытно, что как раз за философские убеждения Челпанова жгучую ненависть к нему чувствовал Тарле, бывший решительным позитивистом и с крайней нетерпимостью относившийся к идеализму Челпанова. Возможно, впрочем, что подоплекой этой ненависти была не философия, а личная вражда между Лучицким и Челпановым, захватившая в свои сети Тарле как ученика и друга Лучицкого. В свою очередь и Челпанов сильно недолюбливал Тарле.

Итак, я решился выступить на диспуте Тарле, Челпанов – тоже. Стало известно, что будет еще несколько враждебных ему выступлений. Но Челпанов был почему-то уверен, что перевода «Утопии» не коснется никто из ожидавшихся оппонентов, и потому очень настаивал на том, чтобы значительную часть своих возражений я посвятил оценке перевода.

Накануне диспута явились ко мне два брата Вакары, известные под именем Вовочки (Владимира) и Костеньки[802]. Это были два очень нежных неразлучных брата, всюду являвшиеся

вместе, – слегка комические фигуры, дававшие обильный материал для добродушных шуток, но пользовавшиеся общей любовью. Говорил, длинно и несколько путано, всегда Вовочка, а Костенька вставлял отдельные дополнительные замечания. Я знал их еще студентами, но в это время они были только что окончившими: один – молодым юристом, другой – молодым врачом. Оба они были деятельными членами социал-демократической партии, строго ортодоксальными марксистами; оба уже сиживали не подолгу в тюрьме и тоже – всегда вместе. Оба они усиленно ухаживали за одной очень хорошенькой барышней, и в кругу их знакомых нередко обсуждался вопрос, как они ее поделят, но кончилось тем, что женился на ней младший, врач, Костенька, и хотя дружба братьев не была нарушена, но все же Вовочка отныне по социал-демократическим делам бегал один и сильно потускнел. Вскоре младший где-то заразился и умер[803], а старший попал надолго в тюрьму. Я его потерял из вида, но до меня дошел слух, будто он отряс социал-демократический прах от ног своих и стал мистиком. Очень это к нему не идет, и я не знаю, достоверен ли этот слух[804]. Во всяком случае, это не тот Вакар, имя которого довольно часто упоминалось в газетах[805] в 1918–1920 гг.

Так вот, ко мне заявились два брата.

– Василий Васильевич, – начал по обыкновению старший, – мы вас всегда очень высоко уважали, и нам хотелось бы сохранить это уважение и впредь. До нас дошел слух, что вы намерены завтра выступить на диспуте Тарле с очень решительными возражениями. Правда ли это?

– Правда.

– Мы только сегодня виделись с Тарле. Мы говорили с ним по общим политическим вопросам и убедились, что он остался тем же, что был. Ваши возражения могли бы принести ему вред, и вообще от них лучше воздержаться.

– Но ведь книга его плоха?

– Не в том дело. Хотя он и не социал-демократ, но он принадлежит к освободительному движению; вероятно, будет превосходным профессором, и мешать ему получить степень нехорошо.

– Позвольте узнать, вы читали его книгу и, в частности, приложение к ней, то есть перевод «Утопии»?

Братья несколько спутались и попытались уклониться от прямого ответа, но, прижатые мною к стенке, должны были сознаться, что не читали.

– Так позвольте вам заявить, что книга его крайне слаба, а перевод совершенно неприличен. Вот посмотрите, – и я указал

несколько наиболее грубых ляпсусов.

Слух о безграмотности перевода уже ходил, и Вакары его слышали.

– Да, конечно, это нехорошо. Кажется, он дал переводить своей жене и не успел проредактировать перевода. Вы же сами хорошо знаете о тех обстоятельствах, при которых он писал свою диссертацию.

– Знаю, – знаю и то, что эти обстоятельства могут служить объяснением неудовлетворительности книги. Но она остается весьма неудовлетворительной и должна быть оценена по достоинству. Для этого и диспут.

– Да ведь нельзя же мешать такому человеку, как Тарле, сделаться профессором.

– Я сам вполне уверен, что Тарле может быть очень хорошим профессором. И думаю, что я не помешаю ему, а помогу: он узнает, что нельзя рассчитывать на протекцию, что для профессуры нужно много работать. Он умеет работать, и ему недурно получить щелчок за работу, сделанную недобросовестно.

– Скажут, что вы выступили против Тарле вследствие ссоры в тюрьме, – прибегли Вакары к argumentum ad hominem[806].

– Может быть, скажут, но скажут неправду. А знаете ли вы, как относится Тарле к Каутскому? – прибег я тоже к argumentum ad hominem.

Этот аргумент произвел некоторое впечатление; показанные Вакарам места в книге Тарле[807], видимо, моим марксистам не понравились, но все-таки они не сдались. Спор продолжался довольно долго, и мы расстались, недовольные друг другом. Но мне было очень тяжело слушать соображения о необходимости политического кумовства в науке, соображения, которые в реакционной печати часто приписывались деятелям прогрессивного лагеря, – приписывались, как я всегда думал, ложно, – высказываемые с такой наивной откровенностью. Соображения эти, конечно, не могли подействовать на меня, как не подействовала и угроза лишить меня своего уважения, с которой Вакары начали беседу. Может быть, вздор двух юных социал-демократов был их личным вздором? Увы, они только наивнее других выбалтывали довольно общее настроение.

На другой день был диспут[808]. Перед университетом я лицом к лицу столкнулся с Тарле. Мы с ним давно, чуть ли не с ибсеновского дела, не видались. В последнее время он жил в Петербурге и в Киев приехал только на диспут, все еще (как и я) состоя под следствием по ибсеновскому делу. Он обрадовался встрече со мной, радостно протянул мне руку и выразил желание повидаться со мной после диспута. Сомневаясь, чтобы он

сохранил это желание в течение еще нескольких часов, я его спросил, знает ли он, что собираюсь ему оппонировать.

– Знаю, мы ведь не раз с вами публично оппонировали друг другу.

– Я собираюсь оппонировать довольно резко.

– Я буду резко огрызаться; надеюсь, что это не повредит нашим отношениям.

– От души желаю этого.

Мы расстались дружески.

Начался диспут. Актовый зал был переполнен. С первого взгляда на входящего в залу Тарле я заметил, что он совершенно не предвидел характера тех возражений, которые должны были воспоследовать, по крайней мере от меня (а воспоследовали и от других): у него с собой, кроме его собственной диссертации, была в руках только книга Каутского и не было даже подлинника «Утопии»: нападений на перевод он, видимо, не ожидал.

После обычных формальностей Тарле произнес свою вступительную речь. Речь была превосходно составлена и превосходно сказана. Не давая, по существу, ничего нового сравнительно с диссертацией, почти не затронув экономическую и социальную сторону своей работы (которая по общему плану и по тезисам была наиболее существенной), диспутант остановился на личности Т. Мора и дал его яркую, почти художественную характеристику. Закончил ее хорошо подобранной цитатой:

– Томас Мор мог бы сказать про себя:

> «Давным-давно задумал я
> Узнать, прекрасна ли земля,
> Узнать, для воли иль тюрьмы
> На этот свет родились мы»[809].

Такие речи с таким концом всегда вызывают гром аплодисментов. И вдруг – полное молчание, ни одного хлопка.

Меня это удивило, – видимо, аудитория была сбита с толку ходившими слухами и выжидала последствий. На Тарле это произвело, по-видимому, удручающее впечатление; говоря, особенно под конец, с большим подъемом, он сразу как-то осунулся и сгорбился.

Первым из официальных оппонентов был Лучицкий. Речь его, для официального оппонента необычно короткая, была очень бледна. В ней было несколько бледных похвал, совершенно не соответствовавших отзыву, представленному в факультет, и несколько частных возражений по поводу экономической концепции Тарле.

Диспутант оправился, подбодрился и недурно защищался.

Вторым официальным оппонентом выступил Дашкевич. Резкий, прямо уничтожающий его отзыв о диссертации был для меня неожиданным и едва ли не еще более неожиданным для диспутанта. Вопреки предсказаниям Челпанова, Дашкевич начал с перевода «Утопии», отметил «in Castello» и некоторые другие замеченные мною ошибки; отметил другие, мне не известные, и внезапно спросил:

– Да знаете ли вы латинский язык?

На диспутанта перечисление грубых, чисто школьнических ошибок производило удручающее впечатление; он ежился и вздрагивал, как от удара бича, и, наконец, из его глаз потекли слезы. Было жалко смотреть на него. На вопрос оппонента он робко ответил:

– Я читаю по-латыни со словарем.

Затем Дашкевич перешел к основной части диссертации и дал уничтожающий отзыв о ее историко-литературной стороне, который и закончил таким убийственным выводом:

– Итак, ваш перевод «Утопии» совершенно неудовлетворителен, а в своем исследовании вы сделали не шаг вперед, а шаг назад сравнительно с вашими предшественниками.

Начались речи профессоров, выступивших неофициальными оппонентами: одного филолога, специалиста по латинскому языку и литературе (фамилию его я забыл; кажется, Сонки[810] или что-то в этом роде), историка Бубнова, Челпанова и Евг[ения] Н[иколаевича] Трубецкого. Все четверо отнеслись к диссертации или к различным ее сторонам крайне сурово, и только Трубецкой счел нужным суровость отзыва, по существу, смягчить несколькими комплиментами талантливости автора.

– Ваша книга, – начал он, – при первом беглом просмотре производит очень хорошее впечатление; она написана прекрасным, легким языком, читается очень легко. К тому же ваша репутация, заслуженная вашими талантливыми журнальными статьями и публичными лекциями, располагает в вашу пользу. Введенный этим первым впечатлением в обман, я как-то дал о ней студентам хороший отзыв. Но более внимательное чтение ее привело меня к убеждению, что в ней имеются крупные недостатки, и мой первый отзыв я не могу теперь не признать слишком поспешным.

Затем следовала суровая критика. Выступление Трубецкого имело особенное значение потому, что он принадлежал к числу людей, близких к Лучицкому, и находился в хороших отношениях и с Тарле.

Челпанов был единственный из оппонентов до меня, который

отметил, что в переводе философских терминов Тарле оказался в полной зависимости от старого немецкого переводчика. Тарле почти не защищался. Однако Челпанову решительно ответил, что переводил с латинского, хотя и имел под руками английский и немецкий переводы[811].

Последним выступил я.

Председатель, декан факультета (не помню, кто это был[812]), предупредил, что диспут затянулся, время позднее и потому он просит меня быть по возможности кратким и, в частности, отказаться от критики перевода, который уже подвергся достаточно всесторонней оценке.

– К сожалению, я не могу в полной мере исполнить этого пожелания, – начал я. – Я, конечно, не стану разбирать перевода так полно, как это сделали мои предшественники, но я позволю себе напомнить некоторые их указания и прибавить к ним одно или два своих для одного общего вывода, которого мои предшественники не сделали.

Дело было в том, что ни один из предшествующих оппонентов, даже прекрасно изучивший предмет Дашкевич, видимо, книги Каутского не читал (ее не было в библиотеке Киевского университета и в это время уже не было в продаже, так что, по всей вероятности, Дашкевич, поздно засевший за подготовку к возражениям, не успел ее получить, – этим я могу объяснить его незнакомство с ней). И вот я собрал указания на ошибки, отмеченные Каутским в немецком переводе, и затем, сославшись на страницу Каутского, прочитал, переводя на русский язык, его примечание.

При этих словах Тарле нервно схватился за книгу Каутского и, видимо, отыскал указанное место. Для него это было совершенной новостью.

– Таким образом, подтверждается то, что перевод сделан с безграмотного немецкого перевода, и притом с перевода, уже оцененного в литературе. Между тем совершенно несомненно, что книгу Каутского вы читали; вы только не дочитали ее до конца.

И затем я установил сильнейшую зависимость Тарле в тексте его книги от Каутского, неправильность его отношения к Каутскому, неверное изложение многих фактов; остановился на той ошибке о смертной казни, о которой сказал выше, на незнакомстве Тарле с книгой Роджерса (Six Centuries of Work and Wages[813]), которая могла бы внести очень существенные поправки в его характеристику социального строя Англии XVI века, на незнакомстве и грубых ошибках в истории народонаселения Англии и т. д.

Тарле обрадовался, когда я отметил необыкновенность его нападок на Каутского.

– Вы нападаете на меня как поклонник Каутского… – и допустил явственный намек, что все мое нападение на него есть нападение политическое и именно – марксистское.

Это было приемом нехорошим, даже прямо недобросовестным: Тарле прекрасно знал, что я вовсе не поклонник Каутского и не марксист. К сожалению, я не нашелся и вместо того, чтобы прямо сказать: «Вы прекрасно знаете, что я не поклонник Каутского, и говорите, рассчитывая на неосведомленность аудитории», сказал только:

– Я указываю на факты и просил бы вас опровергнуть их, – чем как бы подтвердил слова Тарле и дал ему возможность еще раз поинсинуировать насчет политической подкладки моих на него нападений.

После моих возражений диспут был объявлен законченным[814], и факультет удалился для совещания. Совещался он очень долго, более получаса, и затем вынес резолюцию:

– Удостоен степени магистра большинством 6 голосов против 3.

Как известно, такого рода решения факультета в громадном большинстве случаев принимаются единогласно и без особого удаления в совещательную комнату, – кивками головы. Таким образом, исход диспута определился как скандальный[815]. Раздалось несколько отдельных хлопков, и все утихло. Аудитория разошлась в подавленном настроении. Диспут продолжался часов 6 подряд и закончился часов в 7 вечера.

Позднее я узнал, что происходило в совещательной комнате. Лучицкий заявил, что он признает защиту удовлетворительной, и высказался за награждение диспутанта искомой степенью. Челпанов, Сонки и Бубнов сразу высказались, что защита была скандальной и степени давать нельзя[816]. Лучицкий возражал. Другие осторожно, сдержанно заявили, что «все-таки» дать степень нужно. Дашкевич колебался. Обе стороны наседали на него, и, наконец, он подал голос за Тарле, чем после своей уничтожающей оценки его диссертации поставил себя в особенно странное положение. Трубецкой как юрист и не член факультета в заседании и голосовании не участвовал.

С Тарле в Киеве я больше не видался; разумеется, он ко мне не пришел[817].

После диспута я особенно ясно почувствовал, что общественные симпатии не на моей стороне, по крайней мере кругов, мне близких[818]. В «Русских ведомостях» была помещена о диспуте очень краткая, сухо фактическая заметка, в которой было

сказано только, что после возражений таких-то Тарле удостоен степени[819]. Напротив, в реакционных «Киевлянине»[820] и «Новом времени» моя речь была отмечена с похвалой[821].

В письме ко мне, написанном по другому поводу, П. Н. Милюков вставил фразу: «Зачем черт догадал вас выступать на диспуте Тарле?» Кареев, с которым, как с одним из редакторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, я находился в постоянной переписке, очень мягко и осторожно, но дал понять мне, что не сочувствует моему выступлению. Я возражал ему и вызвал на ответ, в котором он признал, что книга Тарле действительно слаба, но что все-таки лучше было бы не выступать. Друзья Лучицкого, как Ник[олай] Прок[офьевич] Василенко, с которым я тоже был очень дружен, и Л. С. Личков, высказывали лично мне то же самое. Ни от кого я не мог добиться достаточно ясной мотивировки, но отрицательное отношение чувствовалось ясно. Таким образом, Вакары только очень наивно и грубо, но по существу верно выразили общее настроение.

Был еще один или даже два эпизода, связанных с диспутом и вместе с генералом Новицким, один – скорее курьезный, а другой – очень для меня тяжелый.

Первый рассказал мне Л. С. Личков со слов Тарле.

Через несколько дней после диспута Тарле пришлось побывать у Новицкого. Новицкий заговорил с ним о диспуте и спросил:

– А какой это Водовозов выступал на диспуте? Это – наш Водовозов?

– Это Василий Васильевич Водовозов, – ответил Тарле.

Что значило в этом словосочетании местоимение «наш» – я не знаю. Но, очевидно, оно объединяло «нас», то есть и Новицкого, и Тарле, и меня, вместе в какую-то единую группу.

Другой эпизод произошел тоже через несколько дней после диспута. Я получил официальную повестку с вызовом к Новицкому и явился к нему. Оказалось, что повод к вызову был явственно выдуманный и что в действительности я был нужен Новицкому только для того, чтобы, покончив с делом и отпуская меня, он мог прибавить:

– Ах, да. Я и забыл поздравить вас с блестящим выступлением на диспуте Тарле.

Это была почти пощечина, может быть самая болезненная, полученная мною во всю мою жизнь. И мне пришлось ее съесть.

Из кружка Лучицкого распространялись слухи, что весь диспут Тарле был создан Челпановым и мною, что мы, действуя по разным мотивам, я – вследствие столкновения с ним в тюрьме, Челпанов – вследствие личной неприязни, подговорили других

оппонентов, и я будто бы, в частности, убедил Сонки ознакомиться с диссертацией и выступить против нее. Несколько позднее эту легенду сообщил мне сам Тарле, о чем я скажу дальше[822]. Поскольку дело касается меня, все это – совершенная неправда. Ни с кем из оппонентов, кроме Лучицкого и Челпанова, я не был даже до тех пор знаком, а впоследствии, и то не раньше 1904 г., из них познакомился только с Трубецким[823]. Никакой агитации за организованное выступление на диспуте я не вел, если не считать приведенных мною разговоров с Челпановым; но действительно читал и, вчитываясь в книгу Тарле, понемногу убеждаясь в ее редкой для диссертации неудовлетворительности, я высказывал свои о ней мнения разным знакомым, которые почти все были и знакомыми Тарле, но которые все, за тем же исключением Челпанова, были чужды университету и в диспуте участие принимали только в качестве зрителей и слушателей.

Что же касается Челпанова, то он действительно разговаривал с профессорами, впоследствии выступившими на диспуте, в частности с Трубецким, и возможно, что именно его слова побудили их обстоятельнее познакомиться с диссертацией, а из знакомства с ней вытекло и их выступление. Но все-таки я не думаю, чтобы эти разговоры можно было характеризовать как агитацию. А если бы и да, – почему нельзя агитировать против дурной книги? Это же беспрестанно делается всеми причастными к литературе и науке. Или нельзя только агитировать против дурной книги, написанной деятелем определенного лагеря? Но, к счастью, и это делается беспрестанно, и без этого литература и университет обратились бы в стоячее болото. И неужели нельзя говорить и писать за или против автора или книги, чтобы не вызвать сейчас же поисков каких-нибудь совершенно посторонних целей и мотивов выступления?

Это тот вопрос, который влил немало горечи в мое существование. Но я, проверяя свое поведение в этой истории, до сих пор перед строгим внутренним судом считаю себя правым, и никакое одобрение Новицкого меня в этом не разубеждает.

Легенда об агитации против Тарле, постепенно обрастая, обратилась, наконец, в утверждение, что весь диспут был не чем иным, как «травлей жида». Если по отношению к Сонки или даже Челпанову (в гораздо меньшей степени) это объяснение могло бы иметь хоть какое-нибудь основание, то по отношению к Трубецкому и ко мне оно было лишено всякого.

Ввиду общественного настроения и отзывов печати я не мог поставить точку, не высказавшись в печати. И я написал обстоятельный разбор книги Тарле (в целый печатный лист) и послал его в Петербург Василию Ив[ановичу] Семевскому,

который во все время этой истории был безусловно на моей стороне. Послал ему с просьбой пристроить в каком-нибудь журнале. Послать просто в журнал я боялся, так как это могло бы сильно затянуть его напечатание. И действительно, «Русское богатство», к которому прежде всего обратился Василий Иванович, напечатать отказалось, причем Михайловский сказал ему, что он решил совершенно не касаться книги и диспута Тарле[824]. Тогда Василий Иванович обратился в «Народное хозяйство» – специальный журнал, посвященный политической экономии и экономической истории, издававшийся профессором Л. В. Ходским. В журнале этом уже была рецензия на книгу Тарле, и рецензия очень хвалебная, написанная, если память меня не обманывает, Конским[825] (который в разговоре с В. И. Семевским после диспута сам признавал свою рецензию ошибкой). Трудно было ожидать поэтому, чтобы журнал принял мою статью, но, сверх ожидания, он это сделал, снабдив ее редакционным примечанием с обычной в таких случаях фразой «Audiatur et altera pars»[826], и статья появилась месяца через два после диспута[827].

Я попросил Ходского отпечатать оттиски моей статьи в 200 экземплярах особой брошюрой[828], разослал ее по редакциям журналов и разным лицам и даже сдал экземпляров 50 на комиссию в несколько киевских книжных магазинов. Как мне кажется, она произвела впечатление и в конце концов заставила очень многих, в том числе Кареева и Милюкова, признать, что я был не совсем не прав, выступая против Тарле. Она ли или другие обстоятельства заставили и Вакаров переложить гнев на милость; они опять стали появляться у меня, втягивая в те или другие действия социал-демократической партии.

Но, во всяком случае, она убедила не всех. Единственная рецензия на нее была помещена в «Русских ведомостях», – и рецензия очень сердитая, написанная тем же Дживелеговым, который перед диспутом поместил очень хвалебную рецензию на книгу Тарле (о чем я уже упоминал). В рецензии на мою брошюру, рецензии очень краткой, говорилось, что я будто бы «собрал» все замечания, сделанные Тарле на диспуте, прибавил к ним несколько своих замечаний, но что все это мелочи, о которых не стоило бы говорить. Прав я только в одном: в отрицательном отношении к переводу «Утопии», но и его давать не стоило бы, так как всем хорошо известно, что к своей хорошей книге Тарле приложил неудовлетворительный перевод «Утопии»[829].

Рецензия на мою брошюру, в сопоставлении с рецензией того же Дживелегова на книгу Тарле, может быть признана изумительной: там Дживелегов признавал перевод Тарле образцовым, а теперь его неудовлетворительность оказывалась

общеизвестной. Странно было и утверждение, будто я собрал чужие возражения, тогда как вся моя брошюра была результатом моей собственной работы, и только в конце я кратко упомянул о некоторых возражениях Челпанова и Трубецкого. И странно, что такая, позволяю себе сказать, явно недобросовестная рецензия была помещена в таком исключительно чистоплотном органе, как «Русские ведомости».

Я сказал, что в Киеве с Тарле я больше не видался, но встречаться с ним мне приходилось и впоследствии нередко.

В конце 1901 или начале 1902 г. я был в Петербурге и там на юбилее П. И. Вейнберга[830] столкнулся с Тарле. Я первый подошел к нему и протянул руку. Он подал свою.

Уходя с юбилея, мы случайно столкнулись с ним на лестнице.

– Можно с вами поговорить? – обратился ко мне Тарле.

– Очень рад, конечно.

– Позвольте спросить, чем руководствовались вы, протянув мне руку?

– Как чем? Очень просто. Тем, что считаю вас порядочным человеком и в слабости вашей диссертации не вижу доказательств противного, хотя ваша манера держаться на диспуте мне сильно не понравилась.

Не могу вызвать в памяти с точностью продолжение этого разговора, но разговор завязался. Совершенно естественно, что он не шел в спокойных тонах и по правильным дорожкам научного диспута. Мы шли по Невскому. Тарле нервничал, шел очень быстро, толкая прохожих, не замечая этого и не извиняясь; потом он повернул через улицу, шел, не смотря по сторонам, рискуя на каждом шагу попасть под лошадей. Я был спокойнее его, особенно сначала, но и я скоро начал волноваться и говорил так, что о многом потом жалел. Передать всего этого я не в состоянии. Помню только немногие отдельные моменты разговора.

Тарле раздраженно говорил о поднятой против него травле.

– Вот вы, я вас всегда считал вполне порядочным человеком, а вы не погнушались вступить в заговор с этим мракобесом и ханжой Челпановым; хуже того, не погнушались подзудить юдофоба и реакционера Сонки выступить против меня, зная, что он будет рад причинить неприятность еврею.

– Что, что такое? Я поддерживал Сонки? С чего вы это взяли? Я же совершенно не знаком с Сонки.

– Мне говорили, что вы однажды сидели в университетской библиотеке и работали; к вам подошел Сонки, действительно с вами незнакомый, но заинтересовавшийся человеком, работающим над латинским фолиантом, и спросил, что вы делаете, а вы заговорили о моем переводе и начали убеждать его

выступить против меня.

– Послушайте, да ведь ничего подобного не было. С Сонки во всю свою жизнь я ни разу не разговаривал и видел его единственный раз в жизни на вашем диспуте; в университетской библиотеке я действительно иногда работал, но в этом году не работал там ни разу, а только брал книги на дом; ни над каким латинским фолиантом я ни для вашего диспута, ни вообще в жизни не работал, а «Утопией» Мора пользовался в двух изданиях – Циглера и Михельса[831] (кажется, так. – *В. В.*) и Lupton, оба – обыкновенное [*нрзб*], и оба я купил и имею в собственной библиотеке. Все, что вы рассказали, – это же не легенда какая-нибудь, а сознательная, злостная и глупая выдумка. Кто вам ее рассказал?

– Ну хорошо, пусть выдумка; я вам верю, раз вы так говорите; оставим это.

– Почему же оставим? Раз это злостная, намеренная клевета, так почему вы не хотите изобличить клеветника?

– Оставим это. Во всяком случае, вся история была злобная интрига против меня, и вы, вероятно, сделались невольным орудием интригана Челпанова.

– Я не знаю, за что вы клеймите этим именем Челпанова. Во всяком случае, я от него никогда не слышал ни про кого такой глупой клеветы, как та, которую вы сейчас рассказали со слов какого-то – не интригана, не клеветника? Хотя, кстати, клевета какая-то странная. Что было бы позорного и для кого, для Сонки или для меня, если бы все так и было, как вы рассказали?

– Как что? Да ведь Сонки – реакционер и антисемит.

– Я этого не знаю; его политическая физиономия мне совершенно не знакома, но я знаю, что он знающий латинист, и отчего бы он не должен был заговорить с человеком, заинтересовавшим его своей работой, или отчего этот человек не должен был ему ответить? Почему я должен был бы скрывать от него свое мнение о вашей книге?

– Да ведь он злостный реакционер и антисемит.

– Повторяю, я этого не знаю и в первый раз от вас слышу. Но… разве вы сами никогда не имеете дела с реакционерами и антисемитами? Разве вы сами мне не рассказывали о ваших товарищах по гимназическому педагогическому совету, которые почти все и реакционеры, и антисемиты и с которыми вы вели общее дело и при случае разговаривали? Разве, работая в университетской библиотеке, вы не пользовались услугами библиотекарей Мисецкого (как будто фамилию передаю неверно[832]. – *В. В.*) и Ващенко-Захарченко, очень хороших и услужливых библиотекарей, но крайних антисемитов и

реакционеров? Но как бы то ни было, даю вам честное слово, что вся эта история с Сонки есть выдумка от первого до последнего слова[833].

– Оставим это.

Далее, на мое указание неудовлетворительности его диссертации, Тарле признал, что он слишком поспешил с нею и что если бы можно было бывшее сделать не бывшим, то он поработал бы подольше и избавил бы ее от некоторых промахов. Но что моя оценка его книги неправильна, доказывается уже тем, что он получил из Англии просьбу о разрешении ее перевода на английский язык, и она скоро появится в свет.

Это последнее было выдумкой. По крайней мере, до сих пор она в переводе, насколько я знаю, не появлялась.

Я очень сожалею, что вел разговор в слишком резком тоне и что примирения между нами не состоялось[834].

В последующие годы мне не часто, но все же и не редко приходилось встречаться с Тарле, – то на публичных собраниях, то у Кареева. О новых его трудах, в высшей степени серьезных, мне несколько раз приходилось говорить в печати, и я делал это, всегда признавая Тарле заслуженным, выдающимся историком. И тем не менее всегда при встречах я чувствовал, что он мне не простил. Только со времени большевичьей революции наши отношения смягчились. Мы встречались и на общем деле: в «Былом», в котором я некоторое (недолгое) время, вместе с Бурцевым и Щеголевым, был членом редакции, а он – деятельным сотрудником, и в издательстве Брокгауза – Ефрона, задумавшем одно издание (не состоявшееся)[835], в котором Тарле предполагался редактором, а я – сотрудником, – и совершенно естественно, что нам приходилось подолгу мирно беседовать. Особенно смягчился он, когда я выразил ему сочувствие за одну его публичную лекцию. Затем, в 1926 г., я несколько раз встречался с ним в Париже[836] на улице: мы жили в непосредственном соседстве и сравнительно подолгу беседовали, – и беседовали дружно (насколько «подолгу» можно беседовать на улице, минут по 20–30), однако и тут он не принял моего приглашения зайти ко мне и, в свою очередь, не пригласил меня к себе. Об этих беседах я, может быть, когда-нибудь расскажу, если мне доведется писать воспоминания об этом времени.

К этому прибавлю еще одно замечание. Несчастный диспут имел для Тарле большое значение. В конце концов в петербургских университетских кругах к нему сложилось неблагоприятное отношение, и это отношение долгое время тормозило его профессорскую карьеру, несмотря на то что среди

петербургского студенчества он в качестве приват-доцента быстро создал себе блестящую репутацию. Но докторская его диссертация (о континентальной блокаде Наполеона I[837]), над которой он работал долгие годы, представляла из себя в высшей степени серьезный труд и действительно очень ценный вклад в историческую науку. Не было ли это одним из последствий того удара, который он получил на первом своем диспуте? Без этого удара не позволил ли бы он себе, для ускорения получения докторской степени, такую же легкомысленную спешку, как в тот раз? Возможно, что – да[838].

# Глава III. Нарастание революционного настроения в годы 1900–1904. – Участие моей жены в делах Красного Креста и ее издательство. – Н. Е. Парамонов. – Балмашев и его кружок. – Брешковская. – Мое участие в составлении прокламаций. – Поздравление генералу Новицкому с юбилеем. – Побег из киевской тюрьмы в 1902 г. двенадцати социал-демократов

Первые годы XX века были временем нарастания революционного настроения в России; отдаленные раскаты приближающейся революционной грозы слышались все яснее и яснее. Предгрозовая атмосфера влияла на весь уклад общественной жизни и не могла не влиять и на мою личную жизнь.

За границей возникли два революционных журнала двух революционных партий: социал-демократическая «Искра» и социал-революционная «Революционная Россия», которые в значительном числе экземпляров проникали в Россию, и мне не раз приходилось оказывать услуги партиям по размещению этих журналов.

Моя жена принимала деятельное участие в революционном Красном Кресте[839], деятельность которого благодаря большому числу заключенных сильно оживилась, и через ее руки шли по временам не незначительные денежные суммы. Она затеяла издательство портретов писателей и общественных деятелей, русских и иностранных, причем весь чистый доход должен был поступать в Красный Крест. Не веря в коммерческие таланты моей жены, я первоначально отнесся к ее плану совершенно отрицательно. Впрочем, предприятие было начато как очень маленькое и даже почти случайное.

Пользуясь нашей дружбой с В[асилием] Ст[ефановичем] Кульженко, сыном собственника наиболее значительной в Киеве типографии, фотографии и фототипии[840], который в это время управлял этим заведением и сам был хорошим фотографом, она в кредит напечатала в 500 экземплярах несколько портретов наиболее в то время популярных писателей – Л. Толстого, Короленко, Чехова, Чернышевского, Михайловского, К. Маркса –

и выпустила в продажу по 35 копеек, сперва – через знакомых, главным образом студентов. Издание ее имело неожиданный для меня успех и понемногу обратилось в настоящее издательство, требовавшее и газетных объявлений, и помещения, и постоянной усиленной работы, отнимавшей все время моей жены, а одно время – даже платной помощницы, и постоянных сношений с разными людьми и цензурой. Издано было ею около сотни портретов различных лиц и несколько десятков снимков с картин известных художников (всего более шел Беклин)[841]. Ее покупатели настойчиво требовали от нее издания открыток; ввиду большой конкуренции ей не хотелось переходить на этот род издательства, но кончилось тем, что она уступила и начала издавать открытки, тоже с портретами и снимками с картин. Приходилось и мне помогать ей. Издательство шло хорошо и давало порядочный доход, и различные приключения, вроде ее шестинедельного ареста в 1905 г., хотя и вредили ему, но не погубили. С нашим переездом в Петербург дело перенесено было туда[842] и продолжалось до войны, когда расход портретов почти сразу прекратился и она осталась с большим складом на руках.

Успех окрылил мою жену, и она задумала перейти также и к книжному издательству. Различные наши знакомые предлагали свои услуги для перевода той или иной книжки. Оставалось найти небольшую иностранную книгу, которая могла бы рассчитывать на сравнительно быстрый расход. Я указал на «Классовые противоречия в 1789 г.» К. Каутского; книжка была уже старая (она вышла в свет к столетнему юбилею революции), в свое время была уже переведена на русский язык и напечатана в «Северном вестнике» эпохи Михайловского[843]. Но книжка была очень хорошая, и к тому же с тех пор она появилась в подлиннике новым, сильно исправленным изданием. Один юный социал-демократ Иона Биск перевел ее (без вознаграждения), но, к сожалению, перевел очень неудовлетворительно, и мне пришлось сильно исправить его перевод. Киевская цензура отказалась пропустить ее, и мы послали на цензуру в Петербург. Недоразумений я не боялся, так как книжка уже за 13 лет перед тем была разрешена. И вдруг – книжка оказалась запрещенной.

К счастью, вскоре после этого мне по различным делам пришлось съездить в Петербург. Там я зашел в цензуру. На общий вопрос о причине запрещения сколько-нибудь вразумительного ответа я не получил, а на мое указание, что ведь произведение Каутского однажды было разрешено, цензор мне ответил:

– Появление чего-либо в журнале, издающемся без предварительной цензуры, для цензуры не указ.

– Да ведь «Северный вестник» издавался тогда под

предварительной цензурой!

– Нет, без.

Это было явное недоразумение. «Северный вестник» возник в 1885 г. (или около) при Евреиновой и издавался в конце 80-х годов при Михайловском и в начале 90-х годов при Волынском под предварительной цензурой, и только потом Любови Гуревич и Волынскому удалось выхлопотать освобождение от нее[844], – и мне удалось это недоразумение выяснить, хотя и не сразу. В результате рукопись была разрешена с исключением одного или двух мест о польской политике России, и книжку оказалось возможным напечатать в Киеве, помнится, в 2000 экземпляров[845]. Несмотря на то что почти одновременно, совершенно независимо от меня, ту же книжку выпустил в свет в Петербурге и прежний ее переводчик Львович[846], но выпустил, очевидно не зная о появлении ее в подлиннике новым изданием, по старому тексту «Северного вестника», несмотря на это, наше издание, вопреки моей уверенности в противном, очень быстро, месяцев в 6, разошлось до последнего экземпляра, преимущественно в Киеве и вообще на юге; в Петербурге она почти не продавалась. Весь доход от нее пошел в Красный Крест.

Лишь только эта книжка появилась в свет, мою жену стали донимать из разных мест предложениями издать в переводе ту или другую книгу. Таких предложений было получено до десятка. Все предложения касались исключительно немецких книг и притом почти исключительно социал-демократических и по большей части весьма специальных и узких. Пойти по дороге книгоиздательства, да еще такого специального, моя жена не решилась, и ни одно из этих предложений не было принято. Даже книжку Каутского она не сочла возможным выпустить вторым изданием, и таковым (в переводе Биска под моей редакцией) она была выпущена только в 1905 г.[847] Н. Е. Парамоновым (издателем «Донской речи»)[848] с восстановлением запрещенных цензурой мест.

Кстати, о Парамонове. В начале 900-х годов он был студентом Киевского университета. Сын ростовского пароходовладельца-миллионера[849], он в это время, в первые годы XX века, был в решительной ссоре со своим отцом и не получал (или не брал) от него ни копейки, предпочитая жить обычной жизнью студенческой бедноты, то есть пробавляясь уроками, случайно находимой им статистической, корректурной и тому подобной работой. В течение нескольких месяцев он жил, снимая за 8 рублей в месяц маленькую комнатку у нас, и в это время я близко познакомился с ним. Он производил сильное впечатление своим практическим умом, своим сильным характером и энергией, с

которой пробивал дорогу в жизни и вместе с тем серьезно и добросовестно учился. Политические симпатии его тоже лежали на стороне социал-демократии, и, кажется, он был активным членом партии, но вел себя осторожно и кончил курс вполне благополучно. С большим сочувствием он относился к предприятию моей жены и во многом с большим усердием помогал ей.

По окончании курса Парамонов уехал на родину, в Ростов-на-Дону. Там в 1903 г. или около он основал книгоиздательство «Донская речь», издававшее преимущественно брошюры беллетристического, политического и популярно-научного содержания, рассчитанные на читателя из народа – рабочего класса и крестьянства. Я не знаю, начал ли он издательство после примирения с отцом и на деньги, полученные от него, или до и на собственные заработанные гроши; во всяком случае, оно было начато приблизительно так же, как издательство портретов и картин моей жены, то есть в очень маленьком масштабе, но сразу превосходно пошло и дало возможность Парамонову обратить его в очень крупное предприятие[850]; если для этого он не пользовался капиталами отца, то сильно содействовали этому полученные в наследство коммерческая сметка, практическая жилка и, вероятно, кредит, создаваемый – даже и при ссоре с отцом – миллионами и репутацией этого последнего.

Книжки для издания Парамонов подбирал по известному плану и с определенным политическим направлением, а именно социал-демократическим, но без обычной узости, так часто отличавшей и отличающей социал-демократов. Его помощником по редакционной части был его приятель, социал-демократ С. Г. Сватиков, автор нескольких недурных книжек по истории[851]. Но он и сам выбирал книжки. Так, прочтя в журнале «Новый путь» мою статью о «всеобщем голосовании» (в 1904 г.)[852], он сейчас же решил, что статья может быть пригодна в качестве брошюры, и обратился ко мне с письменным предложением (я жил тогда в Петербурге, а он в Ростове-на-Дону) издать ее в 10 000 экземпляров и назначил гонорар в 100 рублей. Предложение было для меня совершенно неожиданно – мне и в голову не приходило, чтобы подобное издание было возможно (конечно, с книгопродавческой точки зрения) – и очень приятно; я, разумеется, его принял[853]. Еще более неожиданно было, когда через два месяца он сообщил, что книжка разошлась сполна, и предложил за тот же гонорар выпустить ее новым изданием, уже в 50 000 экземпляров и по удешевленной цене (первое издание было выпущено по 10 или 8 копеек[854], второе по 5 копеек); я, конечно, и на этот раз принял предложение[855] и внес в книжку

некоторые исправления, частью фактического свойства ввиду новых событий, а частью в сторону дальнейшей ее популяризации[856]. На этот раз прошло месяцев девять или десять, и Парамонов выпустил ее третьим изданием[857], тоже в 50 000 экземпляров.

Но время шло, рынок насыщался, а главное, после подавления эсеровского восстания в Москве в декабре 1905 г. и неудачи третьей всероссийской забастовки[858] интерес к книге или, по крайней мере, к политической брошюре в народных массах сразу упал, и многочисленные вновь создавшиеся издательства остались на мели с громадным грузом изданного или печатного материала и в большинстве прекратились. В меньшей степени, чем других, вследствие большой литературной серьезности и коммерческой солидности его издательства, та же участь постигла и «Донскую речь» Парамонова, которая, правда, уцелела и влачила свое существование вплоть до революции 1917 г., но издавала мало и в небольшом количестве экземпляров[859]. Вместе с издательством и моя брошюра осталась на складе мертвым грузом; остатки ее были распроданы со значительной быстротой после Февральской революции 1917 г., несмотря на то что к этому времени она совершенно устарела и нуждалась в радикальной переработке.

Кроме этой моей брошюры Парамонов в 1905 г. предложил мне, как я уже упоминал, переиздать проредактированный мной перевод книжки Каутского и заказал перевод известной книги Кеннана о ссылке и тюрьме в России[860].

В 1905 г. Парамонов уже помирился с отцом и был деятельным участником в его миллионном предприятии; таким образом, «Донская речь» могла быть для него только чем-то побочным, второстепенным или третьестепенным и в смысле коммерческом, и в том внимании и затрате времени, которые он мог отдавать ей. Но он продолжал дело с прежней любовью. Для меня совершенно несомненно, что оно было для него делом по преимуществу идейным, а не коммерческим, тем более что ради него он нес и значительный личный риск: за несколько десятков различных книжек он был привлечен к суду и не высидел года крепости[861] только по случайной причине, о которой я расскажу позже в связи с рассказом о моих судебных делах. Но едва ли можно сомневаться и в том, что кроме идейной стороны дела Парамонова увлекала его предпринимательская, деляческая натура; его самолюбию льстило, что он, начав с грошей, сумел создать и стоять во главе крупного предприятия, которое оставило свой не незаметный след в культурном росте России. И вместе с тем коммерческая натура, и притом натура

коммерсантов времен Островского, до некоторой, хотя и не сильной степени сказывалась в его приемах ведения дела.

В 1906 или 1907 г. в Петербург приехала дама, с которой в последние месяцы своей киевской жизни он жил как с женой и в качестве таковой увез с собой в Ростов. Эту даму и я знал еще по Киеву. Она была у меня и горько жаловалась на Парамонова, который ее бросил, и притом бросил в очень тяжелом материальном положении. Говоря, что Парамонов очень меня уважает, она просила меня написать ему усовещивающее письмо и предложить ему что-нибудь вроде суда между им и ею. Вместе с тем, говоря со страшной о нем злобой, она рассказала, что моя брошюра о всеобщем голосовании была им напечатана не в трех мне известных и оплаченных гонораром изданиях, а в пяти, то есть и первое, и второе издания были повторены по два раза, и что это была система его действий, которую он практиковал со всеми авторами, когда их книжки хорошо расходились! Хотя рассказ дамы о ее личных отношениях с Парамоновым производил на меня впечатление искренности и правдивости, но от вмешательства в них я отказался, чувствуя к подобным вмешательствам решительное отвращение.

В последующие годы Парамонов выкинул за борт свой социал-демократический груз и к революции 1917 г. был активным членом кадетской партии; одно время, не то при Деникине, не то при Врангеле, он занимал министерский пост[862]. После торжества большевизма он, как и мы все, очутился на другом берегу, в Берлине, но не в пример другим беженцам сумел спасти некоторую часть своего достояния. Как я слышал, ему удалось увести несколько своих пароходов в Константинополь[863] и там недурно продать их, – конечно, это была ничтожная доля его прежнего состояния. За рубежом он проявил и прежнюю любовь и интерес к книге, и прежний талант и энергию не желающего идти ко дну предпринимателя. Первое сказалось в том, что он был одним из основателей книгоиздательской фирмы «Слово»[864], выпустившей в свет много очень ценных книг, а второе – в том, что он, как я слышал, на полученные им от продажи пароходов сравнительно небольшие деньги – в тот период, когда вследствие инфляции и законов о найме квартир большие каменные дома в германских городах продавались по 200–300 долларов, – скупил ряд таких домов в Берлине и таким образом обратился в крупного берлинского домовладельца, а после стабилизации валюты – и в миллионера. Однажды я с ним встретился в Праге в столовой Земгора[865], но наш разговор вышел совершенно пустой и бессодержательный[866].

Революционное настроение нарастало, сказал я, и оно

врывалось в мой дом, требуя от меня очень разнообразных откликов. У меня в доме осенью 1901 г.[867] [868] появился и стал частым гостем Ст[епан] Балмашев, с отцом которого, старым народником 70-х годов, была знакома по Саратову моя жена. Это был очень живой и очень симпатичный юноша. Исключенный из какого-то другого университета, Балмашев поступил в киевский. Через несколько посещений он обратился ко мне с просьбой от имени кружка его товарищей руководить занятиями кружка по политической экономии и, в частности, помочь им самоопределиться в споре между сторонниками и противниками марксизма. Я ответил, что не настолько осведомлен в этих вопросах, чтобы взять на себя руководительство занятиями студентов, и что единственная область, в которой я мог бы это сделать, это наука о государстве, и прибавил, кстати, что молодежь совершенно напрасно признает политическую экономию как бы единственной отраслью знаний, заслуживающей изучения. Он немного поспорил, но скоро уступил и через несколько дней привел ко мне компанию чуть не с десяток студентов, слишком большую для моей маленькой квартирки с ее очень скудной меблировкой. Я предложил им программу занятий, дал библиографические указания и предложил поделить между собой ряд тем. Тут были темы по различным вопросам избирательного права, в частности о пропорциональных выборах, о разных вопросах парламентаризма, двухпалатности и однопалатности, о федерации, национальном вопросе, свободе слова, положении церкви в государстве, роли политических партий в государственном строе и т. д. Разумеется, не обошлось без горячих возражений и споров, но в конце концов моя программа была с некоторыми изменениями принята и темы разобраны.

Кружок собирался у меня раза по два в месяц в течение нескольких месяцев в конце 1901 г.[869] Большинство прочитанных работ, к сожалению, были слишком пропитаны политикой и вместе с тем очень шаблонны по своим политическим выводам, а в научном отношении крайне слабы. Ни один из моих слушателей не владел иностранными языками, и потому в своих библиографических указаниях я должен был ограничиваться русскими книгами, но и они бывали всегда недостаточно использованы. Единственное исключение в ряду моих слушателей составлял сам Балмашев. Еще недавно он склонялся в сторону социал-демократии, но теперь, во время занятий у меня, считал себя по убеждениям социалистом-революционером и, кажется, формально принадлежал к партии[870] [871]. Но его мировоззрение не было вполне сложившимся и законченным. Он был мятущийся и

ищущий юноша и своими исканиями вызывавший к себе симпатию. Каждое мнение, возражение, указание, несогласное с высказанным им самим, он выслушивал с редким вниманием и с редкой готовностью принять его, если оно окажется убедительным. Но это не была беспринципность, не было тем состоянием, при котором «что книжка последняя скажет, то сверху на душу и ляжет»[872]; нет, он продумывал каждую мысль до конца и принимал ее только с глубоким убеждением. Он написал доклад о пропорциональной системе выборов, и хотя не был чужд обычного у молодежи доктринерства, то есть исходил из отвлеченных положений, в частности из преувеличения положительного значения политической партии, и мало принимал во внимание жизненную практику, но все же его доклад выдавался своей серьезностью и оригинальностью аргументации.

Должно быть, в самом конце 1901 г. Балмашев уехал из Киева, кажется, вследствие исключения из университета или по какой-то другой причине. Куда – я не знал. Затем появилась телеграмма об убийстве министра внутренних дел Сипягина; это был второй важный террористический акт после долгого перерыва[873]. Первые известия не называли фамилии убийцы, но, рисуя обстановку убийства, они говорили о редком мужестве, самообладании и личном благородстве покушавшегося[874].

В первый или во второй день после появления в газетах известий о покушении я был у С. Н. Булгакова, бывшего профессором в Киевском политехническом институте, и, конечно, говорил с ним о событии. Булгаков, решительный враг политического террора, был поражен этим событием и говорил:

– Это, должно быть, замечательная личность, виновник покушения; это, видимо, героическая натура.

И потом у него, точно против его желания, сорвались слова:

– Это кто-нибудь вроде Балмашева.

Между тем фамилия его нигде еще не была названа, и никаких данных для такого предположения у нас не было. Через несколько дней оно подтвердилось. Затем последовали и суд, и казнь[875].

Около 1902 г. на киевском горизонте появилась знаменитая «бабушка» – Брешковская – и не раз ночевала у нас. Образ ее хорошо известен, и вряд ли я могу прибавить к нему что-нибудь. В это время ей было около 60 лет, но она была физически бодра. Ее энергия была поразительна. Она была на нелегальном положении, то есть никогда не знала, будет ли сегодня ночевать где-нибудь в свободной квартире или в тюрьме; не знала и того, в какой именно квартире она будет ночевать, если судьба пошлет

ей еще один день свободы. Все ее имущество помещалось в небольшом мешке, и с полным правом она могла сказать: omnia mea mecum porto[876]. С этим мешком, имея вид старой няни или прислуги, она переходила с квартиры на квартиру, делая свое революционное дело, организуя кружки, связывая их друг с другом, привлекая их к тому или иному определенному делу. Эта способность не иметь своего угла, жить изо дня в день и в то же время сохранять бодрость и энергию была поразительна. Не менее поразительно было то, что, живя в таких условиях, она успевала много читать и была образованным человеком. Она прекрасно говорила по-французски и охотно переходила на этот язык, и с ней можно было легко и интересно говорить о новинках русской и французской литературы, о важнейших явлениях в области журналистики и общественной жизни[877].

В связи с оживлением революционной деятельности в Киеве беспрестанно появлялись летучки[878] обеих политических партий. Не раз эти летучки составлял я, и притом чаще для социал-демократов, чем для социалистов-революционеров. Связующими лицами с первыми для меня были братья Вакары, о которых я упоминал в связи с делом Тарле. Переложив гнев на меня из-за этого дела на милость, они являлись ко мне и, сообщая сведения о какой-нибудь забастовке или о чем-нибудь подобном, просили написать листок, что я исполнял весьма охотно. Но однажды я сам взял на себя инициативу.

В обществе распространилось известие, что жандармский генерал В. Д. Новицкий в недалеком будущем празднует свой 25-летний юбилей (это было в 1902 или 1903 г.[879]). И вот когда братья Вакары (или, может быть, это был уже один Вова Вакар, так как младший, кажется, уже женился и перестал бегать по социал-демократическим делам) как-то зашли ко мне, я обратился к ним или к нему с упреком:

– Неужели социал-демократы не собираются поздравить Новицкого с юбилеем? Как им не стыдно – ведь это черная неблагодарность! Кто другой доставил им столько адептов, как Новицкий?

Мысль моя понравилась, и через несколько дней Вакары вернулись ко мне с просьбой написать такое поздравление. И я с большим удовольствием исполнил это предложение. Мое поздравление было построено следующим образом.

«Не имея высокой, хотя, может быть, и несколько опасной чести быть лично известными вашему превосходительству, мы, члены киевского социал-демократического комитета, считаем долгом поздравить ваше превосходительство с предстоящим 25-летием Вашей доблестной службы. Редко кто оказывал нам такие

услуги, как ваше превосходительство. За 25 лет Вы произвели десятки тысяч обысков и тысячи арестов; месяцами Вы держали в тюрьмах людей, не причастных к революционной деятельности, и эти люди, на которых не действовали наши аргументы, приходили к нам, пройдя школу вашего превосходительства. В последние 4 года в Киеве успешно работает наша типография; в поисках за нею Вы обшарили сотни квартир, но всегда тех, где ее нет и быть не может, – и наш шрифт успел уже износиться. Но для напечатания этого поздравления Вам мы сочли своим долгом обновить его. Умеренные либеральные общественные деятели говорят о Вас со страхом и ненавистью, говорят о Вашей жестокости, передают слухи о Вашем покровительстве тайным притонам. Но мы не имеем оснований ни для страха, ни для ненависти; напротив, мы питаем к Вам чувство глубокой благодарности. Говорят, будто в недалеком будущем Вы покидаете Киев и получаете новое назначение в Москву. Слух этот нас глубоко огорчает, и мы не можем скрыть, что испытываем к нашим московским товарищам, которые будут осчастливлены возможностью работать совместно с Вами, чувство зависти. Но, благодарные Вам за то, что Вы сделали для развития нашей партии в истекшие годы, мы шлем Вам этот привет и надеемся, что еще долгие годы Вы будете с прежним успехом продолжать Вашу столь целесообразную деятельность»[880].

Это поздравление было превосходно напечатано в тайной типографии, а в самый день юбилея доставлено по почте Новицкому и в довольно значительном числе экземпляров распространено по городу. Оно имело успех, читалось и перечитывалось. Говорили, что на Новицкого оно произвело сильнейшее впечатление и вызвало у него припадок бешенства.

Я, конечно, был далеко не вполне искренен, когда говорил, что «мы не имеем оснований ни для страха, ни для ненависти к Новицкому». Лично я его и боялся, и ненавидел, и, без всякого сомнения, именно чувство ненависти водило моим пером, когда я писал поздравление. Но я писал не от своего имени, а от имени социал-демократического комитета, которому как целому и в самом деле Новицкий – полным отсутствием сыщицкого таланта, соединенным с бессмысленной, возбуждающей против себя и против правительства, жестокостью, – был не страшен.

Слух о переводе Новицкого в Москву оказался неверным, и он еще несколько лет подвизался в Киеве, но через несколько лет, помнится, в 1905 г.[881], был вовсе уволен за полным несоответствием требованиям времени. Однако прошло еще года два, и он вновь всплыл на поверхность и был назначен одесским градоначальником[882]. Любопытно, что после этого назначения

газета «Русь» (А. А. Суворина) отправила к нему своего интервьюера; Новицкий наговорил ему о своем уважении к принципу законности, которого он будто бы всегда держался в своей деятельности и намерен впредь держаться, и «Русь» всю эту ложь поместила с полным доверием, без единой оговорки[883].

Вспоминается мне еще один крупный эпизод из революционной жизни этой эпохи, к которому я имел некоторое отношение.

Кажется, ранней весной 1902 г. киевская социал-демократия затеяла акт, который скорее подходил бы социалистам-революционерам: организацию побега из тюрьмы целой группы арестованных. Нужно было доставить им в тюрьму различные орудия и даже оружие, веревки и многое другое; нужно было подготовить на воле лошадей, квартиры, но главное, нужно было раздобыть деньги. И мое участие в деле сводилось к подготовке квартир и собиранию денег.

Главным или одним из главных организаторов побега был социал-демократ Я. Г. Френкель, с которым я тоже поддерживал дружеские отношения. Когда-то, в 1887 г., он был моим первым соседом по Дому предварительного заключения (в Петербурге), и там я познакомился с ним посредством перестукивания, о чем упоминал в своих воспоминаниях, относящихся к той эпохе. Он судился по делу Лопатина и Якубовича, был приговорен, кажется, к ссылке на поселение в Сибирь, а в конце 90-х годов появился в Киеве, и там мы познакомились с ним уже лично. Мне удалось пристроить его корректором в знакомой мне типографии Кульженко. К этому времени Френкель был уже социал-демократом; скоро после поселения в Киеве он принял активное участие в делах партии и, очевидно, из пиетета к своему народовольческому прошлому взялся за организацию тюремного побега – побега, может быть, самого замечательного во всей русской истории до революции 1905 г., замечательного именно числом бежавших, – и организовал его превосходно. Обыкновенно бегали 1, 2, 3 человека, а тут сразу 12[884]! Эта цифра была превзойдена, насколько я знаю, только во время революции, да и то, кажется, только в революцию 1917 г. И притом побег был организован без всякого содействия тюремной стражи, а также без подкопа.

Впрочем, благодаря замечательным порядкам киевской тюрьмы организация побега представлялась сравнительно легкой. Посетители проходили в тюрьму к заключенным почти без контроля, передача не контролировалась почти вовсе; гуляли заключенные на дворе все вместе, а стена – правда, высокая, сажени в две, – отделяла двор прямо от пустынного поля,

находившегося уже за городом.

И вот однажды по данному сигналу заключенные сперва запорошили нескольким стражникам глаза табаком, одного или двух связали веревками, потом перебросили веревочные лестницы с крюками на стену, каким-то образом закрепили их там, перелезли через одну стену и бросились бежать в недалекие условленные места, где их поджидали лошади, частью верховые, частью упряжные. Вдогонку раздалось несколько выстрелов со стороны часовых, беглецы отвечали тем же, но ни одна пуля ни с той, ни с другой стороны, к счастью, не попала в цель. Дело происходило в вечерних сумерках, и всем удалось благополучно скрыться. Лишь немногие тотчас же уехали из Киева; большинство по установившемуся в революционной практике обычаю предпочло переждать первое время в Киеве и выбралось из него только дней через десять, когда возбужденная в жандармерии тревога улеглась. Все благополучно перебрались через границу, кроме одного, который был арестован где-то не то в Кременчуге, не то в Каменец-Подольском.

По смелости задуманного плана, по той тщательности, с которой он был приведен в исполнение, этот побег представляет из себя нечто замечательное; замечательно и то, что весь план удалось сохранить в тайне, несмотря на довольно продолжительную подготовку и необходимость посвятить в тайну довольно большое число людей, более или менее посторонних революционной деятельности и не привыкших к строгой конспирации; а это было необходимо при сборе денег – нельзя же было удовольствоваться сборами в партийной среде – и при подготовке более или менее безопасных квартир для укрывания беглецов. Об этой стороне дела я скажу дальше, а теперь отмечу еще одну сторону дела.

Среди беглецов не было ни одного сколько-нибудь крупного имени; Урицкого в это время в киевской тюрьме уже не было, Луначарского – тоже, и все участники побега были рядовые деятели партии, из которых я ни одного не помню по фамилии[885], не исключая и того, который провел у меня две ночи (возможно, впрочем, что как раз его-то фамилия осталась и тогда мне неизвестной). И я думаю, что мотивом, побудившим организовать побег, послужили не столько интересы социал-демократической партии, сколько романтизм самого дела; другими словами, что не идеи марксизма лежали в его основе, а то чувство, которое двигало и создавало террористов. И недаром в рядах социал-демократической партии в это время был бывший народоволец Френкель.

Что касается денежной стороны дела, то побеги всегда были

очень популярны в либеральных кругах общества, и собрать на таковой необходимую сумму было бы не трудно, если бы можно было при сборах говорить о цели. Но говорить это можно только очень не многим, и потому сборы были сопряжены с исключительными трудностями. Тем не менее удалось, под мое и еще нескольких лиц поручительство, получить довольно значительную сумму денег взаймы (в расчете покрыть впоследствии из позднейших сборов, производившихся после побега, – в расчете, который вполне оправдался), и, в общем, оказалось возможным собрать что-то около 2000 рублей, которые и были истрачены на организацию дела.

Но тут, в сборе денег, мне вспоминается один крайне непривлекательный эпизод.

В числе лиц сравнительно состоятельных, которые охотно жертвовали на революционные дела, был С. Н. Булгаков, и пожертвования от него шли – не знаю, всегда ли, но во всяком случае часто – через меня. С ним можно было говорить откровенно, и я сообщил ему план побега, поскольку сам был посвящен в него. Он пришел в восторг и тотчас же отвалил 100 рублей. Я передал их в партию, как всегда, от имени Сени; это был псевдоним, образованный мной из инициалов имени и отчества самого Булгакова, С. Н., и его жены Елены Ивановны, отчасти имевший смысл добродушной насмешки над мистическим направлением Булгакова (Сени – известный астролог-мистик XVII века).

Когда побег состоялся, то социал-демократическая партия выпустила листовку, в которой в обычном для нее хвастливом тоне рассказывалось о крупном побеге как об акте борьбы пролетариата за свое освобождение и указывалось, что в этом деле, как и во всех других, партия была представлена исключительно собственными силами, и даже крупные деньги на дело должна была ассигновать из собственной кассы, не имея ничьей помощи. И, не помню, в том же или в другом листке, выпущенном около того же времени, был напечатан отчет о денежных суммах, полученных за последнее время, причем отчет был озаглавлен: «Сбор в пользу киевской организации с[оциал]-д[емократической] партии». В отчет были включены все деньги, полученные от меня, и в том числе значилось: Сени – 100 р. Это была грубая неправда, и она очень не понравилась и мне, и другим жертвователям. Но они (и я тоже) поворчали про себя и успокоились. Только С. Н. Булгаков пришел в раж и резко обрушился на меня как на передатчика его денег:

– Я требую печатной поправки; я давно разошелся с социал-демократической партией, ее деятельности не сочувствую и в

общем поддерживать ее не считаю возможным. Я жертвовал на определенное дело.

Он был, конечно, совершенно прав, и мне пришлось обратиться к партии в лице Вакара. Я указал ему, что, когда передавал деньги, я каждый раз указывал на цель пожертвования, а относительно Сени особенно оговорил, что это лицо, относящееся к партии с решительным отрицанием. Тут Вакар стал было на дыбы и заявил решительно:

– В таком случае мы возвратим все деньги, полученные через вас.

Сначала он заявил это как личное свое мнение, через несколько дней подтвердил его от имени организации. Я твердо стоял на своем: или печатное извинение, или назад деньги, причем, конечно, на мои услуги в этом направлении в дальнейшем вы рассчитывать больше не должны. Вернуть деньги было, конечно, не по силам, но, может быть, организация не постеснялась бы уклониться от этого, не печатая в то же время извинение, если бы не было моей угрозы. И кончилось тем, что Вакар принес мне текст поправки: он был составлен очень слабо, почти двусмысленно и не вполне удовлетворил меня, еще менее удовлетворил Булгакова, но все-таки в нем было сказано, что в числе пожертвований, отчет о которых напечатан тогда-то, некоторые, и именно такие-то, были сделаны со специальной целью – на побег. Вакар некоторое время дулся на меня, – дольше и сильнее, чем из-за диспута Тарле, но потом вновь переложил гнев на милость и по-прежнему бывал у меня и обращался с разными просьбами.

Была и еще одна очень неприятная сторона в этом побеге. Разумеется, Новицкий после побега пришел в бешенство. Начальство тюрьмы – от начальника до стражников – было прогнано со службы и лишилось куска хлеба. А начальство это было очень порядочное, и его было по человечеству жалко. Было назначено новое начальство, введены новые порядки, и таким образом за побег заплатили, и очень дорого, наиболее порядочные элементы из тюремной администрации и следующие поколения заключенных.

Если вспомнить рассказ, имеющийся в народовольческой биографии Перовской, о том, что она решила бежать с пути следования в ее первую ссылку, но долго не могла исполнить своего намерения, так как сопровождавшие ее жандармы оказывались добрыми и порядочными, и исполнила его только под самый конец, когда, на счастье революции, ей попались злобные церберы[886], и сравнить этот рассказ с изложенным сейчас фактом, то станет ясно, что психология Перовской[887] не

есть явление общее для представителей революционных течений.

# Глава IV. Лекция С. Н. Булгакова о В. С. Соловьеве и прения после нее (1902[888])

Подъем революционного настроения и революционной деятельности, конечно, не мешал, но способствовал усилению легальной общественной работы. Чтения и рефераты в Литературно-артистическом обществе, о которых я говорил в предыдущей части своих воспоминаний, не прекратились вследствие ибсеновского дела, а были только затруднены и ослаблены. Их не было в 1900–1901 гг., когда я был за границей, Тарле – вне Киева, Луначарский и Бердяев, кажется, тоже, и из обычных лекторов были налицо только Булгаков и Ратнер; но без меня, бывшего связующим звеном между Литературно-артистическим обществом, с одной стороны, этими лекторами и студенческой публикой, с другой, чтения не устраивались.

Но с осени 1901 г. я решил попробовать возобновить наши публичные лекции в Литературном обществе. Две-три лекции на сравнительно скромные темы, но с политическим оттенком, осторожно устроенные, прошли благополучно при сравнительно небольшой аудитории, не обратив на себя особого внимания на публики, ни жандармерии.

Затем С. Н. Булгаков выразил готовность прочесть лекцию или реферат о Владимире Соловьеве (года за два перед тем умершем[889]). Я охотно взялся организовать ее в качестве обычного «вечера с рефератом» в Литературном обществе. Были мною нафабрикованы контрамарки для гостей, пущены через студентов по 30 копеек в пользу Красного Креста (кроме них, при входе с гостей взималось по 30 копеек в пользу Общества), и зала Общества, довольно вместительная, была набита битком; всего набралось до 800 человек; большинство публики стояло[890].

Лекция была превосходно прочитана и очень интересна по содержанию, хотя для людей с позитивистическим складом ума и очень спорна. Булгаков – превосходный знаток и горячий поклонник Соловьева; вместе с ним он настаивает на существовании потустороннего мира, реальное существование которого, по его мнению, доказуемо, но полное познание которого возможно только верой, являющейся необходимым элементом нормальной человеческой психики. Вера для Булгакова является тем светочем, который один освещает человеку его жизненный путь, тогда как наука в сравнении с ней есть тусклый чадящий фонарь. На своей вере он как-то строит теорию совершенствования человека и человеческого общества на

земле и эту теорию приписывает Соловьеву.

Я постарался здесь изложить лекцию Булгакова, как она осталась у меня в памяти, но охотно допускаю, что изложил ее не точно и, может быть, даже не верно. С Владимиром Соловьевым я знаком был тогда очень мало; теперь знаю его, скорее, еще хуже, а строй мысли Булгакова был и остается мне совершенно чуждым.

Так как с формальной точки зрения Булгаков читал не лекцию, а реферат, то возможны были прения, и против него выступили два оппонента – М. Б. Ратнер и я.

М. Б. Ратнер, сторонник позитивистической философии, подверг суровой критике основы чтения Булгакова. Мне, тоже стороннику позитивизма, аргументация Ратнера казалась серьезной и убедительной, как и очень многим другим слушателям, но сторонников Булгакова, а их было много, она не убеждала. Но главное было не в этом, а в том, что чтение Булгакова казалось свободной импровизацией (хотя в действительности оно было целиком написано), что оно было произнесено с совершенно исключительным подъемом, что Булгаков на кафедре производил впечатление вдохновенного пророка и что его умение слить в одно целое политический радикализм и социальный демократизм с туманным мистицизмом действительно очаровало слушателей, и притом даже не склонных к его мистицизму, а строго логическая, но сухая речь Ратнера, чрезмерно перегруженная собственными именами философов, переполненная скучными цитатами, производила впечатление заученного урока (хотя в качестве возражения не могла быть не чем иным, как импровизацией).

Что касается меня, то мое положение было затруднительное. Я никогда не занимался сколько-нибудь серьезно философией и, в частности, как я уже сказал, не знал почти вовсе Соловьева, за исключением его чисто политических произведений (о национальном вопросе[891] и некоторых других) и полубеллетристического произведения, появившегося незадолго до его смерти в «Книжках “Недели”», – «Под пальмами. Три разговора»[892] и немногих других. Между тем положение требовало, чтобы я выступил. Я был как бы присяжный оратор на этих собраниях; я был организатором, в частности, этого собрания; всем было известно, что я, находясь в близких приятельских отношениях с Булгаковым, постоянно с ним спорю, занимая почти по всем вопросам прямо противоположную ему позицию. Перед лекцией Булгакова и особенно в перерыве после нее ко мне обращались десятки знакомых и незнакомых: вы, конечно, будете ему возражать? Не возражать было невозможно.

Прослушав Булгакова, я сразу заметил большую разницу

между тем Соловьевым, каким он рисовался (в качестве общественного мыслителя) в лекции, и тем, каким я его знал по повести «Под пальмами». Первый – оптимист, верящий в бесконечный или, по крайней мере, неопределенно долгий прогресс человечества, причем эта вера покоилась на религиозной основе. Между тем в разговорах «под пальмами» предсказывался полнейший моральный упадок человечества и появление в более или менее недалеком будущем Антихриста.

Еще яснее этот пессимизм был выражен Соловьевым в одной его посмертной статье, заглавие которой я не помню, незадолго перед булгаковской лекцией напечатанной в «Вестнике Европы»[893]. В ней он передавал убеждение своего отца, С. М. Соловьева, что новый мир так же изжил свои духовные силы, как древний мир в последние века Западной Римской империи; но древний мир обновили германцы; между тем обновить современный нам мир некому: не тем же дикарям, которые Кука съели? Так они, от сифилиса и водки, давно уже сгнили.

Я, увлекавшийся тогда Лассалем, прибавляет Вл. Соловьев, по молодости лет возражал своему отцу, указывая на рабочий класс, идущий на смену господствующим силам нашего мира, и на несомый им социализм; что отвечал на это мне отец, я решительно не помню, но хорошо помню его свойственное ему движение носом, как будто он почувствовал сильнейшую вонь (излагаю по памяти). Вл. Соловьев, по молодости лет возражавший отцу, в зрелом возрасте был с ним совершенно согласен, – по крайней мере, так он говорил в своей посмертной статье[894].

Это давало мне основание думать, что Булгаков неверно изложил нам историко-социальное миросозерцание Соловьева, что, несмотря на свою религиозность или, может быть, благодаря ей, но в вопросах человеческого развития Соловьев был не оптимистом, а очень мрачным пессимистом.

Нужно заметить, что и я сам к этому времени приходил к миросозерцанию довольно пессимистическому. В возможность близкой победы социализма (говорю о победе социализма, а не социалистической партии) я уже решительно не верил, а вместе с тем видел в Германии и других странах процесс линяния социализма, процесс приспособления его к существующему буржуазному строю. Я не мог, конечно, сомневаться в том, что технический прогресс человечества не только не остановился, но [и] обещает блестящие перспективы, но в прогресс социальный, в ослабление социальных антагонизмов в человечестве я не верил. В частности, прогресс технический сказывался в прогрессе военной техники, и хотя я не ожидал войны в близком будущем

(почему и японская[895], и мировая война застали меня врасплох и опровергли все мои прогнозы), но в движении человечества во многих отношениях вспять в не очень отдаленном будущем я был твердо убежден.

И вот, оговорившись, что я недостаточно знаком с Соловьевым, я все-таки решился публично возражать Булгакову, указывая на неправильность, по моему мнению, изложения теории Соловьева[896]. И заодно я развил теорию своего личного пессимизма, построенного не на религиозной почве, а на почве, как я думал, конкретного анализа хода политических событий. В заключение я сказал, что готов вместе с Булгаковым признать науку очень тусклым фонарем, освещающим дорогу на небольшой радиус вокруг нас в мире недоступной нам тайны, но все-таки он освещает нам дорогу хотя бы на несколько шагов вокруг, а булгаковский светоч есть в действительности блудящий огонек, какие вспыхивают на болоте; сам Булгаков за ним в болото политической реакции не пойдет, потому что он честный, искренний и благородный человек, но других этот огонек не раз туда заводил и, без сомнения, и впредь заводить будет[897].

Булгаков мне возражал. Он возвратил мне мой комплимент, сказав, что тоже глубоко уважает меня лично, но, прибавил он, я составляю для него психологическую загадку: он не понимает, как можно жить с таким пессимизмом, как мой, и особенно как можно быть порядочным человеком с таким пессимизмом при атеизме. Веление Божества, совесть, основанная на заповеди Божией, могут заставить человека быть порядочным, но при непризнании начал откровенной религии, да еще при пессимизме в области социальной, – открытая дорога в цинизм, в бессовестность, в жизнь для собственного брюха. Он знает, что я не иду по этой дороге, но где те внутренние стимулы, которые ведут меня по другой дороге, он не знает и понять их, несмотря на близкое знакомство со мной, решительно не в состоянии[898]. Что же касается моих возражений относительно Соловьева, то я просто вывернул Соловьева наизнанку; нельзя говорить о писателе по одному его произведению да по случайному, к тому же незаконченному, посмертному отрывку. Предсмертный пессимизм у Соловьева был минутным настроением, а общее его миросозерцание нужно извлекать из его многочисленных философских произведений.

Наибольший успех на этом вечере выпал, само собою разумеется, на долю Булгакова. Несомненно, что значительное большинство аудитории не склонно было сочувствовать его мистицизму и по своим убеждениям всего ближе была к Ратнеру, но Булгаков сумел увлечь и противников, и аудитория

аплодировала ему бешено. Об этом успехе Булгаков, вероятно, вспоминает как об исключительном дне в своей жизни, который, впрочем, с ним повторился через год или полтора, когда он читал лекцию (тоже в Киеве) о Достоевском[899]. Это был успех того же рода, как те, которые возбуждали на своих публичных лекциях Достоевский и Соловьев. Успех Ратнера был тоже значительным, но только в кругу его сторонников. Я же смутил аудиторию своим пессимизмом, и мой успех был значительно меньше.

На этом вечере был один мелкий, но любопытный инцидент. Председателя у нас не было; я был организатором и распорядителем. И вот в перерыв ко мне обратился какой-то неизвестный мне субъект с просьбой разрешить ему выступить оппонентом. Я, конечно, сразу согласился и осведомился о фамилии.

– Какая вам нужна моя фамилия? Я, видите ли, нелегальный и живу не под настоящей фамилией.

– Как нелегальный? Так вам нельзя здесь выступать; собрание вполне легальное, и оно разрешено правлением Общества мне под моею ответственностью; я не могу дать слова заведомо нелегальному человеку.

– А если бы я этого не сказал, то вы бы дали мне слово?

– Конечно.

– Под вымышленной фамилией?

– Под той, которую вы назвали бы мне, а до другой мне нет дела. Я могу дать слово всякому и не обязан у человека спрашивать паспорт, но дать слово заведомо лицу, которому я не имею права давать его, – это значит рисковать существованием общества, и я не могу взять этого на свою ответственность.

– Но об этом никто не узнает, даю вам слово.

Конечно, я его не допустил до выступления, и Булгаков, Ратнер и другие лица, которым я после сообщил об этом инциденте, до радикальнейших Вакаров включительно, одобрили меня. У меня при этом вертелись в памяти слова Марины Дмитрию, которые, конечно mutatis mutandis[900], могли быть применены к данному случаю:

> Чем хвалится, безумец!
> Кто требовал признанья твоего?
> …Ты должен
> Достоин быть успеха своего
> И свой обман отважный обеспечить
> Упорною, глубокой, вечной тайной[901].

Но с одним очень существенным отличием: Марина знала

или узнала, что Дмитрий – самозванец, но она не подозревала его в провокации, да и самого этого понятия, возможно, не знала, а у меня вертелось в голове как раз подозрение в ней.

Булгаковский вечер вызвал довольно продолжительную полемику в южной (киевской, одесской, житомирской, харьковской) прессе. Поклонники Булгакова восторженно описывали его лекцию и очень сурово отнеслись к нам с Ратнером; были, однако, защитники и у нас, нападавшие на Булгакова. Но были и высмеивавшие всех трех. Не помню, в какой именно из местных газет появился бойкий фельетон за подписью Борецкая; о Ратнере там говорилось, что он щеголял именами и цитатами и этим перед всеми «показал свою… хм, хм… ерундицию» (цитирую, конечно, по памяти, но уверен, что верно). С таким же остроумием говорилось и обо мне, и о Булгакове. Впоследствии стало известно, что под этим женским псевдонимом скрылся тогда совершенно неизвестный Рысс (ныне в эмиграции, один из основателей журнала «Борьба за Россию»)[902].

Горячим сторонником Булгакова выступил в печати с фельетоном его ученик, тогда еще студент, И. Книжник. Мне фельетон его очень не понравился, между прочим, тем, что он начинался приблизительно так: «Читателю может показаться странным, что в философский диспут решается вмешиваться молодой человек, еще только в будущем году собирающийся держать экзамены, но…» И т. д. Мне показалось, что до возраста автора читателю нет дела и что самому автору нечего ни хвастаться своею молодостью, ни стыдиться ее. Но Булгаков очень горячо защищал (в разговорах со мной) своего ученика как талантливого многообещающего юношу и указывал на параллельность их жизненных дорог: оба они – сыновья духовных лиц (Булгаков – православного священника, Книжник – раввина), оба пережили детскую формальную религиозность, юношеский атеизм и марксизм и оба пришли к возвышенной, подкрепленной и богословским, и общенаучным знанием религии, терпимой к религиозным разногласиям. Несколько позже, когда я сделался членом редакции местной газеты «Киевские отклики», и еще позднее, в Петербурге, в редакции «Нашей жизни» я довольно часто встречался с Книжником, приносившим нам разные свои заметки, но и в наших редакциях, и, в частности, во мне ни он сам, ни его литературные произведения не вызывали особой симпатии, и последние обыкновенно у нас не печатались. Еще позднее, после большевицкой революции, его имя одно время зачастило в большевицкой печати под статьями кровожадно-большевицкого характера, насыщенными ненавистью к разного

рода буржуям. Такова была жизненная дорога ученика Булгакова.

Лекция Булгакова заинтересовала петербургский журнал «Новый путь», который прислал на нее свою (конечно, местную, киевскую) стенографистку, и эта лекция со всеми возражениями была целиком напечатана в нем.

# Глава V. Поездка за границу летом 1903 г. – Съезд Союза освобождения на берегах Боденского озера. – Моя лекция о развитии германской социал-демократии

Летом 1903 г. в Германии ожидались новые выборы в рейхстаг, а потом в прусский ландтаг, и я не мог не поехать туда[903]. К тому же имелся и еще один сильный стимул для поездки. С 1902 г. в Штутгарте выходил под редакцией Струве журнал «Освобождение»[904]. Журнал этот был основан группой радикальных земцев (Петрункевичей, Родичева, Шаховского и др.), которые собрали на него довольно значительные деньги и пригласили его редактором П. Б. Струве; ему они гарантировали издание журнала и уплату жалованья (кажется, в размере 3000 или 3600 рублей в год) в течение нескольких лет. Летом 1903 г. предполагался съезд сторонников «Освобождения».

Начало лета я провел в Берлине, Кельне и других местах – и провел таким же образом, как проводил время в другие мои поездки за границу, то есть ходил по митингам, редакциям, знакомился с политическими деятелями, работал в библиотеках, изучая строй и развитие политических партий, функционирование избирательного механизма и т. д.

Когда выборы закончились, я уехал в Штутгарт, где жил Струве и печаталось «Освобождение», и по мере сил помогал ему в работе. Там же я бывал у столь знаменитой впоследствии Клары Цеткин.

В июле или августе состоялся съезд сторонников журнала «Освобождение»[905]. Он состоялся на берегах Боденского озера, каждый день по конспиративным (очевидно, совершенно неправильным) соображениям меняя свое место: то в Шаффгаузене, то в Констанце, то в других местах, устраивал совещание в ресторационных залах различных ресторанов и Bierhallen[906]. На съезде присутствовало человек двадцать: П. Б. Струве с женой, Ниной Алекс[еевной], И. И. Петрункевич с Паниной, В. И. Вернадский, П. И. Новгородцев, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Дм[итрий] Ив[анович] Шаховской, С. Н. Прокопович с Е. Д. Кусковой, Ф. И. Родичев и многие другие[907]. Из видных впоследствии деятелей Союза освобождения не было ни Н. Ф. Анненского, ни А. В. Пешехонова, ни П. Н. Милюкова, ни Гр[игория] И. Шрейдера.

На этом съезде положено основание Союза освобождения,

сыгравшего видную роль в подготовке революции 1905 г. и в самой революции. Программа Союза детально и текстуально выработана не была, но основные ее линии были намечены: требование конституции, всеобщего голосования, свободы слова, свободы развития национальностей, широкого местного самоуправления на основе всеобщего голосования. Было решено образовать в разных городах местные отделения Союза с задачей, во-первых, снабжать журнал «Освобождение» материалами, а во-вторых, распространять этот журнал среди публики; было решено стараться вводить в эти Союзы земцев и городских деятелей. Очень горячие споры вызвал вопрос об отношении к революционным партиям. Петрункевич тут произнес фразу, впоследствии им несколько раз повторенную: «У нас нет врагов слева».

Союз освобождения стремился объединить по возможности всю левую оппозицию на почве общей всей ей задачи: борьбы за демократическую конституцию против самодержавия. Поэтому теоретически для «Освобождения» были приемлемы и социал-демократы, и социалисты-революционеры. Союз потому и назвал себя «союзом», а не партией, что он теоретически допускал в свои ряды членов двух названных партий, не мешая им оставаться одновременно и в их составе. Фактически, однако, такое совмещение было явлением крайне редким; кажется, был только один случай: социал-демократ Н. Д. Соколов. Сильно сочувствовал эсерам Гр[игорий] Ил[ьич] Шрейдер, но действительным членом партии он, кажется, сделался только в 1905 г., после закрытия и журнала, и Союза освобождения.

Несмотря на эту принципиальную нашу терпимость к левым партиям, из их журналов и в особенности из социал-демократической «Искры» началась с самого возникновения журнала «Освобождение», еще сильнее – с возникновения Союза, усиленная, озлобленная травля против них. Возникал вопрос: как реагировать на нее? Родичев и некоторые другие, вопреки первоначальной задаче журнала, высказывали мнение, что защищаться необходимо, хотя бы сдержанно, не допуская резких выпадов, в приличном тоне.

Против этого решительно высказался Струве:

– Начать полемику очень легко, даже очень соблазнительно. Но остановиться, начав ее, совершенно невозможно: скажут – струсили, нет доводов, разбиты. А между тем в нашем распоряжении не может быть столько ругани, как у наших противников, в особенности социал-демократов.

Большинство (и я в том числе) поддержало Струве, и было решено не допускать полемики с революционными партиями.

Ее и не было, не было ни до съезда, ни после него – до самого конца. Но перед концом, в 1905 г., Струве сообщал Союзу освобождения, что он не в силах безответно выдерживать травлю слева, и требовал, чтобы принятое по его же почину постановление было отменено и ему предоставлено право полемизировать, угрожая даже оставлением журнала. Однако в Петербурге, в центре Союза освобождения, это требование сочувствия не встретило, и соответственно разрешение дано не было. Струве не ушел, но, вероятно, только потому, что журнал вследствие политических событий прекратил свое существование раньше, чем он успел это сделать.

Близко следя за деятельностью Струве в течение двух лет, 1903–1905 гг., я, как мне кажется, понял его характер и причину его постоянной изменчивости. Он спорщик по природе и любит спор; спорит он всегда раздраженно, хотя обыкновенно умеет себя удерживать от слишком резких выражений; переубедить его в споре совершенно невозможно; напротив, сильный духом противоречия, он только закрепляет свои позиции, иногда – наиболее уязвимые. Особенно охотно он спорит не с настоящими своими идейными врагами, а с противниками из своего собственного или близкого ему лагеря. Когда в 1902 г. начал «Освобождение», он еще далеко не окончательно отказался от марксизма. Очень тесные личные симпатии все еще связывали его с немецкими социал-демократами: Адольфом Брауном, Кларой Цеткин, Бернштейном и многими другими; всей душой желал он в 1903 г. победы на выборах германской социал-демократии и очень сочувствовал социал-демократическому движению в России.

И вот из социал-демократического лагеря начался озлобленный и по большей части несправедливый и оскорбительный обстрел Струве. Поминая ему социал-демократическое прошлое, его называли ренегатом, продавшимся капиталистам; ему ставили на счет и грехи либералов на Западе, и прошлые грехи русской либеральной бюрократии, и будущие грехи русской буржуазии. Тон полемики был совершенно недопустимый; заведомая клевета была обычным приемом.

Струве, делая правильный вывод из поставленной им себе тактической задачи, молчал (печатно). Но себе самому он говорил: «Ага, вы называете меня сторонником капитализма; ну так я вам покажу. Вы называете меня врагом социализма; ну так я вам покажу».

И слабые тогда антисоциалистические элементы его миросозерцания подкреплялись все новыми и новыми соображениями, и желание укрепления в России буржуазии

находило все новые соображения. Избегая полемической формы в своих печатных выступлениях, он в форме положительной давал чувствовать это новое направление своей мысли; еще более высказывал его он в разговорах с близкими людьми, и, уезжая в 1903 г. из Германии, я до некоторой степени уже предчувствовал, что хотя пока я могу считать себя его единомышленником, в особенности по тактическим вопросам текущего момента, но в будущем, вероятно, мы разойдемся. И действительно, в 1905 г., когда мы с ним вновь встретились в Берлине, различия в нашем мировоззрении сказались очень заметно, а в Россию он вернулся уже решительным социалистоедом.

Так, духом противоречия, объяснял я себе его переход из сочувствующего социализму освобожденческого лагеря в лагерь умеренного либерализма, враждебного социализму. Сам Струве, конечно, это объяснение принять не может. Более того, тогда он почти не замечал происшедшей с ним перемены за эти годы. Несколько позднее, в 1906 г., узнав от меня, что я должен для дополнительных томов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона написать статью об «Освобождении», журнале, и Союзе освобождения, он просил меня прислать ему их корректуру и выражал готовность дать свои указания и поправки. Я, разумеется, был рад этому предложению. Но когда корректура вернулась ко мне, побывав в его руках, то обе статьи оказались переделанными до неузнаваемости с целью доказать, что журнал «Освобождение» был верен себе с первого до последнего номера, являясь все время органом умеренного буржуазного либерализма, решительно враждебного социализму. Конечно, я не мог принять этих поправок, и статьи появились в их первоначальной редакции[908].

Распространяя свое толкование психики Струве на его прошлое, я нашел в нем объяснение его перехода от ортодоксального марксизма к берштейнианству и затем к радикализму «Освобождения». Струве вместе с Туган-Барановским явились первыми легальными, но боевыми провозвестниками марксизма[909] [910] и зачинателями социал-демократической партии. Но вот налево от них появился Ленин. Первая (сколько-нибудь значительная) статья Ленина была направлена против Струве и была (в первоначальной редакции) озаглавлена «Буржуазное отражение марксизма в русской литературе»[911]. В ней доказывалось, что Струве есть идеолог начинающей поднимать голову буржуазии, которой в настоящий исторический момент выгодно вооружить рабочий класс против царизма и которая поэтому рядится в мантию социал-демократизма.

Статья, как все произведения Ленина, была написана хлестко, талантливо, зло и даже злобно, но вместе с тем она была переполнена передержками и вообще недобросовестна. Она была предназначена для марксистского сборника, издававшегося под редакцией того же самого Струве, Туган-Барановского и Потресова, и потому от Струве требовался значительный запас беспристрастия, чтобы ее принять. На это беспристрастия у него хватило, но не хватило на то, чтобы принять ее в неизменном виде, и он потребовал некоторых смягчений и перемены заглавия, что было совершенно бесполезно, так как основная идея статьи, сформулированная в ее заглавии, совершенно отчетливо выступала из всего ее содержания, даже после смягчений. (Эту историю с переменой заглавия мне рассказывал сам Струве, и даже несколько раз, считая свое поведение вполне правильным.) Под измененным заглавием статья была набрана, но света своевременно не увидела[912] [913], так как сборник был сожжен цензурой[914].

Впоследствии социал-демократы, особенно большевики, охотно указывали на эту статью как на доказательство замечательной прозорливости Ленина, усмотревшего в первой же печатной работе Струве то, чего не заметил в ней сам проницательный Плеханов, вполне сочувственно ее приветствовавший, и правильно предсказавшего жизненную дорогу Струве[915]. Я думаю, что большевики в этом случае неправы: Ленин не усмотрел в книге Струве то, что в ней было, а приписал ей то, чего в ней не было, и этим толкнул Струве на ту дорогу, по которой *тогда* он еще не шел.

Думаю, что и впоследствии от умеренного кадетизма до своей великодержавности[916], до восторгов перед стилистическими достоинствами Свода законов[917] Струве дошел в полемическом задоре. Неизбежным последствием прошлого было то, что после революции 1917 г., в эмиграции, Струве оказался в лагере сравнительно умеренных монархистов (сторонников [великого князя] Николая Николаевича) и редактором «Возрождения». В редакции «Возрождения» у него произошел конфликт. Закулисную сторону дела я не знаю, знаю только то, что было напечатано, то есть очень немногое и, главное, касающееся только внешней, личной стороны дела, но не принципиальной[918]. Теперь (1929 г.) Струве занимает позицию несколько более левую, чем он занимал в «Возрождении», и усиленно подчеркивает свое нежелание реставрации прошлых имущественных отношений, да и монархизм свой куда-то спрятал. Очень вероятно, что нападки на него за левизну, исходящие от крайних правых, толкнули его действительно

налево, хотя на этот раз, вероятно, главную роль сыграли нападки устные, а не печатные. И мне представляется очень возможным, что он и впредь будет теперь эволюционировать налево (конечно, если для этого будут благоприятные условия в виде ругани справа), и я не очень удивился бы, если бы в конце концов, подвигаясь от отрицания реставрации имущественных отношений к отрицанию революционных путей борьбы с большевиками, дошел бы до… большевизма, как подобным путем он в свое время дошел до царизма. Конечно, для этого нужно продолжительное время, а таким, вероятно, не располагает уже ни он, ни большевичий строй (ни тем более я в качестве наблюдателя этого процесса)[919].

После Штутгарта и съезда на берегах Боденского озера я опять ездил по Германии, вернувшись к своей задаче изучения ее политических партий, а поздней осенью того же 1903 г. очутился в Дрездене, где в это время происходил партейтаг немецкой социал-демократии[920]. Там, за трудностью отыскать в гостинице свободную комнату, я обратился с просьбой помочь мне в этом в немецкий социал-демократический организационный комитет (который оказывал соответственные услуги не только членам конгресса, но и представителям прессы), и мне отвели одну комнату вместе с членом конгресса Отто Брауном. Само собой разумеется, что, живя в течение 10 дней в одной комнате с человеком, я с ним довольно близко познакомился, но после партейтага настолько потерял его из вида, что решительно не знаю, тот ли это Отто Браун, который после революции был прусским премьером, или какой-нибудь другой.

В Дрезден приехал и Струве, интерес которого, и не только интерес, но и сочувствие к подобным явлениям в германской жизни, был достаточно глубок, чтобы не пропускать их. Во время обедов и ужинов в перерыве между заседаниями мы с ним обыкновенно вместе попадали в одну из двух друг другу враждебных компаний: или ту, где был Адольф Браун (левый, в нынешнем 1929 г. умерший), или ту, где центром был Бернштейн, лидер правого фланга.

Этот партейтаг был ареной очень ожесточенной борьбы между двумя флангами немецкой социал-демократии. Если память меня не обманывает, то это был первый партейтаг, на котором мог лично появиться Бернштейн после долголетнего своего пребывания в эмиграции, тогда как на предыдущих партейтагах господствовал только его дух. Но в противоположность партейтагу Штутгартскому 1898 г., на котором я тоже присутствовал и на котором впервые тогда начавшаяся борьба между ортодоксальным и берштейнианским

марксизмом велась в форме прений по общим принципам, здесь она велась в форме сведения личных счетов. Бернштейнианцы извлекли несколько не особенно красивых фактов из прошлого одного из видных лидеров левого фланга, Меринга, и с наслаждением перемывали его грязное белье. Главным их козырем была одна старая (1876 или 1877 г.) статья Меринга, когда он поссорился с социал-демократической партией и ушел из нее (после пребывания в ней)[921] и писал о ней в бульварной прессе статьи клеветнического характера, в том роде, как у нас писались статьи в «Новом времени» и тому подобных органах. Позднее Меринг вновь был принят в партию и стал ее историографом. Бебель и левые его защищали, частью отыскивая смягчающие обстоятельства, частью отрицая достоверность фактов. После партейтага спор был перенесен в партийный суд, который полностью оправдал Меринга, хотя этот приговор вряд ли может считаться образцом беспристрастия[922].

Левые мстили бернштейнианцам подобными же разоблачениями. Главным предметом их нападок служило сотрудничество бернштейнианцев в буржуазной прессе и в особенности в журнале Максимилиана Гардена «Zukunft», позволявшем себе грубые нападки на социал-демократов и издевательства над русскими революционерами, за которых тогда считали нужным обижаться левые социал-демократы (теперь прощающие большевикам нечто гораздо худшее, чем словесные издевательства).

Особенно злобным нападениям подвергался Гере, тот замечательный немецкий пастор, который по окончании университета, скрыв свой диплом, поступил рабочим на фабрику, чтобы на себе самом узнать жизнь рабочего, и затем был священником в рабочих кварталах; близкое знакомство с жизнью рабочих привело его из национал-социального в социал-демократический лагерь, вследствие чего он разошелся со своим ближайшим другом, тоже пастором, Науманом и за что был лишен своего пасторского звания. Религиозным человеком он остался и уже потому не мог целиком принять философской части марксизма, да и политически в нем оставалась сильна закваска немецкого националистического империализма. Я был лично знаком с Гере еще с 1900 г., когда он не был еще социал-демократом, и чувствовал к нему большую симпатию как к человеку глубоко искреннему и самоотверженному, пожертвовавшему своей карьерой ради убеждений. Нападки на него мне казались особенно возмутительными. Ближайшей своей целью эти нападки [ставили] принудить его сложить депутатский мандат, который он только что получил; цель достигнута не была,

и депутатом он остался[923]. Впоследствии, перед началом и после начала войны, он оказался в рядах «социал-демократов большинства», шедших за Шейдеманом и решительно поддерживавших правительство, но в то же время играл очень видную положительную роль в том движении, которое стремилось помочь русским и вообще иностранцам, застигнутым войной в Германии[924] [925]. В злобных нападках на Гере, а также на Гейнриха Брауна принимал участие и Бебель, который на Дрезденском партейтаге мне нравился гораздо меньше, чем прежде.

Не на одного меня, но и на самих участников партейтаг производил удручающее впечатление. Через несколько дней после его начала я встретился с Граднауером (тогда видным социал-демократическим депутатом, после революции министром, кажется, внутренних дел[926]), с которым был знаком, и спросил его, как нравится ему партейтаг.

– Вовсе не нравится, – резко ответил он, – одно сплошное перемывание грязного белья.

Я указал ему на несколько речей, которые, по-моему, не подходили под такую оценку.

– И это – все то же самое, то же перемывание грязного белья, только в форме обсуждения принципиальных вопросов.

Граднауер принадлежал к правому флангу партии.

В результате прений на партейтаге был принят ряд резолюций, подтверждавших верность германской социал-демократии заветам ортодоксального и революционнейшего марксизма, и таким образом формальная победа осталась на стороне левого фланга. Но вместе с тем я совершенно ясно чувствовал, что победила только левая фразеология, а что действительная победа осталась на стороне ревизионизма, что та социал-демократия, которая только что одержала блестящую победу на выборах и оказалась как в рейхстаге, так и в стране самой могущественной партией, есть уже не прежняя революционная социал-демократия, которая после победы должна была сразу радикально преобразовать весь общественный строй Германии, а одна из радикальных реформистских партий, которые могут то в союзе друг с другом, то в антагонизме работать над медленным реформированием общественного строя. Совершенно ясно я это читал на лицах вождей обоих флангов, и совершенно прямо говорил мне это Бернштейн, с которым я попал на возвратном пути в Берлин в один вагон. Мне вспомнилась фраза Герцена: «Христианство при Константине победило языческий мир, но само стало языческим», – и я провел аналогию между историей торжества христианства над древним

языческим миром и грядущей в будущем, как я был уверен, победой социализма над буржуазным миром.

Христианство резко противополагало себя языческому миру как учение не от мира сего, как учение всеобщей любви и всепрощения, самоотречения и аскетизма; социализм (и в особенности социализм марксистский) тоже резко противополагает себя буржуазному миру как учение, прямо противоположное его основам, как учение со своей этикой всеобщего равенства и братства, свободы и прогресса[927].

Однако очень скоро после возникновения христианства, еще задолго до его торжества, в нем появилось течение (апостол Павел), стремившееся сгладить политическую противоположность между новым учением и основами старого мира; это течение говорило: «Несть бо власть, аще не от Бога» – и таким образом фактически подчиняло или по крайней мере приспособляло свое учение и свою деятельность во имя этого учения к требованиям власти, ему совершенно чуждой. Из этого вытекло признание войны и своего в ней участия в рядах языческого войска в борьбе за языческое дело. За этим последовали другие уступки, и после победы христианский мир воспринял все социальные неравенства языческого мира с его рабством, всю его политическую иерархию и провел ее в свою церковную организацию, оправдал и освятил и смертную казнь, и пытку и обратил их на службу христианства, которое тем самым переставало быть христианством. А фразеология осталась целиком старая – фразеология первоначального Христова христианства, и христиане не замечали уже вопиющего ее противоречия с жизненной практикой.

И вот в марксистском социализме уже теперь мы замечаем явления аналогичные. Появился Бернштейн – апостол Павел марксизма. Он решительно сглаживает противоречия между социализмом и буржуазным миром; он признает колониальную систему, допускает захватническую международную политику, признает общность задач у пролетариата и радикальной буржуазии и вообще обращает социал-демократию из движения решительно революционного и по окончательным целям, и по тактике в радикальную партию социальной и политической реформы, которая в отдельных частных вопросах (особенно в области международной и колониальной политики) далеко не обязательно играет прогрессивную роль.

Причины такого линяния социал-демократизма, как и христианства, как и всякого крупного общественного течения, лежат как в человеческой психологии, так и в экономике. Совершенно естественно, что, пока движение, стремящееся к

преобразованию человечества на идеальных основах, захватывает только немногих, лучших представителей народа, оно сохраняет свою первоначальную идеалистическую чистоту. Когда оно охватывает широкие массы, оно вульгаризуется и линяет, начинает прикрывать грубо эгоистическое содержание идеалистическими фразами. Это психологическая причина для линяния всех движений подобного рода.

Историко-экономическая причина у каждого движения своя собственная. У социализма она лежит в области международных отношений. В первое время после возникновения современных форм капиталистического строя пролетариат находится действительно в том положении, какое приписывают ему Маркс и Лассаль. Он наиболее эксплуатируемый класс в своем народе; он составляет прямую противоположность буржуазии; он сам никого не эксплуатирует, и в том революционном перевороте, к которому стремится, ему действительно нечего терять, кроме цепей.

Но капитализм развивается, и вместе с ним политическая и экономическая мощь отдельных капиталистических стран усиливается. Родина пролетария начинает властвовать на мировом рынке; она начинает эксплуатировать свои колонии или более слабые страны, находящиеся с ней в торговых отношениях, и от этой эксплуатации получает громадные барыши. Львиная доля этих барышей идет в карманы буржуазии, но некоторая доля в форме повышенной заработной платы и низких цен на ввозимые из-за границы товары достается рабочим. В связи с этим социальное положение рабочего и его психика двоятся. У себя на родине он – по отношению к капиталисту – остается рабочим, объектом эксплуатации, вырабатывающим на капиталиста прибавочную стоимость. Но на мировом рынке он сам вместе со своим капиталистом чувствует себя членом государства, эксплуатирующего другие народы. Поэтому естественный эгоизм толкает его к образованию сильной рабочей партии, умело борющейся за интересы рабочего класса, но при условии, чтобы эта партия была национальной, чуждой интернациональным стремлениям, чуждой социализму в его первоначальной идеалистической форме.

Я проследил развитие этих явлений на истории английского и германского рабочего класса и нашел там богатый материал для подтверждения моих положений. До середины XIX века рабочий класс Англии не получал никаких или почти никаких выгод от растущей международной мощи своей родины. Это было время, когда Энгельс писал свою книгу «Положение рабочего класса в Англии»[928], где изображал это положение – и изображал

для того времени совершенно верно – в самых мрачных красках. Тогда рабочий класс Англии создал сильное движение, известное под именем чартизма, которое хотя и выдвигало по преимуществу политические требования, но было одушевлено общими стремлениями, совершенно родственными позднейшему социализму.

В 1849 г. чартизм гибнет. Хронологически эта гибель совершенно точно совпадает с моментом, когда активный торговый баланс Англии сменился пассивным. Пассивность баланса в Англии во второй половине XIX века имела совершенно иное значение, чем во многих других странах тогда и чем почти повсеместно после мировой войны. Перевес ввоза в Англию был коммерческим выражением политической и экономической зависимости почти всего мира от Англии. Он был данью, которую колонии и экономически слабые страны (в том числе и Россия) платили их поработительнице Англии; мир оплачивал своими товарами проценты по займам, заключенным в Англии, и за ее капиталы, вложенные за границей. Эта-то дань, получаемая Англией из-за границы, давала легкую возможность английским капиталистам идти на уступки своим рабочим в их требованиях повышения заработной платы, сокращения рабочего дня и улучшения условий труда вообще, а рабочих делает сторонниками британского империализма и мешает им принимать континентальный социализм в его чистом виде, следовательно, мешает возрождению чартизма.

Германия поздно вступила на дорогу капиталистического развития и первоначально на мировом рынке была страной обездоленной. Благодаря этому она создала могучее рабочее движение, одушевленное последовательно проведенным идеалом социализма. Но вот понемногу Германия вступает в конкуренцию с Англией, на многих рынках, а частью даже и на английском бьет ее («made in Germany»[929]), обзаводится своими колониями и на рубеже XIX и XX веков окончательно перестает быть золушкой среди народов. Тут-то и появляется Бернштейн – апостол Павел социализма и разъясняет немецкому рабочему, что фраза «Коммунистического манифеста» «у рабочего нет отечества»[930] давно потеряла всякий смысл, что теперь национальные интересы и для него должны господствовать над интернациональными, что социализм есть не определенный законченный идеал, а только бесконечное движение. И немецкий социализм полинял, решившись оправдать и колониальные завоевания, и империализм, и рост вооружений, и, в случае необходимости, войну.

Теория моя, конечно, не была совершенно нова. Значение

международного неравенства для психологии рабочего класса не раз указывал из русских писателей С. Н. Южаков[931]. Но большую часть материала для моей теории дал мне Бернштейн, как своей книгой, так и в частных беседах. Когда я самому Бернштейну проводил мою параллель его с апостолом Павлом, он не без самодовольства ухмылялся, но от выражения своего согласия или несогласия уклонялся.

Сложилась эта теория у меня на основании долгого изучения фактов, но, конечно, находилась в известной связи с процессом, общим почти всем людям: переходом от свойственных молодости оптимизма и веры в бесконечность прогресса и торжество идеала в будущем к обычно свойственным зрелому возрасту и старости пессимизму и потере веры, и я, конечно, не мог не сознавать этой связи, но и, сознавая ее, не мог не быть убежденным в правильности моего понимания хода исторического процесса.

Когда я вернулся в Киев[932], я выразил моим социал-демократическим друзьям желание прочитать доклад, конечно нелегальный, о последних выборах в Германии и о росте социал-демократической партии. Такой доклад был организован в частной квартире и прочитан приблизительно 40 слушателям из радикальной молодежи. Выслушали его с интересом, но были явно недовольны его тезисами. Выступали и оппоненты, но очень слабые, которые пытались опровергнуть факты от Маркса или же доказывали, что приведенные мною факты только на некоторое время отодвигают торжество социализма: когда весь мир будет пролетаризирован, то все пойдет по Марксу. Реферат удалось повторить, тоже нелегально, в другой частной квартире в другом составе публики, но приблизительно с теми же возражениями.

Но мне хотелось прочитать его легально, публично. Для этого я обработал его заново и придал другую форму. Я озаглавил его: «Шпильгаген как бытописатель немецкой общественной жизни и дальнейшая судьба общественных течений, изображенных в романе “Один в поле не воин”»[933]. Таким образом политико-социальный доклад обратился в историко-литературный, с которым можно было явиться в Литературно-артистическое общество, что я и сделал. Краткую программу я составил в возможно неясных выражениях, и доклад был допущен правлением Общества, несмотря на его консервативный состав. Затем я и некоторые другие члены нафабриковали контрамарок, студенты распродали их в университете по 30 копеек за штуку в пользу революционного Красного Креста, и доклад состоялся, зала была переполнена не менее, чем на булгаковском чтении.

Я построил доклад следующим образом. Дал краткую характеристику тем произведениям Шпильгагена, в которых он

изображает революцию 1848 г. и дальнейшее развитие политических течений, зародившихся в 1848 г. («Проблематические натуры», «Два поколения», «Один в поле не воин», «Новый фараон»[934] и др.), в особенности остановился на характере его героя Лео, в котором им изображен Лассаль, и затем говорил уже, независимо от Шпильгагена, о развитии социал-демократии; говорил, и очень подробно, и о Бернштейне, и о борьбе между ортодоксальным и берштейнианским марксизмом, и о причинах, обусловливающих победу последнего, и не утаил и свою параллель с христианством. Подавляющее большинство публики составляла радикальная молодежь двух флангов, и доклад мой не удовлетворял ни той, ни другой. Оппонентов не было[935]. Но интерес к докладу был большой, и в самом скором времени меня просили приехать в Одессу, чтобы повторить его в тамошнем Литературном обществе[936], что я и исполнил.

В начале следующего, 1904 г. началась война с Японией, и интересы общества временно направились в другую сторону, однако не настолько, чтобы совсем заглушить интерес к вопросам социализма и общественной жизни Запада. Осенью 1904 г. (еще во время войны), когда я уже переселился в Петербург, я прочитал мой доклад в его настоящем, не замаскированном виде в Историческом обществе при С.-Петербургском университете (под председательством Н. И. Кареева)[937], тоже при большом, хотя и меньшем стечении публики; оппонентов не было.

Слух об этом докладе дошел до петербургских рабочих, и социал-демократы устроили его прочтение в одной из рабочих аудиторий под Петербургом, по Шлиссельбургскому шоссе. Устроили они его с намерением и целью уничтожить меня перед рабочей аудиторией, и потому было подготовлено несколько более или менее серьезных оппонентов. Таковых выступило человек 5 или 6; среди них я помню, во-первых, Н. И. Иорданского, тогда близкого сотрудника, позднее редактора «Современного мира», социал-демократа – меньшевика, во время мировой войны писавшего статьи под заглавием «Да будет победа»[938], а после революции перешедшего в большевицкий лагерь, ставшего сперва сотрудником рептильной прессы[939], а потом занимавшего дипломатические посты в Риме и еще где-то[940], а во-вторых, г-жу Стасову и г-жу Кувшинскую. Из этих оппонентов действительно серьезные возражения представил Иорданский, который разбирал мои аргументы по существу, стараясь доказать, что победу ревизионизма в Германии я выдумал, что в действительности торжествует ортодоксализм и что источник моей ошибки – мой идеализм, лишающий меня

способности понимать факты диалектики. В моем отношении к берштейнианству он видел сочувствие к нему. Между тем если значительно позднее у меня действительно появилось к нему сочувствие, то тогда, в 1903–1904 гг., я признавал берштейнианство явлением исторически неизбежным, но радоваться этой неизбежности не был расположен. И даже, чтобы предупредить такое толкование моей теории, в самой лекции я применял к своему изложению слова Лассаля: «Я излагаю вам то, что есть в мире, но не то, что я хотел бы в нем видеть; не я создавал мир, не я сделал неизбежной в нем победу тех или иных течений и должен решительно отклонить от себя как похвалы, так и порицание за создание мира таким, каким он создан Господом Богом»[941]. Эта фраза не помешала Иорданскому увидеть во мне берштейнианца. Говорил Иорданский языком культурного человека, и с ним можно было спорить.

Стасова – дочь известного и очень заслуженного адвоката Дмитрия Стасова, сама довольно известная социал-демократка. Я встретился с ней в первый и, к счастью, в последний раз. Немногие люди, с которыми я сталкивался в жизни, производили на меня столь отталкивающее впечатление. В ней чувствовалось глубокое убеждение, но убеждение не критически мыслящего человека, а убеждение фанатика, который всеми силами своей души ненавидит всякого с ним в чем-нибудь не согласного человека. Круг ее знаний был, очевидно, ограничен ходкими популярными брошюрами; вероятно, и Маркса она знала только по ним, не считая нужным погружаться в изучение «Капитала»; мысль ее шла по шаблонным путям, и факты, противоречащие ее убеждениям, от нее просто отскакивали, не оставляя в ее голове ни малейшего следа. К тому же говорила она расплывчато, тягуче, вяло, неинтересно и, по-моему, не могла ни на кого производить впечатления, разве только на людей, уже заранее с нею во всем согласных. Поэтому для меня осталось совершенно непонятным, вследствие каких своих достоинств она смогла приобрести некоторую известность в социал-демократических кругах, в которых, во всяком случае, имелись люди гораздо более даровитые. Зато, когда впоследствии Стасова, человек из культурных и прогрессивных общественных кругов, приобрела известность своей жестокостью в качестве чекистки[942], меня этот факт не только не удивил, но я сразу почувствовал, что другой дороги для нее и быть не могло. Она грубейшим образом строила свои возражения мне на правильном росте числа поданных в Германии за социал-демократов голосов, выводя из этого роста неизбежность победы социал-демократов в 10–15 лет, а факт неизменной верности социал-демократии заветам Маркса

доказывала ссылкой на резолюции партейтагов, заимствованные ею из моего же доклада, совершенно игнорируя те факты из парламентской и иной деятельности социал-демократии, которые я приводил в доказательство расхождения слова с делом. Остановилась она и на моем объяснении характера английской рабочей партии и признала его совершенно неверным, указав на формальную принадлежность этой партии к Интернационалу и настаивая на полнейшей ее солидарности с этим последним.

Много лет спустя, в 1920 или 1921 г., я читал в большевицкой прессе отчет об одной речи этой самой Стасовой, в которой она между прочим коснулась английской рабочей партии, тогда bête noire[943] для большевиков, и целиком повторила мое объяснение ее несоциалистического характера. Не могу, конечно, утверждать, что она его *повторила* сознательно или даже бессознательно за мной, а не пришла к нему совершенно самостоятельно, но только объяснение было то самое. Его же я слышал тогда же, то есть около 1920 г., от одной моей знакомой большевички, которая приводила его как принимаемое многими большевиками. В настоящее же время (1930 г.), после того как правительство Макдональда в вопросе об автономии Индии приняло позицию английских консервативных и либеральных правительств[944], оно может считаться твердо установленным и более или менее общепринятым.

Иной характер имели возражения Кувшинской. Она выхватила из моего доклада одно указание, именно, что в первой половине XIX века в Англии большее сочувствие к рабочим питали консерваторы, чем либералы, и что фабричное законодательство тогда проводилось первыми при противодействии последних, а во второй половине, вследствие перемены в социальном составе партий, наоборот. Указание это было мною сделано мимоходом и большого значения в докладе не имело. Кувшинская выхватила его, повторила и спросила меня:

– Верно ли я вас поняла?

– Совершенно верно, – ответил я.

Тогда она начала доказывать, что симпатия консерваторов к рабочим, так же как и либералов, не была выражением их личного благородства и актом бескорыстия (чего я, конечно, не говорил), а объяснялась очень упорной борьбой рабочих за свои интересы, борьбой, сначала выражавшейся в бунтах, разрушении фабрик и машин, потом – в более организованном движении чартистов и тред-унионов[945]. Возражения приняли характер самостоятельного доклада, сделанного с несомненным знанием дела и весьма недурно; он был бы, по-моему, еще лучше, если бы в нем не было слишком резких, почти ругательных выражений по

адресу давно сошедших с жизненной сцены крупных английских политических деятелей и экономистов; позволяю себе думать, что лишними были резкие выражения и по моему адресу[946] [947]. Возражение это вызвало живые аплодисменты слушателей и их вполне заслуживало. Но аплодисменты и смех вызвало также и мое возражение ей, в котором я сказал:

– Мне жаль, что г-жа Кувшинская не начала своей речи такими словами: Водовозов сказал мимоходом об отношении английской консервативной и либеральной партий к фабричному законодательству, но, – не имея в этом нужды по ходу своего доклада, – ничего не сказал о той борьбе, какую вели за это законодательство рабочие, а так как это очень интересно, то я и добавлю к его докладу. А с тем, что она сказала в добавление к моему докладу, я почти во всем существенном согласен, кроме некоторых ее слишком сильных словечек.

Когда в 1906 г. началась реакция, публичные лекции и доклады стали вновь нуждаться в предварительном разрешении властей, причем в таком разрешении нередко и отказывали. Между тем я все еще дорожил моей лекцией о социал-демократии, считая мой взгляд на нее не опровергнутым, а подтвержденным дальнейшим ходом событий, и находилась в разных городах публика, которая ею интересовалась. Различные организации и группы из Екатеринослава, Тифлиса и некоторых других городов просили меня о ней; раза два или три выражали желание устроить ее профессиональные организаторы публичных лекций; я всегда давал свое согласие, но по большей части моя лекция на подобную тему вызывала вето со стороны власти и не могла состояться. Были, однако, два или три исключения. Само собою разумеется, что я никогда не повторял дословно своей лекции, а обновлял ее новым материалом. Но видя невозможность или трудность организации лекции в незамаскированном виде, я опять прибег к Шпильгагену (что было особенно удобно в год его смерти – 1911[948]) и в таком виде читал ее в Новгороде, куда меня вообще приглашали особенно часто.

В Новгороде на моей лекции в качестве чиновника особых поручений при губернаторе присутствовал служивший тогда на этой должности С. Р. Минцлов с поручением немедленно прекратить лекцию, если она окажется революционной по содержанию. Прослушав лекцию, он своим знакомым выразил недоумение: при чем тут Шпильгаген? Это недоумение было мне передано тогда же. Я, в свою очередь, недоумевал, как интеллигентный человек, притом явившийся сюда с полномочием зажать рот лектору, может недоумевать, при чем тут Шпильгаген.

В своих мемуарах («Дебри жизни», Берлин, без года), вышедших года три тому назад, Минцлов вспоминает о моей лекции (стр. 174–176). Своего вопроса: «При чем тут Шпильгаген?» – он не повторяет, но говорит: «Второе отделение (лекции. – *В. В.*) заставило меня вновь насторожиться (очевидно, ввиду его полномочия прекратить лекцию. – *В. В.*). Водовозов стал восхвалять социал-демократов, но сейчас же вильнул в дебри Германии, к Энгельсам и Бебелям, и в общем решительно ничего не сказал не только нового, но и ясного. Ему аплодировали, хотя и не усиленно. Доволен был и я тем, что не пришлось выступать в роли нарушителя общественной тишины и спокойствия»[949].

По-моему, такое изложение моей лекции совершенно не соответствует ее содержанию: она была историческим исследованием роли социал-демократии, и притом исследованием, говорившим главным образом о процессе отказа социал-демократов от своих первоначальных широких революционных задач, а вовсе не восхвалением, так же как и не порицанием социал-демократии (скорее, однако, последним, чем первым). Не понимаю я также, что значит «вильнуть» от социал-демократии «в дебри Германии» и почему Энгельс и Бебель – «дебри».

Свои лекции я обыкновенно не пишу, а произношу устно; так было и с этой, но ее я записал, имея в виду напечатать. Однако я не решился отдавать ее в печать, находя в ней некоторые неполноты и недостатки. Время от времени я исправлял ее, но все еще не был удовлетворен моей работой, все еще не решался отдавать ее в печать; отвлекаемый другими работами, я не мог засесть за нее вплотную и так дотянул время до войны, когда печатать ее уже было невозможно и вследствие необходимости коренной в ней переделки, ставшей невозможной при недоступности иностранного материала, и вследствие изменившихся цензурных условий. Таким образом, моя работа, которая от меня потребовала наиболее труда и которую я считаю наиболее зрелой и наиболее оригинальной из всех моих работ, пропала и, надо признаться, пропала целиком и только по моей собственной вине. Рукопись осталась в моей библиотеке в Петербурге и в настоящее время (1930 г.) находится в руках ГПУ, но никакого интереса она уже представлять не может. Кое-что из нее помимо меня вошло в общее сознание, а кое-что безнадежно устарело. Отдельные мысли из нее я проводил в разрозненном виде в различных своих статьях.

В одном, о чем я говорил в своей лекции и в рукописи, я сильно ошибся, однако только наполовину. Я говорил, что если явится опасность для Германии войны, то социал-демократия ни

в каком случае ей не помешает, так как ее интересы окажутся тождественными с интересами Германии в целом, но что войны ни в каком случае не будет, так как ее не допустят ни буржуазия, ни император, для которых она представляет страшную опасность. Как мы теперь знаем, ее допустили и буржуазия, и император, а социал-демократия ничего не сделала, чтобы ее предупредить, несмотря на свои многократные похвальбы.

# Глава VI. «Киевские отклики»

Будучи по своему характеру всего более газетным человеком, я все время томился от отсутствия газеты, в которой я мог бы принять деятельное постоянное участие. Мой приятель, типограф В. С. Кульженко, подавал прошение о разрешении ему газеты, имея в виду сделать меня фактическим редактором, но получил отказ. Наконец, в этом отношении мне улыбнулось счастье.

В конце 1903 г. два брата, Григорий и Измаил Александровские, получили разрешение на газету «Киевские отклики» (под предварительной цензурой). Григорий Александровский был учителем русского языка в мужской и женской гимназиях, пользовавшимся популярностью (особенно у гимназисток, менее у гимназистов) как недурной учитель; он же был автор нескольких довольно посредственных книг по словесности[950]; принадлежал к кружку, группировавшемуся около Лучицкого. Брат его, Измаил Александровский, был человеком из совершенно другого лагеря; он был член редакции консервативного «Киевлянина», органически враждебного Лучицкому и всему его кружку. Хотя всем было известно, что братья поддерживают между собой родственные отношения, но союз их на политически-литературной почве вызвал всеобщее удивление. Однако Григорий Александровский объяснил, что у Измаила давно уже обнаружилось расхождение с Пихно и Шульгиным[951], но необходимость заработка заставляла его продолжать работу, пока это казалось еще возможным; но вот, наконец, струна лопнула, и он подал прошение о новой газете. Его имя как сотрудника «Киевлянина» обеспечило легкое разрешение, но, получив таковое, он намеревается издавать газету прогрессивную, доказательством чего являются имена лиц, к которым он обращается за сотрудничеством.

Действительно, Александровские просили о сотрудничестве весь кружок Лучицкого, к которому принадлежали Н. П. Василенко, Л. С. Личков (известный статистик), В. А. (кажется, может, ошибаюсь в инициалах[952]) Александровский (однофамилец первых) и другие. Из лиц, к кружку Лучицкого не принадлежавших, Александровские обращались к Ратнеру, Булгакову, ко мне и некоторым другим. Но из всех этих лиц только один я готов был отдаться газете целиком; все остальные имели достаточно своего постоянного дела, чтобы уходить в газету. Они были рады видеть в Киеве орган в общем симпатичного им направления, в котором при случае могли бы найти верное помещение для всякой своей статьи, но не более;

о том, чтобы бывать в редакции ежедневно и ежедневно отдавать газете несколько часов, не могло быть и речи. Свои имена они, конечно, дали, – имена в Киеве и в Юго-Западном крае[953] вообще достаточно известные.

Подписка пошла хорошо[954].

Первый номер должен был выйти и действительно вышел в конце ноября или начале декабря 1903 г.[955]

Я взял в газете иностранный отдел, которым интересовался всего более; Александровские поделили все остальное, и им же принадлежала общая редакция.

Общая передовая статья была написана Александровскими и показана мне. Хотя она и показалась мне бледной и слабой, но, имея в виду предварительную цензуру, я не мог возражать против нее; несколько частных моих замечаний были приняты во внимание. Окончив свою работу, я ушел из редакции. Затем в нее зашел С. Н. Булгаков и попросил позволения взглянуть на передовую статью. Ему она была дана в корректуре. В ней его поразила фраза: «под державным скипетром монарха». Этой фразы в показанной мне редакции не было. С. Н. Булгаков настойчиво потребовал, чтобы она была вычеркнута, доказывая, что никто из упомянутых выше сотрудников и он, во всяком случае, в газете не останется, если в передовой останется эта фраза. Крайне неохотно, но Александровские уступили, и фраза была вычеркнута.

Не помню, в первом или втором номере появился довольно обычный провинциальный воскресный фельетон в прозе и стихах на местные злободневные темы за подписью Феникс[956]. Политически недопустимого в нем не было ничего, но он был написан в таком тоне разухабистой пошлости, который придавал газете характер ухудшенного «Петербургского листка» или «Петербургской газеты». Так как об этом фельетоне пришлось много говорить и спорить, то я довольно хорошо помню его содержание, несмотря на полнейшую его ничтожность; осталось в памяти начало такого стихотворения, вкрапленного в него:

Мошко Зак, Мошко Зак!
Ты не умный, ты…
Захотел тебя рок высечь,
Отнял 240 тысяч.
И твой мазол, о каприз!
Повернулся маслом вниз![957]

К слову «мазол» сделано подстрочное примечание: «мазол – планида». Слово «дурак» выписано не было. Моисей Зак –

местный богатый еврей, которого вследствие его какой-то оплошности обворовали или обмошенничали на названную сумму, и этот-то случай вдохновил поэта «Киевских откликов» на пошлое глумление. Читатели-евреи увидели в фельетоне антисемитизм, но, как доказывали Александровские, его быть не могло, так как автор – сам еврей.

Меня фельетон взорвал, и я заявил Александровским, что рядом с Фениксом сотрудничать не могу. Александровские, понимая, что мой уход повлечет уход и других сотрудников, вертелись, извивались и просили меня подождать до редакционного собрания. Я согласился.

Редакционное собрание было созвано на третий или четвертый день существования газеты.

Фельетон возмутил всех, но многие, в особенности Василенко, очень дружный с Григорием Александровским, доказывали, что не всякое лыко нужно ставить в строку, что один пошлый фельетон не может служить достаточным поводом для коллективного выхода. Я был настроен решительно. Обращаясь к Григорию Александровскому, я говорил:

– Как вы, преподавая в классе Пушкина и Лермонтова, можете печатать подобную пошлость? Ведь, очевидно, у вас совершенно нет литературного вкуса. Что можете понимать вы в Пушкине, если вам может нравиться Мошко Зак?

Александровские пошли нам навстречу и заявили, что Феникс более писать в газете не будет. Это успокоило и смягчило всех – и решено: из редакции не уходить. Я подчинился.

На следующий день Александровские стали делать мне замечания относительно ведения мною иностранного отдела, указывая на то, что они считали моими промахами, и заявляя, что мой помощник в отделе мог бы и один справиться с ним.

Моим помощником был некто Н. Н. Новиков – провинциальный, точнее одесский, журналист[958], с которым я незадолго до начала «Киевских откликов» познакомился в Одессе и которого пригласил, на основании одной рекомендации и личного впечатления, себе в помощники, несмотря на то что Н. А. Бердяев, знавший этого Новикова, предупреждал меня, что он человек «исторический» в том смысле, в каком им был Ноздрев[959]. Обе рекомендации оказались правильными: Новиков знал языки и мог хорошо вести работу, но непременно под посторонней редакцией, так как сам по себе был склонен к слишком разухабистому тону и любил делать смелые (никогда не оправдывавшиеся) политические пророчества. Но вместе с тем он был действительно склонен к «историям»[960]. Тотчас после вступления в газету он вступил в переговоры с Александровскими

и объяснил им, что мое удаление из редакции удешевит ведение дела – не в ущерб ему (я получал 160 рублей в месяц, Новиков при мне – кажется, 75 рублей; за это мы должны были составлять весь отдел; построчного гонорара нам не полагалось).

Я, конечно, тотчас же заявил, что навязывать себя не намерен и сию же минуту ухожу и притом, ввиду вчерашнего постановления редакции, ухожу, не делая никакого скандала, то есть не помещая обычного «письма в редакцию» о своем уходе. Но Александровские начали меня убеждать не уходить совсем, а отказаться только от места заведующего отделом; я как сотрудник и даже близкий сотрудник для них очень дорог, так что они, несмотря на крайнюю скромность бюджета газеты, готовы назначить мне жалованье, только чтобы я оставался сотрудником. Я имел слабость согласиться[961]. Отныне я получал 100 рублей жалованья, за что был обязан написать не менее 8 статей в месяц по каким угодно вопросам – внутренним или внешним[962]. Слабостью это было потому, что газета с каждым днем мне нравилась меньше и меньше и что в будущем я ожидал еще дальнейшего ухудшения, так как познакомился с Измаилом Александровским и, как кажется, правильно уяснил себе его личность.

Измаил Александровский был средний провинциальный газетчик, воспитанный в «Киевлянине», усвоивший его политическое миросозерцание, но, может быть, более беспринципный, чем другие сотрудники той же газеты. Чувствуя, что читатель не клюет на киевлянинский консерватизм, он решил попробовать, нельзя ли сделать аферу на умеренном либерализме (как несколько раньше в Петербурге испробовал А. А. Суворин, основавший либеральное «Новое время»[963]). Что же касается Григория Александровского, то он, человек совершенно не газетный, увлечен был на эту дорогу своим братом и был лишь его орудием. Не помню, было ли мне ясно уже тогда, но, во всяком случае, должно было быть ясным, что такое межеумочное мое положение à la longue[964] невозможно. Если же я его тем не менее взял, то объяснялось это крайним нежеланием возбуждать какие-либо вопросы из-за моей личности в кружке, с которым я чувствовал себя солидарным, в особенности тотчас после того, как принципиальный вопрос обсужден и решен. Вел иностранный отдел я всего 5 или 6 дней.

Прошло несколько дней, наступило воскресенье, и в «[Киевских] Откликах» появился воскресный фельетон. Подпись была другая[965], но фельетон начинался приблизительно такими словами:

– Уж на что редкостная птица Феникс. В 500 лет раз

возрождается она из пепла. Кажется, я был гарантирован от появления другого Феникса. И вдруг оказалось, что в местном «Листке» (не помню, в Харькове или в другом городе. – *В. В.*) тоже имеется свой Феникс, который выразил претензию на появление из пепла до истечения законного срока после его смерти. Что ж делать, приходится переменить псевдоним.

И затем весь фельетон был написан в том же тоне разухабистой и бездарной пошлости[966].

Такая наглая ложь со стороны Григория Александровского возмутила всех, и ему пришлось выслушать немало горьких слов, в особенности от меня и Лучицкого, с которым мы были в этом случае, как и вообще в деле «Киевских откликов», почти совершенно солидарны, хотя уже с самого моего переселения в Киев, а затем со времени диспута Тарле наши отношения были весьма холодные. Однако и на этот раз Василенко занял наиболее примирительную позицию и возражал против поддерживавшегося мною и Лучицким предложения немедленного ухода. После долгих споров кончилось ничем, решение об уходе постановлено не было.

Но долго так продолжаться не могло. Газета нам всем, не исключая и Василенко, не нравилась. Дело было в самом конце 1903 г.; на Дальнем Востоке назревала гроза, и в конце января 1904 г. она грянула[967]. И «Киевские отклики» заняли позицию гораздо более националистическую и шовинистическую, чем «Киевлянин». Последний высказывался, хотя и сдержанно, против агрессивной политики правительства, а когда война началась, хотя чуть не до Цусимы[968] повторял: «Мы так же мало сомневаемся в окончательной победе России, как в том, что завтра взойдет солнце», но в общем писал сдержанно и в барабаны не бил. Напротив, «Киевские отклики» с высокомерием говорили о японцах, а известия, иногда оказывавшиеся выдуманными, о мелких стычках преподносили под напечатанными крупнейшим шрифтом заголовками: «Наша блестящая победа», – и это тогда, когда ничего, кроме поражений, не было. Александровский по обыкновению старался свалить ответственность либо на метранпажа, либо на кого-либо другого.

Наконец, к середине февраля вся наша компания постановила уйти из газеты, но, под давлением Василенко, без скандала: то есть решено не требовать напечатания коллективного заявления об уходе, а удовольствоваться снятием наших имен из объявлений, как печатаемых в газете, так и расклеенных в разных местах города и за городом – на вокзалах и в других местах[969]. Первое было исполнено немедленно; последнее исполнено только частично, и еще долго спустя многие из нас встречали в разных

местах афиши о «Киевских откликах» с нашими именами[970]. Григорий Александровский по обыкновению взваливал ответственность на какого-то конторщика, которому он будто бы поручил это дело[971].

Александровские остались на всей своей воле и могли вести газету без всякого контроля с нашей стороны. Если сначала подписка пошла хорошо, то газета явно не удовлетворила публику и успеха не имела. Слухи о неладах в ней распространились, а когда наша группа ушла[972], то конкурирующие газеты – «Киевлянин» и «Киевская газета» – поспешили оповестить об этом. Само собою разумеется, все это отозвалось на тираже газеты, а так как ее основной капитал был более чем скромен, то уже в марте месяце Александровские поняли, что им не миновать краха. Они решили продать свое детище и обратились к нашей группе.

Шла война, и несчастный ход ее вполне уже определился; общественное настроение нарастало, и многие уже говорили о близости каких-то очень серьезных событий, может быть революции. В связи с этим у членов нашей группы росло желание иметь свой орган; у всех были планы газетных статей, для которых хотелось иметь помещение; Василенко же и Ратнер прямо выражали готовность отдаться газетной работе. Словом, газетный зуд усиливался, и предложение Александровских пало на очень благоприятную почву. Купить газету! Но сколько понадобится денег? Мы решили, что каждый из членов нашей группы внесет по 1000 рублей. Составилось 10 000 рублей. Мы составляли смету, причем все ее статьи обрезывая сверх всякой меры, рассчитывали на хорошую подписку (хотя весенние и летние месяцы не были для нее благоприятны), и все-таки выходило маловато. Но В. А. Александровский и М. Б. Ратнер, имевшие связи с финансовыми кругами, обещали получение как кредитов, так и займов.

Лучше других знакомый с газетным делом, хорошо зная, какие непредвидимые расходы неизбежны в газетном деле (особенно если газета под предварительной цензурой), я яснее других понимал, что начинать с десятью тысячами дело, особенно уже частично испорченное, было крайне рискованно. Но вместе с тем у меня газетный зуд был еще сильнее, чем у других. Свои сомнения я не скрывал, признавая риск очень значительным, но вместе с тем указывал на нарастание политических событий и общественного настроения и говорил, что оно может нас вывезти. Григорий Александровский, поддерживавший в это время личные отношения почти с одним только Василенко, в свою очередь подзуживал его:

– У вас 10 000? Этого совершенно достаточно, чтобы поставить провинциальную газету. Если бы у нас было столько! Мы не были бы вынуждены продать ее.

Но от ответа на вопрос, сколько же было у них, уклонялся. Кроме того, он очень торопил нас, говоря, что его брат одновременно ведет переговоры еще с одной группой покупателей и что они продадут газету тому, кто первый даст свое согласие. Мы сильно подозревали, что эта вторая группа существовала только в воображении, так как было крайне невероятно, чтобы о ней никто ничего не знал (о наших планах верещали все воробьи на киевских крышах), но так уж устроен человек, что все-таки у нас шевелилось опасение: а ну как мы упустили случай? И оно влияло на нас.

И мы решились. Александровские потребовали за газету продажную цену в 2000 рублей. Цена за газету с подмоченной репутацией была не низкая. Григорий Александровский оправдывал ее тем трудом, который они вложили в нее. Но в действительности она была больше 2000, так как мы брали предприятие на ходу, следовательно, с активом и пассивом, и последний в нем превышал первый, да сверх того первый был отчасти дутым: в него были включены авансы сотрудникам, из которых некоторых мы сами не могли оставить в газете, другие были малонадежны; в актив были включены и такие долги газете газетных продавцов, которые должны были считаться безнадежными. Таким образом, в действительности мы платили за газету свыше 3000 рублей; у нас не оставалось на ведение дела и 7000.

Но и эти 7000 рублей не могли быть получены сразу. В нашу группу входили: И. В. Лучицкий, Н. П. Василенко, Л. С. Личков, М. Б. Ратнер, В. А. Александровский, известный адвокат Куперник (в ноябрьском соглашении с «Откликами» не участвовавший), я и еще три лица. Булгаков и Бердяев, стоявшие близко к газете, принять участие в покупке газеты не пожелали. Все десять пайщиков обязались внести по тысяче рублей, но только немногие обязались сделать это немедленно; другие либо откладывали, либо [разбивали] свой взнос на два момента, а некоторые часть своего пая покрывали работой. У меня сбережений было в то время всего около 1200 рублей, и лежали они почти целиком в сберегательной кассе. Я вынул тысячу рублей и первый сразу внес ее В. А. Александровскому, избранному казначеем. Затем внесли сам Александровский и Лучицкий, а за ними понемногу и остальные.

В конце марта, не помню, с какого числа, мы начали газету. Ответственным редактором – до тех пор, пока мы не выхлопочем

нового, – остался Измаил Александровский[973], причем он обязался не вмешиваться в дела редакции, и надо отдать ему справедливость, что обязательство исполнял добросовестно и только докучал нам постоянными напоминаниями о скорейшем избавлении его от этой тяготы. Мы, со своей стороны, не имея подходящего человека для этого звания и уверенные, что никого из нас не утвердят, тянули дело.

Действительный деловой редакционный комитет составили Василенко, Ратнер и я[974], но и все остальные члены группы писали статьи по отдельным вопросам, беспрестанно посещали редакцию и принимали деятельное участие в деле. Работа шла дружно. Наша редакция была радикально-народнической, но это не помешало нам вполне сознательно на должность секретаря редакции пригласить по чьей-то рекомендации, не то из Ростова-на-Дону, не то из какого-то другого места, М. С. Балабанова[975], социал-демократа – меньшевика, позднее приобретшего некоторую известность работами по рабочему вопросу[976], а еще позднее, в 1917–1919 гг., игравшего довольно видную роль в революционных событиях в Киеве.

Не легко мне было найти себе помощника по иностранному отделу. О том, чтобы мой помощник владел также и английским языком, я и не мечтал, но хорошего знания французского и немецкого добивался. Ко мне приходило много молодых людей обоего пола и обоих направлений: социал-демократического и социал-революционного (больше первых), но и те и другие были крайне неудовлетворительны. Большинство владело языком совершенно недостаточно, многие притом – только одним немецким, а те, которые ими до некоторой степени владели, решительно не владели русской литературной речью и совершенно не усваивали никаких делаемых им указаний.

Были и такие, которые не могли рассуждать иначе как от Маркса. Пришел один. Я дал ему какую-то немецкую газетную заметку, касавшуюся известного экономиста Луйо Брентано, и предложил изложить ее письменно. Через полчаса он подал мне листок.

– Луйо Брентано, известный своей отвратительной полемикой с К. Марксом… – и т. д.

– Послушайте, а вы читали эту полемику?

– Да, конечно, в предисловии Энгельса к «Капиталу»[977].

– Но ведь это не полемика Брентано, а изложение ее у Энгельса. И притом даже Энгельс, при всей своей резкости, не позволяет себе давать ей такой квалификации. На каком же основании вы даете такую оценку статьям, которых не читали?

– Да ведь видно же из Энгельса…

– Ну а если Энгельс излагает Брентано неверно?

– Как, Энгельс излагает неверно?!?

– Ну а что сказали бы вы, если бы я назвал, например, Лассаля «подлым плагиатором»? Согласитесь, что на основании заметки Маркса о Лассале в его «Капитале»[978] я имел бы к этому, во всяком случае, не меньше оснований, чем вы – к вашей оценке Брентано. И знаете ли вы, что даже если признать правильной вашу оценку полемической статьи Брентано, то все же нельзя сводить к ней всего Брентано; есть же за ним крупные научные заслуги, которые признаются и социал-демократами?

– Я этих заслуг не знаю.

Объяснив моему собеседнику, что подобного рода наскоков допустить в газете не могу, я предложил ему скомпилировать еще какую-то заметку в более беспристрастном тоне, но и тут дело не пошло на лад.

Социалисты-революционеры в этом отношении были лучше, – они могли излагать то, что им предлагалось, объективнее, но знания их языков по большей части были еще ниже[979].

Недели две или три я бился таким образом, принужденный один составлять целиком весь отдел. Наконец, ко мне пришли сразу два субъекта; фамилия одного была Иоффе (ничего общего не имеет со всеми известными Иоффе[980]), а другого – Заславский, – этот, напротив, к сожалению, тот самый Заславский, который в настоящее время приобрел такую большую, но печальную известность[981]. Они заявили мне следующее. Они – два друга, оба владеют двумя иностранными языками; из них Иоффе нуждается в заработке и хотел бы получить у меня платную работу. Заславский, напротив, в заработке в настоящее время не нуждается, но он мечтает о литературной карьере, и ему хотелось бы попрактиковаться в ней под руководством уже опытного литератора. Поэтому они предлагают мне следующее: Иоффе будет моим, так сказать, официальным помощником, а Заславский просит, чтобы я давал ему работу неофициально, то есть без всякого вознаграждения.

Я дал им на пробу несколько статеек из иностранной прессы, и они оба вполне удовлетворительно справились с ней. От своего помощника в иностранном отделе я всегда требовал не только того, чтобы он переводил или компилировал указанные мною статьи, но также чтобы он самостоятельно читал несколько иностранных газет, которых я проглядеть не успею, и указывал мне, что, по его мнению, заслуживает перевода или компиляции. Сам же я писал передовые и переделывал представленный мне помощником материал, стремясь к тому, чтобы по возможности каждая заметка в отделе после моей переделки обращалась в

более или менее самостоятельно обработанную статейку. Само собой разумеется, что когда мой помощник подавал мне статью более или менее самостоятельную, то я этому только радовался, если статья меня удовлетворяла. И вот на второй или третий день совместной работы я увидел, что нашел то, что мне было нужно.

Хотя оба друга были социал-демократы – меньшевики[982], но они могли говорить и писать на общелитературном языке, не прибегая к установившемуся жаргону третьестепенных марксистов; не считали нужным навязывать мне свои взгляды и мирились с тем, что представляемый ими сырой материал подвергался у меня обработке, может быть не вполне согласной с их убеждениями. Из них двух Иоффе был значительно менее даровит; он работал очень медлительно, писал тяжеловесно, иногда делал ошибки[983]. Напротив, Заславский сразу обнаружил умение быстро и легко разбираться в предлагаемом ему материале и писать с несомненным литературным талантом. Иногда то тот, то другой из них на работу не приходил по нескольку дней, но один-то помощник у меня был непрерывно.

Из двух моих помощников более ценным для меня был Заславский, и мне было неприятно, что газета как бы эксплуатирует его труд, но наша смета решительно не дозволяла назначить вознаграждение еще второму моему помощнику. Я это говорил и Заславскому, но он решительно отклонял разговоры на эти темы и очень добросовестно работал у меня несколько месяцев, пока не счел свою цель достигнутой и не ушел. В следующие 8–10 лет я с Заславским не встречался, но имя его встречал в печати и видел, что он приобретает известность. После 1912 или 1913 г. я встречал его в редакции петербургской газеты «День», в которой мы оба сотрудничали, а после революции 1917 г. – в редакции «Былого». Из него выработался талантливый журналист, но вместе с тем у него появилась какая-то заносчивость, которая не внушала симпатии к нему; во всяком случае, однако, он производил впечатление честного человека. И вдруг… Как произошло с ним такое решительное падение, я не знаю. Я в это время был уже эмигрантом.

Я получал в газете 125 рублей жалованья, мой помощник – 75 рублей. Построчного нам не полагалось. Так как я оставался в «Откликах» немного меньше 8 месяцев, то я вернул себе в виде заработка почти всю тысячу, которую вложил как пай.

В мое ведение входила и Русско-японская война. Несмотря на мою полную некомпетентность в военных вопросах, очень большой трудности военный отдел не представлял; в этом отношении мне сильно помогала цензура, которая сколько-нибудь самостоятельных военных статей почти не пропускала[984].

Военные известия передавались официальным телеграфным агентством, дополнялись перепечатками из столичных газет, преимущественно из «Нового времени». Однако все же редакция хотела иметь военного сотрудника. Таковой нашелся в лице одного офицера по фамилии Пойдун, отдаленного знакомого Василенко. Василенко познакомил меня с ним, и Пойдун начал приносить свои статьи по вопросам как сухопутной, так и морской войны. Первая или одна из первых его статей была подробным сравнительным исчислением русских и японских морских сил и заканчивалась словами: «Грозную силу представляет из себя эскадра Рождественского, и Японии с ней не совладать».

Это было уже после гибели нашего броненосца «Петропавловск» с адмиралом Макаровым[985], и в то время я уже сильно сомневался в победе России. Фраза Пойдуна заставила меня поэтому сильно задуматься: оставить ее или выкинуть по редакторскому праву? Ведь, однако, как будто, по приведенным в статье цифровым данным, сила действительно грозная? И я фразу оставил. Как известно, сила оказалась вовсе не грозной…

Чем дольше шло время, чем яснее обнаруживалась неизбежность поражения России, тем увереннее Пойдун предсказывал победу и тем чаще мне приходилось сокращать и смягчать его статьи. Он обиделся и резко заявил о нежелании сотрудничать.

Едва он ушел из газеты, как в нее заявился мой хороший знакомый, о котором я уже много говорил, Вова Вакар с небольшой написанной им заметкой о положении на театре военных действий.

Я взял ее с большим недоверием: откуда Вове Вакару, юристу, даже не отбывавшему воинской повинности, знать военное дело? Прочтя ее, я увидел, что она написана в литературном отношении недурно, что военное положение изложено ясно и определенно.

– Откуда вы это все почерпнули?

– У меня несколько приятелей офицеров, я с ними много разговаривал, и они мне многое уяснили. А вместе с тем я очень внимательно читаю все относящееся к войне и в общей прессе, в «Новом времени», «Русских ведомостях» и др., и даже в специально военной: в драгомировском «Разведчике»[986] и др.

Я напечатал заметку. За ней последовали другие, и Вакар оказался у нас военным обозревателем, и весьма недурным; во всяком случае, ошибаться в своих соображениях ему случалось не чаще, а может быть, и реже, чем военным сотрудникам конкурировавших с нами киевских газет («Киевлянин» и «Киевская газета») и даже столичных, как «Новое время».

Безусловно и несомненно лучше наших были только статьи в «Русских ведомостях», где военный отдел вел тогда, и вел превосходно, известный статистик В. Михайловский. Цензура беспощадно марала статьи Вакара, но кое-что все-таки оставалось. Харьковские и одесские газеты нередко перепечатывали наши военные заметки.

Наши отношения с цензурой в первое время были в общем весьма сносные. Я не помню, был ли цензором Мардарьев, о котором я говорил в более ранних своих воспоминаниях, или кто другой, но особенной придирчивости он не обнаруживал. Черкал, но черкал в меру.

И вот однажды мы составили номер, который нам самим особенно нравился. И передовая, и отдел печати, и корреспонденции – все, казалось, было особенно хорошо. Мы не часто могли увеличивать номер сверх нормальных 4 страниц, но иногда делали это, и как раз этот номер насчитывал их шесть. Вполне довольный, я ушел вечером из редакции. Остался в ней один Балабанов, на обязанности которого лежало выпустить номер.

Утром беру номер газеты – и ничего не понимаю. Прежде всего, в нем всего 4 страницы. Затем – где же передовая? Вместо передовой – какая-то бесцветная статья, написанная несколько дней назад, но признанная слабой и отложенная на неопределенное время. Моя статья – что это с ней сделал Балабанов? По какому праву? Ведь от нее ни образа, ни подобия не осталось. Не мог же это сделать Мардарьев?

Раньше обычного часа бегу в редакцию и застаю почти всех членов редакции.

– В чем дело?

В ответ Балабанов протягивает мне кучу гранок, перечеркнутых красными чернилами.

– Да что же это значит? Мардарьев взбесился?

– В том-то и беда, что не Мардарьев. Мардарьев переведен (кажется, в Одессу[987]), а к нам назначен новый цензор, Сидоров[988], который вчера вступил в исполнение своих обязанностей.

Положение делалось ужасным. При такой цензуре вести газету невозможно, особенно в городе, где одна из конкурирующих газет («Киевлянин») издавалась без предварительной цензуры. Эта мера (избавление консервативной газеты от предварительной цензуры), принятая лет за пять до этого[989] и прославленная за границей как либеральный шаг, в действительности являлась актом реакционным, так как создавала консервативной газете привилегированное положение,

особенно при таком цензоре, как Сидоров.

Вечером Балабанов пошел к цензору объясняться, и цензор оказался сговорчивым, по крайней мере сравнительно с тем, чего можно было ожидать на основании его действий. После упорного торга он восстановил несколько вычеркнутых им статей и несколько мест в других – не целиком запрещенных, но Балабановым отложенных – статьях. Но в следующем номере он вычеркнул столько же. На этот раз пошел к цензору я и тоже добился больших уступок; потом ходил Василенко и другие. И началась сказка про белого бычка: Сидоров вычеркивал половину, потом, после личных переговоров, восстановлял половину этой половины. Хорошо еще, что он не требовал явки к нему редактора, то есть Измаила[990] Александровского, и без протеста довольствовался приходом к нему автора (или лица, для переговоров с ним бравшего на себя роль автора) или секретаря редакции. Но материал (газетный, злободневный!) иногда за один день устаревал и был непригоден для печати, а в «Киевлянине» он появлялся своевременно.

Марал Сидоров бессмысленно, бессистемно, и, может быть, этим объяснялась его уступчивость: аргументы выслушивал внимательно и был способен принимать их. Но в некоторых пунктах он был упорен, как осел, – в том, что касалось войны.

– Вот заметка, целиком, дословно, без изменений, взятая мною из «Нового времени», а «Новое время» взяло ее из «Times». Почему вы ее не пропустили?

– Не могу. Здесь сказано: дивизия под командой такого-то генерала, здесь: две дивизии. А у меня циркуляр: безусловно не пропускать ничего касающегося передвижения, распределения и численности наших войск. Ведь это военная тайна.

– Да ведь это заимствовано из «Нового времени» и «Times», следовательно, уже не военная тайна. И сегодня эта самая заметка перепечатана в «Киевлянине». Почему же «Киевские отклики» не могут сообщать того, что японцы могут узнать из «Киевлянина», если уже раньше не узнали из «Нового времени» или из «Times»?

(Можно было бы прибавить: и если они не знали этой военной тайны гораздо лучше от своих шпионов.)

– «Киевлянин» – без предварительной цензуры, за него я не отвечаю, за «Новое время» тоже, а за «Киевские отклики» отвечаю. Не могу.

Сдвинуть его с этой позиции было невозможно. Как ни лестно для меня было предположение, что японцы не читают ни «Times», ни «Новое время», а читают и информируются о передвижении и численности русских войск только из «Киевских откликов», но

мое редакторское самолюбие или самомнение не заходило так далеко, чтобы признавать его правильным, а большой вред для газеты и, в частности, для моего отдела в ней я чувствовал и тяжело страдал от него, но делать было нечего.

Еще больше меня страдал от цензора отдел, которым мы особенно дорожили: отдел местной жизни. Корреспонденции из Юго-Западного края, которых у нас благодаря связям Василенко, Личкова и других было очень много, вымарывались им свирепо. Во время частых бесед с нами Сидоров был вообще словоохотлив и вступал в разговоры общепринципиального характера. Мы узнали от него, что он стоит на страже государственности от, может быть, грозящей революции (много лет спустя я слышал от пьяного шофера, не желавшего исполнять своей обязанности, что он стоит на страже революции, и был поражен тождеством выражения и склада мысли), что доля цензора – тяжелый долг.

– Вам хорошо, вы читаете то, что вас интересует, а я должен читать всякий вздор, и читать внимательно; это труд, и тяжелый.

Эта мысль, может быть, была заимствована из пушкинского «Послания к цензору» («Так – цензор мученик. Порой захочет он ум чтением освежить: Руссо, Вольтер, Бюффон, Державин, Карамзин манят его желанье. А должен посвятить бесплодное вниманье на бредни новые какого-то враля, которому досуг петь рощи, соловья»). К сожалению, Сидоров не вдохновлялся дальнейшими стихами из того же «Послания»: «Цензор-гражданин полезной истине пути не заграждает. А ты, глупец и трус! Что делаешь ты с нами! Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами. Не понимая, нас мараешь и дерешь. Ты черным белое по прихоти зовешь, сатиру – пасквилем, поэзию – развратом»[991].

Любил говорить он и о негодности провинциальных газет и с решительным осуждением относился к «Киевским откликам», высказывая это нам в довольно презрительной и высокомерной форме:

– Что такое наша провинциальная пресса? Возьмут «Berliner Tageblatt» или «Temps» и валяют по нему, сколько хочешь оттуда заимствуй. А нет того, чтобы исполнить свою прямую обязанность и освещать местную жизнь.

– Помилуйте, да у нас очень много корреспонденции с мест; вы же их запрещаете.

– Того, что вы даете, нельзя не запрещать; я же уступаю вам во всем, в чем только можно.

Этот разговор у цензора был с Василенко. А через несколько дней в «Новом времени» была помещена корреспонденция из Киева, в которой давалась отрицательная оценка местной прессы, «Киевских откликов» и «Киевской газеты» как раз с сидоровской

точки зрения – и даже, как указывал Василенко, в сидоровских выражениях. Для «Киевлянина» было сделано исключение, и он заслужил полное одобрение от автора корреспонденции. Корреспонденция не была подписана, но принадлежность ее Сидорову была очевидна. Человек сам создавал ту черту местной прессы, за которую потом ее порицал!

Скоро обнаружилась и еще одна черта в характере Сидорова.

– Вот вы пишете о войне, все по «Новому времени» и другим газетам, а собственным корреспондентом не обзаведетесь, – говорил он Балабанову.

– Не нашли. Был один знакомый офицер, который обещал писать и не написал ни строчки.

– А я вам могу порекомендовать. На днях на театр военных действий едет один мой хороший знакомый, он был бы рад писать.

Мы были поставлены этим предложением в большое затруднение: приятель цензора; не будут ли для нас его корреспонденции обязательны независимо от их достоинства? Тем не менее, по человеческой слабости, решили его пригласить. Пришел офицерик, невзрачный, симпатии к себе не возбуждающий; решительно потребовал аванса в 100 рублей и писать обещал непременно и много.

Мы долго обсуждали вопрос: приглашать его или нет и давать из нашего более чем скудного бюджета аванс или нет? Весьма вероятно, что не напишет ни строчки, а может быть, будет еще хуже, если напишет?

Наконец, решили: аванс, вероятно, пропадет (офицерам вообще очень трудно писать с театра военных действий), но ведь это просто взятка, которую с нас требует Сидоров и, следовательно, дать нужно. И дали. И об офицерике – ни слуху ни духу. И Сидоров о нем ни разу не заговаривал.

Подействовала ли взятка? На этот вопрос трудно ответить с уверенностью. Месяца через два-три после начала своего цензорства Сидоров несколько обмяк и стал сноснее; мы взаимно приспособились и с грехом пополам вели газету. Но произошло это постепенно; сколько-нибудь резкой перемены в связи с авансом не было.

Но что подкупить Сидорова было возможно, это с несомненностью сказалось зимой 1904–1905 года, когда я уже переселился в Петербург и, следовательно, из «Киевских откликов» ушел. Тогда было замечено, что Сидоров не желает цензировать материал, присылаемый ему после 9 часов вечера. Когда ему говорили об этом, то он отвечал, что считает свой рабочий день оконченным к 9 часам вечера и не признает за

собой обязанности брать на себя дополнительный труд. Без всякого сомнения, на это следовало бы жаловаться, но пока солнце взойдет, роса очи выест, а Сидоров газету съест.

Жаловаться не решились, а на Балабанова, который у нас считался дипломатом, способным мягко и тонко высказать все что нужно, было возложено щекотливое поручение предложить Сидорову 50 рублей в месяц жалованья за дополнительный труд по цензированию материала после 9 часов вечера. Предложение имело явно уголовный характер, но Балабанов его сделал, и Сидоров принял. И сам же он после этого предложил: мелкие, строго фактические заметки, не возбуждающие ни малейшего сомнения с цензурной точки зрения, можете печатать, вовсе мне их не посылая. Подобное соглашение существовало почти во всех подцензурных газетах; существовало и у нас до Сидорова, а теперь было восстановлено при нем. И с этих пор он стал гораздо мягче, и газета уже не чувствовала в такой степени, как прежде, мертвой тяжести его руки, хотя, конечно, до свободы было еще очень далеко. Таким образом, при помощи взятки, «Киевские отклики» получили своего рода конституцию.

С взяткой нам пришлось иметь дело еще один раз.

Измаил Александровский упорно наседал на нас, требуя избавления от обязанности ответственного редактирования. Мы по возможности тянули, но, наконец, это стало невозможным. Мы искали человека, который был бы невинным младенцем в полицейско-цензурном смысле и вместе с тем настолько порядочным, чтобы можно было без опаски возложить на него ответственное редакторство, как известно дающее над газетой неограниченную власть, – во всяком случае, дающее редактору возможность в любой момент погубить газету (а следовательно, возможность делать грабительские набеги на ее кассу). Такого человека нашли. К сожалению, у меня совершенно вылетело из головы, кто это был. Но нашли и подали соответственное прошение в Петербург.

Месяц шел за месяцем, на прошение нет ответа. А Измаил волнуется и допекает нас; мы показываем ему пункт договора, что он обязан редактировать газету вплоть до неопределенного момента утверждения нового редактора; он отвечает угрозами репрессий (нужно признать, что он не привел этой угрозы в исполнение).

В это время в состав нашей издательской группы входил молодой помощник присяжного поверенного А. Д. Марголин (если не ошибаюсь, это тот самый Марголин, который ныне находится в Америке и имя которого часто встречается в газетах в связи с различными беженскими процессами). Этот Марголин

сообщил нам, что в Петербурге имеется некто Кривошлык, что этот Кривошлык занимает видное место на службе в градоначальстве[992] и что к литературе он имеет двоякое отношение: во-первых, он редактор официальных «Ведомостей СПб. градоначальства», а во-вторых, имеет большие связи в Главном управлении по делам печати и за взятки обделывает там всякие литературные дела, причем за разрешение ответственного редактора провинциальной газеты у него имеется определенная такса: 300 рублей. Явиться к нему прямо – невозможно, но при нем состоит мелкий чиновник, хороший знакомый Марголина, который по дружбе с Марголиным это дело нам и обделает.

В конце ноября 1904 г. я переселялся в Петербург, и на меня было возложено поручение дать Кривошлыку взятку через этого чиновника. Поручение в высшей степени неприятное, но… на то я родился в царской России и на то судьба сделала меня русским, да еще провинциальным журналистом, чтобы не воротить нос от подобных поручений.

К чиновничку явился с письмом (запечатанным) Марголина. Тот принял меня очень любезно, говорил о либерализме и доброте Кривошлыка, который сочувствует и всячески помогает печати, и назначил мне вторичное свидание через 3–4 дня. Я явился на свидание и получил заверение, что дело будет сделано. Я уплатил 300 рублей и ушел.

И действительно, не более чем через две недели ответственный редактор был утвержден.

Грязный осадок оставался на душе от всего этого дела, и чувствовалась грязь на руке от рукопожатия чиновника. К сожалению, дело имело еще эпилог, которого я совсем не ожидал.

Через несколько времени я где-то, чуть ли не просто на улице, встретил этого чиновничка.

– А что же мои сто рублей?

– Какие ваши сто рублей?

– Марголин мне писал, что Кривошлыку «Киевские отклики» дают 300, а мне – 100 рублей. Кривошлыку – вперед, а мне – когда редактор будет утвержден. Редактор утвержден.

– Я об этом ничего не знаю, Марголин мне об этом добавочном условии ничего не говорил, и в редакции у нас о нем не упоминалось. Напишите Марголину.

Больше с этим чиновником я дела не имел и не знаю, были ли уплачены ему 100 рублей. Во всяком случае, он их заслужил, так как дело было сделано именно им. Но роли Марголина я в этом деле не понимаю.

Когда мы взяли «Киевские отклики» в свои руки, то подписка и розница начали улучшаться довольно быстро. Цензор Сидоров

замедлил их рост; тем не менее в конце лета наш тираж достигал 8000 [экземпляров] – цифра для тогдашней провинциальной газеты довольно значительная, хотя у «Киевлянина», как говорили, было в полтора-два раза больше. Но, к несчастью, объявления к нам не шли, и мы старались привлекать их крайним понижением таксы и даже широким печатанием даровых объявлений. В частности, не шли к нам в отдел объявлений покойники – самые выгодные объявители (не торгующиеся из-за таксы), составлявшие в «Киевлянине» очень заметную статью прихода. Объявления – вообще вещь очень консервативная, значительно более консервативная, чем читатели, и всякая новая газета очень долго должна обходиться без них. Это мы испытывали на себе. А одна подписная плата не в состоянии покрыть расходов при каком бы то ни было возможном тираже, по крайней мере, если она так низка, как была у нас (8 рублей в год; в «Киевлянине» – значительно выше).

Совершенно естественно, что наши 10 000 рублей, из которых 2000 пошли Александровским, быстро растаяли. Мы существовали в кредит, но нужны были наличные деньги. Удалось привлечь еще несколько пайщиков, в том числе А. Д. Марголина[993], о котором я уже говорил. И этого было мало. Удалось сделать заем. На некоторое время хватило, хотя все время нам приходилось перебиваться, жить надеждами и ждать краха. Однако жили.

С привлечением новых пайщиков наша издательская группа численно выросла. Всем понятно крайнее неудобство слишком многочисленных издательских компаний, особенно в столь малокоммерческих предприятиях, как были «Киевские отклики»: никто ведь не даст своей тысячи без того, чтобы не требовать себе доли влияния в редакционных делах, и чем коллегия многочисленнее, тем вероятнее коллизии интересов и мнений. Конечно, между нами на каждом собрании происходили горячие споры, но они всегда заканчивались соглашением, и, в общем, дело шло удивительно гладко и мирно, и это несмотря на наличность людей, как Лучицкий, с очень большим самолюбием и мелочностью характера, несмотря на наличность застарелого личного антагонизма между мной и тем же Лучицким. Объяснялось это, вероятно, двумя причинами.

Первой причиной был благоприятный исторический момент. Революционное настроение в обществе нарастало, и лозунгом этого настроения было одно отрицательное требование, выражавшееся в знаменитой «русской пословице»: долой самодержавие![994] Сходиться на почве отрицательного лозунга легче, чем положительного, а положительные лозунги черкал

Сидоров. Его деятельность и была второй причиной нашей солидарности. Через год положительные лозунги развели нас по разным партиям.

В связи с «Киевскими откликами» имело место одно событие в моей личной жизни.

Помнится, в мае или июне, то есть месяца через два после перехода «Киевских откликов» в наши руки, Василенко выразил желание поговорить со мной по секрету.

– Я узнал, – сообщил он мне, – что в канцелярии генерал-губернатора получен запрос из Департамента полиции, правда ли, что в Киеве газета «Киевские отклики» куплена политически неблагонамеренной группой и что видную роль в этой группе играет Водовозов, многократно привлекавшийся к политическим делам и в настоящее время состоящий под негласным надзором полиции. Если это правда, то не сочтет ли генерал-губернатор желательным выслать Водовозова из Киева на основании принадлежащей ему власти[995]. Другими словами – приказ о вашей высылке. Мне обещано, что этот запрос будет задержан на несколько дней, но через несколько дней он будет без сомнения исполнен.

– Да правда ли это?

– Я не могу вам назвать мой источник, но достоверность его не подлежит ни малейшему сомнению.

Этот источник был для меня сразу совершенно ясен, и достоверность его и для меня не подлежала ни малейшему сомнению: это был Молчановский, правитель канцелярии (или помощник правителя) генерал-губернатора, поддерживавший дружеские отношения с Василенко и Лучицким.

Дело было очень неприятное.

– Что же мне делать?

– Я дам вам совет. Уезжайте, если можно, сегодня же, в крайнем случае завтра, в Дарницу (дачное местечко верст за 10 от Киева. – *В. В.*) или куда-нибудь в другое место за Днепром, то есть в пределы Черниговской губернии, и наймите там дачу. Оттуда будете приезжать сюда каждый день, числясь живущим в Черниговской губернии. Домой при этих приездах лучше не заходить.

Я решил исполнить совет. В это время я жил один; моя жена гостила в Саратове у сестры[996]. Я сейчас же ушел из редакции домой. В ближайшем соседстве со мной жила одна барышня, эсеровка, большая приятельница моей жены[997], замещавшая ее в ее издательстве и торговле.

Ей я рассказал о моей неприятности. Она тотчас же вызвалась съездить в Дарницу и поискать мне там комнату, а я сам уложил

чемоданы и ушел в редакцию. Под вечер я вернулся домой пораньше, получил адрес нанятой мне комнаты и с одним из вечерних поездов уехал, заявив дворнику, чтобы он меня выписал в Черниговскую губернию.

У меня дома оставалась прислуга – кухарка. Я велел ей готовить мне обед и носить его в судках в редакцию; знакомая же барышня приносила мне по мере надобности нужные книги из моей библиотеки. Таким образом я прожил все лето в Дарнице, действительно редко появляясь дома. Однако все же иногда это приходилось делать, а раза два-три, когда наши редакционные собрания заканчивались слишком поздно, приходилось даже ночевать дома.

Удивляет в этой истории меня то, что генерал-губернатор и Департамент полиции удовлетворились такой элементарной штукой. Не могли же они не знать, что я аккуратно каждый день, не исключая и воскресный (тогда газеты выходили и по понедельникам), провожу в редакции с утра до вечера, работая там и для газеты, и для других изданий, в которых я тогда сотрудничал (я вел тогда иностранную хронику в одесском еженедельном журнале «Южные записки», издававшемся Панкеевым, а кроме того, много работал в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона). Тем не менее мне это позволяли, и никаких неприятностей полицейского характера я не испытал.

В сентябре жизнь на даче стала невозможной; к тому же вернулась моя жена. Василенко, вероятно переговорив предварительно с Молчановским, сказал, что теперь, по его мнению, я могу спокойно вернуться в Киев. Я это сделал и опять-таки никаких неприятностей не испытал.

Я прибавлю здесь еще несколько слов о цензоре Сидорове. Во время мировой войны он напечатал в «Голосе минувшего» свои мемуары, в которых изобразил себя цензором очень либеральным[998]. Мельгунов мне говорил, что он знал цензорскую деятельность Сидорова в другой период его жизни, в Москве, и тогда он мог считаться очень порядочным цензором, и что это расположило его принять с доверием мемуары Сидорова. Я других периодов не знаю, но утверждаю, что в своей киевской части мемуары Сидорова должны быть признаны совершенно неправдивыми; о других я не знаю.

Прошло еще несколько лет. В 1924 или 1925 г. в Праге в столовой Земгора ко мне подошел старичок, которого я не узнал.

– Кажется, господин Водовозов?

– Да.

– Сидоров, неужели не помните? Киевский цензор.

Таким образом, и цензор, и страдавший от него литератор

оба оказались выброшенными революционной волной на другой берег.

Почти всегда люди, друг друга знавшие, встречаются через много лет с радостью, хотя бы прежде они были врагами. Так и мы встретились радостно и взаимно поведали друг другу вкратце свои одиссеи. Сидоров, оказывается, жил в Варшаве, а в Прагу приехал только на несколько дней. Но радости от встречи хватило очень ненадолго; у меня поднялась в душе волна прежнего возмущения, и я не мог воздержаться от нескольких попреков, сказанных в довольно раздраженном тоне.

– Не думаете ли вы теперь, что ваша деятельность, скрывая от общества правду – хотя бы о войне, вызывая своей произвольностью чувство общественного негодования, делала неизбежной революцию и в особенности наиболее отвратительные ее проявления? Не думаете ли вы, что именно вы сами – конечно, не индивидуально, а как представитель и деятель определенного течения, – ответственны за то, что мы теперь встретились с вами, как две щепки двух различных разбитых бурей кораблей?

Я совершенно не ожидал иного ответа, кроме решительно отрицательного. И был изумлен, когда Сидоров ответил мне почти полным согласием со мной.

– Да, – сказал он, – я много передумал и думаю теперь, что хотя полная свобода слова и невозможна, и нежелательна, но что деятельность цензуры была чрезмерна и во многих отношениях вредна.

Эти слова так меня тронули, что у меня не хватило уже жестокости продолжать разговор в начатом тоне, и мы расстались совершенно дружески.

В начале ноября 1904 г. в Петербурге возникла газета «Наша жизнь». Я получил приглашение взять в ней в свои руки иностранный отдел[999].

Предложение было соблазнительное, хотя мне было очень жаль расставаться с «Киевскими откликами», да и с Киевом, с которым я сжился и сросся за 9 лет пребывания в нем. После долгих колебаний и сомнений я решил принять его, но потребовал только отсрочки до конца ноября, так как на 20 ноября был назначен банкет по случаю 40-летия Судебных уставов[1000], и я должен был выступить на нем с речью. Но, как бы то ни было, мои отношения к «Киевским откликам» прекращались.

Я чувствовал некоторую неловкость, покидая их на исключительно трудном их пути, и боялся, что они отнесутся ко мне как к дезертиру. Но этого не случилось. Напротив, перед

моим отъездом устроили в мою честь чаепитие и на нем поднесли мне золотые часы с соответственной надписью и речами, произнесенными Куперником и Василенко. Часы эти потом, во время революции в конце 1917 г., у меня были вырваны из кармана каким-то солдатом, когда я в переполненном вагоне железной дороги продирался через толпу солдат-дезертиров. Я хватился пропажи тотчас же, лишь только продрался через толпу к выходу из вагона, но сделать ничего не мог, не мог даже заподозрить какого-либо определенного солдата; все они смотрели одинаково злыми глазами на буржуя.

Место мое в качестве иностранного обозревателя занял С. Лозинский, молодой человек, незадолго перед тем привлеченный в число пайщиков газеты (впоследствии этот Лозинский выпустил в свет в издании Ефрона дельную книгу: «История инквизиции»[1001]).

Во время еврейского погрома в 1905 г. «Киевские отклики» подверглись разгрому и вслед за тем принуждены были закрыться[1002].

# Глава VII. Союз освобождения и банкетная кампания в Киеве

В начале осени 1903 г., по возвращении из-за границы, Булгаков, Бердяев и я принялись за организацию местного Союза освобождения. Дело пошло на лад, несмотря на то что в Киеве не было земства, а состав городской думы был исключительно консервативным. Но адвокаты, профессора, железнодорожные и иные служащие, гимназические учителя и многие другие охотно пошли на наше предложение. В состав Союза вошли почти все будущие члены редакции «Киевских откликов» (Александровские, Григорий и Измаил, не вошли; не знаю, предлагали ли им) и многие другие. Отказался вступить в него популярный профессор кн. Евг[ений] Трубецкой, так как журнал «Освобождение» занял в японской войне пораженческую позицию, которой он не сочувствовал.

Получался журнал «Освобождение» в довольно большом количестве экземпляров, рассылаемых в запечатанных конвертах, как простые письма, по различным адресам; пропадал сравнительно небольшой процент. Затем каждый экземпляр шел по рукам и зачитывался даже не до дыр, а до полнейшего уничтожения, что было неизбежно, так как экземпляры, предназначавшиеся для пересылки в Россию по почте, печатались на исключительно тонкой, почти папиросной бумаге.

Как известно, в то же время за границей выходили еще два русских журнала: социал-демократическая «Искра» (под редакцией, в которую в первое время входил Ленин, потом – без него) и социал-революционная «Революционная Россия». Оба они, и особенно первый, проникали в Россию и, в частности, в Киев в еще более значительном числе экземпляров, и притом экземпляров, напечатанных на обычной бумаге и потому по внешности производивших гораздо лучшее впечатление, чем «Освобождение». Объяснялось это тем, что для доставки в Россию эти журналы не нуждались в таких кустарных приемах, но пользовались услугами обычных контрабандистов, тогда как мы не умели наладить настоящей массовой контрабанды. Поэтому у каждого из нас, освобожденцев, обыкновенно бывал в руках всего один экземпляр «Освобождения», и мы не могли его продавать или раздавать, а могли только давать во временное пользование, записывая претендентов в известной очереди. Напротив, распространители двух других журналов имели их десятками и торговали ими.

Я хорошо помню одну барышню, потом ставшую женой младшего Вакара, которая вся так и «искрилась»: и в муфте «Искра», и под пальто «Искра», и за корсажем «Искра». Явление это стало к 1903–1904 гг. настолько общераспространенным, что Новицкий уже не мог угнаться за ним, и барышня, потом ставшая дамой и продолжавшая свою деятельность, долго таким образом бегала по Киеву совершенно безнаказанно.

Кроме задачи распространения журнала «Освобождение», которую наш местный Союз разрешал, таким образом, не вполне удовлетворительно, на нем лежало сообщение фактического материала, то есть писание корреспонденций. Эту задачу мы исполняли хорошо, – я думаю, лучше, чем искровцы и эсеры, потому что связи с правительственными сферами у нас были хорошие, и все, что делалось в них, всякие правительственные безобразия мы знали; но рабочую хронику эсдеки, конечно, вели лучше нас.

Осенью 1904 г. в кругах освобожденцев возникла мысль об устройстве банкетной кампании[1003]. Где (географически) она возникла впервые – я не знаю[1004]; она охватила как-то сразу все города России, где только были ячейки [Союза] освобождения, и не миновала и Киева. При мне было устроено в Киеве два банкета: один – в честь Короленко в связи с 25-летним его юбилеем[1005], другой – в связи с 40-летней годовщиной Судебных уставов. Особенно удачным вышел этот последний. Разрешение было дано оба раза при условии, чтобы присутствовали только лица по особому приглашению, – в это время, при Святополк-Мирском[1006], разрешения давались сравнительно легко; были взяты большие залы в ресторане.

Слух о предстоящем банкете широко разошелся, и наплыв желающих был громадный; многим приходилось отказывать. Тем не менее было допущено человек 200: все сливки киевской интеллигенции – профессора, адвокаты, железнодорожники, инженеры и другие; десятка два человек проникли без приглашений. С одним из таких у меня вышло столкновение.

Придя на банкет в качестве одного из распорядителей заблаговременно, когда публика только начала собираться, я заметил вертевшегося субъекта с на редкость отвратительной физиономией. Я подошел к нему:

– Простите, у вас есть приглашение?

Он попытался уклониться от ответа, но должен был сознаться, что приглашения нет.

– В таком случае я вас решительно прошу уйти.

Сначала он попытался было не подчиниться, но на повторное приглашение ушел, выразив негодование на наш отвратительный

бюрократизм.

Минут через пять, однако, я вновь увидел его, и повторилась та же история; он вновь ушел и вновь появился. У главного входа сидел контролер, проверявший приглашения; несколько минут спустя, когда публика валила густой толпой, прорваться без приглашения было можно, но в это время можно было пройти только каким-нибудь черным ходом. Так он и остался; я указал на него Василенко, который в свою очередь пробовал его удалить, но результат был тот же.

Речей было много, все речи – очень определенные и все били в одну точку, которую можно срезюмировать лозунгом: долой самодержавие. Особенно блестящей по форме, хотя и наиболее умеренной и осторожной по содержанию была речь Евг[ения] Трубецкого, хороша – речь Булгакова, слабее – речи Ратнера и Куперника. В числе других говорил и я[1007].

Когда был исчерпан список заранее намеченных нами ораторов, слово дали ораторам из публики. Это были по большей части молодые социал-демократы, которые пытались внести другую ноту и которая может быть сформулирована так: вы, собравшиеся здесь интеллигенты, – мразь; сделать вы ничего не можете, если не пойдете за пролетариатом; только в классовой борьбе и только пролетариатом может быть завоевана истинная свобода. Речи были слабы, хуже других говорил в этом духе Вова Вакар, решительно не обнаруживший ораторского дара, хотя в это время он был уже помощником присяжного поверенного. Публика начала расходиться, к тому же было уже около 1 часа ночи[1008].

Дня через два после этого я собирался уезжать в Петербург, как вдруг получил приглашение явиться к генерал-губернатору. Драгомиров незадолго перед этим покинул генерал-губернаторский пост, и генерал-губернатором был пользовавшийся очень дурной репутацией Клейгельс[1009]. Приглашение грозило опасностью высылки, и можно было уклониться от него, даже не ускоряя, а только не откладывая мой предположенный отъезд. Но у нас было заранее решено: в случае вызова к какой-либо власти вести себя открыто, имена официальных ораторов называть, от изложения их речей отказываться, свою речь каждый может излагать как хочет, неофициальных ораторов не называть.

Ввиду этого решения я с одобрения Василенко и еще нескольких товарищей по редакции решил не бежать, но предстать пред грозные очи генерал-губернатора. Все обошлось очень недурно.

Генерал-губернатор принял меня по форме очень любезно, не по-начальнически, а как доброго знакомого и начал с извинения,

обнаружив при том весьма большую осведомленность в моих делах и намерениях.

– Вы меня простите, что я вас побеспокоил; вы, кажется, собирались уезжать в Петербург? Но мне хотелось знать именно от вас, что произошло на собрании 20 ноября, о котором ходят такие, вероятно, сильно преувеличенные слухи. Ведь вы, кажется, были одним из организаторов и распорядителей, а также и ораторов?

– Да.

– Так вот я и хочу осведомиться из первых рук. Скажите, пожалуйста (и далее продолжалось все в этом вежливом тоне. – *В. В.*), там были только приглашенные лица или также лица, не получившие личного приглашения?

– По общему правилу там были только приглашенные лица. Но был один человек, отказавшийся назвать свое имя, который приглашения не имел. Мы, распорядители, настойчиво просили его удалиться, но он отказался подчиниться нашему требованию. Тогда мы решили, что он, вероятно, приглашен вами для осведомления…

– Мною?! Что вы говорите! Зачем было мне его посылать?

– Ну так, значит, мы ошиблись; в таком случае, вероятно, генералом Новицким. Во всяком случае, не желая скрывать что бы то ни было ни от вас, ни от генерала Новицкого, мы решили его оставить, тем более что вывести его мы могли бы только силой, а устраивать скандал нам не хотелось.

– Нет, я никого не посылал. Были речи? Кто говорил?

Я перечислил официальных ораторов.

– Больше никто?

– Нет, еще оратора два-три, но я не знаю их фамилий.

– Значит, они не из ваших знакомых и приглашены не вами лично?

– Совершенно верно.

– А что говорил, например, князь Трубецкой?

– Простите, передавать чужие речи очень трудно, – очень легко изложить неверно, и в таком случае берешь на себя большую ответственность.

Генерал-губернатор не настаивал.

– А вы что говорили?

– Я говорил преимущественно о той полемике, которую в течение многих лет вел «Вестник Европы» с «Московскими ведомостями» по вопросу о совместимости судебных уставов с самодержавием[1010], и, со своей стороны, доказывал правоту последних.

Мое изложение собственной речи было верно, но – cum grano

salis[1011] и не совсем полно. Клейгельс, без сомнения имевший и до меня довольно полные и точные сведения о содержании речей, видимо, понял это и улыбнулся.

– Значит, слухи, что собрание имело характер антиправительственной сходки, преувеличены?

– Они не преувеличены, они просто не верны.

– Ну очень рад, очень рад. Я, значит, могу считать, что я теперь осведомлен из вполне достоверного источника.

В тоне звучала явная ирония, но слова были строго корректны. Простились мы как добрые знакомые, и я ушел благополучно.

В тот же день я рассказал эту беседу в редакции, а затем с вечерним поездом, тоже вполне благополучно, уехал в Петербург. Никого другого генерал-губернатор к себе по этому делу не вызывал, и никаких последствий банкет не имел. Недаром это была «весна» Святополк-Мирского[1012]. А для общественного настроения этот банкет сделал очень много.

Банкетная кампания продолжалась и после моего отъезда; в течение первого полугодия 1905 г. было устроено еще, кажется, два банкета по разным поводам с таким же или даже более значительным успехом.

# Глава VIII. Переезд в Петербург. – «Наша жизнь». – Союз освобождения в Петербурге. – Так называемый освобожденческий проект конституции

В конце ноября 1904 г. я приехал в Петербург. Приехал один, – жена не могла так быстро ликвидировать свое киевское издательство и осталась в Киеве; я сохранил за собой и квартиру. В Петербурге же я поселился временно у моей матери, хотя у нее не было для меня отдельной комнаты; жил в столовой. Впрочем, я только ночевал и по утрам до завтрака был дома; после завтрака уходил в редакцию «Нашей жизни», к обеду не поспевал, но возвращался часам к 7–8, наскоро один обедал и затем почти всегда уходил на какое-нибудь собрание.

Газета «Наша жизнь» была основана профессором финансового права и политической экономии Леонидом Владимировичем Ходским. Подал прошение он давно, чуть ли не за год. Но при Плеве получить разрешение было трудно. Ходского спрашивали, не будет ли его газета петербургским двойником «Русских ведомостей»; он отвечал, что у него свой план и своя программа. Наконец, уже в «весну» Святополка, Ходский получил разрешение и торопился пустить газету в ход, чтобы зарекомендовать ее читателям перед новым (1905) годом.

В состав редакции Ходский пригласил С. Н. Прокоповича, Е. Д. Кускову, В. Я. Богучарского, В. В. Хижнякова, В. В. Португалова, Р. М. Бланка, [М. А.] Славинского, В. С. Голубева (перед тем редактора превосходного журнала «Саратовская земская неделя»), Л. М. Неманова и других; за исключением последнего, все названные лица входили в петербургский Союз освобождения, а большинство из них было хорошими личными знакомыми Ходского по Саратову, где у Ходского было имение. Эта группа пригласила меня и еще несколько лиц.

Первый номер вышел 1 или 2 ноября 1904 г.[1013] Около того же времени вышел, тоже в Петербурге, также первый номер старой, но обновленной газеты «Сын Отечества», издателем которого отныне был Юрицын, фактическим редактором – известный специалист по вопросам городского и местного самоуправления Григорий Ильич Шрейдер, переселившийся для этого из Москвы в Петербург[1014].

В обеих газетах главный состав редакции принадлежал к Союзу освобождения, и обе газеты поэтому считались

освобожденческими. Но тем не менее между ними было отличие в оттенке. Сперва оно было едва заметным, потом, после октября 1905 г., стало явственным. «Наша жизнь» группировала у себя членов Союза освобождения преимущественно либо с кадетским (употребляю термин, тогда еще не существовавший), либо с социал-демократическим уклоном; однако я не мог считаться принадлежащим ни к тому, ни к другому уклону, – через два года я попал в народническую Трудовую группу. Напротив, «Сын Отечества» имел эсеровский уклон, а в конце 1905 г. даже и формально явился органом эсеровской партии[1015].

Обе газеты сразу заняли место на крайнем левом фланге легальной печати, причем тон «Нашей жизни» был всегда несколько более сдержанным и, я позволю себе прибавить квалификацию, более серьезным (хотя и признаю субъективность этой квалификации); тон «Сына Отечества» – более радикальным, может быть, будет позволено сказать – более хлестким. «Наша жизнь» предпочитала передовые статьи длинные и основательные, занимавшие по 1½–2 столбца, типа передовых статей «Русских ведомостей», вызывавших немало насмешек по их адресу. «Сын Отечества» ввел в моду коротенькие, строк в 30–40, передовые статьи, в которых мысль высказывалась ярко, резко, но догматически, без доказательств. «Сын Отечества», в общем, был живее, «Наша жизнь» – суше.

Сильно отличались у нас и внутренняя организационная сторона, и материальная основа. «Сын Отечества» управлялся, сколько я знаю, в первое время единоличной властью Г. И. Шрейдера, при наличности совещательного редакционного совета. У нас был довольно многочисленный (человек 15–20) редакционный комитет, и управлялись мы республиканским образом, то есть фактический редактор выбирался редакционным комитетом из своего состава закрытой подачей голосов.

Сам Ходский был издателем, ответственным редактором, членом редакционного комитета, но не редактором. Однако и в качестве основателя и издателя газеты, и в качестве ответственного редактора, отвечающего перед цензурой, он сохранил за собой право неограниченного вето как на избрание редактора и приглашение новых сотрудников, так и на статьи. Человек он был, безусловно, вполне порядочный, но характер у него был не особенно приятный. На всякое предложение у него всегда первое душевное движение было ответить: нет, не согласен. Тогда с ним приходилось спорить, долго и трудно, но в конце концов обломать его всегда было можно, притом легче в беседе с глаза на глаз, чем при коллективном обсуждении. Для коллегиальной работы это был человек не скажу совершенно не

подходящий, но тяжелый и неудобный, а между тем он сам же пригласил редакцию на основе коллегиальности. При этом чувствовалось и расхождение в политических взглядах: редакция была гораздо радикальнее Ходского, которого политическое место было на самом правом фланге кадетов или даже правее – где-нибудь в Партии мирного обновления[1016] (формально он никогда ни к какой партии не принадлежал и, по своей недисциплинированности и индивидуализму, принадлежать не мог бы).

Вначале Ходский принимал очень деятельное участие в делах редакции. Днем работал в редакции, по ночам сидел в типографии, а так как в то же время он был профессором в нескольких учебных заведениях, то скоро утомился. К тому же и вообще он был не очень работоспособный человек, сам себя называл «человеком утренней работы»; к вечеру он всегда сильно уставал и работал через силу. Через полгода такого напряжения он устал и сравнительно мало обращал внимания на газету. Но газетный зуд в нем остался; он мечтал о новых газетных предприятиях, о вечерней газете, о газете для рабочих, делал попытки основания таковых[1017], а когда «Наша жизнь» (или, точнее, ее заместительница) в 1907 г. погибла[1018], то он хлопотал об основании новой газеты и действительно добился своего[1019].

До моего приезда обязанности фактического общего редактора исполнял сам Ходский. Вскоре после моего приезда нам было предложено выбрать такового. Мы почти единогласно избрали Прокоповича. Но между Прокоповичем, с которым Ходский был хорошо знаком раньше и которого сам пригласил в редакцию, и Ходским к этому времени пробежала черная кошка. Поэтому Ходский прямо выразил крайнюю обиду:

– Я, конечно, сам желал выборов редактора, но считаю крайне обидным, что вы, зная, что я недоволен Прокоповичем, выбрали именно его в пику мне. Я не могу его утвердить.

Но после долгих разговоров утвердил.

Надо сознаться, однако, что прав в этом случае был Ходский, а не мы. Крупный ученый, серьезный экономист, Прокопович был мало пригоден в редакторы газеты; он слишком для нее тяжеловесен и, может быть, слишком серьезен, а кроме того, недостаточно мягок в обращении с сотрудниками и не всегда достаточно терпим к чужим мнениям. Он скоро сам это понял и не только сложил с себя звание редактора, но [и] почти перестал бывать в редакции, время от времени присылая в нее свои всегда в высшей степени ценные статьи. Зато большую живость и отзывчивость, вообще чисто газетный темперамент, обнаруживала его жена, Екатерина Дмитриевна Кускова, до конца бывшая

душой газеты, хотя никогда не занимавшая места редактора.

Редакторами у нас были в разное время (не помню, в каком порядке) Бланк, Богучарский, Португалов[1020].

Сильно отличались две газеты («Сын Отечества» и «Наша жизнь») также по своей материальной основе. Юрицын был богатый человек, и значительную часть своего богатства, говорят – не менее 100 000 рублей, он вложил в газету. Напротив, Ходский был профессор и, сверх того, помещик, но помещик третьей руки Саратовской губернии, имение которого давало совершенно ничтожный доход. Жил он всегда очень скромно, делал сбережения и теперь решил эти сбережения – не знаю, все ли или часть, – вложить в газету. Это составляло капитал в 20 000 рублей.

Если в Киеве 10 000 были ничтожной суммой, с которой начинать газету было очень рискованно, то в Петербурге 20 000 рублей были суммой, с которой в обычное время начинать газету было смешным безумием. Ведь тут надо выдерживать конкуренцию таких богатых органов, как «Новое время» и «Новости»[1021] (а в этот момент – хотя бы и «Сына Отечества»); тут нельзя обойтись без собственных телеграмм, как из России, так и из-за границы, без хорошо поставленного и очень дорого обходящегося репортажа, без настоящих корреспондентов с театра военных действий и т. д.

Но в том-то и дело, что время было не обычное. Революция чувствовалась в воздухе, война велась, и контингент читателей возрос в небывалой степени; этого контингента хватило с избытком на две новые газеты. Первый номер разошелся в розничной продаже в каком-то небывалом до тех пор числе экземпляров[1022], – и не разошелся в еще большем только потому, что не ожидавшая такого спроса типография не могла напечатать больше. Второй номер разошелся, конечно, меньше, но все-таки очень сильно; объявления к нам пошли, и таким образом с первого номера газета окупалась и стояла вполне прочно на собственных ногах. Не знаю, бывали ли когда-нибудь в России подобные случаи. Цифра нашего тиража сильно колебалась, но всегда выражалась несколькими десятками тысяч экземпляров.

Нужно заметить, правда, что газета была обставлена очень скромно и делать большие траты, хотя бы на свое улучшение, не позволяла. Фактический редактор получал у нас 300 рублей жалованья; правда, сверх того он имел право на построчный гонорар, но, занятый по горло редакцией, писать почти не имел возможности. Я получал 200 рублей, причем гонорара за статьи в своем отделе не получал, – получал его только за статьи в других отделах, каковые писал довольно редко. В таком же роде были и

другие вознаграждения. Корреспондентом на театре военных действий, и корреспондентом превосходным, у нас был тогда еще очень молодой и очень талантливый человек – Рыкачев (сын известного академика, впоследствии, в мировую войну, пошедший добровольцем и убитый в одном из первых сражений). Цифры его вознаграждения я теперь не помню, но помню, что оно поражало своей незначительностью в сравнении с вознаграждением в других столичных газетах, не говоря уже о старых и прочных, но и в таких, как «Сын Отечества».

Итак, газета стояла прочно на своих ногах, но только три месяца – до 5 февраля 1905 г. В этот день она, как и «Сын Отечества», была запрещена на 3 месяца. Когда газета запрещена, то доходы ее прекращаются совершенно; деньги, полученные за объявления, надо возвратить, подписчиков надо вознаградить, а расходы если и не в полном объеме, то в значительной части сохраняются. За квартиру надо платить по-прежнему, типографию надо ублаготворить, постоянных сотрудников нельзя вышвырнуть на улицу. Нам, членам редакции, Ходский предложил за время запрещения платить жалованье в размере двух третей; мы нашли это предложение в высшей степени благородным и приняли без разговоров.

С этих пор материальное положение газеты пошатнулось. Пришлось сделать большие долги. После возобновления редкую неделю газета не подвергалась конфискации хотя бы раз, а то и два, и три в неделю. Это наносило все новые и новые удары, долги газеты росли. Затем начались судебные процессы, газета была запрещена и возобновилась под другим именем[1023]. Все это стоило больших денег. Долгое время газета жила кредитом, созданным в первые месяцы благополучия, но в конце концов он был исчерпан и газета погибла. Об этом – потом.

Моя литературная работа не ограничивалась в это время «Нашей жизнью». Иногда (редко) я посылал статьи в «Киевские отклики», продолжал вести из Петербурга иностранное обозрение в одесских еженедельных «Южных записках» (хотя этой работой тяготился и считал ее нецелесообразной, так как она запаздывала, но Панкеев не отпускал меня[1024]), писал в «Праве» и в некоторых других органах: вообще этот период 1904–1906 гг. был в моей литературной деятельности количественно особенно продуктивным. Написал я несколько брошюр – о всеобщем избирательном праве, о пропорциональной избирательной системе (к которой я относился отрицательно), позднее, когда цензурные условия стали лучше, – об учредительном собрании и др., всего более 10 брошюр. Большая их часть была издана «Донской речью» Парамонова, некоторые – другими

издательскими фирмами[1025]. Первая из названных брошюр (о ней я говорил выше) разошлась почти в 100 000 экземпляров.

Кроме того, я время от времени читал доклады и публичные лекции, легально и нелегально, и работал в Союзе освобождения.

В петербургском Союзе освобождения еще ранней осенью возникла мысль о выработке русского проекта конституции. Конечно, никто не думал, чтобы проект когда-либо мог быть конкретно осуществлен; предполагалось, что он будет государственно-правовой программой Союза освобождения и явится агитационным орудием.

Мысль петербуржцев встретила сочувствие в московском Союзе освобождения; я был приглашен принять участие в работе, хотя жил тогда еще в Киеве[1026].

Я съездил из Киева в Петербург и Москву – помнится, это было в сентябре 1904 г., – и участвовал в собраниях кружков, петербургского и московского. Конечно, это не были Союзы освобождения в полном составе; это были выделенные ими комиссии. В петербургской комиссии наиболее видными участниками были Вл[адимир] М[атвеевич] Гессен и Н. Ф. Анненский; появлялся в нем и И[осиф] Вл[адимирович] Гессен, но редко. Московский был более многолюден и более деятелен. В нем усиленно работали Ф. Ф. Кокошкин, П. Н. Новгородцев, С. А. Котляревский, И. И. Петрункевич, Гр. И. Шрейдер.

Шрейдер занимал совершенно особенное место: он был секретарем московского Союза освобождения, притом секретарем на жаловании, – явление совершенно исключительное в нелегальных партиях и организациях, и всего себя отдавал делу Союза; поэтому он был членом комиссии ex officio[1027]. В ноябре Шрейдер отказался от секретарства и, как я уже говорил, переехал в Петербург; вместе с тем он стал членом петербургской комиссии. Принимал, хотя не постоянное, участие в московской комиссии живший тогда в Ярославле Дмитрий Иванович Шаховской. Я был посредником между петербургской и московской комиссиями.

Наша задача была выработать проект конституции и избирательного закона Российской империи, а также объяснительные записки к ним. Основные принципы – свободы, парламентаризм, всеобщее избирательное право, равноправие национальностей, широкое развитие местного самоуправления – были безусловно общими для всех освобожденцев и ни малейших споров не возбуждали. Не возбуждало споров и то, что проект должен быть приноровлен к существовавшим тогда условиям; о республике никто еще практически не думал, и конституция должна была быть монархической.

Но был один вопрос, вызывавший большие споры: вопрос о двухпалатности. Москвичи – кажется, все (если память меня не обманывает, не исключая и будущего эсера Шрейдера) – были сторонниками двухпалатности; петербуржцы, в особенности Анненский, но также и Гессен, и другие, – однопалатности. Я был сторонником двухпалатности.

Вопрос о женском избирательном праве тогда мало еще кого интересовал, и хотя в Петербурге Анненский, в Москве Котляревский высказывались за его введение в наш проект, но не настаивали и легко уступили большинству, считавшему преждевременным возбуждать этот вопрос, еще не поставленный жизнью и только чисто теоретически разрешаемый в положительном смысле левыми партиями.

Вопрос о пропорциональной выборной системе ни разу никем не был даже поднят; все будущие горячие сторонники пропорции, как Кокошкин, Котляревский и другие, тогда еще были сторонниками мажоритарной системы[1028]; а пропорционалисты тогда имелись только в рядах двух левых партий и, вероятно, потому только, что она была установлена в программе немецкой социал-демократии; в России же в их рядах положительно не было ни одного человека, сколько-нибудь знакомого с вопросом. Единственный известный мне пропорционалист в рядах Союза освобождения, П. Н. Милюков, в выработке нашего проекта участия не принимал.

Затем, как всегда, возникла масса частных вопросов, до способа формулировки статей конституции и мотивировки в объяснительной записке, вызывавших споры как внутри каждой комиссии, так и между комиссиями в целом. Работа была разделена по отделам между двумя комиссиями, а когда накапливалось достаточно материала, то являлась надобность для согласования петербургской и московской работы, и я ехал в Москву. В течение зимы 1904–1905 года таких поездок я совершил 6 или 7, по большей части на один, иногда на два-три дня, реже больше; иногда соединял с этой поездкой прочтение какого-нибудь доклада. Особенно охотно ездил я после 5 февраля, когда газета «Наша жизнь» бездействовала и я не должен был отрываться от газетной работы. Раза два бывал в Петербурге для той же цели Шаховской. В Москве в это время у меня было постоянное пристанище – квартира (в университете) Владимира Ивановича Вернадского, с которым я был очень дружен и который (вернее, его жена) отличался большим гостеприимством[1029]. У него всегда останавливались в Москве П. Н. Милюков, Дм[итрий] Ив[анович] Шаховской, иногда также В. Г. Короленко.

В конце концов удалось столковаться по всем вопросам, в том числе и по самому трудному: по вопросу о двухпалатности, в котором Анненский и Гессен уступили. Наша верхняя палата должна была выбираться земствами, избираемыми всеобщим прямым голосованием; таким образом, она не нарушала начала демократизма, лежавшего в основе всего проекта и последовательно в нем проведенного.

К весне работа была закончена и выпущена в свет за границей издательством «Освобождение», притом сразу в двух изданиях: кратком, дававшем только текст проекта[1030], без объяснительной к нему записки, и полном, с запиской[1031]. Первое издание было, пожалуй, лишним: особенную цену нашей работе придавала именно эта записка. Затем, после 17 октября, этот проект – к сожалению, тоже без записки – был перепечатан в сборнике «Конституционное государство»[1032], изданном редакцией «Права».

Проект этот в печати обыкновенно называется «освобожденческим». Это название не точно: он никогда не подвергался обсуждению ни на пленарных заседаниях какого бы то ни было (петербургского ли, московского ли или другого) Союза освобождения, ни на общих съездах его; он не был напечатан в журнале «Освобождение» как редакционный. Формально он был делом только двух комиссий, не более. Но de facto он, вероятно, правильно отражал тогдашние мнения подавляющего большинства Союза и в этом – не формальном – смысле имел право на свое ходячее название. В качестве именно такого он подвергался сердитым нападкам со стороны социал-демократов.

На одной моей лекции в Москве, на которой я говорил о каком-то общем государственно-правовом вопросе и освобожденческого проекта даже не коснулся, один из моих оппонентов, социал-демократ, подверг его разносу, причем, между прочим, ставил ему в упрек, что он будто бы составлен под сильнейшим влиянием дворянской «Русской правды» Пестеля[1033] (которая тогда еще не была напечатана[1034], никому из участников двух комиссий не была известна и ни разу ни на одном из заседаний, на которых я, по крайней мере, присутствовал, не упоминалась).

Мне случилось перечитать наш проект лет через 15 после его составления, когда все те впечатления, под которыми он составлялся, изгладились и когда к нему можно было относиться вполне объективно. И позволю себе сказать, несмотря на мое личное деятельное участие в его выработке, что на меня он произвел впечатление работы очень серьезной, очень глубоко продуманной. В зависимости от личных убеждений можно,

конечно, к отдельным постановлениям проекта относиться отрицательно; можно его осуждать, с одной стороны, за сохранение монархии, с противоположной – за парламентаризм; можно осуждать за двухпалатность или, наоборот, за демократический характер верхней (как и нижней) палаты, за отсутствие женского голосования или пропорционализма и, наоборот, за всеобщее избирательное право, – но нельзя не признать, что определенная либерально-демократическая система государственного права проведена там последовательно, мотивирована очень серьезно и что весь проект мог служить хорошо выработанной платформой политической партии, рассчитанной не на революционное завоевание, а на вынужденную уступку власти. Я думаю, что для всякого изучающего государственное право прочтение этого проекта и сейчас может быть очень полезно.

Укажу на одно любопытное совпадение. Нижняя палата в нашем проекте была названа государственной думой, верхняя – государственным советом[1035]. Если последнее название было заимствовано от существовавшего уже тогда учреждения, то первое было придумано Кокошкиным и принято проектом. Затем оно было усвоено правительственным актом, по всей вероятности – независимо от нас, так как никаких следов знакомства с нашим проектом у составителей закона о Государственной думе (ни булыгинского[1036], ни виттевского[1037]) заметить нельзя.

В нашем проекте избирательный закон и объяснительная к нему записка[1038] написаны были мной и подверглись сравнительно незначительному изменению в комиссиях.

# КОММЕНТАРИИ

## *Археографическая справка*

В настоящем издании впервые публикуются в полном объеме все пять частей воспоминаний В. В. Водовозова, первая из которых, в связи с описанием автором его отношений с семьей Ульяновых, после вывоза фондов Русского заграничного исторического архива из Праги в Москву была передана в 1946 г. в Центральный партийный архив Института Маркса, Энгельса, Ленина (с 1956 г. – Института марксизма-ленинизма) при ЦК ВКП(б) – КПСС, именуемый с 1999 г. Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ. Ф. 4. Оп. 4. Д. 37). Четыре другие части воспоминаний и дневник В. В. Водовозова хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 3190, 3195–3197, 3199).

«Воспоминания В. Водовозова», в основном рукописные, на листах разного формата, с подклейками, множеством авторских правок, зачеркиваний, вставок, разделены на пять частей (каждая из которых начинается с оглавления), переплетенных соответственно в пять книг, на титульных листах которых стоит штамп Русского заграничного исторического архива в Праге.

Объем первой части воспоминаний («Воспоминания о времени конца 80-х и начала 90-х годов») – 159 л., из которых менее трети машинописные с рукописной правкой; второй части («Годы странствований. 1893–1900») – 150 л.; третьей части («Новый век. Воспоминания из эпохи 1900–1905 гг.») – 166 л.; четвертой части («Первая революция и ее ближайшие последствия») – 254 л.; пятой части («Революция 1917») – 183 л.

Воспоминания дополняет рукописный дневник за период с 13 октября 1919 г. по 23 декабря 1920 г. на 55 л., из которых первые два листа – краткая аннотация его содержания.

При публикации орфография и пунктуация приближены к современным нормам с сохранением некоторых особенностей авторского написания; без оговорок раскрываются сокращенно написанные слова; зачеркнутые автором фрагменты текста, имеющие смысловое значение, приводятся в комментариях; подстрочные авторские примечания воспроизводятся в тексте внизу страницы.

# ИЛЛЮСТРАЦИИ

Василий Васильевич Водовозов. 1890-е г.

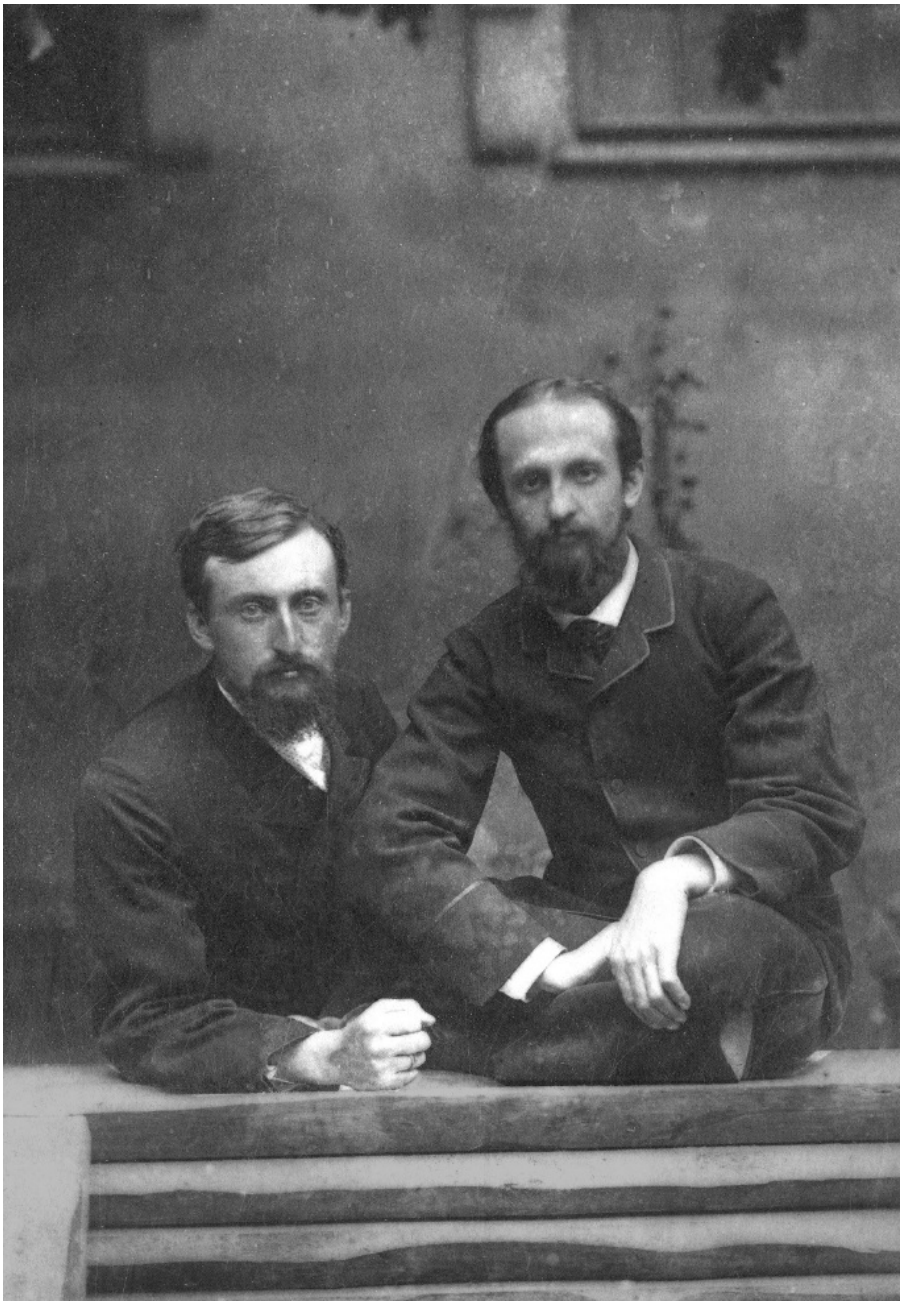
Василий Иванович Водовозов

Елизавета Николаевна Водовозова. 1906 г.

Николай Васильевич Водовозов. 1897 г.

Василий Иванович Семевский

Вера Петровна Водовозова (урожденная Шейдакова)



Д.И. Шаховской и С.Ф. Ольденбург. 1880-е гг.

Редакция «Нашей газеты». 1808–1809 гг. Сидят (слева направо): В.С. Голубев, Е.Д. Кускова, Л.В. Ходский, В.В. Водовозов, О.Н. Чюмина, во втором ряду (слева направо): С.Н. Прокопович, В.Я. Яковлев (Богучарский) и трое неизвестных

**notes**

# 1

*Гессен И. В.* В двух веках: жизненный отчет // Архив русской революции. Берлин, 1937. Т. 12. С. 180.

# 2

*Водовозов В.* В. Автобиографическая заметка // ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 1819. Л. 1–7.

# 3

См.: *Водовозов В. И.* Переводы в стихах и оригинальные стихотворения. СПб., 1888.

## 4

См.: *Водовозов В. И.* Рассказы из русской истории. СПб., 1861–1864; *Он же*. Новая русская литература. (От Жуковского до Гоголя включительно). СПб., 1866 (7 изданий); *Он же*. Книга для первоначального чтения в народных школах: В 2 ч. СПб., 1871–1878; *Он же*. Древняя русская литература от начала грамотности до Ломоносова. СПб., 1872; *Он же*. Очерки из русской истории XVIII века. СПб., 1882.

# 5

См.: *Водовозов В. И.* Избранные педагогические сочинения. М., 1953; 2-е изд. М., 1958; 3-е изд. М., 1986.

## 6

См.: *Водовозова Е. Н.* На заре жизни. СПб., 1911; *Она же*. На заре жизни и другие воспоминания. Т. 1–2. М.; Л., 1934; *Она же*. М., 1964; 1987, и др.

*Водовозов В. В.* Автобиографическая заметка.

## 8

См.: *Семевский В. И.* Василий Иванович Водовозов: биографический очерк. СПб., 1888.

# 9

*Водовозов В. В.* Автобиографическая заметка.

*Поссе В. А.* Пережитое и продуманное. Л., 1933. Т. 1. С. 95.

# 11

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 82. 3 д-во. 1886. Д. 647. Л. 14 об.

# 12

*Гревс И.* В годы юности. За культуру: Из университетских лет: Очерк первый // Былое. 1918. № 12. С. 82, 46, 63.

# 13

*Гревс И.* В годы юности. За культуру. С. 82–83.

*Водовозов В. В.* Автобиографическая заметка.

# 15

*Гревс И.* В годы юности. (За культуру). Отрывок второй // Былое. 1921. № 16. С. 159, 164.

# 16

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2319. Л. 1–5. В архиве В. В. Водовозова сохранились письма О. Ф. Миллера от 19 июля 1887 г. (с подписью «Ваш старый и верный друг»), 22 мая 1888 г. (с его стихотворением «Привык я к жизни боевой…») и 1 января 1889 г.

# 17

*Водовозов В. В.* Автобиографическая заметка.

# 18

*Кареев Н.* Е. Н. Семевская // Голос минувшего. 1923. № 2. С. 181.

# 19

Ленин – Крупская – Ульяновы. Переписка (1883–1900). М., 1981. С. 41.

*Ульянова М. И.* Из самарского (алакаевского) периода (1889–1893 годы) // В. И. Ленин в Самаре: сб. воспоминаний. Куйбышев, 1980. С. 18–19.

*Беляков А. А.* Юность вождя // Там же. С. 172.

# 22

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2587. Л. 3–4.

## 23

См.: Новый документ В. И. Ленина // Вопросы истории КПСС. 1966. № 3. С. 3–5.

*Семенов (Блан) М. И.* Самара и подпольные кружки ленинского периода // В. И. Ленин в Самаре. С. 87.

# 25

*Ульянов Д. И.* Из самарского периода (1889–1893 годы): В Алакаевке // Там же. С. 25–26.

*Водовозов В. В.* Автобиографическая заметка.

# 27

*Ольденбург С. С.* Памяти В. В. Водовозова // Россия и славянство. 1933. № 226. 1 нояб.

*Водовозов В.* Конституционно-демократическая партия и трудящиеся массы // Народное хозяйство. 1906. № 29. 19 янв.

# 29

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2546. Л. 1–3.

# 30

*Кауфман А.* Борьба или выяснение отношений. (По поводу статьи В. В. Водовозова) // Наша жизнь. 1906. № 355. 29 янв.

*Водовозов В.* Поражение правительства // Там же. № 406. 29 марта.

# 32

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2134. Л. 1–7.

*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. М., 1968. Т. 12. С. 382.

*Водовозов В. В.* Партия мирного обновления // Товарищ. 1906. № 32. 11 авг.

*Водовозов В. В.* Автобиографическая заметка.

# 36

*Ганфман М.* Встречи с В. В. Водовозовым // Сегодня. 1933. № 280. 10 окт.

## 37

См.: Дело В. В. Водовозова в С.-Петербургской судебной палате по обвинению в девяти литературных преступлениях <… >. СПб., 1906. С. 14–26, 53–57.

*Водовозов В. В.* Автобиографическая заметка.

Предвыборные собрания // Речь. 1907. № 7. 9 янв.

Предвыборные собрания // Там же. № 19. 24 янв.

*Милюков П. А.* Мое «соглашение» с П. А. Столыпиным. (Ответ «Слову» и В. В. Водовозову) // Там же.

См.: Предвыборные собрания // Там же. № 24, 25. 30, 31 янв.

Там же. № 180. 2 авг.

Еще о Трудовой группе // Там же. № 184, 186. 7, 9 авг.

# 45

*Водовозов В.* «Речь» и Трудовая группа // Товарищ. 1907. № 337, 339, 343, 349. 5, 8, 12, 19 авг.

*Кускова Е.* Памяти В. В. Водовозова // Последние новости. 1933. № 4585. 11 окт.

*Хирьяков А.* Под колесами судьбы. (Памяти В. В. Водовозова) // Молва. 1933. № 235. 13 окт.

# 48

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2686. Л. 3; Д. 238. Л. 1, 5–7.

*Водовозов В. В.* Автобиографическая заметка.

## 50

См.: К выборам. Будет ли левый блок? // Русь. 1907. № 243. 13 сент.; К выборам. В Трудовой группе // Там же. № 248. 18 сент.; *Азра* [*Стембо А. Я.*] В народническом блоке // Там же. № 262. 2 окт.

# 51

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 1707. Л. 16.

Там же. Д. 2902. Л. 1.

## 53

См.: *Водовозов В.* По Турции // Русское слово. 1909. № 157, 164, 169, 172. 10, 18, 24, 28 июля.

См.: *Он же*. Старый режим в Турции; Младотурки // Турецкий сборник. СПб., 1909. С. 57–96, 164–189.

# 55

Русские ведомости. 1909. № 142. 23 июня.

Предвыборные собрания // Речь. 1909. № 252, 259. 14, 21 сент.; Собрание в Гавани // Новая Русь. 1909. № 253. 15 сент.

## 57

РГАЛИ. Ф. 34. Оп. 2. Д. 108. Л. 16 (Письмо А. В. Амфитеатрову. 14 июня 1911 г.).

## 58

См.: От комитета по устройству всероссийского съезда писателей // Новая Русь. 1910. № 58. 28 февр.; В литературном обществе // Речь. 1910. № 43. 13 февр.; № 70. 13 марта.

# 59

Об авторском праве // Новая Русь. 1910. № 110. 24 апр.; Речь. 1910. № 110. 24 апр.

Национализм и периодическая печать // Новая Русь. 1910. № 113. 27 апр.; 2-й съезд писателей и журналистов // Речь. 1910. № 113. 27 апр.; *Локоть Т.* Прогрессивная нетерпимость. (Письмо в редакцию) // Новое время. 1910. № 12257. 28 апр.

# 61

Хроника съезда // Вестник второго Всероссийского Съезда Писателей. 1910. № 9. 4 мая. С. 60.

*Водовозов В.* Открытое письмо проф. Локтю // Новая Русь. 1910. № 116. 30 апр.; К диспуту В. В. Водовозова с Т. В. Локтем // Киевские вести. 1910. № 134. 10 мая.

# 63

Речь. 1910. № 139. 23 мая; *Локоть Т.* Мой диспут с В. В. Водовозовым. (Письмо в редакцию) // Новое время. 1910. № 12289. 30 мая; *Он же.* Литературному обществу. (Открытое письмо) // Там же. № 12455. 24 окт.

# 64

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2288. Л. 4–5.

Там же. Д. 1171. Л. 19.

*Водовозов В.* Избирательная программа Трудовой группы // Запросы жизни. 1912. № 13. 31 марта. Стлб. 771–778.

*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. М., 1968. Т. 21. С. 249.

Там же. С. 242–246.

# 69

*Водовозов В.* Трудовая группа и рабочая партия // Запросы жизни. № 17. 27 апр. Стлб. 993–998.

*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 21. С. 267–274.

# 71

РГАСПИ. Ф. 261. Оп. 1. Д. 8. Л. 5.

# 72

См. статью «В. В. Водовозов в журнале “Современник”» в приложении к настоящему изданию.

## 73

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2896. Л. 12.

*Тыркова-Вильямс А. В.* Подъем и крушение // Возрождение. 1956. № 51. С. 94–96.

*Водовозов В.* На Балканах // Современник. 1913. Кн. 8. С. 306.

*Водовозов В.* По Сербской Македонии. Путевые заметки // Вестник Европы. 1916. Кн. 1. С. 183.

## 77

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 1778. Л. 88.

*Водовозов В.* По Сербской Македонии. С. 8.

См.: *Волгин В.* [Рец. на кн.:] Водовозов В. На Балканах // Русские ведомости. 1916. № 299. 28 дек.; *Б. Ж.* [Рец. на кн.:] Водовозов В. На Балканах // День. 1917. № 33. 4 февр.

# 80

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2630. Л. 27.

# 81

Речь. 1916. № 317. 13 нояб.

*Хирьяков А.* Под колесами судьбы. (Памяти В. В. Водовозова).

## 83

См.: *Пушкин [А. С.]* Собрание сочинений. Пг.: Брокгауз – Ефрон, 1915. Т. 6. С. 368–389.

*Венгеров С.* От редакции // Там же. [С. III]; см.: *Водовозов В. В.* Алфавитный указатель произведений Пушкина по заголовку и по первому стиху // Там же. С. 609–647.

# 85

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2376. Л. 1.

*Станкевич В. Б.* Воспоминания. 1914–1919. Берлин, 1922. С. 18.

*Ольденбург С. С.* Памяти В. В. Водовозова.

## 88

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 1707. Л. 19.

# 89

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2910. Л. 1–4.

# 90

К делу В. Водовозова // День. 1916. № 159. 12 июня.

## 91

См.: *Водовозов В.* Опубликование тайных договоров // День. 1917. № 52. 6 мая.

*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 32. М., 1969. С. 58–59.

Там же. С. 91.

Печать // Речь. 1917. № 113. 16 мая.

Еще один тайный договор // Правда. 1917. № 49. 18 мая.

Дело народа. 1918. № 1. 30 янв. (12 февр.).

См.: Литературная жизнь России 1920-х годов. Т. 1, ч. 1. М., 2005. С. 111.

Наш век. 1918. № 49. 3 марта.

## 99

См.: Работы книжного отдела «Культуры и свободы» // Вестник культуры и свободы. 1918. № 1. Июль. С. 53; Образовательные политические курсы // Там же. № 2. Август. С. 48.

# 100

См.: *Водовозов В.* Тильзит // Стрелы. Сб. 2-й: Немец. Пг., 1918. Стлб. 17–21.

# 101

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2649. Л. 11–12.

Там же. Д. 2158. Л. 2.

# 103

*Введенская-Водовозова О. А.* Последние годы жизни В. В. Водовозова // Исторический архив. 2016. № 1. С. 110 (см.: «Теперь я пешка, с которой никто не считается». Воспоминания о В. В. Водовозове О. А. Введенской-Водовозовой. 1933 г. / Публикация Н. А. Родионовой // Там же. С. 106–124).

*Ганфман М.* Встречи с В. В. Водовозовым.

*Введенская-Водовозова О. А.* Указ. соч. С. 111–112.

# 106

ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 12. Д. 355. Л. 1.

*Введенская-Водовозова О. А.* Указ. соч. С. 113.

# 108

См.: ГАРФ. Ф. Р-5907. Оп. 1. Д. 1. Л. 32.

# 109

Там же. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2649. Л. 2.

*Введенская-Водовозова О. А.* Указ. соч. С. 118.

# 111

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2918. Л. 1.

*Введенская-Водовозова О. А.* Указ. соч. С. 119–120.

## 113

См.: Памяти декабристов. Первое заседание Музея революции. Стенографический отчет // Музей революции. Пг., 1923. Сб. 1. С. 72–78.

*Водовозов В.* «Колокол» Герцена // А. И. Герцен. 1870 – 21 января 1920. Пг., 1920. С. 38–42; *Он же*. А. И. Герцен. Пб., 1920.

# 115

ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 12. Д. 355. Л. 7.

# 116

Там же. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2914. Л. 2–3.

# 117

Там же. Д. 2654. Л. 2.

# 118

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2649. Л. 13.

# 119

Там же. Д. 2476. Л. 6–7.

Там же. Д. 2654. Л. 1.

# 121

Там же. Д. 2914. Л. 10.

*Водовозов В.* Забытая статья В. Г. Короленко // В. Г. Короленко. Жизнь и творчество. Пг., 1922. С. 160–166.

# 123

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2654. Л. 5.

# 124

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2914. Л. 4–5.

## 125

Там же. Ф. Р-5907. Оп. 1. Д. 1. Л. 15–16.

# 126

Главное управление профессионально-политехнических школ и вузов.

# 127

ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2914. Л. 8–9.

# 128

Там же. Ф. Р-5907. Оп. 1. Д. 123. Л. 7.

# 129

Ошибка: А. А. Корнилов скончался в Ленинграде 26 апреля 1925 г.

## 130

Имеется в виду студенческий кружок, собиравшийся с 1882 г. у С. Ф. и Ф. Ф. Ольденбургов; поскольку члены его мечтали о покупке сообща участка земли, куда летом, с целью «стать ближе к народу», могли бы съезжаться в поисках временного приюта, «будущее имение наше, – пояснял А. А. Корнилов, – так и оставшееся потом в наших мечтах, решено было тогда же назвать Приютиным, а отсюда и члены нашего кружка стали потом [с 1886 г.] называть себя “приютинцами”» (*Корнилов А. А.* Воспоминания о юности Федора Федоровича Ольденбурга // Русская мысль. 1916. Кн. 8. С. 59–86). О кружке см. также: *Гревс И. М.* В годы юности: За культуру // Былое. 1918. № 12. С. 42–88; 1921. № 16. С. 137–166; *Шаховской Д. И.* Письма о братстве / Публ. Ф. Ф. Перченка, А. Б. Рогинского, М. Ю. Сорокиной // Звенья. М.; СПб., 1992. Вып. 2. С. 174–318.

# 131

Осенью 1885 г. Д. И. Шаховской, уже окончивший историко-филологический факультет Петербургского университета и работавший над своей магистерской диссертацией, уехал в Весьегонск Тверской губернии, куда был приглашен уездным земством в качестве «заведующего хозяйственной частью училищ» (*Шаховской Д. И.* Автобиография // Русские ведомости: 1863–1913: сб. ст. М., 1913. Отд. 2. С. 199).

# 132

Правильно: [*Водовозов В.*] Материалы для характеристики положения русской печати. Женева: Тип. Союза русских социал-демократов, 1898. Вып. 1–2.

# 133

См.: *В[одовозо]в В.* Свобода слова, совести, собраний, личности (гражданская) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1907. Доп. Т. 2а. С. 601–602; *Водовозов В.* Цензура. Цензурное законодательство в России. Деятельность цензуры в России с 1855 г. // Там же. СПб., 1903. Т. 37а. С. 948–962; *В[одовозо]в В.* Цензура // Там же. Доп. Т. 2а. С. 854–856.

кредо (*лат.*).

смысл, разумное основание существования (*фр.*).

Литография А. И. Гробовой размещалась по адресу: Большой проспект, 23.

## 137

Ср.: «Мои издания выходили в 300–500 экземплярах, расходились весьма быстро, быстро окупались и давали мне легкую возможность продолжать без перерывов мою деятельность. Гробова брала с меня по 6 коп. с экземпляра листа, т. е. втрое больше, чем с изданий легальных, и была вполне довольна работою. В течение двух лет она делала такого рода работу только для меня, но я получил ее как бы в наследство от Бориса Глинского (ныне постоянного сотрудника суворинского “Исторического вестника”) и князя Д. И. Шаховского (ныне члена Государственной думы, кадета), бывшего в то время толстовцем и издававшего до меня Толстого, исходя из других соображений, чем я» (*Водовозов В.* [Рец. на кн.:] Тун А. История революционных движений в России. Б. м., 1906; Тун А. История революционного движения в России. Б. м.: «Земля и воля», 1906 // Былое. 1906. № 7. С. 308).

# 138

П. И. Бирюков писал, что В. В. Водовозов издал, «хотя и не был согласен с ними», такие религиозно-философские сочинения Л. Н. Толстого, как «Исповедь», «Краткое Евангелие», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», и вспоминал такой эпизод: «Когда Василий Васильевич зашел ко мне по моем возвращении из Ясной [Поляны], чтобы узнать, не привез ли я чего-нибудь нового, я показал ему “Церковь и государство”. Он прочел, пришел в восторг и сказал, что это непременно надо издать. Мне тоже этого хотелось, но я не решился бы это сделать, не получив на то разрешения Льва Николаевича. Василий Васильевич разрешил мое сомнение революционным путем. Он попросил у меня позволения переписать для себя. Я дал ему, полагая, что если Лев Николаевич так охотно и без всяких оговорок позволил мне увезти копию, то он не будет против того, чтобы кто-нибудь списал ее у меня. Водовозов взял у меня копию и через несколько дней, возвратив ее, вручил мне уже готовый, прекрасно изданный, литографированный экземпляр, сказав, что статья эта имеет большой успех среди студенчества. Я был смущен и, кажется, написал Льву Николаевичу об этом или сказал при следующем свидании, но он никакого внимания на это не обратил, и с моей души свалился тяжелый камень ответственности за это подпольное издание, сделанное без его ведома, и притом такого произведения, которое он сам не предназначал для печати» (*Бирюков П. И.* Мои два греха // Л. Н. Толстой. Памятники творчества и жизни. М., 1923. Вып. 3. С. 48–50).

## 139

В рукописи далее зачеркнуто: «отдавал их в переписку, относил в литографию, увозил и прятал отпечатанные листы, затем собирал их в книжки».

# 140

Написана в 1882 г. и впервые увидела свет в 1884 г. в женевском издании М. К. Элпидина под заглавием: «Исповедь графа Л. Н. Толстого. Вступление к ненапечатанному сочинению».

# 141

Далее зачеркнуто: «Первое время и я делал то же. Но скоро».

# 142

Далее зачеркнуто: «в которой брошюровалась “Русская старина”».

# 143

Религиозно-философский трактат, написанный в 1883–1884 гг.

# 144

Отрывок из трактата Л. Н. Толстого «Так что же нам делать?», опубликованный как отдельная статья в журнале «Русское богатство» (1885. Кн. 3).

# 145

Глава XVIII из трактата Л. Н. Толстого «Так что же нам делать?».

# 146

Письмо, написанное не ранее 10 декабря 1882 г. и не позднее 20 января 1883 г., впервые было опубликовано как «Письмо к NN графа Л. Н. Толстого» в женевском издании М. К. Элпидина в 1885 г. и лишь после революции издано в России: *Толстой Л. Н.* О насилии. (О непротивлении злу злом): письмо к М. А. Энгельгардту. 1882 г. М.: Посредник, 1917.

## 147

Возможно, речь идет о кн.: Переписка и личные свидания Вильяма Фрея с Л. Н. Толстым. Б. м., 1886; см. также: Письма В. Фрея к Л. Н. Толстому. Genève: M. Elpidine, 1887.

## 148

Сочинение А. Шеффле (A. Schäffle) «Die Quintessenz des Sozialismus», напечатанное в 1874 г. в ежемесячнике «Deutsche Blätter», впервые появилось на русском языке в 1881 г. под заголовком «Сущность социализма» (см.: *Шэфле А.* Сущность социализма / Пер. с 7-го изд. В. Тарновского [псевд. Г. Г. Романенко], с его предисл. и примеч. П. Лаврова. Женева, 1881), а в 1906–1907 гг. издавалось в России, в том числе под заголовком «Квинтэссенция социализма» (СПб., 1906).

# 149

Правильно: Гейнс.

# 150

4 апреля 1866 г. Д. В. Каракозов, который состоял членом тайной революционной организации, возглавляемой его двоюродным братом Н. А. Ишутиным, стрелял в Александра II, но промахнулся, был схвачен и 3 сентября повешен.

# 151

Вероятно, мемуарист перепутал В. К. Гейнса (В. Фрея), покинувшего Россию в 1868 г., с одним из его сподвижников по русской земледельческой колонии «La progressive» в Канзасе А. К. Маликовым (1839–1904), который, являясь судебным следователем в Псковской губернии, действительно был арестован в мае 1866 г. в связи с делом Каракозова и, оправданный судом, с 1874 г. проповедовал учение о «богочеловечестве», отрицая всякое насилие и призывая к нравственному совершенствованию с целью приближения человека к Богу. В 1875 г. Маликов эмигрировал в Соединенные Штаты, откуда уже в 1878 г., после того как канзасская колония распалась, вернулся на родину (см.: *Гордеева И. А.* «Забытые люди»: История российского коммунитарного движения. М., 2003. С. 31–36).

## 152

Имеются в виду земледельческие колонии в Канзасе (1871–1877) и Орегоне (1882–1884); см.: *Батуринский В.* Гейнс // Русский биографический словарь. СПб., 1914. Т. 4. С. 355–359; *Полнер Т. И.* Н. В. Чайковский и богочеловечество // Николай Васильевич Чайковский: религиозные и общественные искания. Париж, 1929. С. 121–127, 159–161.

# 153

Неточность: В. Фрей приехал в Россию в конце лета 1885 г.

# 154

Вслед за письмом Фрея из Петербурга от 5 сентября 1885 г., полученным Л. Н. Толстым и широко распространявшимся в копиях, последовало обширное «Дополнение» от 3 ноября, в котором В. Фрей рассказывал о беседах с писателем 7–12 октября в Ясной Поляне и своих надеждах на присоединение его к сформулированной позитивистом Огюстом Контом «религии Человечества». Посетив Москву в начале декабря, Фрей обратился к Толстому со вторым письмом, от 10 декабря, дискутируя с его трактатом «Так что же нам делать?», а перед отъездом в Англию, 26 февраля 1886 г., написал ему третье послание.

## 155

В. В. Водовозов упоминается в числе оппонентов В. Фрея, «настаивавших на активной борьбе со злом, ясно разумея под ним существующий политический режим», на собрании в квартире М. И. Свешникова (*Чеботарев И. Н.* Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове и петербургском студенчестве 1883–1887 гг. // Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. М.; Л., 1927. С. 246).

А. А. Корнилов указывал, что в поисках идеала социальной правды В. Фрей пришел к мысли «о необходимости связать реформу социального строя с этическими и религиозными началами», проповедуя «религию Человечества», сущность которой заключается «в сознании себя частью великого, прекрасного и бесконечного существа – Человечества в его прошлом, настоящем и будущем», а мораль – в известной позитивистской «молитве» или формуле: «Порядок как основание, любовь как принцип, прогресс как цель; жить для других, жить открыто» (*Корнилов А. А.* Указ. соч. С. 66, 68).

# 157

Партия «Народная воля», созданная в 1879 г. после раскола народнического общества «Земля и воля», организовала 1 марта 1881 г. убийство императора Александра II и была фактически полностью разгромлена к весне 1883 г.

# 158

Об издании студентами лекций профессоров см.: *Глинникова С. В.* С дозволения профессора: в ходу – литографированные лекции // Мир библиографии. 2012. № 1. С. 22–28; *Зайцева А. В.* Из истории издания учебной литературы в России // Высшее образование в России. 2014. № 8/9. С. 136–138.

Все или большинство этих изданий имеются в Толстовском музее в Петербурге.

# 160

Отшлифованная пластина известкового камня, на которую с помощью литографского карандаша или литографской туши наносится изображение для печати.

# 161

Мать В. В. Водовозова, Елизавета Николаевна, вспоминала: «Кармалина, двоюродная сестра Семевских (исполнявшая кой-какие работы у М[ихаила] И[вановича], а затем и секретарские обязанности в журнале “Русская старина”), была особою, в которой уживались самые противоположные качества ума и сердца: прямая, неглупая от природы, порядочно образованная, она в то же время отличалась полною бестактностью и необыкновенными чудачествами; многие, совершенно несправедливо, считали ее даже нравственною и умственною тупицею. Люди, поручавшие ей какую-нибудь работу, говорили о ней как об особе добросовестной, работящей, но шалой. Она то забывала прийти к работодателю в назначенный срок, то теряла данную ей для переписки рукопись или книгу и, по ее же словам, только потому, что она неожиданно для себя торопливо собралась в цирк посмотреть представление циркового наездника с выдрессированными собаками, обезьянами или другими животными. Самою выдающеюся чертою ее характера было хроническое безденежье; она занимала направо и налево, у всех, кто попадался на глаза. Даже при желании уплатить свой долг она никогда не могла этого сделать. Как только она получала плату за труд, она накупала множество безделушек и опять оставалась без денег. Она никому не умела внушить уважения, а ее двоюродные братья Семевские относились к ней с нескрываемым презрением. Только Василий Иванович жалел ее, обращался с ней дружески и находил, что она просто несчастный и взбалмошный человек» (*Семевская Е. Н.* Василий Иванович Семевский // Голос минувшего. 1917. № 9/10. С. 61). О Кармалиной см. также: *Водовозова Е. Н.* Из недавнего прошлого // Там же. 1915. № 1. С. 167–168.

# 162

Книга А. Туна «История революционных движений в России» вышла в 1883 г. в Лейпциге.

# 163

«Земля и воля» (Петербург; 1878–1879) – газета с подзаголовком «Социально-революционное обозрение», нелегальный орган революционно-народнического общества с тем же названием; вышло пять номеров; в марте – апреле 1879 г. издавались также «Листки “Земли и Воли”» (№ 1–6).

# 164

См.: *В[одовозо]в В.* Народная Воля – партия и журнал // Энциклопедический журнал Брокгауза и Ефрона. Доп. Т. 2. С. 239–240.

# 165

1 марта 1881 г. народоволец И. И. Гриневицкий смертельно ранил императора Александра II, бросив в него бомбу.

# 166

Завербованный в 1882 г. инспектором Петербургского охранного отделения подполковником Г. П. Судейкиным, С. П. Дегаев выдал полиции многих народовольцев.

# 167

См.: *Водовозов В.* [Рец. на кн.:] Тун А. История революционных движений в России. С. 307–314.

# 168

См.: *Тун А.* История революционных движений в России / Пер. Веры Засулич, Д. Кольцова и др. [СПб.]: «Библиотека для всех», [1906].

# 169

См.: *Тун А.* История революционного движения в России / Пер. с нем. под ред. и с примеч. Л. Э. Шишко. СПб.: Земля и воля, [1906?].

## 170

См.: *Тун А.* История революционных движений в России. М.: т-во тип. А. И. Мамонтова, 1905; *Он же.* История революционного движения в России. Ростов-на-Дону: Донская речь, [1906].

# 171

Имеется в виду студенческая манифестация, организованная 17 ноября 1886 г. с целью отслужить панихиду по Н. А. Добролюбову на Волковом кладбище, которая была разогнана, а почти 40 ее участников задержаны полицией; возмущенный «грубым деспотизмом» правительства, которое «не стесняется соблюдением хотя бы внешней формы законности для подавления всякого открытого проявления общественных симпатий и антипатий», А. И. Ульянов призывал противопоставить «грубой силе» властей «тоже силу» (Прокламация, написанная и гектографированная Александром Ильичом Ульяновым по поводу разгона Добролюбовской демонстрации 17 ноября в Петербурге // Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. С. 355–357).

Ср.: «Мне помогали в моей работе (переводе и составлении примечаний) очень и очень многие лица; из них некоторые в настоящее время отряхли прах юношеского радикализма от ног своих и оказались в том лагере, из которого может изойти разве гонение на свободную мысль, а никоим образом не желание распространить ее в обществе. Одним из людей, оказавших мне при этом издании большие услуги, был С. Е. Крыжановский, тогда еще мой товарищ по университету, впоследствии директор одного из департаментов Министерства внутренних дел и один из верных сподвижников покойного В. К. Плеве, ныне даже товарищ министра внутренних дел, вполне достойный своего шефа. С. Е. Крыжановский для приложения к Туну перевел с польского из какого-то нелегального журнала несколько отрывков, касавшихся истории русского революционного движения» (*Водовозов В.* [Рец. на кн.:] Тун А. История революционных движений в России. С. 308).

состав преступления (*лат.*).

# 174

24 октября 1886 г. П. А. Гайдебуров пишет 22-летнему студенту: «Любезнейший Василий Васильевич, я хотел бы предложить Вам одну журнальную работу (периодическую), вполне, как мне кажется, подходящую к Вам. Если Вы в принципе не против таковой, потрудитесь побывать у меня или около 12 часов, или между 7 и 8. Весь Ваш, П. Гайдебуров». 4 ноября редактор «Недели» снова обращается к юноше: «Будьте добры, любезный Василий Васильевич, известить меня, на чем Вы остановились относительно моего предложения, и если решили его принять, то когда именно думаете приступить к делу». 5 ноября Водовозов ответил: «Многоуважаемый Павел Александрович. За предложенную Вами работу я решился взяться, но приняться за нее раньше декабря я никак не могу. Кое о чем мне необходимо было бы с Вами переговорить лично; поэтому я просил бы Вас назначить мне дни и часы, в которые я мог бы зайти к Вам, не потревожив Вас». На это Гайдебуров отвечает: «В воскресенье утром я обыкновенно дома, любезнейший Василий Васильевич». А уже 6 декабря, советуясь с начинающим журналистом относительно того, какие зарубежные издания надо для него выписать, Гайдебуров напоминает: «Значит, Вы к следующему номеру составите Политическую хронику. Если же Вам попадется что-нибудь интересное вне этой рубрики, то можете, если пожелаете, сделать отдельную заметку, – хотя лучше бы на первое время сосредоточиться на политике» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2115. Л. 1, 3, 5, 10, 20).

## 175

См., например: [*Водовозов В. В.*] Политические известия // Неделя. 1886. № 50–52; 1887. № 1–8; *Он же*. Международные отношения в 1886 г. // Там же. 1887. № 1.

# 176

В ходе обыска в переплетной мастерской в доме № 11 по Большой Итальянской улице полиция изъяла 97 готовых брошюр А. Шеффле «Сущность социализма» и 320 экземпляров еще не сшитой, обрывавшейся на 192-й странице книги А. Туна «История революционных движений в России». Автор предисловия к книге указывал, что, изданная весной 1883 г., она является уже «несколько устаревшей», поскольку революционное движение «не прекратилось», появились «новые подпольные журналы, брошюры и прокламации», но обещал исправить этот недостаток за счет приложения и подстрочных примечаний к тексту, подчеркивая, что работа Туна остается «до сих пор единственной в своем роде», ибо «обстоятельно и беспристрастно передает события борьбы между правительством и группой радикалов», описывая «смену направлений в среде самих революционеров». Полиция обнаружила и часть листов упомянутого приложения, включавшего программу, воззвания и прочие документы партии «Народная воля» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 9–12).

# 177

Ср.: «Дворянка, дочь поручика Клеопатра Федорова Кармалина, 60 лет, [показала], что Василий Водовозов, с которым она познакомилась, бывая в доме его родителей, в мае 1886 г. принес к ней для брошюровки 350 экземпляров сочинения графа Толстого “О деньгах”. Работу эту она приняла и по окончании передала Василию Водовозову. Затем, в октябре того же года, Василий Водовозов, зайдя к ней, предложил принять для брошюровки 350 экземпляров сочинения Шефле “История революционных движений в России” и столько же экземпляров “Приложений” к этому сочинению, добавив, что сочинения эти доставит ей какая-то женщина. На вопрос, не заключают ли в себе сочинения эти чего-либо запрещенного, Водовозов заявил ей, что книги эти не заключают в себе ничего преступного, а составляют только литографированные переводы старых немецких сочинений. Поверив Водовозову, она согласилась принять работу, догадываясь, впрочем, что переводы эти – нецензурные, но не предполагая в них, однако же, ничего преступного. После этого, в течение времени с октября до января 1887 г., какая-то неизвестная ей пожилая женщина доставила к ней 16 связок литографированных листов; из них 350 экземпляров сочинения Шефле она, обвиняемая, сброшюровала, передавая по мере изготовления Водовозову, которому, таким образом, отдала 250 экземпляров; другое же сочинение (“История революционных движений в России”) осталось несброшюрованным, так как Водовозов не доставил ей окончания этого сочинения, обещая прислать в феврале, почему оно и обнаружено при обыске несброшюрованным» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 15).

## 178

Квартира матери В. В. Водовозова, состоявшая из семи комнат, располагалась на двух этажах, соединенных внутренней лестницей, что было тогда редкостью в Петербурге и немало озадачило полицию (см.: *Водовозова Е. Н.* Из недавнего прошлого // Голос минувшего. 1915. № 1. С. 166).

## 179

А. А. Корнилов утверждал, что С. Ф. Ольденбург «лишь случайно уцелел тогда, при катастрофе, постигшей Водовозова», ибо «благодаря находчивости присутствовавшего при обыске отчима Водовозова, В. И. Семевского, успел освободиться от листа только что принесенной им рукописи, находившейся в момент прибытия жандармов у него в боковом кармане» (*Корнилов А. А.* Указ. соч. С. 77).

# 180

См.: Сочинения А. И. Герцена. Т. 1–10. Genève; Bale; Lyon, 1875–1879; Сочинения Н. Чернышевского. Т. 1–[5]. Vevey, 1867–1870.

# 181

В рукописи далее зачеркнуто: «Великим счастьем для меня было то, что он не взял очередной главы Туна с адресом переписчицы, и переписчица не была привлечена к делу. Не захватил он случайно и одной записки Вернадской, которая, сама по себе невинная, могла бы сыграть ту же роль, что и записка Давыдовой».

# 182

Дом предварительного заключения на Шпалерной – следственная тюрьма, открытая в 1875 г. и примыкавшая к зданию Петербургского окружного суда.

## 183

В рукописи далее зачеркнуто: «которых я губить тем менее желал, чем менее было их нравственное участие в моем деле: собственницу типографии Гробову, собственницу брошюровочной Кармалину (о чьей роли в моем деле я тогда еще не знал)».

# 184

Зачеркнуто: «присматриваться к новым до сих пор условиям жизни и».

## 185

См.: *Щиглев В. Р.* Василий Иванович Водовозов в воспоминаниях // Русская старина. 1886. Вып. 11. С. 405–424.

# 186

Неточность: В. Р. Щиглев умер 1 октября 1903 г.; см.: *Семевский В. И.* В. Р. Щиглев // Русские ведомости. 1903. № 297. 29 октября.

# 187

*В[енгеров] С.* Щиглев // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1904. Т. 40. С. 77.

# 188

Далее зачеркнуто: «своего, то есть полученного за свои деньги».

# 189

Приват-доцент по кафедре русской истории в Петербургском университете в 1882–1886 гг., В. И. Семевский работал над докторской диссертацией «Крестьянский вопрос в XVIII и первой половине XIX века» (издана под этим названием в 2 томах: СПб., 1888), которую защитил в Московском университете в 1889 г.

# 190

Строительство Транссибирской магистрали (Великого Сибирского пути, Сибирской железной дороги) началось в 1891 г. и было завершено в 1901 г., регулярное железнодорожное движение открылось в 1903 г.

# 191

*Семевский В. И.* Рабочие на сибирских золотых промыслах: историческое исследование. СПб.: И. М. Сибиряков, 1898. В 2 т.

# 192

Подробнее см.: *Гаврилов С. В.* Историк и меценат: К истории взаимоотношений В. И. Семевского и И. М. Сибирякова // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 457. С. 101–109.

# 193

Положение о капитале имени потомственного почетного гражданина М. А. Сибирякова (размером 410 тыс. рублей в 4%-х государственных бумагах по номинальной их стоимости) было утверждено министром государственных имуществ 15 марта 1894 г.

# 194

В 1893 г. И. М. Сибиряков пожертвовал приват-доценту Петербургского университета П. Ф. Лесгафту 200 тыс. рублей и свой дом для создания биологической лаборатории с анатомическим и зоологическим музеями, в 1894 г. – 147 тыс. рублей в пользу Богоявленского монастыря в Угличе. Это вызвало подозрение в невменяемости миллионера, имущество которого было опечатано, но два психиатрических освидетельствования, проведенных в июне 1894 г. и январе 1895 г., признали его здоровым; остаток личного капитала в размере 2,4 млн рублей он пожертвовал на устроение столичного подворья Свято-Андреевского скита и постройку Андреевского собора на Афоне.

Далее зачеркнуто: «28 лет спустя мне случилось вновь сидеть в этой самой тюрьме, – в своем месте я расскажу об этом. К тому времени от сибиряковского книжного богатства остались только жалкие воспоминания; книги, приобретенные когда-то по моему списку, были так же истрепаны, изорваны, испачканы и в значительной части совсем исчезли; новые же совершенно не приобретались, и библиотека пополнялась, видимо, только случайными пожертвованиями отдельных тюремных сидельцев. Одним словом, вместо хорошей библиотеки, благодаря которой можно было, сидя в тюрьме, приобрести некоторое общее образование, был совершенно несистематический подбор случайных книг, при помощи которых можно было с грехом пополам убивать долгие дни и вечера».

# 196

На «процессе 21-го», проходившем в Петербургском военно-окружном суде с 26 мая по 5 июня 1887 г., на котором Г. А. Лопатин, П. Ф. Якубович и другие обвинялись в принадлежности к тайному сообществу, поставившему себе целью ниспровержение существующего государственного строя, а именно – намерении восстановить разгромленную в 1881–1883 гг. партию «Народная воля», большинство подсудимых были приговорены к смертной казни, замененной каторгой, а трое, в том числе Я. Г. Френкель, оправданы за недостатком улик.

## 197

А. Тун упоминает, что в 1869 г. (правильно: в 1870 г.) П. Л. Лавров был освобожден «смелым революционером Лопатиным» («im Jahre 1869 vom kühnen Revolutionär Lopatin befreit»); см.: *Thun A.* Geschichte der Revolutionären Bewegungen in Russland. Leipzig, 1883. S. 69.

# 198

Неточность: Я. Г. Френкель содержался под стражей со 2 июня 1885 г., то есть более полутора лет.

# 199

А. А. Кадьян, арестованный 7 июля 1874 г., содержался в тюрьмах Самары и Москвы, откуда 18 февраля 1875 г. был переведен в Петропавловскую крепость, а 19 января 1876 г. – в Дом предварительного заключения и, проведя в тюрьмах 3 года и 8 месяцев, 23 января 1878 г. на «процессе 193-х» был признан невиновным; он скончался 16 ноября 1917 г.

# 200

Арестованный в мае 1865 г. по делу «Общества независимости Сибири», Н. М. Ядринцев был заключен в Омскую тюрьму, а в апреле 1868 г. приговорен к 12 годам каторги, замененной бессрочной ссылкой в Шенкурск Архангельской губернии, откуда его, помилованного, освободили в декабре 1873 г.

# 201

Неточность: арестованный в 1864 г., Л. Ф. Пантелеев после года заключения в Вильно был приговорен военным судом к 6 годам каторжных работ, замененных ссылкой в Енисейскую губернию, откуда вернулся в 1874 г., окончательно поселившись в Петербурге в 1876 г.

# 202

При обыске 2 марта 1887 г. у И. И. Гильгенберга, уволенного с первого курса столичного Технологического института и состоявшего с осени 1886 г. в петербургской рабочей группе «Народной воли», изъяли конспект ее программы, брошюру «Царь-голод» и рукопись «тенденциозного» содержания, после чего он попал в Дом предварительного заключения, а 14 апреля 1888 г. по высочайшему повелению от 30 марта был выслан на 4 года под гласный надзор в Архангельскую губернию с водворением в Шенкурске.

## 203

В рукописи далее зачеркнуто: «меня уже не пугали,».

# 204

В рукописи далее зачеркнуто: «Лет через 10 или 12, когда Якубович вернулся с каторги и жил уже известным писателем в Петербурге, я с ним познакомился в редакции “Русского богатства” и затем многократно видался. В первый же день нашего знакомства на воле я напомнил ему о нашем очень недолгом соседстве в Доме предварительного заключения, – оно продолжалось всего несколько дней; это были или дни суда над ним, или непосредственно предшествующие суду, и беседовал я с ним очень мало. Меня удивило, что в то время, когда дни тюремной жизни, такие скучные и однообразные, во всех своих мельчайших событиях совершенно ясно сохранились у меня в памяти и разговоры с соседями посредством перестукивания я могу передавать почти дословно, Якубович не только не помнил наших с ним разговоров, но и совершенно не помнил даже самого факта нашего соседства; правда, недели через две, когда мы вновь встретились с ним, Якубович сказал: “Представьте, вернувшись домой, я все время думал о ваших словах и решительно ничего не мог вспомнить. И только вчера, вдруг, все это время всплыло в моей памяти. Я вспомнил вас и другого соседа, с которым переговаривался в то время. Вообще от того времени у меня в памяти ясно стоит только наш процесс, все остальное подернулось каким-то туманом”».

# 205

Зачеркнуто: «ложиться на голый асфальтовый пол, чтобы слушать и считать чьи бы то ни было шаги».

# 206

Зачеркнуто: «о роли которой в моем деле я тогда не знал».

# 207

На следующий день после обыска в переплетной мастерской К. Ф. Кармалина нанесла визит матери В. В. Водовозова, оправдываясь: «Бога ради, не сердитесь! Вы сами увидите, что я не виновата… Я вам расскажу все по порядку. Утром вчера ко мне нагрянула полиция и сейчас же нашла книги, – рабочий все им указал. А пристав нашего участка начал на меня кричать, топать ногами и все тыкался: “ты” да “ты”, точно я простая баба: “Ну, ты, собирайся!” – орет он во все горло. Я уж и пальтишко накинула, к двери прижалась, да в эту минуту мой песик выскочил из-за перегородки и бросился на пристава, так тот даже оторопел, а затем стал орать на меня еще пуще прежнего. “Уйми, говорит, старая дура, свою собаку!” Я песика унимаю, а пристав меня, ей-богу не вру, самыми непечатными словами, как горохом, осыпает. И вдруг свой кулачище в мое лицо как сунет, ногами топает, а сам кричит: “Сейчас говори, сволочь, кто эти листы тебе приносил?” Как же было не сказать? Я и сказала. Что же тут такого? Не могла же я дать ему избить меня до полусмерти? И сколько я неприятностей из-за всего этого вынесла: вхожу в мастерскую, а рабочие меня на чем свет бранят, в голос кричат: “Такое обхождение вы по заслугам получили: выдали студента, да и одеваетесь хуже последней судомойки!.. Вас и за хозяйку-то никто не почитает!”» (*Водовозова Е. Н.* Из недавнего прошлого. С. 168–169).

# 208

В рукописи далее зачеркнуто: «так как в бумагах моих сохранились совершенно случайные записки с их подписью, невинные сами по себе, но выдававшие по почерку авторов перевода. Участие их всех, особенно Давыдовой, которая, за исключением перевода одной главы Туна, никакого касательства к делу не имела, было второстепенное, и кара, которая могла им угрожать, должна была быть невелика, но… все же».

# 209

Ср.: «Допрошенный 28 февраля в качестве обвиняемого студент С.-Петербургского университета Василий Васильев Водовозов, 22 лет, объяснил, что, будучи знаком с Кармалиной уже несколько лет и получив летом 1886 года от одного лица, которое назвать не желает, для брошюровки литографированные сочинения Толстого “О деньгах” и “Церковь и государство” в количестве нескольких сот экземпляров, он предложил эту работу Кармалиной и, по брошюровке, по предложению того же лица, передал эти сочинения нескольким лицам, которых также назвать не желает. Затем, с осени 1886 года, то же лицо стало передавать ему для брошюровки литографированные листы сочинений Туна “История революционных движений в России” и “Сущность социализма” Шефле в переводе на русский язык, причем, насколько он, Водовозов, знает, к означенным сочинениям, переведенным буквально на русский язык, были прибавлены предисловие, примечания и приложения переводчика; сочинение же Шефле было издано по заграничному русскому изданию, сверенному с немецким подлинником, но без примечаний и предисловия Лаврова и Тарновского, как не согласных с убеждениями означенного выше, передавшего ему, Водовозову, эти издания, лица. Он, Водовозов, и эту работу предложил Кармалиной, причем, как в первый раз при передаче сочинений Толстого, так и теперь, на вопрос Кармалиной, не имеют ли эти сочинения революционного характера и не составляют ли они призыва к бунту, отвечал отрицательно и относительно последних сочинений (Шефле и Туна) сказал, что сочинения эти имеют характер чисто научный. Когда, вследствие этого, Кармалина согласилась, он стал доставлять ей эти сочинения для брошюровки частью лично, частью через одну женщину, которую назвать не желает» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 15–16).

черновик (*устар.*).

# 211

Изъятая записка гласила: «Приезжайте. Я буду дома. Л. Давыдова». Но, сличив почерк в записке с тетрадью, содержавшей часть перевода сочинения А. Туна, эксперты установили, что они написаны одним лицом: «…дочерью артиста Карла Давыдова (бывшего директора С.-Петербургской консерватории), Лидией, 17 лет, воспитанницей частной гимназии кн. Оболенской, хорошей знакомой семейства Водовозовых». В ночь на 27 апреля у нее произвели обыск, не обнаружив ничего, кроме одного «тенденциозного содержания» стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Порог», напечатанного в «Вестнике Народной Воли» № 2 за 1884 г., и списка книг, прочитанных ею летом 1886 г., включающего труды Э. Бехера, Л. Блана, Л. Гейссера, Ф. Лассаля. Давыдова отрицала свое участие в переводе Туна, утверждая, что, когда она вместе с родителями проводила лето на даче в Парголове, живший там же Водовозов снабжал ее книгами, но исключительно исторического содержания. В свою очередь Водовозов уверял, будто часть перевода в тетради «писана не Лидией Давыдовой, а другим лицом, назвать которое не желает», а из книг ничего, кроме «Оснований политической экономии» Д. С. Милля, не приносил, но «Порог» Тургенева в гектографированном виде был получен именно от него (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 24–25).

# 212

Зачеркнуто: «сидевший на противоположном конце стола».

# 213

Зачеркнуто: «и предоставлявший допрос Янкулио».

Зачеркнуто: «бумажонку, не имевшую для меня никакого значения; это была записка одного университетского товарища, просившего меня принести в университет какую-то книгу, вопреки русскому обычаю снабженная полной подписью и адресом ее автора».

# 215

Зачеркнуто: «я действительно охотно давал книги из своей довольно обширной для студента библиотеки и знакомым, и полузнакомым, и доказательство тому было налицо в виде моей записной книжки, с записью отданных на прочтение книг, находившейся в той же бумажной груде».

# 216

О бурной реакции перепуганных «до умопомрачения» К. Ю. Давыдова, директора Петербургской консерватории, и его жены А. А. Давыдовой, будущей издательницы журнала «Мир Божий», на визит матери арестованного, желавшей переговорить с их дочерью, см.: *Водовозова Е. Н.* Из недавнего прошлого. С. 173–176. Сама Л. К. Давыдова говорила, что «как она, так, вероятно, и многие сотрудники перевода Туна сочтут своею нравственной обязанностью отправиться в жандармское управление и заявить о своем участии в названном издательстве», дабы облегчить участь арестованного, и пришлось доказывать юной идеалистке «всю несостоятельность и неправильность такого взгляда», ибо «наши нравы обязывают того, кто попался, мужественно выкручиваться самостоятельно и все силы употребить на то, чтобы даже случайно кого-нибудь не пристегнуть к своему делу, если бы оно даже велось сообща» (Там же. С. 177).

## 217

Ср. с воспоминаниями В. В. Водовозова «Встречи с Александром Ильичом Ульяновым», публикуемыми в приложении (т. 2, с. 314, 316–317).

# 218

Ср.: «С Александром Ильичом Ульяновым я познакомился, помню, в конце 1885 г. У меня уже тогда была довольно хорошая библиотека, и я ее широко предоставлял в пользование всем моим знакомым. А. И. пришел ко мне, – не помню уж, с чьей-нибудь рекомендацией или просто на кого-либо сослался, – и тоже стал брать книги. Читал он по политической экономии; что именно, я теперь, конечно, не помню; помню лишь, что в момент его ареста у него на руках осталась моя книга – том “Deutsch-Französischen Jahrbücher”; эту книгу я купил антикварным образом во время своей поездки по Германии и крайне дорожил ею, как большою редкостью. Была ли она взята у него при обыске или нет, я не знаю, но назад я ее не получил» (Там же). Мемуарист имеет в виду вышедший в феврале 1844 г. двойной номер журнала «Deutsch-Französischen Jahrbücher» («Немецко-французские ежегодники»), изданного в Париже К. Марксом и А. Руге с публикациями обоих (в том числе первого по еврейскому вопросу). А. И. Ульянов и его товарищ О. М. Говорухин, заинтересовавшись статьей Маркса, взялись за ее перевод и, как вспоминала А. И. Ульянова-Елизарова, которой доверили правку перевода, на одном из свиданий с матерью после ареста брат просил «разыскать и вернуть две одолженные им редкие книги», принадлежащие Водовозову. «Одна из них, – поясняла Ульянова-Елизарова, – оказалась у [И. Н.] Чеботарева и была возвращена. Другая – “Deutsch-Französischen Jahrbücher” – со статьей Маркса о религии была передана мною вместе с переводом Говорухину. Ее найти не удалось. Мы искали купить ее за границей, в книжных магазинах и у букинистов, но не нашли» (*Ульянова-Елизарова А. И.* Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове // Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. С. 124).

# 219

Отмечая, что в 1886 г. почти все члены биологического кружка, включая А. И. Ульянова, вступили в Студенческое научно-литературное общество при Петербургском университете, И. Н. Чеботарев вспоминал: «В главные секретари общества была выставлена кандидатура Александра Ильича. Ее горячо поддерживали несколько человек и особенно В. В. Водовозов, который между прочим указал, что Ульянов интересуется не одними червями да тараканами, но занят и более широкими планами; не будучи узким специалистом по зоологии или химии, он станет истинным секретарем научно-литературного общества во всей широте его задач» (*Чеботарев И. Н.* Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове и петербургском студенчестве 1883–1887 гг. // Там же. С. 244–245).

# 220

См.: *Степняк С.* [*Кравчинский С. М.*] Подпольная Россия. Лондон, 1893; *Он же*. Домик на Волге. Женева, 1896; *Он же*. Андрей Кожухов. Женева, 1898; *Он же*. Штундист Павел Руденко. Женева, 1900; см. также: *Степняк-Кравчинский С. М.* Собрание сочинений. Ч. 6: Публицистика и критика / С вступ. ст. В. В. Водовозова. СПб.: Светоч, 1908; см. также: *В[одовозо]в В.* Кравчинский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Доп. Т. 2. С. 3.

## 221

Ср. с воспоминаниями В. В. Водовозова «Встречи с Александром Ильичом Ульяновым» (т. 2, с. 315–317).

Кизельгур (от *нем.* Kieselgur), инфузорная или диатомовая земля, трепел – осадочная горная порода диатомит, применяемая как адсорбент, фильтрующий или абразивный элемент; в качестве наполнителя использована А. Нобелем, пропитывавшим ее нитроглицерином, при создании динамита.

# 223

1 фунт равен 0,4536 килограмма.

# 224

В автобиографии А. А. Кауфман сообщал, что учился в гимназии Историко-филологического института, окончив которую в 1881 г. с золотой медалью, был зачислен на юридический факультет Петербургского университета, где уже на третьем курсе вступил в Студенческое научно-литературное общество и «здесь нашел среду, влияние которой сохранилось на всю жизнь; отсюда вынес интерес к науке, известные народнические взгляды (последним, впрочем, обязан в значительной мере семье Водовозовых и В. И. Семевскому), здесь завязал дружеские связи, в значительной части сохранившиеся на всю жизнь», но от политических и публицистических течений, даже от студенческих движений, стоял тогда «совсем далеко», а к последним «относился резко отрицательно» (*Кауфман А. А.* Автобиография // Историко-экономические исследования. 2015. Т. 16. № 1. С. 152–153).

## 225

То есть 13,6 килограмма.

Иную версию приводит жена С. Ф. Ольденбурга, утверждавшая, что он после ареста А. И. Ульянова отнес часть «порошка в лабораторию к В. И. Вернадскому, чтобы узнать, что это такое», и тот, «произведя исследование, сказал, что это – трепел, составная часть динамита». Попытка спустить его в реку «почему-то не удалась», и тогда один из приятелей братьев Ольденбургов, студент Военно-медицинской академии А. И. Яроцкий, предложил перевезти трепел к нему: «У него был собственный домик на Петроградской стороне, недалеко от Ботанического сада, и около дома садик». Там-то, под видом пересаживания цветов, трепел «незаметно смешали с землей и закопали» (*Ольденбург Е. Г.* Студенческое научно-литературное общество при С.-Петербургском университете // Вестник Ленинградского университета. 1947. № 2. С. 154).

## 227

В рукописи первоначально было «не вполне хороший».

# 228

Очерки о жизни русских революционеров, написанные С. М. Кравчинским на итальянском языке и печатавшиеся в 1881 г. в миланской газете «Il Pungolo» («Жало») под общим заголовком «La Russia sotterranea» («Подпольная Россия»), вышли отдельным дополненным изданием в мае 1882 г. в Милане, в английском переводе в 1883 г. в Лондоне и на русском языке в 1893 г. там же; роман «The career of a nihilist» («Карьера нигилиста»), изданный в Лондоне в 1889 г., вышел на русском языке в Женеве под названием «Андрей Кожухов» уже после кончины автора в 1898 г.

# 229

Ср. с воспоминаниями В. В. Водовозова «Встречи с Александром Ильичом Ульяновым», публикуемыми в приложении (т. 2, с. 316).

# 230

Ср.: «Недели через полторы после обыска, когда отобраны были формальные показания как от всех членов моей семьи, так и от служащих у меня в то время и служивших в моем доме много лет тому назад, мне разрешены были свидания с сыном. <…> Когда я подошла к железной клетке с двойною решеткой, в которую с другой стороны ввели моего сына, я была так ошеломлена и потрясена, что долго не могла выговорить ни слова» (*Водовозова Е. Н.* Из недавнего прошлого. С. 182).

# 231

1 аршин равен 0,71 метра.

# 232

В рукописи зачеркнуто: «В общем, три с половиной месяца этой моей сидки принадлежат к числу тех периодов моей жизни, когда я работал особенно интенсивно. Между прочим, именно тогда я всего более познакомился с классической литературой, русской и иностранной (в переводах), подбор которой был, как я уже сказал, произведен мною заблаговременно».

# 233

Полиция изъяла у А. И. Ульянова январское 1887 г. письмо с подписью В. В. с приглашением зайти за нужной ему книгой. На допросе В. В. Водовозов не отрицал, что действительно знает нескольких обвиняемых в покушении на цареубийство: в гостях не бывал, за исключением одного раза у П. Я. Шевырева, но принимал у себя дома, так как, имея хорошую библиотеку, охотно выдавал книги всем желающим. Ульянов тоже выгораживал товарища и говорил, что, желая заручиться его рекомендацией для вступления в студенческое общество, познакомился с Водовозовым в марте 1886 г., несколько раз приходил к нему за книгами, но, мол, понятия не имел, что он переводит, составляет примечания и литографирует «Историю революционных движений в России», и тем более не знает, кто приносил ему нелегальные издания. Ульянов признал, что автором полученного им послания с подписью В. В. был Водовозов, хотя, ссылаясь на забывчивость, отказался назвать взятую у него тогда книгу (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 19–20).

# 234

«Черный передел» – нелегальная политическая организация народнического направления, возникшая после раскола тайного общества «Земля и воля» в 1879 г. и выступавшая против революционного террора; просуществовала до конца 1881 г., отдельные кружки – до середины 1880-х гг.; часть ее руководящих деятелей, включая Г. В. Плеханова, П. Б. Аксельрода, Л. Г. Дейча, В. И. Засулич и др., оказавшись в политэмиграции в Швейцарии, образовала в 1883 г. марксистскую группу «Освобождение труда».

следовательно (*лат.*).

# 236

Неточность: имеется в виду одна из первых марксистских групп, созданная в Петербурге в декабре 1883 г. болгарином Д. Н. Благоевом (в 1881–1885 гг. он учился в Петербургском университете, ранее – в Одесском реальном училище) и принявшая в 1884 г. название «Партия русских социал-демократов».

# 237

Зачеркнуто: «и Благоев как иностранец выслан за границу».

# 238

*Schäffle A. E.Fr.* Der nächste Krieg in Zahlen: Militär- und finanzstatistische Studie über die Erhöhung der deutschen Friedenspräsenz [Ближайшая война в цифрах: военно-финансово-статистическое исследование об укреплении присутствия Германии в мире]. Tübingen, 1887.

## 239

Правильно: «То, что ты требовал к субботе, доставим в воскресенье утром. Что ты знаешь о брошюре Шефле “Во что обойдется война?” или вроде? Надо достать, перевести, издать и распространить. Ведь цензура позволит?» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 26).

## 240

Правильно: «Новости и Биржевая газета».

# 241

В рукописи далее зачеркнуто: «но, разумеется, в такой форме я не отвечал. И действительно, мое нежелание назвать имя Ольденбурга в данном случае было ошибкой, но ошибкой, психологически для меня обязательной».

## 242

Зачеркнуто: «еще более невинная по своему содержанию, но».

# 243

В материалах дознания от 12 ноября 1887 г. по делу о дворянине В. В. Водовозове и других лицах, обвиняемых в государственных преступлениях, говорилось: «Ввиду обратившего на себя внимание сходства почерка, коим писано это письмо, с почерком оказавшегося по тому же обыску у Водовозова письма, подписанного магистрантом С.-Петербургского университета Сергеем Ольденбургом, произведена была экспертиза сличения этих почерков, которая сходство между ними подтвердила. Спрошенный затем обвиняемый Водовозов, отказывавшийся первоначально от объяснений, показал, что таковая писана к нему Ольденбургом, что в ней речь идет о носовом платке, который он забыл в квартире Ольденбурга, а издание и распространение брошюры Шефле предполагалось ими с позволения цензуры для восстановления общественного мнения вообще против войны ввиду искусственного возбуждения милитаристического настроения в Германии. Не вполне удовлетворительное объяснение Водовозовым содержания этого письма подало повод к обыску у Ольденбурга, по которому ничего явно противозаконного не обнаружено, вследствие чего и Ольденбург допрошен в качестве свидетеля, причем, объясняя содержание письма от 6 февраля согласно с объяснением Водовозова, насколько оно относится к брошюре Шефле, показал, что не помнит, что именно он в этом письме обещал Водовозову доставить в воскресенье утром» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 26).

При изучении взятых у С. Ф. Ольденбурга бумаг выяснилось сходство почерка, которым написаны два письма с неразборчивой подписью «из селения или посада Вульки Бяльского уезда Седлецкой губернии» и отобранная при обыске у В. В. Водовозова рукопись «От чего зависит будущность России» – перевод воспоминаний революционера В. К. Дебогория-Мокриевича, приговоренного в 1879 г. к 14 годам каторги, но бежавшего за границу. Ольденбург пояснил, что эти письма написаны бывшим помощником секретаря С.-Петербургского окружного суда С. Е. Крыжановским, уехавшим из-за болезни в имение вдовы седлецкого губернатора, матери своей мачехи, Е. Ф. Громеко вблизи города Бялы. Допрошенный в качестве обвиняемого, тот показал, что с Водовозовым «ни в каких особенных отношениях не состоял и не состоит», но знает его как библиотекаря Студенческого научно-литературного общества и товарища Сергея Ольденбурга. Водовозов, который вел иностранное обозрение в еженедельнике «Неделя», в начале 1887 г. показал Крыжановскому один из выходивших в Кракове журналов с заинтересовавшей его статьей и попросил помочь ее перевести, ибо, как объяснил, интересуется тем, что за границей пишут о России. Водовозов тоже выгораживал Крыжановского, уверяя, будто «хорошим его знакомым считаться не может, так как с ним встречался только у знакомых и в университете» (Там же. Л. 26–28).

## 245

В рукописи далее зачеркнуто: «С. Ольденбург, участие которого в моем деле было очень значительно, таким образом обнаружен не был, а Крыжановский, участие которого было совершенно второстепенное, оказался в него впутанным».

См.: «Петр Шевырев объяснил свое знакомство с Водовозовым следующим образом: в начале 1886 г., зная, что бывший студент С.-Петербургского университета Борис Борисов Глинский очень интересуется кассами для вспомоществования бедным студентам (правительством не разрешенными), он, Шевырев, зашел к нему на квартиру, чтобы переговорить с ним насчет переустройства этих касс. С Шевыревым вместе отправился и студент Щербаков. Глинский отправил обоих, при письме от 11 февраля 1886 г., к Водовозову. Раньше этого он, Шевырев, ни с Глинским, ни с Водовозовым знаком не был. В тот раз Щербаков к Водовозову не пошел, так что к последнему с означенным письмом явился один Шевырев. Переговоры, по словам Шевырева, с Водовозовым ни к чему не привели, как показалось Шевыреву, потому, что Водовозов мало сочувствовал идее устройства общей студенческой кассы, в которую бы слились все существовавшие отдельные маленькие кассы т. н. землячеств. Познакомившись таким образом с Водовозовым, Шевырев несколько раз бывал у него на квартире с целью получить для чтения книги. По поводу таких книг им, Шевыревым, и было написано найденное у Водовозова его письмо». Вышеупомянутое послание Б. Б. Глинского гласило: «Водовозов, направляю к тебе гг. Шевырева и Щербакова, студентов нашего университета, для переговоров о слиянии нашей кассы с землячествами на началах федерации. Идея эта, собственно говоря, знакомая нам еще в то время, когда мы образовали нашу кассу. В первоначальном виде подобная федерация и имелась в виду, но по трудности выполнения это не осуществилось. В настоящее время явились люди с энергией и желанием принести пользу делу, люди, верующие в возможность подобного союза и уже говорившие с другими землячествами и отдельными студентами, а потому я полагаю необходимым дать ход начатому делу и поддержать их» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 21, 14).

## 247

В рукописи далее зачеркнуто: «Мне было разрешено пробыть две недели в Петербурге (точнее, под Петербургом, на даче, куда перебралась моя мать), а затем предписано впредь до приговора жить где-нибудь вне университетских городов. Моя мать заявила, что я уеду в имение [Бухоново] моей бабушки (Александры Степановны Цевловской, урожденной Гонецкой (1813–1887), сестры двух генералов от инфантерии – Ивана Гонецкого (1810–1887) и Николая Гонецкого (1815–1904). – *В. Г.*) в глуши Смоленской губернии, и я действительно туда уехал. Через два месяца бабушка умерла на моих руках, и моя мать выхлопотала мне доступ в Петербург, где я должен был ожидать приговора. Осень и зиму 1887–88 гг. я, таким образом, провел в Петербурге».

Зачеркнуто: «готовясь к будущему экзамену в университет, сдать который я все же надеялся. Вместе с тем ни в какой другой период моей жизни я не бывал так часто в гостях и не принимал в таком количестве таковых у себя».

# 249

Называя Ф. Ф. Ольденбурга «замечательным педагогом и благородным человеком», В. В. Водовозов писал, что те, кто помнит студенческое научно-литературное общество при Петербургском университете, закрытое администрацией в 1887 г., но давшее очень и очень многим «толчок в их научных занятиях и поддерживавшее их научные интересы едва ли не в большей степени, чем профессорские лекции <…>, никогда не забудут и того, что душою и живым его центром были, рядом с его председателем – профессором Орестом Миллером, два студента – братья Ольденбурги». Старшему из них было предложено остаться при университете для подготовки к профессорскому званию, но, «верный своим первоначальным стремлениям к педагогической деятельности, он отказался и через два года по окончании университета, осенью 1887 г., принял предложенное ему место педагога тверской земской учительской школы (имени) П. П. Максимовича, задачей которой является подготовка учительниц для сельских школ, преимущественно Тверской губернии» (*Водовозов В.* Федор Федорович Ольденбург (1862–1914) // День. 1914. № 198. 25 июля).

# 250

Неточность: в заключении от 12 ноября 1887 г., поддержанном Департаментом полиции, министр юстиции Н. А. Манассеин полагал возможным: «1. Василия Водовозова выслать в Архангельскую губернию под надзор полиции сроком на три года; 2. Сергея Крыжановского подвергнуть аресту на две недели; 3. Бориса Глинского подвергнуть аресту сроком на десять дней; 4. Клеопатру Кармалину подвергнуть аресту на семь дней; 5. Лидии Давыдовой сделать строгое внушение при посредстве начальницы учебного заведения, в коем она воспитывается, по поводу принятого ею участия в переводе сочинения Туна, не пропущенного цензурой». Но в «высочайшем повелении» от 30 января 1888 г. срок высылки Водовозова увеличили с 3 до 5 лет, и если предлагаемое наказание Глинского и Давыдовой не претерпело изменений, то Крыжановский и Кармалина в приговоре даже не упомянуты (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 32, 36).

# 251

Неточность: с 1896 г. С. Е. Крыжановский служил в Министерстве внутренних дел, в котором занимал должности вице-директора Хозяйственного департамента в 1901–1904 гг., помощника начальника Главного управления по делам местного хозяйства в 1904–1906 гг. и товарища министра внутренних дел П. А. Столыпина в 1906–1911 гг.

# 252

Имеется в виду избирательный закон – «Положение о выборах в Государственную думу».

## 253

Империал конки – пассажирский ярус на крыше экипажа, который лошади тянули по рельсам.

«К счастью, никаких следов литографии, в которой я литографировал, найдено не было. Через несколько дней был сделан повальный обыск во всех петербургских литографиях, но Гробова была предупреждена, и никаких следов ее преступления у нее найдено не было. Таким образом, для нее дело сошло благополучно. Однако она не унялась и, чувствуя в нелегальной работе важное для себя подспорье, в самом непродолжительном времени вновь согласилась на литографирование каких-то других нелегальных изданий, на которых она через три года (в 1890) и попалась» (*Водовозов В.* [Рец. на кн.:] Тун А. История революционных движений в России. С. 309).

## 255

В рукописи ошибочно повторно указано: «Шевырев».

# 256

8 мая 1887 г. в четыре часа утра А. И. Ульянов и его сообщники – П. И. Андреюшкин, В. Д. Генералов, В. С. Осипанов, П. Я. Шевырев – были казнены в Шлиссельбургской крепости.

## 257

В рукописи ошибочно: «Ильинична».

## 258

Н. С. Таганцев был назначен сенатором 23 декабря 1887 г., т. е. уже после казни А. И. Ульянова.

## 259

Имеется в виду дело «Петроградской боевой организации», или заговор В. Н. Таганцева, по которому были арестованы 833 человека, из которых 98, в том числе 25 женщин, согласно постановлениям президиума Петроградской губернской ЧК от 24 августа и 3 октября 1921 г., были приговорены к расстрелу; в числе казненных оказались супруги В. Н. и Н. Ф. Таганцевы, поэт Н. С. Гумилев, профессора Н. И. Лазаревский и М. М. Тихвинский, скульптор князь С. А. Ухтомский и др.

# 260

16 июня 1921 г. Н. С. Таганцев написал В. И. Ленину: «Я обращаюсь к Вам с просьбой о смягчении участи сына по двум основаниям: 1) *внешним*: я хорошо знал Вашего покойного отца и Вашу матушку; был в 1857 и 1858 гг. вхож в Ваш дом, 2) *внутренним*: потому что я, по своим убеждениям, в тяжелые времена царизма *никогда* не отказывал в ходатайствах и помощи политическим обвиняемым» (Четыре письма В. И. Ленину // Вестник РАН. 1994. Т. 64. № 9. С. 825). Таганцев не упоминал о «письме матери Ленина» (видимо, апокрифическом), но ссылался на свои ранее отправленные ему мемуары, в которых, замечая, что присутствовал 15–19 апреля 1887 г. на процессе А. И. Ульянова, из подсудимых оставившего «наиболее симпатичное впечатление, как искренне преданный тому делу, за которое он шел на казнь», между прочим вспоминал: «Вечером мне докладывают, что пришла какая-то дама; прошу ко мне в кабинет; входит пожилая особа, которая обращается ко мне: “Николай Степанович, вы меня не узнаете?” – и на мой уклончивый ответ, что не могу припомнить, она говорит: “Да ведь я Ульянова, в Пензе вы у нас бывали”. Я тотчас же ее припомнил, но она была в страшном волнении и в слезах; с нею был небольшой мальчик гимназист. “Да ведь сегодня судили моего сына за посягательство на жизнь государя!” Меня как обухом по голове хватило. Я ведь был еще под страшным впечатлением выслушанного приговора. “Ради Бога, помогите: мне сказали, что вы это можете: я хочу увидеть моего несчастного сына. А меня не пропускают, отказывают”. Я долго пытался отговорить ее, вспоминая горькую и страшную истину, о которой она услышит. Но она продолжала настаивать, и я не мог не уступить. С болью в сердце написал я записку Эдуарду Яковлевичу Фуксу, который тогда был прокурором судебной палаты и от которого зависело разрешение свидания. Так она и ушла. На другой день она опять приходила ко мне, но меня не застала и, как сообщила мне жена, которая ее видела, произвела на нее потрясающее впечатление, когда каким-то страшным шепотом она сказала: “Сына я видела, ведь он присужден к смерти”» (*Таганцев Н. С.* Пережитое. Пг., 1919. Вып. 2. С. 32).

# 261

Неточность: В. Н. Таганцев был расстрелян не ранее 28 августа 1921 г.

## 262

Имеется в виду ярославский Демидовский юридический лицей, основанный в 1803 г., а в 1868 г. приравненный к юридическим факультетам университетов.

## 263

Имеется в виду Архангельский губернский статистический комитет, созданный в 1835 г.

Зачеркнуто: «Я застал в Шенкурске колонию политических ссыльных в 6 человек, причем четверо были с женами, а один (Никонов) на придачу с маленькими детьми. В первые два года моего пребывания в Шенкурске колония довольно быстро росла, хотя, с другой стороны, и убывала: Никонов через несколько месяцев после моего приезда получил значительное смягчение своей участи и был переведен куда-то на юг, чуть ли не в Крым, где у него были родные».

# 265

Одна сажень равна 2,13 метра.

# 266

Ошибка: река Вага – приток Северной Двины.

дательный самостоятельный (*лат.*) – оборот, представлявший собой сочетание существительного (местоимения) в дательном падеже с согласованным с ним причастием, для выражения значения времени, реже – причины или уступки.

дательный времени (*лат.*) – оборот, употребляемый для указания конкретного времени действия.

## 269

Неточность: имеется в виду Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 г., принятое как приложение I к ст. 1 Свода уставов о предупреждении и пресечении преступлений, которое действовало до 1917 г.; Положение о полицейском надзоре, учреждаемом по распоряжению административных властей, принятое 12 марта 1882 г., определяло условия пребывания в административной ссылке.

# 270

В ст. 1 Положения о полицейском надзоре, учреждаемом по распоряжению административных властей, говорилось, что таковой, «как мера предупреждения преступлений против существующего государственного порядка, учреждается над лицами, вредными для общественного спокойствия» (Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3 (1881–1913). Т. 2. № 730. С. 84).

# 271

Карьера П. Н. Дурново была прервана в 1893 г. громким скандалом с его любовницей, за которой он устроил слежку и изобличающие в измене письма которой распорядился выкрасть из стола секретаря бразильского посольства. Но уже в 1899 г. Дурново был назначен товарищем министра внутренних дел, с октября 1905 г. состоял временно управляющим МВД, а с января по апрель 1906 г. – министром.

## 272

Пропущены слова: «в качестве приказчиков, конторщиков, смотрителей или рабочих» (Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3 (1881–1913). Т. 2. № 730. С. 86).

Пропущены слова: «и всеми принадлежностями и произведениями тиснений» (Там же).

Пропущены слова: «а равно и торговля питиями» (Там же).

## 275

Пропущены слова: «если оно сему последнему служит средством осуществления его предосудительных замыслов или по местным условиям представляется опасным для общественного порядка и спокойствия» (Там же).

Имеется в виду статья 29, по которой министру внутренних дел предоставлялось право воспрещать поднадзорному непосредственное получение им частной почтовой или телеграфной корреспонденции, препровождаемой на просмотр местному начальнику губернского жандармского управления или уездному исправнику, которые либо передавали ее «по принадлежности», либо, «в случае предосудительного содержания», задерживали (Там же).

## 277

Улус – административно-территориальная единица на восточных и северных окраинах Российской империи.

Правильно: «История моего современника». Первое издание: СПб., 1909. Т. 1; Одесса, 1919. Т. 2.

# 279

Н. И. Долгополов, студент пятого курса медицинского факультета Харьковского университета, сосланный в августе 1880 г. в Курган и переведенный оттуда в октябре 1882 г. в Сургут, ввиду осеннего бездорожья задержался в Тюкалинске, где за «самовольное» извлечение пули из ноги супруги городского головы попал в тюрьму, после чего был отправлен в село Пелымское Туринского округа, но, заболев по дороге тифом, остался в Ишиме.

# 280

Пароход «Веста», построенный как торговое судно в 1858 г. и оснащенный в начале Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 5 мортирами, 3 орудиями и 4 скорострельными пушками, 11 июля 1877 г. выдержал неравный пятичасовой бой с неприятельским броненосным корветом, обратив его в бегство, за что командир фрегата, капитан-лейтенант Н. М. Баранов, удостоился ордена Св. Георгия 4-й степени и был произведен во флигель-адъютанты. Но поскольку в газете «Биржевые ведомости» (1878. № 195. 17 июля) появилась статья артиллериста «Весты» капитан-лейтенанта З. П. Рождественского, утверждавшего, что командир фрегата сильно приукрасил события (поскольку в течение пяти часов пытался уйти от погони турецкого корвета), Баранов настоял на проведении следствия и суда, окончившегося для него отставкой.

# 281

Назначенный после убийства Александра II столичным градоначальником, каковой пост занимал в марте – августе 1881 г., Н. М. Баранов создал при градоначальстве временный совет «для ограждения общественной безопасности» из 25 членов, избираемых выборными от населения Петербурга (домовладельцами, квартиросъемщиками, собственниками промышленных и торговых предприятий); голосование производилась по квартирам, куда полицейские сами приносили избирательные урны.

# 282

Согласно Уставу о всесословной воинской повинности, принятому 1 января 1874 г., для лиц, окончивших курс шести классов гимназий или реальных училищ, устанавливался сокращенный срок службы: на действительной – полтора года, в запасе – 13 лет и 6 месяцев.

# 283

Пьеса Г. Ибсена 1894 г., рус. перевод – СПб., [1895].

См.: *К[ана]ев А. Н.* Бабье дело: шутка в 2-х д. М., 1882.

## 285

Имеется в виду поваренная книга Е. И. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» (Курск, 1861), выдержавшая до революции 29 изданий.

Уроки продолжались недолго, потому что я сам отказался от них, а сделал это потому, что мальчик оказался совершенно невероятным тупицей. Ему задавали на дом задачи, как четыре брата делят наследство в 23 592 р., да так, чтобы первому и второму брату вместе досталось столько, сколько одному третьему, а второму и третьему вместе – в два раза больше, чем четвертому, и т. д. А он только после продолжительных выкладок на бумаге мог ответить, и то часто ошибочно, сколько стоит 5 фунтов хлеба по 3 копейки фунт, и никак не мог понять разницы между «на сколько-нибудь больше» или «во сколько-нибудь раз больше». Задачи, задаваемые ему в классе, были совершенно так же ему недоступны, как дифференциальное исчисление, и объяснить ему их так, чтобы он понял и усвоил, не было никакой возможности почти. Я просто решал их ему, а затем объяснял четыре действия над числами до 20. Бился, бился и устал, отказался. Однажды я его спросил:

– Скажи, отчего ты такой простой вещи сообразить не можешь? Ведь другие мальчики куда меньше тебя, а понимают.

– А тятька меня – усе по голове, усе по голове. Чуть не по нем, сейчас – по голове.

Я уже хотел отказаться от уроков, но этот ответ привел меня в ужас, и я взял себя в руки. В конце концов, однако, я не выдержал, призвал его отца и заявил об отказе. Отец вообразил, что мне нужна плата, но я сказал, что я не могу заниматься ни за какую плату, так как не вижу никакой пользы от моих уроков.

– Нет, он теперь хорошие отметки приносит.

(Значит, ему ставили отметки за решенную мною задачу, не проверяя, сам ли он решил! Он, несомненно, не мог бы объяснить ни одного действия.)

– Скажите мне, почему он у вас такой неспособный? – спросил я. – Не бьете ли вы его? Может быть, случается бить по голове, – вы знаете, это ведь очень вредно. Всего хуже по голове.

– Нет, что вы, как можно. Никогда пальцем не трогаю. Заругаться, правда, на него случается, а бить, что вы, как можно!

## 287

В рукописи далее зачеркнуто: «Жалко мне было и отца, и сына, но ничего поделать я не мог».

## 288

Имеются в виду «Народные рассказы» Л. Н. Толстого («Чем люди живы?», «Два брата и золото», «Три старца», «Свечка» и др.), написанные в 1881–1886 гг.

# 289

Неточность: А. М. Калмыкова скончалась 1 апреля 1926 г.

Зачеркнуто: «кроме шаблонного: “Да, понравилось”».

## 291

Имеется в виду рассказ Л. Н. Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет», впервые напечатанный в журнале «Беседа» (1872. № 3).

# 292

Зачеркнуто: «состоявший из трех комнат и кухни, сдавал мне с женой за 6 рублей в месяц».

гражданским (*устар.*, от *лат.* civis – гражданин).

## 294

Имеется в виду будущая жена В. В. Водовозова Вера Петровна Шейдакова.

# 295

Духоборы (духоборцы) – одна из групп «духовных христиан», приверженцы которой, считая, что Бог – в душе человека, отвергали всякую обрядность.

# 296

В протоколе, составленном 12 февраля 1890 г. полицейским надзирателем Шенкурска Ф. А. Черноруцким, указывалось, что политические ссыльные Вера Шейдакова, Матвей Винокуров, Иван Гильгенберг, Людмила Ермилина, Николай Горев, Казимир Варпеховский, Александр Машицкий, Виктор Курнатовский, Франц Баньковский, Анна Захарова (будущая жена Машицкого), Аделаида Пумпянская и Клеопатра Чеботарева (по мужу Гриневицкая) самовольно отбыли на лошадях в 2 часа пополудни 11 февраля за 12 верст от города в Шелашское общество Усть-Паденской волости, откуда вернулись около 8 часов вечера. Акт дознания о самовольной отлучке был передан на распоряжение мировому судье 1-го участка по Шенкурскому уезду Ф. Ф. Юкову, но к судебному заседанию 3 мая выяснилось, что Варпеховского и Гриневицкой уже нет в живых, а Винокуров и Ермилина выбыли из Шенкурска, из-за чего, для выяснения места их нахождения, разбирательство отложили. Тем не менее 14 мая мировой судья приговорил Ф. И. Баньковского, Н. И. Горева, И. И. Гильгенберга и В. П. Шейдакову к аресту сроком на 3 недели каждого (ее, как лицо «привилегированного сословия», дочь купца, – при тюрьме, остальных – при полиции), а В. К. Курнатовского, А. А. Машицкого, А. М. Пумпянскую и А. С. Захарову – по совокупности с другим их приговором, от 5 мая, по такому же проступку, – сроком на 1 месяц каждого (первых двух, как дворян, – при тюрьме, остальных – при полиции) (см.: ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 118. Л. 1, 9–13).

## 297

Имеется в виду Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями (четвертая часть Судебного устава, принятого 20 ноября 1864 г.). Статья 63 главы 5 «О нарушениях Устава о паспортах» гласила: «За самовольное оставление места, назначенного для жительства по законному распоряжению надлежащей судебной или правительственной власти, а равно за самовольное возвращение в места, из коих виновные высланы, они подвергаются аресту не свыше трех месяцев или денежному взысканию не свыше трехсот рублей».

Хотя ссыльные подали апелляционную жалобу, доказывая, что имели право без предварительного разрешения совершать прогулки за черту города, которые не воспрещаются ни Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, ни Положением о полицейском надзоре, ни взятыми от них подписками, 7 сентября 1890 г. Архангельская палата уголовного и гражданского суда утвердила вынесенный приговор. Посчитав, что «самовольные отлучки, хотя непродолжительные и неотдаленные, но вне того города, где поименованные лица обязаны были находиться налицо под полицейским присмотром, равносильны, по смыслу Положения о надзоре, отлучкам, караемым по 63 ст. Устава о наказаниях», палата оставила жалобу осужденных без последствий (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2003), и их дальнейшие попытки оспорить приговор в вышестоящих судебных инстанциях оказались бесплодны.

## 299

См.: [*Водовозов В.*] Дело о самовольной отлучке // Юридический вестник. 1892. Т. 10. Кн. 2. С. 262–268.

*Водовозов В.* Дореформенная юстиция: Из недавнего прошлого юстиции в Архангельской губернии // Там же. 1892. Т. 11. Кн. 1/2. С. 65–99.

# 301

Зачеркнуто: «начатую мною еще в Шенкурске, но законченную в Петербурге».

# 302

В рамках земской реформы 1864 г. в 34 губерниях империи, в том числе Вологодской в 1870 г., были введены выборные распорядительные и исполнительные органы местного всесословного самоуправления (земские собрания, земские управы).

## 303

И. И. Гильгенберг в письме В. В. Водовозову называет врача «Кошкодраловым» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2120. Л. 1).

# 304

Ссылаясь на свою корреспонденцию «Из Шенкурска (Архангельской губ.)», напечатанную без подписи автора в 1891 г. в «Неделе» (№ 26), в которой указывалось, что весь уезд обслуживает лишь одна больница на 24 места, за содержание в которой взимается 9 рублей в месяц, каковым считают даже несколько дней, проведенных в ней, В. В. Водовозов негодовал, что местный врач В. П. Кашкадамов «не только не принимает на дому больных из простого народа, но даже в больнице принимает их крайне неохотно, почти никогда не производит освидетельствования, а обыкновенно довольствуется только несколькими вопросами и на основании ответов на них прописывает лекарства; даже обходы больных, лежащих в больнице, он делает крайне редко…» Приводились конкретные примеры «халатного отношения» к пациентам, но редакция газеты убрала из публикации упоминание о «грубейших ошибках» врача, который «смешал брюшной тиф с воспалением мозга, не сумел распознать причины болезни человека, отравившегося фосфорными спичками, лечил ушиб лавровишневыми каплями, ошибался в распознавании сифилиса», а также «отказывается от всех мало-мальски серьезных хирургических операций» (*Водовозов*. Письмо в редакцию из Шенкурска (Архангельской губернии) // Врач. 1891. № 52).

## 305

В рукописи далее зачеркнуто: «и я не видел того впечатления, которое она произвела, но имею о нем некоторые сведения».

# 306

См.: Письмо в редакцию из Шенкурска (Архангельской губернии). Из «Врача» № 52-го. Дозволено цензурою. С.-Петербург, 17 января 1892 г. Типогр. Я. Трея. С. 1–3.

следует выслушать и другую сторону (*лат.*).

# 308

В примечании редакции говорилось: «Ради возможно широкого применения правила “audiatur et altera pars” мы печатаем письмо г. Кашкадамова без малейших изменений, как он сам того желает, хотя в его собственных интересах было бы лучше не печатать некоторых мест этого письма. В частности, все рассуждения о политических ссыльных никакого отношения к фактам, приводимым г. Водовозовым, не имеют; это во-первых, а во-вторых, прежде чем напечатать письмо г. Водовозова, мы из удостоверений лиц, лично нам известных и заслуживающих безусловного доверия, убедились, что г. Водовозов не только сведущий и почтенный юрист, но и человек, не способный сознательно исказить истину». Упоминая о «рассуждениях» В. П. Кашкадамова, редакция имела в виду следующую его сентенцию: «Надо жить в ссыльном городе, чтобы знать, что это за люди и как они стараются очернять имя лиц, составляющих местную администрацию. Ввиду этого я, как находящийся на службе в ссыльном городе и знакомый с образом их жизни и с их умственным развитием, не считаю нужным отвечать лично г. Водовозову, а предназначаю свое возражение для товарищей врачей, прочитавших эту корреспонденцию и, пожалуй, поверивших ей». Считая, что обвинения его в «халатном отношении» к больным «голословны» и «даже нелепы», ибо «юристу, незнакомому с медициной, весьма многое может казаться странным», Кашкадамов повторял, что «ссыльные под влиянием ненависти, питаемой ими к местным служащим, считают своею обязанностью выразить ее в чем бы то ни было». Но в примечании редакции указывалось: «Нам кажется, что врач, как естественный представитель человеколюбия, всегда и всюду может и должен вселять к себе не ненависть, а любовь» (*Кашкадамов, Шенкурский уездный врач*. Письмо в редакцию. 16 января 1892 г. // Врач. 1892. № 7. С. 167–169).

# 309

См. брошюры и оттиски статей В. П. Кашкадамова: Чума в Индии за 1896–1898 гг. СПб., 1898; Отчет о командировке в Индию с 20 февраля 1899 года по 17 июля 1900 года. СПб., 1901. (Вестник общественной гигиены, судебной и практической медицины); О чуме согласно новейшим данным. СПб., 1901; Краткий очерк индусской медицины. СПб., 1902. (Больничная газета Боткина); Предупреждение и лечение чумы. СПб., 1902. (Русский врач. № 3); О чуме и мерах личного предохранения от нее. СПб., 1911, и др.

# 310

Вице-адмирал А. И. Никонов, тогда – член Главного военно-морского суда, был назначен его председателем и произведен в адмиралы в 1891 г.

способ существования, образ жизни (*лат.*); имеются в виду условия, обеспечивающие возможность мирного сосуществования противостоящих сторон.

Далее зачеркнуто: «хотя за границей в эмиграции существовала уже и вела боевую агитацию организация “Освобождение труда”, уже выпустившая в свет первые социал-демократические книжки Плеханова (“Социализм и политическая борьба” и “Наши разногласия”), а в самой России (в Одессе) возникла и уже была разгромлена первая социал-демократическая организация болгарина Благоева».

# 313

Исповедь начиналась с вопроса: «Како веруеши?», что соответствует чинопоследованию Таинства покаяния; в «Псалтире с восследованием» в «Изложении вкратце о вере, и вопросах и ответах о богословии» (М., 1874) на вопрос: «Како веруеши?» следует ответ: «Верую во единаго Бога Отца, и единаго рождшагося от Него Бога Сына, и во единаго Духа Святого, от Отца исходяща, Бога».

всеобщее избирательное право (*фр.*).

# 315

*Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Процесс производства капитала / [Пер. Г. Лопатина и Н. Даниельсона]. СПб., 1872; Т. 2. Процесс обращения капитала / Под ред. Ф. Энгельса. [Пер. Н. Даниельсона]. СПб., 1885.

*Плеханов Г.* Социализм и политическая борьба. Женева. 1883; *Он же*. Наши разногласия. Женева, 1884.

# 317

От *нем.* Abzug – *букв.* метание в карточной игре; с первого абцуга (*устар.*) – с самого начала, сразу же.

старший по возрасту (*лат.*).

# 319

Ф. И. Баньковскому в марте 1888 г. было 39 лет.

# 320

В рукописи далее зачеркнуто: «фамилию которого я плохо помню: не то Панкратов, не то Панкратьев; во всяком случае, это был не известный впоследствии шлиссельбуржец Панкратов)»; правильно: П. Э. Панкратьев.

# 321

Зачеркнуто: «За несколько месяцев до моего приезда он получил помилование и уехал».

# 322

Разоблаченный как «агент 1-й степени» (Предостережение // Искра. 1901. № 11. 20 нояб.), П. Э. Панкратьев был определен на службу в Департамент полиции на должность «чиновника для письма» с указанием, что оглашение в «Правительственном вестнике» приказа о его назначении, по мнению С. В. Зубатова, «представляется по особым соображениям нежелательным». Сам Панкратьев сообщал: «С мая 1891 г. до определения на службу в Департамент полиции 1 декабря 1902 г. я состоял на службе по вольному найму при С.-Петербургском охранном отделении и в этот период времени, в течение 5 лет 11 месяцев, состоял на государственной службе по другим ведомствам: с 19 октября 1893 г. по 1 апреля 1896 г. в Департаменте герольдии Правительствующего Сената и с 1 апреля 1896 г. по 1 октября 1899 г. в Департаменте железнодорожной отчетности Государственного контроля; остальные же 5 лет 7 месяцев моя служба была только вольнонаемной». Исправляя с января 1906 г. должность старшего помощника делопроизводителя Департамента полиции и ходатайствуя в апреле 1908 г. о зачислении ему в стаж трех лет службы по вольному найму при С.-Петербургском охранном отделении, Панкратьев снова просил не публиковать приказ об этом в «Правительственном вестнике», поясняя: «Такое оглашение моей прежней службы, по обстоятельствам Вашему Превосходительству известным, представляется мне крайне нежелательным и может сопровождаться вредными для меня последствиями…» Заболев туберкулезом осенью 1908 г., старший помощник делопроизводителя надворный советник Панкратьев был исключен из списков чиновников Департамента полиции как умерший с 12 сентября 1911 г. (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 22. 1 д-во. 1902. Д. 824. Л. 12, 34–35).

# 323

Отец А. А. Машицкого служил приставом 2-го стана Бендерского уезда Бессарабской губернии с 1889 г. и помощником пристава кишиневской полиции с 1891 г., а сам он недолго учился в Одесском пехотном юнкерском училище, но, арестованный в августе 1887 г. за распространение запрещенной литературы, в октябре был сослан в Архангельскую губернию.

# 324

Неточность: Э. В. Пумпянская родилась в 1854 г.

# 325

Фекла Машурина – персонаж романа И. С. Тургенева «Новь» (1877), «натура скрытная, своевольная – и едва ли добрая, едва ли очень умная – но даровитая»; «вся – огонь, вся – страсть и вся – противоречие: мстительна и добра, великодушна и злопамятна, верила в судьбу и не верила в Бога».

# 326

Эйдель Вульфовна Пумпянская (после принятия православия в 1881 г. – Аглаида, Аделаида Михайловна), проходя обучение в Повивальном институте в Петербурге, предоставляла свой адрес для нелегальной переписки и носила, под видом невесты, тюремные передачи, за что 13 февраля 1875 г. была арестована и, заключенная в Петропавловскую крепость, находилась там с 15 марта по 15 января 1876 г. Вновь арестованная 19 декабря 1876 г., она содержалась в Спасской части, с июля 1877 г. – в Доме предварительного заключения и, привлеченная к дознанию по «Делу о пропаганде в Империи», оказалась среди подсудимых, участников «хождения в народ», на «процессе 193-х» (18 октября 1877 г. – 23 января 1878 г.), но была оправдана (см.: ГАРФ. Ф. 533. Оп. 1. Д. 1368. Л. 288–291).

Например, в «удостоверении» от 24 сентября 1892 г. самарский вице-губернатор А. П. Рогович засвидетельствовал «выдающуюся деятельность г-жи Пумпянской», ибо, приглашенная в марте «на службу в частную Самарскую больницу для тифозных», число коих доходило до сотни, она из-за заболевания двух больничных фельдшеров, заменяя их, трудилась одна, а в мае «изъявила согласие отправиться в Новоузенский уезд в составе санитарного отряда, сформированного Самарским губернским благотворительным комитетом для борьбы с эпидемиями сыпного тифа и цинги», причем «совершенно самостоятельно заведовала двумя больницами, временно открытыми в районе четырех больших сел» и затем участвовала в борьбе с холерой в Бузулукском уезде, отличившись «неутомимым усердием к исполнению принятых на себя обязанностей» и заслужив «полное одобрение гг. врачей, под руководством которых она работала» (Там же. Ф. 102. Оп. 127. 5 д-во. Д. 7527. Л. 89).

# 328

За неудачную попытку освободить народовольца М. Э. Новицкого, при совершении которой убил тюремного служителя, охранявшего заключенного на прогулке, П. С. Поливанов был приговорен к смертной казни через повешение, замененной вечной каторгой, которую с 1882 г. отбывал в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, а с 1884 по 1902 г. – в Шлиссельбургской крепости.

# 329

В декабре 1878 г. студент ветеринарного отделения Медико-хирургической академии П. С. Поливанов был выслан в Кадников Вологодской губернии, куда в апреле 1879 г. под строгий надзор полиции водворили и А. М. Пумпянскую; их незаконнорожденный сын Николай Пумпянский появился на свет 9 февраля 1881 г., когда его отец уже покинул Кадников, переведенный в августе 1880 г. на родину под гласный надзор полиции.

# 330

19 сентября 1890 г. В. В. Водовозов, получивший разрешение приехать в Петербург для сдачи экзаменов, писал А. М. Пумпянской в Шенкурск: «У Маляревского я был, когда еще приют не переехал в город, видел только жену М[аляревского] и говорил с нею. Плата за учеников очень различна, до 600 рублей в год; иногда они принимают и даром, но теперь решительно не могут. Впрочем, пусть лучше я поговорю с самим д-ром М[аляревским] по переезде приюта в город. Я там буду непременно, т. к. приют меня очень заинтересовал; но в близком будущем собраться туда мне было бы очень трудно, т. к. приют находится от нас верст за 6–7 (на Охте), а теперь у меня экзамены» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 118. Л. 57).

## 331

Имеется в виду Союз социалистов-революционеров – максималистов (ССРМ), учредительная конференция которого проходила 10–24 октября 1906 г. в Финляндии.

## 332

Правильно: 14 октября 1906 г.; известно, что Н. П. Пумпянский через знакомых банковских служащих выяснил час отправки и сумму перевозимых денег.

## 333

Неверно: с помощью бомб, остановив в Фонарном переулке экипаж помощника казначея Петербургской портовой таможни С. П. Германа, группа боевиков (двое из них погибли, а четверо были схвачены и уже 18 октября повешены) сумела захватить около 400 тыс. рублей, большая часть которых бесследно исчезла; обвинение в похищении их Маргаритой (Аделью Каган), которая в пролетке вывезла с места экспроприации два мешка с деньгами, а вскоре открыла в Париже мастерскую дамских нарядов, стало предметом разбирательства 17–18 января 1908 г. на собрании парижской группы социалистов-революционеров – максималистов с участием В. Л. Бурцева (подробнее см.: *Генис В. Л.* «Человек патологический». Максималист Добковский и провокаторы. М., 2018. С. 319–330).

# 334

«Бабушка русской революции» Е. К. Брешко-Брешковская, приехавшая в Петроград 29 марта 1917 г., была торжественно встречена на Николаевском вокзале тысячами людей во главе с министром юстиции А. Ф. Керенским и председателем Петроградского совета Н. С. Чхеидзе, которые повезли ее в Таврический дворец, где открывалось Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов.

# 335

По списку эсеров Н. П. Пумпянский был выбран членом Учредительного собрания в Забайкальском избирательном округе.

потенциально (*лат.*).

# 337

Уполномоченный правительства Дальневосточной республики в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги с резиденцией в Харбине, куда в 1923 г. забрал и мать, Н. П. Пумпянский, вступив в ВКП(б), скончался 12 июля 1932 г. в Пекине, о чем бывший министр Временного Сибирского правительства И. И. Серебренников записал в дневнике: «В последние годы он был на службе у большевиков и получал 1000 иен жалованья в месяц. Умирая, он не скрывал того, что служил большевикам только ради “шкурных интересов”, и заявил, что не верит в успех коммунистического эксперимента» (цит. по.: *Хисамутдинов А. А.* Пекин в дневниках И. И. и А. Н. Серебренниковых. Владивосток, 2017. С. 54).

# 338

Отказываясь от военной службы и присяги Николаю II, духоборы подвергались гонениям со стороны правительства, и с декабря 1898 г. по апрель 1899 г. примерно треть их (до 7,5 тыс. человек) четырьмя партиями, при материальной поддержке Л. Н. Толстого, эмигрировала в Канаду, где П. В. Веригин, автор «Декларации братской жизни», присоединился к своим приверженцам (после освобождения в декабре 1902 г. из ссылки, в которой, в Архангельской и Тобольской губерниях, находился беспрерывно с 1887 г.).

# 339

Неточность: в приговоре от 14 мая 1890 г. говорилось, что «за отказом обвинителя, полицейского надзирателя Черноруцкого, от обвинения состоящего под надзором полиции крестьянина Петра Васильева Веригина, как получившего разрешение полиции на отлучку из г. Шенкурска, этот последний должен быть освобожден от наказания за нарушение 63 ст[атьи] Мирового Устава», и потому следует считать его по суду «оправданным» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 118. Л. 12–13).

# 340

Еще 6 марта 1906 г., выражая благодарность за книги, присланные В. В. Водовозовым, и с гордостью сообщая, что крестьяне Велико-Николаевский волости заочно избрали его – торговца, живущего в городе! – уполномоченным на уездный съезд по выборам в Государственную думу, 48-летний А. Е. Исупов писал о себе: «Живу тем же трудом, что и раньше, – торгую, хотя так же плохо, как и раньше, при Вас. Все, что мог и что имел, тратил на детей, поэтому ныне сам только кормлюсь; имею, правда, в Шенкурске свой дом, стоящий около 2 т[ысяч] р., но своего оборотного капитала в торговле – почти ни копейки, как и с самого начала моей торговли» (Там же. Д. 2192. Л. 6–7).

# 341

Трудовики – демократическая внепартийная депутатская фракция в Государственной думе 1–4-го созывов, представлявшая «трудящиеся классы народа»: крестьян, рабочих, интеллигенцию народнического направления.

## 342

См.: Государственная дума. Стенографические отчеты. 1906 год. Сессия I. СПб., 1906. Т. I: Заседание 16. 27 мая 1906 г. С. 702–704.

# 343

А. Е. Исупов, правительственный комиссар Временного управления Северной области по Шенкурскому уезду с августа 1918 г., оказавшийся из-за отступления белой армии в Архангельске, был арестован 30 июля и расстрелян 15 октября 1920 г. по решению губернской ЧК.

Федор Федорович Ольденбург скончался в 1877 г.

Зачеркнуто: «Конечно, благодаря ряду более или менее случайно совпавших обстоятельств, ссылка в Шенкурске в мое время была гораздо легче, чем в остальных ссыльных местах и особенно чем в Сибири или хотя бы в соседней с нами Вологодской губернии, ссылка в которой на лестнице наказаний считалась более легкой. Тут сошлись и наличность книг и журналов, и по временам освежение благодаря петербургским посещениям, и отсутствие особого административного гнета, и сносные материальные условия. И все-таки, в общем, атмосфера была тяжела, и жилось нелегко».

## 346

В рукописи зачеркнуто: «по себестоимости (рублей 5 в месяц обед и ужин)».

# 347

Зачеркнуто: «Собственно действительно заняты в Шенкурске были только двое: Никонов и я. Мы оба усиленно готовились к экзаменам и чувствовали себя занятыми. Остальные томились бездельем, играли в карты, пьянствовали, сплетничали и ссорились».

# 348

22 февраля 1889 г. члены «Союзного террористического кружка» И. В. Дембо и А. И. Дембский, готовившие покушение на императора Александра III, при испытании ими в окрестностях Цюриха метательного разрывного снаряда были ранены, первый – смертельно.

## 349

В рукописи далее зачеркнуто: «в усиленной степени, а вместе с тем какой-то очень странной нервностью».

## 350

От *фр*. corde – веревка, лонжа, то есть на привязи.

А. А. Никонов скончался 29 ноября 1924 г.

# 352

См.: «28 ноября скончалась во французской больнице Вера Петровна Водовозова, хорошо известная в кругах передовой русской интеллигенции издательница портретов писателей, композиторов и революционных деятелей. Покойная – уроженка г. Саратова, жена писателя В. В. Водовозова, – в свое время отбывала административную ссылку на Севере России, куда была доставлена по этапу при самых тяжелых условиях, затем, по возвращении из ссылки, неоднократно подвергалась обыскам и арестам, расстроившим окончательно ее слабое здоровье. Из своих скромных издательских заработков В. П. Водовозова делала щедрые отчисления в пользу ссыльных и отбывших наказание революционеров» (Вера Петровна Водовозова // Неумолчное слово. 1917. № 2. 30 нояб.). См. также: Похороны В. П. Водовозовой // Народное слово. 1917. № 2. 2 (15) дек.

# 353

13 января 1890 г. архангельский губернатор Н. Д. Голицын уведомил Департамент полиции, что, поскольку «ссыльный Василий Водовозов ведет себя <…> вполне безукоризненно и политической неблагонадежности ничем не обнаруживает», то он находит «заслуживающим уважения» ходатайство его матери, вдовы коллежского советника Е. Н. Водовозовой о дозволении сыну приехать в Петербург для сдачи экзаменов на ученую степень при столичном университете. Начальник Архангельского губернского жандармского управления полковник К. А. Латухин также докладывал 18 января, что состоящий под гласным надзором Водовозов «ведет себя скромно», «между ссыльными пользуется авторитетом, почему ссыльные, прибывающие в г. Шенкурск, долгом считают прежде всего посетить его; квартирует он вместе с Верой Петровой Шейдаковой, с которой находится в самых близких отношениях…». И далее: «Вскоре после приезда в г. Шенкурск Водовозов просил разрешения чрез администрацию держать экзамен в Ярославском юридическом лицее, но ходатайство его тогда не было уважено. Не имея определенных занятий, Водовозов проводит время в чтении книг, выписываемой газеты “Русские ведомости” и изучает юридические науки; по сведениям, он будто бы доставляет корреспонденции в газеты “Сын Отечества” и “Неделю”, но установить это обстоятельство не представилось еще возможным; знакомство ведет со всеми политическими, частью с уголовно-ссыльными и с некоторыми сочувствующими ему жителями, кои хотя и не скомпрометировали еще себя, тем не менее за ними мною поручено штаб-ротмистру Сомову иметь секретное наблюдение». 10 марта последовало распоряжение директора Департамента полиции П. Н. Дурново: «Поднадзорному Водовозову разрешается 20 марта выехать из Шенкурска в Петербург» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 51–52, 56).

Так в рукописи.

## 355

Посетив директора Департамента полиции П. Н. Дурново 12 мая 1890 г., мать В. В. Водовозова добилась разрешения, что ее сын проведет летнее время на их даче на станции Сиверской Варшавской железной дороги (см.: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 59, 62).

## 356

Международный «тюремный» конгресс проходил 15–24 июня 1890 г., см.: *В[одовоз]ов В.* IV пенитенциарный конгресс в С.-Петербурге // Северный вестник. 1890. № 10. Отд. 2. С. 1–28.

## 357

См.: *Водовозов В.* [Рец. на кн.:] Ренненкампф В. Конституционные начала и политические воззрения кн. Бисмарка. Киев, 1890 // Юридический вестник. 1891. Кн. 2. С. 250–259.

# 358

Вернувшись в Шенкурск 12 января 1891 г., В. В. Водовозов, как докладывал архангельский губернатор, 15 февраля «вступил в брак с бывшей же политической ссыльной Верой Шейдаковой» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 72–73).

# 359

«Полное собрание законов Российской империи» вышло в 1830 г. в 45 томах; второе собрание (в 55 томах) выходило ежегодно в 1830–1884 гг.

# 360

7 июня 1891 г. В. В. Водовозов обратился с прошением к директору Департамента полиции: «Суровый и непостоянный климат Архангельской губернии довольно сильно расстроил мое и без того слабое здоровье; у меня слабая грудь и постоянные лихорадки. Кроме того, сдав в 1890 г. экзамен на степень кандидата прав, я хотел бы продолжать мои научные занятия и готовиться к экзаменам на степень магистра; но это оказывается невозможным в Шенкурске, не имеющем ни библиотеки, ни даже книжного магазина. Не осмеливаясь просить Ваше Превосходительство о переводе в какой-нибудь из южных университетских городов, например Киев, я имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить мне окончить срок ссылки в г. Саратове или же в г. Твери, который в климатическом отношении уступает южным городам, но зато в санитарном отношении и относительно медицинской помощи стоит довольно высоко. Если же это окажется почему-либо невозможным, то я имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство назначить мне один из следующих городов: Самару, Рязань, Полтаву, Курск или Воронеж». Департамент полиции признал возможным «испросить Всемилостивейшего Государя Императора соизволение на разрешение Василию Водовозову отбывать остающийся срок надзора в г. Самаре», на что 25 июля было получено высочайшее согласие (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 74–76).

## 361

Имеется в виду проходное свидетельство – особое удостоверение личности, которое выдавалось ссыльным на время переезда их в другой населенный пункт и которое по прибытии поднадзорного в место следования требовалось предъявить местной полиции.

# 362

В рукописи далее зачеркнуто: «и так как в Самаре вообще не была введена прописка паспортов, то и они жили у меня без предъявления документов, и никаких неприятностей от этого не было».

## 363

Н. К. Михайловский гостил на даче у В. В. Водовозова 10–17 июня 1892 г. (см.: Самарская губерния день за днем… (1891–1895 годы): хроника событий. Самара, 2004. С. 63).

Нелегальный орган Социально-революционной партии «Народное право», редактором которого согласился стать Н. К. Михайловский, так и не увидел свет ввиду последовавших весной – летом 1894 г. арестов М. А. Натансона и других лидеров «народоправцев», а также провала их смоленской типографии.

# 365

См., например: [*Водовозов В.*] Урезанный отчет. (Письмо из Самары) // Неделя. 1892. № 8. 23 февр.; *Водовозов В.* Николаевские земцы и голодные суммы // Русская жизнь. 1892. № 104. 20 апр.; *В[одовозо]в В.* Самара (Виды на урожай) // Там же. № 201. 26 июля.

П. П. Крылов, в описываемое время уездный врач Самарского уезда, позднее стал депутатом 1-й Государственной думы.

# 367

На «процессе 193-х» В. А. Осипову было засчитано предварительное заключение, его выслали под гласный надзор полиции в Самару.

# 368

Ср.: «В Самаре еще с начала сентября был организован по инициативе преосвященного Владимира епархиальный благотворительный комитет. <…> В члены комитета были приглашены некоторые из священников, купцов и пишущий эти строки, как занимающийся статистическими исследованиями и потому “знакомый с нуждами крестьян”. <…> Средства комитета состояли из пожертвований частных лиц, Комитета Государя Наследника Цесаревича, Общества Красного Креста. Никаких других официальных или частных комитетов для помощи крестьянам не существовало» (*Красноперов И.* 1891 год. (Отрывки из воспоминаний) // Мир Божий. 1898. № 12. С. 43–58). В состав Епархиального в г. Самаре комитета для пособия пострадавшим от неурожая входили председатели губернской и уездной земских управ, городской голова и заведующий земским статистическим бюро И. М. Красноперов, а от духовного ведомства – ректор Самарской духовной семинарии архимандрит Серафим, кафедральный протоиерей Валериан Лаврский и еще четыре протоиерея (см.: Распоряжения епархиального начальства. По поводу неурожая хлеба. 18 сентября 1891 г. // Самарские епархиальные ведомости. 1891. № 19. 1 окт. С. 577). Но уже в декабре по предписанию Особого комитета для помощи нуждающимся в местностях, постигнутых неурожаем, произошло объединение епархиального комитета и попечительства Красного Креста в Самарский губернский благотворительный комитет (председатель: губернатор, вице-председатель: епископ Самарский и Ставропольский, члены: губернский предводитель дворянства, вице-губернатор, председатель губернской земской управы, кафедральный протоиерей) с исполнительным комитетом под председательством вице-губернатора и общими собраниями – с приглашением на них «всех лиц, участие которых будет признано полезным для дела» (см.: Журнал соединенного присутствия Самарского губернского попечительства Красного Креста и Епархиального комитета, 29 декабря 1891 года // Там же. 1892. № 2. 15 янв. С. 64).

## 369

См.: «Сначала было дано занятие приблизительно 400 рабочим, состоявшее в очистке улиц от излишнего снега, в выравнивании ухабов и прочее; но уже через несколько дней можно было приступить к работе более серьезной – к устройству бухты для зимней стоянки пароходов и к ломке камня (за городом) для той же бухты и для шоссирования некоторых дорог. Первая из этих работ предназначалась на 5000 человек пеших и на 2000 конных (во всей Самарской губерн[ии] нуждаются в работе около 270 000 человек)» (*Водовозов В.* Общественные работы в Самаре (корреспонденция) // Юридический вестник. 1892. Т. 10. Кн. 3. С. 489–492).

## 370

Ср.: «В Самаре жило немало не видных интеллигентных молодых людей, служащих в земских и городских учреждениях, политических ссыльных, поднадзорных, и всем им была дана работа. Это был первый опыт, когда бесправной молодежи была дана возможность вступить на арену общественной деятельности, проявить свои силы и знания. <…> В первое время, по прибытии в Самару массы крестьян, надо было найти им жилище, продовольствие, распределить между ними работы и руководить ими на первых порах. Все крестьяне пришли в Самару в летней одежде, некоторые в одной рубахе, при наступлении зимы работа на открытом воздухе в летней одежде была немыслима, поэтому и с этой стороны надо было как-нибудь помочь горю. <…> На ежедневных вечерних собраниях молодежи, нередко затягивавшихся далеко за полночь, обсуждались вопросы о том: где найти для рабочих квартиры, как и чем их кормить, в каком размере платить рабочую плату за те или другие работы и т. д., – все это вопросы, предоставленные на разрешение молодежи» (*Красноперов И.* Указ. соч. С. 46–47).

# 371

С.-Петербургский комитет грамотности, созданный Императорским Вольным экономическим обществом в 1861 г. для распространения начального народного образования, главным образом среди крестьян, был закрыт в 1895 г.

## 372

См.: «Ранее всех в январе месяце в Самару приехала Надежда Константиновна Ушинская, дочь знаменитого педагога. Эта благородная девушка привезла с собой несколько тысяч рублей денег и готова была посвятить свою жизнь и деятельность на пользу голодающего населения. <…> Александр Геннадиевич Мягков, студент горного института, еще с осени жил в селе Куроедовке Ставропольского уезда, где он тоже открыл большую столовую. Он оставался здесь даже в момент появления в деревне холеры и цинги и сам ухаживал за больными. Там же жила и для той же цели М. И. Токмакова (впоследствии жена Н. В. Водовозова), всецело посвятившая себя уходу за больными. <…> Большинство молодежи жило в деревнях до момента появления холеры (в конце июня), а некоторые жили и в холерное время, особенно женщины» (*Красноперов И.* Указ. соч. С. 54, 56, 57).

## 373

Песня «Дубинушка», с использованием народного припева, на стихотворение В. И. Богданова, опубликованное в 1865 г., в переработке А. А. Ольхина была напечатана анонимно в Женеве в 1885 г. Стихотворение А. А. Навроцкого «Утес Стеньки Разина» («Есть на Волге утес…»), написанное в 1864 г., впервые появилось в журнале «Вестник Европы» (1870. № 12) и стало песней, которую участники «хождения в народ» назвали «русской Марсельезой».

См.: *Успенский Г. И.* Власть земли: очерки и «отрывки из памятной книжки». М., 1882.

## 375

Высшие женские курсы в Петербурге, неофициально именовавшиеся Бестужевскими по фамилии их учредителя и первого директора – историка К. Н. Бестужева-Рюмина, открылись в 1878 г.

## 376

Неточность: О. И. Ульянова поступила на физико-математическое отделение Бестужевских курсов осенью 1890 г., но, заболев брюшным тифом, скончалась 8 мая 1891 г.

# 377

26 сентября 1890 г. О. И. Ульянова из Петербурга писала своей старшей сестре А. И. Ульяновой-Елизаровой: «Познакомилась я у В[ин]б[ергов] с В. В. В[одовозовым]; он говорит, что писал Марку [Елизарову] об экзаменах в юридическую комиссию и, кажется, не советовал Володе ехать. Сам он приехал сюда держать экзамены; он очень умный человек, любит говорить и говорит интересно» (Ленин – Крупская – Ульяновы. Переписка (1883–1900). М., 1981. С. 41).

# 378

После ареста в ночь на 5 декабря 1887 г. за участие в студенческой сходке В. И. Ульянов был исключен из Казанского университета и выслан в деревню Кокушкино под негласный надзор полиции.

## 379

В рукописи ошибочно указано: «Ильинична».

# 380

Комментируя историю со взятой братом и потерянной книгой, А. И. Ульянова-Елизарова замечала: «…в 1892 г. у меня было объяснение относительно нее с В. В. Водовозовым в Самаре. Он сказал М. Т. Елизарову, что вот все же Александр Ильич не вернул ему этой книги, хотя обещал возвратить; что В. В. предупреждал его относительно того, какая редкая это книга, а Александр Ильич может влететь серьезно (В. В. Водовозов утверждал, что слышал что-то о террористическом замысле). В. В. зачислял этот факт – в осторожных, правда, выражениях – в пассив этической личности брата, как вообще террористов и революционеров, небрежно относящихся к чужой собственности, к исполнению данных обещаний. Он как бы говорил этим: “Жизнью, правда, я (и такие, как я) за общее благо не жертвую, но одолженные мне книги возвращаю неизменно”. Возмущенная, понятно, таким отношением со стороны человека, которого считала одним из товарищей Саши, я указала в своем объяснении, что даже на последнем свидании перед казнью Саша беспокоился относительно этих книг и просил мать разыскать их. – “Вот если бы вы мне это сказали…” – прервал меня Водовозов. – “Мало же вы знали брата, если то, что я сказала вам, явилось новостью для вас”, – ответила я. Водовозов промолчал. Помню, что Володя очень возмутился, когда я передала ему об этом разговоре. – “Пусть он прямо скажет, чего он хочет: пусть скажет, сколько стоит книга, и мы вернем ему”. И досадливо передернул плечами, когда я указала, что Водовозов говорит не о деньгах, а вносит, как бы сказать, этим фактом поправку в нравственную характеристику Саши. Прочитав в 1926 году в заграничном журнале “Голос минувшего из чужих краев” статью В. Водовозова “Мои встречи с Лениным” (Правильно: «Голос минувшего на чужой стороне»; «Мое знакомство с Лениным». – *В. Г.*), где он делит семью Ульяновых на два этических типа, противопоставляя Владимиру Ильичу и мне высшую моральную организацию и большее благородство брата Александра Ильича и других членов нашей семьи, я припомнила, что он находил дефект в нравственной личности и Александра Ильича» (*Ульянова-Елизарова А. И.* Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове. С. 283–284).

# 381

В 1863 г., сдав экзамены на звание домашней учительницы, М. А. Ульянова (урожденная Бланк) вышла замуж за И. Н. Ульянова, служившего учителем математики в Пензенском дворянском институте.

соблюдения хорошего тона, светских приличий (от *фр*. bon ton).

# 383

В. С. Голубев умер в 1911 г. 20 апреля 1908 г. он писал В. В. Водовозову: «Разъединенные после стольких лет совместной работы, мы совсем теряем из виду друг друга. Как тяжела потеря “Наш[ей] жизни”. Вы, конечно, знаете, что я и Жилин работаем в “Слове”, т. е. спустились в буржуазные сферы. Но мне кажется, что мы не делаем все-таки дурного дела. А “Слово” все-таки несколько полевело. Да и где же теперь работать, а ведь работать приходится. В политическом отношении “Слово” радикально, на левых не нападает. В общем, чистоплотно. Вот, может быть, и Вы не надумаете ли что-либо прислать в “Слово”? Я знаю, что для Вас это нелегко. Но я знаю в то же время, что именно для Вас отсутствие цензурной работы страшно тяжело» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2128. Л. 1).

См.: *Янжул И.* Практическая филантропия в Англии // Вестник Европы. 1890. Т. 1. С. 620–674.

## 385

Ср.: «В январе 1883 года он вздумал прочесть перед обширной и весьма смешанной аудиторией лондонских рабочих две лекции о трудах известного Генри Джорджа, к некоторым положениям которого он относился критически. Небольшая часть аудитории принадлежала к крайней партии, которой не нравились некоторые замечания оратора; поднялся шум, и лекции по временам прерывались. Не нужно объяснять, как это должно было глубоко поражать и действовать на сердце впечатлительного энтузиаста. 13-го января того же года, почти умирающий, уже с большим трудом прочел Тойнби вторую лекцию, на которой произошел беспорядок. Страшное нервное возбуждение произвело у него продолжительную, на несколько недель, бессонницу; это состояние разрешилось воспалением мозга и в семь недель свело его в могилу; ему было менее 31 года от роду» (Там же. С. 649–650).

Ленинские апологеты до сего дня ломают копья по поводу «вздора о “прогрессивности голода”, который Водовозов приписывал Ульянову», «заведомой неправды» и «наветов» его на вождя большевизма; см., например: *Логинов В. Т.* В. И. Ленин. Полная биография. М., 2021. С. 97–104.

# 387

Ср.: «Голодный тиф, голодная смерть, самоубийство от голода, убийство близких людей с целью избавить их от невыносимых мучений, а в лучшем случае полное экономическое разорение – вот что выпало теперь на долю и без того уже совсем не избалованных судьбой крестьян, бедных городских мещан и рабочих. При виде этого страшного положения чувство ответственности перед родиной пробуждается даже в таких сердцах, которые никогда еще не сочувствовали народному горю; сознание гражданских обязанностей закрадывается даже в такие головы, вся политическая мудрость которых исчерпывалась правилом: бога бойся, царя почитай. Тем энергичнее должны исполнять свою обязанность мы, социалисты, давно уже открывшие глаза на бедственное положение народа и объявившие решительную, беспощадную войну всем его эксплуататорам. Теперь, при уходе за больными жертвами голода, ежедневно рискуют своею жизнью даже такие люди, на которых мы привыкли смотреть с некоторым пренебрежением, как на сторонников маленьких социальных (“*законных*”) полу-реформ, *мирных* деятелей, напрасно старающихся вычерпать чайной ложечкой глубокое безбрежное море народных страданий. Эти мирные – и, по правде сказать, очень нелогичные – люди бесстрашно исполняют свой долг, как они его понимают. Неужели мы останемся позади них? Неужели *наша* энергия и *наше* самоотвержение не удесятерятся ввиду настоятельных требований переживаемого нами исторического момента?» (*Плеханов Г. В.* О задачах социалистов в борьбе с голодом в России: (Письма к молодым товарищам). Женева, 1892. С. 1–2).

## 388

См.: *Булгаков С. Н.* Еще несколько слов по поводу неурожая // Новое слово. 1897. № 12. С. 268–272.

## 389

Правильно: «Петроградская правда».

с соответствующими изменениями (*лат.*).

# 391

Неточность: 18 сентября 1892 г. министр внутренних дел И. Н. Дурново уведомил самарского губернатора, что признано возможным разрешить В. В. Водовозову «временное пребывание в С.-Петербурге в течение трех месяцев для научных занятий», о чем поднадзорный ходатайствовал 1 сентября: «Находясь вот уже пятый год в административной ссылке, я лишен возможности как подготовляться к экзамену на степень магистра уголовного права, так и заниматься всякой иной самостоятельной научной работой. В настоящее время я взялся за составление большого труда по этнографии Африки, но работа эта требует пользования массой научных пособий, доступных для меня только в С.-Петербургской Публичной библиотеке. Поэтому я решаюсь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство дозволить мне приехать на три месяца из Самары, где я теперь нахожусь, в С.-Петербург…» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 81–81а).

11 сентября Водовозов пояснял матери: «Милая мама, написать прошение так, как ты хочешь, я не могу. Я могу написать иначе, но та форма, которую предлагаешь ты, для меня представляется невозможной. <…> Твое прошение не хорошо потому, что это связывает меня обязательствами не на три месяца, а на всю жизнь, – я же таких обязательств дать не могу. Но если ты думаешь иначе, то делать нечего, и я примирюсь с Самарой еще на 5 мес. Что касается до литературной работы, то я не могу смотреть на нее как на дело своей жизни. Не в том дело, что популяризация менее почетна, чем наука, или обратно, а в том дело, что ни популяризация, ни наука не могут быть серьезным делом при русских журнальных и цензурных условиях; кто думает иначе, тот, мне кажется, обольщается. <…> Найти себе заработок после освобождения (если понадобится), я найду, в случае нужды, и без литературы, – об этом я говорю тебе с уверенностью. Но пока я все-таки не вижу надобности отказываться и от литературы. Но дело пока не в этом, а только в том: возможно ли мне попасть в П[етер]б[ург] теперь? Я бы охотно подал прошение даже о трехнедельном отпуске с тем, чтобы потом вернуться в Самару, но если ты не находишь возможным идти к Д[урново] с моим прошением, то, значит, и разговаривать нечего» (Там же. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2646. Л. 1–2).

# 392

В. В. Водовозов с женой покинул Самару 29 сентября 1892 г., а 3 октября М. Т. Елизаров шутливо писал ему: «…Как-то Вы добрались до Петербурга? У нас здесь погода опять испортилась. Пошли дожди. Был у Крылова, и он мне сообщил по секрету, что просил Вас о содействии…, т. е. чтобы Вы, когда будете министром в Болгарии, дали ему место директора медицинского департамента. Ввиду сего и я обращаюсь к Вам с просьбой – дайте и мне место, ну, хоть правителя канцелярии какого-нибудь министерства… Однако довольно болтать. Прощайте! Желаю Вам всяких благ. Передайте почтение Вере Петровне, Василию Ивановичу и всем общим знакомым. Остаюсь Ваш, М. Елизаров» (Там же. Д. 2158. Л. 5).

# 393

Тенишевское училище – среднее учебное заведение на Моховой улице, основанное в Петербурге в 1898 г. князем В. Н. Тенишевым; получило в 1900 г. статус коммерческого училища.

Мемуарист путает место проведения митинга, ср.: «Наиболее многолюдным было собрание в народном доме гр. Паниной, созванное 9 мая трудовиками и социал-демократами. Огромный зал был переполнен. В толпе преобладали рабочие. После доклада В. В. Водовозова, говорившего о необходимости путем давления на Государственную Думу обеспечить руководящую роль в ней за “Трудовой группой”, выступали представители социал-демократов. Под именем Берсенева говорил Ф. Дан. <…> Когда он кончил, на трибуну поднялся следующий оратор. Часть собрания встретила его бешеными аплодисментами, но большинство смотрело на аплодировавших с недоумением, не понимая, что означают эти овации по адресу никому неведомого “г. Карпова”. <…> И далее, при возраставшем энтузиазме собрания, оратор отстаивал “старый, испытанный путь революции”: “Не поддерживать Думу, не давить на нее мы должны, а вне ее накапливать свои силы для решительного последнего боя с самодержавием”. Это был Ленин» (*Войтинский В. С.* Годы побед и поражений. Берлин, 1924. Т. 2. С. 54).

См. также газетный репортаж с митинга: «“Нагайка свирепствует, бесправие и произвол царят по-прежнему, – начал свою речь г. Водовозов, – несмотря на то что у нас заседает Государственная Дума. Понятно, что у многих вследствие этого взгляд на нее далеко не оптимистический; все несчастье в том, что в Думу попали кадеты, которые не «требуют», как это следовало бы, а «просят». Но социал-демократы, сделавшие громадную ошибку, бойкотируя выборы, должны теперь исправить ее, влияя на Трудовую группу, заставляя ее таким образом проводить в жизнь свои идеалы. К.-д. должны пойти у нее на буксире”. <…> Далее произносит сильную речь г. Ленин. Кадеты, по его словам, превратили Думу из органа гнева и борьбы в орган просьбы. Путем ходатайств они ничего не добьются». В заключение Лениным была предложена единогласно принятая резолюция: «Собрание заявляет, что партия народной свободы и кадеты выразили лишь робко и неполно народные требования, не выполняют своего обещания объявить созыв всенародного учредительного собрания. Мы предостерегаем народ от партии, которая колеблется между народной свободой и угнетающей народ старой самодержавной властью. Мы призываем крестьянскую (Трудовую) и рабочую группы в Государственной Думе выступать решительно, совершенно независимо от кадетов, каждая со своими самостоятельными требованиями и заявлять

полностью нужды народа…» (Митинг в народном доме гр. Паниной // XX век. 1906. № 43. 11 мая; см. также: *А. Б.* Митинг в доме гр. Паниной // Наша жизнь. 1906. № 442. 11 мая).

## 395

См., например: Греция: Новая история. Современное государственное устройство и финансы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1893. Т. 9а. С. 650–662; Ионийские острова // Там же. СПб., 1894. Т. 13а. С. 747–748; Италия (1792–1894) // Там же. С. 533–566, и др.

См., например: Государственное банкротство // Там же. СПб., 1893. Т. 9. С. 393–394; Демократия // Там же. СПб., 1893. Т. 10. С. 368–371; Империализм // Там же. СПб., 1894. Т. 13. С. 13–14; Милитаризм // Там же. СПб., 1896. Т. 19. С. 293–295, и др.

## 397

В рекомендации от 28 сентября 1892 г., которую самарский врач В. О. Португалов адресовал редактору-издателю газеты «Русская жизнь» А. А. Пороховщикову, говорилось: «Вручитель этого письма, В. В. Водовозов, Вам знаком лишь как сотрудник, и то – недавно. Я же его знаю и давно, и хорошо. Смею Вас уверить, что чем больше Вы с ним сблизитесь, тем лучше будет для Вас и для Вашей газеты. Я даже прямо прошу Вас об этом» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2820. Л. 1).

## 398

Из Петербурга В. В. Водовозов отбыл за границу 14 мая 1893 г. по Варшавской железной дороге (Там же. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 113).

Parteiwesen (*нем.*) – партийное дело.

См.: *Ostrogorski M.* La democratie et l'organisation des partis politiques. Paris, 1903. T. 1–2; *Lowell L.* Governments and Parties in Continental Europe. Boston; N. Y., 1896. 2 vols.; *Michels R.* Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. Leipzig, 1911.

# 401

См., например: *Водовозов В. В.* Что такое политическая партия? Пг., 1917.

См. статьи «Демократическая партия в Сев. Амер. Соединенных Штатах», «Конституционно-демократическая партия в России», «Крестьянский Союз всероссийский», «Либерализм», «Младотурки», «Монархия», «Народная Воля», «Оппозиция», «Оппортунисты», «Партии политические», «Свободомыслящие», «Свободомыслящие в России», «Социалистические партии», «Союзы и собрания в России», «Союзы профессиональные и политические в России», «Трудовая группа» и др.

## 403

См.: *Водовозов В. В.* Политические партии Австрии // Русское богатство. 1898. Кн. 9. С. 142–160.

См.: Slovník národohospodářský, sociální a politický. Praha, 1929–1933. Díl 1–3.

# 405

В результате объединения Всеобщего германского рабочего союза (Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein), организованного в 1863 г. Ф. Лассалем в Лейпциге, и Социал-демократической рабочей партии (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands), созданной в 1869 г. А. Бебелем и В. Либкнехтом в Эйзенахе, в 1875 г. на съезде в Готе была учреждена Социалистическая рабочая партия Германии (Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands), переименованная в 1890 г. в Социал-демократическую партию Германии (Sozialdemokratische Partei Deutschlands).

В 1884 г., помимо культурно-просветительного Немецкого союза свободомыслящих (Deutscher Freidenkerbund), основанного во Франкфурте-на-Майне в 1881 г. для объединения атеистов и материалистов, возникла Немецкая партия свободомыслящих (Deutscher Freisinnige Partei), образовавшаяся путем объединения Немецкой прогрессистской партии (Deutsche Fortschrittspartei) и Либерального союза (Liberale Vereinigung) – отколовшегося левого крыла Национал-либеральной партии (Nationalliberale Partei).

# 407

Партия католического центра, Партия Центра (Deutsche Zentrumspartei), основанная в декабре 1870 г.; получила название от католической группы («фракции Центра»), существовавшей в 1858–1867 гг. в парламенте Пруссии, члены которой занимали места в его центральной части между консерваторами справа и либералами слева; отстаивала права католической церкви и национальных меньшинств, зачастую находясь, особенно при Бисмарке, в оппозиции к имперскому правительству.

Имеются в виду Немецкая консервативная партия (Deutschkonservative Partei, 1876–1918) и Свободно-консервативная партия (Freikonservative Partei, 1866–1918), позже именовавшаяся Немецкой имперской партией (Deutsche Reichspartei, с 1881).

# 409

В 1886 г. был учрежден Немецкий антисемитский союз (Deutsche Antisemitische Vereinigung), а в 1890 г. основана Антисемитская народная партия (Antisemitische Volkspartei), переименованная в 1893 г. в Немецкую реформаторскую партию (Deutsche Reformpartei).

## 410

Авторство изречения «Der Antisemitismus ist der Sozialismus der dummen Kerle» А. Бебель приписывал австрийскому социал-демократу Ф. Кронаветеру (см.: *Bahr H.* Der Antisemitismus: ein internationales Interview. Berlin, 1894. S. 21).

# 411

Г. В. Плеханов активно сотрудничал в «Die Neue Zeit» (см., например: Wie die Bourgeoisie ihrer Revolution gedenkt // Die Neue Zeit. 1890–1891. Jg. IX (1890). Bd. 1. № 4, 5; Die sozialpolitischen Zustände Rußlands im Jahre 1890 // Ibid. Bd. 2 (1891). № 47–52; Zu Hegels sechzigstem Todestag // Ibid. 1891–1892. Jg. X (1892). Bd. 1. № 7–9, и др.).

# 412

Воспользовавшись двумя покушениями на императора Вильгельма I, канцлер Отто фон Бисмарк добился принятия 19 октября 1878 г. исключительного закона против социалистов («Закона против вредных и опасных стремлений социал-демократии»), которым запрещалась всякая их деятельность вне рейхстага и ландтагов, что привело к роспуску более 300 партийных организаций, запрещению периодических изданий, высылке и тюремному заключению многих социал-демократов; хотя антисоциалистический закон ввели на 2,5 года, срок действия его неоднократно продлевался, вплоть до отмены в сентябре 1890 г.

# 413

Национал-либеральная партия (Nationalliberale Partei, 1867–1918), выступая за национальное объединение Германии и поддерживая политику Бисмарка, имела самую многочисленную фракцию в первых трех рейхстагах, но уже на выборах 1893 г. завоевала всего 13% голосов.

Рейхстаг избирался на три года, но в 1888 г. был принят закон об увеличении срока его полномочий до пяти лет, вступивший в силу в 1890 г.; ввиду непринятия 6 мая 1893 г. военного законопроекта, предлагавшего сокращение продолжительности службы в армии (с 3 до 2 лет) при увеличении ее численности в мирное время (до 492 тыс. нижних чинов, без унтер-офицеров, т. е. на 70 тыс. человек), рейхстаг был распущен на два года раньше.

# 415

В 1893 г. Немецкая партия свободомыслящих (Deutsche Freisinnige Partei) раскололась на Народную партию свободомыслящих (Freisinnige Volkspartei), сторонники которой выступали против увеличения военного бремени, и Союз свободомыслящих (Freisinnige Vereinigung), вновь объединившиеся в 1910 г. под названием Прогрессивной народной партии (Fortschrittliche Volkspartei).

# 416

4 июля 1914 г. депутаты-социалисты единогласно проголосовали за предоставление правительству военных кредитов.

по случаю, для этой цели (*лат.*).

# 418

Имеется в виду Русско-турецкая война 1877–1878 гг.

# 419

Денежная реформа 1895–1897 гг., укрепив курс обесценивавшегося бумажного рубля, ввела золотой стандарт (свободный, без ограничений обмен новых, обеспеченных золотом кредитных билетов на золотую монету), который был отменен лишь в 1914 г. в связи с началом Первой мировой войны.

# 420

В результате федеральных выборов, состоявшихся 15 июня 1893 г., Социал-демократическая партия Германии, за которую проголосовали 23,3% избирателей, получила в рейхстаге 44 депутатских мандата из 397, заняв по численности фракции четвертое место после Партии Центра (96 мандатов), Немецкой консервативной партии (72 мандата) и Национал-либеральной партии (53 мандата).

# 421

Военный законопроект был принят рейхстагом 15 июля 1893 г.

В. В. Водовозов вернулся в Россию 19 июля 1893 г.

## 423

Речь идет о мызе (усадьбе) Преображенской на правом берегу реки Луги.

См.: [*Водовозов В.*] Социал-демократы и свободомыслящие // Русская жизнь. 1893. № 139. 28 мая; *Водовозов В.* Выборное движение в Германии // Там же. № 140, 141. 29, 30 мая.

# 425

В имении Блонь Пуховичской волости Игуменского уезда Минской губернии, доставшемся А. О. Бонч-Осмоловскому в наследство от отца, гостили Е. К. Брешко-Брешковская, Г. А. Гершуни, С. Ф. Ковалик и др. революционеры, а в 1905 г. там устроили нелегальную эсеровскую типографию, см.: *Ваховская В. (Бонч-Осмоловская)*. Жизнь революционерки. М., 1928. С. 19.

# 426

В послании В. И. Бонч-Осмоловской от 6 сентября 1893 г. говорилось: «Когда я Вам писала, Василий Васильевич, я не имела в виду Вас как воспитателя моих детей, хотя была бы счастлива, если бы мои дети имели такого воспитателя, и вот почему: Вы, человек с определенным направлением, с развитым умом, в деле воспитания видите широкую задачу будущего. Вы стремились бы передать им Ваши стремления (т. е. такие, которые и для меня святы, и если они не передадутся моим детям, то это доставит мне в будущем много страданий и укоров совести), но с большою способностью осуществлять их в жизни. Все эти качества – самые драгоценные для меня и встретить их в одном лице чрезвычайно трудно. <…> Не знаю, удовлетворила ли бы Вас такая деятельность, притом – в деревне, вдали от культурных центров, при довольно однообразной жизни; если бы – да, я была бы счастлива…» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2598. Л. 4).

# 427

Составлением раздела «Заграничные корреспонденции» в газете «Русская жизнь» В. В. Водовозов занимался с 1 октября 1893 г.

# 428

В октябре 1893 г. Е. Н. Водовозова обратилась к директору Департамента полиции с прошением о дозволении ее сыну на временное пребывание в столице еще в течение четырех месяцев, поясняя: «Он получил работу в различных органах, которая требует постоянных занятий в здешних библиотеках. Ваше Превосходительство, дозвольте ему остаться в Петербурге, не лишайте его возможности самостоятельно зарабатывать свой кусок хлеба». На прошении резолюция: «Предварительно запросить градоначальника о поведении за время пребывания». 25 октября был получен ответ, что «негласным наблюдением за дворянином Василием Васильевым Водовозовым выяснено посещение им редакций газет “Неделя”, “Русская жизнь” и журнала “Вестник Европы” и лиц, причастных к литературе; сношений же с личностями, скомпрометированными в политическом отношении, за время последнего пребывания его в С.-Петербурге не обнаружено». Благоприятный отзыв вызвал резолюцию: «Удовлетворить ходатайство» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 131, 133).

# 429

Имеется в виду 75-летие основания С.-Петербургского университета.

Н. В. Водовозов, который с 1889 г. учился на юридическом факультете Петербургского университета, был исключен из него после ареста за участие в демонстрации на похоронах Н. В. Шелгунова в апреле 1891 г. (первый раз его арестовали еще в марте 1890 г.), но, продолжив образование в Дерптском университете, в 1894 г. сдал государственные экзамены при юридической испытательной комиссии Московского университета.

# 431

9 февраля 1894 г. начальник Отделения по охранению порядка и общественной безопасности в С.-Петербурге доложил в Департамент полиции, что 8 февраля, в день празднования 75-летнего юбилея столичного университета, «в кухмистерской Петрова, в д. 41 по Разъезжей улице, студентами была устроена холодная закуска с чаем, с платой по одному рублю с человека», а всего собравшихся было до 500, в том числе профессора, литераторы, представители от других высших учебных заведений и несколько слушательниц высших женских курсов. «В течение вечера, – подчеркивалось в донесении, – разными лицами были произнесены речи противоправительственного характера, причем братья Водовозовы говорили о различных направлениях среди русских революционеров, которые, однако, должны помнить, что у них один общий враг – правительство, а потому все оппозиционные элементы должны стремиться прежде всего к достижению политической свободы». Обращаясь 25 февраля к столичному градоначальнику, директор Департамента полиции Н. И. Петров уведомлял его, что признано целесообразным «временно проживающего в С.-Петербурге Василия Водовозова удалить из столицы и пределов С.-Петербургской губернии по срок тяготеющих над ним ограничений, с предоставлением ему, для окончания дел и сдачи принятых на себя работ, отсрочки по 15-е будущего марта», а «за Николаем Водовозовым, Петром Струве и Василием Воронцовым учредить негласное наблюдение с целью выяснения их сношений и характера деятельности» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Л. 136, 139).

## 432

Н. В. Водовозов скончался в Вене 25 мая 1896 г. (см.: *Богданович А.* Памяти Н. В. Водовозова // Мир Божий. 1896. № 7. С. 243–245*; Булгаков С.* Памяти Н. В. Водовозова // Русские ведомости. 1896. № 149; *Короленко В.* Н. В. Водовозов // Русское богатство. 1896. № 7. Отд. 2. С. 179–182).

# 433

14 марта 1894 г. В. В. Водовозов обратился к директору Департамента полиции: «Честь имею предуведомить Ваше Превосходительство, что я, согласно разрешению Вашего Превосходительства, отправляюсь в поездку по Балканскому полуострову ради исследования некоторых историко-юридических вопросов, причем собираюсь посетить между прочим Болгарию и Сербию» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 141).

После отречения от престола болгарского князя Александра I Баттенберга, свергнутого русофильской партией в ходе военного переворота 9 августа 1886 г., власть перешла к регентскому совету в составе С. Стамболова, П. Каравелова и С. Муткурова. Но генерал-майор Н. В. Каульбарс, присланный заведовать русским дипломатическим агентством в Софии, получив отказ регентов на требование об отсрочке созыва Великого народного собрания для избрания нового князя, пригрозил, что Россия признает выборы незаконными. Предпринятая Каульбарсом поездка по Болгарии в самый разгар избирательной кампании и его речи, в которых, обращаясь к населению, он резко порицал действия регентства, привели к разрыву с последним, сопровождавшемуся оскорбительными выкриками толпы при появлении генерала на улице и «поруганием» здания дипломатического агентства. Хотя Каульбарс заявил, что при первом насилии, которому подвергнется кто-либо из подданных России, ее дипломатические представители оставят Болгарию, такой инцидент случился 5 ноября в Филиппополе (Пловдиве), где служитель генерального консульства в Восточной Румелии, отправленный с депешами на телеграфную станцию, подвергся жестокому избиению. Поэтому 8 ноября, спустив флаг со здания дипломатического агентства, генерал выехал через Константинополь в Россию, предписав всем русским консулам последовать его примеру и предложив всем российским подданным, проживающим в Болгарии, оставить ее пределы. Покидая княжество, генерал велел расклеить прощальную ноту, в которой объяснял, что императорский кабинет не находит возможным поддерживать сношения с болгарским правительством в его настоящем составе, ибо оно окончательно утратило доверие России. Восстановление дипломатических отношений произошло лишь через десять лет, в 1896 г.

# 435

25 июня (7 июля) 1887 г. Великое народное собрание избрало новым князем Болгарии принца Фердинанда Саксен-Кобург-Готского, который, опираясь на антироссийскую партию Стефана Стамболова, назначил его премьер-министром. В 1894 г. он был отправлен в отставку, что позволило Фердинанду вскоре добиться восстановления дипломатических отношений с Россией.

# 436

Бывший премьер-министр Болгарского княжества и глава Прогрессивно-либеральной партии Драган Цанков, проиграв в 1884 г. выборы радикалу Петко Каравелову, стал русофилом и, оправдывая свержение князя Александра «изменой» его России, охотно занял место в недолговечном временном правительстве митрополита Климента Тырновского (9–12 августа 1886 г.), но вскоре был вынужден покинуть Болгарию и поселиться в Петербурге, где жил на пенсию от русского правительства. Считаясь вождем партии непримиримой оппозиции (к ней принадлежали его зять Александр Людсканов и организаторы «переворота 9 августа» – товарищ военного министра капитан Анастас Бендерев и начальник Софийского военного училища майор Петр Груев, дослужившиеся до генеральских чинов в русской армии), Цанков был скорее ее «ширмой»: «От его имени время от времени выпускались манифесты, в которых говорилось о необходимости безусловно следовать указаниям России, великой освободительницы и покровительницы Болгарии, и о невозможности примириться с князем Фердинандом, как незаконным правителем, даже в том случае, если бы он дал отставку Стамбулову. После падения последнего Ц[анков] вернулся в Софию на основании амнистии, был принят князем в аудиенции и немедленно примирился с ним. Он был избран в народное собрание, но не мог играть сколько-нибудь заметной роли…» (*Водовозов В.* Цанков (Драган) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXXVIIa (1903). С. 793–794).

# 437

В 1893 г. Фердинанд женился на Марии-Луизе Бурбон-Пармской – дочери Роберта I, последнего герцога Пармского, лишившегося трона в 1859 г.

# 438

Болгарско-македонский революционный комитет «Искра», созданный весной 1885 г. капитаном Костой Паницей для борьбы за освобождение Македонии и нуждавшийся в средствах на покупку оружия, ограбил и убил богатого румынского землевладельца, бриллианты и ценные бумаги из сейфа которого Димитр Ризов предложил вывезти из Бухареста в гробу с останками умершего еще в 1867 г. известного болгарского революционера Георгия Раковского, для чего была развернута шумная кампания о необходимости перезахоронить национального героя на родине. В июне останки Раковского доставили в Болгарию, но хотя ценности из гроба удалось благополучно извлечь, при попытке продать их в Вене эмиссары тайного комитета были арестованы, а Панице и Ризову, в отношении которых началось следствие, пришлось бежать в Восточную Румелию.

# 439

Болгария вступила в Первую мировую войну на стороне Германии и Австро-Венгрии 14 октября 1915 г.

# 440

Неточность: Димитр Ризов умер в 1918 г.

# 441

Преврат (*болг.*) – переворот; имеется в виду переворот, совершенный 9 августа 1886 г.

См.: *Слонимский Л. З.* Балканские дела и болгарский вопрос. 1877–1887 гг. // Вестник Европы. 1887. Кн. 6. С. 576–612.

# 443

В. В. Водовозов покинул Петербург 14 марта 1894 г.

# 444

Золотой Рог – узкий, изогнутой формы залив Босфора, разделяющий город на две части – Старый и Новый (европейский), в южном прибрежном квартале которого, Галате, размещались таможня, конторы иностранных пароходств, гостиницы и странноприимные дома.

# 445

Отель «Византия»! (*фр.*).

## 446

Гостиница «Пера» (*нем.*). Пера – квартал (расположенный севернее Галаты), где издавна селились приезжие купцы и дипломаты.

# 447

Афонские православные Пантелеймонов монастырь, Свято-Андреевский и Ильинский скиты держали в Константинополе свои подворья, в которых останавливались русские паломники, направляющиеся на Святую Гору (Афон) и в Святую Землю (Иерусалим); здание монастырского подворья было построено в 1873 г.

bakshish (*тур.*) – подношение, чаевые.

## 449

Черек (правильно: чарыек, бешлык) – турецкая серебряная монета, равная 5 пиастрам или, по курсу того времени, примерно 40 копейкам.

# 450

Пиастр (куруш) – мелкая турецкая монета.

## 451

Меджидие – турецкая серебряная монета, равная 20 пиастрам или 1,6 рубля.

*Файф Ч. А.* История Европы XIX века: В 3 т. М., 1889–1890.

rüşvet (*тур.*) – взятка, подкуп.

# 454

Храм Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме делят несколько христианских конфессий: греко-православная, римско-католическая, армянская апостольская, коптская православная, сирийская (сиро-яковитская) православная и эфиопская (абиссинская) православная.

# 455

Пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех Живот даровав».

От zaptié (*тур.*) – полицейские.

# 457

В декабре 1917 г. британские войска заняли Иерусалим, и, согласно решению конференции держав Антанты в Сан-Ремо в апреле 1920 г., Палестина, которая ранее в течение почти четырех столетий входила в состав Османской империи, перешла под управление Великобритании в качестве подмандатной территории Лиги Наций; в соответствии с Севрским мирным договором от 10 августа 1920 г. черноморские проливы Босфор и Дарданеллы объявлялись демилитаризованной зоной, открытой для всех торговых и военных судов без различия флага.

# 458

Айя-София (Софийский собор, собор Св. Софии) – православный собор, построенный в 537 г. при императоре Юстиниане; после овладения столицей Византийской империи в 1453 г. османами превращен в мечеть, в 1935 г. – в музей; в 2020 г. снова получил статус мечети.

## 459

От *тур.* salamlik – торжественное шествие султана в мечеть или парадный зал.

После военного переворота 9 августа 1886 г., когда группа пророссийски настроенных офицеров арестовала болгарского князя Александра Баттенберга, заставив его подписать отречение и выслав из страны под конвоем, образовалось временное правительство во главе с митрополитом Климентом Тырновским при участии Драгана Цанкова в качестве министра внутренних дел. Но заговорщики овладели Софией лишь на три дня, ибо часть офицеров не поддержала их, а председатель Народного собрания Стефан Стамболов, находившийся тогда в Филиппополе (Пловдиве), организовал контрпереворот. Военные части, оставшиеся верными Баттенбергу, 12 августа без боя заняли Софию, после чего образовалось новое правительство, признанное Россией, во главе с Петко Каравеловым, которое, впрочем, тоже продержалось всего четыре дня. Стамболов пригласил бывшего князя, доехавшего уже до Львова, вернуться назад, чем тот не преминул воспользоваться и 17 августа из Рущука телеграфно обратился к императору Александру III, ставя свое возвращение во власть в зависимость от его соизволения, в котором было отказано. Тогда 26 августа Александр Баттенберг повторно отрекся от престола и покинул Болгарию, предварительно назначив регентами Стамболова, Каравелова и зятя Стамболова Муткурова, а главой правительства – Васила Радославова, отказавшихся подчиниться ультимативному требованию России о двухмесячной отсрочке выборов нового болгарского князя.

## 461

Имеется в виду Петр Димитров – болгарский дипломатический агент в Константинополе в 1892–1897 гг.

# 462

Речь идет о М. К. Ону.

Генеральным консулом в Константинополе был тогда А. Е. Лаговский.

# 464

Разъясняя термин «палочники» в очерке «Василий Радославов», посвященном главе болгарского правительства в 1886–1887 гг., который занимал также пост министра внутренних дел, В. В. Водовозов писал: «Когда деятельность какого-нибудь видного общественного деятеля оказывалась неудобной правительству, то к нему в дом врывалась толпа “патриотов”, состоявшая из переодетых городовых, сыщиков или же из каких-нибудь подонков населения, чаще всего цыган, которых в Болгарии довольно много и которые там как раз пригодны для этой цели, и совершалось избиение, разгром имущества, разгром шрифта, – если это была типография оппозиционной газеты и т. д. Полиция долгое время блистала своим отсутствием и являлась на сцену к концу акта, чтобы водворять “порядок”, т. е. распустить бесчинствующую толпу, а иногда арестовать, – конечно, не безобразников, а избитого политического деятеля. <…> Палка по-болгарски – сопа, и герои патриотических погромов носят поэтому кличку сопаджиев (палочников)» (*Водовозов В. В.* На Балканах. Статьи. Путевые очерки. Пг., 1917. С. 121–122; *Он же.* Василий Радославов // День. 1915. № 355. 25 дек.).

«через Софию» (*фр.*).

«Согласие на Белград, через Софию» (*фр.*).

И. Д. Шишманов был женат на дочери М. П. Драгоманова Лидии.

«Долой Стамбулова!» (*болг.*).

Имеется в виду Л. М. Драгоманова.

Последние несколько лет жизни М. П. Драгоманову было трудно читать лекции из-за аневризмы аорты, которую ему диагностировали и от разрыва которой он скончался 20 июня 1895 г.

# 471

Спиртовая лампочка – нагревательный прибор, в котором в качестве горючего используется спирт.

на деле, фактически (*лат.*).

# 473

Болгария находилась под турецким владычеством с 1393 г.; в 1879 г. во исполнение Сан-Стефанского мира было образовано Болгарское княжество, формально находившееся еще в вассальной зависимости от Османской империи, юридически княжество получило независимость в 1908 г., и тогда же оно было преобразовано в Болгарское царство.

Неточно процитировано стихотворение Н. А. Добролюбова «Современный хор» (1859).

## 475

На окраине Софии начинается поросший густым лесом горный массив Витоша, имеющий десять вершин высотой более 2 тыс. метров.

побаивается (*устар.*).

Милан I, который в 1889 г. отрекся от престола в пользу своего двенадцатилетнего сына Александра и, согласившись в 1891 г. покинуть Сербию навсегда за обещанную ему регентами субсидию, отказался в 1892 г. даже от сербского подданства, тем не менее продолжал руководить наследником из Парижа, а в январе 1894 г. вернулся в страну. Новый король восстановил отца во всех правах и, поскольку кассационный суд признал это незаконным, отменил 9 мая действующую конституцию 1888 г., заменив ее более авторитарной конституцией 1869 г.

# 478

Учебный предмет, введенный в четырехлетний курс первоначальной школы после объединения Болгарии в 1885 г., знакомил учащихся с государственным устройством страны, правами и обязанностями правителей и подданных.

# 479

Конституция Болгарского княжества была принята Учредительным собранием в Тырнове 16 апреля 1879 г.

От путујте (*серб.*) – путешествие.

# 481

Пирот – город в Сербии.

# 482

После возвращения бывшего короля Милана в Сербию в январе 1894 г. правительство радикала Савы Груича подало в отставку; два следующих кабинета министров формировали либералы Джердже Симич и Светомир Николаевич, а после отмены конституции в мае 1894 г. премьер-министром был назначен Никола Христич, который, отменив свободу печати, преследовал оппозиционную прессу.

# 483

Сан-Стефанский мир 1878 г. – прелиминарный договор между Россией и Османской империей, заключенный 19 февраля в местечке Сан-Стефано, пригороде Константинополя, после завершения Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.; согласно договору, помимо признания независимости Сербии, Румынии, Черногории и создания автономной области Босния и Герцеговина, образовывалось новое Болгарское княжество, которое, включая территории Фракии и Македонии, должно было оставаться два года под русским управлением, а затем получить полную автономию с обязанностью выплаты Турции номинальной дани.

# 484

Берлинский конгресс, проходивший с 1 июня по 1 сентября 1878 г., был созван великими державами, опасавшимися усиления России на Балканах, для пересмотра решений Сан-Стефанского мира. Болгария, согласно подписанному 1 июля Берлинскому трактату, оказалась разделенной на три части: вассальное автономное Болгарское княжество, выборный глава которого утверждался султаном с согласия великих держав, а русское управление ограничивалось 9 месяцами; автономная провинция Восточная Румелия с центром в Филиппополе (Пловдиве), охрана границ которой возлагалась на турецкие гарнизоны; Македония, возвращавшаяся целиком Османской империи.

# 485

Шопы – этническая группа, населяющая западную Болгарию, восточную Сербию и северо-восточную часть Северной Македонии.

# 486

См.: «Пирот и Вранья по с[ан]-стефанскому договору были отданы Болгарии, но берлинский конгресс прирезал их к Сербии. Болгары – без различия партий – настаивают на том, что местность эта чисто болгарская и что если сербам удалось ее несколько осербить, то только благодаря грубым преследованиям болгарской национальности. В свою очередь сербы, тоже почти без различия партий, доказывают, что племя, населяющее окрестности Софии и называемое в Болгарии шопами, есть, в сущности, те же сербы, что Виддин и многие другие местности Болгарии, в сущности, вполне сербские. Кто тут прав, решить трудно» (*Водовозов В.* По Болгарии. Из воспоминаний о поездке 1894 г. // Вестник Европы. 1895. Кн. 9. С. 248).

«Я серб» (*болг.*).

# 488

Александр I Обренович был убит вместе со своей супругой, королевой Драгой, группой офицеров-заговорщиков в ходе Майского переворота 1903 г.

См.: *Beaman A. H.* M. Stambuloff. L., 1895.

# 490

Правильно: «Public Men of To-day: An International Series edited by S. Y. Jeyes».

# 491

Сын трактирщика, Стамболов учился в 1870–1872 гг. в Одесской духовной семинарии, из которой за связь с русскими революционерами был исключен и выслан из России.

# 492

Рени – портовый город Измаильского уезда Бессарабской губернии, расположенный на левом берегу Дуная в трех верстах от устья реки Прут, на границе Румынии.

# 493

Вернувшись, князь Александр Баттенберг телеграфировал императору Александру III: «Монархический принцип вынудил меня восстановить законность в Болгарии и Румелии. Россия даровала мне мою корону, и эту корону я готов вернуть ее монарху». Но ответная телеграмма от 20 августа (1 сентября) 1886 г. гласила: «Не могу одобрить возвращения Вашего, предвидя злополучные последствия для страны, уже подвергшейся стольким испытаниям. <…> Я буду воздерживаться от всякого вмешательства в печальное положение, до которого доведена Болгария, пока Вы будете там оставаться. Вашему Высочеству предстоит решить, что Вам надлежит делать». Поэтому 26 августа князь повторно отрекся от престола и, подписав указ об образовании регентства, навсегда покинул Болгарию.

Фердинанд, выбранный Народным собранием князем Болгарии 25 июня 1887 г., принес присягу в Тырнове на верность конституции 2 августа, но его избрание не признали великие державы, в том числе Россия.

# 495

Ср.: «Он не мог удовольствоваться одной славой победы; власть его опьяняла. Он жаждал прежде всего мести своим врагам, потом – власти и власти, власти бесконтрольной, чисто азиатской по характеру, и наконец – всех наслаждений власти. Началась дикая расправа с противниками, в которой жестокость соединилась с чисто византийским коварством и лукавством. Даже закон об амнистии 24 декабря 1888 г. был редактирован Стамбуловым так, чтобы акт милосердия никак не стеснял его произвола. Бунты следовали за бунтами, и сотни арестантов наполнили болгарские тюрьмы; в тюрьмах и участках били арестантов, множество народа было сослано в административном порядке в разные захолустья. Для укрепления власти нужно было следить за противниками, – и Стамбулов стал вскрывать письма, развил шпионство. Суды обнаруживали некоторую самостоятельность; Стамбулов решительно прибрал их к рукам. В парламенте поднимали голос противники Стамбуловщины, и выборы в него были обращены в комедию; за ними были прибраны к рукам и органы местного самоуправления. Политика эта имела мало общего с юношеским радикализмом. Партия Стамбулова приняла кличку “народно-либеральной”, но и она не соответствовала действительности. Укрепление центральной власти, ослабление местной автономии, громадные траты на армию, неравномерное распределение податного бремени и, главное, полнейший произвол чиновников – таковы были начала, проводимые Стамбуловым. В конце 1893 г. он сам, отвечая в палате депутатов на один запрос, так сформулировал принцип своего управления: “Когда я вижу, что по моему внутреннему убеждению требуется что-нибудь сделать для спасения отечества, то я сделаю это, хотя бы вопреки запрещению закона”. “Внутреннее убеждение”, таким образом, было поставлено выше конституции, выше закона» (*Водовозов В.* Стефан Стамбулов // Русское богатство. 1895. № 4. С. 106–107).

«внутреннее убеждение» (*болг.*).

## 497

См.: «Кличку “патриот” в Болгарии в свое время вполне монополизировали сторонники Стамбулова, – совершенно так же, как злоупотребляют этим словом у нас сторонники его приемов деятельности, – и потому люди иных взглядов произносили ее обычно с оттенком иронии» (*Водовозов В.* По Болгарии. С. 250).

# 498

Болгарским министром торговли и земледелия в 1893–1894 гг. являлся Панайот Атанасов Славков.

## 499

Имеется в виду Первая балканская война стран Балканского союза (Болгарии, Греции, Сербии, Черногории) с Османской империей, продолжавшаяся с 25 сентября (8 октября) 1912 г. до 17 (30 мая) 1913 г., которая завершилась подписанием Лондонского мирного договора: Турция лишилась почти всех своих европейских владений и образовалось новое государство – Албания.

# 500

Ср.: «В роковой день на улице, где было совершено покушение, было вовсе не так пусто, как это выходит из изображения Стамбулова: позади двух министров шел постоянный телохранитель диктатора, жандарм Спас Антонов. За несколько лет перед тем Антонов был простым хорамией, т. е. одним из тех разбойников, которые в турецкие времена (подобно клефтам в Греции и гайдукам в Болгарии же) уходили от турецких преследований из родных деревень в горы и посвящали себя разбою, предпочитая грабить турок; народная поэзия и романтически настроенная фантазия иностранных путешественников обратила их в сознательных политических борцов за свободу. Этот хорамия был приговорен за какое-то убийство судом к продолжительному тюремному заключению, но помилован князем; Стамбулов, питая к нему полное доверие, сделал его жандармом. Совершенно непостижимо, каким образом Спас Антонов не накрыл убийц, находившихся между ним и министрами, тем более что он, по его собственным показаниям, успел ударить шашкой и ранить одного из убийц. <…> Через некоторое время Спас Антонов попался в четырех убийствах, и все – с корыстной целью; двух человек он отравил, двух, старика и старуху, заманив к себе в дом, убил иным способом. Последних он закопал под своей кроватью и, нимало не смущаясь, спал над их трупами. Суд приговорил его к смертной казни, а он, пользуясь удобством положения человека, которому терять нечего, стал делать намеки, что знает убийц Бельчева» (*Водовозов В.* Стефан Стамбулов. С. 87–88). В покушении участвовали четверо, из которых, за исключением Димитра Тюфекчиева, остальные бежали из Болгарии.

# 501

Стамболов, в частности, говорил о Петко Каравелове: «Мне очень жаль его; он принадлежал к числу моих лучших друзей, я и теперь глубоко уважаю его. Но что же делать? Не могу я не защищаться, когда на меня нападают; не могу и не принимать мер для защиты государства от всевозможных посягательств. Я убежден, что интересы русского и болгарского народов диаметрально противоположны и мира между ними быть не может. Каравелов же и Цанков убеждены в противном; по их мнению, новое направление нашей политики гибельно для Болгарии, ее спасение только в союзе с Россией. Естественно, они видят во мне врага своей родины; я вполне понимаю их, когда они желают моей смерти и устраивают заговоры против моей жизни». Комментируя этот монолог, Водовозов замечал: «Говорят, что Стамбулов хотел казнить Каравелова, и только заступничество иностранных консулов, не могших, ввиду полной его невинности, допустить казни столь популярного человека, привело к тому, что Стамбулов разрешил приговорить своего врага лишь к пятилетней тюрьме» (*Водовозов В.* Стефан Стамбулов. С. 83, 87).

# 502

Лидер партии «Демократический сговор» Андрей Ляпчев возглавлял совет министров Болгарии трижды: в 1926–1928, 1928–1930 и 1930–1931 гг.; речь идет о втором составе правительства.

# 503

Золотое содержание болгарского лева, введенного в 1880 г. в денежное обращение в качестве национальной валюты, приравнивалось к французскому франку (0,3 г).

# 504

В 1861 г. в качестве вольнослушателя Петко Каравелов поступил на историко-филологический факультет Московского университета, но через три года перешел на юридический.

# 505

Петко Каравелов скончался 24 января (6 февраля) 1903 г.

# 506

Смертельно раненный в результате очередного покушения македонских боевиков 3 (15) июля 1895 г., Стамболов умер через три дня.

# 507

Петко Каравелов в четвертый раз возглавил правительство Болгарии в 1901 г.

# 508

От pronunciamento (*исп.*) – государственный военный переворот.

# 509

Неточность: Михаил Савов был произведен в подполковники в 1891 г., полковники – в 1899 г., генерал-майоры – в 1904 г.

# 510

Михаил Савов, произведенный в 1908 г. в генерал-лейтенанты и назначенный в 1912 г. помощником главнокомандующего, каковым формально являлся Фердинанд I, во время неудачной и быстротечной Второй балканской войны в июне – июле 1913 г. де-факто являлся главнокомандующим, но из-за поражения был отстранен от всех должностей.

# 511

Ср.: «Дуэль не состоялась, и Саввову пришлось подать в отставку. Вместе с ним подал и Стамбулов со всем кабинетом. Князь принял отставку Саввова и назначил вместо него полковника Петрова. Это был сильный удар для Стамбулова, потому что Петров был его враг. Стамбулов должен был понять, что при таких условиях он не удержится долго, что это назначение знаменует разрыв с князем; ему следовало или настаивать на отставке, или не допускать Петрова в кабинет, но он так цеплялся за власть, что согласился на все. Это его и погубило. Он быстро шел по наклонной плоскости. Когда он опубликовал последнее письмо Саввова, которого не было в распоряжении оппозиционной печати, последняя заметила странность этого факта. Откуда Стамбулов достал письмо? Не мог же князь показать его ему, рассуждала печать. Очевидно, оно или сфальсифицировано, или вскрыто на почте. Стамбулов тут только заметил, какую оплошность он сделал, но было поздно. Как говорят, взбешенный князь, бывший в это время за границей, послал своему министру телеграмму: “C’est une infamie” [«Это позор» (*фр.*)]. Стамбулову оставалось только вновь подать в отставку, прием, к которому он, подобно Бисмарку, прибегал многократно и который доныне всегда увенчивался успехом. На этот раз князь, к удивлению Стамбулова, ее принял, а затем события 18 мая сделали немыслимым возвращение его к власти» (*Водовозов В.* Стефан Стамбулов. С. 111–113).

# 512

«Долой Стамбулова! Долой развратника! Долой тирана!» (*болг.*).

# 513

С октября 1893 г. по май 1894 г. градоначальником Софии был Христо Благоев.

Приняв в 1908 г. царский титул и получив в ходе Первой балканской войны значительную часть Фракии и фактически Македонии с выходом к Эгейскому морю, Фердинанд I развязал в 1913 г. Вторую балканскую войну против своих вчерашних союзников (Греции и Сербии), в которой потерпел сокрушительное поражение, а в 1915 г. вверг Болгарию в Первую мировую войну на стороне Германии, Австро-Венгрии, Турции и, потерпев новое поражение, в 1918 г. отрекся от престола в пользу сына – Бориса III.

# 515

К середине апреля 1894 г. правительству Стамболова удалось настоять на разрешении православному духовенству открывать в Македонии болгарские школы, закрытые за несколько лет до этого по распоряжению турецких властей.

До конца 1894 г. Васил Радославов оставался министром юстиции и народного просвещения в правительстве Константина Стоилова, а затем вновь перешел в оппозицию.

двадцать лет (*болг.*).

# 518

Петко Каравелов был освобожден из тюрьмы по амнистии в декабре 1894 г.

## 519

Че́тник (от *серб.* чета или *тур.* çete), гайдук (от *серб.* хајдук, *болг.* хайдутин), харамия (*болг.*) – повстанец, бунтарь, разбойник, воюющий против османского владычества на Балканах.

# 520

Революционные отряды, вторгавшиеся из Румынии и Сербии в турецкие владения и боровшиеся с турками, до шестидесятых годов носили наименование чет, а их участники назывались четник, гайдук, хорамия. С шестидесятых и семидесятых годов их заменило слово «комита» (от революционного комитета), а их члены стали называться «комитаджиями» – романское слово с турецким суффиксом.

# 521

*Ровинский П. А.* Болгарский хайдук Панайот и его записки // Отечественные записки. 1878. № 8. С. 345–388.

# 522

Не ручаюсь, что я не сделал в этой цитате несколько грамматических ошибок.

# 523

У Ровинского цитируемый фрагмент выглядит так: «Што ми је мило и драго? / Млад харамія да будем, / Црну кошулю до носим, / Чифт пиштоли на пояс, / И тънку пушку на рамот» (*Ровинский П. А.* Указ. соч. С. 345). Текст включает сербские, македонские и болгарские слова; перевод: «Чему я так рад и счастлив? / Молодой повстанец поднимается, / Черную рубашку надевает, / Пару пистолетов за пояс / И тонкую винтовку на плечо».

Упомянута драма Ф. Шиллера «Разбойники» (1781).

# 525

Один из основателей Болгарского революционного центрального комитета, созданного в 1869 г. в Бухаресте, и руководитель Внутренней революционной организации, готовившей восстание против турецкого владычества, Васил Левский был выдан предателем и повешен 6 (18) февраля 1873 г.; названный «апостолом свободы», он наряду с Х. Ботевым, Г. Раковским и Л. Каравеловым причислен к «четырем великим» болгарского национально-освободительного движения (см.: *Водовозов В.* Левский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1896. Т. 17. С. 443).

См.: *Каравелов Л.* Страницы из книги страданий болгарского племени: повести и рассказы. М., 1868.

## 527

См.: *Вазов И.* Болгарское восстание накануне последней войны. Воспоминания о событиях 1876 г. / Пер. Т. Странскаго. Киев, 1884.

# 528

В 1872 г. Л. Каравелов издал в Бухаресте записки Панайота Хитова «Моето путувание по Стара Планина», которые были переведены на русский (см.: Славянский сборник. СПб., 1877. Т. 2. С. 49–125) и немецкий (см. в кн.: *Rosen G.* Die Balkan-Haiduken. Leipzig, 1878). Характеризуя записки, Водовозов писал, что «строго правдивые, чуждые какого бы то ни было личного или национального хвастовства, они прекрасно рисуют положение болгар под турецким игом, быт гайдуков, нравы эмигрантов; в них ясно видно, как редко гайдуки действительно бывали людьми принципиальными, как часто они оказывались изменниками и предателями, но вместе с тем сколько в них было самоотвержения» (*В[одовозо]в В.* Панайот Хитов // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1897. Т. 22а. С. 682–683).

# 529

Панайоту Хитову было тогда 64 года.

# 530

Болгарский поручик Борис Сарафов, руководитель т. н. Мелничского восстания 1895 г., председатель Верховного Македонского (с 1900 г. Македонско-Одринского) комитета в 1899–1901 гг., выступая под лозунгом «Македония для македонцев», боролся за политическую автономию Македонии и Восточной Фракии, или Адрианопольского (Одринского) вилайета, от Оттоманской империи. Член генерального штаба потопленного в крови Илинденского восстания 1903 г., во время которого возглавлял повстанцев Битольского округа, и видный деятель Внутренней Македонско-Одринской революционной организации, Сарафов был предательски убит 28 ноября 1907 г. и считается одним из выдающихся героев борьбы против турецкой деспотии.

# 531

В 1895 г. Верховный Македонский комитет в Болгарии организовал так называемую «четническую акцию», к которой были привлечены известные македонские «воеводы», ранее промышлявшие в основном грабежом богатых турок, заслав в Македонию четыре большие и несколько малых чет общей численностью порядка 800 человек, но относительного успеха добился лишь отряд Б. Сарафова, захвативший на несколько дней город Мелник (см.: *Ямбаев Л. М.* Четы ВМОРО на начальном этапе своей деятельности // Славяноведение. 2006. № 1. С. 22–28).

# 532

В. В. Водовозов отмечал, что среди четников встречались «люди высокого душевного благородства», но все же преобладали элементы, жаждавшие «разгула, крови и денег», для которых месть угнетателям-туркам играла роль подчиненную, а потом это превратилось в «своеобразную профессию, служители которой состояли на жаловании у соседних правительств – болгарского, сербского или греческого» (*Водовозов В.* Софийский процесс // День. 1915. № 166. 19 июня).

# 533

Неточность: 3 июля 1895 г. трое македонских боевиков – Михаил Ставрев (Халю), Атанас Цветков и Боне Георгиев, остановив фаэтон, в котором ехали Димитр Петков, министр общественных работ, и Стефан Стамболов, пытавшийся в них стрелять, догнали бывшего премьера и, повалив на землю, короткими турецкими ножами буквально изрезали, нанеся 23 глубокие раны: 12 – в голову, из-за чего он лишился глаза, а остальные – по рукам, которыми защищал лицо, из-за чего кисти ему пришлось ампутировать. Стамболов умер 6 июля. Подробнее см.: *Димов А.* Злодеяния Кобургов в Болгарии / Пер. с болг. Н. Сивкова. 5-е изд. София, 2017.

# 534

«Союз русского народа» – крайне правая монархическая черносотенная организация, существовавшая в 1905–1917 гг.

## 535

Имеются в виду покровительствовавшие черносотенцам генерал-майор И. А. Думбадзе, главноначальствующий и градоначальник Ялты в 1906–1916 гг., и генерал-майор И. Н. Толмачев, градоначальник Одессы в 1907–1911 гг.

# 536

Член кадетской фракции 1-й Государственной думы М. Я. Герценштейн был застрелен черносотенцами из «Союза русского народа» в Териоках, где жил на даче, во время прогулки 18 июля 1906 г. (см.: *Водовозов В.* Финляндский суд и дело об убийстве Герценштейна // Право. 1909. № 36, 38. 6, 20 сент.). Член кадетской фракции 1-й Государственной думы Г. Б. Иоллос был застрелен на улице 14 марта 1907 г. рабочим Федоровым, которого подговорил к этому член «Союза русского народа». Член Трудовой группы 2-й Государственной думы А. Л. Караваев был смертельно ранен черносотенцами 4 марта 1908 г. двумя выстрелами в грудь в своем кабинете в Екатеринославе во время приема больных.

# 537

В речи, произнесенной «в одном Берлинском бюргерском окружном собрании в 1862 г.», Фердинанд Лассаль различал конституцию «действительную» от «писанной», которую сравнивал с «листом бумаги», ибо «безразлично, что написать на бумаге, раз только написанное противоречит реальному положению вещей», и «писанные конституции только тогда имеют значение и обладают жизненностью, когда они являются точным выражением действительных отношений сил общества» (*Лассаль Ф.* О сущности конституции / Пер. с нем. К. Чекеруль-Куша. Киев, 1905. С. 18, 29, 31).

## 538

Правильно: Исторические песни малорусского народа / С объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова: В 2 т. Киев, 1874–1875; см. также: *Рудченко И. Я., Драгоманов М. П.* Чумацкие народные песни. Киев, 1874; *Драгоманов М. П.* Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876.

## 539

Неточность, см.: *Потебня А. А.* Язык и народность // Вестник Европы. 1895. Кн. 9. С. 5–37.

обеднении души человека (*нем.*).

# 541

Сочувствуя Польскому восстанию 1863 г., А. И. Герцен писал в «Колоколе»: «Мы с Польшей потому, что мы за Россию, мы со стороны поляков потому, что мы русские. Мы хотим независимости Польши потому, что мы хотим свободы России. Мы с поляками потому, что одна цепь сковывает нас обоих» (*Герцен А. И.* Собр. соч. М., 1959. Т. 17. С. 9).

# 542

Порицая А. И. Герцена как «московского славянофила, или лучше великорусофила» и указывая на «примесь к его здравым мыслям идей великорусского мессианизма, а также незнание деталей истории и положения невеликорусских народов и остатки привычки распоряжаться за других их судьбой», М. П. Драгоманов считал, что «идейная солидарность Герцена с польскими патриотами была в сущности очень невелика», поскольку он был «теоретически противником полного отделения Польши» (подробнее см.: *Драгоманов М. П.* Герцен, Бакунин, Чернышевский и польский вопрос. Казань, 1906. С. 4, 8, 18–19; *Он же*. Историческая Польша и Великорусская демократия. Киев, 1917. С. 22, 42).

# 543

Сторонник идеи федерализма, которую почерпнул у П.-Ж. Прудона и М. А. Бакунина – основоположников анархизма, противопоставлявших государство и федерацию как организованное самоуправляющееся сообщество, М. П. Драгоманов считал, что целью украинцев «является не только получение автономии для себя, но и превращение государств, которыми они порабощены, в одну или несколько федераций, удобных для всех и слабых, и сильных племен» (*Драгоманов М. П.* Собрание политических сочинений. Paris, 1906. Т. 2. С. 247).

# 544

11 июля 1894 г. помощник начальника Волочиского отделения Киевского жандармского управления железных дорог на пограничном пункте Волочиск уведомил Департамент полиции, что «сего числа возвратился из заграницы дворянин Василий Васильев Водововозов <…> и направился, чрез г. Киев, в г. Минск» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 148).

«Жизнь турецкого народа» (*болг.*).

«перевод с русского» (*болг.*).

Переводы на болгарский язык нескольких частей первого тома книги Е. Н. Водовозовой «Жизнь европейских народов» (3-е изд., вновь передел. и доп. СПб., 1881. Т. 1) сделал Д. Х. Брызицов, благодаря которому в Пловдиве в серии «Живот на европейските народи» вышли отдельными изданиями очерки «Турция» (1883), «Албания» (1883), «Черна гора» (1885), «Сърбия» (1886), «Румъния» (1887).

*Ватсон М. В.* Данте: Негова животъ и литературната му деятелност / Прев. М. Москов. Търново, 1894.

## 549

См.: *Шекспир У.* Хамлет: Трагедия в 5 д. в стихове / Прев. от рус. и нем. Т. Ц. Трифонов. Русе, 1891.

# 550

См. «полученное агентурным путем» письмо в Киев от 15 ноября 1902 г., в котором В. В. Водовозов сообщал жене о своей «законотворческой» деятельности и выступлении 14 ноября на заседании уездного земства о народном образовании: «Я настаивал на требовании полной свободы открытия школ без предварительного разрешения, и мое предложение было принято с небольшой поправкой. В моей же редакции было принято пожелание, чтобы продолжительность курса, выбор учебников, назначение учителей и программ в земской школе определялись земствами. Мы постановили, чтобы учителя не нуждались в утверждении начальства, чтобы были уничтожены министерские каталоги. Наконец, я разошелся и провел предложение, чтобы основание провинциальных газет было облегчено и они были избавлены от предварительной цензуры… Многие даже не знали, что такое предварительная цензура, и я прочел об этом краткую лекцию. Предложение мое принято единогласно, и это мне даже неприятно, ибо это единогласие объясняется, вероятно, поздним временем и усталостью, а не чем иным. Я, вероятно, мог бы провести и пожелание полной свободы печати, но я сам не захотел этого; парламентарная обстановка учит людей умеренности и компромиссам, и, главное, я все время сознавал полную практическую бесполезность процедуры. Все наши пожелания будут положены под сукно. Единственный практический результат, что в присутствии 25 человек, из которых несколько крестьян, было громко говорено о свободе слова и цензуре, а это было сделано… Для меня же заседание было очень интересно и приятно. Совсем не то присутствовать в публике, что присутствовать действующим лицом; я чувствовал себя в своей тарелке, видел, что со мной считаются, и это, конечно, поднимало душевные силы».

В другом послании жене, от 18 ноября, Водовозов извещал ее: «Пишу проекты государственных преобразований. Окончил проект реформы дела народного образования, где провел полную свободу преподавания; никаких предварительных разрешений, ни для открытия частных школ, ни для публичных лекций, больше не нужно. В качестве практического государственного реформатора я пока, однако, не решился совсем отменить цензуру (известно, впрочем, что все либералы, делаясь государственными деятелями, начинают снисходительно смотреть на цензуру и отлагают введение свободы слова как несвоевременное; со мной, очевидно, повторилась старая

история), а только отменил предварительную цензуру для провинциальных газет. Сию минуту окончил проект почтового дела; на этот раз – совершенно самостоятельно, без материалов заседаний комитета. Я провел новые почтовые тракты, ввел новую систему почтовых контор, понизил почтовую таксу, но главное, уничтожил перлюстрацию писем в политических целях. Согласись, что это недурно. Буду изменять характер земского представительства, но, увы, тут наталкиваюсь на противодействие земцев (я хочу ввести всеобщее голосование, а они только возвращение к порядку 1864 г. и некоторое понижение имущественного ценза). Но об этом поспорим, хотя, несомненно, останусь в меньшинстве» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 228. ОО. 1900. Д. 996. Л. 7–9).

# 551

С 15 июля 1894 г. В. В. Водовозов, согласно донесению начальника Минского губернского жандармского управления, жил в имении Блонь, в 3 верстах от станции Марьина Горка Либаво-Роменской железной дороги, «у помещика Бонч-Осмоловского» (Там же. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 150).

# 552

8 сентября 1894 г. В. В. Водовозов обратился к директору Департамента полиции Н. И. Петрову: «Честь имею покорнейше просить ваше превосходительство разрешить мне пребывание в С.-Петербурге сроком на один месяц, необходимое мне, во-первых, для того, чтобы посоветоваться с врачами, во-вторых, для устройства своих дел, в-третьих, для работы в Императорской Публичной библиотеке». Посетив 17 сентября директора департамента, Е. Н. Водовозова добилась разрешения для сына и невестки «временно приехать в Петербург на один месяц с 25 сентября» (Там же. Л. 151–152).

## 553

«Хоч гірше, та інше» (*укр.*) – «Хоть хуже, но другое» (украинская пословица).

## 554

Фразеологическое выражение, обозначающее мнимую тайну; Полишинель (*фр*. Polichinelle) – комический персонаж комедии дель арте.

# 555

Александр III скончался 20 октября 1894 г. в Ливадии.

# 556

Из Петербурга 27 октября 1894 г. Водовозов и его жена уехали в имение Блонь, причем, как доносила охранка, за время пребывания супругов в столице негласным наблюдением были выяснены «сношения их с титулярным советником Александром Кауфманом и студентами университета Мордухом Пивоваровым и Николаем Рерихом». Но 26 ноября, за два месяца до окончания ограничительного срока, истекавшего 30 января 1895 г., Водовозов обратился к министру внутренних дел за разрешением «въезда в столицу уже теперь», ибо, пояснял он, «с одной стороны, мне необходимо, ради моих научно-литературных работ, заняться в Императорской Публичной библиотеке, а с другой – малярия, которой я заразился, принуждает меня покинуть болотистую Минскую губернию, где я живу, и посоветоваться с врачами». 26 января – очередное прошение о разрешении приезда в столицу «на 6-недельный срок, начиная с 20 февраля, для работы в Императорской Публичной библиотеке, а также чтобы посоветоваться с врачами». Но на прошении пометка от 4 февраля: «Всякий приезд Водовозова в Петербург всегда знаменуется его участием в сходках или сборищах противоправительственного характера. Полагал бы безусловно отказать». Хотя проживание в столице и Петербургской губернии воспрещалось ему «бессрочно» как бывшему поднадзорному «впредь до особого распоряжения Министерства внутренних дел», Водовозов получил дозволение на пребывание в Петербурге с 4 марта сроком на 1 месяц, продленный затем еще на две недели, с учреждением за ним «особо секретного наблюдения» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 157–158, 159–160, 162–167).

# 557

В справке Департамента полиции говорилось, что, поскольку еще в 1879 г. С. А. Бердяев обратил на себя внимание «сношениями с лицами неблагонадежными в политическом отношении, неуместными суждениями о действиях правительства, а также получением и распространением брошюр преступного содержания», его собирались подвергнуть административной высылке, не состоявшейся вследствие «указаний на не вполне нормальное состояние умственных способностей Бердяева». Из Вюрцбурга, где он учился в университете, Бердяев посылал в Киев «сочинения революционного содержания (стихотворения и письма Драгоманова)», а вернувшись на родину, в 1884 г. был привлечен к административному дознанию по делу о беспорядках во время празднования 50-летнего юбилея университета Св. Владимира. Подчиненный гласному надзору полиции на один год, он жил в Варшаве и Курске, но «во внимание к крайне болезненному состоянию Сергея Бердяева, грозившему даже потерей рассудка, ему разрешено было жительство у отца в Киеве». Поступив там на службу по почтово-телеграфному ведомству, он продолжил ее в Главном управлении почт и телеграфов, но в 1890 г. вышел в отставку, после чего занимался исключительно литературной деятельностью. Уже в декабре 1896 г. начальник Киевского губернского жандармского управления отмечал, что «хотя Бердяев и представляет из себя редкую по развитию умственных способностей личность, но страдает сильным нервным расстройством, граничащим с психической ненормальностью», а в феврале 1900 г. из беседы с ним вынес впечатление, что Бердяев «или ненормален, или по крайней мере психопат» (Там же. Оп. 87. 3 д-во. 1889. Д. 1156. Л. 1а–1г).

Имеется в виду А. М. Бердяев.

# 559

Западный край – бывшие территории Речи Посполитой, включенные в состав Российской империи в 1772–1807 гг. и составлявшие девять ее губерний: Виленскую, Ковенскую, Гродненскую, Минскую, Могилевскую, Витебскую, Киевскую, Волынскую, Подольскую.

## 560

Ср.: «Мой брат был человек нервнобольной в тяжелой форме. Многие находили, что у него были ненормальности. <…> Брат был человеком, готовым отдать последнее. Деньги не могли у него удержаться и одного дня. И он всегда был в затруднительном положении. У него было очень красивое, почти греческое лицо. Но он периодически опускался, не брился, не мылся, одевался так, что производил впечатление оборванца. Потом вдруг появлялся очень элегантным. У него были способности, которых не было у меня, была изумительная память, дар к математике и языкам. Он писал стихи даже по-немецки…» (*Бердяев Н.* Самопознание: опыт философской автобиографии. СПб., 2019. С. 32).

## 561

Кайданы – кандалы; кат – палач (*укр.*).

# 562

В 1886 г. С. А. Бердяев под псевдонимом Аспид опубликовал пародийную поэму «Надсониада» в июньском номере журнала «Наблюдатель» (№ 6. Паг. 2. С. 58–61), издав ее также отдельной брошюрой (Киев, 1886), а после кончины С. Я. Надсона с целью «хоть отчасти реабилитировать себя перед памятью покойного» напечатал покаянное письмо «Mea culpa» («Моя вина» (*лат.*)) в журнале «Дело» (1887. № 4. С. 83–85).

## 563

«Боль несказанную вновь испытать велишь мне, царица» (*лат.*) – этими словами Эней начинает свой рассказ о последних днях Трои и своих скитаниях (*Вергилий*. Энеида. II. 3).

# 564

В поэме, посвященной ежедневной политической и литературной газете «Заря», выходившей в Киеве в 1880–1886 гг., фактическим редактором-издателем которой был М. М. Кулишер, звучали и юдофобские нотки, вроде, например, таких: «Да мелькнет порою шпилька / Против русского народа, – / Ведь “Заре” чужда, противна / Эта низкая порода! / Из евреев “прогрессисты” / Видят в ней тупое стадо, / На которое трудиться / Дуракам одним отрада». Что касается самого С. Я. Надсона, то С. А. Бердяев писал о нем: «Раз в неделю киевлянам / Преподносит он статейки, / Где в “идеи” раздувает / С помпой чахлые “идейки”… / Оживить редактор хочет / Иудейский орган этим; / Но, увы! Мы кроме скуки / Ничего в нем не заметим».

# 565

А. П. Пятковский, автор юдофобских статей в редактируемом им журнале «Наблюдатель», собранных затем в кн. «Государство в государстве. К истории еврейского вопроса в России и в Западной Европе» (СПб., 1901), доказывал, что закабаление «кагалом» русского населения «будет почище всякого крепостного права», а издававшаяся им с 1897 г. газета «Гласность» имела столь резко выраженный антиеврейский характер, что это дважды приводило к запрещению ее розничной продажи (см.: *Кузнецов А. Н.* Пятковский Александр Петрович // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 2007. Т. 5. С. 233).

# 566

Ср.: «Свободное и самостоятельное бытие личности соединяется с Богом, но не исчезает в Боге. Исчезновение и растворение предполагает Бога безличного – свободное соединение предполагает Бога личного. Бог личный – Бог троичный, три Лица Божественной Троицы. Только с Лицами Божественной Троицы возможно личное общение и соединение» (*Бердяев Н. А.* Смысл творчества. Опыт оправдания человека. М., 1916. С. 127).

## 567

Еще во время учебы в Киевском кадетском корпусе, вспоминал Н. А. Бердяев, «товарищи иногда надсмехались над моими нервными движениями хореического характера, присущими мне с детства» (*Бердяев Н.* Самопознание: Опыт философской автобиографии. СПб., 2019. С. 25). Имеется в виду хорея – синдром непроизвольных, не поддающихся контролю движений конечностей, лицевых мышц, возникающий, в частности, как проявление наследственных расстройств; см.: «Семья наша была необыкновенно нервной. У меня была нервная наследственность, выражающаяся в моих нервных движениях. Это, вероятно, связано с судорожностью моей натуры, мои душевные движения также судорожны. Особенная нервность была со стороны отца. Мать часто говорила, что Бердяевы не совсем нормальны» (Там же. С. 32).

деверем (*фр.*).

## 569

Имеется в виду Глеб Бердяев, родившийся в 1897 г.; см.: *Бердяев С.* Два праздника. (Посвящается моему дорогому Глебушке) // Киевские отклики. 1903. № 35. 25 дек.

## 570

См.: «Семья брата имела огромное значение в моей жизни и моей душевной формации. Брат был человек очень одаренный, хотя совсем в другом направлении, чем я, очень добрый, но нервнобольной, бесхарактерный и очень несчастный, не сумевший реализовать своих дарований в жизни. У нас образовалась атмосфера, родственная Достоевскому» (*Бердяев Н.* Самопознание. С. 22–23).

## 571

Речь идет о Наталии Николаевне Кульженко, жене издателя В. С. Кульженко.

Старшего сына С. А. Бердяева звали Александром, младшего – Григорием.

## 573

Начиная с 1866 г. три знаменитых волоска на лысине Бисмарка вовсю эксплуатировались европейскими карикатуристами, которые изображали их даже прорастающими через его фуражку или кирасирскую каску (см.: *Булгаков Ф. И.* Бисмарк в карикатурах // Исторический вестник. 1890. № 10. С. 231–234).

В Болгарии было сильно распространено мнение, что убийство было организовано правительством, в частности [премьер-министром] Стоиловым и [министром иностранных дел] Начевичем. Мнение это имеет за себя очень многое. Названные лица могли бояться суда над Стамбуловым, т. к. он сел бы на скамью подсудимых далеко не безоружным; он все время грозил министрам какими-то разоблачениями.

Севастопольское градоначальство, включавшее Севастополь, Балаклаву, ряд деревень и хуторов, было выделено из Таврической губернии в 1873 г., причем градоначальник являлся одновременно командиром порта и комендантом города.

# 576

Начальник Таврического губернского жандармского управления докладывал в Петербург, что В. В. Водовозов выбыл 8 августа 1895 г. «из г. Ялты, через г. Севастополь, в г. Одессу, откуда он, вероятно, намерен отправиться за границу, так как г. севастопольским градоначальником выдан ему от 7 августа за № 1013 заграничный паспорт сроком на полгода». Но уже 28 августа Водовозов из Софии выехал назад в Константинополь с намерением вернуться через Севастополь в Ялту, а поскольку в Болгарии, по агентурным данным, он встречался с «выдающимися эмигрантами» из числа революционеров-народников (В. К. Дебогорием-Мокриевичем, А. М. и Г. М. Баламезами и др.), новый директор Департамента полиции Н. Н. Сабуров приказал: «Водовозова тщательно обыскать на границе. Установить наблюдение». Но телеграмма запоздала, ибо Водовозов, как оправдывался начальник Таврического жандармского управления, «прибыл из заграницы в г. Ялту 2 сего сентября, где и ныне проживает, – поэтому <…> обыска его произведено не было, а установлено за ним тщательное наблюдение» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 173, 176, 180).

Имеется в виду С. В. Кульженко.

## 578

В рукописи далее зачеркнуто: «явившихся последствием перехода газеты к Кульженко».

## 579

В рукописи далее зачеркнуто: «или очень близким сотрудником».

Ср.: «Одно время “Киевское слово” было в руках прогрессивных журналистов, в числе которых находился В. В. Водовозов, но когда я приехал в Киев, весной 1904 г., “Киевское слово” было ультраправой газетой» (*Сидоров А. А.* В Киеве. (Из воспоминаний бывшего цензора) // Голос минувшего. 1918. № 7/9. С. 139). Водовозов сотрудничал в газете всего чуть более одного месяца, освещая события за рубежом и не подписывая свои статьи (см., например: 1895 год в политическом отношении // Киевское слово. 1896. № 2864, 2865. 1, 3 янв.).

# 581

Литературный фонд – неофициальное название «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым», созданного в 1859 г. в Петербурге с целью оказания помощи «осиротевшим семействам литераторов и ученых и самим литераторам и ученым, которые по преклонности лет или по каким-либо другим обстоятельствам находятся в невозможности содержать себя собственными трудами», а также для издания «полезных литературных трудов» и помощи «даровитым молодым людям» к «окончанию их образования и приготовления себя к литературной и ученой деятельности».

# 582

Имеется в виду амнистия, объявленная «Высочайшим манифестом, дарованным в день священного коронования их императорских величеств государя императора Николая Александровича и государыни императрицы Александры Феодоровны, 14 мая 1896 года».

# 583

Получив разрешение на недельный приезд в столицу с 30 мая 1896 г. «вследствие смерти брата и тяжкой болезни матери», В. В. Водовозов 25 мая обратился из Киева к директору Департамента полиции: «Честь имею покорнейше просить ваше превосходительство ходатайствовать перед его высокопревосходительством господином министром внутренних дел о разрешении мне жительства в столицах на основании высочайшего всемилостивейшего манифеста. Права на жительство я был лишен в январе 1893 года, когда окончился срок моей административной высылки». 14 июня вице-директор департамента С. Э. Зволянский уведомил столичного градоначальника, что министр «признал возможным разрешить сыну коллежского советника Василию Васильеву Водовозову постоянное жительство в Санкт-Петербурге с 1 июля сего года» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 198–199, 201, 204).

# 584

См.: «Вокруг Лучицкого собрался тогда, в 1890–1891 гг., кружок молодых историков, состоявший частью из его киевских учеников, частью из начинавших свою работу лиц, приехавших в Киев из других городов. Сейчас из этого кружка, насчитывавшего в себе около десяти человек, осталось в живых, помимо меня, только двое: Д. М. Петрушевский, известный специалист по истории Средневековья, в частности истории средневековой Англии, и Н. П. Василенко, состоящий в настоящее время во главе одного из отделов украинской академии наук. <…> Несколько различаясь между собой по возрасту, все мы, члены этого кружка, были тогда молоды и легко сблизились друг с другом на почве общих научных интересов и более или менее одинакового понимания стоявших перед нами жизненных задач. И всех нас притягивал к себе Лучицкий, сумевший каждому из нас внушить искреннюю привязанность к себе. У него по большей части происходили и собрания кружка, на которых мы в непринужденной, лишенной всякой официальности беседе обменивались рассказами о своих работах и обсуждали различные вопросы академической и общественной жизни» (*Мякотин В.* Отрывки из воспоминаний // Последние новости. 1933. № 4595. 21 окт.).

## 585

Неточность: В. П. Науменко, министр народного просвещения Украинской державы, был расстрелян на другой день после ареста, 8 июля 1919 г.

# 586

«Союз освобождения» – нелегальная политическая организация, объединившая земцев-конституционалистов, радикальных либералов и некоторых социалистов – сторонников журнала «Освобождение», издававшегося с июня 1902 г. в Штутгарте под редакцией П. Б. Струве; официально учрежден на своем первом съезде в январе 1904 г., фактически прекратил существование в конце 1905 г.

Неточность: М. Б. Ратнер скончался в 1917 г. В. В. Водовозов писал в некрологе: «В Яссах умер Марк Борисович Ратнер. С тяжелой скорбью отзовется весть о его смерти в душе знавших этого блестяще одаренного и благородного человека. Я познакомился с Ратнером в 1896 г., когда обстоятельства заставили меня поселиться в Киеве. Тогда Ратнер был еще совершенным юнцом – ему было года 22 или 23. Но сразу, с первого разговора, он поразил меня своей эрудицией в области экономики и отчасти юриспруденции. Он тогда еще был студентом киевского университета или, лучше сказать, уже не был студентом, так как незадолго перед тем был исключен из университета за участие в студенческих беспорядках и даже выслан в административном порядке из Киева. Жил он под надзором полиции в одном из уездных городков Киевской губернии и успешно готовился к экзаменам. Довольно часто потихоньку приезжал в Киев и даже решался посещать различные студенческие и рабочие собрания. В один из этих приездов я и познакомился с ним.

Тогда только что появилось в России широкое марксистское движение, и в кружках молодежи, в кружках рабочих и отчасти уже в литературе легально и нелегально происходили аванпостные бои между старым народничеством и молодым социал-демократизмом. Ратнер не был марксистом, т. е. не был марксистом в том смысле, как это требовала школа; он принимал экономическое учение Маркса, но отвергал его социологию, т. е. так называемый экономический материализм, и держался этико-социологического учения Михайловского. Ратнер верил в прочность русской общины и в силу этого во всей своей практической программе сближался с народническим течением, занимая в нем несколько обособленное положение народника-марксиста, какое в литературе тогда было представлено известной книгой Николая —она [«Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства» Н. Ф. Даниельсона (СПб., 1893)].

По глубине своего знакомства с сочинениями Маркса и с марксистской литературой вообще Ратнер превосходил в Киеве положительно всех, в том числе и марксистов, и не только среди молодежи, но и в более старших кругах. Он систематически боролся за свое мировоззрение на многочисленных собраниях, кружках, отчасти в нелегальной студенческой литературе, которая тогда была в большом ходу. В эти годы в конце прошлого

столетия Ратнер сыграл видную роль в общественной жизни Киева, содействуя выковыванию того общественного течения, которое через 8–10 лет создало революцию 1905–6 годов.

Скоро, в 1896 или 1897 г., Ратнер сдал университетский экзамен, после чего получил возможность свободно проживать в Киеве. Он приписался к сословию помощников присяжных поверенных и сразу занял видное место в рядах адвокатуры; одновременно выступил в “Русском богатстве” с рядом статей по экономическим и общественно-философским вопросам: “Аграрный вопрос”, “Теория рынка”, “Карл Маркс и его русский критик”, “Проблемы идеализма в русской литературе”. Статьи обращали на себя широкое внимание и нередко вызывали полемику.

На рубеже XIX и XX вв. в рядах марксистов появился Рожков, и из них выделилось особое идеалистическое направление, в числе наиболее видных представителей которого имелись два киевлянина – проф. Булгаков и Н. А. Бердяев. Впоследствии они совершенно разорвали не только с марксизмом, но и с политическим идеализмом и демократизмом и явились своеобразными представителями особого русского клерикализма. Но тогда они сохраняли еще живую личную и идейную связь с радикальным общественным течением. В это время в Киеве жилось более свободно, чем в других городах России. Там в зале литературного общества под флагом этого общества устраивались собрания, на которые по контрамаркам членов общества приходила молодежь в числе 500–800 чел., и там велась изумительная, по русским условиям, свободная борьба между тремя господствовавшими направлениями того времени – социал-демократизмом, народничеством и молодым идеализмом. И вот в этой борьбе, которая и поныне оставила глубокий след в душе массы тогдашней киевской молодежи, видное место принадлежало М. Б. Ратнеру.

В 1905 г., незадолго до октябрьского взрыва, Ратнер был случайно арестован, а 17 или 19 октября он был освобожден и уехал из тюрьмы на извозчике домой. Проезжать приходилось через площадь, на которой теперь красуется памятник Столыпину. Но тогда эта площадь кишела народом, рабочими, молодежью. Раздался общий крик: “Ратнер едет! Ратнер свободен! Ратнер! Ратнеру принадлежит слово!” Ратнеру пришлось слезть с извозчика, забраться на какую-то импровизированную трибуну и сказать несколько импровизированных слов. Эта маленькая случайная речь его и погубила. Не сразу, впрочем. Он вернулся домой совершенно благополучно и долгое время спокойно жил дома, занимаясь своим прежним делом. Но года через три

прокуратура вспомнила его октябрьскую речь, и против Ратнера была выдвинута страшная ст. 102, по принадлежности к революционным партиям, хотя ни к какой революционной партии он не принадлежал и хотя прокуратуре единственным доказательством была речь, которая, как чисто случайная, таким доказательством служить не могла. Ратнеру удалось узнать об этом заблаговременно и скрыться за границу. Он поселился сперва в Вене, откуда корреспондировал в газету “Речь”, потом, разойдясь с этой газетой по многим вопросам, перешел в газету “День”. Война застала его в Вене. Он успешно уехал сперва в Швейцарию, потом в Румынию, в Бухарест, откуда, с приближением неприятеля, перебрался в Яссы.

Бегство за границу было гибелью для Ратнера. Лишенный любимой адвокатуры, лишенный вообще привычных условий жизни, к тому же постоянно и сильно нуждаясь и, сверх того, в начале заграничного пребывания перенесший удар и страдавший от его последствий, он не мог заниматься и наукой. Последние же дни жизни он провел в особенно мучительной тревоге. Если бы продолжилось наступление австрийцев, то ему нужно было бы произвести мучительный выбор между немецким пленом и русской 102-й статьей» (*Водовозов В.* Памяти М. Б. Ратнера // День. 1917. № 41. 12 февр.).

## 588

Неточность: Л. П. Косач родилась 13 февраля 1871 г., т. е. ко времени переезда В. В. Водовозова в Киев ей было уже почти 25 лет.

# 589

Неточность: С. К. Мержинский, познакомившийся с Л. П. Косач в Ялте в 1897 г., скончался от туберкулеза в Минске 3 марта 1901 г.; как вспоминает о нем современник, «заслуженный пионер русского марксизма в киевском и минском подполье», «типичный русский интеллигент (он не кончил университета и всю жизнь маялся по частным урокам, как многие русские революционеры) с тонким скорбным лицом, он был <…> большим другом молодежи и производил чарующее впечатление», да «и наружность его подкупала – прекрасный, тонкий, обрамленный черной бородой профиль с бледным, матовым, горевшим зачастую нездоровым, лихорадочным румянцем лицом с черной волнистой шевелюрой – вот слабо очерченный портрет Сергея Константиновича, вечного студента, которого преждевременно загнала в могилу чахотка» (*Мошинский И. Н. (Конарский Ю.)*. На путях к 1-му съезду РСДРП: 90-е годы в Киевском подполье. М., 1928. С. 124–125).

# 590

Неточность: Л. П. Косач умерла 19 июля 1913 г.

# 591

В Киевском литературно-артистическом обществе, созданном в 1895 г. и закрытом по распоряжению генерал-губернатора в сентябре 1905 г., помимо действительных членов, избираемых на общих собраниях из лиц, занимавшихся литературно-артистической деятельностью, могли участвовать члены-соревнователи, не обладавшие правом голоса, и члены-посетители, имевшие право бесплатного входа на его мероприятия – концерты, спектакли, лекции, выставки, а также почетные члены. Для достижения предусмотренных уставом целей, а именно: объединения и сближения литераторов, артистов и художников, оказания содействия начинающим и взаимопомощи, обществу предоставлялось право устраивать литературные беседы, чтения, лекции, концерты, литературные и художественные конкурсы, выставки, балы, издавать сборники, а также предоставлять свое помещение для игры в карты, шахматы, домино, биллиард и т. д. (см.: *Водовозов В.* Под флагом «литературы». (Письмо из Киева) // Неделя. 1899. № 20. Стлб. 670–671).

Л. М. Драгоманова вернулась в Киев в 1899 г.

# 593

Описывая свою карьеру, Н. Г. Мардарьев уверял, что был переведен из Киева еще в 1900 г. (см.: *Мардарьев Н. Г.* Нечто из прошлого. (Из воспоминаний бывшего цензора) // Голос минувшего. 1916. № 5/6. С. 372–391); по др. сведениям, он числился помощником отдельного цензора по внутренней цензуре в Одессе с 30 ноября 1902 г.

См.: *Герцен А. И.* Сочинения. Genève; Bale; Lyon, 1875–1879. Т. 1–10.

## 595

См.: «При предложении мне подать в отставку мне не было предъявлено, конечно, никаких обвинений и не указано никаких мотивов. Однако же впоследствии мне удалось узнать, что местная администрация в лице [одесского градоначальника] гр[афа] П. П. Шувалова донесла в Министерство внутренних дел о моей неблагонадежности и между прочим аргументами указывала на то, что я, вместе с письмоводителем цензора Андреевым пользуясь близостью к Комитету цензуры иностранной, снабжал заграничными нелегальными изданиями учеников и учениц зубоврачебной школы Марголина, которая, кстати сказать, считалась П. П. Шуваловым одним из “гнезд революции” в Одессе» (*Мардарьев Н. Г.* Указ. соч. С. 389).

## 596

Имеются в виду братья Петрункевичи – Иван Ильич (с его женой Анастасией Сергеевной, в первом браке графиней Паниной) и Михаил Ильич.

## 597

Правильно: [*Водовозов В.*] Материалы для характеристики положения русской печати. Женева, 1898. Вып. 1–2.

# 598

См.: «Члены палаты депутатов до 1873 г. назначались местными ландтагами, а с 1873 г. избираются народонаселением по очень сложной избирательной системе, а именно: 1) 85 членов выбираются крупными землевладельцами в отдельных австрийских землях; 2) 118 депутатов избираются жителями городов, платящими не менее 5 гульденов прямых налогов, посредством закрытой и прямой подачи голосов; 3) 21 депутат избирается торговыми палатами некоторых больших городов; 4) 129 депутатов избираются в сельских округах плательщиками податей (не ниже 5 гульденов), причем в Нижней Австрии подача голосов прямая и закрытая, а в остальных областях – двухстепенная и открытая. Итого 353 депутата. В 1896 г. к ним было прибавлено 5) 72 депутата, избираемых всеобщей подачей голосов, частью прямой и закрытой, частью двухстепенной и открытой» (*В[одовозов] В.* Рейхсрат // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1899. Т. 26а. С. 520; подробнее о результатах выборов в рейхсрат в марте 1897 г. см.: *Водовозов В.* Политические партии Австрии // Русское богатство. 1898. № 9. С. 142–160).

## 599

Получив заграничный паспорт в Петербурге 18 декабря 1896 г., В. В. Водовозов выехал из Киева во Львов только 22 февраля 1897 г. (см.: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 208, 213).

## 600

Имеется в виду Русско-украинская радикальная партия (РУРП, с 1926 г. – Украинская социалистическо-радикальная), учрежденная на съезде, проходившем 4–5 октября 1890 г. во Львове под председательством И. Я. Франко; основа идеологии – «народнический социализм»; после раскола в 1899 г. из РУРП выделились Украинская социал-демократическая партия и Украинская национально-демократическая партия.

# 601

Ольга Федоровна Франко.

# 602

Ср.: «Уверенный, что выборы будут гораздо интереснее вдали от крупных центров, где местной полиции и жандармерии предоставляется более свободы от назойливого любопытства газетных корреспондентов и политических деятелей, я утром 11 марта с первым поездом выехал из Львова в маленький городок Дрогобич. <…> Совсем в другую атмосферу попал я, когда высадился в Дрогобиче и по грязной улице добрался до магистрата, где производились выборы. Во дворе дома стоял в строю готовый к действию отряд солдат, человек в 30. Перед входом в залу голосования стояли два жандарма, с перьями на шляпах, с ружьями и австрийскими штыками (в форме ножа) на перевязях за плечами; перед входом толпилась кучка мужиков-выборщиков, уже избранных на первоначальных выборах неделю тому назад, а среди них расхаживал комиссар полиции и на прекрасном малороссийском языке убеждал их: “Эх, братцы, чего это вы заладили: Франко да Франко! Франко – безбожник, я верно знаю, что у него дети некрещеные. Какой он вам заступник! Он только мутить умеет”» (*Водовозов В.* Политические выборы в Галиции. (Впечатления туриста) // Новое слово. 1897. Апрель. Кн. 7. С. 223–225).

# 603

Отмечая, что «Русько-украiньска радикальна партiя», основателем которой был М. Драгоманов и его «ближайшие последователи – малороссийский беллетрист и публицист Ив. Франко и публицист [М.] Павлик», стремится «к переустройству австрийской государственной организации на началах широкого федерализма, возможной децентрализации (самоуправления областей, провинций, общин)», В. В. Водовозов писал о «блестящем успехе» ее на выборах 1897 г.: «Несмотря на грубое давление полиции и на явную фальсификацию результатов выборов, она собрала в V курии (всеобщего голосования) 109 000 голосов против 27 000, полученных другими русинскими партиями, и 37 000 в IV (сельской) курии против 47 000; в парламенте она провела трех представителей (Франко был забаллотирован вследствие злоупотреблений полиции, заблаговременно арестовавшей несколько сот его выборщиков)» (*Водовозов В.* Радикализм и радикальная партия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1899. Т. 26. С. 73–74).

одиночную камеру, одиночку (*польск.*).

# 605

Помощник начальника Волынского губернского жандармского управления на пограничном пункте в Радзивилове уведомлял Департамент полиции, что В. В. Водовозов вернулся из заграницы 3 марта 1897 г. (см.: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 212).

# 606

Как докладывал начальник Киевского губернского жандармского управления, В. В. Водовозов возвратился в Киев 5 марта 1897 г. (Там же. Л. 214).

# 607

Неточность: П. А. Гайдебуров скончался еще 31 декабря 1893 г.

# 608

Первый параграф Устава о цензуре 1826 г. гласил: «Цель учреждения Цензуры состоит в том, чтобы произведениям словесности, наук и искусств, при издании их в свет посредством книгопечатания, гравирования и литографии, дать полезное или по крайней мере безвредное для блага Отечества направление» (Устав о цензуре 1926 г. // Сборник постановлений и распоряжений о цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1862. С. 130).

запрещения, вето (*лат.*).

Имеются в виду старорусины, или москвофилы, группировавшиеся вокруг русофильской газеты «Галичанин», которые – в отличие от младорусинов, или украинофилов, шедших на политические компромиссы с австрийским правительством за некоторые совершенно ничтожные, как считал В. В. Водовозов, уступки в пользу малороссийского языка, – отстаивали идею национально-культурного единства славянского населения восточной Галиции с русским народом, апеллируя к официальной России (*Водовозов В.* Политические выборы в Галиции. С. 220; см. также: *Водовозов В.* Политические партии Австрии. С. 159; *Он же*. Радикализм и радикальная партия. С. 74).

# 611

В апрельской книге журнала была опубликована статья В. В. Водовозова «Политические выборы в Галиции. (Впечатления туриста)», но без описания «истории» его ареста, предваряемая авторским примечанием: «В основу предлагаемого очерка положены мои корреспонденции, первоначально напечатанные в газете “Русь”, 1897 г., № 49, 53 и 63. Редакция газеты их сократила, дополнила соображениями, с которыми я решительно не могу согласиться, и отчасти переделала заключавшийся в них фактический материал, пополнив его из других источников сведениями, которые кажутся мне неточными» (Новое слово. 1897. Кн. 7. С. 216).

# 612

История «Руси» изложена в моих «Материалах для характеристики положения печати».

# 613

См.: «В “Русь”, возникшую после вторичной приостановки, Соловьев успел навязать своего редактора, г. Драгомирецкого, и в настоящее время либеральный редактор “Недели” Гайдебуров состоит в то же время издателем консервативного органа» ([*Водовозов В. В.*] Материалы для характеристики положения русской печати. Вып. 1. С. 97).

# 614

Ландтаг (*нем.* Landtag, от Land – земля, страна и Tag – собрание) Пруссии, король которой одновременно являлся с 1871 г. германским императором, состоял из двух палат – верхней (господ), соединявшей в себе элементы наследственности, пожизненного назначения и представительства (крупные землевладельцы, университеты, города), и нижней (депутатов), избираемой по двойной системе выборов.

# 615

Л. П. Меньщиков, служивший тогда в Московском охранном отделении, перечисляя фамилии арестованных «в ликвидацию 12/III», отмечал, что «были на несколько дней задержаны еще В. В. Водовозов и его жена В. П. Водовозова, пытавшаяся во время обыска сжечь какую-то нелегальщину» (*Меньщиков Л. П.* Охрана и революция: К истории тайных политических организаций, существовавших во времена самодержавия. М., 1928. Ч. 2, вып. 1. С. 157). Как указывалось в рапорте прокурора Киевской судебной палаты от 1 декабря 1898 г., у В. П. Водовозовой изъяли «1) две тетради, в одной из коих записана речь, произнесенная фон Косцельским в германском рейхстаге по поводу тенденций и агитации партии социал-демократов, а в другой отмечены названия разных книг по юридическим, социальным и политико-экономическим вопросам и фамилии разных лиц, которым книги выдавались. В числе других встречаются фамилии Биска, Полины Гиберман, Николая Бердяева, Павла Тучапского и других, частью привлеченных к дознанию о “Киевском союзе”, частью привлекавшихся ранее к дознаниям о государственных преступлениях, 2) два полулиста писчей бумаги с записанным на них отрывком произнесенной в германском рейхстаге депутатом Бебелем речи о сущности и стремлениях социал-демократии и 3) остатки полусожженной печатной брошюры “Задачи русской рабочей партии”, издание “группы рабочих революционеров” 1898 года. Брошюра представляет собой, как это и отмечено в предисловии, извлечение из труда Геда и Лафарга “Программа рабочей партии”» (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 5. Д. 11. Л. 265).

# 616

Один из участников революционного кружка, созданного учащимися 2-й Киевской гимназии, вспоминал: «Анатолий Вержбицкий, alter ego А. В. Луначарского, давший с последним “Аннибалову клятву” служить революции и рабочему классу, был большим энтузиастом нашей затеи. Оба они (А. В. Луначарский вступил несколько позже в наш кружок) заняли видное положение в организации и были неразлучными друзьями. Оба они вышли впоследствии, благодаря неладам с начальством, из гимназии и уехали в 1894 году в Швейцарию <…> к самому П. Б. Аксельроду на выучку. О первом из них, исключительно восторженном юноше, А. Ф. Вержбицком, преждевременно погибшем от тифа в голодный год (по дороге из Средней Азии на съезд научных работников заразился тифом и умер в Москве, где похоронен в 1922 году), надлежит упомянуть как об очень глубоком, вдумчивом и высокой культуры общественном работнике в дальнейшей его карьере. За деятельность в киевской с[оциал]-д[емократической] организации он был привлечен в марте 1898 г. в числе других членов “Союза борьбы [за освобождение рабочего класса]” и выслан из Киева под надзор полиции. В дальнейшем и до самой смерти А. Ф. Вержбицкий работал в рядах общественной агрономии» (*Мошинский И. Н.* На путях к 1-му съезду РСДРП: 90-е годы в Киевском подполье. С. 58).

Ср.: «Человек крайне жалкого образования, грубый, жестокий и неумный, сыщик по страсти, но без всякого сыщицкого таланта, Новицкий современного революционного движения, разумеется, совершенно не понимал. Настолько не понимал, что очень часто и очень многим выражал глубокое и, очевидно, совершенно искреннее удивление по тому поводу, что евреи могут принимать участие в революционной деятельности.

– Ну, русские, это я понимаю; отчего же им не позабавиться? Но евреи! Ведь действительно же их положение тяжело, и наказываем мы их куда построже, чем русских; чего же они еще лезут? Неужели им этого мало?!

Для него революционное движение вызывалось, очевидно, не тяжелыми условиями жизни, не социальным неравенством и не политическим гнетом, а, наоборот, тем, что люди с жиру бесятся; если же на его пути встречались люди, революционность которых слишком явно противоречила его теории, то он недоумевал, искренно негодовал на них и столь же искренно мстил им, как за личную ему обиду.

Совершенно естественно, что разобраться в психологии революционеров он был совершенно не в состоянии, отличить различные течения в их среде – тоже, почему он и мог предъявлять одному и тому же человеку обвинение в одновременной принадлежности к социалистско-революционной и социал-демократической партии.

Я сказал, что он был сыщиком по страсти, но без сыщицкого таланта. Может быть, еще более он был палачом по страсти. Сыск тонкий, построенный на психологии, его тяжеловесному уму был недоступен. Он понимал физическую силу, угрозу; он рычал, топал ногами на арестованных, особенно на рабочих, угрожал им всяческими карами и иногда у слабых людей вынуждал предательство, но редко. Для большинства его приемы были слишком грубы, слишком примитивны. В этом, и почти только в этом, состояла его система сыска. Опутать арестованного сетью лжи, затронуть его самолюбие, сыграть на его благородстве и этим путем довести до сознания или даже до предательства, как это умел делать Зубатов, Новицкий не мог. Нужно отдать ему справедливость, что и провокацию он не признавал, потому ли, что она требовала большей изворотливости, чем отпущенная ему природой, а может быть, и потому, что она возмущала даже и его покладистую жандармскую совесть» (*Водовозов В.* В. Д. Новицкий. (Из личных воспоминаний) // Былое. 1917. № 5/6. С. 84–85; см.

также о В. Д. Новицком: *Водовозов В.* По поводу «нового курса» в Одессе // Товарищ. 1907. № 35. 24 авг.).

С тех пор как я живу сознательною жизнью, я смотрел и смотрю на наше правительство как на самую главную из тех благих сил, которые дали России ее настоящее положение в мире. Эта мысль, которая всегда владела и владеет мною, еще более окрепла под влиянием занятий исторической наукой, которой я предался, – и я не мог и не могу представить себе свою жизнь посвященной чему-либо иному, кроме службы правительству. По окончании университетского курса я был оставлен при университете, получил звание приват-доцента, – и Министерство народного просвещения командировало меня за границу, куда я и должен был отправиться 20 мая сего года. Но 29 апреля произошло событие, разрушившее все мои предположения и создавшее для меня из жизни одну нескончаемую нравственную пытку.

Одна моя знакомая – Наталия Вержбицкая – пришла ко мне вечером этого дня и предложила идти вместе на реферат о драмах Ибсена, который должен, как она сказала, читаться на квартире князя Андроникова. Мы пошли туда, и там в 11½ ч. вечера все присутствующие были арестованы по распоряжению г. начальника Киевского губернского жандармского управления. Вскоре затем я был освобожден из-под ареста, но привлечен к следствию по этому делу. Как ни велико постигшее меня несчастье, я далек от того, чтобы хотя на минуту упрекать в нем власти: когда пришла полиция, то некоторые из присутствовавших стали вдруг выбрасывать из карманов на пол разные бумажки (оказавшиеся прокламациями) – и этим набросили тень на все собрание. Я горько раскаиваюсь в неосмотрительности и необдуманности своего поступка – прихода на совершенно незнакомую мне квартиру, где из 50 собравшихся всего пять человек были мне известны. Негодные люди, принесшие в своих карманах прокламации и выбросившие их вместо того, чтобы сознаться в имении их при себе, своим гнусным поступком сделали все собрание подозрительным в глазах властей, по крайней мере на первое время, пока еще допросы не обнаружили, что читался действительно только реферат об Ибсене. Мало того: многие из присутствовавших оказались людьми, скомпрометированными в глазах властей, – и это также бросило тень на всех.

Ваше высокопревосходительство! Меня мучает мысль, что моя неосмотрительность, в которой я горько каюсь, могла заставить причислить меня к разряду людей, к которым я всегда относился и отношусь самым отрицательным образом, людей,

действия которых всегда представлялись мне действиями помешанных или преступников. Для меня нравственно непереносима мысль, что те, которые окружают престол моего Государя и блюдут сохранность государственного строя, будут читать мое имя наряду с именами лиц, с которыми я не имел и не хочу иметь ничего общего. Я поклялся себе всею своею жизнью доказать, что только слепой случай мог сделать меня на мгновение человеком подозреваемым в глазах властей и что все мои силы будут посвящены только и исключительно служению нашему правительству – и ему одному. Разрешение вашего высокопревосходительства взять на себя занятия в белостокском коммерческом училище для меня имеет глубоко радостный смысл не только потому, что дает кусок хлеба моей семье, но прежде всего потому, что покажет, что мое искреннее и глубокое раскаяние в неосмотрительном поступке и клятвенное обещание до конца дней служить Государю не оставлены без внимания вашим высокопревосходительством. Евгений Тарле. Город Варшава, Дикая улица, дом № 8» (Там же. Л. 88–89).

Проведя следующее лето в Петербурге, Тарле защитил 14 октября 1901 г. в Киеве магистерскую диссертацию «Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени», а в 1903 г. занял должность приват-доцента по кафедре всеобщей истории Петербургского университета.

# 618

12 марта 1898 г. В. Д. Новицкий доложил Департаменту полиции, что «арестовал 100 человек» (см.: *Меньщиков Л. П.* Указ. соч. С. 24), но, согласно рапорту заведующего Временной канцелярией при Министерстве юстиции по производству особых уголовных дел от 11 апреля 1898 г., одновременно подверглись арестам 105 лиц в Киеве, 43 – в Одессе и не менее 25 – в Екатеринославе, где полиция захватила также подпольную типографию (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 5. Д. 11. Л. 69).

# 619

Первый съезд Российской социал-демократической партии (РСДРП), провозгласивший ее учреждение, проходил в Минске с 1 по 3 марта 1898 г.

Неточность: агентов охранки в числе делегатов не было, хотя за некоторыми из них велась слежка, причем 2 февраля 1898 г. один из участников съезда Б. Л. Эйдельман вместе с прибывшим из Вены социал-демократом Л. В. Теслером встретился с приехавшим в Киев машинистом одесского водопровода С. М. Гандером, завербованным охранкой еще в 1894 г. (см.: *Меньщиков Л. П.* Указ. соч. С. 21).

# 621

Неточность: на съезде присутствовали всего 3 делегата от Киева: П. Л. Тучапский – от местного «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», Б. Л. Эйдельман и Н. А. Вигдорчик – от «Рабочей газеты»; Л. В. Теслер в съезде не участвовал.

# 622

Б. Л. Эйдельман писал, что «никакого непосредственного участия в переговорах о созыве съезда Теслер не принимал», «ни в Москве, ни в каких-либо других местах переговоров не вел» (цит. по: Первый съезд РСДРП. Март 1898 года: документы и материалы. М., 1958. С. 195).

# 623

На следствии А. Ф. Вержбицкий показал, что, «слушая в 1895 г. лекции в Цюрихском университете, он познакомился там с Теслером и затем ближе с ним сошелся осенью 1897 года в Вене. Во время пребывания своего в Цюрихе он познакомился также с Ниной Лопатиной, с которой часто встречался в русской читальне, в столовой и на лекциях ботаники; бывал изредка и у нее на квартире. <…> Осенью 1897 г. он вернулся из заграницы в Киев, а в феврале 1898 г. приехал туда же Теслер и, узнав его адрес, изредка стал бывать у него. Раза два и он был у Теслера в квартире Лопатина [отчима Нины]. Одно время он нанимал в Киеве комнату у Василия Водовозова…» (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 5. Д. 12. Л. 114).

# 624

Десятина – старая русская единица земельной площади, равная 1,09 гектара.

## 625

Как вспоминал Б. Л. Эйдельман, одно из последних собраний группы «Рабочей газеты» перед самым съездом происходило у четы Водовозовых в Десятинном переулке (см.: Первый съезд РСДРП. С. 201).

# 626

М. С. Эвенсон был выслан из Петербурга 23 апреля 1891 г. за участие в похоронах Н. В. Шелгунова и, бедствуя с семьей в Режице Витебской губернии, обратился с прошением в Департамент полиции. Заверяя в своей «неизменной приверженности Государю Императору», он умолял простить его «легкомысленный» поступок – желание отдать последний долг своему «работодателю», ибо, пояснял Эвенсон, «последнее собрание сочинений Шелгунова я верстал и читал в корректуре, за что получил хорошую плату и благодарность автора». Поскольку это подтверждалось «свидетельством лица, заслуживающего полного доверия», директор департамента П. Н. Дурново посчитал возможным удовлетворить прошение Эвенсона, который, поселившись в 1894 г. в Киеве, служил корректором в типографии В. С. Кульженко, сотрудничая в местной прессе и житомирской газете «Волынь». В жандармских «Сведениях, полученных при наблюдении с 1-го января по 1-е июля 1897 г.» отмечалось, что «в квартире супругов Эвензон проживают поднадзорные супруги Василий Васильев и Вера Петрова Водовозовы», которых «посещают лица, причастные, по-видимому, к делу агитации среди рабочих» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 89. 3 д-во. 1891. Д. 666. Л. 6–8, 33).

## 627

Ср.: «Был арестован В[ержбицк]ий, были арестованы мы с женой, были арестованы и Э[венсо]ны, и дети их, из которых старшему было лет десять, брошены на произвол судьбы. Через 6 дней мы четверо (кроме В[ержбицк]ого) выпущены на свободу без всякого допроса» (*Водовозов В.* По поводу «нового курса» в Одессе). Это подтверждают жандармские «Сведения, полученные при наблюдении с 1 января по 1 июля 1898 г.», сообщающие, что после обыска, произведенного в ночь с 11 на 12 марта в квартире М. Ш. Эвензона, он «до 18 марта был задержан в Киевской тюрьме» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 89. 3 д-во. 1891. Д. 666. Л. 31).

# 628

Приводя список арестованных 11–12 марта 1898 г. в Киеве, «занявших в этом деле видное место», Л. П. Меньщиков открывал его фамилией Л. В. Теслера, о котором писал: «учился за границей; проживая в Цюрихе (96 г.), принадлежал к Союзу с.-д. [Союзу русских социал-демократов за границей] и был близок с Плехановым; в следующем году находился в Вене, состоял в кружке [П. Ф.] Теплова; прибывши в Киев, сделался деятельнейшим членом Киевского Союза борьбы [за освобождение рабочего класса], руководил рабочими кружками, а также изданием журнала “Вперед” и воззваний; имел сношения с Эйдельманом и [С. В.] Померанец; арестован на собрании рабочих, происходившем 11-III—98 г. у слесаря Р. К. Маевского; по обыску отобран мимеограф, трафаретка 12-й страницы № 4 журнала “Вперед”, письмо к Плеханову и др. документы» (*Меньщиков Л. П.* Указ. соч. С. 24).

# 629

В квартире студента К. П. Василенко полиция обнаружила «значительное количество сожженной печатной бумаги»: перед арестом он пытался уничтожить имевшиеся у него экземпляры киевской нелегальной газеты «Вперед» (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 5. Д. 11. Л. 21). В 1924 г. Василенко, оказавшийся как меньшевик в киевском Доме предварительного заключения, вспоминал, что, так как еще «в начале января 1898 г. была замечена усиленная слежка за многими членами организации», вслед за избранием делегата (П. Л. Тучапского) на I съезд РСДРП, состоялось решение во избежание арестов предоставить наиболее заподозренным эсдекам «продолжительный отпуск», заменив их новыми силами: «Установление преемственной связи между работой старой и новой организации было возложено на недавно прибывшего из Швейцарии секретаря заграничной организации Теслера и на меня». Но обоих постигла общая участь, и, описывая свое пребывание в тюрьме, где был заключен в одиночку, Василенко писал, что в числе сидевших в общих камерах был и В. В. Водовозов, «поддерживавший тесную связь с социалистическими организациями (особенно с.-д.) и оказавший большое влияние на развитие политической мысли революционного Киева», ибо в течение 1897 г. прочитал «ряд нелегальных лекций о государственном строе западноевропейских держав и о политических партиях», и «им же делались доклады о выборах в рейхстаг и о партейтагах германской с.-д., на которых он лично присутствовал» (*Василенко К.* Четверть века назад. (Странички из воспоминаний) // Былое. 1924. № 27/28. С. 129–130).

## 630

В рукописи далее зачеркнуто: «известного впоследствии украинского министра».

# 631

Неточность: коллежский асессор В. А. Лопатин служил младшим ревизором Киевского акцизного управления.

# 632

В. А. Лопатин показал на допросе, что познакомился с Л. В. Теслером в феврале 1898 г. через свою падчерицу Нину, студентку Цюрихского политехникума, с которой тот занимался в химической лаборатории. Лопатин «согласился быть восприемником Теслера при принятии им Св. Крещения», а в середине февраля уехал в Петербург, где, мол, «дня через два или три получил от своей сожительницы [Лидии] Крутицкой письмо с извещением о том, что ввиду стесненного материального положения Теслера она разрешила ему временно поселиться в их квартире» (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 5. Д. 11. Л. 135). Последнее опровергла прислуга Лопатиных, заявившая, что Теслер переехал на жительство к ним еще за пару дней до отъезда хозяина и «поместился в кабинете». Хотя с Лопатина взяли «подписку о неотлучке из места жительства», а Нина была подчинена особому надзору полиции, дознание в отношении обоих прекратили «по недостаточности улик» (Там же. Д. 12. Л. 114, 346).

# 633

Прокурор Киевской судебной палаты А. А. Чернявский доложил 11 апреля 1898 г., что в квартире студента Николая Бердяева полицией изъяты: «а) несколько рукописных статей, направленных против существующих в России государственного и экономического строя и основ общественной жизни, составленных частью самим Бердяевым, а частью переведенных им с немецкого и французского языков, б) письма за подписью Мукалова, в которых сообщается о распространении их автором статей Бердяева и нелегальной литературы, в) письма за подписью Л. Гладина, в которых говорится о том же, г) письмо без подписи, в котором неизвестный автор доказывает Бердяеву и некоему Михайле бесполезность их намерения вести пропаганду в деревне и советует им посвятить свою деятельность городу, и д) три письма из Цюриха за подписью Нина, в которых сообщается об исполнении автором порученного через Этингер поручения из Киева к Грозовскому о каком-то содействии и о каких-то книгах и выражается опасение, что в случае приезда Бердяева в Цюрих автору письма придется мало его видеть, так как его, Бердяева, будут, вероятно, посещать все проживающие в Цюрихе русские и, может быть, также посетит его “и сам Павел Борисович” (эмигрант Аксельрод)» (Там же. Д. 11. Л. 22). На допросе Бердяев показал, что «обнаруженные у него рукописи были написаны им для себя, что они им не распространялись, за исключением, впрочем, рукописи “О морали долга”, которую он давал читать некоторым своим знакомым. Оказавшиеся у него письма писаны окончившей Киевскую женскую гимназию Людмилой Гладиной, штурманом Николаем Мукаловым и проживавшей одно время в Цюрихе Ниной Всеволодовной Лопатиной, дочерью того Лопатина, в квартире которого проживал в Киеве совершенно ему, Бердяеву, неизвестный Теслер. К этому Бердяев добавил, что за давностью времени он не может объяснить содержания означенных писем» (Там же. Л. 26). В «Списке лиц, арестованных, привлеченных и предполагаемых к привлечению по делу о преступном сообществе “Киевский союз борьбы за освобождение рабочего класса”» от 24 марта, который включает 96 лиц, говорится: «43. Николай Бердяев, студент. – Сношения с Гиберман, Э[й]дельманом, Крыжановской и другими. – По обыску ничего не найдено. Зависит от дальнейшего хода дознания. Содержится под стражей» (Там же. Л. 80).

## 634

См., например: *Дорошевич В. М.* Одиночное заключение // Дорошевич В. М. Собр. соч. М., 1907. Т. 9. С. 76.

# 635

Ср.: «В ночь на 29 декабря истекшего года меня разбудили непрошеные гости в полицейских мундирах. Причина этого неожиданного и весьма мало приятного визита тогда была для меня совершенно неизвестна и остается таковою же и поныне. Ночные гости произвели осмотр моих бумаг, взяли с собой значительную их кипу и препроводили меня сперва в участок, потом в охранное отделение, а затем поздно вечером того же дня в Дом предварительного заключения на Шпалерной улице. И был вечер, было утро, день первый. За ним последовал день второй. На третий вечер я собрался уже встречать невеселый Новый год, печально думая о предстоящей перспективе проведения в этом не особенно приятном учреждении неопределенно долгого времени, как вдруг отворилась дверь, и я услышал возглас: “на свободу”. Свобода была для меня так же неожиданна и так же непонятна, как и арест. Последний и до сих пор остается таким же: допросу я не был подвергнут, и в чем я виновен или в чем меня подозревали, я не знаю. Да и первая также: почему, напр., Мякотин, столь же виновный или столь же невиновный, как и я, просидел две недели, тогда как я отделался всего двумя днями?» (*Водовозов В.* Четверть века назад и теперь // Северные записки. 1916. № 3. С. 205).

Неточность: жена В. В. Водовозова, содержавшаяся под стражей с 12 по 17 марта 1898 г., была, в отличие от него, привлечена в качестве обвиняемой к дознанию по делу «Киевского союза борьбы за освобождение рабочего класса», но оставлена на свободе с учреждением за ней особого надзора полиции. Не признав себя виновной, В. П. Водовозова показала на допросе, что найденные у нее рукописи с переводом речей, произнесенных в германском рейхстаге, «вероятно, приняты от кого-нибудь ее мужем для редактирования», а в изъятой тетради «ею самой и ее мужем делались отметки о выдаче книг разным лицам, в том числе их знакомым: Полине Гиберман, Николаю Бердяеву и другим». Что же касается полусожженной брошюры о задачах русской рабочей партии, то «таковая принадлежит одной ей, и ее муж о брошюре этой ничего не знал», причем якобы «получила она ее накануне обыска с вечерней почтой в простом письме, кажется, с московским штемпелем и хотела ее уничтожить, для чего зажгла и остатки бросила в умывальное ведро, где их потом и нашли» (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 5. Д. 11. Л. 265–269). Дознание, к которому привлекли 142 человека, из которых 12 оставались под стражей, было завершено 7 мая 1899 г., и согласно приговору, последовавшему лишь 22 марта 1900 г., В. П. Водовозову подчинили гласному надзору полиции на один год в избранном ею месте жительства (Там же. Д. 12. Л. 34–45, 336).

## 637

См.: «Ответ на жалобу получил от Новицкого: он меня призвал и с чрезвычайным чувством собственного достоинства заявил мне, что никаких жалоб он не боится, что он имеет связи в высших сферах и что машину и бумаги он мне не отдаст или отдаст тогда, когда сам захочет, а что если я буду и дальше жаловаться, так мне же достанется» (*Водовозов В. В.* В. Д. Новицкий. (Из личных воспоминаний). С. 83).

# 638

Неточность: Н. А. Бердяев, освобожденный под залог в 5000 рублей, содержался под стражей около трех недель, с 12 марта по 1 апреля 1898 г. (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 5. Д. 11. Л. 233).

# 639

А. Ф. Вержбицкий, освобожденный из-под стражи 18 августа 1898 г. (в предварительном заключении он провел 5 мес. и 6 дней) под залог в 600 рублей (позже сумма увеличилась до 1000 рублей), согласно приговору, был подчинен гласному надзору полиции на два года (Там же. Л. 197; Д. 12. Л. 336).

# 640

22 марта 1900 г. по докладу министра юстиции император Николай II соизволил «выслать под гласный надзор полиции: а) в Восточную Сибирь – Бориса Эйдельмана и Льва Теслера на 8 лет <…> и б) в Вологодскую губернию – <…> Павла Тучапского на 4 года, Николая Бердяева, <…> Веру Крыжановскую, ныне по мужу Тучапскую, Николая Мукалова <…> на 3 года <…>» (Там же. Л. 334).

# 641

Неточность: имеется в виду не Александр Биск, а его брат Исаак; в «Списке лиц, арестованных, привлеченных и предполагаемых к привлечению по делу о преступном сообществе “Киевский союз борьбы за освобождение рабочего класса”» от 24 марта 1898 г. говорится: «Биск Исаак, бывший студент. – По обыску ничего не найдено. Был в постоянных сношениях с Теслером. Брат его [Иона] арестован и привлечен в Москве. – Подлежит привлечению. Содержится в порядке Охраны» (Там же. Д. 11. Л. 80). Прокурор Киевской судебной палаты пояснял 12 мая, что «сын купца Исаак Биск, проживавший одно время в Швейцарии, находился в постоянных сношениях с Львом Теслером и семейством чиновника Киевского акцизного управления Всеволода Лопатина» (Там же. Л. 134). В списке обвиняемых по делу сказано, что Биск «содержался под стражей с 12 марта по 25 апреля 1898 года. Ныне находится под надзором полиции» (Там же. Л. 300). Биск, согласно приговору от 22 марта 1900 г., был отдан под гласный надзор полиции в черте еврейской оседлости на один год в избранном им месте жительства (Там же. Д. 12. Л. 335).

К. П. Василенко был освобожден 11 июня 1898 г. «на поруки с денежной ответственностью в 3000 рублей» и отдан под особый надзор учебного начальства на один год (Там же. Л. 300, 337).

# 643

22 марта 1898 г. начальник Киевского губернского жандармского управления генерал-майор В. Д. Новицкий доложил в Петербург, что «состоящий под негласным надзором полиции дворянин Василий Васильевич Водовозов ходатайствует о выдаче ему удостоверения на беспрепятственный выезд за границу». В заключении от 27 марта, составленном делопроизводителем Департамента полиции П. Н. Лемтюжниковым, говорилось: «Принимая во внимание, что Василий Водовозов по последней ликвидации в Киеве был обыскан (ничего не найдено), заключен под стражу, а затем 17 марта освобожден, а равно имея в виду, что жена названного Водовозова, Вера, при обыске ее пыталась сжечь преступное издание, – полагал бы, что по ходу дознания может представиться необходимым привлечь Водовозова к возникшему дознанию, а потому полагал бы выдачу ему удостоверения для беспрепятственного выезда за границу пока отложить». 30 марта Департамент полиции уведомил Новицкого, что ходатаю «может быть выдан заграничный паспорт, если в нем, Водовозове, не встречается надобности при производстве возникшего дознания» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 229–231).

## 644

По паспорту, выданному столичным градоначальником 16 мая 1898 г., В. В. Водовозов выехал за границу 23 мая (см.: Там же. Л. 232).

Рейнланд (Rheinland) – Рейнская провинция Пруссии.

Все лица, обладавшие активным избирательным правом, делились по размеру уплачиваемых ими прямых налогов на три класса (в первый класс входили лица, платившие наибольшую сумму, но с тем, чтобы она не превышала трети всех налогов, собираемых в данном округе); каждый из классов мог избрать одинаковое количество выборщиков (по 1 на 250 жителей), а уже собрания их выбирали 433 депутата.

От Parteitag (*нем.*) – партийный съезд.

# 648

Съезд СДПГ в Штутгарте проходил 3–8 октября 1898 г.

# 649

В серии статей под заголовком «Проблемы социализма», которые печатались в «Neue Zeit» в 1897–1898 гг., Э. Бернштейн доказывал, что многие положения, высказанные К. Марксом и Ф. Энгельсом, в том числе «теория катастрофы» («Zusammenbruchtheorie»), т. е. общего краха капитализма, не находят подтверждения. Но книга «Предпосылки социализма» (*нем.*; правильно: «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии») вышла уже после закрытия съезда СДПГ (*Bernstein E.* Die Voraussetzungen des Socialismus und die Aufgaben der Socialdemokratie. Stuttgart, 1899). В. В. Водовозов, оценивая данный труд в предисловии к им же переведенной брошюре Э. Бернштейна «Возможен ли научный социализм?» (рукопись была запрещена к печати С.-Петербургским цензурным комитетом 19 декабря 1901 г.), писал: «В этой книге подверглись беспощадной критике как теоретические основы социализма в его новейшей форме, так и практическая программа немецкой социал-демократической партии. Критика Бернштейна шла так далеко, что через несколько месяцев после выхода в свет его книги на категорически поставленные ему вопросы, какие из теоретических пунктов социал-демократической программы он признает еще правильными, в письме, опубликованном в немецких газетах, отвечал, что из шести пунктов теоретической программы в настоящее время совершенно отвергает первые пять и признает только последний, шестой пункт о роли рабочего класса в прогрессе человечества, и то с заменой выражения “исключительная роль” выражением “крупная роль”. В области практической Бернштейн отрицает космополитизм и враждебное отношение к милитаризму и колониальной системе, выдвигая вперед идеалы национальные; даже само название партии, “международная революционная социал-демократия”, он предлагает заменить названием “германская партия социальной реформы”. Хотя Бернштейн всячески считал необходимым, быть может из пиетета к прошлому, сохранить за собой кличку социалиста, но в действительности от социализма и социал-демократической программы у него остается очень мало» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 1494. Л. 5).

# 650

На второй день съезда А. Бебель огласил заявление Бернштейна, от 29 сентября: «Никто не ставит под сомнение необходимость для рабочего класса завоевания демократии. Спор шел о теории взрывов и о том, может ли социал-демократия при существующем уровне развития Германии в городе и деревне ориентироваться на внезапную катастрофу. Я это отрицал и сейчас отрицаю… И поскольку я убежден, что народы в своем развитии не могут перескочить через целую эпоху, то считаю ближайшей и самой важной задачей социал-демократии борьбу за политические права рабочих…» (*Bernstein E.* Erklärung an den Parteitag // Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu Stuttgart vom 3. bis 8. Oktober 1898. Berlin, 1898. S. 122–125). Бернштейн призывал социал-демократию найти в себе мужество стать открыто тем, чем она уже является в действительности: «демократически-социалистической партией реформы»; позднее Водовозов резюмировал: «Он доказывал, что история ведет не к углублению пропасти между магнатами капитализма и пролетариатом, а к ее заполнению; ожидание катаклизма не основательно и должно быть заменено верой в постепенную эволюцию, ведущую постепенно к социализации общественного строя. <…> Борьба классов существует, но она не единственное содержание истории, так как рядом с ней есть и сотрудничество классов» (*В[одовозо]в В.* Бернштейн // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1905. Доп. т. 1. С. 255–256).

# 651

Оказавшись в эмиграции после введения в 1878 г. «исключительного закона против социалистов», Бернштейн вернулся на родину только в 1901 г., так как прокуратура возбудила против него дело по обвинению в оскорблении германского императора.

фрау (*нем.*).

фрейлейн доктор Роза Люксембург (*нем.*).

товарищ Парвус (*нем.*).

# 655

Переехав из Швейцарии в Германию, Р. Люксембург вступила в апреле 1898 г. в фиктивный брак с младшим сыном своего домохозяина в Цюрихе – Густавом Любеком (Gustav Lübeck), 24-летним наборщиком типографии (по др. сведениям – слесарем) и анархистом по убеждениям, с которым официально развелась пять лет спустя (см.: *Waters M.-A.*. Rosa Luxemburg Speaks. L., 1970. P. 12).

## 656

Видимо, имеется в виду открытое письмо К. Каутскому под заголовком «За что нам его благодарить?», напечатанное Г. В. Плехановым в «Саксонской рабочей газете» уже после съезда (см.: Wofür sollen wir ihm dankbar sein? Offener Brief an K. Kautsky // Sächsische Arbeiterzeitung. Dresden. 1898. № 253–255. 30 Oktober, 2, 3 November), с вопросом: «Кому кем быть похороненным: социал-демократии Бернштейном или Бернштейну социал-демократией»? (*Плеханов Г. В.* Сочинения. М., 1925. Т. 11. С. 23–35).

В речи, длившейся более шести часов, А. Бебель, в частности, замечал: «Мы не чиним суда над еретиками, но когда Бернштейн нам предлагает выбросить за борт все, что составляет наше убеждение и наше упование, когда он нам изображает силу противников в преувеличенном масштабе и настолько же умаляет нашу собственную, не считаясь с действительным значением воодушевления и в погоне за реализмом “сводя на нет” все, чего нельзя ощупать руками, я не вижу в нем больше товарища. Ведь этим же языком с нами говорили и противники» (цит. по: *Иоллос Г. Б.* Письма из Берлина. СПб., 1908. С. 429).

«товарищ Маленькая» (*нем., лат.*).

«Браво, товарищ Маленькая» (*нем., лат.*).

«товарищ» (*нем.*).

«господин депутат рейхстага» (*нем.*).

«товарищ Цеткин» (*нем.*).

# 663

Съезд СДПГ, состоявшийся в Дрездене 13–20 сентября 1903 г.

господин доктор (*нем.*).

# 665

В синодальном переводе «Послания к римлянам» полностью данный фрагмент главы 13 звучит так: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим 13: 1).

# 666

См.: «Христиане приняли римское государство и римское право; побежденный и отходящий мир нашел средство проникнуть в стан победителей» (*Герцен А. И.* Письма об изучении природы // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 3. С. 222), а также: «Древний мир, истощив свои жизненные силы, падал, христианство явилось на его одре врачом и утешителем, но, прилаживаясь к больному, оно само заразилось и сделалось римское, варварское, какое хотите, но только не евангельское» (*Он же*. С того берега // Там же. М., 1955. Т. 6. С. 98).

## 667

Имеется в виду «Манифест Коммунистической партии» (1848) К. Маркса и Ф. Энгельса, заканчивающийся словами: «Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

# 668

Чартизм – социально-политическое движение 1830–1840-х гг. за введение в Англии всеобщего, прямого, тайного и равного избирательного права; название происходит от «Народной хартии» («People's Charter») – законопроекта об избирательной реформе в интересах рабочего класса, поданного в парламент в 1839 г.

## 669

Имеется в виду основанная в 1893 г. Независимая рабочая партия (Independent Labour Party), вошедшая в 1900 г. на правах автономной организации в Комитет рабочего представительства (Labour Representation Committee), получивший в 1906 г. название Лейбористской партии (Labour Party).

Не разделяя «практических предложений» Бернштейна, предлагавшего сосредоточиться на работе в профсоюзах, но защищая его, Ауэр сказал на съезде: «Когда я прочел книгу Бернштейна, я ему написал: “Милый Эдя (Эдуард), ты осел: таких вещей не говорят, так только поступают”» (цит. по: *Иоллос Г. Б.* Указ. соч. С. 435–436).

Я говорю о начале войны. Я не говорю здесь о всем известных событиях в России, начиная с 1917 г.

IX чрезвычайный конгресс Второго Интернационала состоялся в Базеле 24–25 ноября 1912 г.

# 673

Хозяйка.

Более точный перевод: домохозяйка (*нем.*).

## 675

См.: *Braun L.* Memoiren einer Sozialistin: Lehrjahre. Kampfjahre: Roman. 2 Bd. München, 1909–1911. Рус. перевод: *Браун Л.* Роман моей жизни (Мемуары социалистки) / Пер. с нем. З. Н. Журавской. Пг., 1918.

## 676

А. Мильеран состоял министром торговли, промышленности, почт и телеграфов в 1899–1902 гг.

# 677

Революционный синдикализм, отрицая парламентаризм, требовал не преобразования, а разрушения, уничтожения буржуазного государства, выступая за главенствующую роль профсоюзов (синдикатов) в классовой борьбе и построении общества, свободного от капитализма, на основе рабочего самоуправления.

## 678

Ю. Лагардель в письме от 21 ноября 1903 г. предлагал В. В. Водовозову свои услуги в качестве корреспондента из Франции, а его жена поясняла 8 декабря: «До сих пор мы могли жить на свои собственные средства, теперь же приходится довольно круто: “Le M[ouvement] s[ocialiste]” переживало “кризис социализма”, и нам пришлось ухлопать на него почти все свободные деньги. В настоящее время нам предстоит дилемма: либо проститься с “Le M[ouvement] s[ocialiste]”, либо создать себе независимое во Фр[анции] материальное положение. Думаю, что русские товарищи не откажут помочь в этом отношении. Hubert пишет хорошо и знает Фр[анцию], а стало быть, будет порядочным корреспондентом» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2314. Л. 1–2).

## 679

Из Парижа Зинаида Лягардель посылала свои корреспонденции в петербургские газеты «Наша жизнь» и «Товарищ», членом редакции которых состоял В. В. Водовозов (см. их переписку: Там же. Д. 250. Л. 1–2; Д. 2290. Л. 1).

## 680

Правильно: Lafont.

# 681

См.: «Гражданин Эрнест Лаффон вместе со своей женой Зинаидой Лаффон прибыл в Советскую Россию через Польшу, причем в Варшаве посещал французскую военную миссию, являющуюся центром всех враждебных действий империалистской контрреволюции против социалистической Республики. Прибыв в Россию, депутат Лаффон не дал, по собственной инициативе, никаких объяснений правительству Советской Республики и не предпринял немедленно и безотлагательно никаких шагов к тому, чтобы облегчить советскому правительству ведение войны против буржуазной контрреволюции. В частной беседе, которая велась в присутствии товарища Жака Садуля, депутат Лаффон сделал целый ряд в высокой степени интересных сообщений, связанных с посещением им Варшавы, причем эти сообщения в понимании Жака Садуля, ни компетентность, ни добросовестность которого не могут быть заподозрены, приняли вполне определенный смысл, который он изложил в своем письме. Смысл речи депутата Лаффона в изложении товарища Садуля свидетельствует, что социал-шовинист Дашинский, один из злейших виновников польского наступления, ныне член польского правительства, оценивает перемирие с Россией как передышку, долженствующую обеспечить сосредоточение военных сил для нового удара против Советской России. Запрошенный мной депутат Лаффон, не отрицая подобной оценки “мирных” шагов польского правительства, настойчиво опровергал указанный выше смысл речи Дашинского, которого партия Лаффона, как известно, считает социалистом. Независимо от того, чем определяется заявление депутата Лаффона, остается во всей своей силе тот факт, что депутат, считающий себя французским социалистом, во время войны социалистической республики против республики буржуазной, играющей к тому же роль простого орудия в руках империалистов той страны, в парламенте которой заседает депутат Лаффон, <…> в качестве нейтрального наблюдателя совершает переезд из Парижа в Варшаву, из Варшавы в Москву, обменивается “товарищескими” суждениями с Дашинским, с членами французской военной миссии и другими организаторами гнусного и бесчестного наступления против Советской России и сознательно уклоняется от того, чтобы заклеймить перед польским, французским и русским пролетариатом его наиболее отъявленных врагов. Ввиду всего вышеизложенного и в ограждение интересов Российской Социалистической Республики

со стороны “социалистов”, депутата Эрнеста Лаффона и жену его гражданку Зинаиду Лаффон, связанную с ним политической солидарностью, выслать из пределов Советской Республики, широко опубликовав как в России, так и во всем мире к сведению рабочих масс о причинах этой чрезвычайной меры. Выполнение высылки возлагается на Особый Отдел Всероссийской Чрезвычайной Комиссии» (Двурушников – вон из страны! Приказ Председателя Революционного Совета Республики 31 июля 1920 г., № 232, гор. Москва // Известия. 1920. № 168. 1 авг.).

расписанием движения (*нем.*).

# 683

То есть объявлений о сдаче комнаты (*устар.*).

# 684

В. В. Водовозов приехал в Петербург 28 ноября 1898 г. (см.: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 236).

# 685

Вспоминая о киевских рефератах, на которых «обычными докладчиками и постоянными оппонентами» выступали Н. Н. Новиков, А. В. Луначарский, Н. А. Бердяев, Е. В. Тарле, а со стороны народников – И. А. Дьяков, М. Б. Ратнер и другие, И. Н. Мошинский писал: «Вас[илий] Вас[ильевич] стоял очень близко к нашему с[оциал]-д[емократическому] подполью и оказывал ему весьма ценные услуги всеми доступными ему средствами, в том числе и пером. Жена его Вера Петровна, стоявшая во главе политического Красного Креста, также была очень ценным и заслуженным членом подпольной семьи. Жили Водовозовы в тенистом саду на Десятинном пер. (Андреевский спуск над Подолом) во флигеле, особенно удобном для конспиративных собраний киевских подпольщиков, которые не раз собирались здесь на комитетские собрания и рефераты, и им этот гостеприимный дом должен быть особенно памятен» (*Мошинский И. Н.* Указ. соч. С. 138).

# 686

Роман немецкого писателя «In Reih’ und Glied» (1866) вышел в русском переводе под названием «Один в поле не воин» (СПб., 1867–1868; др. название – «Сомкнутыми рядами») и многократно переиздавался; см.: *В[одовозо]в В.* Шпильгаген // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1903. Т. 39а. С. 832–834.

## 687

Фердинанд Лассаль был прообразом Лео Гутмана («guter Mann» в переводе с немецкого «хороший человек»).

# 688

Ср.: «Очередной литературно-музыкальный вечер 17 марта вызвал небывалое стечение публики. Первым выступил С. А. Бердяев с двумя стихотворными пьесами <…>. Затем В. В. Водовозов прочитал реферат “Об общественных идеях в новейшей немецкой литературе”. Референт начал с характеристики общего разочарования, водворившегося в германском обществе и литературе на рубеже XVIII и XIX столетий вследствие крушения пылких надежд, которые были порождены великой французской революцией. <…> В особенно популярном среди русских читателей романе Шпильгагена “Один в поле не воин” изображено, как возникло новое движение в германском народе, которое на развалинах иллюзий 1848 года пыталось выстроить новое здание человеческого счастья – дом, где найдут надежный приют все страждущие в этом мире. По мнению Шпильгагена, и это течение с самого начала было обречено на неудачу, потому что его представители в своем стремлении примениться к новым обстоятельствам поставили силу выше права и искали временного союза с теми, кто по существу был им безусловно враждебен… На самом же деле эта новая струя развивалась вширь и вглубь, мощно захватывая в Германии разные слои народа и даже мечтая о возможности повторения 1848 года с полным торжеством в итоге на этот раз. Но он, увы, не повторился, а вместо того в новом течении возник разлад, как на яркий симптом которого г. Водовозов указал на известную книгу Бернштейна, повсеместно наделавшую столько шуму в последнее время. <…> Блестящий, отличавшийся редкой общедоступностью и живостью изложения реферат В. В. Водовозова вызвал очень продолжительные и бурные прения ввиду обнаружившегося принципиального разногласия большинства присутствовавших с лектором. Дебаты затянулись до 1 ч. ночи. Против референта энергично выступило около 10 различных оппонентов» (*К. М.* В литературно-артистическом обществе // Жизнь и искусство. 1900. № 72. 12 марта).

Например, 9 марта 1900 г. Н. А. Бердяев прочитал одну из глав подготовленной им к печати книги «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском» (изданной в 1901 г. в Петербурге); оппонентами выступили Е. В. Тарле, М. Б. Ратнер и В. В. Водовозов, указывавший «на противоречие, в которое, по его мнению, впал референт, признав Михайловского одновременно прогрессистом и выразителем идеалов мелкой буржуазии, бывшей четверть века назад уже вполне реакционной», а не той общественной группы, к которой принадлежит и сам Бердяев, и вся публика, собравшаяся его слушать, то есть к интеллигенции (Вечер 9 марта в литературно-артистическом обществе // Жизнь и искусство. 1900. № 80. 20 марта; см. также: Киевская газета. 1900. № 89. 11 марта).

## 690

А. В. Луначарский был внебрачным сыном Александра Ивановича Антонова, служившего управляющим контрольными палатами в Чернигове, Пскове, Нижнем Новгороде, и Александры Яковлевны Луначарской (урожденной Ростовцевой), ушедшей от мужа, члена Полтавского окружного суда Василия Федоровича Луначарского. Брак официально не был расторгнут, и там же, в Полтаве Александра Яковлевна родила двух сыновей А. И. Антонова, в том числе Анатолия в 1875 г. (подробнее см.: *Луначарская И. А.* К научной биографии А. В. Луначарского // Русская литература. 1979. № 4. С. 110–127).

# 691

В 1895–1897 гг. А. В. Луначарский учился в Цюрихе; приехав в Россию, он, по его словам, прочитал два реферата в Киеве, «побывал мельком в Москве и Петербурге и вернулся за границу, в Париж, этот раз уже ненадолго» (*Луначарский А. В.* Воспоминания о революционном прошлом // Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. М., 1968. С. 23–24).

## 692

Н. А. Бердяев пришел к вере в 1906 г., см.: *Ермичев А. А.* Имена и сюжеты русской философии. Л., 2014. С. 229.

## 693

См.: *Луначарский А. В.* Интерес к философии. Les fagots et les fagots. Сердобольная критика и наше «бессердечие». О богах и титанах. Чернильная каракатица // Правда. 1904. № 11. С. 260–270; см.: *Он же*. Метаморфоза одного мыслителя // Там же. № 3. С. 172–195; № 5. С. 221–231; № 6. С. 127–146; *Он же*. Русский Фауст // Вопросы философии и психологии. 1902. № 63. С. 783–795.

# 694

В рукописи далее зачеркнуто: «с почты: у нас в Киеве при телеграфе был прием заказной почтовой корреспонденции, продолжавшийся всю ночь; с ареста 1898 г. я поставил за правило ни одной законченной работы у себя не хранить и аккуратно сдавал их на почту, хотя бы в глухую ночь».

# 695

Зачеркнуто: «то есть, конечно, удобный с моей точки зрения».

Другое описание упомянутого эпизода приведено мемуаристом в следующей части его воспоминаний («Новый век»), см. с. 269–272.

## 697

В рукописи далее зачеркнуто: «человек знает его не от Беренштам, а из третьих рук».

# 698

Ср.: «Особого внимания заслуживает старейший участник всех формаций киевского революционного подполья, учредитель и активнейший работник социал-демократической организации, близко знавший самого Б. А. Кистяковского, Вера Григорьевна Крыжановская-Тучапская. <…> Благодаря своему особому положению (родственные связи в светской среде и обширные знакомства), благодаря своей преподавательской деятельности и связям в обществе В[ера] Г[ригорьевна] была неоценимым приобретением для всех тех нелегальных организаций, которые имели с ней дело на протяжении ряда десятилетий (начиная с конца 80-х годов). В то же время, будучи близка с лучшими на Украине теоретиками социализма и наиболее крупными политическими деятелями подполья, В[ера] Г[ригорьевна] была связующим звеном между законспирированными друг от друга тайными кружками, избегавшими непосредственных сношений между собой» (*Мошинский И. Н.* Указ. соч. С. 125–126).

# 699

Ошибка: Н. Ю. Татаров лишь в декабре 1904 г. в обмен на освобождение из ссылки согласился на сотрудничество с Департаментом полиции.

Ср. с другим вариантом описанного эпизода, приведенным мемуаристом в следующей части его воспоминаний на с. 267–269.

## 701

Неточность: лекция А. А. Луначарского состоялась вечером 29 апреля 1900 г. в квартире при университетской столовой во дворе дома № 36 по Фундуклеевской улице: такую импровизированную аудиторию предоставил один из проживавших в квартире студентов – князь К. Э. Андроников (Кахели), который сам на чтении реферата не присутствовал.

# 702

Ср.: «Я был на середине моего доклада, когда полиция с большим шумом вторглась в комнату. “Что здесь такое?” – громогласно вопросил частный пристав. Я немедленно разъяснил ему, что дело идет о совершенно легальном докладе, и показал даже мой конспект. Но частный пристав, заметив несколько более или менее знакомых ему лиц разных киевских радикалов, ответил: “Знаем мы, как вы умеете прикрываться литературой, а под литературой-то политика-с”. И, немедленно подойдя к телефону, сообщил жандармскому генералу Новицкому, что им накрыто большое и крайне подозрительное собрание. В то же время он вызвал наряд казаков, которые оцепили дом. Через полчаса генерал Новицкий, с седой головой и нафабренными усами, крикливый и петушившийся, появился среди нас. Став посреди зала, он грозно крикнул: “Женщины направо, мужчины налево, евреи отдельно!”» (*Луначарский А. В.* В киевской Лукьяновской тюрьме // Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. С. 73–74).

составом преступления (*лат.*).

# 704

Ср. с заключением прокурора Киевской судебной палаты П. А. Арсеньева: «29 апреля 1900 г. вечером бывшие в наблюдении около Печерской лавры филеры случайно заметили, что многие из числа известных им по своей неблагонадежности интеллигентов, возвращаясь в город со стороны Выдубецкого монастыря, направляются на Фундуклеевскую улицу в квартиру № 3 дома № 36, где во дворе помещается студенческая столовая и жилые при ней комнаты служащих и квартирантов. Перенеся наблюдение на этот дом, филеры обнаружили, что в квартиру № 3 собирается и много других неизвестных им лиц, по преимуществу из студенческой молодежи и женщин, которых к 10 часам вечера они насчитали около 40 человек. Немедленно об этом доложено было помощнику начальника Киевского губернского жандармского управления, который, решив, что в доме № 36 собралась предположенная “сходка интеллигентов” для выработки программы празднования 1 мая, немедленно собрал полицию и, окружив квартиру, арестовал всех в ней собравшихся. При входе в помещение чинов корпуса жандармов и полиции произошло обычное в этих случаях смятение, и многие из присутствовавших, сбившись в кучу, стали рвать, сжигать на свечах и прямо выбрасывать бывшие при них прокламации, что могли их скомпрометировать, вследствие чего на полу оказалась масса клочков рваной бумаги, которую всю собрали и приобщили к вещественным по делу доказательствам» (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 9. Д. 47. Л. 228–230).

Полиция задержала 55 участников реферата, в том числе «17 студентов, 10 разночинцев и 28 женщин», но по «делу о распространении в г. Киеве “Воззвания к 1 мая” Киевского комитета Российской социал-демократической рабочей партии» были привлечены лишь 23 человека, относительно которых «имелись указания о прикосновенности их к рабочему движению», в том числе А. В. Луначарский, Е. В. Тарле, В. В. Водовозов и его жена (Там же. Л. 76, 84–86, 90).

## 706

См.: «Довольно часто вся мужская тюрьма вываливала в сад, где играла в мяч и устраивала лекции. Лекции самого острого политического характера читали Водовозов, Тарле, я и высокоталантливый, безвременно погибший социал-демократ Логвинский. Мы приходили друг к другу в камеры, любовались, как В. В. Водовозов проделывал свою утреннюю гимнастику, мешали работать Тарле, больше всех других мучившемуся тюрьмой» (*Луначарский А. В.* В киевской Лукьяновской тюрьме. С. 75).

Мемуарист не исполнил своего обещания.

## 708

А. В. Луначарский пишет, что первоначально старостой тюрьмы был Людомир Скаржинский, впоследствии член Польской социалистической партии, который вскоре «не то вышел на волю, не то был куда-то переведен», и «по его уходу политические единогласно выбрали Урицкого» (*Луначарский А. В.* В киевской Лукьяновской тюрьме. С. 76).

# 709

Побег из Лукьяновской тюрьмы состоялся 18 (31) августа 1902 г.; в числе вырвавшихся на волю были десять «искровцев» и один эсер.

## 710

См. о Н. Н. Кульженко дневниковую запись В. Г. Малахиевой-Мирович от 18 июня 1931 г.: *Малахиева-Мирович В. Г.* Маятник жизни моей… Дневник русской женщины. 1930–1954. М., 2016. С. 12–13.

# 711

Неточность: родившийся в 1896 г. сын Е. В. Тарле, Виктор, умер в 1899 г.

# 712

Илоты – государственные рабы в Спарте; молодым спартиатам специально показывали неопрятных пьяных илотов (непристойное поведение за столом считалось характерным для низших слоев общества), чтобы внушить к ним презрение и отвращение.

# 713

Е. В. Тарле содержался под стражей с 30 апреля по 3 июня 1900 г., т. е. месяц и три дня, причем в заключении прокурора Киевской судебной палаты от 11 мая 1901 г. говорилось: «Дознанием не добыто никаких данных, которые изобличали бы Тарле в принадлежности к какому-либо тайному противозаконному сообществу и в распространении преступных изданий. При обыске в кармане у него найдена была брошюра издания С.-Петербургского “Союза Борьбы” под заглавием: “Вопросы для собирания сведений о положении рабочего класса в России”; больше у него ничего предосудительного обнаружено не было. По объяснению Тарле, названную брошюру он получил по почте от неизвестного лица и забыл уничтожить, так как у него в это время болел сын и ему некогда было об этом думать» (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 9. Д. 47. Л. 218–219).

# 714

Высланный под гласный надзор полиции на хутор тестя близ станции Затишье Херсонской губернии, Е. В. Тарле был лишен права вести педагогическую деятельность, но, получив разрешение поселиться в Варшаве, уже 25 августа 1900 г. обратился с прошением к министру внутренних дел Д. С. Сипягину: «Покорнейше прошу ваше высокопревосходительство разрешить мне взять на себя занятия в белостокском коммерческом училище, которые предложил мне директор сего училища г. Синявский в наступающем учебном году. Я привлечен следствием по делу, возбужденному в Киеве 29 апреля текущего года, и посему не осмеливаюсь принять предложение директора коммерческого училища без разрешения вашего высокопревосходительства. Но, как ни важно для моей семьи, оставшейся без всяких средств к существованию, это разрешение вашего высокопревосходительства, есть более гнетущая нравственная необходимость для меня утруждать внимание Вашего Высокопревосходительства этим прошением.

# 715

Ср. с корреспонденцией (от 1 ноября 1900 г.) «Дело “ибсенистов” в Киеве» в издававшемся в Женеве органе Союза русских социал-демократов за границей «Рабочее дело» (1900. Ноябрь. № 8. С. 39–44): «29 апреля (12 мая) в Киеве в одной частной квартире собралось около 50 человек. Это были преимущественно учащиеся обоего пола: студенты, посетительницы зубоврачебных курсов, даже гимназисты и гимназистки; было несколько учительниц городских и загородных школ; было также несколько начинающих врачей, один приват-доцент университета (Тарле), один уже немолодой публицист (Водовозов) с женой. Вся эта публика собралась, чтобы послушать реферат об “Ибсене как моралисте”, который должен был прочесть один молодой человек по имени Луначарский, пользовавшийся в Киеве некоторою известностью. Реферат не представлял из себя ничего страшного даже с точки зрения русской цензуры или жандармерии; по крайней мере, через несколько дней после этого он должен был быть прочитан в публичном заседании разрешенного властями Киевского Литературного Общества, в котором каждое публичное чтение к тому же подлежит специальному разрешению, и разрешение на публичное чтение реферата Луначарского уже было дано, объявления в подцензурных газетах уже были заказаны (и действительно появились через 2 дня). <…> Около 9 часов вечера Луначарский начал свои реферат; в 10 часов он сделал перерыв, а в 11 уже приближался к концу, как вдруг раздался звонок в дверь, а затем в комнату ввалился целый отряд полицейских и жандармов с самим начальником киевского жандармского управления – генералом Новицким во главе. <…> Никто и не думал скрывать или отрицать характера собрания, а Луначарский даже немедленно вручил частному приставу рукопись своего реферата. Однако сейчас же начали тщательные обыски в карманах всех присутствовавших, у нескольких (весьма немногих) отобрали различные нелегальные листки, которые молодые люди, к сожалению, зачем-то считают нужным носить с собой в карманах. По окончании обысков был вызван взвод казаков и вся толпа была отведена в тюрьму. Затем в ту же ночь у всех арестованных проведены домашние обыски, вопреки прямому предписанию закона, требующего, чтобы обыски производились в присутствии хозяев. У некоторых на квартирах были найдены не дозволенные цензурой книги или подозрительные (с точки зрения полиции) письма, но громадное

большинство обысков осталось совершенно бесплодным. Тем не менее обвинение в принадлежности к тайному сообществу, имеющему целью распространение прокламаций, было возбуждено против всех 60 человек (к арестованным на реферате были присоединены лица, случайно оказавшиеся на квартирах у обыскиваемых студентов) <…>».

## 716

В. В. Водовозову, который родился 22 декабря 1864 г., не было и 36 лет.

## 717

Речь идет о В. Г. Громане.

## 718

Н. К. Михайловский учился в Костромской гимназии.

# 719

Е. Н. Водовозова припоминала, что познакомилась с Н. Д. Новицким на благотворительном литературно-музыкальном вечере, устроенном в ее квартире в начале 1860-х гг., где выступали М. И. Семевский, В. С. и Н. С. Курочкины, П. А. Гайдебуров, а единственный военный, с которым хозяйка разговорилась после его щедрого пожертвования – десятирублевки за взятый в буфете стакан чая, «уверял, что ему особенно легко и хорошо дышится в этом милом интеллигентном обществе». И далее мемуаристка пишет: «Он отрекомендовался Николаем Дементьевичем Новицким; через месяц-другой после этого познакомился с моею семьей, бывал одну зиму на наших вторниках, но затем исчез с нашего горизонта, так что я забыла даже его имя и фамилию. Прошло более четверти столетия. Мне необходимо было ехать в Киев для свидания с моим сыном, содержавшимся в то время по политическому делу в киевской тюрьме, и приходилось явиться к начальнику жандармского управления, грозному Василию Дементьевичу Новицкому, прославившемуся своею необыкновенной грубостью не только с арестованными, но и с их родственниками. И при этом фамилия Новицкого ничего не помнила мне. Прежде чем явиться к киевскому Новицкому, мне посоветовали поговорить об этом деле с его братом, жившим в Петербурге и считавшимся весьма порядочным человеком. Петербургский Новицкий был тогда уже полным генералом и членом Военного совета; чтобы быть принятой, я взяла к нему рекомендательное письмо от Н. К. Михайловского, который был знаком с ним. Каково же было мое удивление, когда Николай Дементьевич, прихрамывая, вышел ко мне с самым сердечным радушием, протягивая мне обе руки. “Да будет вам, стыдно являться ко мне с рекомендациями! Я сам прекрасно вас знаю и с наслаждением вспоминаю вечера, проведенные у вас. А если бы вы знали, как часто приходит мне на память «вечеринка с благотворительной целью»”!..» (*Водовозова Е. Н.* На заре жизни. М., 1987. Т. 2. С. 190–191).

## 720

Неточность: речь идет о статье 358 Устава уголовного судопроизводства 1864 г., которая гласит: «Обыски и выемки производятся при понятых и при хозяине дома или помещения, а когда он в отсутствии, то при жене его, если он женат, или при ком-либо из старших домашних его лиц»; статья 363 касается того, что «обыск и выемка производятся днем».

# 721

В описи вещественных доказательств, относящихся к дознанию, упомянуто письмо В. В. Водовозову от 28 апреля 1900 г. за подписью «Ан. Лун[ачарский]».

# 722

22 декабря 1894 г. офицер французского генерального штаба еврей Альфред Дрейфус, признанный военным судом виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Германии на основе подложных документов, был разжалован и приговорен к пожизненной ссылке в Кайенну. Требования демократической общественности, в том числе открытое письмо Эмиля Золя «Я обвиняю!», о дополнительном расследовании «дела Дрейфуса» и антисемитская кампания со стороны националистически-клерикально-монархических кругов раскололи французское общество на два лагеря. Хотя в сентябре 1899 г. военный суд, пересмотрев дело Дрейфуса, подтвердил его виновность, он был помилован президентом, а в июле 1906 г. добился полной реабилитации.

## 723

В рукописи далее зачеркнуто: «то есть что никакой революционной сходки в данном случае не было».

В материалах дела указывалось, что, не признав себя виновным, В. В. Водовозов объяснил, что 29 апреля «катался на лодке в компании с другими лицами, пил чай около Выдубецкого монастыря», а «вечером с женой пошел на реферат о драмах Ибсена, куда его пригласил сам референт Луначарский, указав местом чтения студенческую столовую». Слова мужа подтверждала и В. П. Водовозова, показавшая, что тоже каталась на лодке, но это «имело характер обыкновенной увеселительной прогулки», а «вечером пошла с мужем на реферат, пригласив туда же знакомую г-жу Кульженко» (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 9. Д. 47. Л. 163–167). Кстати, в рапорте прокурора Киевской судебной палаты от 3 мая 1900 г. указывалось, что наличие в числе задержанных Наталии Кульженко, «жены богатого человека», вызвало подозрение, не печатались ли первомайские прокламации в самой крупной частной типографии в Киеве, которой управляет ее муж Василий Кульженко, отбывший накануне за границу; поэтому утром 30 апреля по распоряжению начальника губернского жандармского управления «были осмотрены все готовые наборы в типографии Кульженко», где ничего преступного обнаружить не удалось (Там же. Л. 21).

# 725

17 апреля 1902 г. Николай II по докладу министра юстиции «соизволил» разрешить дознание «административным порядком»: большинство подследственных были подчинены гласному надзору полиции сроком от 1 до 3 лет в избранных ими местах жительства (вне столиц, столичных губерний, университетских городов и некоторых фабричных местностей), но одного все же выслали в Вятскую губернию на 4 года, а пятерых рабочих подвергли тюремному заключению сроком от 3 до 6 месяцев. Для пятерых «интеллигентов», включая Е. В. Тарле, наказание ограничилось «предварительным содержанием их под стражей», а в отношении В. В. и В. П. Водовозовых, А. В. Луначарского и еще четырех обвиняемых дознание было прекращено «по недостаточности улик» (Там же. Л. 121–125).

# 726

После освобождения из тюрьмы, в которой находился с 30 апреля по 17 июня 1900 г., А. В. Луначарский, вернувшись 30 июня 1900 г. в Калугу, где пребывал с января под особым надзором полиции, перебрался затем в село Полотняный Завод Медынского уезда Калужской губернии. Получив разрешение переехать в Вологду, он прибыл туда 2 февраля 1902 г. и поселился в селе Кувшиново Вологодского уезда. По «киевскому» делу А. В. Луначарский был оправдан, по «московскому» – приговорен 15 мая 1902 г. к высылке под гласный надзор полиции в Вятскую губернию на два года, но, добившись разрешения отбыть остаток срока в Вологодской губернии, в марте 1903 г. был отправлен этапом в Тотьму, откуда после освобождения 15 мая 1904 г. уехал в Киев (см.: *Луначарский А. В.* Из вологодских воспоминаний // Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. С. 78–83; *Кохно И. П.* Вологодская ссылка Луначарского // Литературное наследство. М., 1970. Т. 82. С. 603–619).

## 727

Получив разрешение съездить «к матери на Святую и Фомину неделю в г. Киев», А. В. Луначарский прибыл туда из Калуги 8 апреля 1901 г. (см.: *Трифонов Н. А., Шостак И. Ф.* А. В. Луначарский и «Московское дело» 1899 года // Литературное наследство. Т. 82. С. 601).

М. С. Урицкий был арестован в октябре 1899 г. и сослан в 1901 г. в Олекминск Якутской области.

# 729

Арестованный в 1908 г. в Киеве, М. С. Урицкий был сослан на два года в Вологодскую губернию с заменой ссылки выездом за границу. В Вене сотрудничал в редактируемой Л. Д. Троцким газете «Правда», а с 1912 г. состоял членом меньшевистского ОК РСДРП. Вернувшись в Россию, он вновь был сослан в Архангельскую губернию, эмигрировал, а в 1917 г. вместе с А. В. Луначарским, Л. Д. Троцким и др. нефракционными социал-демократами вступил в группу «межрайонцев», в составе которой был принят в РСДРП(б) и избран в ее ЦК. В октябре 1917 г. – член Партийного центра по руководству вооруженным восстанием и Петроградского военно-революционного комитета, в марте – августе 1918 г. – председатель Петроградской ЧК.

До ареста в 1900 г. Е. В. Тарле преподавал историю в частной женской гимназии А. Т. Дучинской и Киевском кадетском корпусе.

# 731

Всемирная выставка 1900 г., в которой участвовали 35 стран, проходила в Париже с 15 апреля по 12 ноября.

# 732

29 сентября 1900 г. директор Департамента полиции С. Э. Зволянский переправил отношение В. Д. Новицкого «с прошением обвиняемого Василия Васильева Водовозова о разрешении последнему выезда за границу для лечения» во Временную канцелярию при Министерстве юстиции по производству особых уголовных дел, отметив, что полагал бы возможным разрешить ему поездку сроком на три месяца, но с тем, чтобы он «представил в обеспечение своей личности залог в сумме, соответственной его имущественной состоятельности». Министерство юстиции не возражало, но залог составил не 300, как указывает мемуарист, а 500 рублей, и 27 ноября Новицкий доложил в Петербург, что Водовозов выехал за границу. 22 февраля 1901 г. директор Департамента полиции уведомил Временную канцелярию при Министерстве юстиции, что «ныне Водовозов обратился с прошением, в котором указывает, что он находится в настоящее время в санатории для грудных болезней в Davos Platz в Граубюндене, и хотя состояние его здоровья несколько улучшилось, но прекращение лечения в настоящее время и тем более возвращение в Россию ранней весной было бы для него крайне опасно», ввиду чего «ходатайствует о продлении срока пребывания за границей еще на два месяца, т. е. по 15 мая 1901 г.» (ГАРФ. Ф. 124. Оп. 9. Д. 47. Л. 66–68, 78–79, 87).

# 733

В августе 1888 г. Б. А. Кистяковский, учившийся в Киевском университете и находившийся под влиянием сочинений М. П. Драгоманова, вместе с товарищами по студенческому кружку (А. С. Маршинским, С. В. Дегеном и двумя его сестрами – М. В. и Н. В. Деген) отправился во Львов, где, познакомившись с И. Я. Франко и М. И. Павликом, ездил в Карпаты и наблюдал ход выборов в сейм, но, заподозренный в «панславистских замыслах» по отделению и присоединению Галиции к России, подвергся аресту и, проведя в заключении десять недель, освобожденный 27 октября, был выслан из Австрии (см.: *Васильенко Н. П.* Академик Богдан Александрович Кистяковский // Социологические исследования. 1994. № 2. С. 142).

## 734

В. В. Водовозов покинул Киев 20 ноября 1900 г. (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 228. ОО. 1900. Д. 996. Л. 2).

## 735

Бутафорские деревни, выстроенные Г. А. Потемкиным на пути следования Екатерины II во время ее поездки в Новороссию и Северное Причерноморье в 1787 г.; фразеологизм «потемкинские деревни» используется в значении обмана, попытки скрыть или приукрасить реальное положение дел.

Потемкинские деревни (*нем.*).

Имеется в виду Зденка Браунер.

# 738

14 февраля 1906 г. Т. Г. Масарик обратился к В. В. Водовозову: «Многоуважаемый г. “Потемкин”, очень Вам благодарен за брошюры; как я радуюсь видеть, что Вы теперь можете писать! Помните наш разговор о конституции России? Вы спросили, когда и будет ли совсем в России конституция? Помню, я отвечал, что будет и что будет скоро; не помню, сколько именно я тогда сказал лет, а сказал я число столь малое, что Вы не согласились, – не один раз я припомнил в эти два года эту историю» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2821. Л. 1). Водовозов ответил Масарику 20 февраля: «Благодарю Вас за Вашу сердечность, с которой Вы поздравили меня с возможностью более или менее свободно писать, но, увы, Ваше поздравление прозвучало для меня горькой иронией. Наша свобода есть нечто чрезвычайно оригинальное, что очень трудно понять, не переживая ее» (цит. по: *Инов И. В.* Томаш Гарриг Масарик и российские литераторы и журналисты // Т. Г. Масарик и «Русская акция» чехословацкого правительства. М., 2005. С. 81).

# 739

В декабре 1914 г. Т. Г. Масарик, выступавший за независимость Чехословакии, вместе с младшей дочерью Ольгой бежал из Австро-Венгрии и был заочно приговорен к смертной казни за государственную измену, но в Праге остались его жена Шарлотта с сыновьями Яном и Гербертом, умершим 15 марта 1915 г. от сыпного тифа, и дочерью Алисой, арестованной 28 октября того же года и перевезенной в Вену, где она провела в тюрьме 8 месяцев.

Младочехи (mladočeši), или Национальная партия свободомыслящих (Národní strana svobodomyslná), – леволиберальное крыло, отделившееся в 1874 г. от Национальной партии (Národní strana), оставшаяся часть которой приняла название «старочехов» (staročeši); как и они, выступали за «чешское государственное право», т. е. объединение земель (Богемии, Моравии, Силезии), населенных преимущественно чехами, в самостоятельную единицу в составе Австро-Венгерской империи и коронование императора австрийского и короля венгерского третьей короной, Св. Венцеслава, с заменой австро-венгерского дуализма на австро-венгерско-чешский триализм; в отличие от старочехов, которые, настаивая на расширении прав чешского языка в образовании, судопроизводстве и администрировании, поддерживали правительство, младочехи были в оппозиции к нему, добиваясь свободы печати, союзов и равного всеобщего голосования; к 1901 г. они совершенно вытеснили старочехов из рейхсрата и богемского ландтага; см.: *Водовозов В.* Младочехи // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1896. Т. 19а. С. 529–530; *Он же*. Старочехи // Там же. СПб., 1900. Т. 31. С. 456.

## 741

От *чеш.* lidová – народная. Имеется в виду Чешская народная партия (реалистов) – Česká strana lidová (realistické).

## 742

Ср.: «Партия эта идет вразрез с узконационалистическими стремлениями младочехов; требуя полной свободы национальностей, она отказывается от чешского государственного права, дорожит культурным развитием страны, является в политическом отношении радикальной, отстаивает социальные реформы и по практической программе близка к социал-демократам, не соглашаясь, однако, с их программой-максимум; она поддерживает близкие отношения с партией австрийских социал-политиков, имеющей свой орган – “Zeit”, – в котором М[асарик] принимает деятельное участие. На выборах 1900 г. она успеха не имела» (*В[одовозо]в В.* Масарик // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1906. Доп. т. 2. С. 147–148).

## 743

Правильно: Чешская национально-социальная партия (Česká strana národně sociální), основанная в 1898 г. журналистом Вацлавом Клофачом.

Имеется в виду Леопольд Гилснер (Hilsner), обвиненный в ритуальном убийстве 19-летней христианской девушки Анежки Грузовой близ чешского города Польна 29 марта 1899 г.

## 745

Судебный процесс по обвинению М. М. Бейлиса в ритуальном убийстве в 1911 г. проходил в Киеве с 23 сентября по 28 октября 1913 г. и завершился оправданием подсудимого.

# 746

Дело по обвинению группы вотяков (удмуртов) из села Старый Мултан Малмыжского уезда Вятской губернии в ритуальном убийстве крестьянина Казанской губернии Конона Матюнина в мае 1892 г. рассматривалось трижды: в декабре 1894 г. в Малмыже семеро подсудимых были приговорены к 10 годам каторги, в сентябре – октябре 1895 г. в Елабуге их виновность подтвердили, а 28 мая – 4 июня 1896 г. в Мамадыше, где защитниками выступали Н. П. Карабчевский и В. Г. Короленко, подсудимые были оправданы (см.: *Короленко В. Г.* Мултанское жертвоприношение // Короленко В. Г. Собрание сочинений. М., 1955. Т. 9. С. 337–391).

*Masaryk T. G.* Nutnost revidovati proces Polenský. Praha, 1899.

Имеется в виду Ф. Кронаветтер.

# 749

Поздравляя 6 марта 1930 г. Т. Г. Масарика с 80-летним юбилеем, В. В. Водовозов писал ему: «С первой же встречи я увидел в Вас большого, очень большого человека, исключительно крупную умственную силу и – главное – исключительно крупную моральную силу. Тогда Вы только что провели борьбу за реабилитацию несчастной жертвы предрассудка и человеконенавистничества, и в этой борьбе Вы встали во весь рост Вашей личности исключительного душевного благородства и исключительной нравственной чистоты. В следующие годы каждое известие, доходившее до меня о Вашей деятельности, и каждая встреча с Вами в Ваш приезд в Петербург дополняли Ваш образ в моей душе новыми чертами, но от этого Ваш образ делался еще более цельным и привлекательным. Когда до меня дошла весть о Вашем избрании на пост президента, эта весть – не скрою – несколько удивила меня. Удивила потому, что высших постов обыкновенно достигают люди, умеющие гнуться, а Вы, – я в этом был твердо убежден, – Вы никогда ни в малейшей степени не пожертвуете своими убеждениями. И чем больше я был удивлен, тем больше была моя радость: значит, совершилось событие, крайне редкое в истории, – во главе государства стал человек, который, говоря словами Жуковского, “на чреде высокой не забудет святейшего из званий: человек” и который не думает, что достижение власти избавляет от нравственной и политической обязательности заявлений, сделанных им, когда он был в оппозиции. Ваша благородная деятельность в качестве главы государства, проникнутая началами гуманизма, укрепила меня в моей вере в Вас и в моей радости» (ГАРФ. Ф. Р-5907. Оп. 1. Д. 117. Л. 7–8).

## 750

См.: *Masaryk T. G.* Otázka sociální: Základy marxismu filosofické a sociologické. Praha, 1898; рус. перевод: Философские и социологические основы марксизма: этюды по социальному вопросу / Пер. с нем. П. Николаева. М., 1900.

## 751

В статье «О книге Масарика», напечатанной в научно-политическом журнале «Заря» (1901. № 1. Апрель), который издавала редакция газеты «Искра» в Штутгарте в 1901–1902 гг. (см.: *Плеханов Г. В.* Сочинения / Под ред. Д. Рязанова. 2-е изд. М., 1925. Т. 11. С. 370–382), рецензент критиковал автора за причисление К. Маркса и Ф. Энгельса к эклектикам и позитивистам, незнакомство с работами Гегеля и заимствование формулировок Н. И. Кареева, Н. К. Михайловского и др. критиков исторического материализма.

# 752

Ср.: «Масарик не социал-демократ; он даже написал книгу против марксизма, которую очень ядовито, хотя и не вполне беспристрастно высмеял Плеханов. Но он и не враг социал-демократов ни как отдельных людей (в его гостеприимном доме в Праге можно было постоянно встречать чешских и немецких социал-демократов), ни даже их как партии, считая ее существование и исторически необходимым, и практически весьма полезным. И к идеям социализма Масарик относится не враждебно, а скорее сочувственно, ища только других путей к их осуществлению, чем те, по которым идут социал-демократы. Его можно было бы назвать христианским социалистом, если бы этим именем не называли себя антисемиты. В основе миросозерцания Масарика лежит сильное религиозное чувство; он более чем деист, он христианин с широкой протестантской терпимостью и свободомыслием; католик по рождению, он уже давно даже формально присоединился к евангелической церкви. На либерально христианском фундаменте он строит свое политическое миросозерцание, и мягкий, мечтательный социализм есть для него лишь вывод из моральных основ христианства» (*В[одовозов В]*. Дело Крамаржа // День. 1916. № 145. 28 мая).

# 753

Франц (Франтишек Август) Браунер умер 21 июня 1880 г.

# 754

Ошибка: Августа Анна Браунерова скончалась через десять лет после мужа, в 1890 г.

Имеются в виду Владимир и Богуслав Браунеры, а также их сестра Анна, вышедшая замуж за французского писателя Элемира Буржа.

См.: Braunerova Zdenká // Ottův slovník naučný: Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Praha, 1891. Díl 4. S. 601.

Гиляки (у*стар.*, ныне – нивхи) – малый народ, проживающий близ устья Амура, на побережье Охотского моря и Татарского пролива, на севере острова Сахалин. Камчадалы – русское старожильческое население, потомки первых поселенцев, смешавшихся с местным этносом, на Камчатке и Чукотке.

# 758

Социально-политическая партия (Sozialpolitische Partei) – либеральная антиклерикальная социально-реформистская партия, созданная группой интеллектуалов в 1896 г.; выступала за гражданские реформы, равенство всех перед законом, эмансипацию женщин; просуществовала до 1919 г., пользуясь наибольшим влиянием в Вене и Нижней Австрии.

# 759

Ошибка: Ф. Кронаветтер, остававшийся депутатом рейхсрата до 1901 г. и ландтага Нижней Австрии до 1902 г., скончался в 1913 г.

На венском партсъезде 1897 г. Э. Пернерсторфер отстаивал разделение Социал-демократической рабочей партии Австрии (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs; основана в 1889 г.) на национальные группы, и ее преобразовали в федерацию из шести фактически самостоятельных организаций: немецкой, чешской, итальянской, польской, югославянской и, с 1899 г., русинской.

## 761

См.: *Masaryk T. G.* Zu den russischen Studentenunruhen // Die Zeit. 1901. № 340. 6 April.

См.: *Radin A.* // Ibid. 1901. № 347. 6 Juni.

П. Н. Милюков, арестованный в феврале 1901 г. за выступление на вечере памяти П. Л. Лаврова, около 4 месяцев содержался в Доме предварительного заключения на Шпалерной.

*Kennan G.* Siberia and the Exile System. N. Y., 1891. 2 vol.

# 765

К. Крамарж, будущий первый премьер-министр Чехословакии, арестованный в мае 1915 г. по обвинению в государственной измене, на судебном процессе, который тянулся с декабря 1915 г. по июль 1916 г., был приговорен к смертной казни, замененной 15 годами каторги.

# 766

Лайбах (Laibach, *нем.*) – название словенской Любляны до 1918 г.

Стремясь выявить наличие остаточного слуха, развить и усовершенствовать его, В. Урбанчич разработал систему тренировочных упражнений («слуховой гимнастики»), а для исследований – специальный прибор («гармонику Урбанчича») с 43 «затворами», каждый из которых давал свой тон (см.: *Басова А. Г., Егоров С. Ф.* История сурдопедагогики. М., 1984. С. 104).

## 768

Неточная цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. VIII, строфа IV).

до востребования (*фр.*).

Сидящая Гельвеция (*нем.*); монета с сидящей Гельвецией (Helvetia), персонифицированным образом Швейцарии, была изъята из обращения с января 1878 г.

# 771

Она не годится (*нем.*).

Она не в хождении (*нем.*).

# 773

Социал-демократическая рабочая партия Швеции (Sveriges socialdemokratiska arbetarepartiet), основанная в 1889 г.; единственным представителем ее в риксдаге в 1896–1902 гг. был Карл Яльмар Брантинг.

Риксдаг (*швед.* riksdag) – двухпалатный, с 1866 г., парламент Швеции.

Вы говорите по-немецки? (*нем.*).

Вы говорите по-французски? (*фр.*).

# 777

Да (*фр.*).

Месье, месье! (*фр*.).

## 779

18 мая 1901 г. столичное охранное отделение уведомило Департамент полиции, что В. В. Водовозов «12 сего мая прибыл из заграницы в г. С.-Петербург и 14-го числа выбыл из столицы» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 228. ОО. 1900. Д. 996. Л. 6).

## 780

Автору изменяет память: данный инцидент, как и следующий за ним эпизод, описан во второй части воспоминаний (см. с. 238–239).

Я не уверен теперь, что именно это имя служило явкой, а не какое-либо другое; помню только, что имя было какое-то вычурное, искусственное, но дело от этого не меняется.

# 782

Кажется, Тарле летом 1901 г. в Киеве не жил. Если это верно, то тем более вероятно, что дело происходило раньше, в 1900 г. или, может быть, даже в 1899 г.

## 783

*Тарле Е. В.* Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени. Прил.: I. Перевод «Утопии» с лат. II. Неизданная рукопись современника о Томасе Море. СПб., 1901.

Здесь: заранее (*лат.*).

# 785

Свод римского гражданского права, составленный при византийском императоре Юстиниане в 529–534 гг.

См.: *Kautsky K.* Thomas More und seine Utopie. Stuttgart, 1888.

## 787

Имеется в виду немецкое издательство «Reclam Philipp jun.», которое с 1837 г. называлось по имени его владельца А. Ф. Реклама; с 1867 г. оно издавало книжную серию Universal-Bibliothek (Универсальная библиотека).

См.: Thomas Morus und sein berühmtes Werk Utopia. Aus dem Englischen übersetzt von Hermann Kothe. Mit bio- und bibliographischer Einleitung herausgegeben von Eduard-Maria Oettinger. Leipzig, 1846; то же – 1874.

# 789

Thomas Morus Utopia / Ubersetzt und mit sachlichen Anmerkungen versehen von Ignaz Emanuel Wessely. Nebst einem Vorwort von Eduard Fuchs. München, 1896.

The Utopia of Sir Thomas More: in Latin from the edition of March 1518, and in English from the 1st edition of Ralph Robynson's translation in 1551, with additional translations, introduction and notes by J. H. Lupton. Oxford, 1895.

## 791

См.: «Назовем еще один, самый молодой и самый доступный из всех [немецких переводов], появившийся впервые в 1846 г. в Лейпциге у Реклама и воспроизведенный теперь в его “Универсальной библиотеке”. <…> Конечно, лучше прочесть “Утопию” в этом переводе, чем не читать ее вовсе, так как, несмотря на то что переводчик, г. Герман Коте, страшно исказил нашего Мора, однако его величие выступает и в этом отвратительном изложении. Прежде всего, Коте, по-видимому, и не подозревал, на каком языке была написана “Утопия”, так как несомненно перевел ее с французского» (*Каутский К.* Томас Мор и его Утопия / Пер. с нем. М., 1924. С. 222). В подстрочном примечании, упоминаемом мемуаристом, Каутский язвительно писал: «У нас есть все основания думать, что и французский перевод этот, видимо, сделан был не с оригинала, а с английского, так что это издание представляет перевод перевода, сделанного с перевода» (Там же).

# 792

6 октября 1900 г. Е. В. Тарле писал И. В. Лучицкому из Варшавы: «Перевод “Утопии” через 10–15 дней будет окончен: у меня тут прекраснейшие латинские медиевальные словари, которые удивительно облегчили перевод» (Из литературного наследия академика Е. В. Тарле. М., 1981. С. 171).

Имеется в виду О. Г. Тарле.

*Кистяковский А. Ф.* Элементарный учебник общего уголовного права. Киев, 1875. Т. 1.

# 795

Ср. с рецензией в журнале «Русская мысль»: «Не только экономический отдел, составляющий 1/3 исследования г. Тарле, поражает ничтожностью своих результатов. Отдел, посвященный месту Мора в истории общественных учений, еще бледнее. Пятый тезис г. Тарле гласит: “Криминалистические воззрения Т. Мора отличаются широтою и вдумчивостью, первыми по времени в истории европейской культуры”. В тексте книги г. Тарле с видом ученого, открывающего нечто до него совершенно неизвестное, заявляет: “Если бы Т. Мор (несмотря на частое упоминание его имени по разным поводам и всегда почти понаслышке) не был так глубоко забыт, слова приведенной тирады (из Т. Мора), а вовсе не выдержки из Беккарии начинали бы собою историографию борьбы против смертной казни” (стр. 123). Итак, Т. Мор забыт, а г. Тарле воскрешает его в памяти человечества. Да какая же историография борьбы против смертной казни начиналась с Беккарии? Кистяковский начинает ее с Августина, и тот же Кистяковский отводит в ней видное место Т. Мору (см. учебник Уголовного права, 2 изд., Киев, 1882 г., стр. 74–75). Итак, из книги Тарле читатель выносит очень немного, и в этом немногом очень много прямо ошибочного». В рецензии отмечалось, что, поскольку автор, не обладая необходимыми знаниями, «приступил к своей работе с весьма легким багажом», многие научные труды «неизвестны г. Тарле даже по заглавию», а выводы, к которым он приходит в экономической части своего исследования, «крайне бледны», но «всего более ошибочного в самом изложении идей Мора» (Библиографический отдел журнала «Русская мысль». 1902. Кн. 1. С. 7–11).

Отмечая, что монография Е. В. Тарле, в которой «обилие ученого материала счастливо соединяется с ясной мыслью и живым изложением», «гораздо лучше, чем все до сих пор написанное, не исключая блестящей, но изобилующей ошибками книжки Каутского», А. К. Дживелегов замечал: «Крайне удачна мысль перевести “Утопию” на русский язык; это избавило автора от изложения “золотой книжки” и обогатило нашу литературу действительно ценным произведением» (*Дж[ивелегов] А.* [Рец. на кн.:] Тарле Е. В. Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени. СПб., 1901 // Русские ведомости. 1901. № 117. 30 апр.).

## 797

*Лучицкий И. В.* Отзыв о сочинении Е. В. Тарле «Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени» (СПб., 1901), представленном в историко-филологический факультет для приобретения степени магистра всеобщей истории // Университетские известия. 1901. № 12. С. 1–11.

## 798

Первоначально мемуарист указал в тексте: «П. Г. Виноградову», имея в виду ординарного профессора Московского университета, члена-корреспондента Петербургской Академии наук, известного трудами по истории средневековой Англии, но, зачеркнув его фамилию, ошибочно написал: «Петрушевскому». Д. М. Петрушевский, экстраординарный профессор Варшавского университета, еще только готовился к защите своей докторской диссертации.

## 799

В рукописи далее зачеркнуто: «и дошел он до меня спустя много времени после диспута». После ареста Е. В. Тарле запретили проживание в Киеве, но еще 7 марта 1901 г. он написал И. В. Лучицкому: «Защищать в Киеве мне самому хотелось бы больше, чем где бы то ни было, по причинам моральным (ведь Вы там), а не иным…». 12 апреля, сообщая Лучицкому: «дело мое прекращено окончательно и обвинение с меня снято совершенно», Тарле вновь обращался к нему за советом: «Вообще жду Ваших указаний относительно того, куда и как направить мне теперь свои шаги etc. И где защищать диссертацию? Если думаете по-прежнему, что удобно в Киеве, кому именно и сколько экземпляров выслать и кому прошение подать?» И уже на следующий день Тарле извещает профессора: «Только что отослал по Вашему совету экземпляр диссертации [ректору] Фортинскому и два экземпляра в факультет (на имя [декана] Флоринского) и одновременно прошение о допущении к защите на имя Фортинского. Защищать буду (если допустят) в Киеве, как Вы советуете. Как я уже писал Вам, мое дело окончательно прекращено без последствий, так что я ни под надзором не нахожусь, ни вообще каких бы то ни было неприятностей не предвижу уже» (Из литературного наследия академика Е. В. Тарле. С. 177, 179–180).

# 800

Ординарный профессор Петербургского университета Н. И. Кареев был уволен 1 сентября 1899 г.

# 801

Н. А. Бердяев, Г. В. Плеханов и Г. И. Челпанов участвовали во 2-м Мировом философском конгрессе в Женеве, который проходил 2–4 сентября 1904 г.

# 802

Неточность: речь идет о Владимире и Анатолии Вакарах, о которых современник писал: «Сыновья либерального мирового судьи, они оказывали потом благодаря своим связям в киевском “обществе” огромные услуги организации. Их квартира на Университетском спуске была неоценимой для конспиративных целей. Особенно выделялся младший – высокий, стройный, черный, как цыган, получивший тщательное воспитание и начитанный больше многих своих сверстников, – Владимир Вакар, в годы наших юношеских конспираций не игравший особенно большой роли. Он развернулся несколько позднее в т. н. “рефератных кружках” 1897 года, а затем приобрел крупное имя в составе образовавшегося после Минского съезда первого Киевского комитета РСДРП и всех дальнейших его формаций. Особенную роль сыграл он в знаменитой июльской стачке 1903 года, которою руководил <…>» (*Мошинский И. Н.* На путях к 1-му съезду РСДРП: 90-е годы в Киевском подполье. М., 1928. С. 61).

# 803

Неточность: 27 марта 1916 г. главный врач перевязочного отряда 65-й пехотной дивизии А. В. Вакар поступил как пациент в приемно-распределительный пункт для душевнобольных при Киевском военном госпитале; отправленный на попечение матери, он покончил жизнь самоубийством в 1917 г.

# 804

См.: «В 1916 г. Вакар был избран в первый состав киевского совета прис[яжных] пов[еренных], членом которого он бессменно состоял вплоть до упразднения адвокатского сословия большевиками. <…> По своим политическим симпатиям он примыкал к народным социалистам. <…> В 1919 г. Вакар работал в “Союзе Возрождения России”, а затем ушел вслед за добровольческой армией в Крым. В 1921 г., с болью разочаровавшись в “белой мечте”, возвратился в Киев» (*Гольденвейзер А. А.* Памяти В. В. Вакара // Руль. 1926. № 1721. 1 авг.).

## 805

Возможно, имеется в виду двоюродный брат В. В. Вакара – Николай Платонович Вакар, член подпольных антибольшевистских организаций (Всероссийский национальный центр, Центр действия), нелегально приезжавший в 1922 г. в Киев и Москву, который в Париже издавал журнал «Новь» (1922–1923) и являлся постоянным сотрудником газеты «Последние новости» (1924–1940).

переходу на личность (*букв.* «аргумент к человеку»*, лат.*), т. е. созданию негативного представления об оппоненте вместо опровержения его аргументации.

# 807

В одной из рецензий отмечалось, что «некоторые места книги г. Тарле <…> явно навеяны (чтобы не сказать больше) соответственными местами книги Каутского», которую автор, «чтобы отстоять за своей книгой характер самостоятельного исследования, спешит дискредитировать в глазах читателя». Уверяя, будто его предшественник «берет известный исторический факт и затем, даже без попытки фактических доказательств, путем чисто словесных построений старается логически вывести необходимость этого факта», Тарле приписывает ему «действительно крайне глупое» мнение, что «английская реформация есть продукт морских разбоев со стороны испанцев», имея смелость даже сослаться на определенные страницы исследования, но, возмущался рецензент, «ни на этих страницах, ни во всей книге Каутского нет ничего подобного». Или, например, «г. Тарле приводит довольно глупую цитату из Каутского на немецком языке, но при сличении ее с подлинником оказывается, что глупость ее происходит от пропуска двух строк, что, однако, не отмечено точками»; а приложенный к книге перевод «Утопии» Т. Мора «есть только фальсификация», ибо целые страницы подлинника, не говоря уже о множестве отдельных фраз, «выкинуты без всяких на то причин и без всякого указания на это в тексте, в предисловии или в примечании». Напоминая, что Каутский, разбирая безграмотный немецкий перевод «Утопии», все ошибки которого Тарле буквально повторил, указывал, что тот сделан с не совсем удачного английского перевода, рецензент заканчивал свой отзыв риторическим вопросом: «Но как же г. Тарле не дочитал до конца ту самую книгу Каутского, которую он так сильно бранит и первым отделом которой он так сильно пользуется? Это составляет для нас психологическую загадку» (Библиографический отдел журнала «Русская мысль». 1902. Кн. 1. С. 10–11).

# 808

Защита магистерской диссертации Е. В. Тарле состоялась 14 октября 1901 г.

# 809

Неточная цитата из «Мцыри» М. Ю. Лермонтова.

## 810

Имеется в виду ординарный профессор Киевского университета по кафедре классической филологии А. И. Сонни.

Ср.: «Официальными оппонентами диспутанта выступили профессора И. В. Лучицкий и Н. П. Дашкевич. Проф. И. В. Лучицкий высказался в том смысле, что метод Е. В. Тарле и те выводы, к каким он пришел в своем труде, не оставляют желать ничего лучшего. Вместе с тем оппонент указал на некоторые промахи г. Тарле. Проф. Н. П. Дашкевич отметил недостаточную тщательность работы диспутанта. Работа эта, по мнению оппонента, представляет собой шаг назад по сравнению с тем, что сделано раньше наукой для изучения Т. Мора. Высказав затем ряд сожалений по поводу диссертации, оппонент остановился на вопросе о генезисе воззрений Томаса Мора и о соотношении между воззрениями Мора и гуманистами континента. Автор диссертации ставит в заслугу Мору многое, что уже раньше было сделано Эразмом Роттердамским. Далее проф. Н. П. Дашкевич указал на неполноту текста “Утопии” Мора и местами искажение его вместо перевода, на плохое знакомство г. Тарле с литературой предмета и даже незнание о существовании многих очень крупных ученых трудов, относящихся сюда. Диспутант на это ответил, что из литературы предмета он читал только то, что ему попалось под руки. Ответ этот вызвал со стороны оппонента вопрос: считает ли диспутант необходимым для ученого знание литературы того вопроса, изучением которого он занялся? Получив утвердительный ответ, проф. Н. П. Дашкевич отметил, что автор диссертации пользовался худшим изданием “Утопии”, а о существовании прекрасного издания ее и не знал. Перевод же “Утопии” с латинского на русский, сделанный г. Тарле, “представляет собой нечто невероятное”. Например, слово castellum (замок) переведено Кастилия. Указав на другие недостатки диссертации, проф. Дашкевич в заключение высказал пожелание, чтобы будущие работы г. Тарле были более научными.

После двух официальных оппонентов г. Тарле возражали пять оппонентов неофициальных.

Проф. Г. И. Челпанов говорил подробно о методологии диссертации. Сделанный автором диссертации перевод “Утопии” представляет, по мнению оппонента, не перевод, а пересказ, к тому же пересказ, сделанный без всякой любви к делу, с пропуском всего, что потруднее, произведенный механически, без понимания латинского текста. В подтверждение этого мнения проф. Г. И. Челпанов привел немало примеров, вызвавших хохот в публике. Особенно курьезно переведены философские термины,

что дало основание оппоненту утверждать, что диспутант не читал ни одного средневекового учебника философии. На это г. Тарле заявил, что он читал какой-то учебник. По мнению проф. Г. И. Челпанова, свой перевод г. Тарле сделал “не как ученый” и употребил прием совершенно “непозволительный”; прием этот заключается в том, что автор диссертации взял “готовый 15-копеечный сквернекький и давно осмеянный” немецкий перевод “Утопии” и с этого перевода перевел “Утопию” на русский язык, выдав такого рода перевод за перевод с латинского подлинника; выдали г. Тарле те крайне грубые ошибки и курьезы малограмотного немецкого перевода, которые он сохранил в русской копии его. Что касается самого труда, то в нем попадаются фразы, не имеющие никакого смысла; по справке оказалось, что они взяты, без понимания их, из одного английского учебника. Говоря об умственных течениях времен Томаса Мора, автор обнаруживает незнакомство с этими течениями. Многих авторов того времени он совсем не читал, хотя в диссертации показывает вид, будто читал. Отношение Мора к эпикуризму осталось для г. Тарле совершенно неясным; произошло это вследствие непонимания им текста “Утопии”; разница между эпикуризмом и учением Платона также не усвоена автором; осталось для него не уясненным и мировоззрение Т. Мора вообще. Сильно хромая по чисто научной методологии, г. Тарле вследствие незнания латинского языка лишен был возможности пользоваться первоисточниками. “О вашей монографии, – сказал в заключение проф. Г. И. Челпанов, – я имею совершенно определенное мнение, но высказывать его здесь я не решаюсь. Что же касается вашего перевода «Утопии», то элементарная научная добросовестность требует, чтобы вы его уничтожили”.

Проф. А. И. Сонни, указав на “странность” перевода “Утопии”, заключающего в себе на каждой странице десятки грубейших ошибок, часто просто бессмыслиц, заметил в заключение, что “приходится удивляться той смелости” г. Тарле, с какой он представил свой труд на суд ученых, и пожалеть, что этот труд задержит появление в свет настоящего перевода “Утопии”.

Проф. князь Е. Н. Трубецкой прежде всего указал, что, считая г. Тарле человеком даровитым, он тем более был разочарован его книгой. Автор диссертации говорит о сходстве воззрений Августина Блаженного и Томаса Мора и даже утверждает, что источником положительных построений “Утопии” был и труд Августина “De civitate Dei” (см. положения [диссертации]). Князь Е. Н. Трубецкой указал по этому поводу, что в воззрениях

Августина и Мора нет ни малейшего сходства; мало того, эти воззрения диаметрально противоположны: учение Августина – это начало мрачной средневековой эпохи, а Т. Мор знаменует собой начало возрождения. Г. Тарле находит близкое сходство между экономическим строем Англии 16 века и Греции времен Платона. И здесь нет ни малейшего сходства; да его и не может быть между рабовладельческой Грецией и свободной Англией. Указанная ошибка автора была причиной сделанного им совершенно неверно сближения воззрений Платона и Мора, тогда как эти воззрения противоположны друг другу. В заключение князь Е. Н. Трубецкой высказал пожелание, чтобы дальнейшие труды г. Тарле более отвечали его способностям.

Проф. Н. М. Бубнов, изложив кратко увлечение и ошибки Е. В. Тарле, признал труд его не научным, заметив, что научная техника им не познана и что он публицист, но не ученый. “Может быть, – заметил в заключение проф. Н. М. Бубнов, – вы хотите быть публицистом; там ваши работы будут приветствоваться; но с научной точки зрения ваш труд неудовлетворителен, и если хотите пойти по дороге ученого, то вы должны переродиться”» (Диспут // Киевлянин. 1901. № 285. 15 окт.).

Имеется в виду Т. Д. Флоринский.

# 813

См.: *Rogers J. E.Th.* Six Centuries of Work and Wages: The History of English Labour. L., 1884. 2 vol.

Ср.: «Из публики выступает частным оппонентом весьма популярный в Киеве В. В. Водовозов. Горячо и страстно, с грудой фолиантов и кучей выписок в руках, начинает он свои возражения. Он вновь счел нужным остановиться на переводе и указал, что переводом слова in Castello (новая Кастилия) г. Тарле доказал незнание истории открытия Америки; смешение города Каликута в Индии, открытого Васко-де-Гама, с Калькуттой, основанной через 150 лет после Т. Мора, доказало незнание Индии. Но всего хуже, что все эти ошибки лубочного немецкого перевода “Утопии” подробно отмечены в книге Каутского. Следовательно, г. Тарле не был знаком даже со всей книгой Каутского, от экономического отдела которой он между тем находился в сильной зависимости. Весь экономический отдел книги Тарле в главных чертах – не что иное, как повторение и отчасти дополнение книги Каутского. Терпение покидает обвиняемого. Насколько он раньше улыбался и расшаркивался перед профессорами, настолько теперь он сыплет в ответ словами “ложь”, “неправда”, “более порядочные оппоненты” и т. д. Но страстный оппонент неуязвим. Он обвиняет г. Тарле в том, что тот старается, елико возможно, опозорить самого Каутского, приписывая ему взгляды, которые он и не высказывал. Далее отмечается произвольное сокращение некоторых цитат из Каутского, от чего они потеряли всякий смысл. Такое же неправильное пользование цитатами наблюдается и в других местах диссертации. Отзыв о Бентаме г-на Тарле доказывает, что он не понял даже французского текста Бентама, которым, несомненно, пользовался. Одним словом, излагая Т. Мора, по мнению г. Водовозова, г. Тарле не прибавил ничего такого, чего не было бы в самом шаблонном изложении “Утопии”. Между прочим оппонент остановился на изложении г. Тарле криминалистических воззрений Томаса Мора. И здесь диссертант не сказал ничего своего: так, напр., по вопросу о смертной казни г. Тарле буквально повторяет все то, что уже высказано покойным Кистяковским, и ни словом не упоминает, напр., о том, что Томас Мор уже поднял вопрос об условном осуждении, – надо полагать, потому, что это нигде не отмечено у предшественников диссертанта. Обвинение кончено. Это было самое жестокое обвинение, какое когда-либо пришлось выслушать молодому русскому ученому в стенах его alma mater» (*Э[вензо]н С.* История одного диспута. (Письмо из Киева) // Волынь (Житомир). 1901. № 233. 25 окт.). См. также: Диспут // Киевлянин. 1901. № 185. 15

**ОКТ.**

## 815

Столь же скандальным было присуждение докторской степени историку Н. Д. Чечулину в 1896 г. См.: *Водовозов В.* Прискорбное событие в истории С.-Петербургского университета // Неделя. 1896. № 50. Стлб. 1623.

# 816

См. письмо Н. М. Бубнова, адресованное П. Б. Струве: «Мне не совсем легко исполнить Вашу просьбу, Петр Берн[гардович], ибо боюсь, что мой рассказ может показаться пристрастным, ибо 1) я не уважаю Тарле как человека и обеими руками подписываюсь под отзывом о нем Бердяева (в письме к Елене Гр[игорьевне] Б[ердяев]ой, находящемся теперь в моих руках): «я всегда считал Тарле человеком с мелкой душонкой и шарлатанскими замашками», 2) я возражал ему на диспуте, 3) по-моему, книга так невероятно, неприлично плоха и поведение его на диспуте позорно в такой крайней степени, что рассказ мой об этом может быть сочтен за преувеличение. Булгаков Вам послал “Киевлянин” и писал, что отчет этот правилен. По-моему, он тоже правилен, только несколько смягчен; многие возражения (в особенности мои) скрадены <…> Все серьезные люди, даже не читавшие книги и не знавшие Т[арле] (напр., Булгаков), вынесли о нем впечатление как [о] человеке, ведшем себя прохвостнически на диспуте (выражение Булгакова) и совершенно невежественно» (цит. по: *Булгаков С. Н.* Письма к П. Б. Струве (1901–1903) // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник 2003. М., 2004. С. 517).

# 817

О душевном состоянии Е. В. Тарле после защиты диссертации свидетельствует его письмо от 17 октября 1901 г., адресованное киевскому историку Е. А. Кивлицкому: «Голубчик мой, со мной творится нечто скверное: с того момента, как я сел на поезд, я не съел ни кусочка пищи и не заснул *ни на одну секунду*. В настоящую минуту я сижу один-одинешенек в огромном вагоне 2-го класса и чувствую себя в полном изнеможении. Самые дикие мысли кажутся вполне натуральными, когда я подумаю, что я печатно назван в Киеве обманщиком, и это не смыто. Я пришел к твердому убеждению, что для моей реабилитации нужны 4 вещи: 1) большая статья в “Киевской газете” (Появилась 20 октября за подписью «Голос из публики». – *В. Г.*), 2) перепечатка ее или, еще лучше, телеграмма о ней в “России”, 3) (это сделаю я лично) перепечатка ее в “Мире Бож[ьем]”, 4) статья в “Русских ведомостях”. Я знаю твердо, что если я этого не добьюсь, то прямо не предвижу, что мне делать. Есть ли надежда на первые две вещи? Я хочу писать Григорию Александров[скому], чтобы он просил своего брата телеграфировать общий смысл статьи “Киевск[ой] газеты” в “Россию”, но не знаю, напишу ли, а может быть, Вы ему сказали бы. Пока в петербургской же газете не будет противовеса нововременской гадости, до тех пор *ничего* не сделаю, это я *твердо* знаю. Для меня все это такое действительно гнусное мучение, что я просил бы Вас (буду уж нахальным до конца) телеграфировать мне, согласен или нет Из[маил] Александров[ский] пустить телеграмму в “Россию”. Мой адрес: Петербург, Пушкинская, 1. Номера Пименова, Тарле. И вышлите мне дубликаты номеров 10–15 “Киевской газеты”, где будет статья. Сообщите также, пишется ли статья в «Русс[ких] вед[омостях]». Ведь *я совсем* одинок пока. Мне не на что опереться. Если Вы добьетесь телеграммы в “Россию”, Вы меня прямо воскресите; я два часа тому назад уже стоял у кассы, чтобы взять билет в Киев, но вовремя плюнул. До появления того, что я хочу в печати, я буду не жить, а мучиться. От того я пишу Вам, что Вы все сделаете, чтобы мне помочь. Жду известий. Ваш Е. Т.» (Из литературного наследства академика Е. В. Тарле. С. 183–184).

# 818

20 октября Е. В. Тарле жаловался Д. М. Петрушевскому: «Пользуясь тем, что мне разрешен был приезд в Киев лишь на 48 часов, одна группа профессоров Киевского университета желала во что бы то ни стало провалить меня на магистерском диспуте. Эти подлые интриги возмутили не только студентов, но и вполне посторонних людей. После диспута группа киевских социал-демократов во главе с редактором их газеты направилась к Водовозову и выразила негодование. А я ни с кем из них даже не знаком и никакого отношения к партии не имею. О возбуждении можете судить сами, что около 60 студентов стали у кафедры с явно выраженным намерением крикнуть профессорам: “подлецы”, если бы они меня провалили» (Там же. С. 184).

# 819

Ср.: «Прения сосредоточились главным образом не на диссертации («Общие воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени»), которой некоторые из оппонентов (проф. Сонни) даже не касались, а на приложенном к ней переводе “Утопии” Томаса Мора, где оппонентами были усмотрены неточности и искажения. Некоторые возражения отличались крайней несдержанностью и резкостью. По окончании прений факультет удалился для совещания, и хотя диссертация была допущена к защите единогласно, три из девяти членов факультета подали голос против присуждения г. Тарле степени магистра. Слова декана, объявившего, что факультет удостоил г. Тарле этой степени, были встречены шумными аплодисментами многочисленной публики, ожидавшей решения факультета, и несколькими резкими свистками. В общем диспут носил какой-то странный характер. Один из оппонентов (проф. Лучицкий) находил диссертацию хорошей, другой (проф. Челпанов) заявил, что имеет о диссертации определенное мнение, но высказывать его не желает; проф. кн. Трубецкой сказал, что считает диспутанта очень даровитым человеком, а проф. Бубнов выразил мнение о непригодности его к научной деятельности и, по-видимому, ставил ему в упрек его занятия публицистикой. Все это, равно как и то, что существенная историческая часть диссертации как-то ускользала от внимания оппонентов и почти не подвергалась ими критике, оставляло часть публики, знакомую с книгой, в некотором недоумении. Диспут вызвал много толков в городе и несколько статей и заметок в местной прессе. В некоторых из них указывалось на то, что часть возражений отличалась не идущей к прениям по научным вопросам горячностью, и на ту странность, что при обсуждении вопроса о допущении диссертации к защите в факультете (к слову сказать, отличающемся вообще осмотрительностью в подобных случаях) решение было единогласное, а спустя несколько дней три члена того же факультета высказались против признания диссертации удовлетворительной. Говорилось, будто бы на диспуте сводились какие-то счеты. В других органах печати диссертация и диспут высмеивались» (Внутренние известия. (От наших корреспондентов). Киев // Русские ведомости. 1901. № 312. 18 нояб.).

Сохранился черновик письма в редакцию «Русских ведомостей», в котором оппоненты Тарле, предлагая напечатать

их «возражение», утверждали, что «автор корреспонденции искажает то, что говорилось на диспуте», ибо «только проф. Сонни ограничился указанием грубых промахов в переводе», а остальные «говорили и против самой диссертации». Иронизируя, что «корреспондент, который не знает даже того, что говорилось на диспуте и о чем было напечатано в местных газетах, обнаруживает поразительную проницательность, когда дело касается фактов, которых он никак не может знать», профессора считали, что с большим основанием тот мог бы предположить «ошибку» тех, кто допустил негодную диссертацию к защите, хотя это «вовсе не предрешает присуждение степени». Или корреспондент полагает, что настаивать на своей ошибке «безусловно обязательно для всех членов факультета, даже для тех из них, которые перед диспутом найдут в диссертации существенные промахи»? Письмо заканчивалось следующим пассажем, который сам Водовозов находил лишним: «Именно на диспуте г. Тарле случилось, что частный оппонент, г. Водовозов, не имеющий никакого отношения к факультету, доказал такую недобросовестность в цитировании источников и пособий, такое незнакомство автора с литературой предмета, что совершенно дискредитировал диссертацию. Если бы эти обстоятельства были приняты корреспондентом, то он не стал бы намекать на то, что возражения делались из каких-то личных счетов» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2894. Л. 1–3).

См.: Диспут // Киевлянин. 1901. № 285. 15 окт.

# 821

Неточность: в заметке, появившейся в «Новом времени», В. В. Водовозов не упоминался, но газета указывала, что «диспут г. Тарле в Киеве, судя по отчету о нем “Киевл[янина]”, вышел настоящим ученым скандалом», и вопрошала: «Позвольте, но как же такой безграмотный и невежественный труд увенчан как магистерская диссертация?» (Новое время. 1901. № 9204. 18 окт.). Отзыв противоположной тональности принадлежит В. М. Дорошевичу: «Если г. Тарле безграмотен, нам приходится иметь дело с изумительнейшим феноменом. Г. Тарле – писатель. Писал в “Начале”, “Новом слове”, “Русской мысли”. Пишет в “Мире Божьем”, в “Вестнике Европы”. Почти все русские ежемесячные журналы. Чтоб были все, не хватает одного “Русского богатства”. Ну, и еще г. Тарле не имеет чести сотрудничать в “Русском вестнике” и “Наблюдателе”. И вдруг сотрудник почти всех русских ежемесячных журналов оказывается человеком безграмотным! Когда позорная диссертация появилась в свете, хвалебные рецензии о ней были напечатаны в “Историческом вестнике” – статья профессора Алексеева, в “Вестнике всемирной истории”, в “Вестнике Европы”, “Журнале для всех”. И в этом хоре, хвалившем “позорную” диссертацию, первым голосом был голос “Русских ведомостей”. Газеты, которую и “упрекают” в том, что она – “профессорская”. <…> Наконец, перед защитой “позорной диссертации безграмотного невежды” декан объявил, что диссертация эта допущена факультетом к защите *единогласно*. Как же факультет, да еще единогласно, допускает к защите труды, которые должны быть “уничтожены во имя науки и добросовестности”? <…> Какие счеты тут сводились? Какая мистерия, чуждая и Томасу Мору, и экономическому состоянию Англии в его время, разыгрывалась на этом диспуте в храме науки?» (*Дорошевич В.* Wozu den Lärm? // Россия. 1901. № 898. 25 окт.).

# 822

В рукописи далее зачеркнуто: «А затем эта легенда, постепенно обрастая, объяснила всю историю диспута тем, что Тарле еврей и диспут был травлей жида».

# 823

Далее зачеркнуто: «С Сонки я во всю свою жизнь, ни раньше, ни позже, ни разу не видался, кроме самого диспута, на котором я видел его издали, и ни разу с ним не разговаривал».

# 824

Далее зачеркнуто: «(и действительно там не было ни рецензии, ни заметки о диспуте)».

# 825

Неточность: автором рецензии являлся В. В. Святловский (псевдоним Василий Соломин), оценивший «блестящую историко-литературную монографию» Е. В. Тарле как «ценное приобретение русской экономической литературы», «весьма капитальное исследование» и вообще «лучшее» из всего, что появилось за последнее время о Т. Море и его «Утопии» не только в России, но и за границей (*Соломин Василий.* [Рец. на кн.:] Тарле Е. В. Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени. СПб., 1901 // Народное хозяйство. 1901. Кн. 6. С. 179–180).

Следует выслушать и другую сторону (*лат.*).

# 827

См.: *Водовозов В. В.* Новое исследование по социальной истории Англии // Народное хозяйство. 1901. Декабрь. Кн. 10. С. 161–176. В примечании редакции говорилось: «В “Народном хозяйстве” кн. VI была помещена рецензия на книгу г. Тарле, где автор, приняв на веру “перевод с латинского” г. Тарле и проч., дал весьма благоприятный отзыв об этой книге. В интересах науки считаем существенным дать место и статье г. Водовозова» (Там же. С. 160). В рецензии, в частности, говорилось: «Человек, так понимающий писателя, о котором он пишет исследование, или, лучше сказать, так его не понимающий, незнакомый в достаточной степени с языком исследуемого им произведения и пользующийся заведомо безграмотным переводом, человек, не знающий истории той эпохи, за которую он берется, не знающий литературы предмета, не удосужившийся даже прочитать внимательно очень ценное предисловие Циглера к переводимому им памятнику и не менее ценное исследование о нем Каутского и все это свое незнание ярко обнаруживающий в своем переводе, не может написать ничего сколько-нибудь ценного. Так казалось и нам. Однако г. Тарле – писатель, который приобрел себе некоторую известность многочисленными статьями в журналах; книга его о Т. Море отличается одним несомненным достоинством: она написана легко, живо, с внешней стороны интересно, и читатель, не знакомый с вопросом и не считающий нужным проверять сообщаемые автором факты, выносит из чтения книги убеждение, что он узнал что-то новое для себя и интересное» (Там же. С. 175–176).

# 828

См.: *Водовозов В. В.* Исследование г. Тарле по социальной истории Англии. СПб., 1901. При переиздании «Утопии» в советское время упоминался и Водовозов, о критическом отзыве которого говорилось: «С рецензентом можно не согласиться только в его утверждении, будто проф. Тарле переводил не с латинского, а с немецкого. Работа, несомненно, исполнена по латинскому оригиналу, но в некоторых затруднительных случаях Е. В. Тарле пользовался упомянутым переводом Коте, который его и подвел» (*Малеин А. И.* Главнейшие издания и переводы «Утопии» // Мор Т. Утопия / Пер. и комм. А. И. Малеина. М., 1935. С. 27–28).

# 829

См.: «…из-за одного перевода да ряда мелких недоразумений в самой книге и нескольких спорных точек зрения едва ли стоило вновь поднимать историю и еще раз призывать внимание читающей публики к книге г. Тарле. Диспут кончился, степень г. Тарле получил; кажется, после всего этого можно бы считать инцидент исчерпанным. Но г. Водовозову не нравится именно то, что факультет признал г. Тарле достойным искомой степени. “Мы не знаем, – говорит он в заключительных строках статьи, – какие мотивы руководили факультетом при его странном решении”. Если это решение кажется г. Водовозову странным, то еще более странным должно показаться всякому беспристрастному человеку появление его брошюры. Возражения, приводимые г. Водовозовым, за исключением справедливых нападок на перевод, мелки и не дают основания для признания книги “совершенно неосновательной”. Затем г. Водовозов, так тщательно ставящий г. Тарле всякое лыко в строку, нашел в его книге только одно достоинство – легкость и живость изложения – и в этом разошелся с мнением самого компетентного из оппонентов г. Тарле, проф. Лучицкого, указавшего целый ряд более серьезных достоинств. Принимая все это во внимание, читатель, знакомый и с инкриминируемой книгой, и с ходом диспута, должен прийти в полное недоумение. Зачем было снова заводить историю и post festum трубить тревогу? Брошюра не дает никакого материала для ответа на этот вопрос» (Русские ведомости. 1902. № 14. 14 янв.).

# 830

Чествование П. И. Вейнберга в связи с 50-летием его литературной и общественной деятельности состоялось 16 декабря 1901 г. в помещении Петербургского Общества деятелей печатного слова.

# 831

См.: Thomas Morus Utopia / Herausgegeben von Victor Michels und Theobald Ziegler. Berlin, 1895.

Правильно: Н. В. Миницкого.

# 833

Выражая благодарность за присланную рецензию на книгу Е. В. Тарле, профессор А. И. Сонни писал В. В. Водовозову: «Очень рад, что среди хора хвалебных о ней отзывов, которыми переполнены толстые журналы, раздался, наконец, хоть один голос в пользу истины. Ваши возражения, все без исключения, кажутся мне вполне основательными» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2470. Л. 1).

# 834

Сохранился черновик письма от 17 декабря 1901 г., в котором В. В. Водовозов обращался к Е. В. Тарле (зачеркнутое автором приводится в квадратных скобках):

«Евгений Викторович, возвратившись домой после нашего продолжительного разговора, я много передумал. [Вы просите меня отказаться от печатания моей рецензии на Вашу книгу]. Я очень хорошо понимаю, что моя рецензия может принести Вам немало вреда, [хотя думаю, что размер этого вреда Вы преувеличиваете: не помешали же мои возражения Вам появляться в “Вестнике Европы”, “Мире Божием”, и Вы говорили мне даже, что Михайловский заранее согласен на помещение Вашего ответа], а между тем добивать Вас, как ввиду Вашей просьбы, так еще более ввиду Ваших обещаний, я вовсе не желаю. Вы, видя мое не полное доверие к данным Вами обязательствам, спрашивали меня, какие гарантии можете Вы дать. Обдумав все, я и даю Вам ответ на этот Ваш вопрос.

Относительно Вашей книги и диспута на поверхности общественного сознания образовалась странная муть. Ваши друзья распространили о диспуте ряд клевет, печать поместила ряд в высшей степени хвалебных отзывов о книге [во многих журналах (“Русские ведомости”, “Журнал для всех”, “Исторический вестник”, “Народное хозяйство”) за подписями более или менее известных лиц, и по поводу диспута], в двух таких газетах, как “Россия” и “Русские ведомости”, появились статьи, безусловно сочувственные Вам и притом безусловно недобросовестные. Из последней оказывается, 1) что такой авторитетный оппонент, как Трубецкой, сказал только то, что Вы очень талантливый человек, 2) что оппоненты не касались существенной части книги и 3) что “говорят”, что на диспуте сводились личные счеты. И то, и другое, и третье – неправда; [относительно первых двух пунктов Вы и не отрицаете этого; правильность третьего Вы, если я верно Вас понял, отстаиваете по отношению к некоторым оппонентам (Челпанову), но отрицаете относительно других, признавая, что они действовали хотя, может быть, и ошибочно, но, во всяком случае, по мотивам, чуждым личных соображений; между тем в “Русских ведомостях” инсинуация пущена даже без такой оговорки. Так как Ваши друзья в дополнение к этому опутали все дело целой сетью клевет, притом сознательно злостных (выдумка относительно моего влияния на Сонни не может быть иной), то на поверхности оказывается какая-то странная муть].

Ваша нравственная обязанность – рассеять эту муть, [насколько это возможно]. Вы не можете ссылаться на усердие не по разуму Ваших друзей, Вы за него отвечаете. [Общество имеет право знать правду о Вашей книге и Вашем диспуте. Нельзя быть порядочным общественным деятелем, удержавшись на поверхности жизни благодаря клеветам, инсинуациям, хотя бы распущенным не им самим, а его друзьями, умолчаниям, недомолвкам, мраку. Элементарная обязанность отрясти от себя таких своих друзей, которые его компрометируют]. Вы согласились опровергнуть одну клевету, [это поступок, несомненно, честный, но согласитесь, что его одного мало и даже он сам далеко не полон], которую распространили Вы сами, приняв ее без проверки из чьих-то уст. Но согласитесь, что этого мало. Необходимо было бы вывести на чистую воду клеветника, узнав его имя и бросив ему в лицо громогласно название “клеветника”.

Таков, по-моему, был бы Ваш элементарный нравственный долг. Однако я понимаю, что ввиду близости этого клеветника к Лучицкому Вам это сделать трудно, да я и не настаиваю на этом, ибо клевета имеет мелкий личный характер; я только указываю Вам на такой долг. Но я настаиваю, я требую от Вас опровержения инсинуаций “Русских ведомостей”. Вы имеете, конечно, полное право оговорить свое несогласие с нападками на книгу. Но Вы должны публично заявить, что чистоты мотивов этих нападок Вы не заподозриваете; что оппоненты нападали не только на перевод, но и на текст книги; что Трубецкой не только хвалил, но и порицал Вас [(правильность или неправильность – другой вопрос, который Вы можете оговорить или не оговаривать)]. К этому, по-моему, следует прибавить то, что Вы заявили на диспуте и что повторили мне, что Ваш перевод не полон и на полноте его Вы никогда не настаивали. Форма, пределы и ограничения всех этих утверждений – дело Ваших убеждений, но Ваша нравственная обязанность – напечатать такое заявление. Оно было бы в высшей степени благородно. Оно установило бы в обществе (а может быть, и в печати) правильный тон относительно Вашего диспута и Вас лично, и – я позволяю себе утверждать это – оно в итоге было бы чрезвычайно выгодным для Вас, [выгодным за исключением одного случая: если автор корреспонденции – лицо, дружбой или покровительством которого Вы дорожите; ввиду категорического Вашего утверждения, что Вы не знаете автора, я не останавливаюсь на этом предположении]. Оно оттолкнет от Вас Ваших друзей, прибегающих к недобросовестным приемам, но приобретет Вам сочувствие большинства читающей публики и всех порядочных

людей.

Жаль, что Вы не сделали этого proprio motu [по собственной инициативе (*лат.*)], но что же делать. Во всяком случае, я могу признать Вашу искренность только в том случае, если Вы исполните этот minimum требований порядочности. Только это может мне дать гарантию того, что Вы исполните Ваши обязательства относительно Вашей общественной деятельности. Только в этом случае мы можем входить в какие бы то ни было соглашения относительно печатания или не печатания моих рецензий. Si non – non [Если нет – нет (*лат.*)]. Буду ждать Вашего ответа до утра среды, затем считаю свои руки развязанными. В. Водовозов» (Там же. Д. 2645. Л. 1–4).

Поскольку Тарле, видимо, не ответил, рецензия на книгу появилась в декабрьском номере журнала «Народное хозяйство».

## 835

Видимо, имеется в виду переиздание «Малого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», который в 1899–1902 гг. вышел в 3 т., в 1907–1909 гг. – в 4 т. См.: «О переиздании малого словаря мы подумывали еще в 1919 году, и тогда я вел переговоры с В. В. Водовозовым и И. В. Яшунским о пересмотре старого издания и составлении нового» (*Перельман А.* Воспоминания. СПб., 2009. С. 191).

# 836

В 1924–1929 гг., то есть до своего ареста, Е. В. Тарле ежегодно выезжал в заграничные командировки, главным образом в Париж, где проводил по несколько месяцев.

## 837

Неточность: в 1911 г. в Петербургском университете Е. В. Тарле защитил докторскую диссертацию «Рабочий класс во Франции в эпоху революции» (см.: *Тарле Е. В.* Рабочий класс во Франции в эпоху революции. Исторические очерки. СПб., 1909–1911. Ч. 1–2); В. В. Водовозов имеет в виду кн.: *Тарле Е. В.* Континентальная блокада. СПб., 1913–1916. Т. 1–2.

# 838

В Праге В. В. Водовозов написал рецензию на книгу Е. В. Тарле «Европа в эпоху империализма. 1871–1919 гг.» (М.; Л., 1927), отмечая несоответствие ее заглавия содержанию, ибо Тарле сосредоточился на истории и подготовке мировой войны, рассматривая внутренние процессы «исключительно под углом международных отношений» и стараясь подвести сложные события жизни отдельных стран и отношения между ними «под свою схему», но тем не менее замечал, что вовсе не желает «умалить значение ценного труда», являющегося несомненно «плодом большой и вдумчивой работы», и это не компиляция, а действительно серьезное исследование (Современные записки. 1928. № 6. С. 551–555).

# 839

К. П. Василенко отмечал, что В. П. Водовозова наряду с А. В. и В. В. Вакарами, П. И. Гиберман, Н. Н. Кульженко и другими принимала «наиболее деятельное участие» в политическом Красном Кресте, «особенную поддержку» которому дало предпринятое ею издание публичных лекций проф. В. Я. Железнова по политической экономии, прочитанных в 1898–1899 гг. в Киеве (*Василенко К.* Четверть века назад. С. 136). См.: *Железнов В. Я.* Очерки политической экономии: В 2 ч. Киев, 1899. См. также: *Челпанов Г. И.* История основных вопросов этики / Изд. В. Водовозовой и С. Эвенсон под ред. лектора. Киев, 1897.

# 840

Фототипия – фотомеханический процесс, предназначенный для получения типографского клише и тиражирования высококачественных полутоновых изображений методом плоской печати.

Например, в четырехстраничном рекламном проспекте «Издательства Веры Петровны Водовозовой в Киеве» (по адресу: Владимирская, 79) сообщалось: «Вышли в свет и поступили в продажу снимки с картин Беклина большого формата (разм[ером] 10½ х 8 верш[ков]), исполненные в фототипии С. В. Кульженко: 1) Арнольд Беклин (портрет художника), 2) Остров мертвых, 3) Сострадание, 4) Священная роща, 5) Семья тритонов, 6) Вилла у моря, 7) Центавр у кузнеца, 8) Развалины у моря, 9) Остров живых…» Предлагались также «снимки с картин Балестриери» по той же цене, 75 копеек за экземпляр, и «портреты писателей, общественных деятелей, музыкантов, композиторов» (размером 8 х 6 вершков) по 35 копеек, причем к осени 1903 г. было выпущено свыше 60 таких портретов и указывалось, что в октябре – ноябре еженедельно будут выходить по три новых; торговым представителем издательства в Петербурге состояла Полина Израилевна Гиберман (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2709. Л. 169–170, 184–185).

# 842

См. газетное объявление: «Издательство портретов и картин В. П. Водовозовой переведено в СПб., Вас[ильевский] Остр[ов], Тучкова наб[ережная], д. 2» (Товарищ. 1906. № 59. 12 окт.).

## 843

См.: *Kautsky K.* Die Klassengegensätze von 1789: Zum hundertjährigen Gedenktag der großen Revolution. Stuttgart, 1889; *Каутский К.* Противоречия классовых интересов в 1789 году. К столетнему юбилею великой революции / Пер. с нем. [Г. Ф. Львовича] // Северный вестник. 1889. № 4. С. 115–127; № 5. С. 29–55; № 6. С. 175–189. Публикация была осуществлена после ухода Н. К. Михайловского из журнала в 1888 г.

## 844

Журнал «Северный вестник» издавался без предварительной цензуры с 1897 г.

## 845

См.: *Каутский К.* Противоречия классовых интересов в 1789 году / Пер. И. С. Биска; под ред. В. В. Водовозова. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1902.

См.: *Каутский К.* Противоречия классовых интересов в 1789 году / Пер. Г. Ф. Львовича. СПб., 1902.

## 847

Неточность: книга выходила еще в 1903 г., см.: *Каутский К.* Противоречия классовых интересов в 1789 году / Пер. И. С. Биска; под ред. В. В. Водовозова. 2-е изд. Ростов-на-Дону: «Донская речь» Парамонова, [1903].

# 848

Издательство «Донская речь» начало функционировать в январе 1903 г., выпустив свыше 500 книг и брошюр, в том числе 26 выпусков историко-революционного журнала «Былое», 21 выпуск «Русской исторической библиотеки», 17 выпусков журналов «Отклики современности», «Народная жизнь», «Народный вестник» и т. д. После того как 2 января 1905 г. Н. Е. Парамонов фиктивно, за 7500 руб., переуступил издательство своему бухгалтеру А. Н. Сурату, часть книг выходила под марками «Книгоиздательская фирма А. Н. Сурата», «Книгоиздательство “К свету”», «Издательница А. И. Парамонова» (см.: *Кошеверова С. В., Тарасова М. Н.* Каталог издательства «Донская речь» Н. Е. Парамонова в Ростове-на-Дону. Ростов-на-Дону, 2006).

# 849

Имеется в виду Е. Т. Парамонов.

# 850

26 апреля 1905 г. Н. Е. Парамонов уведомлял В. В. Водовозова о значительном расширении своего издательского дела: «К августу мы окончим оборудование типографии, в нашем распоряжении будут тогда шесть машин, которые будут печатать тогда исключительно наши издания», – и с гордостью сообщал: «За первые 4 месяца 1905 г. мы издали приблизительно 1 000 000 [экз.] брошюр. Я уверен, что до конца года эта цифра будет доведена до 4 000 000 экз., что уже даст нам возможность стать прочно и хорошо и аккуратно выплачивать гонорар» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2382. Л. 9).

# 851

См.: *Сватиков С. Г.* Общественное движение в России (1700–1895). Ростов-на-Дону, 1905; *Он же.* Из эпохи реакции (1880–1895). М., 1917; *Он же.* Русский политический сыск за границею. (По документам заграничной агентуры департамента полиции). Ростов-на-Дону, 1918.

## 852

Неточность. См.: *Водовозов В. В.* Организация всеобщего избирательного права // Новый путь. 1904. № 10. С. 233–259; № 12. С. 120–135.

# 853

См.: *Водовозов В. В.* Всеобщее избирательное право на Западе. Ростов-на-Дону, [1905].

# 854

Правильно: по 8 копеек.

# 855

В 1905 г. Н. Е. Парамонов регулярно извещал В. В. Водовозова о положении с изданием и реализацией его трудов: например, 26 апреля: «Пасха немного сократила спрос, но в общем всё, а особенно “Избирательное право”, идет хорошо»; 3 августа: «Ваш очерк “Всеобщее избирательное право” мы уже издали дешевым изданием за 5 коп. и на днях вышлем Вам, как Вы и сообщили последний раз, 3 тысячи экз. Общий отзыв все же таков, что брошюра написана несколько трудно. Не найдете ли Вы возможным значительно его опростить для следующего издания? Я думаю, что это издание разойдется к декабрю. <…> Книжка Каутского “Противоречие классовых интересов” распродана. Будете ли делать какие изменения для следующего издания? Если да, то не задержите высылкой правленого экземпляра» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 7, 16).

# 856

См.: *Водовозов В. В.* Всеобщее избирательное право на Западе. 2-е перераб. изд. Ростов-на-Дону, [1905].

# 857

Неточность: вышло только два издания этой брошюры.

# 858

Всероссийская политическая стачка проходила 20 октября – 2 ноября 1905 г.

# 859

Издательство «Донская речь», деятельность которого приостанавливалась в декабре 1905 г. и декабре 1906 г., было закрыто в 1907 г. (см.: *Кошеверова С. В.* Из истории издательского дела на Дону. (К 100-летию «Донской речи») // Общественные науки. 2003. № 4. С. 16–21).

# 860

См.: *Кеннан Дж*. Сибирь и ссылка. [Ростов-на-Д.]: А. Сурат, [1906–1907]. Т. 1 / Пер. с англ. под ред. В. Водовозова; Т. 2 / Пер. с англ. под ред. Е. Серебрякова.

# 861

Неточность: дело Н. Е. Парамонова и А. Н. Сурата рассматривалось Новочеркасской судебной палатой 12–13 мая 1907 г. Взятые под стражу, они были освобождены под залог: первый – в 40 тыс., второй – в 2 тыс. рублей; следствие тянулось три с половиной года, и хотя в 1911 г. Парамонов и Сурат были приговорены соответственно к трем и двум годам заключения в крепости, они избежали наказания: против них возбудили новое дело, а в 1913 г. амнистировали в связи с 300-летием династии Романовых.

# 862

В мае 1918 г. Н. Е. Парамонов управлял отделом торговли и промышленности в правительстве атамана П. Н. Краснова, в феврале – марте 1919 г. – отделом пропаганды Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России А. И. Деникине.

# 863

В декабре 1919 г. семья Н. Е. Парамонова перебралась в Новороссийск, откуда в феврале 1920 г. отбыла в Константинополь на единственном остававшемся у нее пароходе «Принцип» и до начала 1921 г. жила на доходы от его рейсов по маршруту Поти – Батуми. Поселившись вскоре в Берлине, Парамонов ненадолго возобновил издательскую деятельность и, скупая пустыри, построил несколько многоквартирных домов и гаражей с авторемонтными мастерскими и заправочными станциями (см.: *Будницкий О. В.* Николай Елпидифорович Парамонов: «Рано или поздно добро и правда восторжествуют…» // Российский либерализм: идеи и люди. 2-е изд., испр. и доп. М., 2007. С. 822–830).

# 864

Книгоиздательство «Слово» было основано в 1920 г. русской группой пайщиков, которую представлял И. В. Гессен, и немецкой издательской фирмой «Ульштейн». В октябре 1922 г. Н. Е. Парамонов предложил вложить в дело 1 тыс. англ. фунтов при условии, что станет не только пайщиком, но и редактором в ранге директора, и вошел в наблюдательный совет акционерного общества «Слово», учрежденного в 1923 г., наряду с уже существовавшими в Данциге одноименным обществом и берлинской книготорговой фирмой «Логос». Но не сумев путем негласной скупки паев забрать «Слово» у немцев, Парамонов в июле 1925 г. вышел из президиума «Логоса» и тогда же, видимо, покинул издательство, причем если в 1920–1924 гг. оно выпустило 123 названия книг, то в последующие десять лет – всего 25, ликвидировавшись в 1935 г. (см.: *Кратц Г. Н.* Е. Парамонов и книгоиздательство «Слово» в Берлине // Библиотечное дело – 2003: гуманитарные и технологические аспекты развития. М., 2003. С. 196–198).

# 865

Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей (Земгор), созданный в Париже в 1921 г., имел свои отделения по всей Европе, включая Чехословакию.

# 866

Уже в 1925 г., 26 января, В. В. Водовозов по старой памяти обратился к Н. Е. Парамонову за помощью: «В настоящее время я без работы. Не могли ли бы Вы предоставить мне таковую?» Поясняя, что есть несколько тем, на которые «очень охотно написал бы книги» («Общественное и политическое мировоззрение Пушкина», «Новые явления в области конституционного права и кризис парламентаризма в современной Европе», «Краткий очерк истории Западной Европы после мировой войны»), Водовозов интересовался: «Не могли ли бы Вы заказать мне одну из этих книг? Если ни одна из них для Вас не подходит, то не предложите ли Вы мне какую-нибудь другую тему? Буду очень благодарен за согласие дать мне какую-нибудь работу» (ГАРФ. Ф. Р–5907. Оп. 1. Д. 123. Л. 1). Но 5 февраля книготорговое акционерное общество «Логос», членом руководства которого Парамонов являлся, ответило Водовозову: «В данный момент мы, к сожалению, не можем воспользоваться Вашим предложением относительно издания Ваших работ, так как на ближайшие 6–8 месяцев мы уже покрылись материалом и положение русского книжного рынка не дает надежды рассчитывать на ускорение темпа издания» (Там же. Д. 168. Л. 1).

И тут я, к сожалению, не уверен в точности хронологической даты. Возможно, что мои занятия с кружком Балмашева происходили раньше.

## 868

Занятия, о которых далее идет речь, могли происходить только осенью 1900 г., так как С. В. Балмашев в этом году из Казанского университета перевелся в Киевский, но 7 декабря был исключен из него за участие в студенческих волнениях, а 23 января 1901 г. арестован и, проведя два месяца в заключении, сдан в солдаты. Хотя в июле его освободили от военной службы по состоянию здоровья, восстановив в сентябре в Киевском университете, но тогда же он вступил в Боевую организацию ПСР, а 2 апреля 1902 г. смертельно ранил министра внутренних дел Д. С. Сипягина (см.: *Троицкий Н. А.* Дело Степана Балмашева // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: История. Международные отношения. 2013. Т. 13. Вып. 4. С. 16–21).

# 869

Правильно: 1900 г.

В статьях о нем в «Искре» авторы, указывая на его прежнюю близость с социал-демократами, отрицали его принадлежность к социалистам-революционерам и старались отнять его у партии социалистов-революционеров. Но эти статьи были продиктованы мелкой партийной завистью: социал-революционаризм Балмашева не подлежит ни малейшему сомнению для тех, кто знал его в последние годы.

# 871

Отвечая на упреки эсеров, недовольных «искровской» передовицей (см.: Смерть Сипягина и наши агитационные задачи // Искра. 1902. № 20. 1 мая) и указывавших, что покушение на министра было совершено Балмашевым «не как студентом, а как членом боевой организации социалистов-революционеров, по ее постановлению и при ее содействии», газета возражала: «Нам говорят, что С. В. Балмашев был прежде всего социалистом и революционером. Мы охотно верим тому, что он был социалистом, и мы не имеем ни малейшей охоты и решительно никакой возможности сомневаться в том, что он был революционером. Но мы не знаем, откуда видно, что он был “социалистом-революционером”» (Вынужденная полемика // Там же. № 23. 1 авг.).

Неточно цитируется поэма Н. А. Некрасова «Саша».

# 873

14 февраля 1901 г. эсер П. В. Карпович смертельно ранил министра народного просвещения Н. П. Боголепова, по распоряжению которого были сданы в солдаты 183 студента Киевского университета.

# 874

Убийца в офицерской форме с погонами поручика, явившийся 2 апреля 1902 г. в Мариинский дворец якобы с пакетом от великого князя Сергея Александровича, двумя выстрелами смертельно ранил Д. С. Сипягина и, заявив: «Так поступают с врагами народа!», даже не пытался скрыться.

# 875

Отказавшись подать прошение о помиловании, С. В. Балмашев был повешен в Шлиссельбургской крепости 3 мая 1902 г.

все свое ношу с собой (*лат.*) – крылатая фраза Цицерона, приписываемая им древнегреческому мудрецу Бианту.

## 877

Ср.: «Зимой 1901–1902 года мне пришлось пробыть в Киеве довольно долго и ознакомиться с настроением студенчества как университета, так и политехнического института. Тогда в Киеве проживали В. В. Водовозов и Сергей Булгаков, они нередко выступали со своими тогда марксистскими публичными лекциями, привлекавшими густые толпы молодежи обоего пола. Слушали лекции, спорили о них, но еще больше пользовались ими для распространения революционной пропаганды, устной и книжной» (*Брешковская К.* Из прошлого // Дни. 1922. № 11. 19 нояб.).

Летучка – здесь: небольшая прокламация.

## 879

Правильно: в 1903 г.

Ср.: «Киевский Комитет Российской соц.-демократической рабочей партии генералу Новицкому по поводу двадцатипятилетия его жандармской деятельности и предполагаемого оставления им поста начальника Киевского губернского жандармского управления.

Ваше пр[евосходитель]ство, высокопочитаемый Василий Дементьевич!

До нас дошли вести, что Вы, ваше превосходительство, собираетесь покинуть тот пост, на котором Вы со славой подвизались уже четверть века; они повергли нас в глубочайшую скорбь. Не думайте, ваше превосходительство, что это шаблонная фраза, столь обычная при проводах высокопоставленных лиц. Нет, не имея высокой, хотя, может быть, несколько опасной чести быть лично известными вашему превосходительству, мы не видим нужды заискивать перед Вами и говорим от полноты сердца.

Четверть века стояли Вы на своем посту. Многие тысячи лиц подвергнуты Вами за это время аресту, еще большее число – обыскам, несколько сотен людей отправили Вы в более или менее отдаленные места Европейской и Азиатской России. При этом у Вас была своя система. Лишь в редких случаях Вы искали себе жертв в рядах той или другой революционной фракции и систематически избегали трогать нас, членов комитета социал-демократической партии, уже по многу лет принадлежащих к его составу. Наша новая типография существует в Киеве уже почти четыре года; за эти годы беспрерывной работы шрифт успел стереться, и хотя за это время Вы обшарили не менее тысячи квартир, но при этом Вы всегда выбирали именно те, где типографии нет и быть не может. Зато Вы охотно направляли Ваши удары на умеренно-либеральных представителей интеллигентного и буржуазного общества, когда те каким-либо образом, основательно или неосновательно, приобретали себе репутацию людей неблагонамеренных; Ваши удары падали на студентов, недовольных университетскими порядками; всего же чаще – на рабочих, причем Вы никогда не считали нужным разбирать, кто из них принадлежит к социал-демократической партии, а кто даже и вовсе не сочувствует.

Нам не дано проникнуть в глубокий, но сокровенный смысл Ваших целей, но мы хорошо знаем, что сотни людей из интеллигентного общества, ранее бывших либералами, колеблющимися, иногда даже консерваторами, и тысячи рабочих, никогда ранее не задумавшихся о своем положении, на которых

не действовали самые горячие наши убеждения, приходили к нам после того, как они оканчивали курс в школе вашего превосходительства. Вас упрекают за жестокость, многие говорят о Вашем бездушии и свирепости, некоторые по поводу Вашей деятельности вспоминали того щедринского генерала Топтыгина, которого послали “учинять кровопролития” и который вместо того “чижика съел”; но мы считаем такое сравнение неправильным, так как, во-первых, Вы не раз учиняли действительные “кровопролития”, а во-вторых, и съеденный Вами “чижик” своим предсмертным писком немало содействовал пробуждению киевских обывателей от их вековечного сна.

Либеральные и просто мирные обыватели Киева говорят о Вас с ужасом и ненавистью, чуть ли не пугая Вами маленьких детей; с ненавистью и злорадством они повторяют слухи о Вашем покровительстве притонам тайного разврата. Но мы не имеем основания ни ненавидеть Вас, ни бояться. Напротив, именно Вы благодаря всем только что отмеченным чертам Вашей деятельности помогли нам стать на ноги, окрепнуть и развернуть нашу деятельность во всей ее нынешней широте.

Глубоко благодарные Вам за все Ваши услуги, мы не без зависти смотрим на наших московских товарищей, которые отныне, судя по газетным слухам, будут осчастливлены Вашей помощью, и шлем Вам пожелание еще многие годы продолжать Вашу столь же целесообразную деятельность, хотя и вдали от нас. Мы уверены, что высшее начальство и впредь будет оказывать Вам свое благоволение, как оно его оказало в текущем году, вверив Вам ведение Всероссийского дела о революционной организации “Искры”. Вы любезно предоставили возможность десяти обвиняемым по этому делу уйти из Киевской тюрьмы и затем благоразумно направили следствие по ложному следу. Если слух о переводе Вашем в Москву не окажется газетной уткой и Вы действительно покинете нас, смеем надеяться, что Ваш заместитель окажется достойным Вас. Преданный Вам, Киевский комитет Росс. соц.-демократической Раб. партии» (К юбилею В. Д. Новицкого. Адрес // Искра. 1903. № 33. 1 февр.).

# 881

Неточность: В. Д. Новицкий ушел в отставку в 1903 г., вслед за покушением на него политической арестантки, по состоянию здоровья.

# 882

В. Д. Новицкий состоял одесским градоначальником с 22 августа по 14 ноября 1907 г., когда скоропостижно скончался от «паралича сердца на почве переутомления» в возрасте 70 лет.

# 883

Комментируя статью «Новый курс в Одессе» корреспондента газеты «Русь», интервьюировавшего градоначальника, Водовозов писал: «Я тоже слышал от ген. Новицкого речи совершенно в том же духе, что и А[белеви]ч; много слышал от него о его любви к законности, о его гуманности к преследуемым им по долгу службы людям и т. д. Генерал Новицкий отличается большой словоохотливостью, охотно пускается в беседы более или менее интимного характера со всеми, в том числе и с людьми, им арестуемыми, и всегда говорит именно в том тоне, который совершенно верно схвачен в рассказе А[белеви]ча. Но я беседовал с Новицким в условиях несколько отличных от тех, в каких беседовал А[белеви]ч, явившийся к Новицкому в качестве газетного сотрудника, и потому мои впечатления от бесед вовсе не так благоприятны. Но и столь же неблагоприятны оказались бы, конечно, впечатления и всех других лиц, к которым прилагал г. Новицкий свои понятия о законности. Я поостерегся бы передавать читателям их без сопоставления слов ген. Новицкого с некоторыми его поступками» (*Водовозов В.* По поводу «нового курса» в Одессе // Товарищ. 1907. № 353. 24 авг.; см. также: *А[белеви]ч С.* Напрасная наивность // Русь. 1907. № 254. 25 авг.).

# 884

Неточность: бежало 11 человек, в том числе 10 социал-демократов и 1 эсер.

# 885

Ср.: «В феврале нынешнего года, в самый разгар демонстраций, по всей России были произведены сотни арестов. Между прочим, не менее 30 человек, арестованных в разных концах России по делу “Искры”, было свезено в Киевскую тюрьму, так как “знаменитый” жандарм Новицкий был уполномочен вести следствие по делу о нашей организации. В числе этих товарищей были: Лев Гальперин, бывший уже в ссылке в Астраханской губ.; Виктор Крохмаль, вернувшийся из Уфимской ссылки в 1900 г.; Иосиф Тарсис [будущий секретарь Исполкома Коминтерна И. А. Пятницкий], портной, арестованный в Вильне, и двое нелегальных – Николай Бауман, ветеринар, врач, сосланный в 1898 г. в Вятскую губ. по делу С. П. Б. Союза Борьбы и бежавший через год, и Иосиф Басовский (впервые привлекался в Одессе в 1897 г.). В марте к тому же делу присоединен наборщик Иосиф Блюменфельд, взятый на границе с германским паспортом (был в 1886 г. изгнан из России), а в апреле – Бор. Мальцман, арестованный в Теофиполе, Волынск[ой] губ., где состоял под надзором. Эти семь лиц, на которых концентрировались главные обвинения по делу “Искры”, и бежали вместе с ветеринар[ным] врачом Владимиром Бобровским, обвинявшимся в организации Киевской демонстрации 2 февраля, и еще тремя товарищами, сидевшими уже более года (с апр. – мая 1901 г.): Марианом Гурским, М. Валлах[ом] [будущий нарком иностранных дел СССР М. М. Литвинов] и Болеславом Плесским (первые двое по делу Киевского комитета партии, а последний по делу Партии соц.-рев.). О самых подробностях побега участники его сообщают следующее: “орудиями” побега послужили сшитая из разрезанных простынь лестница и полупудовый якорь. Как последний очутился в руках бежавших – это, конечно, секрет организаторов побега. 18 авг[уста] вечером, когда заключенные гуляли по двору около стены, несколько из них напали на стоявшего вблизи часового, забили ему рот и связали его по рукам и ногам. Операция была проделана не совсем совершенно, так как солдат мог несколько раз крикнуть: “Ратуйте, ратуйте!” К счастью, заглушенный крик его не был услышан. Пока одни возились с часовым, другие образовали “живую пирамиду”, верхний конец которой доходил почти до вершины стены. Отсюда нетрудно было взлезть и прикрепить якорь, к которому с одной стороны была привязана лестница, а с другой – веревка, по которой спускались вниз. Через десять минут после того, как благополучно спустился последний из беглецов, из тюрьмы раздался выстрел, означавший

тревогу. Бежавшие направились в разные стороны» (Побег из Киевской тюрьмы // Искра. 1902. № 25. 15 сент.; см. также: *Петренко А. И.* Побег из Киевской тюрьмы 10 искровцев и одного с[оциалиста]-р[еволюционера] в 1902 г. // Каторга и ссылка. 1925. № 7. С. 190–205; *Самсонов Я.* Страница прошлого: побег из Киевской тюрьмы // Там же. С. 206–210; *Пятницкий О. А.* Записки большевика (1896–1917) // Пятницкий О. А. Избранные воспоминания и статьи. М., 1969. С. 39–46).

# 886

Сосланная в 1878 г. в Повенец Олонецкой губернии, С. Л. Перовская воспользовалась тем, что охранявшие ее жандармы заснули, и бежала.

## 887

В рукописи зачеркнуто: «равно как и Каляева, отказавшегося бросить бомбу в великого князя, потому что с ним были дети» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 3196. Л. 60 об).

## 888

Неточность: публичную лекцию «О философских воззрениях Вл. Соловьева» С. Н. Булгаков прочел в Киеве 28 января 1903 г.

# 889

В. С. Соловьев умер 31 июля 1900 г.

# 890

В «Отчете ревизионной комиссии Киевского Литературно-артистического общества за 1903 г.», подписанном В. В. Водовозовым как ее председателем, указывалось, что, помимо журфиксов по средам, разрешение на проведение которых поступило только 18 октября, в отчетном году состоялось всего три устроенных правлением вечера, которые носили литературный или музыкальный характер: «Из первых имевшими успех могут быть признаны только вечер 28 января 1903 г., на котором Булгаков читал реферат “О философских воззрениях Соловьева”, и Шевченковский вечер в марте 1903 г. На первом было около 800 посетителей, и он дал более 200 руб. дохода; на втором было 900 посетителей, и он дал около 500 руб. дохода». Сетуя на «исключительную трудность получить разрешение для какого бы то ни было вечера», ревизионная комиссия приводила несколько вычеркнутых из окончательного варианта ее отчета примеров: «…в апреле 1903 г. Академия наук по предложению ее августейшего председателя обратилась к Литературно-артистическому обществу с предложением устроить 29 января 1904 г. вечер, посвященный памяти Пушкина. Литературная комиссия общества принялась за осуществление этого предложения. В начале января 1904 г. был выработан план вечера; в нем должны были принять участие 4 лектора (Булгаков, Гольденвейзер, Куперник, Водовозов) и несколько артистов и певиц. 14 января 1904 г. попечителю округа было представлено соответствующее ходатайство. Попечитель потребовал в дополнение к представленному ему конспекту чтения Куперника полный текст этого чтения. Требование не могло быть исполнено, так как Куперник не имеет привычки писать заранее тех речей, которые он собирается произнести. Ввиду этого попечитель округа отказал в разрешении на участие в вечере г. Куперника. Он же отказал в разрешении на участие в вечере г. Гольденвейзеру “по неимению на то права”, как сказано в его ответе, хотя, как сказано в той же бумаге, “ничего не имеет против самого содержания реферата”. Но получили разрешение Булгаков, Водовозов, артисты и певицы. Разрешение это было получено обществом 25 января. Тотчас же ходатайство о вечере было отправлено г. киевскому губернатору. Г. губернатор ответил категорическим отказом, причем мотивировал свой отказ, во-первых, тем, что ему не были представлены конспекты рефератов с утверждением попечителя, во-вторых, поздним представлением ходатайства. Ответ г. губернатора оканчивался словами:

“Правлению надлежало бы обратиться ко мне с надлежащим ходатайством заблаговременно, а не за два дня до устройства вечера”. Первое объясняется тем, что г. попечитель округа вернул конспекты рефератов без соответственной отметки на них самих, довольствуясь сообщением своего разрешения в особой бумаге. Что же касается позднего срока представления ходатайства и мнения г. губернатора о том, что с апреля 1903 г. у общества было достаточно времени для подготовления вечера памяти Пушкина, то нужно иметь в виду, что в апреле или мае или вообще до лета и даже осенью нет никакой возможности подготовлять вечера, которые должны иметь место в конце января. Ни лекторы, ни артисты не могут за два или три месяца сказать, будут ли они иметь возможность принять участие в вечере через такой продолжительный промежуток времени». Другой пример: «В октябре 1903 г. правление Литературного общества возбудило ходатайство о разрешении гг. Водовозову и Бердяеву прочтения рефератов. Разрешение было дано г. попечителем, потом г. губернатором; последний подписал свое разрешение 15 декабря, причем обусловил его требованием прочтения в течение текущего 1903 г. Но официальное извещение о разрешении было объявлено для реферата Водовозова 10 января 1904 г., а для реферата Бердяева – только в конце февраля 1904 г.» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 1759. Л. 56–59).

См.: *Соловьев В.* Национальный вопрос в России. М., 1884.

# 892

*Соловьев В.* Под пальмами. Три разговора о мирных и военных делах // Книжки Недели. 1899. № 10. С. 5–37; № 11. С. 126–159; 1900. № 1. С. 150–187; № 2. С. 171–203.

# 893

*Соловьев В.* По поводу последних событий. Письмо в редакцию // Вестник Европы. 1900. Кн. 9. С. 302–306.

# 894

Ср.: «Что современное человечество есть больной старик и что всемирная история внутренне кончилась – это была любимая мысль моего отца, и когда я по молодости лет ее оспаривал, говоря о новых исторических силах, которые могут еще выступить на всемирную сцену, то отец обыкновенно с жаром подхватывал: “Да в этом-то и дело, говорят тебе: когда умирал древний мир, было кого ему сменить, было кому продолжать делать историю: германцы, славяне. А теперь где ты новые народы отыщешь? Те островитяне что ли, которые Кука съели? Так они, должно быть, уже давно от водки и дурной болезни вымерли, как и краснокожие американцы. Или негры нас обновят? Так их хотя от легального рабства можно было освободить, но переменить их тупые головы так же невозможно, как отмыть их черноту”. А когда я, с увлечением читавший тогда Лассаля, стал говорить, что человечество может обновиться лучшим экономическим строем, что вместо новых народов могут выступить новые общественные классы, четвертое сословие и т. д., то мой отец возражал с особым движением носа, как бы ощутив какое-то крайнее зловоние. Слова его по этому предмету стерлись в моей памяти, но, очевидно, они соответствовали этому жесту, который вижу как сейчас» (Там же. С. 305).

# 895

Русско-японская война 1904–1905 гг.

## 896

В рукописи далее зачеркнуто: «как оптимиста, тогда как он был в действительности, по крайней мере в последние годы своей жизни, сколько я могу судить по немногим известным мне его произведениям, очень мрачным пессимистом».

# 897

Отвергая «синтез точного знания, метафизики и религии» В. С. Соловьева, обратившегося к мистицизму под влиянием своего мрачного пессимизма, ибо, мол, «развитие человечества окончено; ему предстоит разложение и смерть», и напоминая, что С. Н. Булгаков, выйдя из марксистского лагеря, тоже «перешел на сторону мистического идеализма», когда «реальное движение человечества вперед оказалось не соответствующим тем светлым упованиям, которые возлагались на него марксизмом», В. В. Водовозов говорил: «Есть много данных думать, что человечество перешло через апогей своего развития и в настоящее время клонится к упадку; не больше этого. Но если даже точное знание, которое пока еще идет вперед, в недалеком будущем даст нам право сделать этот вывод в более решительной форме, то и в таком случае я не вижу смысла искать спасения в соловьевско-булгаковском мистицизме. Нужно же, в самом деле, иметь мужество взглянуть черту прямо в оба глаза и не искать спасения там, где его не может быть. Во всяком случае, даже такой безотрадный вывод не может и не должен приводить нас к нравственному бессилию. <…> Жажда борьбы и деятельности вложена в природу человека, и толкают его на нее не метафизические или научные убеждения, а темперамент. Будет ли бездарный и ленивый человек оптимистом или пессимистом, все равно он будет сидеть у моря и ждать погоды; человек же с достаточным запасом жизни и энергии будет жить и бороться. Я этим не желаю отрицать великой важности правильного научного разрешения вопроса, поставленного Соловьевым: изжило ли человечество данный ему запас жизни или нет, но ведь решать его надо при помощи точного знания, и только его одного» (*С. З.* [*Бердяев С. А.*] Философские воззрения Владимира Соловьева: отчет о лекции проф. С. Н. Булгакова в г. Киеве и стенографическая запись прений // Новый путь. 1903. № 3. С. 86–94).

# 898

Ср.: «Я держусь такого же высокого мнения о личности В. В. Водовозова, как и он о моей (что я говорю, чтобы устранить всякие недоразумения), тем не менее я очень низкого мнения о качестве его возражения и, признаюсь, не ожидал, что оно могло быть сказано сознательно в такой аудитории и таким образованным человеком, как г. Водовозов, а тот восторг, который вызвало оно среди публики, считаю явлением весьма печальным. Г. Водовозов как будто бы свалился с луны; для него словно не существует ни философских проблем, ни всей истории философии; как будто он не слышал, что религия и метафизика существуют так же давно, как существует и человек. Но это еще самый слабый грех сравнительно с тем, что он сделал с Соловьевым. Он произвел чудовищную операцию над всем его мировоззрением, представив его пессимистом, который ударился в мистицизм, не перенеся безвыходности этого пессимизма; то же самое, по его мнению, сделал и я. Но как же можно говорить о мировоззрении Соловьева, не зная ни его сочинений, ни истории его умственного развития. <…> Сам по себе В. В. Водовозов представлял для меня всегда психологическую загадку. Я знаю из истории философии, что существуют скептики двух родов: скептики ищущие, стремящиеся, к которым относятся, напр., Иван Карамазов, Герцен и в известном смысле Сократ со своим “я знаю, что я ничего не знаю”; есть скептики цинические, которые над всем смеются и ничего не ищут, которым ничто не свято и не дорого; но есть, оказывается, еще третий разряд скептиков, до сих пор неизвестный в философии: это скептики догматические, которые уверовали в свой скептицизм, как в положительное учение, и на нем утвердились. К таким скептикам относится Водовозов. Если бы его спросили, сделал ли он попытку искания новых путей в области философии, к которому, казалось бы, необходимо должен был привести его пессимизм, то ответ его, в чем я вполне уверен, был бы отрицательным; во всяком случае, я не усматриваю противного в том, что я знаю о его état d’espirit [умонастроении (*фр.*)]. Я говорил о возможности философского обоснования общественных идеалов, но в своем возражении г. Водовозов говорит не об этой философии, не об этих идеалах, а о природе здорового человека. Я понимаю, что идеалы меняются и меняются способы их обоснования; на этой почве возможен спор представителей различных мировоззрений. Но г. Водовозов всем философским доктринам противопоставляет просто “здорового человека”, а всякой философии – точную науку…» (Там же. С. 94–

97).

## 899

Неточность: имеется в виду лекция С. Н. Булгакова «Иван Карамазов (в романе Достоевского “Братья Карамазовы”) как философский тип», прочитанная в Киеве 21 ноября 1901 г., то есть на полтора года ранее, чем ошибочно указывает мемуарист, см. ее публикацию: Вопросы философии и психологии. 1902. Кн. 1 (61). С. 826–863.

с соответствующими изменениями (*лат.*).

# 901

Слова Марины Мнишек, обращенные к самозванцу в драме А. С. Пушкина «Борис Годунов». Вместо слов «…Ты должен» в оригинале стоит: «Уж если ты, бродяга безымянный, / Мог ослепить чудесно два народа, / Так должен уж по крайней мере ты».

# 902

Неточность: псевдоним Борецкая использовал не П. Я. Рысс, а его брат С. Я. Рысс, подписывавший некоторые из своих публикаций именем жены – Э. И. Борецкой (см., например: *Борецкая Э.* [*Рысс С. Я.*] Проблемы объективности сознания. Ростов-на-Дону, 1904), что подтверждал и сам В. В. Водовозов, см.: «Казненный Рысс писал в русских журналах статьи по философии и социальным вопросам, подписываясь почему-то женским псевдонимом – Борецкая» ([*Водовозов В.*] Дело А. А. Лопухина – Азефа // Наша газета. 1909. № 28. 3 февр.).

# 903

Помощник начальника Белостокского отделения Киевского жандармского управления железных дорог сообщал, что 24 мая через пограничный пункт Граево Водовозов выехал за границу (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 250).

# 904

Первоначально, как указывал В. В. Водовозов, журнал «Освобождение» был «органом внепартийным, имевшим задачей организовать и мобилизовать общественное мнение против самодержавного режима», «органом по преимуществу оппозиционных земских и думских кругов и оппозиционной интеллигенции вообще», из-за чего «рядом со статьями, проникнутыми философским позитивизмом или экономическим материализмом» появлялись «написанные в идеалистическом, иногда в религиозном направлении», причем если сначала программа журнала ограничивалась «созывом бессословного народного представительства, избранного губернскими земствами и думами больших городов» и предварительным условием этого выставлялись свобода печати, собраний и право петиций, то с образованием «Союза Освобождения» издание «передвинулось значительно налево: очень скоро в нем была провозглашена необходимость всеобщего голосования» (*В[одовозо]в В.* Освобождение // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1906. Доп. т. 2. С. 353).

# 905

Съезд сторонников журнала «Освобождение» состоялся 20–22 июля (2–4 августа) 1903 г.

пивных (*нем.*).

## 907

Ср.: «Прибыли от земцев: кн. Д. И. Шаховской, кн. Петр Дм. Долгоруков, Ф. И. Родичев, В. И. Вернадский, Н. Н. Львов, С. А. Котляревский, Н. Н. Ковалевский, Д. Е. Жуковский, А. С. и И. И. Петрункевичи, всего 10 лиц; от не земцев: П. Б. Струве, П. И. Новгородцев, С. Н. Булгаков, И. М. Гревс, В. В. Водовозов, Б. А. Кистяковский, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, С. Н. Прокопович, Е. Д. Кускова, всего также 10» (*Петрункевич И. И.* Из записок общественного деятеля: воспоминания // Архив русской революции. Берлин, 1934. Т. 21. С. 338).

# 908

*В[одовозо]в В.* Освобождение // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1906. Доп. т. 2. С. 353; [*Водовозов В.*] Освобождения Союз // Там же. С. 354–355.

# 909

Марксисты в России, не считая заграничных, как Плеханов и др., существовали и до Струве, притом такие выдающиеся, как Н. И. Зибер, Николай —он [Н. Ф. Даниельсон] и др., но все-таки именно Струве и Туган-Барановский могут с полным основанием считаться родоначальниками марксизма.

# 910

П. Г. Струве был основным автором «Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии», изданного в апреле 1898 г.

# 911

Правильно: *Тулин К.* Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве. По поводу книги П. Струве: «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». СПб., 1894 г. // Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития: сб. статей. СПб., 1895. Ч. 2. С. 1–144.

Она перепечатана в первом томе Собрания сочинений Ленина.

# 913

Неточность. См.: *Ленин Н. (Ульянов В.)*. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве. (Отражение марксизма в буржуазной литературе). По поводу книги П. Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». СПб., 1884 г. // Ленин Н. (Ульянов В.). Собрание сочинений / Под ред. Л. Б. Каменева. М.; Пг., 1923. Т. 2. С. 7–161.

# 914

Сборник, отпечатанный в количестве 2 тыс. экземпляров, в мае 1895 г. был сдан в цензуру, где пролежал до марта 1896 г., когда был уничтожен постановлением Комитета министров. Ю. О. Мартов, указывавший на появление статей Г. В. Плеханова, В. И. Ленина и П. Б. Струве «под одной кровлей», вспоминал: «…этот “блок”, представивший эмигрантский, подпольный и легальный марксизм как единое политическое целое, был организован Потресовым после его удачи с выпуском в легальном издании книги Бельтова [Бельтов Н. [Плеханов Г. В.] К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Ответ гг. Михайловскому, Карееву и комп. СПб., 1895]. Он рассказывал мне, что Струве и окружавшие его “легальные марксисты” охотно шли навстречу членам кружка “стариков”, с которыми Потресов свел их через Ст. Ив. Радченко, но что сами “старики” во главе с юристом Ульяновым проявили изрядную подозрительность к тенденциям Струве и, соглашаясь на совместное выступление, как будто боялись быть обманутыми. В конце концов Ульянов получил возможность подробной критикой Струве подчеркнуть, поскольку это мыслимо было в легальной книге, действенно-революционный характер марксистской идеологии; Струве воспользовался представившимся случаем, чтобы в ответе своим народническим критикам, помещенном в том же сборнике, взять более боевую по отношению к капитализму ноту и сгладить впечатление, оставшееся у читателей от некоторых страниц его книги <…> “Сборник” вызвал в цензурных сферах настоящий переполох, и к нему применена была редкая в то время мера: конфискация и сожжение. Потресову удалось спасти нелегальным путем сотню экземпляров…» (*Мартов Ю.* Записки социал-демократа. М., 1924. С. 260–263).

# 915

В приложении («Еще раз г. Михайловский, еще раз “триада”») к своей книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Г. В. Плеханов, защищая П. Б. Струве от критики народников, ограничился лишь упреком, что тот «все-таки очень неосторожно выразился» в своем призыве пойти «на выучку к капитализму», что оправдывал «благородным увлечением западника» (*Плеханов Г. В.* Сочинения / Под ред. Д. Рязанова. М.; Пг., 1923. Т. 7. С. 291). Но в цикле статей «Г-н П. Струве в роли критика Марксовой теории общественного развития», печатавшихся в 1901–1902 гг. в № 1–4 журнала «Заря», Плеханов замечал: «Литературная известность г. П. Струве начинается с осени 1894 г., когда вышла в свет его наделавшая много шума книга: “Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России”. В этой тяжеловесно написанной и местами наивной, но, в общем, все-таки дельной книге одновременно выступали, “обнявшись, будто две сестры” и причудливо переплетаясь одна с другою, две теории: во-первых, теория Маркса и “ортодоксальных” марксистов, а во-вторых, теория Брентано и его школы. И это смешанное, эклектическое содержание книги в значительной степени оправдывало как упреки, сыпавшиеся на ее автора со стороны некоторых “ортодоксальных” марксистов, так и ожидания, возлагавшиеся на него другими, не менее “ортодоксальными” последователями Маркса: упрекавших раздражал брентанизм, а люди, возлагавшие ожидания на г. П. Струве, надеялись, что эта буржуазная теория будет мало-помалу побеждена в его взглядах присутствовавшим в них элементом марксизма. Пишущий эти строки принадлежал к числу ожидавших. Его ожидания не были, правда, очень велики: он никогда не считал г. П. Струве человеком, способным обогатить теорию Маркса значительным теоретическим вкладом; но он все-таки надеялся, во-первых, на то, что брентанизм г. П. Струве скоро будет побежден его марксизмом, а во-вторых, на то, что автор “Критических заметок” способен правильно понимать автора “Капитала”. Теперь оказывается, что мы ошиблись в обоих случаях: марксизм уже теперь уступает во взглядах г. П. Струве свое место своему старому соседу – брентанизму, а кроме того, наш “критик” обнаружил совершенное непонимание самых коренных, самых важных положений исторического материализма» (*Плеханов Г. В.* Сочинения. М.; Пг., 1923. Т. 11. С. 153–154).

# 916

С 1905 г. П. Б. Струве являлся членом Конституционно-демократической партии, а с 1906 г. состоял в ее ЦК, из которого вышел в 1915 г., фактически порвав с кадетами; редактируя в 1906–1918 гг. журнал «Русская мысль», он занимал позицию либерального национального консерватизма, был государственником, а в своих статьях рассуждал о «Великой России», ее могуществе и «гегемонии» русской культуры, «мистичности» государства, нравственных и религиозных идеалах (см.: *Струве П. Б.* Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества // Русская мысль. 1908. Кн. 1. С. 143–157; *Он же*. Отрывки о государстве и нации // Там же. Кн. 5. С. 187–193; *Он же*. Великая Россия и Святая Русь. Посвящается памяти А. М. Рыкачева // Там же. 1914. Кн. 12. С. 176–180; *Он же*. Блюдение себя. Нравственная основа истинного национализма // Там же. 1916. Кн. 1. С. 140–142, и т. д.).

# 917

«Свод законов Российской империи» – официальное издание расположенных в тематическом порядке действующих законодательных актов. Но П. Б. Струве «восторгался» не «Сводом законов», а «Полным собранием законов Российской империи» за 1649–1913 гг. Именно об этом издании писал Струве, указывая, что «язык “Полного собрания законов”, язык Пушкина, Гоголя, Тургенева и Льва Толстого, будучи по своей лингвистической основе великорусским, по своему культурно-историческому значению есть общий русский язык <…>, всех русских народностей, входящих в состав Российской империи». И далее автор резюмировал: «…только прогнанный сквозь строй сотен томов “Полного собрания законов”, русский язык мог стать органом великого национального целого, языком великой мировой державы» (*Струве П. Б.* Общерусская культура и украинский партикуляризм. Ответ Украинцу // Русская мысль. 1912. Кн. 1. С. 65–86).

# 918

См.: «Я не ушел из “Возрождения”. Ценою нравственных страданий, мук, оскорблений и издевок, не желая наносить национальному делу вред, я терпел и дотерпел до конца. А. О. Гукасов и его услужающие меня вытеснили из, а его служащие меня “уволили” от созданного мною дела» (*Струве П. Б.* Необходимое слово. Разъяснение читателям // Россия. 1927. № 1. 28 авг.; см. также: *Он же*. Письмо в редакцию // Возрождение. 1927. № 807. 18 авг.; *Он же*. Письмо в редакцию «Возрождения» // Последние новости. 1927. № 2341. 20 авг.). Вместе со Струве из газеты также ушли 23 штатных и внештатных сотрудника (см.: Возрождение. 1927. № 816, 820, 822. 27, 31 авг., 2 сент.).

# 919

Предыдущее было написано в прошлом, 1929 г. Теперь (сент. 1930 г.) я перечитал это, находясь в Варне. Здесь, в Варне, я нашел господство таких махровых зубров монархизма, самой возможности существования каких я не допускал. Если в Белграде, где теперь живет Струве, господствуют такие же зубры, – а кажется, дело обстоит именно так, – то думаю, что на Струве они должны оказать сильно отрезвляющее влияние.

# 920

Неточность: съезд СДПГ проходил с 17 по 23 сентября 1903 г.

Неточность: Франц Меринг, сотрудничая с 1868 г. в оппозиционном еженедельнике «Die Zukunft» («Будущее»), резко критиковал социал-демократов (см. его брошюру «Zur Geschichte der Socialdemokratie [К истории социал-демократии]» (Magdeburg, 1877), послужившую основой книги «Die deutsche Socialdemokratie, ihre Geschichte und Lehre [Немецкая социал-демократия, ее история и учение]» (Bremen, 1879)), но защищал их от несправедливых обвинений и, являясь с 1889 г. главным редактором берлинской «Народной газеты» («Volkszeitung»), в которой работал с 1884 г., выступал за отмену «исключительного закона против социалистов», а в 1891 г. сам вступил в СДПГ.

# 922

Ср.: «Противники обвиняли М[еринга] в крайней изменчивости убеждений, в лживости, в наклонности к клевете и в интриганстве; приводились его частные письма, между прочим письмо к [руководителю еженедельника «Die Zukunft»] Максимилиану Гардену, в котором М[еринг] обещал свою помощь, чтобы повредить [редактору «Лейпцигской народной газеты» Бруно] Шенланку. Присутствовавший на партейтаге М[еринг] отказался защищаться, заявив, что он это сделает в брошюре, документально, а пока слагает с себя обязанности редактора “Neue Zeit” и “Volkszeitung”. Действительно, скоро появилась его брошюра: “Meine Rechtfertigung. Ein nachträgliches Wort zum Dresdner Parteitage” [«Мое оправдание. Запоздалое слово к Дрезденскому партсъезду»]. Л[ей]пц[иг], 1903). Суд чести оправдал и М[еринга], и его противников, после чего М[еринг] был восстановлен в своих редакторских правах» (*В[одовозо]в В.* Меринг // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1906. Доп. т. 2. С. 173).

# 923

Ср.: «В 1896 г. он вместе со своим другом пастором Науманом основал “Национально-социальную партию”, с ежегодными конгрессами. Не отказываясь от принципов национализма и отчасти германского империализма, он полагал центр тяжести в социальных элементах программы своей партии, стремясь из нее сделать партию пролетариата, не социалистическую по конечным идеалам и не космополитическую по практической деятельности. <…> Речь императора Вильгельма в Эйнгаузене (в 1898 г.), грозившая рабочим каторжной тюрьмой за насилие при стачках, произвела на Г[ере] подавляющее впечатление и побудила его предложить своей партии прямо объявить себя партией пролетариата. Предложение было отвергнуто: Г[ере] вышел из партии и в 1899 г. присоединился к социал-демократии. Речь его в Хемнице, в которой он объяснял, что его религиозные убеждения не только не противоречат, но [и] способствуют вступлению его в ряды социал-демократии, была напечатана отдельной агитационной брошюрой, разошедшейся в 500 000 экз.: “Wie ein Pfarrer Sozialdemokrat wurde” [“Как пастор стал социал-демократом”] (Б[ерлин], 1900). В социал-демократии Г[ере] занял место на правой стороне, в рядах группы бернштейнианцев. Он был постоянным сотрудником журнала “Sozialistische Monatshefte”, но продолжал сотрудничество и в несоциалистич[еских] журналах, как “Zukunft”. В 1903 г. он был выбран в рейхстаг в одном из саксонских округов. На дрезденском партейтаге (осенью 1903 г.) Г[ере] вместе с Брауном и др. сделался жертвой ожесточенных нападений как за свое сотрудничество в “Zukunft”, так и за то, что он академик (человек с университетским образованием), т. е. человек пришлый, а хочет властвовать в партии. Бебель сравнил Гере с мародером, подрывающим социал-демократическую армию сзади, и бросил ему: пфуй! Г[ере] возвратил Бебелю его пфуй, но после партейтага сложил с себя депутатские полномочия. Через несколько месяцев ему была предложена кандидатура в другом саксонском округе, депутат которого умер; Г[ере] принял ее, но против него высказалось правление партии, и он отказался от кандидатуры. Третейский суд, к которому был призван Г[ере], оправдал его, но его положение в партии сильно поколеблено» (*В[одовозо]в В.* Гере // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1905. Т. 1а. С. 541).

Г-жа Коллонтай в своих воспоминаниях утверждает, что эта его деятельность была политически не бескорыстной и что он рассчитывал на германофильство тех русских социал-демократов, об освобождении которых хлопотал. Возможно, что это правда.

## 925

См.: *Коллонтай А.* Отрывки из дневника 1914 г. Л., 1924. С. 60–67.

# 926

Г. Граднауер состоял министром внутренних дел Веймарской республики в 1921 г.

# 927

Далее зачеркнуто: «Христианство и социализм отделяли себя от остального мира не только своим учением и своим стремлением, но и своим языком: христианство – своими фразами о промысле Божием, о воле Божией, которыми можно было объяснить все, ничего по существу не объясняя; социализм – своими фразами о классовой борьбе, классовом сознании, буржуазных предрассудках и буржуазных пережитках, которые тоже должны были объяснять самые противоположные, исключающие друг друга явления, не объясняя в действительности ничего».

*Engels F.* Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Leipzig, 1845; рус. перевод: *Энгельс Ф.* Положение рабочего класса в Англии / Пер. Е. К. и И. Н. Леонтьевых. СПб., 1905; *Он же.* То же / Пер. Г. А. Котляра. СПб., 1905.

«сделано в Германии» (*англ.*).

# 930

В «Манифесте Коммунистической партии», впервые опубликованном в Лондоне в феврале 1848 г., К. Маркс и Ф. Энгельс заявляли: «Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет».

## 931

См., например: *Южаков С. Н.* Международная экономическая борьба: Социологический этюд // Северный вестник. 1888. № 1. С. 135–175; № 2. С. 123–156.

# 932

10 сентября 1903 г. помощник начальника Александровского отделения Варшавского жандармского полицейского управления железных дорог на станции Александров сообщил, что В. В. Водовозов «сего числа возвратился из заграницы и направился в г. Киев» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 251).

# 933

Неточность: реферат «Об общественных идеях в новейшей немецкой литературе» был прочитан 17 марта 1900 г. (см. предыдущую часть воспоминаний), причем в газетном отчете говорилось, что, объясняя появление книги Э. Бернштейна, референт сделал «чрезвычайно любопытную и поучительную экскурсию в область экономической истории Англии и связанной с нею истории общественных идей. Он доказывал, что стремившиеся в 30-х и 40-х гг. к широким общечеловеческим идеалам общественные группы в Англии потеряли к ним интерес, как только их отечество начиная с 50-х гг. заняло исключительно благоприятное положение в международных отношениях и на международном рынке. Каждый великобританец прекрасно сознает, что, к какому бы классу он лично ни принадлежал, ему безусловно выгодно, чтобы рука Англии по-прежнему тяготела над Африкой, Индией и Китаем. Г. Водовозов удивительно метко обрисовал моральную ликвидацию так называемого чартизма. Сыны Альбиона, даже угнетаемые на родине, все-таки чувствуют себя хозяевами по положению в мировых отношениях, и эта действительность приводит, естественно, к тому, что, будучи крайними радикалами во внутренних вопросах, они оказываются империалистами во внешних. То же самое повторяется теперь с Германией, которая всюду начинает вытеснять Англию» (*К[рашнский] М.* В литературно-артистическом обществе // Жизнь и искусство. 1900. № 72. 12 марта).

См.: Загадочные натуры [Problematisch nature]. СПб., 1864; Два поколения [Die von-Hohenstein]. СПб., 1870; Один в поле не воин [In Reih’ und Glied]: В 2 т. СПб., 1867–1868; Новый фараон [Ein neuer Pharao] / Пер. М. Сароченковой. СПб., 1889. Указанные романы неоднократно переиздавались, в том числе и под другими названиями.

# 935

Возможно, речь идет о лекции В. В. Водовозова «Путевые впечатления по Германии», прочитанной 21 января 1904 г., краткое содержание которой передавалось газетой так: «Напрасно думают, что последний партейтаг явился поражением ревизионизма. Резолюции прошли подавляющим большинством голосов, но они были составлены неудачно, вызывали только смех ревизионистов, которые голосовали за них. С горечью и озлоблением вышли оттуда Бебель и его сторонники, с поднятой головой – ревизионисты. Таково непосредственное впечатление лектора, хотя он глубоко не сочувствует этому факту. Окончательное торжество ревизионизма будет обозначать победу партии мелких реформ и мелких улучшений, полный отказ от коренной перестройки во имя справедливости существующего строя» (*Н. Д.* В литературно-артистическом обществе // Киевские отклики. 1904. 23 янв.).

# 936

Одесское литературно-артистическое общество действовало в 1898–1905 гг., потом было закрыто властями и, возрожденное в 1912 г., просуществовало по 1919 г.; см.: *Биск А. А.* Одесская «Литературка» (Одесское Литературно-артистическое общество) // Диаспора: новые материалы. Париж; СПб., 2001. Вып. 1. С. 95–141.

# 937

Историческое общество при С.-Петербургском университете функционировало в 1886–1916 гг.; бессменный председатель: Н. И. Кареев; издавало журнал «Историческое обозрение» (1890–1916).

# 938

*Иорданский Н. И.* Да будет победа! Полемические заметки // Современник. 1914. Кн. IX. С. 188–196.

# 939

Н. И. Иорданский фактически редактировал просоветскую сменовеховскую газету «Путь» в Гельсингфорсе.

## 940

Неточность: с июля 1923 г. до марта 1924 г. Н. И. Иорданский занимал пост дипломатического представителя СССР в Италии, а затем служил в Госиздате.

# 941

Ср.: «Если бы я создавал мир, то весьма вероятно, что в этом случае <…> устроил бы мир так, чтобы в нем *право предшествовало силе.* Это вполне соответствует моей *этической* точке зрения и моим желаниям. Но, к сожалению, мне не пришлось создавать мира, и потому я вынужден отклонить от себя всякую ответственность, как похвалы, так и порицание, за его устройство. В своих брошюрах о конституции я имею целью объяснить не то, чему *следовало бы быть,* а то, что *в действительности* есть; эти брошюры представляют собой *не этический трактат,* а *историческое исследование* <…>» (*Лассаль Ф.* Сила и право. Открытое письмо редактору «[Берлинской] Реформы» [от 7 февраля 1863 г.] // Лассаль Ф. Соч. СПб., 1906. Т. 2. С. 54).

# 942

Е. Д. Стасова, являясь в 1918 г. секретарем Петроградского комитета РСДРП(б), после убийства 30 августа М. С. Урицкого была включена в президиум Петроградской ЧК.

объекта ненависти (*фр.*).

В 1929 г., победив на выборах, лейбористы сформировали правительство во главе с Дж. Макдональдом, но, несмотря на развернутую в апреле 1930 г. всеиндийскую акцию гражданского неповиновения и аресты ее руководителей, опубликованный в июне доклад конституционной комиссии предусматривал сохранение полноты власти в Индии за английским вице-королем.

## 945

От trade union (*англ.*) – рабочий союз.

# 946

У Кувшинской имеется весьма недурная книжка об английском рабочем движении, вышедшая еще до описываемого здесь нашего спора и мне уже тогда хорошо известная; книжка эта составлена по английским материалам и доказывает знакомство с английской литературой предмета. Если не ошибаюсь, Кувшинская жила в Англии и имела также и личные наблюдения над английским движением.

## 947

Неточность: книга вышла позднее описываемого спора, см.: *Кувшинская Е. А.* Борьба рабочих за политическую свободу в Англии. СПб., 1907. Г. В. Плеханов оценивал ее как «интересную и живо написанную», но критиковал автора за «схематизм суждений» (Современный мир. 1907. № 6. С. 52–58).

## 948

См.: *Водовозов В.* Из траурных воспоминаний: Фридрих Шпильгаген. 24 февр. 1829 г. – 25 февр. 1911 г. // Современник. 1911. Кн. 2. С. 362–368.

# 949

Ср.: «*Октября 6, 12 часов ночи*. С 10 до 11 пробыл у губернатора. Лопухин <…> поручил весьма неприятное дело – присутствовать в качестве представителя администрации на лекциях разных питерских гастролеров. Первый дебют мой на этом поприще 9 октября. Предстоит лекция Водовозова о Шпильгагене и 1848 годе в Германии, и губернатор предполагает, что Водовозов будет всячески проводить революционные идеи. Получил инструкцию немедленно в таком случае прекратить чтение. *Октября 9*. Общественный клуб, где происходила лекция Водовозова, – деревянное неуютное здание; стены из некрашеных отесанных бревен, в пазах торчит пакля, полы некрашеные. <…> Публики набралось довольно много – 103 человека. Преобладала, как и в Петербурге и в Уфе, женская молодежь, большей частью среднего круга; были и толстые кувалды лет по пятидесяти, много было, чуть ли не треть, еврейства. Из простонародья явилось мало, да, собственно говоря, и тех, кто явился, нельзя назвать этим именем: пришли бедно, но чисто одетые полуинтеллигенты – душ до десятка. <…> По третьему звонку раздвинулся занавес, и за нею оказался сам Василий Васильевич. Кто-то ему пошлепал в ладошки; он раскланялся и уселся за стол, растопырив по сторонам его ноги. Читал он не по запискам и говорить, видимо, умеет. Но голос у него дребезжащий, слабый, с гремучею буквой “р”. Начал он с истории Германии, затем изложил содержание трех лучших, по его мнению, романов Шпильгагена, потом читал из них длиннейшие и скучнейшие выдержки (речь на суде) и т. д. Кое-кто из публики не выдержал и ушел до перерыва. Все было старо, ни одной живой яркой мысли, ни ярких образов – ничего не нашлось у лектора. <…>» (*Минцлов С. Р.* Дебри жизни: дневник, 1910–15 гг. Берлин, [1925]. С. 174–176).

См.: *Александровский Г. В.* О романе Гете «Страдания молодого Вертера». Начало мировой скорби в германской литературе XVIII в. (К вопросу о пессимизме). Киев, 1897; *Он же*. Н. А. Некрасов и его поэзия. Киев, 1898; *Он же*. *Памяти В. Г.* Белинского. Историко-литературный очерк. Киев, 1899; *Он же*. Из юбилейных чтений о Пушкине. Киев, 1899; *Он же*. Максим Горький и его сочинения: Публичные лекции. Киев, 1900; *Он же*. Чтения по новейшей русской литературе. Киев, 1903. Вып. 1–2, и др.

Имеется в виду В. В. Шульгин.

## 952

Правильно: Василий Федорович.

# 953

Юго-Западный край – собирательное название Киевской, Подольской и Волынской губерний.

# 954

В объявлении о предстоящем выходе новой газеты сообщалось, что ее редакция «ставит целью создать в Киеве орган печати, независимый от каких бы то ни было своекорыстных стремлений, желаний и упований, чуждый всякой партийности, орган живой и отзывчивый на все нужды государственной и общественной жизни», который будет «служить идеалам мира, внешнего и внутреннего, прогрессу России, широкому просвещению народных масс, развитию общественного самосознания, целям веротерпимости, полному прекращению вековой вражды между народностями, населяющими Юго-Западный край, братскому единению их в интересах общего широкого культурного подъема, на устоях которого покоится славное будущее нашего дорогого отечества».

# 955

Первый номер газеты «Киевские отклики» вышел 21 ноября 1903 г.

# 956

Неточность. См.: *Феникс*. Сказки жизни: Лирическая интродукция. Траурный фарш. Галоп исторический. Полонез географический. Кадриль развлечений. Общая мазурка. И вдруг… // Киевские отклики. 1903. № 3. 23 нояб. В объявлении о выходе газеты «Киевские отклики» с указанием ее постоянных сотрудников упоминается «Лео (фельетонист, сотрудник провинциальных газет)». Возможно, псевдонимом Феникс воспользовался фельетонист Лев Моисеевич Суриш, писавший и под псевдонимом Лео. Он был исключен из Харьковского университета за «участие в беспорядках» и потом сотрудничал в газетах «Южный курьер» (Керчь), «Одесский курьер», «Одесские новости», «Приднепровский край» (Екатеринослав), «Раннее утро» (Москва); в советское время – в газете «Труд» (на 1926).

## 957

Правильно: «Мордко Зак, Мордко Зак, / Ты не умный, ты… / Ты скажи, зачем держал / Дома в кассе капитал? / И зачем ты спозаранку / Не доверил оный банку? / Говорил я: деньги вынь, / Не шуми на всю Волынь, / Что в твоей железной кассе / Есть деньга в компактной массе. / Как твой “мазол” – о каприз! / Повернулся маслом вниз! / Захотел тебя Рок высечь – / Отнял 240 тысяч!»

# 958

В Одессе под псевдонимом К. Н. Воинова были изданы сборники «оригинальных и переводных» рассказов Н. Н. Новикова «Прелюдии» (1902), «Огоньки» (1903), «Недосказанные рассказы» (1903) и под его фамилией брошюра «Наука, школа и жизнь» (1900); см. также: *Дрейфус А.* Пять лет моей жизни. 1894–1899 г. / Пер. с франц., с прилож. важнейших документов и ст. Н. Н. Новикова «Ложный шаг буржуазной Франции». Одесса, 1902.

# 959

В «Мертвых душах» Н. В. Гоголя говорится: «Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другим никак не будет: или нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или провртся самым жестоким образом, так что наконец самому сделается совестно».

# 960

См. иную характеристику Н. Н. Новикова: «Многие участники наших вечеринок должны хорошо помнить его звучный, слегка картавящий баритон, сверкавшие через золотые очки близорукие, но умные глаза его и остроумную, полную сарказма речь, блиставшую философской эрудицией. Именно о нем вспоминает с такой симпатией и благодарностью, как о своем первом наставнике в вопросах философии, А. В. Луначарский. Пасынок попечителя Виленского учебного округа, Н. Н. Новиков в начале 80-х гг. – студент Петербургского технологического института. Отсюда он вместе с Бурцевым за участие в кружках, примыкавших к “Народной Воле”, высылается в Западную Сибирь, в Пелым. К концу 80-х гг. Н. Н. опять в Киеве [является] активным участником сборищ в доме А. Г. Маньковской, а затем уезжает в Бернский университет учиться. Ближайший сотрудник проф. Авенариуса, он приглашается последним к научной деятельности, но Н. Н., примкнувший за эти годы к направлению группы “Освобождение Труда”, предпочитает вернуться на родину, чтобы продолжать свою революционную деятельность. Однако заграничная агентура департамента полиции, осведомленная о связи Н. Н. с Плехановым и друг. эмигрантами и товарищами по Сибири (Бурцев), принимает меры к пресечению деятельности Н. Н. на родине. Немедленно по прибытии в Киев, 9 мая 1894 г., Н. Н. заточается на долгие месяцы в Лукьяновский тюремный “замок”. <…> Н. Н. то выпускали, то опять сажали в “Лукьяновку” и отправили в новую ссылку только в феврале 1895 года. В промежутках между тюремным сидением, не входя формально в действующие с.-д. организации, Н. Н. сделал все, что было в его силах, чтобы приобщить киевскую марксистскую молодежь к идеям, усвоенным им лично от самого Г. В. Плеханова и из европейской марксистской литературы. <…> Когда пришел приговор, Н. Н. сослали на 4 года в Вологодскую губ. Потом я встречал его уже опустившимся от рокового недуга, сведшего в раннюю могилу многих лучших русских людей. В Ростове, в Киеве, в Питере встречались мы потом. Блестящий философ и подававший большие надежды теоретик русского марксизма оказался выброшенным за борт русским неудачником, тщетно обивавшим пороги редакций в поисках издателя для его литературных работ. Сибирская и вологодская ссылки и тюрьма сломили этого даровитого человека, и он погиб где-то, безвестный, в какой-то петербургской больнице – задолго до торжества революции» (*Мошинский И. Н.* Указ. соч. С. 140–141).

# 961

В примечании к статье «Германский рейхстаг» за подписью В. В. Водовозов (его «Политические обозрения» в предыдущих номерах газеты помещались без нее) говорилось: «Ввиду обращаемых ко мне запросов сообщаю здесь, что я, занятый в настоящее время другими работами, не веду и не руковожу “Политическим обозрением” в “Киевских откликах”, как предполагалось сначала, но я намерен время от времени помещать в газете статьи по политическим вопросам» (Киевские отклики. 1903. № 11. 1 дек.).

# 962

См.: *Водовозов В.* Германский рейхстаг // Там же. № 11, 14. 1, 4 дек.; *В[одовозов В.]* Движение в сторону всеобщего голосования в Германии // Там же. № 18. 8 дек.

## 963

Имеется в виду «Русь» А. А. Суворина, которую многие воспринимали как рассчитанный на либеральные круги «филиал» консервативно-официозного «Нового времени» А. С. Суворина, но это, как отмечал ее сотрудник, было неверно, ибо отец и сын рассорились и газета «возникла и выросла из неприязни и вражды к “Новому времени”» (*Кугель А. Р.* Листья с дерева: воспоминания. Л., 1926. С. 147).

в долгосрочной перспективе (*фр.*).

## 965

См.: *Змей Горыныч*. Сказки жизни // Киевские отклики. 1903. № 17. 7 дек.

# 966

О фельетоне, который В. В. Водовозов сохранил в своем архиве, он написал: «Конец фельетона Феникса (начало, столь же благоуханное, к сожалению, утеряно), послужившего не первым уже, но одним из первых существ[енных] поводов для разногласий между редакцией “К[иевских] откликов” (бр[атьями] Ал[ександровски]ми) и сотрудниками, окончательно вышедшими из газеты 11 дек[абря] 1903 г. После этого фельетона Гр. Ал[ександровск]ий дал обещание, что Феникс писать более не будет. Обещание было повторено 6 дек[абря], а 7 дек[абря] в № 17 появился следующий фельетон, подписанный “Змей Горыныч”» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 1759. Л. 16).

# 967

В ночь на 27 января 1904 г. японский флот атаковал русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура, а в феврале японские войска высадились в Корее.

# 968

В ходе сражения, произошедшего 14–15 мая 1905 г. в Корейском проливе у острова Цусима, русская эскадра под командованием вице-адмирала З. П. Рождественского потерпела сокрушительное поражение.

# 969

Неточность: еще 10 декабря 1903 г. Г. В. Александровский писал В. В. Водовозову: «После вчерашнего разговора я целую ночь думал о том, каковы могут быть последствия его для меня и для газеты, и пришел к выводу, что, в сущности, то невозможное положение, которое было до сих пор, нисколько не устраняется, дело остается по-старому и, значит, по-старому меня ждет целый ряд страданий, которые не знаю, как перенесу. В самом деле, что было до сих пор? Ни С. Н. [Булгаков], ни Н. А. [Бердяев] не принимали участия в газете, писали в ней только Вы, и, скажу прямо, Вы измучили меня. Теперь, хотя Ваши фамилии и будут с завтрашнего дня сняты с объявления и снято большинство объявлений, Вы по-прежнему работаете у нас, а значит, пока дело не наладится, по-прежнему подвергаете меня нравственной пытке до обвинений в спекулировании Вашими именами включительно. Мне кажется, что после того, что Вы говорили мне в лицо наедине, у Вас нет веры ни в мою порядочность, ни в порядочность брата, а тем более – газеты. Если Вы остаетесь сотрудником, помещая по три раза в неделю статьи, я буду себя чувствовать так невыносимо за каждый промах в газете, как чувствовал до сих пор, за большинство случаев незаслуженно выслушивая от Вас тяжелые оскорбления. И потому для меня представляется один выход: пока, Василий Васильевич, не пишите ничего, пусть газета окрепнет, вернее, определится, пусть она примет ту или другую физиономию. Я уверен, что она примет именно такой облик, при котором ни Вам, ни Вашим друзьям не будет стыдно в ней сотрудничать (как Вам стыдно работать в ней теперь, в чем почти признался С. Н. Булгаков). Но пока это случится, позвольте мне с братом самостоятельно этого добиваться» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2624. Л. 7–8).

## 970

См. черновик недатированного письма: «Милостивый государь господин редактор. Покорнейше просим Вас дать место на столбцах Вашей газеты следующему заявлению: “Мы перестали быть постоянными сотрудниками «Киевских откликов» еще 12 декабря 1903. Редакция тогда же обещала снять с объявлений наши имена, но до сих пор это не исполнено. Ввиду этого, а также ввиду того, что в последнее время отличие наших убеждений от убеждений редакции К. О., поскольку они сказываются в статьях этой газеты, стало особенно заметным, мы считаем необходимым просить Вас опубликовать во всеобщее сведение, что в настоящее время мы никакого отношения к редакции К. О. не имеем”» (Там же. Д. 2673. Л. 21–22). Письмо это не было опубликовано.

## 971

См. резкий ответ В. В. Водовозова на письмо Г. В. Александровского от 6 января 1904 г.: «Вас я знаю года 3–4, имею дело 2 месяца, и за эти 2 месяца я, кажется, не слышал от вас ни одного слова правды. Вы говорили, что собираетесь издавать “Русские ведомости” юга и даже более этого, тогда как вы собирались издавать балаганный листок, систематически замалчивающий все факты серьезного общественного значения и живущий (доныне) плагиатом; вы говорили, что вы уже удалили Феникса, – накануне появления его фельетона; недавно вы утверждали, что на днях появится список прежних сотрудников только без одного меня, имея уже категорическое заявление от сотрудников, что они к вам более не пойдут; вы еще 10 декабря обещали снять объявления с именами, и до сих пор они красуются во всех публичных местах, так что до сих пор вы считаете себя вправе пользоваться нашими именами для привлечения подписчиков. И так далее, без конца» (Там же. Д. 2624. Л. 17).

## 972

В письме В. В. Водовозова неизвестному адресату от 21 декабря 1903 г. говорилось: «Милостивый государь! Так как несколько недель тому назад я пригласил Вас сотрудничать в газете “Киевские отклики”, то считаю долгом известить Вас, что я прекратил в них всякое участие. Вместе со мною прекратили всякое участие: В. Ф. Александровский, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. Я. Железнов, М. Б. Ратнер. В. Водовозов. P. S. Настоящее извещение не предназначается для печати» (Там же. Д. 1759. Л. 17–18).

## 973

Неточность: редактором-издателем «Киевских откликов» с 19 марта 1904 г. (№ 118) значился Г. В. Александровский, остававшийся таковым до осени 1904 г., а «за редактора» с 20 марта (№ 119) газету подписывал И. В. Лучицкий, причем с 15 апреля она печаталась в типографии С. В. Кульженко (см.: От редакции // Киевские отклики. 1904. № 104. 15 апр.); с 1 октября (№ 272) полноправным редактором газеты и ее соиздателем (совм. с Е. А. Кивлицким) стал И. В. Лучицкий.

А. В. Луначарский свидетельствовал, что «Киевские отклики», куда его пригласили «в качестве заведующего театральным отделом», редактировались «главным образом В. В. Водовозовым», которой был «душой» этой «легальной, но в значительной степени марксистской газеты» (см.: *Луначарский А. В.* Воспоминания из революционного прошлого. С. 32; *Он же.* Автобиография. В Институт Ленина. [1926 г.] // Литературное наследство. М., 1971. Т. 80. С. 738). В газетной рубрике «Театр и музыка» осенью 1904 г. печатались рецензии Луначарского на спектакли в киевских театрах, см.: № 244, 246, 247, 249, 259–261. 3, 5, 6, 8, 18–20 сент., а также статья «“Отец” Стриндберга, как драма символическая» (№ 257. 16 сент.). После отъезда Луначарского за границу, в октябре – декабре 1904 г., в «Киевских откликах» регулярно появлялись его корреспонденции под заголовком «Париж (От нашего корреспондента)».

## 975

В 1900–1903 гг. М. С. Балабанов редактировал газету «Донская речь» в Ростове-на-Дону.

См.: Фабричные законы: Сборник законов, распоряжений и разъяснений по вопросам русского фабричного законодательства / Сост. М. Балабанов. Киев, 1905; *Дубровский М. [Балабанов М.]* Наша «свобода союзов». (Новый закон о профессиональных союзах). СПб., 1906; *Б[алабан]ов М. С., Дан Ф. И.* Рабочие депутаты в Первой Государственной думе. СПб., 1907; см. также его послереволюционные труды: *Балабанов М. С.* История рабочей кооперации в России. Очерки по истории рабочего кооперативного движения (1864–1917 г.). Киев, 1923; *Он же.* К истории рабочего движения на Украине. Киевский рабочий в революционном движении 70-х – 80-х гг. «Южно-Русский рабочий союз». Киев, 1925; *Он же.* Очерки по истории рабочего класса в России. Киев, 1923–1926. Ч. 1–3; *Он же.* От 1905 к 1917 году: массовое рабочее движение. М.; Л., 1927; *Он же.* Рабочее движение в России в годы подъема. 1912–1914 гг. Л., 1927; *Он же.* Очерк истории революционного движения в России. Л., 1929, и др.

## 977

Имеется в виду предисловие Ф. Энгельса, написанное 25 июня 1890 г. к 4-му изданию первого тома «Капитала» К. Маркса. Полемика возникла после того, как в берлинском журнале «Concordia», органе союза немецких фабрикантов, 7 марта 1872 г. появилась анонимная статья под заголовком «Как цитирует Карл Маркс», обвинявшая его в искажении цитаты из бюджетной речи канцлера британского казначейства У. Гладстона, произнесенной 16 апреля 1863 г. Хотя Маркс отверг критику в свой адрес, процитировав речь по английским газетам, спустя восемь месяцев после его кончины, 29 ноября 1883 г., газета «The Times» повторила обвинение, напечатав письмо С. Тейлора из Тринити-колледжа в Кембридже, назвавшего имя анонимного разоблачителя. Им оказался Л. Брентано, который на предисловие Энгельса откликнулся брошюрой «Моя полемика с Карлом Марксом» (*Brentano L.* Meine Polemik mit Karl Marx. Berlin, 1890), на которую тот, в свою очередь, ответил работой «Брентано contra Маркс по поводу мнимой фальсификации цитаты. История вопроса и документы» (In Sachen Brentano contra Marx wegen angeblicher Citatsfalschung. Geschichtserzahlung und Dokumente. Hamburg, 1891).

# 978

В предисловии к первому тому «Капитала» К. Маркс замечал: «Кстати сказать: если Ф. Лассаль все общие теоретические положения своих экономических работ, например об историческом характере капитала, о связи между производственными отношениями и способом производства и т. д., заимствует из моих сочинений почти буквально, вплоть до созданной мною терминологии, и притом без указания источника, то это объясняется, конечно, соображениями пропаганды» (*Маркс К.* Капитал: Критика политической экономии. М., 1978. Т. 1. Кн. 1. С. 5–6).

Само собою разумеется, я говорю только о той с[оциал]-д[емократической] и [э]с[е]р[ов]ской молодежи, которая приходила ко мне экзаменоваться в мои помощники, и не думаю отрицать и широкого образования, и частью большого литературного таланта у выдающихся писателей того и другого направлений.

## 980

Имеются в виду физик Абрам Федорович Иоффе (1880–1960) и публицист, социал-демократ, а потом большевик Адольф Абрамович Иоффе (1883–1927).

## 981

С 1928 г. Д. И. Заславский состоял фельетонистом газеты «Правда».

## 982

См.: «Тут же надлежит упомянуть в числе киевского юношеского актива из 1-й гимназии братьев Иоффе, из которых младший Макс <…> достаточно известен в киевских социал-демократических организациях» (*Мошинский И. Н.* Указ. соч. С. 62).

# 983

Впоследствии в переводе М. С. Иоффе вышел ряд брошюр, см.: Конституция Швейцарии: Перевод текстов конституции и избирательного закона / Под ред., с предисл. и примечаниями В. Водовозова. СПб., 1905; Германская конституция. Киев, 1905; *Дицген И.* Будущее социал-демократии. Киев, 1906; *Либкнехт В.* Социал-демократия, парламентаризм и политика. Киев, 1906; см. также: Важнейшие законодательные акты (1908–1912 гг.): с алфавитным, предмет. и хронолог. указателем / Сост. М. С. Иоффе, под ред. и с предисл. проф. В. М. Гессена. СПб., 1913.

# 984

В письме жене от 7 апреля 1904 г. В. В. Водовозов сетовал: «Дорогая Вера. Тяжела для меня война: при нынешних цензурных условиях писать о ней сколько-нибудь толково невозможно. Приходится выбирать из русских и иностранных газет всякие пустяки без смысла и разбора. Цензура боится всякого намека о поражении и о передвижении русских войск, хотя бы эти известия и были перепечатаны из других русских же газет» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 228. ОО. 1902. Д. 996. Л. 22).

# 985

Эскадренный броненосец «Петропавловск», являвшийся флагманом 1-й Тихоокеанской эскадры, подорвался вблизи Порт-Артура на японской мине и затонул 31 марта 1904 г.; погибло около 700 членов команды во главе с вице-адмиралом С. О. Макаровым.

# 986

В «Разведчике» принимал участие генерал от инфантерии М. И. Драгомиров.

# 987

Н. Г. Мардарьева назначили отдельным цензором по внутренней цензуре в Ростове-на-Дону с 1 декабря 1903 г.

# 988

Отдельный цензор по иностранной цензуре в Киеве с 21 апреля 1904 г., А. А. Сидоров обратился 8 октября в Главное управление по делам печати с просьбой об усилении штата чиновников местной цензуры, но столичное начальство ограничилось перераспределением их обязанностей, поручив ходатаю осуществлять цензуру «Киевских откликов» и «Киевской газеты» (см.: *Патрушева Н. Г.* Цензурное ведомство в государственной системе Российской империи во второй половине XIX – начале XX века. СПб., 2013. С. 186).

# 989

Газета «Киевлянин» была освобождена от предварительной цензуры в 1900 г.

## 990

Правильно: Григория.

## 991

Неточно цитируется «Послание цензору» (1822) А. С. Пушкина.

# 992

М. Г. Кривошлык был редактором «Ведомостей СПб. градоначальства».

## 993

См.: «Политическим центром, где собирались мои близкие единомышленники и друзья, была газета “Киевские отклики”. Среди них были покойные И. В. Лучицкий, В. В. Водовозов (Мемуарист полагал, что он умер. – *В. Г.*) и М. Б. Ратнер, известные украинские деятели Н. П. Василенко и А. Ф. Саликовский. В состав сотрудников входили также С. Г. Лозинский, Д. П. Рузский, М. С. Мильруд, М. С. Балабанов (редактировавший одно время газету), Н. В. Калишевич, М. И. Эйшискин (впоследствии редактор “Киевской мысли”), Н. С. Миркин и др. Жили мы в те времена дружно, тесной семьей, и не предвидели, что пути многих из нас потом разойдутся…» (*Марголин А.* Украина и политика Антанты. Берлин, [1922]. С. 24).

# 994

См.: «…программа движения, – вспоминал В. А. Маклаков, – уместилась в двух словах – “Долой самодержавие”, которые из эвфемизма назывались “двухчленною формулой”, а по попавшему в печать простодушному донесению одного провинциального полицейского пристава были “известной русской поговоркой”» (*Маклаков В. А.* Власть и общественность на закате старой России: воспоминания современника / Вступ. статья, коммент. С. В. Куликова. М., 2023. С. 144); см. также: «Было время – и не так давно, – когда клич: долой самодержавие! казался слишком передовым для России. Но РСДР Партия бросила этот клич, рабочие передовых отрядов подхватили его и разнесли по всей стране; в 2–3 года этот клич стал “народной поговоркой”» (*Ленин В. И.* Избирательная платформа РСДРП // Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1968. Т. 21. С. 179).

# 995

В письме министра внутренних дел В. К. Плеве на имя генерал-губернатора Н. В. Клейгельса от 23 мая 1904 г. с отметкой «конфиденциально» говорилось:

«По полученным из агентурного источника указаниям, издающаяся в г. Киеве ежедневная газета “Киевские отклики” перешла в заведование известного по своей политической неблагонадежности Василия Васильева Водовозова, о коем имеются следующие сведения:

Водовозов привлекался к дознанию по обвинению в издании и распространении революционных сочинений и, по Высочайшему повелению 30 января 1888 года, был выслан в Архангельскую губернию под гласный надзор полиции на пять лет, откуда, на основании Высочайшего повеления 25 июля 1891 года, переведен, ввиду расстроенного здоровья, в Самару, а в 1892 году ему дозволено отбывать остающийся срок надзора в С.-Петербурге. В 1898 году при производстве обысков и арестов в г. Киеве по делу “Южно-русского рабочего союза” Водовозов был подвергнут, в числе других лиц, обыску, коим ничего преступного не обнаружено, и заключен под стражу, но вскоре освобожден и к дознанию по сему делу не привлечен.

Сообщая о сем и принимая во внимание, что Водовозов, находящийся в настоящее время в сношениях с проживающими за границей революционерами, несомненно будет стремиться дать противоправительственное направление руководимой им газете, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство обратить внимание на деятельность названного Водовозова, причем являлось бы крайне желательным собрать такие факты о нем, которые могли бы послужить основанием к принятию в отношении его административных мер» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 228. ОО. 1900. Д. 996. Л. 25).

Л. П. Шейдакова вышла замуж за И. И. Гильгенберга.

## 997

Имеется в виду В. Э. Ваховская.

## 998

См.: *Сидоров А. А.* Из записок московского цензора, 1909–1917 // Голос минувшего. 1918. № 1/3. С. 93–114; В Киеве, 1904–1909: (Воспоминания бывшего цензора) // Там же. 1918. № 4/6. С. 221–229; В Киеве: (Из воспоминаний бывшего цензора) // Там же. 1918. № 7/9. С. 133–145.

# 999

Летом 1904 г. издатель газеты Л. В. Ходский, живший в своем имении в Бекове Саратовской губернии, ответил В. И. Семевскому, который рекомендовал В. В. Водовозова в качестве постоянного сотрудника «Нашей жизни», что считает отдел иностранной политики «очень важным, требующим для заведования хорошего знатока и современных политических отношений, и их истории, и внутренней политической жизни иностранных государств». Ему указывают несколько таких лиц, в числе которых упомянут и Водовозов, но хотя имя его, как и личность, «очень симпатично», смущает, что для этого он должен переселиться в столицу. Впрочем, 8 сентября Ходский сам обращается к кандидату: «Многоуважаемый Василий Васильевич. Основываясь на письме Василия Ивановича Семевского и предполагая, что содержание его Вам по существу известно, я полагаю, что Вы принципиально ничего не имеете против того, чтобы принять более или менее деятельное участие в затеянной мною газете. Если это так, то Вы сделали бы мне большое одолжение, если бы сообщили, на каких условиях Вы могли бы решиться перебраться в Петербург, чтобы сделаться членом редакции “Н[ашей] ж[изни]” в качестве заведующего иностранным отделом» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2538. Л. 6–7).

# 1000

Учреждение судебных установлений, Уставы уголовного и гражданского судопроизводств и Указ о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, были утверждены 20 ноября 1864 г. императорским указом Правительствующему сенату.

# 1001

См.: *Лозинский С. Г.* История инквизиции в Испании. СПб., 1914.

# 1002

«Киевские отклики» выходили до 21 января 1906 г., а затем газета издавалась под другими названиями («Отголоски жизни», «Киевские отголоски жизни», «Киевский голос»); последние номера вышли в июне 1907 г.

# 1003

Имеются в виду публичные собрания, организованные «Союзом освобождения» в ноябре – декабре 1904 г.; всего состоялось более 120 «банкетов» в 34 городах, в Петербурге – 20, 21, 28, 30 ноября и 2, 14, 30 декабря (см.: *Крылова Е. Н.* Банкетная кампания на страницах либеральной печати в 1904 году // Вестник Череповецкого государственного университета. 2014. № 7. С. 40–42).

# 1004

Первый банкет, на котором присутствовало более 650 человек, по поводу 40-летия судебных уставов прошел в Петербурге 20 ноября 1904 г. под председательством В. Г. Короленко; см.: Наша жизнь. 1904. № 17, 22. 22, 27 нояб.

# 1005

Неточность: 25-летний юбилей литературной деятельности В. Г. Короленко отмечался в сентябре 1903 г., то есть до начала банкетной кампании.

# 1006

См. воспоминания И. В. Гессена: «Назначение князя Святополк-Мирского преемником Плеве последовало лишь 26 августа [1904 г.], и его заявление [при вступлении в должность 16 сентября], что внутренняя политика должна покоиться на доверии к обществу, было воспринято как отказ от политического абсолютизма убитого министра, как провозглашение “весны”. Усматривая в этом подтверждение правильности моего прогноза, я тотчас прервал свой отдых и в очень взволнованном состоянии выехал через Киев в Петербург. В Киеве я застал возбужденное настроение, провинция вообще была более непосредственна, более порывиста, и – скажу – более искренняя, чем холодный, рассудочный Петербург. Местная группа Освобождения – Н. Бердяев, С. Булгаков, В. Водовозов, кн. Е. Трубецкой – насчитывала много интересных и выдающихся представителей интеллигенции. <…>. Впервые видел я блестяще образованного государствоведа Водовозова, настоящего начетчика – ходячий справочник по государственному праву, – и справка давалась всегда с исчерпывающей обстоятельностью, и голос был обстоятельный, отчеканивающий и ударяющий на каждом слоге. Партийные программы были его стихией, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. По поводу его строгой принципиальности циркулировал в товарищеских кругах больше похожий на анекдот рассказ, как на пирушке в загородном ресторане он серьезно просил эстрадную хористку, присевшую к нему на колени, оставить его, так как партийная программа Трудовой группы, к которой он принадлежал, не предусматривает такого случая. А исповеданием веры его была “четыреххвостка” – всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право» (*Гессен И. В.* В двух веках: Жизненный отчет // Архив русской революции. Берлин, 1937. Т. 12. С. 180).

# 1007

Пресса сообщала, что на затянувшемся далеко за полночь «ужине по подписке» с участием свыше 500 человек, проходившем в большом зале Литературно-артистического общества, с речами, которые «сопровождались и прерывались бурными аплодисментами», выступили профессора Киевского университета В. Я. Железнов, И. В. Лучицкий, кн. Е. Н. Трубецкой и Политехнического института В. Г. Бажаев, С. Н. Булгаков, Ю. Н. Вагнер, С. А. Иванов, присяжный поверенный Л. А. Куперник, помощник присяжного поверенного М. Б. Ратнер, литераторы В. В. Водовозов, И. М. Стешенко и др. (см.: Празднование 40-летия судебных уставов // Киевские отклики. 1904. № 324. 22 нояб.; К банкетам // Наша жизнь. 1904. № 20. 25 нояб.).

# 1008

Как докладывал 22 ноября 1904 г. начальник Киевского охранного отделения, «устроителями сего обеда» явились профессор Ю. Н. Вагнер и литератор В. В. Водовозов, которые и собирали подписи желавших принять в нем участие, число каковых достигло 600. Хотя секретарь Литературно-артистического общества И. М. Стешенко заявил, что допустит в зал не более 360 записавшихся, за столами и на хорах оказалось еще до 200 человек: студентов, слушательниц зубоврачебных и фельдшерских школ, рабочих. Ораторами было произнесено до 15 речей политического характера, причем С. Н. Булгаков коснулся роли журнала «Освобождение», Водовозов «старался выяснить преимущество демократического образа правления», указывая на «необходимость требовать политической свободы», а Вагнер, призвав собрание «почтить память борцов, павших и пострадавших за свободу, вставанием», резюмировал общий итог речей: «1) «требовать созыва учредительного собрания народных представителей, выбранных прямым тайным голосованием всего народа, без различия состояния, пола и религии, для передачи в его руки управления страной и 2) предъявить требование немедленного освобождения и полной амнистии для всех политических». Уже после того, как собрание объявили закрытым, а председатель общества Н. П. Рузский удалился, Водовозов остановил публику, собиравшуюся разойтись, предложением голосовать за оглашенную Вагнером резолюцию, на что присутствующие ответили возгласами: «Согласны» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 230. ОО. 1902. Д. 600. Л. 18–21).

# 1009

Неточность: Н. В. Клейгельс был назначен киевским, подольским и волынским генерал-губернатором еще в декабре 1903 г., но С. Ю. Витте, характеризуя его «весьма ограниченным, малокультурным и гораздо более знающим природу жеребцов, нежели природу людей», тем не менее отмечал, что как человек он «был недурной и довольно комичный, комичный своей важностью», а «во время своего довольно кратковременного генерал-губернаторства ничего ни дурного, ни хорошего не сделал и местным населением если не был любим, то и не был ненавидим» (*Витте С. Ю.* Воспоминания: Царствование Николая II. Л., 1924. Т. 1. С. 278).

# 1010

Имеется в виду полемика о контрреформе 1889 г. Был создан институт земских участковых начальников с передачей им как административной, так и судебной власти в отношении крестьянства 37 губерний Европейской России; консервативные «Московские ведомости» приветствовали это отступление от реформы 1864 г., считая, что выборный независимый суд представляет угрозу для самодержавия, а либеральный «Вестник Европы» резко осуждал, полагая, что происходит восстановление сословного суда.

с крупинкой соли (*букв., лат.*), т. е. с некоторой поправкой.

# 1012

Слова из стихотворения Ф. И. Тютчева «Графине Е. П. Ростопчиной» (1850) «…Как бы повеяло весною, Как бы запело о весне…» использовались как политическая метафора, см.: *Ачкасов А.* «Повеяло весною…»: Речи г. министра внутренних дел князя П. Д. Святополк-Мирского и толки о них в прессе. М., 1905. С. 27. Выступая за «искренне благожелательное и искренне доверчивое отношение к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще», Святополк-Мирский разрешил проведение съезда земских деятелей (с участием 104 делегатов), резолюция которого от 8 ноября 1904 г. призывала к «участию народного представительства как особого выборного учреждения в осуществлении законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в контроле за законностью действий администрации», к обеспечению свободы совести, вероисповедания, слова, печати, собраний и союзов, равенству личных, гражданских и политических прав, «проведению в жизнь принципа неприкосновенности личности и частного жилища» (Резолюции, принятые земским съездом // Земский съезд 6-го и сл. ноября 1904 г. Краткий отчет. Paris, 1905. С. 16–17).

# 1013

Неточность: № 1 газеты «Наша жизнь» вышел 6 ноября 1904 г., и Е. Д. Кускова вспоминала: «Передовая статья была написана в спокойном тоне; она сдержанно, но определенно характеризовала задачу газеты: газета должна была стать органом тех прогрессивных течений, которые наиболее активно стремились к участию общественных представителей в деле управления страной, к противоположению началу бюрократизма начал истинного самоуправления. Статьи были написаны, вся редакция была в ночь на 6 ноября в типографии и с волнением ждала рождения первого номера. Он родился, но… тут же был задушен гневным и дико-злым духом нашей жизни, для которого свободный дух и призывы “Нашей жизни” были нестерпимы. Номер был задержан цензурным комитетом, но незначительное число городских подписчиков газету получило и о ней уже говорили, когда к часу дня восходящее солнце “доверия”, это тусклое солнце чахлой весны, князь Святополк-Мирский освободил номер из-под ареста. На Невском проспекте в киосках огромные толпы народа расхватывали номер» (*Кускова Е.* Давно минувшее (6 ноября 1904 – 6 ноября 1906 г.) // Товарищ. 1906. № 106. 5 нояб.).

Ср.: «“Наша жизнь” – ежедневная газета, выходящая в С.-Петербурге с 6 ноября 1904 г. <…> “Н[аша] жизнь” охотно давала место отдельным сотрудникам социал-демократам; ведя борьбу с партиями правыми, она никогда не нападала на левых. Ближайшими сотрудниками и членами редакции были С. Н. Прокопович, Е. Д. Кускова, В. В. Хижняков, В. Я. Богучарский, В. В. Водовозов, В. В. Португалов, П. Е. Щеголев, В. С. Голубев, Н. П. Ашешов, Д. А. Левин, А. М. Рыкачев, Л. М. Неманов, К. И. Диксон, И. В. Жилкин и др.; первые 4 скоро вышли из состава ред[акции], Ашешов вышел в дек. 1905 г. После № 1 “Н[аша] жизнь” подверглась 1-му предостер[ежению] и запрещ[ению] розн[ичной] продажи; вскоре последовало 2-е, а в февр. 1905 г. – 3-е предостережение и запрещение на 3 месяца. 6 мая 1905 г. газета стала вновь выходить, но с обязательством представлять в сверстанном виде не позже 11 ч. веч[ера] на просмотр в цензуру. Многие номера конфисковались, в других цензура запрещала отдельные статьи, иногда отдельные фразы и слова, зачеркивая не только фактические известия, но и перепечатки из других газет» (*В[одовозо]в В.* Наша жизнь // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1906. Доп. т. 2. С. 254–255).

# 1014

Ср.: «18 ноября 1904 г. вышел № 1 обновленного “С[ына] О[течества]”; редактором-издателем подписывался С. П. Юрицын, действительным редактором был Г. И. Шрейдер. Газета выходила без предварит[ельной] цензуры. <…> В числе его сотрудников было много членов Союза Освобождения. Уже за № 1 газета получила первое предостережение и запрещение розничной продажи. Эта кара усилила симпатии к газете, и она сразу стала расходиться в нескольких десятках тысяч экземпляров. После № 8 газета получила второе предостережение, а после 12-го № – третье, с приостановкой на 3 месяца и отдачей по возобновлению под предварительную цензуру. У С. П. Юрицына в запасе было разрешение на другую газету без предв[арительной] цензуры – “Наши дни”, официальным редактором которой был Н. М. Невежин. В действительности и редакция, и состав сотрудников остались прежние. № 1 вышел 18 декабря 1904 г., последний, № 39, – 5 февр. 1905 г.; за это время газета получила 3 предостережения и запрещение розничной продажи. В марте 1905 г. возобновился “С[ын] О[течества]”, с обязательством представлять в цензуру каждый № не позже 11 ч. вечера накануне выхода. Бывали месяцы, когда из 30 № конфисковались 15» (*В[одовозо]в В*. Сын Отечества // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1907. Доп. т. 2а. С. 726–727).

# 1015

Ср.: «С ноября 1905 г. редактором начал подписываться Шрейдер, Юрицын – только издателем. 15 ноября 1905 г. в состав редакции вошли, кроме Шрейдера, Н. Кудрин [Русанов], В. Мякотин, А. Пешехонов, В. Чернов. Газета стала органом партии социалистов-революционеров» (Там же).

# 1016

Прогрессивная партия мирного обновления, сорганизовавшаяся в июне 1906 г. из левых октябристов и правых кадетов как фракция в 1-й Государственной думе, была официально зарегистрирована в октябре под названием «Общество мирного обновления»; сторонница конституционной монархии с двухпалатным парламентом; печатные органы: газеты «Слово» (редактор М. М. Федоров) и «Московский еженедельник» (редактор кн. Е. Н. Трубецкой); см.: *Водовозов В.* Партия мирного обновления // Товарищ. 1906. № 31, 32. 10, 11 авг.

# 1017

Имеются в виду основанные Л. В. Ходским ежедневная общедоступная политическая, литературная и общественно-экономическая газета «Столичная почта» (1 октября 1906 – 4 марта 1908) и еженедельное литературно-общественное и научное приложение к ней «Иллюстрированный еженедельник» (1907 – 16 февраля 1908).

# 1018

Приговором Петербургской судебной палаты от 17 августа 1906 г. «Наша жизнь» была запрещена, и ее подписчикам высылалась политическая, литературная и экономическая газета «Товарищ» (1 апреля 1906 – 30 декабря 1907).

# 1019

Имеется в виду политическая, литературная и экономическая газета «Наш век» (1908. № 961–968. 1–10 января), продолжавшая нумерацию «Нашей жизни».

# 1020

Официальными редакторами газеты «Наша жизнь» состояли: с 6 ноября 1904 г. Л. В. Ходский и А. Н. Котельников (№ 1–349), с 22 января 1906 г. В. В. Водовозов (№ 350–423), с 20 апреля 1906 г. Д. А. Левин (№ 424–456), затем К. И. Диксон (№ 457–494).

# 1021

Полное название издания – «Новости и биржевая газета».

# 1022

См. письмо М. Горького, адресованное Е. П. Пешковой, от 7 ноября 1904 г.: «“Наша жизнь” была утром 6-го арестована Зверевым (Начальник Главного управления по делам печати. – *В. Г.*). Мирский в 3 ч. снял арест, было продано около 40 т[ысяч], издание повторено». 12 ноября Горький продолжил тему: «К “Нашей жизни” отношение удивительно трогательное! В контору нельзя попасть, ибо на лестнице и на панели стоят сплошной массой люди, жаждущие жизни. В день запрещения розницы [10 ноября] подписка сразу поднялась на 1263, на другой день на 3489, провинция подписывается по телеграфу. Ходский махает руками и уверен, что его сошлют в Сибирь» (*Горький М.* Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 1998. Т. 4. С. 171, 174).

# 1023

С 15 декабря 1905 г. по 21 января 1906 г. вместо «Нашей жизни» выходила ежедневная газета «Народное хозяйство» (№ 1–31) под редакцией сначала В. С. Голубева, а затем В. В. Водовозова (с № 23).

# 1024

15 февраля 1905 г. В. В. Водовозов писал К. М. Панкееву: «Многоуважаемый Константин Матвеевич. Я еще раз настойчиво прошу об отставке. Я слишком хорошо знаю, что я веду отдел в “Южных записках” не так, как следует, и эта работа не доставляет мне в настоящее время ни малейшего удовлетворения и поэтому она для меня делается тяжелой» (ГАРФ. Ф. 539. Оп. 1. Д. 2673. Л. 5).

# 1025

См.: Всеобщее избирательное право на Западе. Ростов-на-Дону: «Донская речь» Парамонова, [1905]; Проект избирательных законов в Учредительное собрание и парламент. Ростов-на-Дону: «Донская речь» Н. Парамонова, 1905; Избирательное право в Европе и России. СПб.: Акц. общ. Брокгауз – Ефрон, 1906, и др.

# 1026

27 октября 1904 г. В. В. Водовозов выступил в Литературно-артистическом обществе с рефератом, о содержании которого начальник Киевского охранного отделения сообщал: «Набросав общий очерк организации выборов в государственные учреждения в некоторых западноевропейских государствах, он перешел к вопросу о том, как должны быть организованы выборы во всероссийский парламент, и доказывал, что избирательное право в России должно быть всеобщее, прямое, с тайной подачей голосов». Как указывалось в «полученном агентурным путем» письме одного из слушателей реферата, Водовозов говорил, что в такой момент, как теперь, «стыдно не быть подробно знакомым с избирательным правом», и публика, а ее собралось «тьма, вся мыслящая», состоявшая в большинстве из молодежи, слушала «с напряженным вниманием», наградив лектора аплодисментами (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 230. ОО. 1902. Д. 600. Л. 13–14, 16–17).

по должности (*лат.*).

# 1028

При мажоритарной выборной системе побеждают получившие большинство голосов, а при пропорциональной мандаты распределяются пропорционально количеству полученных голосов.

Например, 20 февраля 1903 г. Московское охранное отделение докладывало: «…Негласный поднадзорный Василий Васильев Водовозов прибыл 18-го числа сего февраля в Москву и остановился у приват-доцента Московского университета Владимира Иванова Вернадского, проживающего вместе с женой своей Наталией Георгиевой в доме Писемской, по Борисоглебскому переулку. Вечером того же числа Водовозов посетил известного Департаменту полиции присяжного поверенного Ивана Николаева Сахарова, а затем отправился в Художественно-литературный кружок (дом Елисеева, Тверская), где в присутствии более трехсот слушателей, членов помянутого кружка и гостей, явившихся по их запискам, прочитал свой реферат “Место печати в обществе”, в котором сделал очерк исторического развития публицистической литературы. С собрания Водовозов вместе с женой вышеупомянутого Сахарова, Марией Петровой, дочерью его Татьяной Ивановой и ее теткой Марией Николаевой Сахаровой вернулся к последним на квартиру – в дом Шиловского по М. Дмитровке, где и ночевал. На следующий день Водовозов, побывавши у Вернадских, посетил на два часа кандидата прав юридического факультета Московского университета Павла Иванова Новгородцева, живущего вместе с женой Лидией Антоновой в меблированных комнатах Троицкой (дом Гагарина, Никитские ворота), взял свои вещи в доме Писемской и почтовым поездом Николаевской железной дороги выехал в Петербург» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 228. ОО. 1900. Д. 996. Л. 18). Водовозов собирался, видимо, прочесть упомянутый реферат в Киеве, но 30 января на запрос губернатора, не имеется ли «каких-либо сведений, указывающих на нравственную или политическую неблагонадежность» лектора, приглашенного на «литературное утро» 2 февраля с докладом «Очерк истории книгопечатного дела», начальник Киевского губернского жандармского управления В. Д. Новицкий ответил: «Принимая во внимание вообще его политически неблагонадежное направление, разрешение ему чтения лекции при массе лиц разных оттенков было бы безусловно нежелательным» (Там же. Оп. 91. 3 д-во. 1893. Д. 140. Л. 242–243).

# 1030

Проект основного закона Российской империи: выработан Комиссией Бюро общеземских съездов / Предисл. П. С[труве]. Paris: Изд. ред. «Освобождения», 1905. (Материалы по выработке русской конституции. Вып. 3).

# 1031

Основной государственный закон Российской империи. Проект русской конституции, выработанный группой членов «Союза Освобождения». Paris, 1905.

# 1032

См.: Проект основного закона Российской империи // Конституционное государство: Сб. ст. [СПб., 1905]. С. 342–366.

# 1033

«Русская правда, или Заповедная государственная грамота великого народа российского, служащая заветом для усовершенствования государственного устройства России и содержащая верный наказ как для народа, так и для временного верховного правления» – программный документ тайного Южного общества декабристов, принятый его управами в 1823 г. и поименованный так в 1824 г., согласно которому в России, провозглашаемой единой и неделимой республикой, высшая законодательная власть передавалась однопалатному Народному вече, исполнительная – Державной думе (в составе 5 человек, избираемых Народным вече на 5 лет), а контрольная, или «блюстительная», – Верховному собору.

# 1034

См.: *Пестель П. И.* Русская Правда. Наказ Временному верховному правлению. СПб., 1906.

# 1035

Неточность: в проекте говорилось, что «Верховная власть Российской Империи осуществляется Императором при участии Государственной Думы, состоящей из двух палат: Палаты Народных Представителей и Земской Палаты», т. е. соответственно нижней и верхней (см.: Основной государственный закон Российской империи. Проект русской конституции, выработанный группой членов «Союза Освобождения». С. 1).

# 1036

Речь идет о проекте учреждения Государственной думы как представительного законосовещательного органа с положением о выборах в нее, который был подготовлен совещанием под председательством министра внутренних дел А. Г. Булыгина и утвержден высочайшим Манифестом 6 августа 1905 г.

# 1037

Имеется в виду Манифест 17 октября 1905 г. об усовершенствовании государственного порядка, подготовленный под руководством председателя Комитета министров графа С. Ю. Витте, об учреждении Государственной думы как законодательного органа и даровании населению «незыблемых основ гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».

# 1038

См.: Избирательный закон; Объяснительная записка // Основной государственный закон Российской империи. С. 35–44, 45–76.